

Джордан Петерсон
профессор психологии

Карта смыслов

Перевод с английского доктора Владимира Вайля
Редактор Ирина Вайль

2009 год

О Г Л А В Л Е Н И Е

ПРЕДИСЛОВИЕ. СХОЖДЕНИЕ В АД

ГЛАВА ПЕРВАЯ. КАРТЫ ОПЫТА: ПРЕДМЕТ И СМЫСЛ

ГЛАВА ВТОРАЯ. КАРТЫ СМЫСЛА: ТРИ УРОВНЯ АНАЛИЗА

- 2.1. Обычная и революционная жизнь: две прозаические истории
 - 2.1.1. Обычная жизнь
 - 2.1.2. Революционная жизнь
- 2.2. Нервно-психологическая функция: природа ума
 - 2.2.1. Валентность явлений
 - 2.2.2. Неисследованная область: феноменология и невропсихология
 - 2.2.3. Исследование: феноменология и невропсихология
 - 2.2.4. Исследованная область: феноменология и невропсихология
- 2.3. Мифологическое представление: составляющие опыта
 - 2.3.1. Вступление
 - 2.3.2. "Энума элиш": всеобъемлющий образец повествовательного распределения по категориям
 - 2.3.3. Дракон первобытного хаоса
 - 2.3.4. Великая Мать: образы Неизвестного, или неисследованной области
 - 2.3.5. Божественный Сын: образы Познающего, процесс исследования
 - 2.3.6. Великий Отец: образы Известного, или исследованной области

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. УЧЕНИЧЕСТВО И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ: ПРИНЯТИЕ ОБЩЕЙ КАРТЫ

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ АНОМАЛИИ: ОСПАРИВАНИЕ ОБЩЕЙ КАРТЫ

- 4.1. Введение: парадигматическая структура Известного
- 4.2. Особые виды аномалии: чуждое, чужак, странная идея и революционный герой
 - 4.2.1. Чуждое
 - 4.2.2. Чужак
 - 4.2.3. Странная идея
 - 4.2.4. Революционный герой
- 4.3. Рост самосознания и постоянное заражение аномалии смертью

ГЛАВА ПЯТАЯ. ВРАЖДУЮЩИЕ БРАТЯ: ПРООБРАЗЫ ОТКЛИКА НА НЕИЗВЕСТНОЕ

- 5.1. Введение: герой и его противник
- 5.2. Противник героя: возникновение, развитие и представление
 - 5.2.1. Противник героя в действии: добровольное принижение карты смысла
 - 5.2.2. Противник героя в действии: иносказание двадцатого столетия
- 5.3. Героическое приспособление: добровольное воссоздание карты смысла
 - 5.3.1. Творческая болезнь и герой
 - 5.3.2. Образ действия алхимиков и философский камень
 - 5.3.2.1. Вступительное замечание
 - 5.3.2.1.1. Часть первая
 - 5.3.2.1.2. Часть вторая
 - 5.3.2.2. Материальный мир как архаическое местоположение Неизвестного
 - 5.3.2.3. Эпизодическое представление в средневековом христианском мире
 - 5.3.2.4. Первичная материя
 - 5.3.2.5. Царь порядка
 - 5.3.2.6. Царица хаоса
 - 5.3.2.7. Странствие
 - 5.3.2.8. Воссоединение
- 5.4. Заключение: божественность интереса
 - 5.4.1. Введение
 - 5.4.2. Божественность интереса

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Рисунок 1. Область и составляющие Известного
Рисунок 2. Метамифологический цикл Пути
Рисунок 3. Обычное приспособление
Рисунок 4. Революционное приспособление
Рисунок 5. Двойственная природа новизны
Рисунок 6. Появление "обычной новизны" в ходе целенаправленного поведения
Рисунок 7. Появление "революционной новизны" в ходе целенаправленного поведения
Рисунок 8. Двигательная и чувствительная системы мозга
Рисунок 9. Возрождение устойчивости из области хаоса
Рисунок 10. "Человечек" (гомункул) Пенфилда
Рисунок 11. Спаренные полушария головного мозга и их функции
Рисунок 12. Многообразие устройства памяти
Рисунок 13. Отвлечённое понятие мудрости и его отношение к памяти
Рисунок 14. Преобразование понятия отношения между средствами и целями от статического к динамическому
Рисунок 15. Ограниченная революция
Рисунок 16. Вложенные друг в друга истории, процессы порождения и многообразие систем памяти
Рисунок 17. Составляющие опыта
Рисунок 18. Олицетворённые положительные составляющие опыта
Рисунок 19. Рождение мира богов
Рисунок 20. "Смерть" Апсу и (повторное) появление Тиамат как угрозы
Рисунок 21. Иерархическое устройство "мира" богов
Рисунок 22. "Энума элиш" в схематическом представлении
Рисунок 23. Борьба между Осирисом и Сетом в области порядка
Рисунок 24. Вынужденное нисхождение и расчленение Осириса
Рисунок 25. Рождение и возвращение Гора, божественного сына порядка и хаоса
Рисунок 26. Добровольное столкновение с Преисподней
Рисунок 27. Восхождение и возрождение Отца
Рисунок 28. Составляющие опыта как личности, области и процессы
Рисунок 29. Уробор – докосмогонический дракон хаоса
Рисунок 30. Рождение прародителей мира
Рисунок 31. Составляющие опыта в их динамическом отношении
Рисунок 32. Новизна, Великая Мать, как дочь Уробора
Рисунок 33. Самопроизвольное олицетворение неисследованной области
Рисунок 34. Неисследованная область как Губящая Мать
Рисунок 35. Неисследованная область как Творящая Мать
Рисунок 36. "Небесная родословная" Губящей и Творящей Матерей
Рисунок 37. Герой-исследователь как Сын Небесной Матери
Рисунок 38. Метамифология Пути при повторном обращении к ней
Рисунок 39. Замок, герой, змей и дева: святой Георгий и дракон
Рисунок 40. Процесс исследования и пересмотра как метачель существования

- Рисунок 41. Порядок, Великий Отец, как сын Уробора
Рисунок 42. Исследованная область как благонравный Отец-защитник
Рисунок 43. Исследованная область как Отец-деспот
Рисунок 44. "Небесная родословная" Отца-деспота и Отца-защитника
Рисунок 45. Герой-исследователь как Сын Великого Отца
Рисунок 46. "Смерть" и "воскресение" посвящаемого подростка
Рисунок 47. Парадигматическое строение Известного
Рисунок 48. Известное как вложенные друг в друга группы и личности
Рисунок 49. Отрывочное представление "процедуры и обычая" в образе и слове
Рисунок 50. "Двойная смерть" революционного героя
Рисунок 51. Распятый Спаситель как дракон хаоса и преобразования
Рисунок 52. Разрушительное для общества искупительное "путешествие" революционного героя
Рисунок 53. Добровольное нисхождение Будды
Рисунок 54. Мировое древо как мост между "Небом" и "Адом"
Рисунок 55. Мировое древо и составляющие опыта
Рисунок 56. Книга Бытия и нисхождение Духа Божия
Рисунок 57. Дьявол как носящийся в воздухе дух и нечестивый ум
Рисунок 58. Порочный круг противника героя
Рисунок 59. Составляющие опыта, повторение
Рисунок 60. Возникновение Христа из группового самосознания и хаоса
Рисунок 61. Мировое древо смерти и искупления
Рисунок 62. Алхимическое действо как "обычная история"
Рисунок 63. Алхимическое действо как "революционная история"
Рисунок 64. Волк как Первоматерия, пожирающий "мёртвого царя"
Рисунок 65. Дракон хаоса как "место рождения" Христа и философского камня
Рисунок 66. Алхимическое действо как миф об искуплении
Рисунок 67. Возвращение (Христа как) мистического яблока на Древо Познания
Рисунок 68. Вечное возвращение бодисатвы

Изреку сокровенное от создания мира. (Матфей, 13 : 35)

ПРЕДИСЛОВИЕ. СХОЖДЕНИЕ В АД

Что-то, чего мы не можем видеть, защищает нас от чего-то, чего мы не понимаем. То, чего мы не можем видеть, есть культура в её духовном, или внутреннем, проявлении. То, чего мы не понимаем, это хаос, который породил культуру. Если устройство культуры неожиданно разрушается, возвращается хаос. Мы сделаем всё – всё что угодно, – чтобы защитить себя от такого возвращения.

"...то самое обстоятельство, что всеобщая проблема целиком захватила и поглотила говорящего, является залогом того, что он действительно пережил её и, может быть, что-то извлёк из своих страданий. Тогда он отразит эту проблему для нас в своей личной жизни и тем самым откроет нам истину"¹.

Я вырос, так сказать, под защитой и покровительством христианской церкви. Это не значит, что моя семья была особенно религиозной. В детстве я посещал обычные протестантские богослужения вместе с матерью, но она не была догматичной или требующей беспрекословного подчинения себе верующей, и мы никогда не обсуждали религиозные вопросы дома. Мой отец, по существу, казался неверующим, по крайней мере в обычном смысле слова. Он отказывался даже заходить в церковь, кроме как на свадьбы и на похороны. Исторические пережитки христианской нравственности, тем не менее, пронизывали жизнь нашей семьи, потаённым образом обуславливая наши надежды и личные ответные чувства. В конце концов, когда я рос, большинство людей всё ещё ходило в церковь. Более того, все правила поведения и ожидания от жизни в буржуазном обществе были иудео-христианскими по своей природе. Даже постоянно возрастающее число тех, кто не мог выносить внешних обрядов и принятых верований, по-прежнему молчаливо принимало правила христианской игры – вело себя по этим правилам.

Когда мне было двенадцать, или что-то около того, моя мать записала меня на конфирмационные курсы, которые были введением к полному членству в церкви. Я не любил их посещать. Мне не нравилось отношение к этим курсам моих открыто религиозных одноклассников (которые были немногочисленны), и я не стремился к такому, как у них, отсутствию положения в обществе. Мне не нравилась похожая на школьную обстановка на конфирмационных курсах. Однако, что было более важно, я не мог принимать на веру то, чему меня учили. Однажды я спросил священника, как он согласует историю, изложенную в книге Бытия, с теориями мироздания современной науки. Он не стал и браться за такую задачу. Более того, казалось, что в душе он был более убеждён в правильности эволюционной точки зрения. Я, в любом случае, искал предлога уйти – и это оказалось последней соломинкой. Религия существовала для невежественных, слабых и суеверных. Я перестал ходить в церковь и вступил в современный мир.

Хотя я вырос в христианской среде и у меня было хорошее и счастливое детство, по крайней мере частично вследствие этого я более чем охотно отверг среду, которая вырастила меня. Никто на самом деле – ни в церкви, ни дома – не препятствовал моим мятежным попыткам, отчасти потому, что те, кто был глубоко религиозен (или кто, возможно, хотел быть таким), не имели в своём распоряжении разумно приемлемых доводов. В конце концов, многие из основных догматов христианской веры были непонятны, если не очевидно нелепы. Рождение от девы было невозможно, равно как и представление, что кто-то мог воскреснуть из мёртвых.

Вызвал ли мой мятеж кризис в нашей семье или в обществе? Нет. Мои действия были в некотором смысле настолько предсказуемы, что они не огорчили никого, за исключением моей матери (и даже она скоро смирилась с неизбежным). Другие члены церкви – моей "общины" – уже совсем привыкли ко всё более частому отступничеству и даже не обратили внимания на моё.

Огорчил ли мой мятеж меня лично? Только таким образом, какого я не мог постигнуть, пока не прошло много лет. Примерно в то же самое время, когда я прекратил ходить в церковь, у меня развился преждевременный интерес к политическим и общественным вопросам крупного масштаба. Почему некоторые страны и люди богаты, удачливы и преуспевают, в то время как другие обречены на нищету? Почему силы НАТО и Советского Союза постоянно готовы вцепиться друг другу в глотку? Как возможно было, что люди вели себя, как фашисты, во время второй мировой войны? В основе этих конкретных соображений лежал более широкий, но в то время плохо сформулированный вопрос: каким образом зло – в особенности поощряемое группами зло – стало играть такую роль в мире?

Я отказался от традиций, которые поддерживали меня, примерно в то же самое время, когда расстался с детством. Это означало, что я не владел созданной обществом более широкой "философией", которая

способствовала бы моему пониманию, по мере того как я осознавал жизненные трудности, сопутствующие зрелости. Потребовались годы, чтобы решающие последствия этого недостатка проявились полностью. Тем временем, однако, мой зарождающийся интерес к вопросам нравственной справедливости нашёл непосредственное решение. Я принял программу умеренной социалистической партии и начал вести партийную работу.

Экономическая несправедливость была источником всего зла, насколько это меня касалось. Такая несправедливость могла быть исправлена переустройством организации общества. Я мог сыграть роль в этой замечательной революции, проводя в жизнь мои идеологические убеждения. Сомнение исчезло: моя роль была ясна. Оглядываясь назад, я изумляюсь тому, как шаблонны были мои действия и отклики на действия других. Я не мог принять предпосылки религии разумом – не мог принять их так, как я их понимал. Вследствие этого я обратился к мечтам о политической утопии и личной власти. В ту же самую идеологическую ловушку попались миллионы других, попались в недавние столетия и были ею убиты.

Когда мне было семнадцать, я покинул город, где я вырос. Я переехал в другой город поблизости и стал посещать небольшой двухлетний колледж, который предлагал курсы, не дающие возможности получить учёную степень. Там я занялся университетской политикой, которая была в то время более или менее "левой", и был выбран в совет управляющих колледжа. Совет состоял из людей политически и идеологически консервативных: адвокатов, врачей и дельцов. Все они были хорошо (или по крайней мере практически) образованы, практичны, самоуверенны, откровенны. Все совершили что-то стоящее и трудное. Я не мог не восхищаться ими, хотя я и не разделял их политических позиций. И этот факт моего восхищения ими меня расстраивал.

Я посетил несколько "левых" партийных съездов как студент-политик и активный партийный работник. Я надеялся, что буду подражать социалистическим вождям. У "левых" в Канаде была долгая и почётная история, и они привлекли к себе некоторых поистине знающих и небезразличных людей. Однако я не мог вызвать в себе большого уважения к многочисленным партийным активистам низкого уровня, которых я встречал на этих собраниях. Казалось, что они живут, чтобы жаловаться: часто, что у них нет профессии; нет семьи; нет законченного образования – ничего, кроме идеологии. Они были сварливыми, раздражительными и маленькими, во всех смыслах этого слова. Вследствие этого я столкнулся с зеркальным отражением той же трудности, с которой встретился в совете колледжа: я **не мог** восхищаться многими из тех людей, которые верили в то же самое, что и я. Это дополнительное осложнение способствовало моему жизненному замешательству.

Мой товарищ по комнате в общежитии колледжа, проницательный циник, выразил сомнение относительно моих идеологических убеждений. Он сказал мне, что мир не может быть полностью включён в границы социалистической философии. Я сам уже более или менее пришёл к этому выводу, но не позволял себе выразить это в словах. Вскоре после этого, однако, я прочёл "Дорогу на Уиган-Пирс" Джорджа Орвелла. Эта книга окончательно подорвала мои убеждения: не только мою социалистическую идеологию, но и мою веру в сами идеологические позиции. В знаменитом очерке, завершающем эту книгу (написанном для Британского клуба "левой" книги и к большому его испугу), Орвелл описал великий недостаток социализма и причину его частых неудач привлечь и удержать демократические силы (по крайней мере в Великобритании). По существу, Орвелл сказал, что на самом деле социалисты не любят бедных. Они просто ненавидят богатых.² Его мысль тотчас дошла до меня. Социалистическая идеология служила тому, чтобы скрывать обиду и ненависть, порождённые неудачей. Многие из партийных активистов, которых я встречал, использовали идеалы социальной справедливости, чтобы дать разумное объяснение своему стремлению к личной мести.

Кто был виноват в том, что я беден, или необразован, или нежеланен? Очевидно, это была вина тех, кто богат, хорошо образован и уважаем. Как же удобно совпадали потребности в личной мести и требования отвлечённой справедливости! Было бы только правильно получить возмещение от тех, кто был более удачлив, чем я.

Конечно, мои социалистические коллеги и я не собирались причинять кому-то вред – совсем наоборот. Мы собирались улучшить положение дел, но мы собирались начать с других людей. Я пришёл к тому, чтобы видеть в этой логике соблазн, очевидный недостаток, опасность, но я мог также видеть, что это не служило отличительной чертой одного только социализма. Ко всякому, кто собирался изменить мир, изменяя других, следовало относиться с подозрением. Соблазны такого подхода слишком велики, чтобы им можно было сопротивляться.

Значит, не **социалистическая** идеология создавала это осложнение, а идеология как таковая. Идеология упрощённо разделяла мир на тех, кто мыслит и поступает правильно, и тех, кто мыслит и поступает неправильно. Идеология давала возможность своему стороннику укрыться от своих

собственных неприятных и недопустимых причуд и желаний. Понимание этого расстроило мои убеждения (даже мою веру в убеждения) и те планы, которые я сформулировал вследствие этих убеждений. Я не мог больше, так сказать, отличить, кто хорош, а кто плох. Я больше не знал, кого поддерживать и с кем бороться. Это положение дел оказалось для меня очень мучительным, как с практической, так и с философской стороны. Я хотел стать адвокатом, представляющим корпорации: сдал вступительный экзамен на юридический факультет, два года слушал соответствующие предварительные курсы. Я хотел узнать обычаи моих врагов и начать политическую карьеру. Этот план провалился. Мир, очевидно, не нуждался ещё в одном адвокате, а я больше не верил, что знаю достаточно, чтобы выдавать себя за вождя.

Одновременно я разочаровался в изучении политических наук, главного предмета моих первоначальных занятий. Я выбрал эту отрасль знания для того, чтобы больше узнать о человеческих убеждениях, и из-за практических, связанных с карьерой побуждений, описанных ранее. Она оставалась для меня очень интересной, когда я был на младших курсах, где познакомился с историей политической философии. Однако когда я переехал в главный университетский городок университета Альберты, мой интерес пропал. Меня учили, что людей приводят в действие разумные силы, что человеческие убеждения и поступки определяются воздействием экономики. Это не казалось мне достаточным объяснением. Я не мог поверить (и по-прежнему не могу), что товары – например "природные богатства" – имели внутреннюю и самоочевидную ценность. При отсутствии такой ценности стоимость вещей должна определяться общественным или культурным образом (или даже лично). Это определение казалось мне **нравственным**: мне казалось, что оно является следствием нравственной философии, принятой обществом, культурой или личностью, о которых идёт речь. То, что люди ценили экономически, просто отражало то, что они считали важным. Это означало, что подлинные побуждения лежали в области ценностей, нравственности. Учёные, занимавшиеся политическими науками, у которых я учился, не видели этого или не думали, что это относится к делу.

Мои религиозные убеждения, плохо сформулированные с самого начала, исчезли, когда я был ещё очень молод. Моя уверенность в социализме, то есть политической утопии, исчезла, когда я понял, что мир не является просто местом, где действуют законы политической экономии. Моя вера в идеологию ушла, когда я начал понимать, что само идеологическое отождествление с какой-либо группой представляло глубокий и непостижимый вопрос. Я не мог принять теоретических объяснений, которые имелись налицо в избранной мною области изучения, и у меня больше не было никаких практических оснований продолжать действовать в первоначально избранном мною направлении. За три года я получил мою степень бакалавра и оставил университет. Все мои убеждения, которые придавали порядок хаосу моего существования, по крайней мере временно, оказались обманчивыми. Я больше не видел никакого смысла в сложившемся положении дел. Я был брошен на волю волн. Я не знал, что делать или что думать.

А как насчёт других? Были ли какие-нибудь основания полагать, что вопросы, которые передо мной вставали, были кем-нибудь решены каким-то приемлемым образом? Обычное поведение и отношения моих друзей и членов моей семьи не давали решения. Люди, которых я хорошо знал, были не более решительно целеустремлёнными или убеждёнными, чем я сам. Их убеждения и образ поведения, казалось, только прикрывали частые сомнения и глубокое беспокойство. Ещё более смущающим было то, что и в более общем смысле происходило нечто поистине безумное. Великие общества мира лихорадочно создавали ядерную технику с невообразимыми разрушительными возможностями. Кто-то или что-то создавал (или создавало) ужасные планы. Зачем? Теоретически нормальные и хорошо приспособленные к жизни люди прозаически занимались своим делом, как будто всё это было неважно. Почему их это не беспокоило? Разве они не обращали на это внимания? Разве не обращал на это внимания и я?

Моя обеспокоенность общим общественным и политическим безумием и злом мира, возвышенная временным увлечением утопическим социализмом и политическими интригами, вернулась с лихвой. Таинственный факт холодной войны всё больше и больше выходил на передний план моего сознания. Как могли дела дойти до такого?

**История – это просто сумасшедший дом,
она перевернула все камни,
и её очень тщательное прочтение
оставляет тебе мало того, что неизвестно.**

Я не мог понять гонки ядерных вооружений: что могло стоить того, чтобы подвергать опасности уничтожения не только настоящее, но и будущее, и прошлое? **Что могло бы оправдать угрозу полного уничтожения всего?**

Лишённому решений, мне, по крайней мере, был дан дар постановки вопросов.

Я вернулся в университет и начал изучать психологию. Под руководством одного чудака, адъюнкт-профессора в университете Альберты, я посещал наиболее охраняемую тюрьму на окраине Эдмонта. Тюрьма была полна убийц, насильников и осуждённых за вооружённый грабёж. Во время моего первого разведывательного посещения её я в конце концов оказался в гимнастическом зале, около весовой комнаты. Я носил тогда длинную шерстяную накидку образца примерно 1890 года, которую купил в Португалии, и пару кожаных сапог. Психолог, который сопровождал меня, исчез и оставил меня одного. Скоро меня окружили какие-то люди низкого пошиба. Некоторые из них были исключительно крупного телосложения и выглядели как хулиганы. Один в особенности выступает в моей памяти. Он был исключительно мускулист, а вся его голая грудь была покрыта татуировкой. У него был ужасный шрам, доходящий до середины его туловища, от ключицы до верхней части живота. Может быть, он перенёс операцию сердца. Или это была рана, нанесённая топором. Во всяком случае, человека меньших размеров, вроде меня, такое ранение бы убило.

Некоторые из заключённых, которые не были особенно хорошо одеты, предлагали поменяться со мной одеждой. Это не показалось мне очень уж выгодной сделкой, но я не знал, как мне отказаться. Судьба, в образе низенького, тощего, бородатого человечка, спасла меня. Он подошёл ко мне – сказал, что его послал психолог, – и попросил меня следовать за ним. Он был просто человек, и многие другие (гораздо более крупного телосложения) окружали в тот момент меня и мою накидку. Поэтому я поймал его на слове. Он вывел меня за двери гимнастического зала и дальше во двор тюрьмы, всё время спокойно и разумно говоря о чём-то безобидном (не могу вспомнить о чём). Я с надеждой продолжал бросать беглые взгляды на открытые двери позади нас, в то время как мы уходили от них всё дальше и дальше. В конце концов появился мой руководитель и поманил меня назад. Мы оставили бородатого заключённого и пошли в какой-то уединённый кабинет. Психолог сказал мне, что безобидно выглядящий человечек, который сопровождал меня из гимнастического зала, хладнокровно убил двух полицейских, после того как заставил их копать себе могилы. У одного из полицейских были маленькие дети, и он, когда это делал, умолял пощадить его жизнь ради них, по крайней мере согласно собственному свидетельству его убийцы.

Это действительно потрясло меня.

Я, конечно, читал о событиях такого рода, но для меня они никогда не становились **подлинными**. Я никогда не встречал никого, кто даже косвенно был причастен к чему-то подобному; никогда не сталкивался ни с кем, кто действительно совершил нечто столь ужасное. Как мог тот человек, с которым я говорил – который был настолько очевидно нормальным (и, по-видимому, настолько незначительным), – совершить такое ужасное дело?

Некоторые из курсов, которые я посещал в это время, читались в больших лекционных залах, где студенты рассаживались спускающимися рядами, ряд за рядом. На одном из этих курсов – он назывался достаточно уместно "Введение в клиническую психологию" – я испытывал время от времени повторяющееся неотразимое желание. Я, бывало, садился на место позади какого-либо ни о чём не подозревающего студента и слушал, что говорит профессор. В какой-то момент во время лекции я неизменно чувствовал побуждение вонзить кончик моей ручки в шею того, кто сидел передо мной. Это побуждение, к счастью, не было непреодолимым, но оно было достаточно сильно, чтобы беспокоить меня. У какого же ужасного человека появлялось бы такое побуждение? Не у меня. Я никогда не был напористым. В течение большей части моей жизни я был меньше ростом и младше моих одноклассников.

Я вернулся в тюрьму через месяц с чем-то после моего первого посещения. Во время моего отсутствия двое заключённых напали на третьего, подозреваемого в том, что он доносчик. Они связали или как-то иначе удержали его и раздробили ему ногу свинцовой трубой. Я был ещё раз захвачен врасплох, но на этот раз я попробовал что-то другое. Я попытался представить, **действительно представить себе**, на что я должен был быть похож, чтобы сделать такое. Я сосредоточивался на этой задаче день за днём и испытал пугающее откровение. Поистине пугающая сторона такой жестокости состояла не в её невозможности или отдалённости, как я простодушно предполагал, а в её **лёгкости**. Я не сильно отличался от прибегших к насилию заключённых, не отличался от них **качественно**. Я мог сделать то же, что и они (хотя и не сделал этого).

Это открытие поистине расстроило меня. Я не был тем, кем я думал, что являюсь. Удивительно, однако, что желание вонзить в кого-то мою ручку пропало. Бросая взгляд в прошлое, я сказал бы, что

побуждение к определённому поведению проявилось в ясном знании – преобразовалось от чувства и образа к конкретному осуществлению – и не имело дальнейшего "основания", чтобы существовать. "Побуждение" появлялось только из-за вопроса, на который я пытался ответить: "Как могут люди делать другим что-то ужасное?" Конечно, я имел в виду **других** людей, **плохих людей**, но я по-прежнему задавал этот вопрос. У меня не было оснований предполагать, что я получу предсказуемый или лично для меня бессмысленный ответ.

В то же самое время что-то странное происходило с моей способностью беседовать. Я всегда получал удовольствие от споров, независимо от темы. Я рассматривал их как своего рода игру (не то чтобы это было единственным в своём роде явлением). Внезапно, однако, я больше не мог говорить: вернее сказать, я не мог больше **выносить слушать, как я говорю**. Я начал слышать "голос" внутри моей головы, делающий замечания относительно моих мнений. Каждый раз, когда я что-либо говорил, он тоже говорил что-нибудь, что-нибудь критическое. "Голос" обычно использовал припев, произносимый несколько скучающим и сухим тоном:

Ты в это не веришь.

Это неправда.

Ты в это не веришь.

Это неправда.

"Голос" употреблял такие замечания по отношению к почти каждой фразе, которую я произносил.

Я не знал, как это понимать. Я знал, что источник замечаний – часть самого меня (я не был шизофреником), но это знание лишь увеличивало моё замешательство. **Какая** именно часть **была** мною: **говорящая** или **критикующая**? Если это была говорящая часть, то чем была критикующая? Если же это была критикующая часть, ну тогда: как могло в сущности всё, что я говорил, быть неверным? В своём неведении и смущении я решил произвести опыт. Я пытался говорить только то, что мой внутренний обозреватель примет не оспаривая. Это значило, что я действительно должен был слушать то, что я говорил, что я говорил гораздо менее часто и что я часто останавливался посреди предложения, чувствовал смущение и переформулировал свои мысли. Я скоро заметил, что чувствовал себя гораздо менее взволнованно и более уверенно, когда говорил только то, против чего не возражал бы "голос". Это дало какое-то облегчение. Мой опыт оказался успешным: я был критикующей частью. Тем не менее мне потребовалось долгое время, чтобы примириться с мыслью, что почти все мои мысли не были настоящими, не были истинными или, по крайней мере, не были моими.

Все идеи, в которые я "верил", звучали хорошо, восхитительно, почтенно, мужественно. Однако они не были моими: я их украл. Большинство из них я взял из книг. Отвлечённо "поняв" их, я полагал, что у меня есть право на них, полагал, что могу принять их, как если бы они были моими: полагал, что они были **мною**. Моя голова была до отказа забита мыслями других, забита доводами, которые я не мог логически опровергнуть. Я не знал тогда ни того, что неопровержимый довод не обязательно правилен, ни того, что право отождествлять себя с некоторыми идеями надо ещё заработать.

Примерно в это же время я прочёл что-то написанное Карлом Юнгом, что помогло мне понять свои переживания. Именно Юнг сформулировал понятие **персоны** – маски, которая "притворяется личностью"³. Согласно Юнгу, принятие такой маски позволяет каждому из нас – и тем, кто вокруг нас, – поверить, что мы являемся подлинными. Юнг говорил:

"Когда мы анализируем персону, мы срываем маску и обнаруживаем, что то, что казалось личным является по сути коллективным: иными словами, что персона была только маской коллективной души. В основе своей персона не есть нечто действительное: это компромисс между личностью и обществом относительно того, как должен выглядеть человек. Он принимает имя, заслуживает звание, выполняет обязанность, он есть то или это. В некотором смысле всё это реально, и всё же в отношении существенной личности человека, кого это касается, это только вторичная реальность, компромиссное соглашение, в создании которого другие часто играли большую роль, чем он. Персона – это подобие, двумерная реальность, если надо давать ей прозвище".⁴

Несмотря на мою лёгкость в обращении со словами, я не был подлинным. С этим трудно было согласиться.

Мне начали сниться совершенно невыносимые сны. До этого момента, насколько я помню, моя жизнь во сне была бедна событиями. Более того, я был лишён наглядного воображения. Тем не менее

мои сны стали столь ужасными и настолько эмоционально захватывающими, что я часто боялся ложиться спать. Мне снились сны, живые, как жизнь. Я не мог ни убежать от них, ни не обращать на них внимания. В общем, они сосредоточивались вокруг одной темы – темы ядерной войны и полного опустошения, вокруг величайших бедствий, которые я (или что-то во мне) мог вообразить, как например в следующем сне.

Мои родители жили в стандартном доме типа ранчо в буржуазном районе небольшого города в северной Альберте. Я сидел в гостиной затемнённого полуподвала этого дома и смотрел телевизор с моей двоюродной сестрой Дианой, которая поистине была – в мире бодрствования – прекраснейшей женщиной, которую я когда-либо видел. Внезапно диктор прервал программу. Изображение и звук исказились, и экран заполнили атмосферные помехи. Сестра встала и подошла к телевизору проверить электрический провод. Она коснулась его и тут же начала корчиться в судорогах, поражённая сильным током, на губах у неё появилась пена.

Яркая вспышка света из окошка залила полуподвал. Я бросился наверх. От верхнего этажа дома ничего не осталось. Он был полностью и начисто срезан: от него остался только пол, который служил крышей полуподвалу. Красный и оранжевый огонь заполнял всё небо, от горизонта до горизонта. Насколько я мог видеть, ничего не осталось, кроме скелетообразных развалин, торчащих здесь и там: ни домов, ни деревьев, ни следа других людей или вообще какой-нибудь жизни. Весь город и всё, что окружало его на ровной степи, были полностью стёрты с лица земли.

Начался сильный дождь. Грязь покрыла всё, и земля стала коричневой, мокрой, ровной и тусклой, а небо серым, даже свинцовым. Немногие люди, контуженные и обезумевшие, начали собираться вместе. Они несли консервные банки с едой. Банки были с вмятинами и без наклеек. В них ничего не было, кроме маисовой каши и овощей. Люди стояли в грязи, истощённые и взбешённые. Появились какие-то собаки. Они появились из-под лестницы, ведущей в полуподвал, где они необъяснимым образом поселились. Собаки стояли прямо, на задних лапах. Они были худые, как борзые, и у них были заострённые носы. Они выглядели как создания, принимающие участие в каком-то обряде, как Анубис из египетских могил. Они несли перед собой тарелки, на которых лежали куски обожжённого мяса. Они хотели обменять мясо на консервные банки. Я взял тарелку. Посередине неё лежал круглый кусок мяса четырёх дюймов в поперечнике и толщиной в один дюйм, с мозговой костью в центре. Откуда он взялся?

У меня возникла ужасная мысль. Я бросился вниз к моей сестре. Собаки безжалостно убили её и предлагали её мясо уцелевшим после бедствия.

Мне снились апокалиптические сны такой силы в течение года или больше, два или три раза в неделю, в то время как я посещал университетские курсы и работал, как будто ничего необычного не происходило в моей душе. Однако в ней творилось что-то непонятное. На меня одновременно воздействовали события в двух "плоскостях". В первой "плоскости" находились обычные, предсказуемые, повседневные происшествия, общие для меня и всех остальных. На второй "плоскости", однако, появлялись (единственно для меня, или я так думал) ужасные образы потрясающей эмоциональной силы. Этот субъективный мир, к которому все обычно относились как к обманчивому – как мне казалось в то время, – каким-то образом простирался за миром, который все знали и к которому относились как к реальному. Но что означало это слово **реальный**? Чем более внимательно я всматривался, тем менее понимал происходящее. Где **было** реальное? Что лежало в основе всего? Я чувствовал, что не смогу жить дальше, не зная этого.

Мой интерес к холодной войне превратился в подлинную одержимость. Я думал об убийственной и самоубийственной подготовке этой войны каждую минуту каждого дня, с того мгновения, когда я проснулся, до той секунды, когда я ложился в постель. Как могло возникнуть такое положение дел? Кто был за это в ответе?

Мне снилось, что я бегу по стоянке машин какого-то торгового центра, пытаюсь убежать от чего-то. Я бежал через стоящие машины, открывая одну дверь, проползая через переднее сиденье, открывая другую дверь, переходя к следующей машине. Двери одной из машин внезапно захлопнулись. Я находился на пассажирском сиденье. Машина начала двигаться

сама собой. Чей-то голос произнёс грубо: "Отсюда нет пути". Я путешествовал, ехал куда-то, куда я не хотел ехать. Я не был водителем.

Я стал очень подавленным и озабоченным. У меня появлялись смутные мысли о самоубийстве, но, по большей части, я просто желал, чтобы всё провалилось к чёрту. Мне хотелось лечь на кушетку и буквально погрузиться в неё так, чтобы только мой нос высовывался наружу, как трубка ныряльщика над поверхностью воды. Положение дел казалось невыносимым.

В один прекрасный вечер я, сердитый и чувствующий отвращение к самому себе, поздно пришёл домой с университетской вечеринки с выпивкой. Я набросал резкое, грубое изображение распятого Христа – свирепо смотрящее и демоническое – с очковой змеёй, обернувшейся, как пояс, вокруг его обнажённого тела. Изображение обеспокоило меня, поразило меня, несмотря на моё неверие, как кощунственное. Однако я не знал, что оно означает или почему я его нарисовал. Откуда оно взялось?⁵ Я годами не обращал никакого внимания на религию. Я спрятал рисунок под какой-то старой одеждой в своём шкафу и сел на пол по-турецки. Я опустил голову. В эту минуту мне стало ясно, что во мне не развито настоящее понимание ни себя, ни других. Всё, касающееся природы общества и меня самого, во что я когда-то верил, оказалось ложным, мир явно обезумел, и что-то странное и пугающее происходило у меня в голове. Джеймс Джойс сказал: "История – это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться"⁶. Для меня история буквально **была** кошмаром. Больше всего в эту минуту мне хотелось проснуться и избавиться от моих ужасных снов.

С тех пор я всё время пытался понять человеческую способность, **мою способность**, ко злу – в особенности ко злу, связанному с убеждениями. Я начал с попытки разобраться в своих снах. В конце концов, я не мог не обращать на них внимания. Может быть, они пытались мне что-то открыть? Я ничего не терял, допуская такую возможность. Я прочёл "Толкование сновидений" Фрейда и нашёл эту книгу полезной. Фрейд, по крайней мере, занимался этим серьёзно, но я не мог рассматривать свои кошмары как исполнения желаний. Более того, они казались по своей природе более **религиозными**, чем половыми. Я смутно знал, что Юнг разработал свою теорию мифов и религии, поэтому я начал перечитывать его произведения. Тому, до чего он додумался, учёные, которых я знал, мало доверяли, но они не особенно интересовались снами. Я не мог не интересоваться моими снами. Они были настолько напряжёнными, что я думал, что они сведут меня с ума. (Какой у меня был выбор? Считать, что ужасы и боль, которую они мне причиняли, были **не реальными**? Ничто не является более реальным, чем ужас и боль.)

Долгое время я не мог понять, куда клонит Юнг. Он доказывал что-то, чего я не мог понять, говорил на языке, которого я не понимал. Время от времени, однако, его утверждения доходили до меня. Например, он предлагал моему вниманию такое наблюдение:

"Следует допустить, что типичное содержание коллективного бессознательного может часто принимать во снах и игре воображения гротескный и ужасный вид, так что даже самый прожжённый рационалист не является невосприимчивым к потрясающим кошмарам и навязчивым страхам".⁷

Вторая часть этого утверждения несомненно казалась применимой ко мне, хотя первая ("типичное содержание коллективного бессознательного") оставалась таинственной и непонятной. И всё же это что-то обещало. Юнг, по крайней мере, признавал, что происходившее со мной **могло происходить**. Более того, он предлагал вниманию читателя кое-какие намёки, насчёт того, какова его причина. Я продолжал его читать. Скоро я натолкнулся на следующее предположение. В нём можно было найти решение задач, стоявших передо мной, или хотя бы ссылку:

"Психологическое разъяснение образов (сна и игры воображения), которые нельзя обойти молчанием или слепо не обращать на них внимания, логически ведёт в глубины религиозной феноменологии. История религии в её широчайшем смысле (включающая поэтому мифологию, фольклор и психологию первобытных людей) – это сокровищница типичных форм, из которых врач может черпать полезные соответствия и проливающие свет сравнения с целью успокоения и прояснения сознания, не знающего, что делать. Совершенно необходимо снабжать эти фантастические образы, которые столь странно и угрожающе встают перед мысленным взором, некоторого рода обрамлением, с тем чтобы они стали более понятными. Опыт показал, что наилучший способ это делать состоит в том, чтобы использовать сравнительно-мифологический материал".⁸

По сути, именно изучение "сравнительно-мифологического материала" заставило мои ужасные сновидения исчезнуть. "Излечение", вызванное этим занятием, было, однако, приобретено ценой полного и часто болезненного преобразования: то, во что я верю теперь – и как я вследствие этого поступаю, – настолько расходится с тем, во что я верил, когда был моложе, что я мог бы с тем же успехом быть совершенно другим человеком.

Я обнаружил, что убеждения очень реально составляют мир, что убеждения **и есть** мир в более чем метафизическом смысле. Это "открытие", однако, не превратило меня в нравственного релятивиста, совсем наоборот. Я убедился, что мир-как-убеждение упорядочен: что существуют всеобщие нравственные абсолюты (хотя они устроены так, что различие человеческих мнений является и возможным, и полезным). Я полагаю, что личности и общества, которые – по невежеству или из умышленной вражды – попирают эти абсолюты, обречены на нищету и конечный распад.

Я узнал, что смысл самых глубоких оснований систем убеждений может быть представлен в ясном и понятном виде, даже для недоверчивого рассудочного мыслителя, и что переданный таким образом он может быть пережит как захватывающий, глубокий и необходимый. Я узнал, почему люди ведут войну – почему желание поддерживать, защищать и расширять область убеждений оказывается побудительной причиной даже самого непонятного угнетения и жестокости, поощряемых группами, – и что можно было бы сделать, чтобы изменить эту склонность к лучшему, несмотря на её всеобщность. Я, в конце концов, узнал, что ужасная сторона жизни может на самом деле быть необходимой предпосылкой существования жизни и что вследствие этого можно рассматривать эту предпосылку как понятную и приемлемую. Я надеюсь, что смогу привести тех, кто читает эту книгу, к тем же самым выводам, не требуя от них никакой необоснованной "приостановки критического суждения", кроме необходимого знакомства с доводами, которые я представляю, и их рассмотрения. Эти доводы могут быть подытожены следующим образом.

Мир может быть правильно истолкован как место действия, равно как и вместилище предметов. Мы описываем мир как вместилище предметов, используя формальные методы науки. Однако различные способы повествования – миф, литература и драма – изображают мир как место действия. Эти два вида представления излишне противопоставлялись друг другу, потому что мы ещё не выработали ясного представления о соответствующих им областях. Область первого – это "объективный мир", то есть то, что есть с точки зрения межличностного восприятия. Область второго – это "мир ценностей", то есть то, что есть и что должно быть с точки зрения чувства и действия.

Мир как место действия, по существу, "состоит" из трёх составляющих, которые проявляются в типичных образцах метафорического представления. Первая из них есть область неисследованного – Великая Мать, природа, творящая и губящая, источник и место конечного упокоения всех определённых вещей. Вторая – это область исследованного, Великий Отец, культура, защитная и деспотическая, накопленная наследственная мудрость. Третья – процесс, который служит связующим звеном между областями исследованного и неисследованного, Божественный Сын, первообразная личность, творящее исследовательское "Слово" и его мстительный противник. Мы столь же приспособлены к этому "миру божественных героев", как и к "объективному миру". Сам факт этого приспособления влечёт, что окружающая нас среда есть в "действительности" место действия, равно как и вместилище предметов.

Незащищённость перед областью неисследованного вызывает страх. Личность обычно защищена от такого страха "ритуальным подражанием Великому Отцу", принятием принадлежности к группе, которая ограничивает смысл происходящего и придаёт предсказуемость взаимодействиям в обществе. Однако когда отождествление с группой её членов делается полным – когда всё должно контролироваться, когда неизвестному больше не позволено существовать, – творческий исследовательский процесс, который обновляет группу не может больше проявляться. Это "ограничение способности к приспособлению" резко увеличивает в обществе вероятность вызывающего поведения и хаоса.

Непринятие неизвестного равносильно "отождествлению себя с дьяволом", мифологическим двойником и вечным противником творящего мир героя-исследователя. Такие непринятие и отождествление являются следствием сатанинской гордыни, которая заявляет: всё, что я знаю, есть всё, что надо знать. Эта гордыня есть всеохватывающее присвоение себе всеведения – занятие "места Бога" "разумом", – есть нечто, неизбежно порождающее состояние личного и общественного бытия, неотличимое от ада. Этот ад развивается потому, что творческое исследование, невозможное без (смирненного) признания неизвестного, представляет собой процесс, который создаёт и

поддерживает организацию защитного приспособления, придающую жизни многое из её приемлемого смысла.

"Отождествление себя с дьяволом" увеличивает опасности, свойственные отождествлению себя с группой, которое склонно к самопроизвольному болезненному обесмысливанию всего. Верность личным интересам – субъективному смыслу – способна служить противоядием непреодолимому соблазну отрицания аномалии. Личный интерес – субъективный смысл – открывается на границе областей исследованного и неисследованного и служит признаком участия в процессе, который обеспечивает непрерывное здоровое приспособление личности и общества к окружающей среде.

Верность личным интересам равносильна отождествлению с типичным героем – "спасителем", – который поддерживает свою связь с творящим "Словом" перед лицом смерти и несмотря на давление со стороны группы, требующей, чтобы он ей подчинялся. Отождествление себя с героем способствует понижению невыносимо побуждающей способности неизвестного. Более того, оно даёт личности точку зрения, которая одновременно выводит её за пределы её группы и поддерживает эту группу.

Подобное краткое изложение выводов предшествует каждой главе и главке. Прочитанные как целое, они заключают в себе полную, но сжатую "картину" этой книги. Они должны быть прочитаны сразу же после этого предисловия. Таким образом краткое содержание книги как целого, которое я предлагаю вниманию читателя, может ускорить понимание её частей.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. КАРТЫ ОПЫТА: ПРЕДМЕТ И СМЫСЛ

Мир может быть правильно истолкован или как место действия, или как вместилище предметов.

Первый способ истолкования – более первобытный и менее ясно понимаемый – находит своё выражение в искусствах или гуманитарных науках, в ритуале, драме, литературе и мифологии. Мир как место действия есть место оценки, место, где всё имеет смысл. Этот смысл, который возникает в результате взаимодействия людей в обществе, является следствием действия, или – на более высоком уровне анализа – следствием формы истолковательной схемы, вызывающей действие или руководящей им.

Второй способ истолкования – мир как вместилище предметов – находит своё внешнее выражение в научных методах и теориях. Наука допускает всё более и более точное определение согласованно устанавливаемых свойств вещей и эффективное использование точно определённых предметов как орудий труда, как только направление такого использования определено посредством применения более фундаментальных повествовательных процессов. Никакая законченная картина мира не может быть получена без использования обоих способов истолкования. То, что один из этих способов обычно не согласуется с другим, означает только одно: что люди по-прежнему недостаточно умеют различать природу соответствующих им областей применимости. Приверженцы мифологического мировоззрения склоняются к тому, чтобы рассматривать утверждения своих "символов веры" как неотличимые от наблюдаемой в опыте действительности, хотя такие утверждения были, как правило, сформулированы задолго до того, как возникло понятие объективной реальности. Те, кто, напротив, смотрит на мир с научной точки зрения – кто предполагает, что она полна или может стать полной, – забывают, что в настоящее время то, что есть, и то, что должно быть, разделены непроходимой пропастью.

Мы должны знать четыре вещи:

- 1) что есть,
- 2) что делать, с тем, что есть,
- 3) то, что есть разница между знанием того, что есть, и знанием того, что делать, с тем, что есть, и
- 4) в чём эта разница состоит.

Исследовать нечто, открыть, "что это такое", – самое существенное из того, что оно означает, значит открыть его значение для движения, производимого после такого открытия в пределах конкретной общественной ситуации, и только в более частных случаях значит определить его точную объективную чувственную или материальную природу. Это и есть знание и часто этого знания достаточно.

Представим себе, что девочка-младенец, учащаяся ходить, в ходе своих первоначальных пробных исследований дотягивается до верха полки, чтобы прикоснуться к хрупкой и дорогой стеклянной статуэтке. Она замечает её цвет, видит её блеск, наощупь определяет, что та гладкая, холодная и тяжёлая. Внезапно вмешивается её мать, хватая девочку за ручку, говорит ей, что она никогда **не должна прикасаться** к этому предмету. Ребёнок только что узнал о статуэтке какое-то количество особенно важных признаков, определил какие-то её чувственные свойства. Более важно, что девочка узнала, что её общее отношение к статуэтке было неправильно, что та опасна (по крайней мере в присутствии её матери); обнаружила также, что та ценится более высоко в её нынешнем неизменённом виде, чем её собственная тяга к исследованию, по крайней мере (ещё раз) её матерью. Девочка-младенец одновременно столкнулась с предметом, рассматриваемым с опытной точки зрения, **и его общественно и культурно определённым статусом**. Предмет опыта можно рассматривать как набор тех чувственных свойств, которые являются для него существенными. **Статус предмета**, в противоположность этому, состоит в его смысле, в его значении для поведения. Всё, с чем сталкивается ребёнок, обладает этой двойственной природой, воспринимаемой ребёнком как часть единой целостности. Всё на свете **есть** нечто и нечто **означает**, и различие между сущностью и значением не обязательно чётко проведено.

Значение чего-либо, определяемое в действительности как следствие исследовательской деятельности, которой занимались где-то по соседству, имеет "естественную" склонность уподобляться самому предмету. В конце концов, предмет есть ближайшая причина (раздражитель), которая "вызывает" действие, осуществляемое в его присутствии. Для людей, действующих естественно, как ребёнок, то, что нечто означает, является более или менее неотъемлемой **частью** предмета, частью его волшебства. Это волшебство, конечно, вызывается пониманием определённого культурного и межличностного значения предмета, а не его объективно определяемыми чувственными качествами. Всякий поймёт ребёнка, который говорит: "Я вижу жуткого человека". Это описание непосредственно и конкретно, хотя ребёнок приписывает предмету восприятия, по существу, субъективные качества. В конце концов, трудно понять субъективную природу страха и не считать угрозой частью "реального" мира.

Непроизвольное приписывание "значения" "предметам", изначальная неспособность различать между тем и другим – черта, свойственная повествованию, мифу, а не научной мысли. Повествование точно схватывает природу необработанного опыта. Предметы **являются** жуткими, люди – раздражающими, события – многообещающими, еда **утоляет** голод, по крайней мере с точки зрения нашего основного опыта. Современный ум, который считает себя переступившим пределы области волшебного, тем не менее бесконечно способен, по-прежнему, на "неразумные" (читай мотивированные чем-то вне разума) реакции. Мы подпадаем под обаяние наших переживаний всякий раз, когда мы связываем наши разочарование, агрессивность, увлечение или страсть с лицом или обстановкой, которые являются ближайшей "причиной" подобного возбуждения. Мы всё ещё не "объективны", даже в минуты самого большого умственного прояснения (и слава Богу!). Мы тотчас же погружаемся в кинофильм или в чтение романа и охотно приостанавливаем наше недоверие. На нас вопреки нашей воле производит впечатление (или нас приводит в ужас) присутствие достаточно сильнодействующего культурного символа: властителя дум, сверхзвезды спорта, киноактёра, политического вождя, папы римского, знаменитой красавицы, даже нашего начальника по работе – присутствие всякого, кто достаточно воплощает в своём лице часто подспудные ценности и идеалы, которые защищают нас от беспорядка и ведут нас вперёд. Как человеку средневековья, нам даже не нужна личность, чтобы это вызывать. Достаточно изображения. Мы платим огромные суммы денег за предметы одежды, которые носили славные или бесславные люди нашего времени, или предметы личного обихода, которыми они пользовались или которые они создали.⁹

"Естественный", донаучный или мифологический ум, озабочен **прежде всего** смыслом вещей, т.е., по сути, их смыслом для действия, а не их "объективной" природой. Предмет внешнего мира, понятие о котором создано современным, научным сознанием, мог бы показаться тем, кто пребывает во власти мифологического воображения, (если бы они вообще смогли бы его "увидеть"), не имеющей отношения к делу пустой оболочкой – тем, что остаётся после того, как всё внутренне важное было удалено. Для человека донаучных представлений предмет – это, поистине, главным образом, значение его чувственных качеств, как они испытываются в субъективном переживании, – то есть в аффекте, или эмоции. В действительности, знать, чем нечто **является**, по-прежнему означает представлять его **мотивационную уместность** и особенности его природы, его чувственных качеств. Эти два качества не тождественны: переживание и запечатление первого обязательно предшествует развитию последнего. Эмоциональное воздействие предмета должно привлечь достаточно внимания, чтобы его исследовали и нанесли на карту в соответствии с его чувственными свойствами. Эти чувственные свойства – предмет первостепенной важности для эмпирика – осмысливаются лишь постольку, поскольку они служат указаниями для

определения особой эмоциональной уместности или поведенческого значения. Нам нужно знать, чем **являются** предметы не ради чистого знания, а для того, чтобы **понимать, что они значат** для нашего поведения.

Потребовались столетия твёрдого порядка и воспитания ума – воспитания религиозного, первично научного и научного, – чтобы произвести на свет ум, способный сосредоточиваться на явлениях, которые не захватывают тотчас же внимание, ум, который парадоксальным образом рассматривает **реальное** как нечто отделимое от **относящегося к делу**. С другой стороны, миф ещё не исчез полностью из науки, посвящённой развитию человечества, и именно он даёт возможность учёному сохранять непотускневшую восторженность, когда он бесконечно изучает, скажем, плодовых мух.

Как именно люди мыслили, не так уж давно, прежде чем они стали экспериментаторами? Чем были предметы, прежде чем они стали объективными предметами? Это очень трудные вопросы. "Предметы", которые существовали до развития экспериментальной науки, не представляются современному уму действительными ни как предметы, ни как смыслы предметов. Вопрос о природе вещества **sol**, то есть солнца – если взять только один пример, – занимал умы тех, кто занимался доэкспериментальной "наукой" алхимией сотни лет. Мы, вероятно, даже и не предполагаем, что солнце состоит из однородного вещества, которое имеется только на нём, и мы, несомненно, отрицали бы те свойства, которые приписывались этому гипотетическому элементу средневековыми алхимиками, если бы и допустили его существование. Алхимические представления **sol** тщательно изучались Карлом Юнгом в течение многих лет:

"... солнце символизирует прежде всего золото и обозначается одинаково с ним.

Но точно так же, как «философское» золото не есть то же, что «простое» золото, так и солнце в данном случае не является ни обычным металлическим золотом, ни только небесным телом. Иногда солнце проявляется как активная субстанция, скрытая в золоте, и выделяется в виде ***tinctoria rubra*** (красной жидкости). Иногда, как небесное тело, оно испускает магически действенные и преобразующие лучи. Как золото и небесное тело, оно содержит активную серу красного цвета, горячую и сухую. Из-за этой красной серы солнце алхимиков, подобно алхимическому золоту, – красное. Как было известно каждому алхимику, золото обязано своим красным цветом примеси Cu (меди), которая интерпретируется как Киприда (Киприана, Венера), упоминаемая греческими алхимиками в связи с преобразующей субстанцией. Краснота, жар и сухость, являются классическими свойствами египетского Сета (греческого Тифона), то есть враждебного принципа, который, подобно алхимической сере, тесно связан с дьяволом. И так же, как царство Тифона находится в запретном море, так и солнце, как «**sol centralis**», имеет своё море, свою «материальную видимую воду», а как «**sol coelestis**» – свою «тонкую неразличимую воду». Эта морская вода (*aqua pontica*) выделяется из солнца и луны...

Активная солнечная субстанция также обладает благоприятным эффектом. Как так называемый "бальзам" она истекает из солнца и производит лимоны, апельсины, вино, а в царстве минералов – золото..."¹⁰

Мы едва можем понять это описание, загрязнённое воображаемыми и мифологическими связями, свойственными средневековому уму. Но именно это фантастическое загрязнение делает алхимическое описание заслуживающим рассмотрения не с точки зрения истории науки, занимающейся исследованием устаревших объективных представлений, а с точки зрения психологии, сосредоточивающейся на толковании субъективных точек зрения.

"В нём (Индийском океане) суть образы неба и земли, лета, осени, зимы и весны, мужчины и женщины. Если ты назовёшь их духовными, то поступишь верно, если телесными – то скажешь правду, если небесными – то не солжёшь, если земными – то будешь прав"¹¹. Алхимик не мог отделить свои субъективные представления о природе вещей – то есть свои **гипотезы** – от самих "вещей". В свою очередь, его гипотезы – продукты его воображения – были получены из неоспариваемых и нераспознанных "объяснительных" предположений, которые составляли его культуру. Средневековый человек жил, например, в мире, который был **нравственным**, в мире, где всё, даже руды и металлы, прежде всего, стремилось к совершенству.¹² В уме алхимика предметы связывались в большой степени с их **нравственной** природой – их воздействием на то, что мы описали бы как аффекты, эмоции или побуждения. Именно поэтому они рассматривались с точки зрения своей **уместности** или **ценности** (то есть воздействия на эмоции). Описание этой уместности принимало повествовательную форму, форму мифа, – как в примере, взятом из Юнга, где сере, содержащейся в солнечной сущности, приписывались

отрицательные, демонические свойства. Великий подвиг науки – отделение **эмоций** от **чувственного восприятия** и описание опытов в выражениях, понимаемых всеми одинаково. Дело, однако, обстоит так, что эмоции, вызванные опытом, также **реальны**. Алхимики, чьи представления изучаемых предметов смешивали эмоции со смыслом, обходились с эмоциями как с чем-то само собой разумеющимся (хотя они и не "знали" их, в буквальном смысле). Мы устранили эмоции из предметов и можем поэтому блестяще на них воздействовать. Мы, однако, по-прежнему являемся жертвами непонятых эмоций, вызываемых предметами, мы сказали бы, в присутствии предмета. Мы утратили мифологический мир донаучного ума или, по крайней мере, перестали способствовать его развитию. Это оставило нашу возросшую техническую мощь в становящейся всё более опасной власти наших по-прежнему бессознательных систем оценки.

До времён Декарта, Бэкона и Ньютона человек жил в одушевлённом, духовном мире, насыщенном смыслом, исполненном нравственной цели. Природа этой цели открывалась в историях, которые люди рассказывали друг другу, – историях об устройстве вселенной и месте в ней человека. Но теперь мы мыслим, полагаясь на опыт (думаем, что так мыслим), и духи, когда-то населявшие мир, исчезли. Силы, выпущенные на волю с развитием эксперимента, произвели опустошение внутри мифологического мира. Юнг пишет:

"Каким совершенно отличным казался мир средневековому человеку! Земля для него была вечно неподвижной и находилась в покое в центре вселенной, и вокруг неё двигалось Солнце, которое заботливо дарило ей своё тепло. Все люди были детьми Божьими и пользовались любящей заботой Всевышнего, который готовил их к вечному блаженству; и все точно знали, что они должны делать и как им следует себя вести, чтобы восстать из подверженного порче мира к неподверженному порче и радостному существованию. Такая жизнь больше не кажется нам реальной, даже во сне. Естественная наука давным-давно изорвала это прекрасное покрывало в клочки".¹³

Даже если средневековый человек не был всегда полностью и любяще восхищён своими религиозными верованиями (он, например, крепко верил в Ад), его не слишком беспокоило изобилие сомнений и нравственных неопределённостей, которые осаждают его современного потомка. Религия для донаучного ума была не столько делом веры, сколько реальной действительностью, а это означает, что господствующая религиозная точка зрения была не просто одной из многих неотразимых теорий.

Эта способность сохранять явную веру в религиозные "факты" была, однако, сильно подорвана за последние несколько столетий: сначала – на Западе, а потом – повсюду в других местах. Великие учёные и борцы с предрассудками наглядно показали, что вселенная не вращается вокруг человека, что наше представление о своём особом положении среди животных и нашем "превосходстве" над ними не имеют оснований в опыте и что нет Бога на небе (и даже нет и неба, насколько может видеть глаз). Вследствие этого мы больше не верим в свои собственные истории, больше не верим и в то, что эти истории хорошо служили нам в прошлом. Революционные научные открытия – Галилеевы горы на Луне, Кеплеровы эллиптические орбиты планет – появились как явное нарушение мифологического порядка, действительно основанного на предположении о небесном совершенстве. Новые явления, вызванные процедурами экспериментаторов, не укладывались в рамки установленной традиции: с её точки зрения они не могли **существовать**. Более того, новые теории, разработанные для понимания данной в опыте действительности, разрушали целостность традиционных представлений, придававших миру определённый смысл. В центре мифологической вселенной находился человек. Объективная вселенная была сначала гелиоцентрической, а потом и Солнце перестало быть её центром. Современный человек больше не занимает главного места во вселенной. Мир теперь представляется совершенно другим.

Мифологическая точка зрения была ниспровергнута эмпирической. Это должно означать, что мораль, основанная на этом мифе, должна была исчезнуть, так же как исчезла вера в удобную иллюзию. Фридрих Ницше чётко изложил суть этого переворота более ста лет назад:

"Отрекаясь от христианской веры, выдёргиваешь этим у себя из под ног **право** на христианскую мораль... Христианство есть система, сообразованное и **цельное** воззрение на вещи. Если из него выломаешь главное понятие, веру в Бога, то разрушаешь этим также и целое: в руках не остаётся более ничего необходимого. Христианство предполагает, что человек не знает, не **может** знать, что для него добро и что зло: он верит в Бога, который один знает это. Христианская мораль есть повеление; её источник трансцендентен; она находится по ту сторону всякой критики, всякого права на критику. Если фактически [представители современного Запада] верят, будто они знают сами,

«интуитивно», что является добрым и злым, если они, следовательно, полагают, что им более не нужно христианство как гарантия морали, то это в свою очередь является лишь **следствием** господства христианских суждений о ценностях и выражением **силы и глубины** этого господства; так что источник [современной] морали забыт, так что очень условная сторона её права на существование уже не ощущается более".¹⁴

Если предположения, на которых основана теория, – доказывает Ницше – лишаются силы, то и сама теория лишается силы. Но "теория" продолжает существовать. Основные принципы иудео-христианской нравственной традиции продолжают руководить как поведением, так и основными ценностями типичного представителя современного Запада, даже если он безбожник и хорошо образован; даже если его отвлечённые представления и высказывания о них кажутся враждебными традиционным верованиям. Он не убивает и не крадёт (или, если он это делает, скрывает свои действия даже от своего собственного сознания), и он должен обращаться со своим ближним, как с самим собой. Принципы, которые направляют жизнь его общества (и всё больше и больше жизнь всех других обществ¹⁵), как и прежде, основаны на мифологических представлениях о личной ценности, внутреннем праве и ответственности, несмотря на научные доказательства господства причинности и закономерности в человеческих побуждениях. В конце концов, в его уме, даже если он случайно оказывается преступным, жертва преступления по-прежнему вызывает к небесам о "справедливости", а сознательный преступник по-прежнему **заслуживает** наказания за свои поступки.

Поэтому наша система научной мысли и наша система побуждений и действий сосуществуют в парадоксальном союзе. Одна является "современной", другая – устарелой. Одна научна, другая традиционна, даже суеверна. Мы стали безбожными, но остаёмся религиозными, то есть **нравственными**, по природе своей. То, что мы принимаем как истину, и то, как мы поступаем, больше не соответствуют друг другу. Мы ведём себя так, как будто наш опыт имеет смысл, как будто наша деятельность обладает самодовлеющей ценностью, но мы не можем оправдать это убеждение разумом. Мы попались в ловушку собственной склонности к отвлечённому мышлению: она снабжает нас точными сведениями описательного характера, но служит тому, чтобы подорвать нашу веру в полезность и смысл жизни. Это затруднительное положение часто рассматривалось как трагическое (что кажется мне, по меньшей мере, смешным) и было основательно исследовано в экзистенциалистской философии и литературе. Ницше описал это современное состояние как (неизбежное и необходимое) следствие "смерти Бога":

"Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажжёт фонарь, выбежал на рынок и всё время кричал: «Я ищу Бога! Я ищу Бога!» – Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него раздался хохот.

– Он что, пропал? – сказал один. Он заблудился, как ребёнок, – сказал другой. Или спрятался? Боится ли он нас? Пустился ли он в плавание? Эмигрировал? – так кричали и смеялись они перемешку.

Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом. "«Где Бог? – воскликнул он. – Я хочу сказать вам это! **Мы его убили** – вы и я! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от её солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперёд, во всех направлениях? Есть ли ещё верх и низ? Не блуждаем ли мы, словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли всё сильнее и больше ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим ещё шума могильщиков, погребавших Бога? Разве не доносится до нас запах божественного тления? – И Боги истлевают!

Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ногами – кто смоет с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его?»"¹⁶

Когда мы невольно задумываемся о своём положении, то обнаруживаем, что оно нелепо и неудачно. Кажется невозможным поверить, что жизнь внутренне, религиозно осмысленна. Тем не менее мы

продолжаем действовать и думать так, "как будто": как будто ничего существенного на самом деле не изменилось. Это не меняет того обстоятельства, что наша внутренняя цельность исчезла.

Великие силы эмпиризма и разумности и великий метод эксперимента убили миф, и его невозможно воскресить, или так кажется. Мы всё ещё поступаем по заповедям наших предков, хотя мы больше не можем оправдать свои поступки. Наше поведение направляется (по крайней мере в идеале) теми же самыми правилами из мифа – **не убий, не пожелай**, – которые направляли наших предков в течение тысячелетий, когда они жили, не пользуясь благами правильной, основанной на опыте мысли. Это означает, что эти правила настолько важны для жизни – без преувеличения настолько необходимы, – что они поддерживают своё существование (и процветают, и расширяют свою область действия) даже при наличии теорий, которые явно подрывают их основы. Это – тайна, а вот и другая.

Как это случилось, что сложные и блестящие древние цивилизации могли развиваться и первоначально процветать, если они были основаны на нелепости? (Если культура выживает и растёт, не указывает ли это каким-то глубинным образом на то, что её исходные идеи являются обоснованными? Если мифы – это просто полные суеверий зародыши теорий, то почему они срабатывали? Почему их вспоминали? В конце концов, наши великие рационалистические идеологии, скажем, фашистская или коммунистическая, наглядно показали свою существенную бесполезность за время жизни нескольких поколений, несмотря на их неотразимую для разума природу. Традиционные общества, основанные на религиозных представлениях иногда продолжали существовать, существенно не изменившись, в течение десятков тысяч лет. Как можно объяснить эту долговечность?) Разумно ли на самом деле доказывать, что крепкие традиции, невзирая на их полезность, основаны на попросту неверных представлениях?

Не более ли вероятно, что мы просто не знаем, как могут быть традиционные представления **правильными**, при их **видимой** крайней неразумности?

Возможно ли, что это скорее показывает современное философское невежество, чем наследственную философскую ошибку?

Мы совершили огромную ошибку, предполагая, что "мир духа", описанный нашими предшественниками, был современным "миром материи", представленным в первобытных понятиях. Это неправда. Вселенная, описанная мифологией, **не** была тем же самым миром, который известен занимающимся современной наукой, но это не значит, что она не была **реальной**. Мы ещё не нашли ни Бога наверху, ни Дьявола внизу, потому что мы всё ещё не понимаем, где можно найти эти "наверху" и "внизу".

Мы не знаем, о чём говорили наши предки. Это не удивительно, потому что и они не "знали" (и на самом деле неважно, что они этого не знали). Рассмотрим следующий архаический миф о творении¹⁷ из Шумера, "места рождения истории":

"До сих пор не найдено ещё ни одного собственно космогонического текста, однако некоторые намёки позволяют воссоздать решающие моменты творения, каким его представляли себе шумеры. Богиня Намму (чьё имя передаётся пиктограммой, обозначающей изначальное море) считается «породившей Небо и Землю» и «прародительницей всех богов». Тема Изначальных Вод, воображаемых как целое, одновременно космическое и божественное, характерна для архаических космогоний. И в нашем случае тоже водная стихия отождествляется с Первоматерью, которая посредством самопорождения произвела на свет первую пару существ, Небо (Ан) и Землю (Ки), воплощение мужского и женского начал. Эта первая пара связана, вплоть до слияния, в **hieros gamos** (священном браке). От их союза происходит Энлиль, бог воздуха. Из другого отрывка мы узнаём, что этот последний разъединил своих родителей: бог Ан поднимает небо вверх, а Энлиль забирает с собой свою мать, Землю. Космогоническая тема размежевания Земли и Неба тоже широко распространена".¹⁸

Этот миф является типичным архаическим "описанием реальности". Что имеется в виду, когда говорится, что шумеры верили, что мир возник из "изначального моря", которое было матерью всего, и что небо и земля были разделены посредством **действия божества**? Мы не знаем. Нашему крайнему невежеству в этом отношении не соответствовала, однако, подобающая осторожность. Мы, по-видимому, предположили, что истории, такие, как эти – то есть мифы, – были равносильны по назначению и цели эмпирическому и послеэмпирическому описанию (но уступали ему методологически). Именно нелепое в своей основе упорное настаивание на этом расшатало воздействие религиозной традиции на организацию современного человеческого нравственного рассуждения и поведения. Мир шумеров не был объективной реальностью, как мы её сейчас истолковываем. Он был одновременно и больше, и меньше: больше в том,

что этот "первобытный" мир содержал явления, которые мы не считаем частью "реальности", такие, как эмоции и смысл; меньше в том, что шумеры не могли описывать (или представить себе) многое из того, что нам открыли методы науки.

Миф **не** является первобытной наукой в зародыше. Это качественно отличное явление. Науку можно было бы рассматривать как "описание мира в отношении тех его сторон, которые согласованно понимаемы" или как "определение наиболее действенного способа достижения цели (при условии, что имеется определённая цель)". Миф можно более точно рассматривать как "описание мира в той мере, как он что-то **означает** (для **действия**)". Мифологическая вселенная – это **место, где надо действовать**, а не **место, где надо воспринимать**. Миф описывает предметы с точки зрения их единственной в своём роде или разделяемой с чем-либо эмоциональной валентности, их ценности, их значения для побуждения. Следовательно, Небо (Ан) и Земля (Ки) шумеров не есть небо и земля современного человека. Они суть Великие Отец и Мать всех вещей (включая ту вещь, Энлиля, которая на самом деле есть процесс, в некотором смысле вызвавший их к жизни).

Мы не понимаем донаучного мышления, поэтому мы пытаемся объяснить его на языке, который мы действительно понимаем, а это означает, что мы устраним его посредством своего объяснения, определяя его как нелепость. В конце концов, мы мыслим научно – так мы полагаем – и мы думаем, что знаем, что это значит (так как научное мышление можно, в принципе, определить). Мы знакомы с научным мышлением и ценим его высоко, поэтому мы склонны предполагать, что оно есть всё, что содержится в мышлении (что все другие "формы мысли" – это, в лучшем случае, приближения к идеалу научной мысли). Но это не точно. Мышление – это также, по своей сути, **определение ценности**, определение последствий для поведения. Это означает, что **распределение по категориям** в отношении ценности – определение (или даже восприятие) того, что представляет собой один предмет или класс предметов, есть **помещение их в один разряд в соответствии с их последствиями для поведения**.

Например, шумерская категория Неба (Ан) – это область явлений со сходными последствиями для поведения или для эмоций. То же самое можно сказать о категории Земли (Ки) и обо **всех других мифологических категориях**. То обстоятельство, что "область Неба" имеет последствия для действия, имеет значение для побуждения, делает её **божеством** (которое есть нечто, что управляет поведением или, по крайней мере, то, чему надо служить). Понимание того, что такая система классификации на самом деле имеет смысл, вынуждает учиться мыслить по-иному (вынуждает также учиться думать о том, как мыслить по-иному).

Шумеры были, прежде всего, озабочены тем, как действовать (т. е. ценностью предметов). Их описания реальности, которым мы приписываем качества науки в зародыше, в действительности включали краткое описание мира **как совокупности осмысленных явлений**, как места для действия. Они не "знали" этого – не **осознавали** – не более, чем мы знаем. Но это всё-таки было так.

Стремление исследовать природу, основываясь на опыте, связано с потребностью объективного описания того, **что есть**, – определения того, что имеется в данных явлениях такого, что можно согласованно обосновать и описать. Объектами этого процесса могут быть предметы из прошлого, настоящего или будущего, и они могут быть, по своей природе, статическими или динамическими: хорошая научная теория допускает предсказание становления ("преобразования") и управление таковым, равно как и предсказание бытия и управление им. Однако с этой точки зрения "эмоции", которые вызывают столкновения с "объектом", не являются частью того, что он **есть**, и должны быть устранены из дальнейшего рассмотрения вместе со всем остальным субъективным, или, по крайней мере, должны быть устранены из определения объекта **в качестве его реальной стороны**.

Трудоёмкий процесс распознавания, сообщения его результатов и их сравнения оказался поразительно действенным средством установления природы сравнительно неизменных особенностей коллективно постигаемого мира. К сожалению, эта методология не может быть применена к определению **ценности**, к рассмотрению того, **что должно быть**, к определению желательного направления развития (т.е. к описанию будущего, которому мы прокладываем дорогу). Такие оценки неизбежно представляют собой решения нравственных вопросов. Мы можем использовать сведения, полученные в результате научных исследований, чтобы направлять эти решения, но не для того, чтобы судить о том, правильны они или нет. В области нравственности нам недостаёт способа проверки, который был бы столь же веским или столь же повсеместно приемлемым как экспериментальный (опытный) метод в царстве описания действительности. Его отсутствие не позволяет обойти трудности принятия решения по нравственным вопросам. Ни одно развивающееся общество и ни один живой человек не могут обойтись без нравственных суждений, независимо от истинности и ценности таких суждений. Действие **предполагает** оценивание или что-то ему равнозначное, хотя бы и неявное или "бессознательное".

Действовать значит буквально проявлять предпочтение одного набора возможностей бесконечному множеству других взаимоисключающих наборов. Если мы хотим жить, мы должны действовать. Действуя, мы оцениваем. Так как мы не обладаем всеведением, нам приходится с трудом принимать решения при отсутствии достаточных сведений. Именно наше знание добра и зла, наша нравственная чувствительность предоставляет нам эту способность. И именно мифологические условности, явно или неявно, направляют выбор. Но что это за условности? Как мы должны понимать сам **факт их существования**? Как мы должны понимать **их самих**?

Именно Ницше ещё раз точно указал на современную проблему, главную для вопросов валентности или смысла: не, как прежде, "как действовать, пребывая в пределах отдельной культуры", но "возможно ли поверить, что вопрос о том, как действовать, можно даже разумно задать, не говоря уже о том, чтобы на него ответить":

"Именно благодаря тому, что философы морали были знакомы с моральными фактами только в грубых чертах, в произвольном извлечении или в форме случайного сокращения, например в форме нравственности окружающих их людей, своего сословия, своей церкви, духа своего времени, своего климата и пояса, – именно благодаря тому, что они были плохо осведомлены насчёт народов, времён, всего прошедшего, и даже проявляли мало любознательности в этом отношении, они вовсе и не узрели подлинных проблем морали, которые обнаруживаются только при сравнении **многих** моралей. Как это ни странно, но всей «науке морали» до сих пор **недоставало** проблемы самой морали: недоставало подозрения, что здесь есть нечто проблематичное".¹⁹

Эта "проблема морали": **существует ли что-нибудь нравственное в каком-либо практическом общем смысле, и если да, то как его можно было бы понять?** – есть вопрос, который уже достиг первостепенной важности. У нас есть техническая возможность сделать всё, что мы хотим: несомненно, всё что угодно разрушительное; возможно, всё что угодно творческое. К этой возможности, однако, примешиваются глубокая жизненная неопределённость, поверхностность и замешательство. Наш постоянный культурный обмен и наша способность к критическому рассуждению подорвали нашу веру в обычаи наших предков, может быть, и не без основания. Однако человек не может жить без веры – без действия и оценивания, – а наука не может дать ему такой веры. Тем не менее мы должны во что-то верить. Являются ли те мифы, к которым мы обратились с ростом влияния науки, более утончёнными, менее опасными и более полными, чем те, которые мы отвергли? Идеологические построения, господствовавшие в общественных отношениях двадцатого столетия на первый взгляд кажутся не менее нелепыми, чем те более старые системы верований, которые они вытеснили. Вдобавок им недостаёт какой-то непостижимой тайны, которая обязательно присутствует в подлинно художественном и творческом произведении. Основные утверждения фашизма и коммунизма были разумными, логичными, такими, которые можно изложить, понятными – и совершенно неправильными. Никакая великая идеологическая борьба сейчас не разрывает душу мира, но трудно поверить, что мы отделались от своего легковерия. Например, рост влияния на Западе движения Нового Века – как возмещение за упадок традиционной духовности – даёт достаточное доказательство нашей сохранившейся способности проглотить верблюда, отцеживая при этом комара.

Могли ли мы сделать всё лучше? Возможно ли понять, во что следовало бы разумно, даже с восхищением, поверить, после того как поймёшь, что мы должны верить? Наше огромное могущество делает самообладание (и, возможно, самопонимание) необходимым, так что у нас, по крайней мере в принципе, есть для этого побудительная причина. Более того, время благоприятно. В конце эпохи, когда мы наглядно показали ко всеобщему удовлетворению, что некоторые виды общественного регулирования просто не работают, даже если их оценивать по их собственным мерилам успеха, наступило третье тысячелетие христианской эры. Мы живём, в конце концов, после великих государственных экспериментов двадцатого века, проведённых, как пророчествовал Ницше:

"В учении социализма имеется скрытая, пожалуй, плохо, «воля к отрицанию жизни»; люди или народы, которые придумали такое учение, были, должно быть, неудачно созданы. Я очень хотел бы, чтобы несколько великих экспериментов могли доказать, что в социалистическом обществе жизнь сама сводит себя на нет, отрезает свои собственные корни. Земля достаточно велика, а человек всё ещё достаточно неистощим. Следовательно, такое практическое наставление и доказательство от противного не поразило бы меня как нежелательное, даже если бы оно было получено и оплачено огромными затратами человеческих жизней".²⁰

По-видимому, существуют "естественные" или – смею сказать! – "абсолютные" ограничения, накладываемые на поведение людей в обществе. Не все моральные предположения и теории **правильны**: человеческая природа не является бесконечно податливой.

Теперь очевидно, что чисто отвлечённая разумность, не имеющая корней в традиции, – разумность, которая была характерна для коммунизма советского типа от его начала и до конца, – по-видимому, совершенно неспособна ни определить, ни прояснить именно то, что должно направлять личное и общественное поведение. Некоторые виды общественного строя не работают, хотя они, в общем, разумны (более разумны, чем несовместимые с ними действующие в настоящее время, непонятные, случайно развившиеся виды). Некоторые системы взаимодействия между людьми – те, которые составляют государство, поскольку оно существует в качестве образца общественного поведения, – не достигают своих целей, не в состоянии поддерживать себя в течение длительного времени, пожирая порой и тех, кто проводит их в жизнь и открыто признаёт их ценность. Может быть, такое происходит потому, что спланированные, логичные, понятные системы не принимают во внимание неразумную, таинственную, непостижимую и часто смешную сторону человеческого характера, как это описано у Достоевского:

"Теперь вас спрошу: чего можно ожидать от человека как от существа, одарённого такими странными качествами? Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о прекращении всемирной истории, – так он вам и тут человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнёт даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой, единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди всё ещё люди, а не фортепьянные клавиши, на которых хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет.

Да ведь мало того: даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепьянной клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится, а нарочно напротив что-нибудь сделает, единственно из одной неблагодарности, собственно чтоб настоять на своём. А в том случае, если средств у него не окажется, – выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своём! Проклятие пустит по свету, а так как проклинать может только один человек (это уж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных), так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, то есть действительно убедится, что он человек, а не фортепьянная клавиша! Если вы скажете, что и это всё можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так что уж одна возможность предварительного расчёта всё остановит и рассудок возьмёт своё, – так человек нарочно сумасшедшим на этот случай делается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своём! Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь всё дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! Хоть своими боками, да доказывал; хоть трюглотством, да доказывал. А после этого как не согрешить, не похвалить, что этого ещё нет и что хотенье покамест ещё чёрт знает от чего зависит..."²¹

Сейчас мы также обладаем в доступном и полном виде традиционной мудростью значительной части человеческого рода, обладаем точным описанием мифов и обрядов, которое содержит и обуславливает явные и неявные ценности почти всех людей, которые когда-либо жили. Эти мифы главным образом касаются природы успешной человеческой жизни. Тщательный сравнительный анализ этого великого собрания текстов по религиозной философии мог бы позволить нам предварительно определить природу существенных человеческих побуждений и нравственности, если бы мы были готовы признать своё невежество и рискнуть. Точное перечисление лежащих в их основе мифологических общих мест могло бы составить первую ступень в сознательном развитии поистине всеобщей системы нравственности. Установление такой системы, одинаково приемлемой для научных и религиозных умов, могло бы устранить немало возникающих в жизни противоречий. Обоснование такого сравнительного анализа,

воодушевляемого строго опытным исследованием в психологии (как и невропсихологии), позволило бы нам преодолеть вековую трудность выведения того, что **должно быть**, из того, что **есть**; помочь нам увидеть, как то, что **мы должны делать**, может быть неразрывно связано с тем, чем **мы являемся**.

Правильный анализ мифологии, анализ, который здесь предлагается, – это не просто обсуждение "исторических" событий, разыгранных на мировой сцене (как мог бы это понимать традиционно верующий), и не просто исследование первобытных верований (как мог бы предполагать традиционно мыслящий учёный). Это исследование, анализ и последующее установление системы взглядов на смысл, которая вмещает в себя иерархическую организацию основанной на опыте валентности. Мифологическое воображение изучает мир как явление, стремится открыть природу субъективной реальности; описание объективного мира порой выпадает из его поля зрения. Миф и драма, которая является частью мифа, дают образные ответы на следующий вопрос: "Как современное состояние **смысла** опыта – который означает его (субъективные, биологически обусловленные, созданные обществом) эмоциональную уместность или значимость для побуждения – может быть представлено в отвлечённых понятиях?" Смысл здесь означает последствия, влияющие на последующее поведение. Следовательно, логически миф представляет собой сведения, имеющие отношение к самому существенному из нравственных вопросов: "**Что должно быть? (что должно быть сделано?)**" Желательное будущее (цель – то, что **должно быть**) может быть осмыслено только по отношению к настоящему, которое по крайней мере служит необходимой исходной точкой сопоставления и сравнения. Попасть куда-то в будущем предполагает нахождение где-то в настоящем. Кроме того, желательность **места, куда перемещаешься**, зависит от валентности покидаемого места. Вопрос: "**что должно быть?**" (по какой линии перемещаться?) содержит в себе три подвопроса:

- 1) **что есть?** – какова природа (смысл, значение) современного состояния опыта?
- 2) **что должно быть?** – к какой (желательной, полезной) цели должно это состояние стремиться?
- 3) **как мы поэтому должны себя вести?** – какова природа тех особых процессов, посредством которых современное состояние могло бы быть преобразовано в желаемое?

Деятельное представление цели поведения, осмысленное по отношению к понятию настоящему, служит тому, чтобы ограничить оценку происходящих событий, которые возникают как следствие нашего поведения в настоящем, или дать для неё определённое обрамление. Цель – это воображаемое будущее состояние, "место" желательного побуждения или эмоции. Оно (возможно) более предпочтительно, чем настоящее. (Постановка цели означает создание теории **блага** – теории идеального относительного положения состояний, могущих стать побуждениями.) Это воображаемое будущее представляется как **видение совершенства**, порождённое (в идеале) в свете всего современного знания, с которым непрерывно сравниваются особые и общие стороны текущего опыта. Это видение совершенства есть, говоря мифологически, земля обетованная, представленная в понятиях как духовная область (как психологическое состояние), как политическая утопия (как государство в буквальном смысле слова) или как то и другое одновременно.

Мы отвечаем на вопрос: "**что должно быть?**", создавая образ желаемого будущего.

Мы не можем представить себе это будущее, кроме как в отношении к (понятию) настоящему, и именно наше истолкование эмоциональной приемлемости настоящего заключает в себе ответ на вопрос: "**что есть?**" (какова природа – смысл, значение – современного состояния опыта?).

Мы отвечаем на вопрос: "**как мы поэтому должны себя вести?**", определяя наиболее действенную и последовательную стратегию (приняв всё во внимание) для того, чтобы вызвать к жизни предпочтённое будущее.

Наша модель того, что есть, того, что должно быть, и того, как добраться от одного к другому, по сути, и есть наше знание, поскольку оно обладает какой-то поведенческой уместностью, поскольку оно имеет какой-либо мифологический смысл.

Наши ответы на эти основные вопросы, полученные и видоизменённые в ходе наших общественных взаимодействий, составляют наше знание, насколько оно имеет отношение к нашему поведению; составляют наше знание с мифологической точки зрения. Строение мифологического **известного** – что есть, что должно быть и как попасть из одного в другое – представлено на **рисунке 1 "Область и составляющие Известного"**.

Известное – это исследованная область, место устойчивости и осведомлённости. Это "град Божий", осуществлённый светским образом. Оно (известное) находит своё воплощение в мифах и повествованиях, описывающих общество, королевство или государство.



Рисунок 1

Такие мифы и повествования направляют нашу способность понимать особое, ограниченное, относящееся к побуждению значение настоящего, переживаемое в связи с каким-либо распознаваемым желательным будущим. Они позволяют нам создавать и истолковывать в своих пределах соответствующие образцы поведения. Мы все создаём определённые модели того, что есть, того, что должно быть, и того, как преобразовать одно в другое. Мы создаём эти модели, сопоставляя наши собственные желания, насколько они выражаются в воображении и действии, с желаниями других, с желаниями тех, с кем мы обычно сталкиваемся, тех людей, что составляют наши семьи и наше окружение. "Как поступать" представляет собой самую существенную сторону общественного договора. Область **известного** есть, следовательно, та "территория", которую мы населяем вместе со всеми, кто разделяет наши явные и неявные обычаи и верования. Мифы описывают существование этой "разделяемой и определённой территории" как неизменно присущее жизни – чем оно и является, – так как наличие культуры является неизменной стороной окружающей человека среды.

"Повествования об известном" – патриотические ритуалы, истории о героях-предках, мифы и символы культурного и народного единства – описывают установленную территорию, сплетая для нас смысловую сеть, которая, будучи разделяемой с другими, устраняет необходимость споров о значении. Все, кто знают правила игры и принимают их, могут играть в игру, без того, чтобы драться из-за правил игры. Это способствует миру, устойчивости и возможному процветанию – хорошей игре. Хорошее, однако, есть враг лучшего: возможно, всегда существует более неотразимо притягательная игра. Миф изображает то, что известно, и выполняет назначение, которое, если оно тем и ограничивается, может считаться имеющим первостепенную важность. Но миф также даёт знания, гораздо более глубокие, почти невыразимо более глубокие, стоит их только понять (я хотел бы это доказать). Мы все создаём модели того, что есть, того, что должно быть, и того, как преобразовать одно в другое. Мы изменяем своё поведение, если последствия этого поведения не таковы, как нам хотелось бы. Но иногда простого изменения в поведении недостаточно. Мы должны изменить не только то, что делаем, но и то, что считаем важным. Это означает пересмотр природы значения настоящего для побуждения и пересмотр идеальной природы будущего. Это коренное, даже революционное, преобразование, и процесс его осуществления очень сложен. Но мифологическое мышление представило природу такого изменения с большими и замечательными подробностями.

Основное грамматическое строение преобразовательной мифологии, если так можно выразиться, по-видимому, наиболее ясно раскрывается в виде "образа" (понимаемого так, как в выражении "американский **образ** жизни"). Великий литературный критик Нортроп Фрай сравнивает метафорические представления **пути** в литературе и религиозных писаниях:

"Следование повествованию тесно связано с главной литературной метафорой путешествия, где имеется человек, совершающий путешествие, и дорога, тропа или избранное направление, причём простейшим словом для этого является «путь». «Путешествие» – это слово, связанное со словами

«jour» и «journee», и метафорические путешествия, происходящие – как это главным образом бывает – от более медленных способов приближения к чему-либо, обычно содержат в себе понятие о дневном пути, расстоянии, которое мы можем пройти за один оборот солнца. При очень лёгком расширении метафоры мы получаем круг дневной деятельности как символ всей жизни. Поэтому в стихотворении Хаусмана «Подъём» («Вставай, парень: когда путешествие закончится, // Будет достаточно времени поспать») утреннее пробуждение и есть метафора продолжения путешествия жизни, путешествия, заканчивающегося смертью. Прообраз такого представления содержится в книге Екклесиаст, которая настоятельно советует нам работать, пока ещё стоит день, прежде чем придёт ночь, когда ни один человек не может работать...

Слово «путь» – это хороший пример того, в какой степени язык построен на ряде метафорических сходств. Наиболее общее значение этого слова в английском языке есть метод или способ образа действия, но метод и способ подразумевают какое-то последовательное повторение, а повторение приводит нас к метафорической сути дороги или пути... В Библии словом «путь» обычно переводят древнееврейское слово «**derek**» или греческое «**hodos**», и с начала и до конца Библии усиленно подчёркивается противоположность между прямым путём, который приводит нас к цели, и отклоняющимся путём, который вводит в заблуждение и сбивает с толку. Это метафорическое противопоставление очень часто появляется во всей христианской литературе: мы начинаем читать «Божественную комедию» Данте, и уже третья строка говорит о потерянном или стёртом пути: «*Ch'ella diritta via era smarita*». У других религий имеется та же самая метафора: буддизм говорит о том, что обычно называется восьмеричным путём. В китайском даосизме понятие «дао» также обычно переводится Артуром Вэйли и другими как «путь», хотя я понимаю, что иероглиф, который используется для записи этого слова, образован из корней, означающих что-то вроде «хождение головой». Священная книга даосизма «Дао дэ цзин» начинается с высказывания, что дао, о котором можно говорить, не есть подлинное дао: иными словами, нас предупреждают остерегаться ловушек метафорического языка или, используя общее восточное выражение, того, чтобы спутать луну с пальцем, указывающим на неё. Но когда мы продолжаем читать, то обнаруживаем, что дао может, в конце концов, быть до некоторой степени описано: этот путь определённо есть «путь долины», есть направление, избранное смирением, самоуничижением и своего рода расслаблением, или не-деянием, которое делает всякое действие действенным".²²

Путь – это путь жизни и её цель.²³ Более точно, суть этого пути есть особая линия поведения в жизни. Форма этого пути, её самая существенная сторона, есть несомненно внутренняя или наследуемая возможность утверждать главную идею или быть ею направляемым. Эта несомненно внутренняя форма находит своё выражение в потребности человека сначала задать вопрос: "Каков смысл жизни?", а потом искать на него ответа.

Главное представление пути лежит в основе четырёх более определённых мифов (или классов мифов) и во впечатляющей форме более полно отвечает на три вопроса, поставленных ранее ("Какова природа (смысл, значение) современного состояния?", "К какой (желательной) цели должно это состояние стремиться?" и в заключение "Каковы те процессы, посредством которых современное состояние могло бы быть преобразовано в желаемое?"). Эти четыре класса включают:

- (1) мифы, описывающие современное или предшествующее устойчивое состояние (иногда рай, иногда тиранию);
- (2) мифы, описывающие появление в этом первоначальном состоянии чего-то ненормального, неожиданного, угрожающего и многообещающего;
- (3) мифы, описывающие распад предшествующего устойчивого состояния до хаоса вследствие ненормального или неожиданного происшествя;
- (4) мифы, описывающие возрождение устойчивости (возвращённый рай или возрождённую тиранию) из хаотической смеси распавшегося прежнего опыта и знания о ненормальном.

Метамифология пути, так сказать, описывает способ, которым определённые представления (мифы) о настоящем, будущем и образе действий, преобразуя одно в другое, первоначально создаются, а потом воссоздаются во всей полноте, когда это делается необходимо. Традиционное христианское (и не только христианское) представление о том, что человек пал из первоначального "состояния благодати" в его теперешнее нравственно вырожденное и эмоционально невыносимое состояние, сопровождаемое желанием "возвращения в рай", представляет собой один из примеров этого "метамифа". Христианская

нравственность может поэтому разумно рассматриваться как "план действия", чья цель есть установление, или восстановление, или достижение (иногда в "будущем мире") "царства Божия", идеального будущего. Та мысль, что человек нуждается в спасении и что восстановление давно утраченного рая могло бы представлять собой такое спасение, появляется как общая тема мифологии среди представителей чрезвычайно разнообразных и давно разделённых человеческих культур.²⁴ Это общее место появляется потому, что самосознающий человек вечно страдает от своего существования и страстно желает предыдущей.

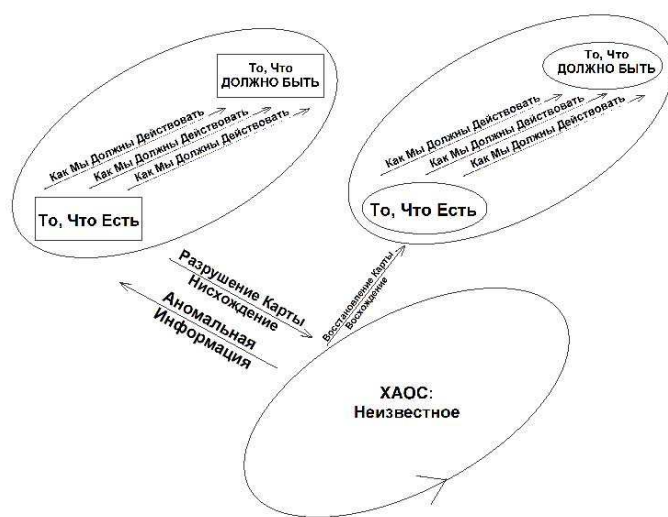


Рисунок 2

"Метамифологический цикл Пути" схематически изображает "цикл", который "начинается" и "кончается" в той же самой точке – с установлением условного, но определённого нравственного знания (убеждения).

Это убеждение **может быть подорвано**, потому что оно конечно, то есть бесконечная тайна, окружающая человеческое понимание, может в любое время, в любой момент прорваться в наши временные модели поведения и разрушить их строение. Например, образ поведения, присущий детям, совершенно подходит для условий детства. Процессы взросления изменяют условия жизни, создавая предпосылки аномалии там, где некогда пребывала только уверенность, и делая необходимым не только изменение планов, но и переосмысливание того, куда эти планы могут привести и к кому или к чему они относятся в настоящем.

Известное, наша современная история, защищает нас от неизвестного, от **хаоса**, то есть снабжает наш опыт определённым и предсказуемым строением. Неизвестное, хаос, от которого мы защищены, имеет свою природу. Эта природа переживается при первом с ней столкновении как **эмоциональная валентность**, а не как **объективное качество**. Если при выполнении наших планов происходит что-то неизвестное или непредсказуемое, мы сначала **удивляемся**. Это удивление, которое является сочетанием опасения и любопытства, включает наш **безотчётный эмоциональный отклик на то, что случилось нечто, чего мы не желаем**. Появление чего-то неожиданного есть (по определению)

доказательство того, что мы не знаем, как себя вести, так как именно вызывание того, что мы хотим, используется нами как свидетельство полноты нашего знания. Если мы находимся где-то, где мы не знаем, как себя вести, мы, вероятно, попали в беду: мы, может быть, узнаем что-нибудь новое, но мы всё-таки в беде. Когда мы в беде, мы пугаемся. Когда мы, так сказать, находимся в области известного, нет причины для страха. Вне этой области царит непреодолимый страх. Именно по этой причине мы не любим, когда наши планы срываются. Поэтому мы цепляемся за то, что мы понимаем. Это, однако, не всегда срабатывает, так как того, что мы понимаем в настоящем, вовсе не всегда достаточно, чтобы вести дела в будущем. Это означает, что мы должны быть в состоянии видоизменить то, что мы понимаем, даже если при этом мы рискуем жизнью. Хитрость, конечно, состоит в том, чтобы видоизменить и всё же остаться в безопасности. Это не так уж просто. Если изменений слишком много, это означает хаос. Если изменений слишком мало, это означает застой (а следом за ним, когда появляется будущее, к которому мы не подготовлены, — хаос).

Невольное столкновение с хаосом означает случайную встречу с "силами, которые подрывают известный мир". Эмоциональные последствия такого столкновения могут быть буквально ошеломляющими. Именно по этой причине люди так сильно стремятся избегать внезапных "проявлений неизвестного": они готовы пойти почти на всё, чтобы обеспечить неприкосновенность своих защитных культурных "историй".

ГЛАВА ВТОРАЯ. КАРТЫ СМЫСЛА: ТРИ УРОВНЯ АНАЛИЗА

Люди биологически подготовлены откликаться на аномальную информацию – на новизну. Этот бессознательный отклик включает изменение направленности внимания, порождение эмоции (сначала, вообще говоря, страха, затем любопытства) и вынужденного поведения (сперва, вообще говоря, прекращения текущей деятельности, потом активного подхода и исследования). Такой образец бессознательного отклика направляет обучение – в частности, но не исключительно – обучение подобающему поведению. Всякое такое обучение имеет место – или первоначально имело место – как следствие соприкосновения с новизной, или аномалией.

Что такое новое, конечно, зависит от того, что известно, – непременно определяется как противоположность тому, что известно. Более того, то, что известно, всегда известно условно, так как человеческое знание неизбежно ограничено. Наше условное знание – поскольку такое знание относится к управлению эмоциями – состоит из наших моделей эмоционального смысла настоящего, определённого как противоположность идеализированному, предполагаемому или воображаемому будущему состоянию. Мы оцениваем "невыносимое настоящее" в зависимости от "идеального будущего". Мы действуем, чтобы преобразовать то состояние, "где мы пребываем", в то, "где мы хотели бы пребывать".

Когда наши попытки преобразовывать настоящее срываются, как замыслилось, мы остаёмся (в переносном смысле) в устойчивом состоянии в области известного. Когда, однако, наше поведение вызывает нежелательные последствия – то есть когда мы ошибаемся, – мы перемещаемся в область неизвестного, где властвуют более первобытные эмоциональные силы. Небольшие ошибки вынуждают нас менять наши планы, но позволяют нам при этом сохранять наши цели и представления об условиях настоящего. В противоположность этому катастрофические ошибки принуждают нас переоценивать не только наши средства, но и отправные точки, а также наши цели. Такая переоценка обязательно вызывает крайнее эмоциональное расстройство.

"Область известного" и "область неизвестного" могут разумно рассматриваться как неизменные составляющие человеческого опыта, даже окружающей человека среды. Независимо от культуры, места и времени люди вынуждены приспосабливаться к обстоятельствам культуры (грубо говоря, области известного) и факту её предельной недостаточности (так как область неизвестного неизбежно остаётся в наличии, невзирая на степень предшествующего "приспособления"). Человеческий мозг, как и мозг высших животных, поэтому, кажется, приспособился к извечному наличию этих двух областей: у него один образ действия, когда он – на исследованной территории, и другой, когда он – на неисследованной территории. В неисследованном мире первоначально преобладает осторожность, выраженная страхом и неподвижностью, но она может быть вытеснена любопытством, выраженным в надежде, возбуждении и, прежде всего, в творческом, исследовательском поведении. Творческое исследование неизвестного и последующее порождение знания – это построение и пересмотр образцов поведения и представления, такие, что неизвестное преобразуется из чего-то ужасающего и непреодолимого в нечто благотворное (или, по крайней мере, в нечто не относящееся к делу). Такую способность к творческому исследованию и порождению знания можно рассматривать как третью, и последнюю, неизменную составляющую человеческого опыта (в дополнение к областям "известного" и "неизвестного").

Мифологические представления мира – которые являются представлениями реальности как места действия – изображают динамические взаимоотношения между всеми тремя составляющими человеческого опыта. Вечному неизвестному – говоря в переносном смысле, природе, созидательной и разрушительной, источнику и назначению всех решающих обстоятельств – обычно приписывается эмоционально противоречивый женственный характер (как "матери" и, в конечном счёте, пожирательницы всего и всех). Напротив, вечное известное – культура, определённая территория, деспотическая и защитная, предсказуемая, дисциплинированная и сдерживающая, накопленная совокупность последствий героического или исследовательского поведения – обычно считается мужественным (в отличие от "матери"-природы). Наконец, вечный субъект познания – это процесс, который служит связующим звеном между известным и неизвестным; рыцарь, который убивает дракона хаоса; герой, который заменяет беспорядок и

неразбериху ясностью и уверенностью; бог солнца, вечно убивающий силы тьмы; "слово", что вызывает творение космоса.

2.1. Обычная и революционная жизнь: две прозаические истории

Мы рассказываем себе истории о том, кто мы такие, где мы хотели бы быть и как мы собираемся туда попасть. Эти истории упорядочивают наши эмоции, определяя значимость всех вещей, с которыми мы сталкиваемся, и всех событий, которые мы переживаем. Мы рассматриваем то, что помогает нам в пути, как положительное, то, что препятствует нашему продвижению, как отрицательное, а всё остальное – как не относящееся к делу. Больше всего того, что не относится к делу, и это хорошо, так как наши способности проявлять внимание ограничены.

Небольшие раздражители мешают нашим планам. Нам не нравятся раздражители, и мы не хотим иметь с ними дело. Тем не менее мы с ними обычно сталкиваемся, настолько обычно, что, по сути, раздражители как класс можно было бы рассматривать как неотъемлемую, "предсказуемую" и постоянную особенность окружающей человека среды. Мы приспособились к наличию этой особенности, у нас выработалось внутреннее умение справляться с раздражителями. При этом мы извлекаем пользу, становимся сильнее.

Раздражители, в отношении которых мы не знаем, что делать, накапливаются, а не исчезают. Когда они накапливаются в достаточном количестве, они вызывают катастрофу, – разумеется, самопроизвольную катастрофу, но такую, которую невозможно отличить от стихийного бедствия. Раздражители мешают осуществлению наших планов в их целостности, поэтому мы склонны делать вид, что их нет. Катастрофы, в противоположность этому, мешают вере в истинность всех наших историй в их целостности и чрезвычайно вышибают нас из колен. На них, по их природе, труднее не обращать внимания, хотя это обстоятельство и не удерживает нас от попыток делать это.

Раздражители обычны. К сожалению, таковы и катастрофы, самопроизвольные и иные. Мы приспособились к катастрофам, как к раздражителям, как к неизменной особенности окружающей среды. Мы можем решить, что делать с катастрофой, точно так же, как и с раздражителем, хотя цена этого выше. Вследствие этой приспособленности, этой способности решать, катастрофа может омолодить. Она может и уничтожить.

Чем больше в данной катастрофе раздражителей, на которые не обращали внимания, тем вероятнее, что она уничтожит.

За последние полстолетия исследования умственных и эмоциональных способностей они были изучены достаточно, чтобы сделать возможной разработку предварительной общей теории эмоционального регулирования. Описание той роли, которую играет в человеческой обработке информации реакция на новизну или на аномалию, очевидно, является главным для такой теории. Совокупность неопровержимых данных говорит о том, что наши эмоциональные, познавательные и поведенческие отклики на неизвестное или непредсказуемое являются "встроенными"; наводит на мысль, что эти отклики представляют собой врождённые основы устройства самого сознания. Мы невольно обращаем внимание на то, что происходит вопреки нашим предсказаниям, на то, что происходит вопреки нашим желаниям, выраженным в ожидании. Это невольное внимание охватывает значительную часть того, о чём мы говорим, когда произносим слово "сознание". Наше первоначальное внимание представляет собой первый шаг в процессе приспособления нашего поведения и наших объяснительных построений к миру опыта (предполагается, что мы это делаем). Оно представляет собой также первый шаг, который мы предпринимаем, когда изменяем мир, чтобы сделать его таким, каким хотим его видеть, а не таким, каков он теперь.

Современное исследование роли новизны в эмоции и мысли началось с работ русских учёных – Е. Н. Соколова, О. Виноградовой, А. Р. Лурия (и, более недавно, Е. Гольдберга), – которые выбрали единственный во многих отношениях подход к познанию работы человеческого организма. По-видимому, эта традиция идёт от Павлова, который рассматривал рефлекторную дугу как явление первостепенной важности, и из марксистского духовного наследия, которое считало труд – творческую деятельность – определяющим свойством человека. Каковы бы ни были особые исторические прецеденты, дело определённым образом обстоит так, что русские учёные рассматривали телодвижения и равносильные им отвлечённости как решающе важную сторону человеческой жизни. Эта точка зрения исторически отличала их от их западных коллег, которые были склонны (склонны и по сей день) рассматривать мозг как обрабатывающую информацию машину, похожую на компьютер. Психологи на западе сосредоточили

свои силы на установлении того, как мозг определяет, что есть, так сказать, там снаружи, – вовне с объективной точки зрения. Русские учёные, в противоположность этому, посвятили себя изучению роли мозга в управлении поведением и в порождении эмоций, связанных с этим поведением. Современные учёные, производящие опыты над животными – в особенности Джеффри Грей²⁵, – применили этот подход русских с поразительным успехом. Теперь мы знаем, по крайней мере в общих чертах, как мы откликаемся на те (досадные, раздражающие, пугающие, многообещающие) события, которых не ожидаем.

Русский психофизиолог-новатор Е. Н. Соколов начал работу по "рефлекторной основе" внимания в 1950-х годах. К началу 60-х годов эта работа продвинулась до того, что он смог сформулировать следующие основные положения. Первое:

"Один из возможных подходов к анализу процесса отражения – это рассматривать нервную систему как механизм, который моделирует внешний мир путём особых изменений, происходящих в его внутренней структуре. В этом смысле определённый набор изменений в нервной системе изоморфен внешней действующей силе, которую он отражает и с которой имеет сходство. Как внутренняя модель, которая развивается в нервной системе в ответ на воздействие различных сил окружающей среды, представление выполняет жизненно важную функцию изменения природы поведения, позволяя организму предсказывать события и активно приспосабливаться к окружающей его обстановке".²⁶

И второе:

"Моё первое столкновение с явлениями, которые показывали, что высшие отделы центральной нервной системы моделируют внешние действующие силы, включало в себя изучение реакций на «новые» [особенности раздражителей. Я охарактеризовал эти реакции как] **ориентирующие рефлексы**. Своеобразной чертой ориентирующего рефлекса является то, что после нескольких (обычно от пяти до пятнадцати) применений того же самого раздражителя отклик на него исчезает (или, как гласит общепринятое выражение, «уничтожается»). Однако малейшего возможного изменения раздражителя достаточно, чтобы пробудить этот отклик... Исследования по ориентирующим рефлексам показывают, что такой рефлекс не возникает как непосредственный результат поступающего возбуждения; скорее, он вызывается сигналами расхождения, которые развиваются, когда центростремительные [то есть **поступающие**] сигналы сравниваются со следом, образованным в нервной системе более ранним сигналом".²⁷

Соколов, главным образом, занимался моделированием событий объективного внешнего мира, предполагая, по существу, что когда мы моделируем, то мы моделируем **факты**. Большинство учёных, которые следовали его примеру, приняли это главное предположение, по крайней мере неявно. Эта точка зрения требует некоторого видоизменения. Мы и в самом деле моделируем факты, но **интересует** нас их валентность, или ценность. Поэтому дело обстоит так, что наши карты мира содержат то, что можно было бы рассматривать как два различных типа сведений – чувственный и эмоциональный. Недостаточно знать, что нечто **есть**. Одинаково необходимо знать, что оно **означает**. Можно даже было бы доказывать, что животные – и люди тоже – **прежде всего** интересуются эмоциональным значением окружающей среды.

Вместе с нашими родственниками, животными, мы предаёмся исследованию основ: съест меня ли это (новое) существо? Могу ли я его есть? Будет ли оно охотиться на меня? Должен ли я охотиться на него? Могу ли я заниматься с ним любовью? Мы моделируем факты – насчёт этого нет сомнения. Но мы моделируем факты, чтобы следить за смыслом происходящего. Мы **можем** моделировать факты, и делать это несомненно полезно. Мы, однако, должны моделировать смысл этих фактов, для того чтобы выжить. Наши самые основные карты опыта – карты, устроенные как повествования, – изображают **побудительную ценность нашего теперешнего состояния, представляемого в сравнении с предполагаемым идеалом** и сопровождаемого **планами действия**, которые отражают наши практические представления о том, как получить то, чего мы хотим.

Описания этих трёх составных частей – теперешнего состояния, будущего состояния и связывающих их средств – представляют собой необходимые и достаточные предпосылки для сочинения простейшего **повествования**, которое является средством описания валентности данной окружающей среды, относительно ограниченного в пространстве и во времени набора образцов действия. Достижение точки

"b" предполагает, что ты уже находишься в точке "a": нельзя планировать движение при отсутствии исходного положения. То обстоятельство, что точка "b" – конечная цель, означает, что она оценивается более высоко, чем точка "a", что она есть место более желательное, если рассматривать её в сопоставлении с теперешним положением. Именно воспринимаемое улучшение в точке "b" делает всю карту осмысленной, то есть нагруженной эмоциями. Именно способность создавать предполагаемые или абстрактные конечные точки, такие, как "b", и противопоставлять их "настоящему" делает людей способными использовать свои познавательные системы, чтобы изменять свои эмоциональные реакции²⁸.

Повествования служат связующим звеном между верованиями и эмоциями. "Обычные" повествования рассказывают нам, где мы находимся, куда мы собираемся и как мы собираемся туда попасть. В противоположность им "революционные" повествования описывают процесс, посредством которого преобразуются "обычные" повествования, когда это становится необходимым. Как мы увидим позже, между двумя типами повествования нет строгого качественного различия, оно состоит скорее в степени. Тем не менее в целях предварительного объяснения их можно с пользой рассматривать как различимые (так же как крайние точки континуума можно, ради спора, рассматривать как противоположности).

"Область", нанесённая на карту повествованием, вызывающим при его разыгрывании желаемые последствия, можно с разумным основанием рассматривать как "исследованную территорию", так как события, которые "там" происходят, предсказуемы. Напротив, любое место, где выполняемые планы вызывают неожиданные, угрожающие или карающие последствия, можно рассматривать как "неисследованную территорию". То, что происходит "там", не соответствует нашим желаниям. Это означает, что хорошо знакомое место, где начинают происходить непредсказуемые события, больше не является хорошо знакомым (хотя бы оно и было тем же самым с "объективной" точки зрения). Мы знаем, как действовать в некоторых местах, и не знаем, как в других. Замыслы, которые мы исполняем, иногда срабатывают, а иногда – нет. Области жизни, которые мы населяем, – так сказать наша "окружающая среда" – поэтому неизменно характеризуются наличием предсказуемого и управляемого, в парадоксальном соседстве с непредсказуемым и неуправляемым. Мир состоит из "порядка" и "хаоса", по крайней мере с метафорической точки зрения. Как это ни странно, наши нервные системы, по-видимому, приспособились именно к этому "метафорическому" миру.

Хотя работа Соколова и его коллег²⁹ вызвала значительный интерес на Западе, её влияние на современные теории побуждений и эмоций человека было более ограниченным, чем следовало ожидать. Данное обсуждение предназначено исправить такое положение и развить первоначальные идеи Соколова в той степени, которая сейчас может быть оправдана как опытным путём, так и теоретически. Соколов открыл, грубо выражаясь, то, что отличительным признаком людей (и других животных, которые гораздо ниже их в цепи развития видов) служит врождённый отклик на то, чего они не могут предсказать, не хотят, а также не могут понять. Соколов установил главные характерные черты того, как мы откликаемся на неизвестное – на ту странную совокупность **всех событий, которые ещё не были распределены по рядам**. Представление, что мы откликаемся на появление неизвестного способом, который "задан бессознательными образцами", имеет революционные следствия. Я хотел бы начать это обсуждение способом несколько отдалённым от обычного научного обсуждения, но подходящим для темы, которая обсуждается, – рассказав две истории.

2.1.1. Обычная жизнь

**"Если трудности признаны
и ими занимаются до того, как они возникнут,
их можно даже предотвратить, прежде чем начнётся беспорядок.
Таким образом можно поддерживать мир".³⁰**

Вы работаете в канцелярии. Вы делаете карьеру в корпорации. Ваша повседневная деятельность отражает эту превосходную цель. Вы постоянно погружены в ту или другую деятельность, предназначенную вызвать повышение вашего положения с точки зрения корпоративной иерархии. Сегодня вам надо быть на собрании, которое может оказаться жизненно важным для вашего будущего. У вас в голове, так сказать, сложилось представление о характере этого собрания и том, что там будет происходить. Вы представляете себе, чего вы хотели бы достичь. Ваше представление об этом возможном будущем – это **игра воображения**, но она основана (поскольку вы честны) на всех полученных из прошлого опыта и имеющих отношение к делу сведениях, которые имеются в вашем

распоряжении. Вы уже бывали на многих собраниях. Вы знаете в разумных пределах, что, вероятно, произойдёт во время любого данного собрания. Вы знаете, как вы будете себя вести и какое влияние на других будет иметь ваше поведение. Ваша модель желаемого будущего несомненно основана на том, что вы знаете в настоящее время.

У вас имеется и постоянно действующая модель настоящего. Вы понимаете **ваши** (несколько подчинённое) **положение** внутри корпорации, свой уровень по отношению к другим, выше и ниже вас поставленным в иерархии. Вы понимаете смысл того, что постоянно происходит во время вашего пребывания на работе: вы знаете, кому вы можете отдавать распоряжения, кого должны слушаться, кто хорошо работает, на кого можно благополучно не обращать внимания и так далее. Вы всегда сравниваете это современное (неудовлетворительное) положение с вашим идеалом, который есть вы сами, всё больше и больше уважаемый, влиятельный, богатый и счастливый, свободный от забот и страданий, поднимающийся к конечному успеху. Вы непрерывно вовлечены в попытки преобразовать настоящее, как вы его сейчас понимаете, в такое будущее, каким, вы надеетесь, оно будет. Вы задумываете свои действия так, чтобы осуществить ваш идеал; так, чтобы преобразовать настоящее в нечто, всё более близко подходящее на то, чего вы хотите. Вы уверены в вашей модели реальности, в вашей истории. Когда вы приведёте её в действие, то получите **результаты**.

Вы мысленно готовитесь к своему собранию. Вы рисуете в своём воображении себя, играющего главную по важности роль, решительно определяющего направление, которое примет собрание, производящего сильное влияние на своих сотрудников. Вы находитесь в своей канцелярии и готовитесь уйти. Собрание происходит в другом здании, в нескольких кварталах отсюда. Вы набрасываете предварительный план поведения, задуманный так, чтобы попасть туда вовремя. Вы оцениваете время перехода – пятнадцать минут.

Вы покидаете вашу канцелярию на двадцать седьмом этаже и ждёте у лифта. Минуты тикают – их всё больше и больше. Лифт не появляется. Вы не приняли во внимание эту возможность. Чем дольше вы ждёте, тем больше нервничаете. Частота вашего сердцебиения начинает возрастать, по мере того как вы готовитесь к действию (пока ещё точно не определённого). Ладони у вас потеют. Вы краснеете. Вы начинаете бранить себя за то, что не приняли во внимание возможное влияние такой задержки. Может быть, вы не так ловки, как думаете. Ваша модель самого себя начинает подвергаться пересмотру. Но для этого сейчас нет времени: вы выбрасываете такие мысли из головы и сосредотачиваетесь на более неотложной задаче.

Неожиданное просто стало явным, в виде неработающего лифта. Вы надеялись использовать его, чтобы попасть туда, куда вы собирались, а он не сработал. Ваш первоначальный план действий не произвёл желаемых последствий. Это был, **по вашему собственному определению**, плохой план. Вам нужен другой – и поскорее. К счастью, в вашем распоряжении имеется запасная стратегия. Лестница! Вы бросаетесь к задней стороне здания. Вы пробуете дверь лестничной клетки. Она заперта на замок. Вы проклинаете команду технического обслуживания. Вы расстроены и обеспокоены. Неизвестное появилось ещё раз. Вы пробуете другой выход. Удача! Дверь открывается. У вас появляется надежда. Вы всё ещё можете попасть туда вовремя. Вы несётесь вниз по лестнице – все двадцать семь этажей – и на улицу.

К этому времени вы уже безнадежно опоздали. Пока вы торопитесь, вы наблюдаете за обстановкой: продолжается ли продвижение к вашей цели? Всякий, кто оказывается у вас на пути: пожилые дамы, весёлые, счастливые дети, влюблённые, вышедшие на прогулку, – раздражает вас. В большинстве случаев вы хороший человек, по крайней мере по вашей собственной оценке. Почему же тогда эти ни в чём не виновные люди так основательно вас раздражают? Вы – у оживлённого перекрёстка. Светофор, показывающий, что можно переходить дорогу, как будто вырубился. Вы кипите от злости и бестолково ворча отступаете на тротуар. Ваше кровяное давление повышается. В конце концов, светофор переключается. Вы улыбаетесь и бросаетесь вперёд. Вверх по небольшому подъёму вы бежите. Сегодня вы не в прекрасной физической форме. Откуда же берётся вся эта энергия? Вы подходите к нужному зданию. Мельком взглядываете на часы. Осталось пять минут: ничего страшного. Чувство облегчения и удовлетворения заливают вас. Вы уже **там**: значит, вы не дурак. Если бы вы верили в Бога, вы бы Его поблагодарили.

Вышли бы вы заблаговременно – планировали бы соответствующим образом – другие пешеходы и разные препятствия не действовали бы на вас вообще. Вы, может быть, даже оценили бы их – по крайней мере тех, у кого приятная внешность, – или могли бы, по крайней мере, не относить их к числу препятствий. Может быть, вы бы даже использовали это время, чтобы получать удовольствие от своего

окружения (что невероятно) или думать о других действительно важных вопросах – вроде завтрашнего собрания.

Вы продолжаете свой путь. Вдруг вы слышите позади себя ряд громких звуков, звуков, напоминающих, скажем, те, которые производит большой автомобиль, наталкивающийся на невысокий бетонный барьер (барьер, очень похожий на каменную обочину). Вы в безопасности на тротуаре, или так полагали секунду назад. Ваши игры воображения насчёт собрания исчезают. То, что вы опаздываете, кажется, больше не имеет отношения к делу. Вы тотчас перестаёте спешить, остановленный на своём пути возникновением этого нового явления. Ваш слух определяет местонахождение источника звуков в трёх измерениях. Вы невольно поворачиваете туловище, шею, голову и глаза в направлении того места в пространстве, из которого, по-видимому, исходят звуки.³¹ Ваши зрачки расширяются, а глаза открываются шире.³² Ваше сердце бьётся чаще, по мере того как ваше тело готовится предпринять приспособительное действие, как только надлежащий образ такого действия будет определён.³³

Вы активно исследуете неожиданное происшествие, как только вы повернётесь к нему, всеми чувственными и познавательными средствами, которые сможете собрать. Вы строите догадки о возможной причине шума ещё до того, как повернётесь. Не наскочил ли фургон на обочину? Вас вдруг осеняет. Не упало ли что-нибудь тяжёлое со здания? Или, может быть, ветер опрокинул доску для объявлений или дорожный знак? Ваши глаза деятельно и пристально осматривают район, имеющий отношение к делу. Вы видите большой грузовик, нагружённый частями моста и направляющийся вдоль по улице. Он только что проехал через выбоину в дороге. Тайна объяснена. Вы определили точное значение для ваших побуждений того, что ещё секунды тому назад было опасным и угрожающим неизвестным, и оказалось, что оно равно нулю. Нагружённый грузовик попал на ухаб. Подумаешь, важность какая! Ваше сердце начинает биться медленнее. Мысли о предстоящем собрании снова возвращаются в поле действия вашего ума. Ваше первоначальное путешествие продолжается, как будто ничего не случилось.

Что происходит? Почему вы испуганы и расстроены отсутствием ожидаемого лифта, присутствием старухи с палкой, беспечных влюблённых и шумной машины? Почему настолько изменчивы ваше поведение и эмоции?

Подробное описание процессов, управляющих этими обычными эмоциональными явлениями, даёт основу для правильного понимания человеческих побуждений. Соколов и его коллеги, по существу, открыли, что неизвестное, переживаемое относительно имеющейся модели настоящего и будущего, имеет **доопытное** значение для побуждения к действию, или, если выразить это несколько по-иному, что неизвестное может служить **безусловным раздражителем**.

Каково **доопытное** значение неизвестного для побуждения к действию? Можно ли даже задать такой вопрос? В конце концов, неизвестное ещё не было исследовано (по определению). Ничего нельзя сказать, согласно предписаниям обычной логики, о чём-то, с чем ещё не сталкивались. Мы, однако, не интересуемся сейчас ни информацией, доставляемой органами чувств, ни какими-либо отдельными материальными свойствами, но только **валентностью**. **Валентность**, в себе и саму по себе, проще всего рассматривать как двухполюсную: положительную или отрицательную (или, конечно, ни ту ни другую). Мы достаточно хорошо знакомы с крайними возможными пределами валентности, положительной и отрицательной, чтобы провести временные границы вокруг возможности. **Самое худшее**, чем могло бы быть неизвестное, – это, вообще говоря, смерть (или, может быть, очень долгие страдания, за которыми следует смерть): наша уязвимая смертность даёт нам один предел. **Самое лучшее**, чем могло бы быть неизвестное, определить более трудно, но некоторые общие правила могли бы оказаться приемлемыми. Мы хотели бы быть богатыми (или, по крайней мере, свободными от нужды), обладать хорошим здоровьем и быть любимыми. Значит, величайшим благом, которое неизвестное могло бы даровать, можно было бы считать то, что позволило бы нам превзойти наши природные ограничения (бедность, невежество, уязвимость), а не оставаться печально подчинёнными им. Эмоциональная "область", охватываемая неизвестным, поэтому очень широка, простираясь от того, чего мы больше всего боимся, до того, чего мы больше всего склонны желать.

Неизвестное, конечно, определяется в противопоставлении известному. Всё, что "**не** понятно" или "**не** исследовано", является неизвестным. Отношение между часто (и несправедливо) разделяемыми областями "познания" и "эмоций" можно более ясно понять в свете этой довольно очевидной истины. Именно отсутствие **ожидаемого** удовлетворения, например, является наказывающим, обидным³⁴: эмоция вызывается как непредвиденный отклик на внезапное и непредсказуемое изменение в теоретически понятом устройстве мира. Именно человек, **ожидающий** повышения из-за своей выдающейся работы, – человек, представляющий желаемое будущее, – обижен, когда кто-то "менее заслуживающий", чем он,

получает предпочтение перед ним (в конце концов, "люди сильнее всего наказываются за свои добродетели"³⁵). Человек, чьи надежды были разрушены, – кому угрожали, и кто был обижен, – будет, вероятно, работать в будущем менее усердно, с большим чувством обиды и раздражением. Наоборот, девочка, которая не закончила своего домашнего задания, дрожит от радости, когда, прежде чем её вызовут, звенит звонок, возвещающий конец урока. Звонок возвещает **отсутствие ожидаемого наказания** и поэтому вызывает положительную эмоцию, облегчение, счастье.³⁶

Следовательно, оказывается, что именно **представление о цели** (игра воображения о природе желаемого будущего, понятого в связи с моделью значения настоящего) обеспечивает значительную часть обрамления, определяющего значение текущих современных событий для побуждений. Человек использует своё знание, чтобы придумать предполагаемое положение дел, где итог оценки текущих событий является наилучшим из возможных: где имеется достаточное удовлетворение, наименьшее наказание, терпимая угроза и избыточная надежда, все **как следует** уравновешенные на короткие и долгие сроки. Это наилучшее положение дел может быть представлено в понятиях (имеется в виду достижение долгосрочного положения) как образец продвижения на жизненном пути, означающий совершенство, насколько оно может быть достигнуто в мирской жизни (богатейший торговец наркотиками, живущая в счастливом браке мать семейства, президент большой корпорации, имеющий постоянную работу профессор Гарвардского университета). При другом подходе совершенством можно было бы считать отсутствие всех ненужных вещей и наличие всех удовольствий воздержанной жизни. Суть в том, что какое-то желательное будущее положение дел представляется в понятиях, в воображении, а затем используется как целевая точка для действия в настоящем. Такие действия можно представлять себе как звенья в цепи, где конец цепи прикреплен к желательному будущему положению дел.

Собрание (подобное тому, о котором говорилось ранее) могло бы рассматриваться теми, кто в нём участвует, как одно из звеньев цепи, которая может предположительно привести к райскому состоянию президента корпорации (или к чему-то менее желательному, но всё ещё хорошему). Успешно завершённое собрание как **подцель** поэтому имело бы то же значение как побуждение к действию, что и сама цель, хотя и в меньшей степени (так как оно есть только небольшая часть большого и более важного целого). **Образцовое** собрание будет представлено в идеале – как и все являющиеся целями состояния – как динамическое состояние, где, **приняв всё во внимание**, положение с побуждениями наилучшее. Само собрание воображается, то есть формулируется представление о желательном его исходе, а план поведения, предназначенного вызвать такой исход, тщательно разрабатывается и разыгрывается. "Воображаемое собрание" есть игра воображения, но эта игра воображения, основана на знании прошлого (предполагается, что такое знание на самом деле было получено и что планирующий в состоянии и готов его использовать).

Эмоциональные системы, которые управляют откликами на наказание, удовлетворение, угрозу и обещание³⁷, все вносят свой вклад в достижение идеального состояния. Всё, что мешает такому достижению (включая старушек с палочками), будет испытываться как угрожающее и/или наказывающее. Всё, что означает возросшую вероятность успеха (как открытое пространство тротуара), будет испытываться как обещающее или удовлетворяющее. Именно по этой причине буддисты верят, что всё есть **Майя**, или иллюзия.³⁸ **значение текущих событий для побуждения несомненно определяется природой цели, к достижению которой направлено поведение.** Эта цель представляется в понятиях, в случайных образах, то есть в фантазии. Мы постоянно сравниваем настоящее с миром, идеализированным в фантазии, выносим эмоциональное суждение и вследствие этого действуем. Обыденные обещания и удовлетворения служат признаком того, что мы прекрасно ведём свои дела, что мы продвигаемся по направлению к нашим целям. Неожиданный разрыв в потоке пешеходов появляется перед нами, когда мы спешим; мы бросаемся вперёд, радуясь случаю. Мы куда-то добираемся немного быстрее, чем надеялись, и чувствуем себя удовлетворёнными тем, как разумно мы всё спланировали. В противоположность этому далеко идущие обещания или глубокие удовлетворения подтверждают наши общие представления действительности в понятиях, указывают на то, что наши эмоции вероятно останутся упорядоченными на том пути, который мы избрали. Обыденные угрозы или наказания указывают на недостатки в наших **средствах** достижения желаемых целей. Мы соответственно изменяем наше поведение и устраняем угрозу. Когда лифт не появляется в желательное время, мы идём по лестнице. Когда красный свет светофора замедляет наше движение на перекрёстке, мы бежим немного быстрее, чем могли бы в ином случае, как только он выключается. Основательные угрозы и наказания (читай травмы) имеют качественно отличную природу. Они подрывают нашу способность верить, **что наши представления о настоящем обоснованы и что наши цели соответствуют действительности.** Такие случаи подрывают нашу веру в наши цели (а часто и в наши отправные точки).

Мы создаём свой идеализированный мир в воображении, в соответствии со всеми теми сведениями, которые имеются в нашем распоряжении. Мы используем то, что знаем, чтобы создавать образы того, что могли бы иметь и, следовательно, что мы должны делать. Но мы сравниваем наше истолкование мира, как он развёртывается в настоящем, не с простым ожиданием, а с **желаемым миром в воображении**: мы сравниваем то, что у нас есть (в истолковании), с тем, чего мы **хотим**, а не с тем, о чём мы просто думаем, что оно **будет**. Наша постановка целей и последующее к ним стремление имеют свои причины: мы гонимся за тем, чего желаем, в постоянных попытках улучшить своё эмоциональное состояние. (Конечно, мы используем своё поведение, чтобы обеспечить осуществление наших мечтаний: это здоровое "приспособление". Но мы по-прежнему сравниваем то, что происходит, с тем, чего мы хотим, – с тем, что мы желаем, чтобы оно было, – а не просто с тем, чего мы хладнокровно ожидаем.)

Карты, которые представляют наше мотивированное поведение, устроены определённым понятным образом. Они содержат два основных и взаимозависимых полюса: один – **настоящее**, другой – **будущее**. Настоящее – это чувственный опыт, каким он в настоящее время проявляется для нас, – как мы в настоящее время его понимаем, – считая сами собой разумеющимися значения побуждений в соответствии с нашими современными знаниями и желаниями. Будущее – это представление или частичное представление совершенства, с которым мы сравниваем настоящее, насколько мы понимаем его смысл. **Где бы ни появлялось несоответствие между этими двумя полюсами, неожиданное или новое происходит** (по определению), овладевает нашим вниманием и приводит в действие внутренние системы, управляющие надеждой и страхом.³⁹ Мы стремимся вернуть новые происшествия в царство предсказуемости или использовать их ради ранее не рассматривавшихся возможностей, изменяя наше поведение или наши образцы представления. Мы представляем себе путь, соединяющий настоящее с будущим. Этот путь "состоит" из поступков, требующихся, чтобы произвести преобразования, которые мы желаем; требующихся, чтобы превратить (вечно) неудовлетворительное настоящее в (вечно удаляющееся) райское будущее. Он **обычно** представляется как линейный, так сказать, как нечто аналогичное понятию **обычной науки** Томаса Куна⁴⁰, где известные образцы поведения, действуя на понятое настоящее, создадут будущее, чья желательность задана как не вызывающая сомнений.

Всё, что вредит нашим возможным средствам достижения определённой цели является наказывающим или угрожающим в скорее обыденном смысле, описанном ранее. Столкновение с наказаниями или угрозами этого разряда просто заставляет нас выбрать другое средство из числа тех, которые обычно у нас имеются налицо. Подобное положение существует и для обещаний, и для удовлетворений. Когда средство вызывает желаемую цель (или содействует продвижению по пути к ней), мы испытываем удовлетворение (и надежду, так как **достигнутая** промежуточная цель означает возросшую вероятность успеха в более отдалённом будущем). Такое удовлетворение приводит к концу нашего определённого поведения: мы меняем цели и продолжаем двигаться в будущее. Изменение наших средств в зависимости от значения их результатов как побуждений можно считать **обычным** приспособлением.



Рисунок 3

Структура обычного приспособления схематически изображена на *рисунке 3 "Обычное приспособление"*.

Мы ставим, в представлении и слове, цель и сравниваем имеющиеся налицо условия с этой целью. Мы оцениваем смысл текущих событий в свете их понятого нами отношения к этой цели. Мы изменяем наше поведение – наши средства, – когда это необходимо, чтобы достижение нашей цели становилось всё более и более вероятным. Мы изменяем наши действия внутри игры, но вне сомнения принимаем её правила. Мы двигаемся по прямой из настоящего в будущее.

2.1.2. Революционная жизнь

Революционная модель приспособления, считающаяся сродни Куновской⁴¹ **революционной науке**, более сложна. Предположим, что вы возвращаетесь со своего собрания. Вы успели туда вовремя и, насколько вы можете сказать, всё происходило в соответствии с планом. Вы заметили, что ваши сослуживцы казались немного раздражёнными и смущёнными вашим поведением, когда вы пытались контролировать положение, но приписали это зависти с их стороны – их неспособности постичь величие ваших замыслов. Вы удовлетворены – временно удовлетворены, – так что вы думаете о завтрашнем дне, когда идёте на работу. Вы возвращаетесь в канцелярию. На вашем автоответчике – сообщение: вас хочет видеть ваша начальница. Вы не ожидали этого. Ваше сердцебиение несколько ускоряется: хорошая или плохая, эта новость требует **подготовки к действию**.⁴² Чего она хочет? У вас появляются фантазии о возможном будущем. Может быть, она слышала о вашем поведении на собрании и хочет поздравить вас с отличной работой. Вы идёте в её кабинет, полный предчувствий, но и надежд.

Вы стучитесь в дверь и беспечно заходите. Начальница смотрит на вас, но мельком поглядывает в сторону, несколько печально. Ваши опасения возрастают. Она делает вам знак сесть, и вы садитесь. Что происходит? Она говорит: "У меня для вас плохие новости". Это нехорошо. Это не то, чего вы хотели. Ваше сердцебиение неприятно усиливается. Вы сосредоточиваете всё своё внимание на начальнице. "Послушайте, – говорит она, – я получила много очень неблагоприятных сообщений о вашем поведении на собраниях. Все ваши сослуживцы, по-видимому, считают вас негибким и властным в переговорах. Более того, всё более и более очевидно, что вы неспособны положительно реагировать на сообщения о ваших недостатках. В заключение, вы, кажется, не понимаете как следует цели вашей работы и назначения этой корпорации".

Вы невероятно потрясены, оцепенели до полной неподвижности. Ваша мечта о будущем, связанном с этой компанией, исчезает, заменяясь опасениями безработицы, немилости общества и неудачи. Вы обнаруживаете, что вам трудно дышать. Вы краснеете и обильно потеете. Ваше лицо – маска едва подавляемого ужаса. Вы не можете поверить, что ваша начальница – такая сука. "Вы проработали с нами пять лет, – продолжает она, – и очевидно, что качество вашей работы вряд ли улучшится. Вы определённо не подходите для этого рода деятельности, и вы мешаете успешной работе многих знающих людей вокруг вас. Вследствие этого мы решили расторгнуть ваш контракт с нами, причём немедленно. На вашем месте я бы хорошо подумала о своих делах".

Вы только что получили неожиданное сообщение, но другого порядка важности, чем те мелкие аномалии и незначительные раздражения, угрозы и расстройства, которые нарушали ваше душевное спокойствие утром. Вам только что представилось неопровержимое доказательство того, что ваши описания настоящего и идеального будущего страдают важными – может быть непоправимыми – недостатками. Ваши предположения о природе мира ошибочны. Мир, который вы знали, только что обрушился вокруг вас. Ничто не является тем, чем оно казалось; всё снова неожиданное и новое. Вы покидаете кабинет в состоянии потрясения. В коридоре другие служащие отводят в смущении свои взгляды. Почему вы не понимали, что вам предстоит? Как можно было настолько заблуждаться?

Может быть, все вышли, чтобы рассчитаться с вами.

Лучше не думать об этом.

Вы спотыкаясь добираетесь домой и сваливаетесь на кушетку. Вы не можете пошевелиться. Вы в ужасе и обижены. Вы чувствуете себя так, словно сходите с ума. Что же теперь? Как вы будете смотреть в глаза людям? Уютное, предсказуемое, чего-то стоящее настоящее исчезло. Будущее раскрылось перед вами, как яма, и вы свалились в неё. В течение следующего месяца вы обнаруживаете, что не в состоянии действовать. Ваш дух погашен. Вы спите и просыпаетесь в необычное время; ваш аппетит нарушен. Вы встревожены, отчаянны и порой агрессивны. Вы огрызаетесь на свою семью и мучаете себя. Мысли о

самоубийстве появляются в вашем воображении. Вы не знаете, что думать или что делать: вы – жертва внутренней борьбы эмоций.

Ваше столкновение с ужасным неизвестным потрясло самые основы вашего мировоззрения. Вы невольно подверглись действию **неожиданного и революционного**. Хаос разъял вашу душу. Это значит, что ваши долгосрочные цели должны быть перестроены, а значение событий в вашем современном окружении как побуждений к действию заново оценено, буквально **переоценено**. Эта способность к полной переоценке в свете новых сведений является даже более исключительно человеческой, чем упомянутая выше способность исследования неизвестного и порождения новой информации. Иногда мы, в ходе наших действий, вызываем явления, само существование которых невозможно, согласно общепринятым способам истолкования (которые лежат в основе приписывания мотивационного значения событиям). Исследование этих новых явлений и включение таких находок в наше знание подчас означает переформулировку такого знания⁴³ (и последующее новое подвергание его действию неизвестного, которому более не препятствует наш способ классификации).⁴⁴ Это значит, что простое движение из настоящего в будущее время от времени прерывается полным распадом и переформулировкой:

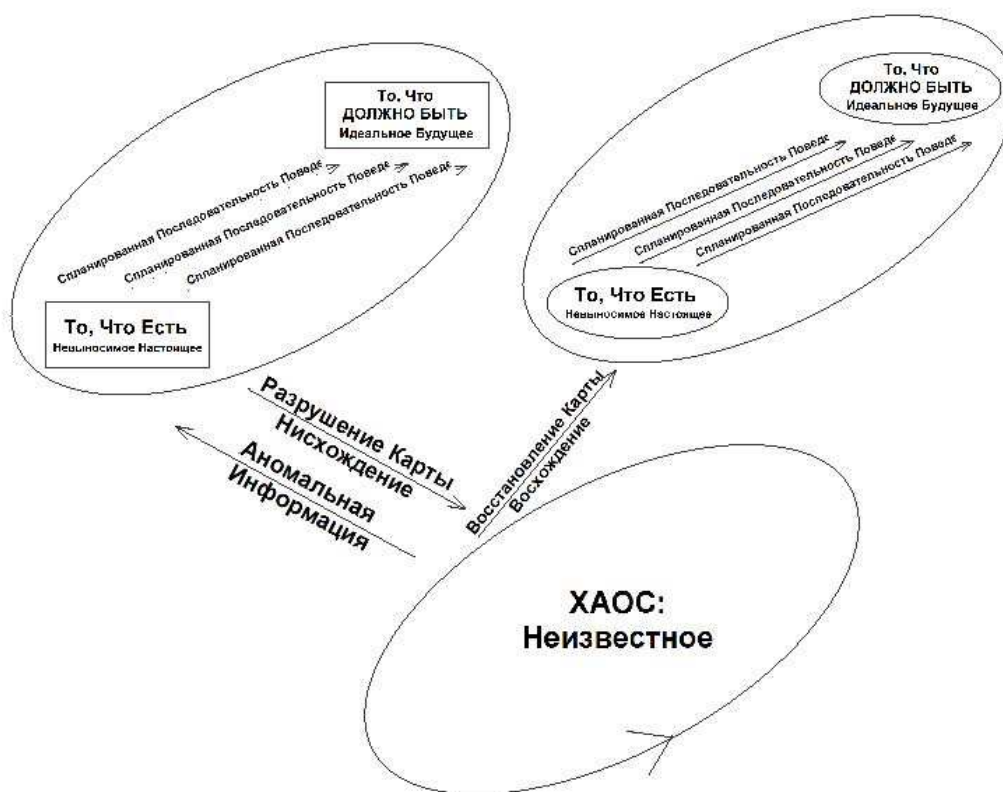


Рисунок 4

прерывается установлением заново того, что **есть** настоящее и чем **должно быть** будущее. Восхождение личности, так сказать, прерывается промежутками "распада и возрождения".⁴⁵ Более общая модель человеческого приспособления – наиболее просто представляемая понятиями **устойчивого состояния, надлома, перелома и восстановления**⁴⁶ – поэтому в конце концов выглядит как **рисунок 4**

"Революционное приспособление". Процессы революционного приспособления, разыгрываемые и представляемые, лежат в основе разнообразных культурных явлений, простирающихся от "первобытных" обрядов посвящения⁴⁷ до понятий изощрённых религиозных систем.⁴⁸ И в самом деле, сами наши культуры воздвигнуты на основании единственной великой истории: **рай, столкновение с хаосом, падение и искупление.**

Через месяц после того, как вы были уволены, новая мысль приходит вам в голову. Хотя вы раньше никогда не признавались себе в этом, вы в действительности не любите эту проклятую работу. Вы согласились принять её, потому что от вас этого ожидали. Вы никогда не вкладывали в неё все силы, так как вы хотели заниматься чем-то другим, тем, что другие считали опасным и безрассудным. Вы приняли тогда неудачное решение. Возможно, нужен был этот удар, чтобы вернуть вас на правильный путь. Вы уже представляете себе новое будущее – будущее, где вы, может быть, не будете столь "застрахованы", но будете заниматься тем, что хотите. К вам возвращается сон, и вы опять начинаете есть как следует. Вы стали спокойнее, менее высокомерны, более склонны соглашаться с другими, кроме как в минуты слабости. Люди замечают, (некоторые – восхищённо, некоторые – с завистью) ту перемену, которую они ощущают в вас. Вы – человек, поправляющийся после долгой болезни, возрождённый человек.

2.2. Невропсихологическая функция: природа ума

Разумно рассматривать мир, взятый в качестве места действия, как "место" – место, составленное из знакомого и незнакомого в их вечном сопоставлении. Мозг человека состоит, в основном, из двух подсистем, приспособленных к действию. Из них правое полушарие, вообще говоря, откликается на новизну с осторожностью и тут же выдвигает всеохватывающие предположения. Левое полушарие, напротив, склонно "командовать", когда дела, явно распределённые по разрядам, выполняются по плану. Правое полушарие рисует быстрые, всеохватывающие, основанные на валентности "метафорические" картины новых явлений. Левое, с его большей тягой к подробностям, превращает эти картины в ясные и словесные. Таким образом исследовательская способность мозга "строит" мир знакомого (известного) из мира незнакомого (неизвестного).

Когда мир остаётся известным и знакомым, – то есть когда наши убеждения остаются обоснованными, – наши эмоции сдерживаются. Когда же, однако, мир внезапно преобразуется в нечто новое, наши эмоции расстраиваются, и мы бываем вынуждены отступить или повторить исследование.

2.2.1. Валентность явлений

"А кто приглядится к основным инстинктам человека... тот увидит, что все они уже занимались некогда философией и что каждый из них очень хотел бы представлять собою последнюю цель существования и изображать управомоченного господина всех остальных инстинктов.

Ибо каждый инстинкт властолюбив; и, как таковой, он пытается философствовать".⁴⁹

"Это правда, что человек был создан для того, чтобы служить богам, которые, прежде всего, нуждаются в том, чтобы их кормили и одевали".⁵⁰

Мы можем составлять списки того, что, **в общем**, хорошо или плохо, которые могут казаться разумными другим людям, потому что мы выносим суждения о значении относительно общепринятым и предсказуемым образом. (Еда **хороша**, если она вкусно приготовлена, удар по голове **плох**, в прямом соответствии с его силой.) Такой список можно расширять без особых усилий. Вода, кров над головой, тепло и половая связь хороши; болезни, засухи, голод и драки плохи. Существенное сходство наших суждений о значении легко приводит к выводу, что хороший или плохой характер явлений более или менее неизменен. Однако субъективность всякого истолкования и его воздействия на оценку и поведение осложняют эту простую картину. Мы работаем, тратим энергию, преодолеваем препятствия в надежде получить что-то хорошее или избежать чего-то плохого. Но мы не станем работать ради пищи, если у нас есть достаточно пищи, по крайней мере, не будем очень усердствовать в этом. Мы не будем добиваться половых сношений, если мы удовлетворены тем, что у нас в этом смысле уже есть. И мы, может быть, с удовольствием будем ходить голодными, если это приведёт к тому, что наш враг умрёт от голода. Наши

предсказания, надежды и желания обуславливают наши оценки до такой степени, которая, в конечном счёте, неопределима. У вещей нет совершенно **постоянного** значения, несмотря на нашу склонность к обобщениям насчёт их ценности. Следовательно, именно наши предпочтения (вынужденно!) определяют значение мира.

Значение, которое мы приписываем предметам и положениям дел, не является постоянным. То, что важно для одного человека, необязательно важно для другого. Подобным же образом потребности и желания ребёнка отличаются от потребностей и желаний взрослого. Значение вещей в огромной и, в конечном счёте, неопределимой степени зависит от отношения их к цели, преследуемой в настоящее время. Оно меняется с изменением цели. Такое изменение неизбежно преобразует надежды и желания, сопутствующие этим целям. Цели, которые мы преследуем сами, и результаты, которых мы ожидаем и лично желаем, определяют смысл нашего опыта. Психотерапевт-экзистенциалист Виктор Франкл рассказывает историю о своём опыте заключённого фашистского лагеря смерти, которая это доказывает поразительным образом:

"Возьмём как пример нечто, произошедшее во время нашего путешествия из Освенцима в лагерь, бывший филиалом Дахау. По мере того как мы приближались к некоему мосту через Дунай, который (по словам наших опытных спутников) наш поезд должен был пересечь, чтобы доехать до Маутхаузена, мы становились всё более и более напряжёнными. Те, кто никогда не видел ничего подобного, не могут, возможно, и вообразить ту пляску радости, которую исполнили в вагоне заключённые, когда они увидели, что наш транспорт не пересекает этот мост и вместо того направляется «только» в Дахау.

И опять-таки, что произошло по нашем прибытии в этот лагерь, после путешествия, длившегося два дня и три ночи? В вагоне не было достаточно места, чтобы скорчиться на полу всем в одно и то же время. Большинству из нас приходилось стоять всю дорогу, в то время как немногие поочерёдно сидели на корточках, на скудной соломе, которая была пропитана человеческой мочой. Когда мы прибыли, первая важная новость, которую мы услышали от бывших там до нас заключённых, состояла в том, что в этом сравнительно небольшом лагере (его населяли 2500 заключённых) не было ни печи, ни крематория, ни газовой камеры! Это значило, что человек, который сделался «мусульманином» (больше не годным для работы), не мог быть отправлен прямо в газовую камеру, а должен был ждать до тех пор, пока будет устроен так называемый «конвой больных», чтобы вернуться в Освенцим. Эта радостная неожиданность привела всех нас в хорошее настроение. Исполнилось желание старшего надзирателя нашего барака в Освенциме: мы прибыли, так быстро, как только возможно, в лагерь, где не было «трубы», в отличие от Освенцима. Мы смеялись и отпускали шутки во время того и несмотря на то, через что мы должны были пройти в следующие несколько часов.

Когда нас, новоприбывших, пересчитали, одного из нас не достало. Поэтому нам пришлось ждать снаружи, на дожде и холодном ветру, пока недостающий не был найден. Его наконец обнаружили в бараке, где он заснул от изнеможения. Тогда переключка была превращена в наказание выставлением напоказ. Всю ночь и допоздна на следующее утро, мы должны были стоять снаружи, замёрзшие и промокшие до костей, после всего напряжения нашего долгого путешествия. И однако все мы радовались! В этом лагере не было трубы, а Освенцим был далеко".⁵¹

Ничто не вызывает такого страха и ужаса, как концентрационный лагерь, если встреченный лагерь не лучше, чем тот, какого ожидали. Наши надежды, мечты и желания, которые всегда обусловлены, определяют даже ту обстановку, в пределах которой встречающиеся нам предметы и положения дел принимают определённое значение; определяют даже обстановку, в пределах которой мы понимаем "предмет" или "положение дел". Мы предполагаем, что предметы имеют более или менее постоянное значение, потому что разделяем более или менее постоянное "состояние" с другими; по крайней мере с теми другими, которые нам хорошо знакомы, которые разделяют наши предположения и мировоззрение. Те (определяемые культурой) обстоятельства, которые мы считаем сами собой разумеющимися, определяют наши эмоциональные отклики на раздражители окружающей среды. Мы предполагаем, что такие обстоятельства являются неизменными свойствами мира, но они таковыми не являются. Наши положения дел – и, следовательно, наши "контексты истолкования" – могут разительно меняться в любую минуту. Нам действительно везёт (и мы, вообще говоря, забываем о своём везении), когда они не меняются.

Невозможно, в конечном счёте, определить, каким образом нечто является осмысленным и является ли оно таким, наблюдая его **объективные свойства**. Ценность не является неизменной, в противоположность объективной реальности. Кроме того, невозможно вывести то, что **должно быть**, из того, что **есть** (противоположное утверждение – это "натуралистическая ошибка" Давида Юма). Возможно, однако, определить **условное значение** чего-то, наблюдая, как поведение (собственное поведение наблюдателя или ещё чьё-нибудь) происходит в присутствии этого чего-то или в его отсутствие. "Вещи" (предметы, процессы) появляются, по крайней мере в субъективном опыте, вследствие поведения. Чтобы привести пример, давайте скажем, что поведение "а" вызывает явление "b" (всегда помня, что мы говорим о поведении в конкретной обстановке). Впоследствии частота поведения "а" возрастает. Значит, можно вывести отсюда, что явление "b" рассматривается как положительное действующим лицом, которое наблюдают, в конкретном "контексте", представляющем собой наблюдаемую обстановку. Если частота поведения "а" убывает, можно разумно придти к противоположному заключению: наблюдаемое действующее лицо рассматривает "b" как отрицательное.

Психолог, занимавшийся исследованием поведения, Б. Ф. Скиннер⁵² первоначально определял подкрепитель как "раздражитель", который вызывает изменение частоты данного поведения. Он не любил заниматься "внутренними" или "внутридушевыми" причинами подкрепления, предпочитая прямо использовать своё определение. Если "раздражитель" увеличивал частоту данного поведения, то он рассматривался как положительный; если он уменьшал эту частоту, то – как отрицательный. Конечно, Скиннер признавал, что валентность данного "раздражителя" зависит от обстановки. Животное должно было быть "лишено пищи" (т.е. быть **голодным**), прежде чем пища могла бы служить положительным подкрепителем. А так как животное кормили, и оно оказывалось менее "лишённым пищи", валентность и сила подкрепителя **пища** уменьшались.

Скиннер считал, что обсуждения внутреннего состояния животного (или человека) ненужны. Если бы мы знали историю подкреплений в жизни животного, мы могли бы определить, какие "раздражители" будут, вероятно, иметь положительную или отрицательную валентность. Основная трудность, связанная с этим доводом, состоит в скудости данных. Невозможно узнать "историю подкреплений" в жизни животного, в особенности, если это животное так же сложно и долговечно, как человек. Желать узнать его "историю" – всё равно, что сказать: "мы должны знать всё, что когда-либо случилось с этим животным". Это подобно утверждению старого детерминиста, что "если бы мы знали современное положение и импульс каждой частицы во вселенной, мы могли бы определить все их будущие положения и импульсы". Мы не можем знать все современные положения и так далее: трудности измерения непреодолимы, а принцип неопределённости в любом случае делает всё это невозможным. Подобным же образом, у нас нет доступа к "истории подкреплений", а даже если бы он был, её установление изменило бы её. (Я не делаю утверждений, подобных принципу неопределённости, в психологии, а просто провожу – как я надеюсь – полезную аналогию.)

Скиннер взялся за преодоление этой трудности, ограничив свой интерес случаями, **настолько простыми, что только недавняя история подкреплений играет определяющую контекст роль**. Это "неявное" ограничение позволило ему обойти основной вопрос и привело к неуместным обобщениям. Неважно было, как крыса-самец относилась к своей матери за шесть месяцев до того, когда можно было довести его до голода. Краткосрочное лишение пищи, например, перевешивало различия между отдельными крысами – по крайней мере в рассматриваемых условиях опыта – и на них поэтому можно было с пользой для дела не обращать внимания. Подобным же образом, если морить людей голодом, то можно быть уверенным (и это разумно), что их интерес к пище возрастёт. Однако даже в этом крайнем случае невозможно предсказать, как будет проявляться этот интерес или какие (этические) соображения могли бы сыграть тут вспомогательную или даже решающую роль. Александр Солженицын рассматривал, как иногда решался тот же самый вопрос в то время, когда он был на советском "архипелаге ГУЛаг" (в советской системе концлагерей):

"На лагпункте Самарка в 1946 году доходит до самого смертного рубежа группа интеллигентов: они изморожены голодом, холодом, непосильной работой и даже сна лишены, спать им негде, бараки-землянки ещё не построены. Идут они воровать? Стучать? Хнычут о загубленной жизни? Нет! Предвидя близкую, уже не в неделях, а в днях, смерть, вот как они проводят свой последний бессонный досуг, сидя у стеночки: Тимофеев-Рессовский собирает из них «семинар», и они спешат обменяться тем, что одному известно, а другим нет, – они читают друг другу последние лекции. Отец Савелий – «о непостыдной смерти», священник из академистов – патристику, униат – что-то из догматики и каноники, энергетик – о принципах энергетики будущего, экономист (ленинградец) – как

не удалось, не имея новых идей, построить принципы советской экономики. Сам Тимофеев-Рессовский рассказывает им о принципах микрофизики. От раза к разу они не досчитываются участников: те уже в морге...

Вот кто может интересоваться всем этим, уже костенея предсмертно, – вот это интеллигент!"⁵³

Прошлый опыт – обучение – не просто **обуславливает**. Вернее сказать, такой опыт точно определяет природу "пределов ссылок" или "контекста", который будет оказывать влияние на анализ данного положения дел. Эти "познавательные пределы ссылок" действуют как **посредник** между прошлым обучением, текущим опытом и будущим желанием. Этот посредник является законным предметом научного исследования – явлением настолько же реальным, насколько реально что-либо "отвлечённое", – и он гораздо более доступен и требует меньшего в качестве такого явления, чем простой "необъяснённый" (и, во всяком случае, неизмеримый) "общий итог истории подкреплений". "Пределы ссылок", на структуру которых влияет обучение, устанавливают валентность текущего опыта: определяют, что можно рассматривать, в данное время и в данном месте, как хорошее, плохое или безразличное. Более того, выводы о природе "пределов ссылок", обуславливающих поведение других, – то есть взгляд на мир глазами другого – могут дать результаты, которые более полезны, позволяют делать более широкие обобщения (как "проникновения" в "личность" другого) и требуют меньше познавательных средств, чем попытки понять подробности данной "истории подкреплений".

Как отмечали ранние бихевиористы, валентность может быть положительной или отрицательной. "Положительное" и "отрицательное", однако, здесь не являются противоположными концами континуума, во всяком случае, не являются в прямом смысле.⁵⁴ Эти два "состояния", видимо, не пересекаются, хотя, возможно, взаимно тормозят друг друга. Кроме того, "положительное" и "отрицательное" не просты: каждое может быть, более или менее удовлетворительным образом, подразделено, по крайней мере один раз. То, что оценено положительно, может, например, быть **удовлетворяющим** или **обещающим** (может служить, соответственно, как завершающее или побудительное вознаграждение⁵⁵). Как отмечалось в общих чертах ранее, многое, что удовлетворяет, является, в буквальном смысле, потребляемым. Пища, например, является завершающим вознаграждением для голодного: это означает, что она оценивается при таких обстоятельствах, как дающая удовлетворение. Подобным же образом вода удовлетворяет человека, лишённого жидкостей. Половая связь вознаграждает похотливого, а тепло желательно для тех, кто без приюта. Более сложные раздражители также иногда являются удовлетворяющими или вознаграждающими. Всё зависит от того, что желается в данное время и как это желание удовлетворяется. Мягкий словесный выговор вполне может вызвать чувство облегчения у человека, который ожидает жестокого физического избиения, что означает формально: **отсутствие ожидаемого наказания** может вполне действительно служить вознаграждением (в сущности, это та форма вознаграждения, которую предпочитает тиран). Невзирая на его форму, достигнутое удовлетворение вызывает насыщение, спокойствие и усыпляющее удовольствие, а также (временное) прекращение поведения, направленного к прежней конкретной цели, хотя поведение, которое достигает высшей точки в удовлетворительном исходе, более вероятно повторится в будущем, когда "бессознательное" или "непроизвольное" желание возникнет снова.

Обещания, которые также положительны, могут рассматриваться как имеющие более **отвлечённый** смысл, чем удовлетворения, так как они указывают скорее на возможность, чем на действительность. Обещания – намёки на завершающие вознаграждения или удовлетворения – указывают на неизбежное достижение чего-то желаемого или возможно желаемого. Их более отвлечённая природа не делает, однако, их "вторичными" или **неизбежно выученными**, как некогда думали: наш отклик на возможность удовлетворения часто является таким же "основным" или "первичным", как и отклик на само удовлетворение. Обещания, то есть намёки на удовлетворения, формально рассматривались как побудительные вознаграждения, так как они вызывают **передвижение вперёд**, которое есть просто движение к месту, где, как указывает намёк, произойдёт удовлетворение.⁵⁶ Любопытство⁵⁷, надежда⁵⁸ и возбуждённое удовольствие часто сопутствуют подверженности намёкам на вознаграждения (и связаны с последующим передвижением вперёд).⁵⁹ Частота поведения, которое вызывает обещания, как и того, которое кончается удовлетворением, со временем возрастает.⁶⁰

Отрицательно оцененные явления, чьё строение, отражает строение их положительных двойников, могут быть или **наказывающими**, или **угрожающими**.⁶¹ Наказания – разнообразная группа раздражителей или положений дел, определяемая непосредственно ниже, – по-видимому, все имеют одну общую черту (по крайней мере с точки зрения теории, обрисованной в общих чертах в этой книге): они означают (временную или окончательную) невозможность получения одного или большего числа средств

или достижения одной или большего числа желаемых целей. Некоторые раздражители почти всегда испытываются как наказывающие, так как их появление указывает на уменьшение вероятности доведения до конца любого плана, который можно вообразить, – получения почти всякого удовлетворения или достижения желательного будущего. К этому разряду, то есть разряду наказаний, относится большинство явлений или положений, которые вызывают телесные повреждения. В более общем смысле наказания можно понимать как состояния недобровольного лишения чего-либо (пищи, или воды, или наиболее подходящей температуры,⁶² или общественных связей⁶³); как разочарования⁶⁴ или расстройств⁶⁵ (которые являются **отсутствием ожидавшихся вознаграждений**⁶⁶) и как "раздражители", достаточно сильные, чтобы вызвать повреждение тех систем, которые с ними сталкиваются. Наказания прекращают действие или вызывают отступление или бегство (передвижение назад)⁶⁷ и порождают эмоциональное состояние, широко известное как боль или обида. Поведение, которое достигает высшей точки в наказании и последующей обиде, имеет тенденцию **исчезать**: его частота убывает со временем⁶⁸.

Угрозы, которые также являются отрицательными, указывают на возможность наказания, обиды, боли. Угрозы – намёки на наказания – это раздражители, которые указывают на повышенную вероятность наказания и обиды⁶⁹. Угрозы являются отвлечёнными, подобно обещаниям. Однако, как и обещания, **они не являются "вторичными" или неизбежно выученными**⁷⁰. Неожидаемые явления, например, которые представляют собой "врождённо распознаваемую" угрозу, тотчас же останавливают нас и заставляют нас чувствовать **беспокойство**.⁷¹ Как можно доказать, то же самое вызывают некоторые "врождённые раздражители страха", такие, как змеи.⁷² Частота поведения, которое доходит до создания намёков на наказания, создавая обстановку, чьим отличительным признаком служит беспокойство, имеет тенденцию убывать со временем (почти так же, как это имеет место с поведением, которое вызывает немедленное наказание).⁷³

Выражаясь просто, удовлетворения и намёки на них **хороши**, а наказания и угрозы **плохи**. В присутствии хорошего у нас есть склонность двигаться вперёд⁷⁴ (надеяться, испытывать любопытство, радоваться), а затем "потреблять" (заниматься любовью, есть, пить). Когда же мы сталкиваемся с тем, что нам не нравится, мы склонны медлить и беспокоиться, затем удаляться, двигаться назад и чувствовать боль, разочарование, расстройство, одиночество. В самых важных случаях – когда мы знаем, что делаем; когда мы заняты чем-то хорошо знакомым – этих основных склонностей достаточно. Однако наше положение в действительности почти всегда сложнее. Если бы явления или положения дел были однозначно положительными или отрицательными, хорошими или плохими, нам не приходилось бы выносить о них суждений; не приходилось бы думать о своём поведении и о том, как и когда оно должно быть изменено; на самом деле вовсе не приходилось бы **думать**. Мы, однако, постоянно сталкиваемся с вопросом двусмысленности значения. Это означает, что явление или положение дел может быть хорошим и плохим одновременно (или хорошим двумя противоречивыми способами; или плохим двумя противоречивыми способами).⁷⁵ Сдобная ватрушка, например, **хороша**, если её рассматривают с точки зрения лишения пищи или голода, но она **плоха**, если её рассматривают с точки зрения общественной привлекательности и стройной фигуры, которую требует такая привлекательность. Маленький мальчик, которого недавно научили ходить в уборную и который только что помочился в постель, вполне может одновременно чувствовать удовлетворение от достижения жизненно важной цели и опасение последствий этого удовлетворения, как его истолкует общество. За всё приходится платить свою цену, и эта цена должна быть учтена, когда оценивается значение любого действия. Значение зависит от контекста; контексты – одним словом истории – отражают цели, мечты, желания. То, что у нас много целей – много историй, много видений идеального будущего, – и то, что стремление к одной из них оказывается помехой при достижении другой, неудачно с точки зрения свободного от противоречий приспособления.

Мы разрешаем затруднение с противоречивыми значениями, рассматривая ценность вещей в пределах наших историй, которые являются приспособляемыми картами опыта и возможности и конкретное содержание которых зависит от потребностей нашего физического существования. Наша центральная нервная система состоит из многих "намертво впаянных" или автоматизированных подсистем, ответственных за биологическое регулирование: например, за поддержание температурного равновесия, за надлежащее поглощение тепла и за контроль над содержанием углекислого газа в кровяной плазме. У каждой из этих подсистем есть своё дело. Если это дело не сделано в пределах некоторого промежутка времени, который может меняться, вся игра прерывается и, может быть, навсегда. В этом случае ничего не достигается. Поэтому мы – по необходимости – **должны** совершать некоторые действия, если мы хотим выжить. Это не означает, однако, что наше поведение **предопределено**, по крайней мере предопределено каким-то чрезмерно упрощённым образом. Подсистемы, которые составляют наше общее устройство, – ответственные, когда они действуют, за наши "инстинкты" (жажду, голод, радость,

похоть, гнев и т. д.), – по-видимому, не захватывают прямой власти над нашим поведением, не превращают нас в управляемые автоматы. Они, видимо, скорее влияют на наше воображение, на наши планы, и изменяют, и видоизменяют содержание и сравнительную важность наших целей, наших идеальных будущих (представляемых в сравнении с нашими "невыносимыми" настоящими так, как они истолковываются в настоящее время).

У каждой "основной" подсистемы есть своё собственное, особенное, своеобразное представление о том, что составляет в любую данную минуту – так сказать – идеал; о том, что является наиболее обоснованной целью. Если кто-то ничего не ел несколько дней, то весьма вероятно, что его мечта о (непосредственно) желательном будущем будет включать представление о поедаемой пище. Подобным же образом, если какой-либо женщине не давали пить, её целью, вероятно, станет напиток. У всех нас как людей общее основное биологическое устройство, поэтому мы, вообще говоря, склонны находить общие ценности (по крайней мере в определённой обстановке). По существу, это означает, что мы можем производить **вероятностные** оценки того, что данная личность (и данная культура) могли бы считать желательным в данную минуту. Более того, мы можем увеличить точность наших оценок посредством запрограммированного ограничения, так как такое ограничение точнее определяет контекст объяснения. Тем не менее мы никогда не можем быть уверены, при обычном сложном ходе событий, чего же именно будет кто-либо хотеть.

Суждение, касающееся значения явлений или положений дел, всё более и более осложняется, когда осуществление одной биологически обоснованной цели мешает стремлению к другой цели или её осуществлению.⁷⁶ Осуществлению какой цели мы должны, например, посвятить своё поведение, когда мы одновременно испытываем похоть и чувство вины или голод, жажду и испуг? Что если единственный способ добыть пищу – это украсть её, скажем, у кого-то, такого же голодного, но более слабого и зависимого? Как направляется наше поведение, когда наши желания соперничают друг с другом, то есть когда одно желание заставляет нас, вероятно, отказаться от другого или нескольких других? В конце концов, нет никакого основания предполагать, что все наши очень специализированные подсистемы когда-нибудь придут к согласию насчёт того, что представляет собой наиболее непосредственно желательное "благо". Это отсутствие естественного согласования развивает у нас **внутреннюю склонность к противоречиям** и связанному с ними эмоциональному расстройству. Мы воздействуем на окружающую нас среду и на наши убеждения, чтобы разрешить это противоречие: мы изменяем себя или своё окружение – вещи вокруг нас, чтобы увеличить наши надежду и удовлетворение и уменьшить наши страхи и боль.

Именно "высшие" корковые системы – исторически более поздние, более передовые исполнительные⁷⁷ отделы мозга – должны выносить суждение об относительной ценности желательных положений дел (и подобным же образом определять надлежащий порядок появления средств их осуществления⁷⁸). Эти передовые системы должны наилучшим образом принимать во внимание все желания и определять соответствующий способ выражения этих желаний. Мы в любое данное время принимаем **решения** насчёт того, что должно считаться ценным, но неврологические подсистемы, которые поддерживают нашу жизнь и которые исключительно (хотя и с разных сторон) ответственны за наше существование, все имеют право выразить своё мнение по поводу этих решений – право голоса. Каждая наша подсистема, часть того царства, которым мы являемся, зависит от исправной работы каждой другой нашей подсистемы. Следовательно, не обратить внимания на одно какое-нибудь благо означает подвергнуть опасности все. Не обратить внимания на потребности одной необходимой подсистемы – значит просто обеспечить то, что позже она будет говорить голосом несправедливо угнетённой; обеспечить то, что она захватит наше воображение, причём неожиданно, и сделает из будущего нечто непредсказуемое. Наш "наилучший, или оптимальный, образ действия, следовательно, должен быть **всеохватывающим** с точки зрения нашего внутреннего сообщества – с точки зрения нашей основной физиологии. Оценки и действия других дополнительно влияют на наши личные состояния эмоций и побуждений, когда мы преследуем наши личные цели в, что неизбежно, общественной обстановке. Целью, **ясно выраженной целью**, ради достижения которой работают наши высшие системы, поэтому должно быть создание такого состояния, где все наши "потребности" – и все "потребности других" – одновременно удовлетворяются. Эта высшая цель, к которой мы стремимся, является сложной игрой воображения – видением или картой земли обетованной. Эта карта, эта история – эти **пределы ссылок**, или **контекст истолкования**, – есть (идеальное) будущее, неизбежно противопоставляемое (невыносимому) настоящему. Она включает конкретные планы превращения последнего в первое. Природа меняющихся смыслов, сопровождающих нашу жизнь, зависит от явно выраженной структуры этого объяснительного контекста.

Мы выбираем то, что нам **следует** оценивать, из того, что нам **приходится** оценивать. Поэтому наш выбор, в общем, предсказуем. Но эта предсказуемость ограничена. Мир достаточно сложен, и данная задача может иметь много решений; само определение понятия её "решения" может меняться. Отдельные "наиболее подходящие или вероятные" результаты актов выбора, включая наши собственные, не могут быть точно определены заранее (по крайней мере при обычных обстоятельствах). Тем не менее – несмотря на наше конечное и неискоренимое неведение – мы действуем: поминутно решаем, что должно считаться стоящим того, чтобы к нему стремиться; определяем, на что можно при этом не обращать внимания. Мы способны действовать и вызывать желаемые последствия, потому что мы выносим **суждение о ценности**, используя все сведения, находящиеся в нашем распоряжении. Мы решаем, что нечто стоит того, чтобы его иметь в данное время и в данном месте, и что наша цель – обладание им. А как только нечто – чем бы оно ни было – стало "нашей целью", **оно, по-видимому, принимает значение удовлетворения (завершающего вознаграждения)**. Для того чтобы нечто действительно **рассматривалось** как ценное, по-видимому, достаточно, чтобы оно приобрело эмоциональную сторону ценности. Именно таким образом наши словесно познавательные системы высшего порядка служат тому, чтобы упорядочивать наши эмоции. Именно по этой причине мы можем играть, то есть действовать во имя "чисто символических" целей. По этой причине драма и литература⁷⁹ (и даже спортивные соревнования) могут иметь такое глубокое "заместительное" воздействие на нас. То простое обстоятельство, что нечто желается, не обязательно означает, однако, что его достижение будет поддерживать жизнь (как "подлинное" удовлетворение) или что само отношение к нему превратит это нечто в то, чем оно не является. Поэтому необходимо (то есть необходимо, если вы хотите жить) создавать цели – модели желаемого будущего, – которые, так сказать, **разумны** с точки зрения предыдущего опыта, основаны на биологической необходимости. Такие цели принимают во внимание необходимость справляться с собственными недостатками, удовлетворять наши биологически врождённые подсистемы, умиротворять надличностных "богов", вечно требующих, чтобы их одевали и кормили.

То, что цели **должны** быть разумными, вообще говоря, не обязательно означает, что они таковыми **будут** или **должны** стать, или что то, что представляет их "разумность", можно легко или окончательно определить. То, что для одного человека еда, для другого яд. Содержание идеального будущего и понятого настоящего разительно меняется при переходе от одного человека к другому. Например, женщина, голодающая, чтобы похудеть, ставит своей целью изменение фигуры, которое может оказаться несовместимым с жизнью. Она рассматривает еду, как что-то, чего следует избегать, что-то вроде наказания или угрозы. Это убеждение не защитит её от голодной смерти, хотя оно сильно повлияет на её краткосрочное определение валентности шоколада. Человек, одержимый жадой власти, может принести в жертву достижению своей ограниченной цели всё, включая свою семью. Сочувственное внимание к другим людям, отнимающая много времени деловая жизнь просто мешают его продвижению к тому, что, как он считает, имеет наибольшую ценность. Его вера в ценность своих достижений представляет собой угрозу даже любви. Короче говоря, наши убеждения могут изменить нашу реакцию на что угодно, даже на то, что так же "первично" или существенно, как пища и семья. Мы остаёмся неопределимо стеснёнными своими биологическими пределами.

Чрезвычайно трудно точно определить ценность происшествия, когда оно имеет одно значение в одной "системе отсчёта" и отличное или даже противоположное значение в другой. "Раздражители", которые так действуют, представляют собой **неразрешённые задачи приспособления**. Для нас они всё ещё тайна: мы не знаем, **что делать в их присутствии** (медлить, что-то потреблять, остановиться, или двигаться вперёд, или двигаться назад; беспокоиться, чувствовать удовлетворение, обиду или надеяться). Некоторые явления или положения дел могут быть несомненно удовлетворяющими или наказывающими с точки зрения наличной "системы отсчёта"; они могут рассматриваться (оцениваться, быть предметом действия) без осложнений. Однако другие явления или положения дел продолжают изобиловать противоречивыми или неопределимыми значениями. (Многие явления, например, являются наказаниями в "краткосрочном смысле", но приносят удовлетворение со временем.) Это свидетельствует о том, что наши системы оценки ещё не достаточно изощрённы, чтобы благоприятствовать полному приспособлению; неопровержимо доказывает, что наши способы оценки ещё не полны:

"Мозг, плавающий в ушате, управляет движением неукротимой вагонетки, приближающейся к развилке в колее. Мозг подключён к вагонетке таким образом, что он может решать, какое направление она изберёт. Имеется только две возможности выбора: правое ответвление развилки или её левое ответвление. Невозможно сделать так, чтобы вагонетка сошла с рельсов, или остановить её,

и мозг это знает. На правом ответвлении развилки находится единственный железнодорожный рабочий Джонс, который определённо будет убит, если мозг направит вагонетку вправо. Если Джонс останется жив, он убьёт пять человек ради тридцати сирот (один из тех пяти человек, кого он убьёт, намеревается разрушить мост, который автобус с сиротами пересечёт позже в этот вечер). Один из сирот, который будет убит, вырос бы и стал бы тираном, заставляющим хороших, полезных обществу людей плохо поступать; другой – стал бы Джоном Сунуну; третий – изобрёл бы консервную банку.

Если мозг в ушате выберет левое ответвление, вагонетка определённо ударит и убьёт другого железнодорожника Левака, а также ударит и уничтожит находящиеся в вагоне на пути десять живых сердец, которые были бы пересажены десяти больным в местной больнице. Последние умрут без пожертвованных им сердец. Эти десять сердец – единственные, которые имеются налицо, и мозг это знает. Если железнодорожник на левом ответвлении будет жив, он тоже убьёт пять человек, на самом деле тех же самых пятерых, которых убил бы железнодорожник на правом. Левак, однако, убьёт этих пятерых ненамеренно, вследствие попытки спасти десятерых других: он неумышленно убьёт этих пятерых, когда будет спешно доставлять десять сердец в местную больницу для пересадки. Дополнительным следствием действий Левака будет то, что полный автобус сирот будет избавлен от смерти. Среди пяти человек, которых убьёт Левак, находится тот, кто ответственен за помещение мозга у рычагов управления вагонеткой. Если десять сердец и Левак будут убиты вагонеткой, то десять предполагаемых пациентов для пересадки сердца умрут, а их почки будут использованы, чтобы спасти жизнь двадцати пациентов пересадкой почек. Один из последних вырастет и найдёт способ излечивать рак, а другой вырастет и станет таким, как Гитлер. Имеются налицо и другие почки для пересадки и установки для диализа, но мозг этого не знает.

Предположим, что выбор мозга, каким бы он ни оказался, послужит примером для других мозгов в ушатах и, таким образом, влияние его решения будет усилено. Предположим также, что если мозг выберет правое ответвление, то последует несправедливая война без военных преступлений, тогда как если он выберет левое ответвление, последует справедливая война, чреватая военными преступлениями. Кроме того, имеется действующий с перебоями декартовский демон, обманывающий мозг таким образом, что тот никогда не уверен, не обманывают ли его.

Вопрос: что, с точки зрения нравственности, должен сделать этот мозг?"⁸⁰

Мы не можем действовать в **двух направлениях в одно и то же время**: не можем двигаться вперёд и назад, не можем стоять и при этом идти. Когда перед нами предстают раздражители неопределённого значения, мы впадаем в **противоречие**, которое должно быть разрешено, прежде чем какое-либо приспособительное действие будет иметь место. Мы на самом деле можем делать только одно дело за один раз, хотя различные непредсказуемые обстоятельства могут побуждать нас заниматься сразу многими несовместимыми делами.

2.2.2. Неисследованная область: феноменология и невропсихология

Дилемма противоречивых одновременных значений может быть **разрешена** одним из двух связанных друг с другом способов, хотя её можно избежать многими другими путями. В затруднительном положении мы можем так **изменить своё поведение**, что оно больше не вызовет нежелательных или непонятных последствий. Другая возможность состоит в том, что **мы можем** так **переопределить наши контексты оценки** (наши цели и наши истолкования настоящего), что они больше не вызовут противоречивых последствий. Эти способы изменения поведения и переопределения – **действия трудной переоценки** – означают тщательный пересмотр того, что считалось верным и важным.

Явления или положения дел с неопределёнными значениями, следовательно, ставят под сомнение наши приспособительные способности. Они вынуждают нас переоценивать имеющиеся налицо обстоятельства и изменять наше текущее поведение. Такие случаи возникают, когда что-либо, управляемое с одной точки зрения, причиняет беспокойство или иначе выходит из подчинения с другой точки зрения. "Выходит из подчинения" означает делается непредсказуемым – чем-либо **выше нашего понимания**. **Неожиданные** или **новые** происшествия, появляющиеся, когда наши надежды не оправдываются, являются самыми важными из **раздражителей неопределённого значения**. Что-либо неожиданное или новое обязательно происходит в связи с тем, что известно: оно всегда опознаётся и оценивается по отношению к нашему действующему в настоящее время плану (то есть "хорошо знакомое") явление в неожиданном месте или в неожиданное время есть на самом деле нечто **незнакомое**). Например, жена неверного мужа, может быть, и хорошо ему знакома, когда она дома. Она и её поведение

представляют, так сказать, **исследованную область**. Она же, однако, есть явление совершенно другого рода с точки зрения эмоций и их последствий для поведения, если неожиданно появляется в комнате его любимого мотеля посреди любовного свидания. Что будет делать муж в присутствии своей жены, когда она застанет его врасплох? Сперва, по всей вероятности, он будет ошеломлён, затем придумает историю, которая объяснит его поведение (если он сможет справиться с этим тотчас же). Он должен выдумать что-то новое, должен **сделать что-то, чего никогда не делал ранее**. Он должен справиться с женой, которую он обманывает и чьё неожиданное присутствие в мотеле наводит на мысль о какой-то тайне. Наши привычные образцы действия рассчитаны на хорошо знакомые обстоятельства. Появление неожиданного внезапно удаляет нас из "бессознательного", самоочевидного самодовольства и принуждает нас **думать**, а это болезненно.

Последствия новых или непредсказуемых событий, по определению, неизвестны. Это замечание содержит в себе источник трудного и важного вопроса: каково же значение неизвестного? Может показаться логичным предположить – никакое: нечто неисследованное не может иметь значения, так как никто ещё не приписал ему такого. Истина, однако, прямо противоположна. Те явления, которых мы не понимаем, тем не менее что-то означают. Не ничто – на самом деле неизвестное часто и предсказуемо выводит нас из душевного равновесия. Вернее сказать, его значением может быть всё что угодно: и в этом именно и состоит суть дела. Непредсказуемые явления не являются не относящимися к делу до определения их конкретного значения. Явления, которые мы ещё не исследовали, имеют своё значение до нашего знакомства с ними. Явления не предсказанные, не желанные, которые происходят, когда мы выполняем свои тщательно продуманные планы, такие явления **приходят отягощённые, до и независимо от всякого опыта, значением, как положительным, так и отрицательным**. Появление неожиданных явлений или положений дел указывает, по крайней мере, на то, что наши планы где-то ошибочны: каким-то заурядным образом, если нам повезло; каким-то образом, который может оказаться разрушительным для наших надежд и желаний, для нашего чувства собственного достоинства, если нам не повезло.

Область значений неожиданных или непредсказуемых явлений – новых явлений – потенциально бесконечна, неограниченна. Что же означает нечто, которое может быть чем угодно? В крайних случаях оно означает **самое худшее, что могло бы быть** (или, по меньшей мере, самое худшее, что можно себе представить), и, наоборот, **самое лучшее, что могло бы быть** (или самое лучшее, что можно себе представить). Нечто новое может представлять возможность невыносимого страдания, за которым следует бессмысленная смерть, может представлять, в сущности, неограниченную угрозу. Например, эта новая и, по-видимому, незначительная, но тем не менее странная и причиняющая беспокойство боль, на которую вы обратили внимание сегодня утром, когда делали свою зарядку, может означать начало рака, который медленно и болезненно вас убьёт. И наоборот, нечто неожиданное может означать невообразимую возможность расширения общего достатка и благосостояния. Ваша прежняя скучная, но спокойная работа неожиданно исчезает. Год спустя вы делаете то, что вы действительно хотите делать, и ваша жизнь становится несравненно лучше.

Неожиданное явление или положение дел, появляющееся в ходе целенаправленного поведения, представляет собой раздражитель, который внутренне сомнителен: новые случаи одновременно являются намёками на наказание (угрозами) и намёками на удовлетворение (обещаниями).⁸¹ Это парадоксальное доопытное положение дел схематически представлено на **рисунке 5 "Двойственная природа новизны"**.



Рисунок 5

Непредсказуемые явления, обладающие противоречивыми качествами, таким образом, приводят в действие две прямо противоположные эмоциональные системы, чья взаимно тормозящая деятельность предоставляет основное побуждение для отвлечённого познания; чьи согласованные старания являются решающе важными для установления долговременной памяти и чьей физической основой являются универсальные составные части человеческой нервной системы. Более быстро возбуждаемая⁸² из этих двух систем управляет торможением текущего поведения, прекращением происходящей в данное время деятельности;⁸³ вторая, одинаково могущественная, но несколько более осторожная,⁸⁴ лежит в основе исследования, общего возбуждения в поведении⁸⁵ и передвижения вперёд.⁸⁶ Работа первой из них связана с беспокойством, со страхом и опасениями, с отрицательными эмоциями – с реакциями субъекта на что-либо угрожающее и неожиданное.⁸⁷ По-видимому, работа второй системы, напротив, связана с надеждой, с любопытством и увлечением, с положительными эмоциями – реакциями субъекта на что-либо обещающее и неожиданное.⁸⁸ Ход исследования неожиданно появляющегося неизвестного, следовательно, направляется взаимодействием между эмоциями любопытства/надежды/возбуждения, с одной стороны, и беспокойства, с другой, – или если описывать явления с другой точки зрения – между различными двигательными системами, ответственными за приближение (передвижение вперёд) и торможение текущего поведения.

Двойственное неизвестное – то есть новизна – приходит, так сказать, в двух "видах" (как намекалось ранее). "Обычная" новизна появляется внутри "области", задаваемой выбором конкретной конечной точки, или цели (что означает после того как достижение определённой точки, скажем, "b" было сочтено наиболее важной возможной деятельностью **в это время и в этом месте**). Нечто новое "в обычном смысле" – это происшествие, которое оставляет текущую отправную точку и цель в неприкосновенности, но указывает, что **средства** достижения этой цели должны быть изменены. Скажем, например, что вы находитесь в своей канцелярии. Вы привыкли к тому, что вам надо пройти по ничем не загромождённому коридору, чтобы добраться до лифта. Вы так привыкли это делать, что можете делать это "машинально", поэтому вы часто читаете, когда там идёте. В один прекрасный день вы натываетесь на стул, который кто-то оставил посреди коридора. Это "обычная" новизна. Вам не надо менять свою текущую цель, кроме как временным и незначительным образом. Невероятно, чтобы вас слишком огорчило это неожиданное препятствие. Добраться до лифта – это по-прежнему реальная возможность, даже за желаемое время. Всё, что вам нужно сделать, – это обойти стул (или передвинуть его куда-либо в другое место, если вы хотите позаботиться о других).



Рисунок 6

Рисунок 6 "Появление «обычной новизны» в ходе целенаправленного поведения" даёт отвлечённое представление этого процесса незначительного приспособления.

"Революционная новизна" есть, напротив, нечто совершенно отличное. Иногда внезапное появление неожиданного означает выбор пути "б" к дому бабушки, вместо пути "а". Иногда такое появление означает неожиданно возникающее сомнение насчёт самого существования бабушки. Вот пример. Я сижу один в своём кабинете в многоэтажном доме, один вечером. Вдруг я начинаю воображать себе: "Я собираюсь спуститься на лифте на три этажа и купить чего-нибудь поесть" (более точно сказать, голод внезапно овладевает моим воображением и использует его для своих собственных целей). Эта "игра воображения" представляет собой ограниченный в пространстве и во времени образ идеального будущего – "действительно" возможного будущего, вырезанного как отличимый (и поэтому годный к употреблению) предмет из бесконечной области "потенциально" возможных будущих. Я использую этот определённый образ, чтобы оценивать события и процессы, которые представляют собой понимаемое настоящее, как оно развёртывается вокруг меня, когда я иду к лифту (по пути к закусочной). Я **хочу** заставить "действительность" соответствовать моему воображению, подчиняться моему побуждению (так сказать, угодить богам). Если происходит неожиданное – скажем, не работает лифт, – несоответствие останавливает меня на время. Я заменяю свой современный план другой стратегией поведения, предназначенной для достижения той же самой цели. Это значит, что я не "перерисовываю" ту ограниченную в пространстве и во времени "карту", которую использую, чтобы оценивать своё положение, чтобы "упорядочивать" мои эмоции. Всё, что мне надо сделать, – это изменить **стратегию**.

Я решаю пройти в закусочную по лестнице. Если лестница закрыта ввиду строительных работ, мои затруднения более серьёзные. Мой первоначальный замысел – "сойти вниз по лестнице в закусочную и поесть" – основывался на подразумеваемом предположении: **я могу сойти вниз по лестнице**. Это предположение, о котором я даже на самом деле не знал (которое можно было бы ради целей текущих действий считать **аксиоматическим**), было нарушено. Задача "сойти вниз по лестнице и поесть" сохраняла своё назначение только в окружающей обстановке, отличительной чертой которой является наличие действующих средств сообщения между этажами. Существование этих средств представляло собой нечто данное: я пользовался лифтом или лестницей так часто, что само их наличие приняло вид постоянной величины, на которую можно законно не обращать внимания. Как только я научился пользоваться лифтом или лестницей, – как только я узнал их размещение, состояние и устройство, – я мог принимать их за что-то само собой разумеющееся и предполагать, что о них нечего и думать. Предсказуемые (читай: "такие, которые были основательно исследованы и к которым поэтому приспособились") явления не привлекают внимания: не нуждаются в "осознании". Их наличие само по себе не должно порождать никаких новых стратегий поведения или систем отсчёта.

Так или иначе лифт сломался, а путь по лестнице преграждён. Карта, которую я использовал, чтобы оценивать окружающую обстановку, сделалась непригодной: мои **цели** больше не осуществимы. Вследствие этого средства достижения этих целей (мой замысел пойти в закусочную) неизбежно оказались совершенно непригодными. Я не знаю, что делать. Это означает (в несколько необычном смысле), что я больше не знаю, **где я нахожусь**. Я предполагал, что нахожусь в месте, с которым я хорошо знаком. И в самом деле, многие хорошо знакомые вещи (например, пол) не изменились. Тем не менее что-то существенное переменялось, и я не знаю, **насколько** существенное. Теперь я нахожусь в месте, которое не могу легко покинуть. Вдобавок к моему неудовлетворённому голоду передо мной стоит много новых трудных вопросов, по крайней мере возможных вопросов (попаду ли я сегодня вечером домой? Должен ли я связаться с кем-либо, чтобы меня "спасли"? Кто **мог бы** меня выручить? Кому позвонить и попросить о помощи? Что если случится пожар?). Мой прежний "замысел" – моя прежняя "история" ("я иду вниз по лестнице купить что-нибудь поесть") – исчез, и я не знаю, как оценивать мои теперешние обстоятельства. Мои эмоции, ранее сдерживаемые наличием временно действующего плана, появились снова в беспорядочной путанице. Я обеспокоен ("что я буду делать? а что **если случится** пожар?"), расстроен ("я, несомненно, не собираюсь сегодня вечером делать какую-то ещё работу при таких обстоятельствах!"), рассержен ("кто мог быть настолько глуп, чтоб перегородить все выходы?") и любопытен ("что, чёрт побери, здесь происходит в любом случае?"). Произошло что-то неведомое, и мои

планы как ветром сдуло. Посланец беспорядка, выражаясь в переносном смысле, подорвал мою эмоциональную устойчивость.

Рисунок 7 "Появление «революционной новизны» в ходе целенаправленного поведения" наглядно представляет это положение дел.

Планы, которые мы строим, – это устройства, предназначенные для осуществления воображаемого совершенного будущего. Как только они сформулированы, они направляют наше поведение, **пока мы не сделаем ошибку**. Ошибка, которая означает возникновение непредвиденного явления или положения дел, свидетельствует о неполном характере наших планов, показывает, что эти планы и предположения, на которых они основаны, ошибочны и должны быть пересмотрены и дополнены (или, боже упаси, оставлены). Пока всё идёт по плану, мы стоим на хорошо знакомой почве, но когда мы ошибаемся, **мы вступаем в неисследованную область**.



Рисунок 7

Что известно и что неизвестно всегда, так сказать, относительно, так как что является неожиданным полностью зависит от того, чего мы ожидаем (желаем), от того, что мы ранее **планировали и предполагали**. Неожданное происходит постоянно, потому что невозможно (при отсутствии всеведения) построить совершенно точную модель того, что действительно происходит, или того, что должно произойти; потому что невозможно определить, какие последствия имеющее сейчас место поведение вызовет в конце концов. Ошибки в представлении невыносимого настоящего и идеального, желаемого будущего вследствие этого неизбежны, как и ошибки в выполнении и представлении тех средств, посредством которых первое может быть превращено в последнее. Бесконечная человеческая способность к ошибкам **означает, что в ходе человеческого опыта столкновение с неизвестным неизбежно**; означает, что независимо от места и времени жизни человека вероятность такого столкновения так же несомненна, как смерть и обложение налогом. Существование неизвестного, что достаточно парадоксально, **может поэтому рассматриваться как описывающая окружающую среду постоянная**. Приспособление к "существованию" этой области неизвестного должно, следовательно, происходить в каждой культуре каждого исторического периода, невзирая на подробности общественных или биологических условий.

Отклонения от желаемого исхода представляют собой (относительно) новые события, указывающие на ошибки в предположениях или на уровне анализа современного положения дел и хода его развития, или на уровне анализа идеального будущего. Такие несоответствия – непредсказуемые, неизлишние для описания положения дел или новые происшествия – **постоянно входят в состав наиболее внутренне осмысленных, интересных составных частей области человеческого опыта**. Их интересность и смысл означает наличие новой информации и представляет собой могущественную побудительную причину поведения человека и животных.⁸⁹ Именно там, где появляется что-то непредсказуемое, существует возможность приобретения всевозможных новых и полезных знаний. Именно во время процесса

исследования непредсказуемого или неожиданного порождается всякое знание и вся мудрость, расширяются все границы приспособительных способностей, исследуется, наносится на карту и подчиняется всякая чуждая область. Постоянно сохраняющаяся область неизвестного поэтому представляет собой как бы **утробу**, из которой появляется всякое условное знание. Всё, известное сейчас каждому, всё, ставшее предсказуемым, было когда-то никому неизвестно и должно было стать предсказуемым – в лучшем случае полезным, в худшем не относящимся к делу – вследствие деятельного,

направляемого исследованием приспособления к окружающей среде. У утробы, о которой говорилось выше, неопределимая ширина: несмотря на нашу великую сокровищницу культуры, несмотря на мудрость, завещанную нам нашими предками, мы всё ещё остаёмся существенно невежественными и останемся такими, всё равно, сколько бы мы ни узнали. Область неизвестного окружает нас, как море окружает остров. Мы можем увеличить площадь острова, но мы никогда далеко не удалимся от моря.

2.2.3. Исследование: феноменология и невропсихология

Незнакомое существует как не менее неизменная особенность жизненного опыта, чем знакомое. Мы остаёмся невежественными и действуем, окружённые неизвестностью. Однако – и это существенно – мы всегда что-нибудь знаем, кем бы мы ни были и когда бы ни жили. Мы склонны рассматривать "окружающую среду" как нечто "объективное", но одна из её самых основных особенностей, наше знакомство с ней или его отсутствие, есть нечто, определяемое, в сущности, тем, что субъективно. И эта субъективность окружающей среды не незначительна: дело несомненно обстоит так, что простое "истолкование" "явления" может определить наслаждаемся ли мы цветущим здоровьем или больны, живём или умираем. По-видимому, и в самом деле, описание характера окружающей среды или её отнесение к тому или иному разряду как известной или неизвестной (природы или культуры, чуждого или хорошо знакомого) можно рассматривать как более "существенное", чем любое объективное её описание (если мы предполагаем, что то, к чему мы приспособились, есть, по определению, действительность). Ибо дело обстоит так, что человеческий мозг и, вообще, высшая нервная система приспособились к деятельности в "области порядка" и в "области полного беспорядка". И эту приспособленность невозможно понять, если эти области не рассматриваются как нечто большее, чем простая метафора.

Обычно мы используем наше понимание познавательных процессов, чтобы объяснить работу мозга: наши модели мышления, чтобы определить, "как должно обстоять дело" на физиологическом уровне. Однако невропсихологические исследования уже продвинулись до того, что и обратный переход может быть столь же полезен. То, что известно о работе мозга, может быть использовано для разъяснения нашего понимания познания (на самом деле, и самой "реальности"): может быть использовано, чтобы придать этому пониманию соответствующие "объективные ограничения". Мысль века Просвещения стремилась разделить "разум" и "эмоции". Но опытные исследования устройства и работы мозга, которым вначале придавали огромную движущую силу последствия такого разделения, наглядно показали, что эти два явления взаимозависимы и, по существу, неразделимы.⁹⁰ Мы живём во вселенной, отличительным признаком которой служит постоянное взаимодействие ян и инь, хаоса и порядка: "эмоции" предоставляют нам первоначальное руководство, когда мы не знаем, что делаем, когда одного "разума" недостаточно.⁹¹ "Познание", напротив, позволяет нам создавать и поддерживать нашу упорядоченную окружающую среду и сдерживать хаос и эмоции.

Мозг можно с пользой рассматривать как состоящий из трёх основных систем: двигательной, чувствительной и эмоциональной – или как представляющий собой пару противопоставленных друг другу полушарий, левого и правого. У каждого из этих способов понятийного подразделения есть свои теоретические преимущества. Более того, эти два способа не являются взаимно исключаящими. Мы будем сначала следовать описанию "систем мозга", схематически изображённому на рисунке 8 "**Двигательная и чувствительная системы мозга**".

Большинство неокорковых и многие из подкорковых структур достигли своего наибольшего и наиболее сложного уровня развития у современного человека. Это, в особенности, верно в отношении двигательной системы,⁹² которая входит в состав передней половины относительно более новой молодой коры, в свою очередь, состоящей из моторной (или двигательной), премоторной и лобной долей. Этот уровень повышенного развития частично объясняет возросшие человеческие ум, гибкость поведения и широту жизненного опыта – как действительного, так и возможного – и лежит в основе нашей

способности формулировать свои планы и намерения, организовывать их в программы действия и регулировать их выполнение.⁹³

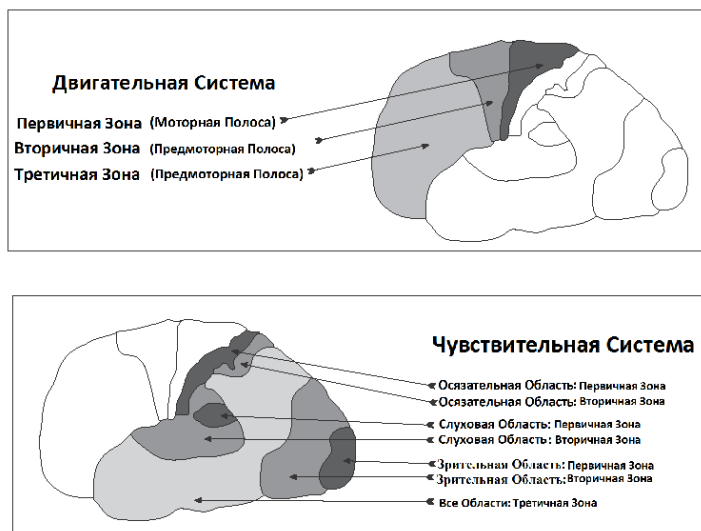


Рисунок 8

Чувствительная система⁹⁴, которая входит в состав задней половины молодой коры и которая состоит из теменной, затылочной и височной долей, ответственна за создание отдельных миров наших органов чувств (главным образом, зрения, слуха и осязания) и за их объединение в единое поле восприятия, которое составляет наш сознательный опыт.⁹⁵ Чувствительная система обрабатывает информацию, выработанную двигательной системой, и строит из неё мир распознаваемого и хорошо знакомого.

В заключение, лимбическая система – очень древняя, запряженная под складками молодой коры, – сравнивает⁹⁶ сущность последствий поведения с существующей в воображении динамической моделью того, что **должно было случиться**, того, что **хотелось, чтобы оно случилось**. Именно сигнализация о **значении для побуждения**, или об **эмоциональной важности**, составляет то, что, возможно, является главной обязанностью лимбической системы – оно и существенно связанные с ним внушение и обновление памяти ("существенно связанные", так как именно **значительные, важные** события преобразуют знание, "хранятся" в памяти, точнее сказать, **изменяют** память). Этот процесс сигнализации непременно подразумевает сравнение нежелательного настоящего, как оно понимается в настоящее время, с идеальным будущим, как оно представляется в то же время. Способность порождать такое сопоставление, видимо, зависит от того, что происходит глубоко внутри сравнительно древней центральной части мозга, в особенности, в таких структурах, как гиппокамп⁹⁷ и миндалина⁹⁸. Природу этого процесса сравнения, может быть, лучше всего можно понять, предварительно рассмотрев явление, известное как **связанный с событием потенциал коры**.

В ходе своей работы мозг создаёт электрические токи, образующие постоянно изменяющийся узор. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) даёт нам грубое представление этого узора. Когда у кого-либо снимают электроэнцефалограмму, то на коже его черепа в определённом порядке размещают электроды. Эти электроды позволяют обнаруживать электрические токи, возникающие в ходе деятельности нервной системы, следить за ними и до некоторой степени определять их местонахождение. (Мозг производит токи, достаточные, чтобы их можно было обнаружить через череп и окружающие его ткани, хотя помехи, вызываемые этими тканями, затрудняют расшифровку электроэнцефалограмм.) Несколько ограниченные возможности технологии ЭЭГ были значительно расширены за счёт аналитических способностей компьютера. **Связанный с событием потенциал коры** есть мера деятельности мозга, полученная компьютером из записей ЭЭГ, усреднённых при различных задержках, после того как человеку, ЭЭГ которого оценивают, был подключён своего рода "раздражитель". Природа этого раздражителя может меняться. В простейшем случае он есть просто нечто чувственное, вроде звука, неоднократно передаваемого через стереонаушники. В более сложных случаях связанный с событием потенциал наблюдается после подключения раздражителя с эмоциональной валентностью, что означает после чего-

то, что должно быть "выделено, узнано или как-либо иначе оценено".⁹⁹ Возможно, простейший способ вызвать событие такого рода – это случайным образом и нечасто вставлять в без конца повторяющуюся, предсказуемую последовательность звуков какой-либо звук, который отличается от них по частоте, (хотя раздражитель точно так же легко может быть зрительным или осязательным). Эти "чудаческие" события отличаются (относительной) новизной (новизна всегда относительна). Такие события вызывают электрическую активность коры головного мозга, которая отличается от вызываемой предсказуемыми звуками. Всякое событие, вызывающее определённые или известные изменения текущего поведения, также вызовет потенциал, подобный потенциалу "чудаческих" событий.

Усреднённый, связанный с событием потенциал коры, вызванный редкими или по-иному осмысленными событиями, – это волна с характерными для неё формой и зависимостью от времени. Наибольшее внимание обращалось на те составляющие этой волны, которые начинались в первые полсекунды (500 миллисекунд) после включения раздражителя. Когда проходят первые полсекунды, полярность волны меняется. Минимумы и максимумы достигаются в более или менее обычные промежутки времени в предсказуемых "областях", поэтому они были опознаны и названы. Связанные с событиями потенциалы (ССП) являются отрицательными (N) или положительными (P), в зависимости от полярности, и перенумерованы в соответствии с их появлением во времени. Самые ранние составляющие ССП (< 200 миллисекунд) меняются с изменением чисто чувственных особенностей события. Волны, называемые N200 (отрицательные 200 миллисекунд) и P300 (положительные 300 миллисекунд), меняются в зависимости от **эмоциональной значимости и силы** раздражителя и могут быть даже вызваны отсутствием события, которое ожидалось но не появилось. Психофизиолог Эрик Хальгрэн утверждает:

"В итоге можно сказать, что познавательные состояния, вызывающие N200 или P300, есть представления раздражителей, которые являются новыми или сигналами для поведенческих задач. Поэтому им следует уделить внимание и ответить на них. Эти вызывающие N200 или P300 состояния и их функциональные последствия тождественны тем, которые были обнаружены для ориентирующего рефлекса".¹⁰⁰

Хальгрэн считает N200 и P300, а также самопроизвольный ориентирующий рефлекс "различными частями общей совокупности реакций организма, вызываемой раздражителями, которые заслуживают дополнительной оценки"¹⁰¹, и называет этот общий образец реакции ориентирующим **комплексом**. Значительная совокупность данных говорит о том, что системы гиппокампа и миндалины решающим образом вовлечены в порождение волн N200 и P300, хотя и другие мозговые системы принимают в этом участие. (Представляет немалый интерес то, что дополнительная волна, N4, порождается, когда люди, участвующие в опыте, подвергаются воздействию абстрактных символов – написанных, устных или как-то обозначенных слов и лиц – с существенным значением в осмысленной обстановке.¹⁰² В такой обстановке N4 возникает после N2, но перед P3, и величина её возрастает как функция трудности сочетания слова с обстановкой, в которой оно появляется. Миндалины и гиппокамп также непосредственно ответственны за порождение этой волны и, следовательно, за такое сочетание слова с обстановкой, которое является жизненно важной стороной установления смысла, влияющего на поведение при наличии желания достичь конкретной цели.)

Процессы, обнаруживающиеся поведенчески в ориентирующем комплексе, а электрофизиологически – в сочетании волн N2, N4 и P3, по-видимому, играют главную роль в многообразных явлениях, переживаемых и понимаемых нами как **сознание**. Другой психофизиолог Арне Оман¹⁰³ утверждал, что ориентирование начинается ряд процессов "управляемой обработки", который труден, медлителен, сопровождается сознанием, последователен и производителен и о котором говорится в этом документе как об **исследовательском поведении**. Управляемая обработка противопоставляется "машинальной обработке", которая привычна, "бессознательна" и незамедлительна и которая происходит в "исследованной области". Ориентирующий комплекс, видимо, проявляется только тогда, когда данный испытуемый "осознаёт" некоторую связь между исходными чувственными данными и двигательной деятельностью. Подобным же образом сочетание волн N2 и P3 появляется только тогда, когда использованный в опыте раздражитель "привлёл внимание подвергающегося опыту лица и достиг его сознания".¹⁰⁴ Сознание (тесно связанное с ориентацией в целях настоящего обсуждения), поэтому появляется как **явление, решающим образом вовлечённое в оценку новизны и жизненно важное для неё**; появляется как жизненно важное для помещения непредсказуемого в определённую и установленную совокупность связей; как следствие изменения поведения в области неизвестного. Это значит, что

сознание играет главную по важности роль в **порождении предсказуемого и постигаемого мира из области неожиданного**. Такая реакция, помещение и порождение остаются всегда опосредствованными силами надежды (или любопытства) и беспокойства, вызываемыми (и это не случайно!) теми же "устройствами", которые направляют ориентацию рефлексов и передвижения исследователя.

Постоянное и повсеместное присутствие непостижимого в "мире" развило у нас приспособительную реакцию, вызвало такую реакцию у всех подобных нам живых существ, существ, с высоко развитой нервной системой. Мы развились, чтобы успешно действовать в мире, вечно состоящем из предсказуемого в парадоксальном соседстве с непредсказуемым. Сочетание **того, что мы уже исследовали, и того, что мы всё ещё должны оценить**, на самом деле охватывает всю нашу окружающую среду, насколько её природа, вообще говоря, может быть точно определена, а ведь именно этой среде наше физиологическое устройство стало в конце концов соответствовать. Один набор систем, которые входят в состав нашего мозга и ума, управляет нашей деятельностью, когда мы руководствуемся нашими планами: когда мы находимся в области **известного**. Другой, по-видимому, действует, когда перед нами предстаёт нечто неожиданное: когда мы вступили в царство **неведомого**.¹⁰⁵

"Лимбическая система" среди её прочих задач порождает ориентирующий рефлекс. Именно ориентирующий рефлекс, который проявляется в эмоциях, мысли и поведении, **составляет самую суть основного человеческого отклика на новое или неизвестное**. Этот рефлекс следует биологически предопределённому направлению, древнему по своей природе, такому же изначальному, как голод или жажда, такому же основному, как половая жизнь, существующему подобным же образом и в животном царстве, далеко вниз по цепи органической жизни. Ориентирующий рефлекс – это общая безотчётная реакция на тот странный разряд **всех происшествий ещё нераспределённых по разрядам**, это отклик на неожиданное, новое или неизвестное **само по себе**, а не на какую-либо выделенную сторону опыта, не на какое-либо точно определимое положение дел или явление. Ориентирующий рефлекс составляет самую суть процесса, который порождает (обусловленное) знание чувственных явлений и уместность для побуждения, или валентность. Такое знание – это, **по существу**, знание того, как себя вести и чего ожидать вследствие своего поведения в конкретной обстановке, определённой условиями внешней окружающей среды, видоизменёнными культурой, и внутренним состоянием субъекта в отношении своих побуждений, таким же образом видоизменённым. Это к тому же знания о том, что **есть**, с объективной точки зрения, – запись чувственного опыта, имеющего место в ходе текущего поведения.

Ориентирующий рефлекс **замещает конкретные выученные отклики**, когда внезапно появляется непонятное. Появление непредсказуемого, неизвестного, источника страха и надежды, захватывает текущее целенаправленное поведение. Появление неожиданного – это свидетельство неполного характера истории, направляющей такое поведение в настоящее время. Оно содержит в себе доказательство ошибки на уровне действующего описания современного состояния, представления желаемого будущего состояния или понимания средств преобразования первого в последнее. Появление неизвестного служит причиной любознательного, полного надежд исследовательского поведения, регулируемого страхом, как средства пересмотреть и дополнить имеющуюся в памяти действующую модель действительности (так сказать, пересмотреть и дополнить **известное**, которое есть определённая или хорошо знакомая область). Одновременное вызывание двух прямо противоположных эмоциональных состояний, таких, как состояния надежды и страха, означает противоречие – и неожиданное вызывает внутридушевное противоречие как ничто другое. Важность и возможная напряжённость этого противоречия не могут быть оценены при обычных обстоятельствах, потому что при обычных обстоятельствах, в определённой области, дела идут по плану. Только когда наши цели уже оказались недостижимыми, обнаруживается подлинное значение вырванного из своей обстановки предмета или переживания, и такое откровение проявляется сначала в виде страха.¹⁰⁶ Мы защищены от такого противоречия, от подчинения бессознательному ужасу, совокупностью служащих приспособлению сведений, порождённых в ходе подгоняемого новизной предшествующего исследования. Мы защищены от непредсказуемости нашими определяемыми культурой убеждениями, историями, которые мы разделяем с теми, кто похож на нас. Эти истории говорят нам, как предполагать и как действовать, как поддерживать разделяемые нами, определённые и ограниченные ценности, которые составляют хорошо знакомый нам мир.

Ориентирующий рефлекс – это невольное тяготение внимания к новизне – закладывает основу для появления (управляемого сознанием) исследовательского поведения.¹⁰⁷ Исследовательское поведение делает возможным разбиение общего и (**независимо от всякого опыта**) важного для побуждений неожиданного на установленные и точно определённые области уместности как побуждения. В случае чего-либо, имеющего действительное (то есть известное после исследования) значение, уместность означает точно определённое в данной обстановке наказание или удовлетворение, или предположительно

равноценные им явления "второго порядка": угрозу или обещание (как нечто угрожающее подразумевает наказание, так же и нечто обещающее подразумевает удовлетворение). Следует отметить, что упомянутое выше разбиение есть распределение по категориям в соответствии со значением для передвижения или для поведения, а не в отношении к чувственным (или оформленным, объективным) свойствам.¹⁰⁸ Мы, вообще говоря, предполагали, что цель исследования – это создание мысленного образа объективных свойств исследуемой области. Это, очевидно, верно, но только частично. Однако причинам, по которым мы создаём такие мысленные образы, обычно не уделяется достаточного внимания. У каждой доступной исследованию, так сказать, подобласти есть своя чувственная сторона, но поистине важной является эмоциональная или мотивационная уместность новой области. Нам нужно знать, что нечто твёрдо и светится красным светом только как средство следить за тем, как оно горячо и потому опасно, то есть наказывает, если к нему прикоснуться. Нам нужно знать, каковы предметы на вид и на ощупь, для того чтобы мы могли следить за тем, что нам можно есть и что может съесть нас.

Когда мы исследуем новую область, мы как бы наносим на карту мотивационное или эмоциональное значение явлений или положений, которые характерны для наших целенаправленных взаимодействий внутри этой области, и мы используем чувственную информацию, с которой мы сталкиваемся, чтобы распознать то, что важно. Именно определение **конкретного** смысла, или эмоционального значения, в ранее не исследованной области, – а не распознавание объективных свойств – позволяет нам подавить вызванный новизной ужас и проявление любопытства, которые эта область, в противном случае, произвольно вызывает. Мы чувствуем себя уютно где-нибудь в новом месте, как только обнаружим, что там нет ничего, что будет нам угрожать или причинит нам вред (более подробно, когда мы приспособим наше поведение и схемы представления так, что там не будет ничего, что, вероятно, должно или будет в состоянии нам угрожать или причинять нам вред). Последствием исследования, которое допускает приведение в порядок эмоций (которое, по существу, порождает уверенность), является не объективное описание – как мог бы утверждать учёный, – а распределение по разрядам последствий неожиданного происшествия для точного определения средств и целей. Такое распределение по разрядам есть то, чем **является** предмет с точки зрения устарелых эмоций и субъективного переживания. Дело, конечно, к тому же обстоит так, что ориентирующий рефлекс и исследовательское поведение, которое следует за его проявлением, допускают видоизменение неизвестного в хорошо знакомые категории объективной реальности. Однако, с исторической точки зрения, эта способность, возникшая только четыреста лет тому назад¹⁰⁹, есть плод недавнего развития и не может поэтому считаться основной для "мышления" или "оценивания". Точное определение совместно постижимых чувственных качеств чего-либо, вообще говоря, рассматриваемое в современном мире как существенная сторона описания действительности, просто служит – заявим это ещё раз – вспомогательным средством более существенного процесса **оценки**: просто служит тому, чтобы точно определить природу **имеющих отношение к делу** или **возможно имеющих отношение к делу** явлений.

Когда дела идут согласно плану, то есть когда наши действия помогают осуществить наши желания, мы чувствуем себя уверенно, даже счастливо. Когда всё идёт как надо, корковые системы, специально ответственные за организацию и осуществление целенаправленного поведения, твёрдо удерживают власть. Когда порождённые корой головного мозга планы и игры воображения улетучиваются, эта власть исчезает. Сравнительно древние "лимбические" системы миндалины и гиппокампа быстро вступают в действие, изменяя эмоции, истолкования и поведение. Гиппокамп, по-видимому, особенно приспособлен для сравнения (понимаемой) реальности настоящего, насколько она проявляется в субъективной области, с фантазиями об идеальном будущем, созданными предмоторной системой (действующей, в свою очередь, как посредник высшего порядка – так сказать король – между всеми специализированными подсистемами, которые составляют более существенные или главные составные части мозга). Эти подгоняемые желанием фантазии можно рассматривать как мотивированные предположения об относительной вероятности событий, вызванных в ходе текущей целенаправленной деятельности. То, чего вы **ожидаете**, чтобы оно случилось, – на самом деле то, чего вы **хотите**, чтобы оно случилось, по крайней мере в большинстве случаев, – есть модель, которую вы порождаете, используя то, что вы уже знаете, в сочетании с тем, чему вы выучиваетесь, пока вы действуете. Гиппокампный сравнитель¹¹⁰ постоянно и "бессознательно" сравнивает то, что "действительно" происходит, с тем, что должно было произойти. Это означает, что сравнитель противопоставляет "невыносимое настоящее", **насколько оно понято** (так как оно тоже есть модель), идеальному будущему, как оно воображается; означает, что он сравнивает понятый исход деятельного поведения с имеющимся в воображении образом подразумеваемых последствий этого поведения. Опыт прошлого – умение и представление результатов этого умения; память, когда она относится к делу, – направляет поведение, пока не будет совершена ошибка. Когда случается нечто, чего

не хотели, — когда действительный результат, как его понимают, не соответствует желаемому, как его предполагали, — гиппокамп изменяет образ действий и готовится пересмотреть и дополнить хранилище корковой памяти. Управление поведением перемещается из коры в лимбическую систему, вероятно, к миндалине, которая управляет временным определением эмоционального значения непредсказуемых событий и обладает сильным влиянием на центры управления движением.¹¹¹ Это перемещение управления делает возможным возбуждение "устройств", управляющих ориентированием, повышением напряжённости обработки чувственных данных и исследованием.

"Высшая" кора управляет поведением до тех пор, пока не появляется неизвестное: пока она не совершит ошибку; пока ей служит память; пока деятельность, которой она управляет, не вызовет несоответствия между тем, чего хотят, и тем, что происходит на самом деле. Когда случается такое несоответствие, появляется соответствующая эмоция (сочетание страха и любопытства). Но как может уместная в данной обстановке эмоция связаться с тем, с чем, по определению, ещё не сталкивались? По традиции значение связывается с ранее не имевшими отношения к делу явлениями или положениями дел как следствие обучения, что означает, что явления **ничего** не значат, пока их значению не выучатся. Но перед лицом неизвестного никакое обучение ещё не имело места — и, однако, при наличии ошибки обнаруживается эмоция. Следовательно, та разновидность эмоции, которую возбуждает непредсказуемое, **не является выученной**: это означает, что новое или неожиданное приходит, заранее заряженное эмоцией. Явления не бывают, как нечто само собой разумеющееся, **не относящимися к делу**. Они **становятся не относящимися к делу** вследствие (успешного) исследовательского поведения. Когда с ними сталкиваются впервые, **они осмысленны**. Именно миндалина, по сути дела, ответственна за (расторженное) порождение этого **доопытного** значения — ужаса и любопытства.

Миндалина, по-видимому, произвольно откликается на все явления или положения дел, **если от неё не требуется обратного**. **От неё не требуется обратного** — её произвольный отклик заторможен — тогда, когда текущее целенаправленное поведение вызывает желаемые (подразумеваемые) последствия.¹¹² Однако в случае ошибки, которая указывает, что направляемые памятью текущие планы и цели неудовлетворительны, хотя и имеют свои основания, миндалина освобождается от торможения и присваивает непредсказуемому происшествию значение. Всё неизвестное одновременно опасно и многообещающе: оно **произвольно и до того, что мы обычно рассматривали бы как исследование или как (более связанную с обстановкой) классификацию**, вызывает беспокойство, любопытство, возбуждение и надежду. Действия миндалины ответственны за **обеспечение того, чтобы (в качестве решения, принятого за отсутствием других решений) к неизвестному относились с почтением**. Миндалина, в сущности, говорит: "Если вы не знаете, что данное явление означает, вам, чёрт побери, следовало бы обратить на него внимание". Внимание — начальная стадия исследовательского поведения, побуждаемого работой миндалины, поведения, создаваемого взаимодействием между беспокойством,¹¹³ которое побуждает к осторожности перед новизной как угрозой, и надеждой, которая относится к новизне как к обещанию.¹¹⁴ Регулируемый осторожностью подход допускает пересмотр и дополнение памяти в виде навыков и представлений. Дополненная исследованием память тормозит вызывание эмоций **до опыта**. На хорошо знакомой почве — в исследованной области — мы не чувствуем никакого страха (и сравнительно мало любопытства).

Желаемый исход поведения (что должно быть) первоначально просто берётся за основу. Если текущая стратегия не имеет успеха, возбуждается система проб и исследования,¹¹⁵ хотя она остаётся под управлением беспокойства. Система проб и её отвлечённый эквивалент создают: 1) взаимоисключающие последовательности действий в поведении, цель которых — выйти из создавшегося затруднительного положения; 2) взаимоисключающие представления желаемой цели в понятиях; 3) переоценку значения современного состояния для побуждений. Это означает: 1) что может быть придумана новая стратегия для достижения желаемой цели, или 2) что может быть избрана замещающая цель, служащая тому же самому назначению, или 3) что стратегия поведения может быть оставлена из-за трудности её осуществления. В последнем случае все представления о том, что составляет "реальность", — **по крайней мере в том, что касается используемой в настоящее время истории или системы отсчёта**, — придётся, может быть, пересоздавать. Это наиболее затруднительное положение дел схематически представлено — когда из него удаётся найти выход — **на рисунке 9 "Возрождение устойчивости из области хаоса"**.¹¹⁶

Исследовательская деятельность "обычно" достигает высшей точки в ограничении, расширении или преобразовании совокупности возможного поведения. В исключительных, необычных обстоятельствах — то есть когда была совершена "крупная ошибка" — такая деятельность достигает высшей точки в "революции": **в изменении всей истории, направляющей эмоциональную оценку и программирование поведения**. Такое революционное изменение означает пересмотр и дополнение

моделируемой действительности – прошедшей, настоящей и будущей – путём использования сведений, полученных в ходе исследовательского поведения. Успешное исследование преобразует неизвестное в

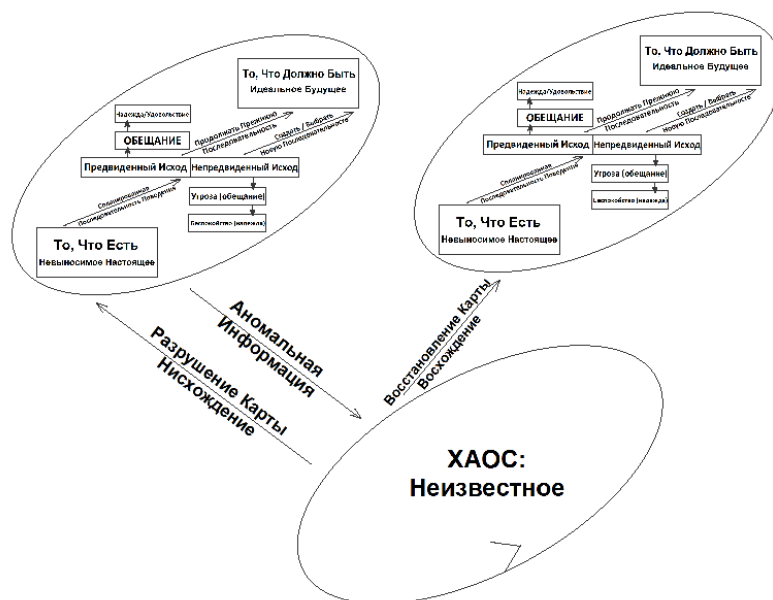


Рисунок 9

ожидаемое, желаемое и предсказуемое; устанавливает соответствующие поведенческие меры (и ожидания от этих мер) для следующего соприкосновения с неизвестным. В противоположность этому неудачное исследование – избегание или бегство – **оставляет новый предмет прочно укоренившимся в своём первоначальном, "естественном" разряде вещей, вызывающих беспокойство.** Это наблюдение подготавливает почву для понимания следующего существенного положения: **люди не выучиваются бояться новых предметов или положений дел; они на самом деле даже не "выучиваются" бояться того, что ранее казалось им безопасным, когда оно проявляет опасные признаки.** Страх – это доопытное отношение, естественный отклик на всё такое, что никакой образ приспособления поведения к нему ещё не был придуман и привит. Страх – это врождённая реакция на всё, что не стало предсказуемым вследствие успешного, творческого исследовательского поведения, предпринятого в какое-то время в прошлом, когда оно присутствовало. Леду утверждает:

"Хорошо установлено, что эмоционально неопределённые раздражители могут приобрести способность вызывать поразительные эмоциональные реакции после временного сочетания с событием, вызвавшим отвращение. Приучение не создаёт новых эмоциональных откликов, но, вместо этого, просто позволяет новым раздражителям служить «спусковыми крючками», способными возбуждать существующие, часто «впаянные», характерные для вида эмоциональные реакции. У крыс, например, чистый звук, ранее сочетавшийся с электрическим ударом в ногу, вызывает обусловленную реакцию страха, состоящую в замораживании поведения, сопровождаемом множеством самопроизвольных приспособлений, включая возрастание артериального давления и частоты сердцебиения.¹¹⁷ Подобные отклики особенно выражены, когда лабораторные крысы выставляются перед котом в первый раз, но после повреждения миндалины они исчезают,¹¹⁸ наводя на мысль, что эти отклики предопределены наследственностью (так как они появляются, когда крыса видит кота, прирождённого хищника, в первый раз) и связаны с миндалиной. То обстоятельство, что электрическое возбуждение миндалины способно вызывать подобные типы реакции,¹¹⁹ дополнительно подтверждает представление, что эти реакции «впаяны»".¹²⁰

Страх не является обусловленным; при наличии определённых явлений ("раздражителей") или положений дел уверенности можно разучиться вследствие нарушения явных или неявных предположений.

Классическая психология поведения неверна, и таким же точно образом неверны наши народные предположения: страх не является ни вторичным, ни выученным, а уверенность – вторична и выученна. Всё, что не исследовано, заражено, **до и независимо от всякого опыта**, опасением. Поэтому всякого явления или положения дел, которое подрывает основания хорошо знакомого и надёжного, следует бояться.¹²¹

Нам затруднительно ясно сформулировать картину субъективных воздействий систем, которые преобладают в нашем первоначальном отклике на истинно непредсказуемое, **потому что мы боремся из всех сил, стремясь обеспечить, чтобы всё вокруг нас оставалось нормальным**. При "обычных" условиях эти изначальные системы никогда не работают в полную силу. С некоторым оправданием можно было бы сказать, что мы посвящаем всю свою жизнь обеспечению того, чтобы нам никогда не пришлось столкнуться с неизвестным в революционном смысле, **по крайней мере столкнуться с ним не случайно**. Наш успех в этом вводит нас, так сказать, в заблуждение насчёт подлинной природы, силы и напряжённости наших возможных эмоциональных откликов. Как цивилизованные люди мы уверены в своей безопасности. Мы можем предсказать поведение окружающих нас других людей (то есть в том случае, если они разделяют с нами наши взгляды). Кроме того, мы можем достаточно хорошо контролировать окружающую нас среду, чтобы обеспечить то, что наша подверженность угрозам или наказаниям оставалась наименьшей. Именно накопленный нами опыт – то есть наша культура – делает возможным это предсказание и контроль. Существование наших культур, однако, не позволяет нам правильно понимать природу нашего подлинного (эмоционального) характера, по крайней мере его пределы и последствия его возникновения.

Экспериментальные исследования ориентирующего рефлекса в прошлом пролили не так уж много света на наши подлинные способности к эмоциональному отклику, так как они, вообще говоря, проводились в жёстко контролируемых условиях. Тем, кого оценивают в отношении их реакций на "новизну", в общем случае предлагаются раздражители, новые только в самом ограниченном, самом "обычном" смысле. Звук, например, который непредсказуемо отличается от другого звука или который появляется в относительно непредсказуемое время, – это всё-таки звук, то есть нечто более или менее испытанное тысячу раз до того и к тому же испытанное в лаборатории, в госпитале или в университете под руководством заслуживающего доверия личного состава, посвящающего свои усилия тому, чтобы до предела снизить беспокойство при проведении опытов. Контролируемость условий эксперимента, которая, по сути, является неявной и поэтому невидимой его теоретической предпосылкой, довела нас до того, что важность ориентирующего рефлекса была преуменьшена, а природа его исчезновения – неправильно понята.

Ориентация в обычной лабораторной обстановке означает "внимание", а не ужас, и его постепенное исчезновение при повторном представлении раздражителя рассматривается как "привыкание": как нечто скучное, похожее на произвольное приспособление или потерю чувствительности. Тем не менее "привыкание" – это не **пассивный процесс**, по крайней мере на высших корковых уровнях его протекания. Оно просто выглядит как пассивное, **когда его наблюдают в относительно обыденных условиях**. В действительности оно всегда является следствием деятельного исследования и последующего изменения поведения или объяснительной схемы. Например, основная структура (относительно) нового заданного лабораторного звука исследуется корковыми системами, вовлечёнными в прослушивание. Эти системы деятельно анализируют составляющие каждого звука.¹²² Испытуемый приводится к тому, чтобы "ожидать" или предсказывать один вид звука, а слышит он другой. Этот неожиданный другой звук в этой конкретной обстановке имеет неопределённое значение и поэтому рассматривается как (сравнительно) осмысленный – угрожающий и обещающий. Неожданный звук подаётся неоднократно. Испытуемый замечает, что в контексте, который определяет обстановку эксперимента, повторение ничего не означает (ничего наказывающего, доставляющего удовлетворение, угрожающего или обещающего) и перестаёт на него реагировать. Он не просто "привык" к этому раздражителю. Он нанёс на карту его зависящее от обстановки значение, которое является нулевым. Этот процесс кажется **обыденным, потому что обстановка эксперимента заставляет его выглядеть таким образом**. В настоящей жизни он является каким угодно, но не скучным.

Классическая работа по исследованию "эмоций" и побуждений животных проводилась при условиях, напоминающих искусственно ограниченные положения дел, которые очерчивают большую часть работы по человеческой ориентации. Животные, обычно крысы, приучаются "бояться" – или сдерживаться – в присутствии "неопределённого раздражителя", неоднократно сочетаемого с наказанием (раздражителем, чьё значение для побуждения является отрицательным при предполагаемом отсутствии обучения или, по крайней мере, при отсутствии истолкования). Крысу помещают в подопытную "окружающую среду" и

позволяют ей ознакомиться со своим окружением. "Неопределённым раздражителем", с которым она сталкивается, может быть свет, "безусловным" раздражителем – удар электрического тока. Свет включается, а пол крысиной клетки на короткое время электризуется. Эта последовательность повторяется неоднократно. Вскоре крыса "застывает", как только появляется свет. У неё выработалась "условная реакция" на нечто, ранее бывшее неопределённым, состоящая в торможении поведения (и, с теоретической точки зрения, в страхе). Процедуры этого рода действительно **вызывают** страх. Однако их подразумеваемые, вытекающие из обстановки ограничения, или аксиомы этих процедур, приводят исследователей к странным выводам о природе "приобретения" страха.

Такие эксперименты, во-первых, предполагают, что страх в данной обстановке непременно является чем-то выученным. Во-вторых, они предполагают, что страх существует как следствие того, что крысу подвергали наказанию, и только из-за этого. Затруднение с этим истолкованием состоит в том, что крыса неизбежно начинала "испытывать страх", как только её помещали в новое подопытное окружение, хотя бы ничего ужасного с ней там ещё не произошло. После того как ей дают поисследовать, она "успокаивается". Только тогда её рассматривают как "нормальную". Затем экспериментатор выводит крысу из её "приобретённой нормальности", представляя ей нечто неожиданное и болезненное – "безусловный раздражитель" в сочетании с "неопределённым раздражителем". Тогда она "учится" бояться. На самом деле произошло то, что неожиданное происшествие заставило крысу вновь вернуться в состояние, в котором она уже была, когда она в первый раз вошла в клетку. Удар электрического тока в сочетании со светом показывает крысе (напоминает ей), что она ещё раз оказалась на неисследованной территории. Её страх в неисследованной области точно так же "нормален", как и её самодовольство в окружающей обстановке, которую она уже нанесла на карту и которая не содержит никакой опасности. Мы рассматриваем спокойную крысу как "подлинную", потому что мы мысленно переносим наши неверные истолкования своей "обычной" природы на наших подопытных животных. Всё выглядит так, как утверждает Д. О. Хебб:

"Вежливость, отличающая нас самих, цивилизованную, дружелюбную и восхитительную часть человечества, хорошо воспитанную и не пребывающую постоянно в состоянии страха, столь же зависит от того, что мы успешно избегаем беспокоящего возбуждения, сколь и от нашей пониженной чувствительности к вызывающим страх раздражителям. Способность к эмоциональному расстройству вполне может быть самоскрывающей, приводящей животных и людей к тому, чтобы они находили или создавали окружающую среду, где раздражители, вызывающие чрезмерную эмоциональную реакцию, по возможности отсутствуют. Наше общество настолько действенно в этом отношении, что его представители – особенно состоятельные и образованные – могут даже не догадываться о некоторых собственных возможностях. Обычно думают об образовании, в широком смысле, как о создающем изобретательного, эмоционально устойчивого зрелого человека, безотносительно к окружающей среде, в которой эти черты должны проявляться. До некоторой степени это, может быть, и верно. Но образование можно также понимать как средство установления защитного общественного окружения, в котором возможна эмоциональная устойчивость. Возможно, оно и предохраняет личность от приступов безрассудного страха и гнева, но оно же несомненно создаёт единообразие внешности и поведения, уменьшающие частоту, с которой отдельный представитель общества сталкивается с поводами для таких эмоций. С этой точки зрения восприимчивость к эмоциональному расстройству не может быть уменьшена. В действительности она может быть увеличена. Защитный кокон единообразия в личной внешности, в умении держать себя и в общественной деятельности вообще заставит небольшие отклонения от обычая казаться всё более и более странными и поэтому (если общее положение правильно) всё более и более недопустимыми. Неизбежные небольшие отклонения от обычая будут казаться всё более и более важными, а представители общества, находя, что они вполне допускают мелкие отклонения, будут думать о себе как о легко приспосабливающихся к обществу".¹²³

Упорядочивание наших эмоций столь же (или более) зависит от устойчивости и предсказуемости нашего общественного окружения (от поддержания нашей культуры), сколь и от "внутренних" процессов, классически связываемых с силой "я", или личности. Общественный порядок есть необходимое предварительное условие душевной устойчивости: именно спутники нашей жизни и их действия (или бездействия) главным образом делают наши эмоции устойчивыми (или неустойчивыми).

Крыса как личность – самодовольное создание, когда она находится на исследованной территории. Когда же она на неисследованной территории, она всё что угодно, только не спокойна. Крыса,

переселённая из привычной клетки в новое и неизвестное окружение – например в новую клетку, – сперва застынет (хотя бы её никогда и не наказывали в новой обстановке). Если с нею не случится ничего ужасного (ничего наказывающего, угрожающего или дополнительно непредсказуемого), она начнёт принохиваться, оглядываться, крутить головой, собирать новые сведения о том, по сути, пугающем месте, где она теперь обитает. Мало-помалу она начинает передвигаться вокруг. Она будет исследовать всю клетку с нарастающей уверенностью. Она наносит своё новое окружение на карту ради его эмоциональной валентности. Она "хочет" узнать: есть ли здесь что-нибудь, что меня убьёт? Есть здесь что-нибудь, что я могу съесть? Нет ли здесь кого-нибудь ещё: враждебного или дружественного? Возможного "супруга"? Крыса заинтересована в том, чтобы определить, не содержит ли новое место чего-либо, представляющего для неё определённый интерес, и она исследует в меру своих сил и способностей, чтобы вынести об этом суждение. Она заинтересована прежде всего не в "объективной" природе своего нового положения: крыса не может на самом деле определить, что является объективным, а что – просто "личным мнением". Да её это и не заботит. Она просто хочет знать то, что ей следует.

Что произойдёт, если животное столкнётся с чем-то поистине неожиданным, чем-то, чего просто не должно быть, в соответствии с его текущей "системой отсчёта" или "системой верований"? Ответ на этот вопрос проливает много света на природу ориентирующего рефлекса в его полном проявлении. Современные психологи-экспериментаторы уже начали исследовать реакцию животных на естественные источники тайны и угрозы. Они дают животным организовывать их собственную окружающую среду, практическую среду, а затем подвергают их воздействию различных неожиданных обстоятельств, с которыми те могли бы столкнуться в "настоящей жизни". Появление хищника в ранее "безопасном" месте (то есть месте, ранее исследованном и нанесённом на карту как полезное или не имеющее отношения к делу) представляет собой один из видов практически осуществимой неожиданности. Бланшар и его коллеги описывают естественное поведение крыс при таких обстоятельствах:

"Когда сложившимся группам лабораторных крыс обоего пола, живущих в доступных наблюдению норах, показывали кота, поведение крыс разительно изменялось, во многих случаях на 24 часа и более.¹²⁴ За первоначальным активным оборонительным поведением – бегством в сеть тоннелей и камер – следовал промежуток неподвижности, во время которого крысы с большой скоростью издавали ультразвуки частотой 22 кГц, которые, по-видимому, служат сигналами тревоги.¹²⁵ Когда застывание нарушается, избегание открытого пространства постепенно уступает место «оценке риска» в области, где крысы сталкивались с котом. Крысы высовывали головы из тоннельных выходов и некоторые минута́ми, а некоторые часами пристально разглядывали открытое пространство, где появлялся кот, перед тем как выйти, а когда они и в самом деле выходили, отличительной чертой их образа передвижения было поведение, которое с теоретической точки зрения уменьшало их видимость и уязвимость перед хищниками, и очень короткие перебежки по открытому пространству. Эта «оценка риска», видимо, включает в себя активное собирание сведений о возможном источнике опасности,¹²⁶ обеспечивающее основу для постепенного возвращения к необоронительному поведению.¹²⁷ Активная «оценка риска» не видна в первое время после появления кота, когда преобладающим поведением является застывание на месте и избегание открытого пространства, но она поднимается до высшей точки примерно 7 – 10 часов спустя, а затем мало-помалу идёт на убыль. Необоронительные разновидности поведения, такие, как еда, питьё, половая жизнь и агрессия имеют тенденцию уменьшаться в течение того же самого промежутка времени.¹²⁸"¹²⁹

Неожиданное появление хищника там, где ранее не существовало ничего, кроме определённой области, приводит крыс в ужас, достаточно сильно для того, чтобы они постоянно "визжали" в течение долгого промежутка времени. Как только этот первоначальный ужас ослабевает – это происходит, только если не случается ничего другого ужасного или наказывающего, – любопытство растормаживается, а крысы возвращаются на прежние места. Пространство, "обновлённое" появлением кота, должно быть ещё раз преобразовано в исследованную область, как следствие активного изменения поведения и представляющей его схемы, а не пассивного уменьшения восприимчивости к неожиданному. Крысы бегают по территории, "заражённой" присутствием кота, чтобы разузнать, не скрывается ли там по-прежнему что-либо опасное (для бегающих крыс). Если ответ на это "нет", то пространство ещё раз определяется как родная область (то есть как место, где общие места действия вызывают желаемые цели). Крысы превращают опасное неведомое в хорошо знакомую область как следствие сознательного исследования. В отсутствие такого исследования ужас царит беспрепятственно.

Точно так же поучительно рассмотреть отклики крыс на их родню – которая представляет собой "исследованную область" – в противоположность их отношению к "чужакам", чьё поведение не является предсказуемым. Крысы – чрезвычайно общительные животные, способные отлично жить в мире со своими "соотечественниками". Однако они не любят членов других родственных групп: преследуют и убивают их. Со случайными или умышленными незваными гостями они обходятся тем же самым образом. Крысы опознают одна другую по запаху. Если ставящий опыт удалит любимую всеми крысу из её семейного окружения, вымоет её щёткой, даст ей новый запах и вернёт её к её собратьям, – её быстро отправят на тот свет те, кто некогда её любил. "Новая" крыса есть "неисследованная область". Её присутствие рассматривается как угроза (и небезосновательно) всему надёжному в настоящее время.¹³⁰ Шимпанзе – отлично способные убивать "иностранных чертей" (даже тех, кто некогда были хорошо знакомы) – действуют во многом тем же самым образом.¹³¹

2.2.4. Исследованная область: феноменология и невропсихология

Когда мы исследуем, мы преобразуем неопределённые статус и значение неизвестного явления, которое мы исследуем, в нечто определённое: в самом худшем случае, делая его не угрожающим, не наказывающим; в самом лучшем, так воздействуя на него и / или относя его к какому-то разряду, что оно по своим признакам оказывается полезным. Животные выполняют это преобразование в ходе настоящей деятельности, что означает: они создают свои миры, изменяя своё местоположение и меняя свои действия перед лицом неизвестного, а также нанося на карту последствия этих перемен и изменений в смысле их эмоциональной или мотивационной валентности. Когда животное сталкивается с неожиданным положением, таким, как, скажем, новый предмет, помещённый в его клетку, оно сперва застывает, наблюдая этот предмет. Если, пока оно неподвижно, не происходит ничего ужасного – ничего наказывающего или дополнительно угрожающего, – животное передвигается, медленно и на расстоянии наблюдая за реакциями предмета на эту осторожную исследовательскую деятельность. Животное, возможно, обнюхивает предмет или царапает его, пытаясь определить, для чего он может быть хорош или плох. Оно наносит на карту полезность и валентность предмета, понимаемые в связи с его текущей деятельностью (и, может быть, с возможными образами деятельности в будущем). Животное строит свой мир значений из сведений, полученных в ходе (и вследствие) его текущего исследования. Применение экспериментальных поисковых программ, извлечённых прежде всего из сокровищницы выученного (скопированного) и произвольного поведения или проявляющихся как пробы и ошибки, включает в себя изменение поведения (исследование, игру) и последующее преобразование чувственных и эмоциональных исходных привычек. Когда животное действительно исследует нечто новое, оно в результате своего исследования изменяет чувственные качества и мотивационное значение этого вида своего опыта. Это значит, что животное в данной таинственной обстановке проявляет разнообразное поведение и наблюдает за его последствиями. Именно упорядоченное истолкование этих последствий и поведения, которое их вызывает, и **представляет собой мир животного**, прошлый, настоящий и будущий (конечно, вместе с неизвестным, которое то и дело вытесняет способность к представлению).

Не будет слишком большим преувеличением сказать, что животное извлекает свойства предмета, чувственные и эмоциональные, (или даже вводит их в действие) через посредство своей способности к творческому исследованию.¹³² Животные, которые относительно просты – в сравнении, скажем, с высшими приматами, включая человека, – ограничены в проявляемом ими поведении устройством своей физиологии. Крыса, например, не может поднять что-нибудь и обстоятельно это исследовать, и вдобавок у неё нет зрительной способности напряжённо сосредоточиваться на тех мелких подробностях, которые мы легко воспринимаем. Отличные от людей высшие приматы, однако, обладают более развитой хваткой, которая облегчает более подробное исследование, и, кроме того, имеют относительно сложную лобную кору головного мозга. Это значит, что такие приматы могут извлекать непосредственно из мира больше подробностей и что они всё более и более способны к моделированию и к действию. Лобная кора – это самая новая часть двигательной системы, и она "выросла" из центров непосредственного управления движением в ходе развития коры.¹³³ Большая утончённость в развитии лобных центров отчасти означает повышенную способность к **отвлечённому** исследованию, что значит исследованию при отсутствии реального движения, что также означает способность учиться, наблюдая за действиями других и рассматривая возможные действия до того, как они появляются в поведении. Это означает возрастающую способность к мышлению, рассматриваемому как абстрактное действие и представление.¹³⁴ Действие и мысль вызывают явления. Новые действия и мысли вызывают новые явления. Творческое исследование, конкретное и абстрактное, поэтому в прямом смысле связано с жизнью. Возросшая способность к

исследованию означает существование в качественно отличном – даже новом – мире. Все эти соображения, конечно, предполагают, что более сложные и более гибкие в смысле поведения животные обитают в более сложной вселенной (если хотите, "создают"¹³⁵ более сложную вселенную).

Развитие коры головного мозга людей является единственным в своём роде из-за её большой массы и, что более важно, из-за её устройства. Чтобы выразить природу отношения между мозгом и умственными способностями животного, использовались различные показатели развития. Одна мера такого развития – это масса мозга, другая – степень свёрнутости его поверхности. На первую меру оказывают (как на меру) вредное влияние размеры животного. У более крупных животных, как правило, более тяжёлые мозги. Это не обязательно делает их сообразительнее. Масса мозга, разделённая на массу всего тела животного, – это так называемый коэффициент энцефализации, грубая общая мера умственного развития животных.¹³⁶ Другая дополнительная полезная мера – это степень свёрнутости поверхности их мозга. Серое вещество мозга, которое теоретически выполняет многое из умственной работы, занимает поверхность мозга, площадь которой разительно возрастает за счёт свёртывания. Коэффициенты энцефализации некоторых представителей семейства **китовых** (дельфинов и китов) близки к человеческому, а поверхность их мозга более свёрнута, чем у человека¹³⁷, хотя толщина новой коры у китовых составляет около половины её толщины у него.¹³⁸ Обсуждение этого высокого уровня развития нервной системы привело к предположению о возможном сверхчеловеческом размахе умственных способностей китовых.¹³⁹ Однако именно устройство и организация коры головного мозга, а не просто масса мозга, и даже не относительная его масса, и даже не площадь его поверхности, наиболее ясно определяет природу и пределы опыта данного вида и его умственные способности. Более конкретно, именно воплощение тела в мозгу имеет значение. Устройство мозга непременно отражает это воплощение – несмотря на устарелое предположение о независимости духа и материи (или души и тела, или духа и тела), – потому что тело есть, в важнейшем смысле, та окружающая среда, к которой приспособился головной мозг.

Тело человека особым образом представлено в новой коре. Этому представлению часто придают схематическую форму, в виде **гомункула**, или "человечка". Этот "человечек" был "открыт" Уайлдером Пенфилдом,¹⁴⁰ который наносил на карту поверхность коры головного мозга своих нейрохирургических пациентов, старательно возбуждая их кору электрически, точку за точкой. Он делал это, чтобы узнать, что делают различные части мозга, и чтобы он мог снизить возможный ущерб при попытках хирургически лечить эпилепсию, или рак, или другие болезни мозга. Он, бывало, зондировал поверхность мозга одного из своих (бодрствующих) пациентов электродом (больные, подвергающиеся нейрохирургическим операциям, часто при этом бодрствуют, так как их мозг не чувствует боли) и следил за результатами или непосредственно, или, спрашивая больного, что он или она испытывает. Иногда такое возбуждение вызывало видения, иногда вызывало воспоминания – в другой раз оно производило движение или ощущения. Пенфилд определил таким способом, как тело было отображено на центральную нервную систему, как оно было, так сказать, воплощено во внутридушевном представлении. Он установил, например, что "человечки" бывают двух видов, двигательные и чувствительные, причём первый связан с главной зоной двигательной системы, а второй – с главной зоной чувствительной системы. И именно двигательный вид, схематически представленный на рисунке 10 "**«Человечек» (гомункул) Пенфилда**", представляет для нас наибольший интерес, так как наше обсуждение сосредоточивается на двигательных процессах.

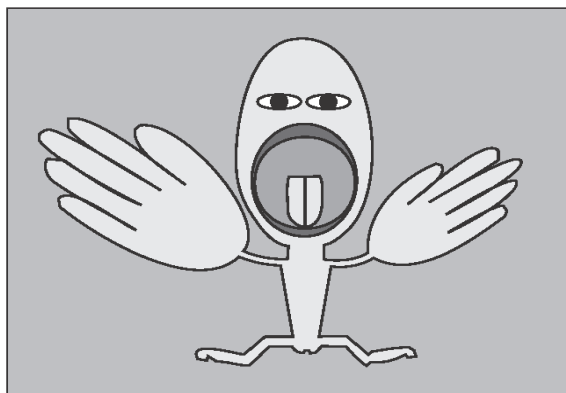


Рисунок 10

Двигательный "человечек" – это очень странное маленькое "создание". Его лицо (особенно рот и язык) и руки (особенно большие пальцы) чрезвычайно несоразмерны по сравнению с остальным его "телом". "Человечек" выглядит так потому, что относительно большие области управляющей движением (и чувствительной, если на то пошло) коры выделены для управления лицом и руками, которые способны к огромному числу сложных и изощрённых действий. Двигательный "человечек" – это интересное изображение. Его можно рассматривать как тело, в той степени, в какой это касается мозга. Полезно рассмотреть устройство "человечка", потому что оно каким-то глубинным образом представляет сущность нашей природы, насколько она выражается в эмоциях и поведении.

Например, наиболее выдающаяся особенность двигательного "человечка" – руки с их большими пальцами, противопоставленными остальным, – является в то же время определяющей чертой человека. Способность орудовать предметами, большими и маленькими, и исследовать их отличительные особенности – ограниченная как общая способность только самыми высшими из приматов – создаёт предпосылки для выявления возросшего круга их свойств, для использования предметов в качестве орудий труда (для более исчерпывающего преобразования их бесконечных возможностей в поддающуюся определению действительность). Рука, дополнительно используемая для дублирования действия предметов, делает также возможным сперва подражание (и указывание), а затем вполне развитое языковое представление.¹⁴¹ Используемая для записи языка, рука дополнительно облегчает передачу на дальние (временные и пространственные) расстояния своих способностей другим (и разработку и развитие исследования во время писания, являющегося мышлением, в котором посредничает рука). Даже развитие устной речи, предельного аналитического двигательного навыка, можно разумно рассматривать как отвлечённое расширение человеческой способности разбирать вещи на части, а потом собирать их первоначальным образом. Взаимодействие между рукой и мозгом буквально дало личности возможность изменять устройство мира. Рассмотрение устройства и назначения мозга должно принимать во внимание это важнейшее обстоятельство. У дельфина или кита большой, сложный мозг – высоко развитая нервная система, – но он не может создавать свой мир. Он, так сказать, пойман как в ловушку в свою обтекаемую, подобную пробирке форму, приспособленную для жизни в океане. Он не может непосредственно менять состояние своей телесной окружающей среды каким-либо сложным образом. Следовательно, невероятно, чтобы его мозг был подготовлен к тому, чтобы исполнять какое-нибудь считающееся по традиции "творческим" назначение (на самом деле ему – как можно было бы подозревать – недостаёт свойства утончённого структурирования, присущего мозгам приматов¹⁴²).

Не только рука, однако, является решающим отличием человека от других видов, хотя она есть наиболее очевидная и, может быть, наиболее важная из отдельных его особенностей. Это, скорее, стиль или мелодия приспособления, которое служит отличительной чертой отдельного человека. Этот стиль есть приспособление к исследованию неизвестного внутри общественной обстановки: к созданию, разработке, воспоминанию, описанию и последующей передаче (в которых речь играет роль посредника) новых образцов поведения, а также к представлению (часто новых) последствий этих образцов. Саму руку сделало более полезной развитие вертикального положения, которое расширило пределы видимости и освободило верхнюю часть человеческого тела от необходимости участвовать в передвижении. Утончённая мускулатура лица, губ и языка, избыточно представленная – ещё раз скажем это – в двигательном "человечке", помогла сделать возможным утончённое общение. Развитие словесного языка чрезвычайно расширило влияние такого общения. Всё более и более подробный обмен сведениями дал средствам всех возможность стать средствами каждого и наоборот. Этот процесс обратной связи очень расширил пределы досягаемости для руки и увеличил её полезность: по сути, предоставил каждой руке (по крайней мере по возможности) способности каждой другой руки, существующей в настоящее время или существовавшей ранее. Развитие ограниченного центрального поля глаза, чьи входные данные увеличиваются в 10 000 раз в главной зрительной области и дополнительно представлены в обоих полушариях мозга в нескольких участках коры¹⁴³, имело жизненно важное значение для развития наглядного языка и, облегчив тщательное наблюдение, упростило сбор подробных сведений. Сочетание руки и глаза дало виду "человек разумный" возможность орудовать предметами в степени, качественно отличной от всякого другого животного. Человек может узнать, на что похожи вещи при различных сознательно вызванных или случайно встреченных (и всё-таки рассматриваемых) условиях: перевёрнутые вверх дном, летящие в воздухе, ударившиеся о другие вещи, разбитые на куски, нагретые на огне и так далее. Сочетание руки и глаза позволило людям испытывать и анализировать (неожиданно

проявляющуюся) природу вещей. Эта способность, какой бы революционной она ни была, была разительно усилена применением устного (и письменного) языка, в котором роль посредника исполняла рука.

Образ человеческого приспособления простирается от очевидно физического до более тонкого душевного. Явление сознания, например – доказуемо определяющая черта человека, – по-видимому, каким-то неизвестным образом связано с шириной возбуждения клеток в новой коре головного мозга. Телесные черты с большими областями коркового представления поэтому также и более основательно представлены в сознании (по крайней мере в возможности). Это становится непосредственно очевидным для сознания субъекта при простом сопоставлении способностей наблюдения, например, за рукой и за гораздо менее представленной в коре областью спины и управления ими. Сознание развивается или обостряется в ходе деятельности, увеличивающей или расширяющей способности к приспособлению – в ходе творческого исследования. Обработка новой или по иным причинам интересной чувственной информации, связанной с ориентирующим комплексом, повышенным сознанием и усиленной сосредоточенностью, возбуждает большие области новой коры. Подобным же образом повышенное возбуждение коры имеет место во время тренировочной стадии приобретения навыков, когда сознание, видимо, требуется для развития управления. Размеры области такой занятости или возбуждения сокращаются, по мере того как движения становятся привычными и бессознательными, или когда чувственная информация теряет свой интерес или новизну.¹⁴⁴ В конце концов – как мы уже отмечали ранее, – возбуждение корковых систем, приводимых в действие во время исследовательской деятельности, предпринятой в области неизвестного, видимо, сопровождается сильным ощущением внутреннего удовлетворения. В работе этих систем, по-видимому, посредническую роль играет вещество, под названием допамин¹⁴⁵, вызывающее субъективный поведенческий отклик в виде надежды, любопытства и деятельного подхода на намёки о вознаграждении.

Люди обладают способностями к исследованию, классификации и последующей передаче сведений, которые качественно отличны от способностей, служащих отличительным признаком любого другого животного. Телесное устройство "человека разумного" идеально для исследования и распространения его результатов. Духовно (психологически) человек отличается врождённой способностью получать подлинное наслаждение от такой деятельности. Наши физические свойства – что мы собой представляем (способности нашей руки в сочетании с другими физиологическими особенностями человека) – определяют, кто мы такие, и дают нам возможность извлекать новые данные из ранее устойчивых и предсказуемых составных частей опыта. Предмет – любой предмет – служит нам источником безграничных возможностей (или, по крайней мере, возможностей, ограниченных только исследовательской одарённостью, проявляемой в данное время). Простые животные выполняют простые действия и живут в мире, свойства которого в равной степени ограничены (где большая часть "информации" остаётся "скрытой"). Люди могут орудовать вещами – разбирать их на части и собирать вместе – гораздо легче, чем любые другие существа. Более того, наша способность к общению – как словесному, так и бессловесному – почти невероятно облегчает исследования и последующее разнообразие приспособления.

Мышление можно рассматривать как вид исследования без использования двигательного действия. Отвлечённый анализ (словесный и бессловесный) неожиданного или нового играет гораздо большую роль для людей, чем для животных¹⁴⁶: роль, которая, в общем, важнее действия. Только когда эта система у людей частично или полностью неудачна – или когда она играет парадоксальную роль, преувеличивая значение или возможную опасность неизвестного навешиванием на него решительного, но "ложного" отрицательного ярлыка, – действительное исследование (или действительное избегание неизвестного), с его ограничениями и опасностями, становится необходимым. Замена потенциально опасной исследовательской деятельности гибкой отвлечённой мыслью означает возможность познания при устранении непосредственной опасности и представляет собой коренное преимущество в развитии разума. Отвлечённое мышление, присущее человеку, развивалось одновременно с быстрым количественным и качественным развитием мозга. Мы можем сообщать друг другу результаты и истолкования наших воздействий на вещи (и природу приёмов, составляющих эти воздействия) через огромные пространственные и временные преграды. Способность к отвлечённому мышлению, словесному уточнению и его передаче разительным образом повышает нашу способность к исследованию, так как у нас есть доступ ко всем приёмам и схемам объяснения, накопленным в прошлом, которые были порождены творческой деятельностью других людей. Попросту говоря, это означает, что мы были способны "открыть" больше различных сторон мира. Мне, однако, кажется более правильным признать ограничения этой точки зрения и дать место пониманию того, что новые приёмы и способы истолкования

в самом деле вызывают новые явления. Слово облегчает различение мыслей и резко повышает способность к исследовательскому маневрированию. Мир человеческого опыта постоянно преобразуется и обновляется вследствие такого исследования. Таким образом, слово постоянно вызывает новое творение.

Способность вырабатывать новое поведение и новые категории истолкования в ответ на появление неизвестного можно рассматривать как важнейший отличительный признак человеческого сознания, а на самом деле, и человеческой жизни. Наша вовлечённость в этот процесс буквально позволяет нам вырезать мир из неразличённой массы ненаблюдаемой и никому неизвестной "жизни" – формы существования, существующей только предположительно, как необходимая фикция; формы, о которой ничего нельзя утверждать. Мы "вырезаем" свой мир вследствие наших прямых взаимодействий с неизвестным, наиболее заметно – собственными руками, позволяющими нам орудовать вещами, изменять их чувственную сторону и – что наиболее важно – изменять их смысл для нас, придавать им новую, более желательную **ценность**. Способность к ловкому орудованию вещами – чисто человеческая, и она дала нам возможность коренным образом изменить природу нашего опыта. Одинаково исключительной, однако, является и наша способность к отвлечённому исследованию, которое представляет собой мысль о действии (и его последствиях) в отсутствие действия (и его последствий). Способ, которым мы проводим наши отвлечённые исследования, по-видимому, так же тесно связан с физиологическим устройством нашего мозга, как и способ, которым мы двигаемся, пока исследуем. В новых обстоятельствах наше поведение опосредовано системами, которые управляют страхом (и соответствующим торможением) и надеждой (и соответствующим возбуждением). То же самое происходит, когда мы думаем абстрактно, даже когда мы думаем о том, как другие думают.¹⁴⁷

Исследование у животных прежде всего двигательное по своей природе. Животное должно "покрутиться" вокруг незнакомого предмета или положения дел, чтобы придти к какому-нибудь пониманию, чтобы определить его эмоциональную уместность и чувственную природу. Этот процесс "кручения" появляется в опыте как следствие взаимодействия между взаимно регулируемыми или тормозящими оценивающими системами, чьи обязанности включают опознание возможной опасности, или угрозы, и возможного удовлетворения, или обещания. В случае человека каждая из этих систем, по-видимому, в ходе нормального развития приходит к тому, чтобы господствовать в одном из наших спаренных полушарий коры головного мозга: **правое** полушарие управляет реакцией на угрозу (и на наказание), тогда как **левое** распоряжается реакцией на обещание и, может быть (хотя это гораздо менее ясно), на удовлетворение.¹⁴⁸ Это, в основном, означает, что правое полушарие управляет нашими первоначальными откликами на неизвестное, в то время как левое более приспособлено к действиям, предпринимаемым в то время, когда мы знаем, что делаем. Это происходит отчасти потому, что всё основательно исследованное было, по сути, сделано или обещающим, или удовлетворяющим, или, по крайней мере, не имеющим отношения к делу. Если угроза или наказание по-прежнему где-то таятся – то есть там, где мы должны быть, – приспособленность нашего поведения, по определению, недостаточна (и неожиданное не было преодолено). Мы оказались неспособны изменить наши действия так, чтобы извлечь из "окружающей среды" – на самом деле из "неизвестного" – те последствия, которые мы хотим вызвать.

Ричард Дэвидсон и его коллеги исследовали связь между различными настроениями взрослых и детей и электрической деятельностью коры их головного мозга. Дэвидсон и другие сделали вывод, что спаренные полушария человеческого мозга – это относится, по крайней мере, к их лобным областям – приспособлены к выражению разных эмоций. Признаки положительной эмоции (такие, как искренняя улыбка у ребёнка) сопровождаются сравнительно повышенным возбуждением левой части лобной коры. Состояния отрицательных эмоций (подобные тем, которые бывают при постоянной депрессии), напротив, сопровождаются повышенным возбуждением лобной коры правого полушария.¹⁴⁹ Имеются важные дополнительные данные в поддержку этого общего утверждения. Если выразить его наиболее существенным образом: спаренные полушария мозга, по-видимому, различным образом приспособлены 1) для действия в неисследованной области, где природа и валентность явлений остаются неопределёнными и 2) для действия в исследованной области, где явления вследствие предшествующего исследования стали или положительными, или не относящимися к делу. Наши мозги содержат, так сказать, две эмоциональные системы: одна работает, когда мы не знаем, что делать, и начинает процесс (исследования), который создаёт безопасную область; другая работает, когда мы на самом деле в безопасности. О наличии этих двух систем, но не об их "месте нахождения", было известно довольно давно. Мейер и Шнирла¹⁵⁰, а также Шнирла¹⁵¹ более пяти десятилетий тому назад выдвигали предположение, что механизмы "удаления" и "приближения" (присущие животным на фактически всех

уровнях эволюционной лестницы) предоставляют основу для мотивации как таковой. Природу этих двух систем лучше всего можно понять, связывая эмоциональное состояние с двигательной деятельностью, как мы это делали ранее.

У каждого полушария, правого и левого, по-видимому, есть то, что можно описать как **семейство** связанных с ним функций, изображённое на рисунке 11 "Спаренные полушария головного мозга и их функции".

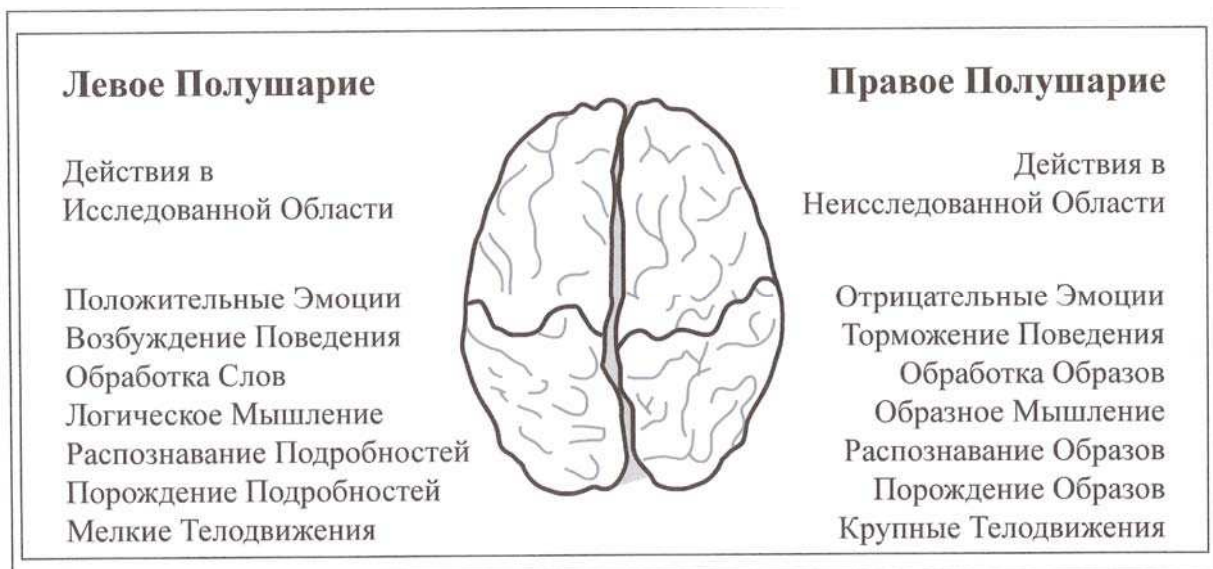


Рисунок 11

Правое полушарие, менее свободно владеющее языком, чем его, как правило, преобладающий двойник, приспособлено, как кажется, для торможения и прекращения поведения (и, следовательно, для вызывания отрицательных эмоций), для порождения сложных зрительных и слуховых образов и орудования ими, для согласования грубых движений и для быстрого и универсального распознавания образов.¹⁵² Правое полушарие, видимо, "включается", когда конкретная обстановка изобилует неопределённостью: оно, как кажется, особенно хорошо себя проявляет в управлении поведением, когда то, что **есть**, и то, что **следует делать**, ещё не было ясно и точно определено.¹⁵³ Вследствие этого можно утверждать, что это полушарие всё ещё находится под управлением лимбической системы, так как лимбическая система ответственна за то, чтобы обнаруживать новизну и начинать исследование. Этот устаревший механизм управления затем будет "подгонять" образные процессы порождения "предположений", являющиеся процессами отвлечённого исследования, ту игру воображения, которую мы используем, чтобы придать определённый (и часто причудливый) вид неизвестному.

Левое полушарие, напротив, проявляет особенное искусство в обработке языковых данных и в языковом общении, в подробном, линейном мышлении, в утончённых двигательных навыках и в понимании целого на языке его составных частей.¹⁵⁴ Левое полушарие – в особенности его лобная или двигательная (под)система – также управляет поведением приближения¹⁵⁵ при наличии намёков на удовлетворение; оно существенно вовлечено в вызывание положительных эмоций и проявляет себя особенно хорошо при выполнении того, что уже когда-то осуществлялось, в применении хорошо знакомых способов понимания. Левое полушарие, по-видимому, проявляет себя наилучшим образом, когда "что **есть**?" и "что **следует делать**?" больше не являются вопросами; когда поведением управляют традиции, а природа и смысл явлений уже установлены. Двойная приспособленность левого полушария – к тому, что уже осуществлялось, и к тому, что является положительным, – может быть отчасти понята следующим образом: положительные эмоции господствуют в области известного, по определению: явление или положение дел было исследовано наилучшим образом (и поэтому лучше всего известно), если оно было преобразовано приспособлением поведения, проявляемого при его наличии, в нечто, приносящее определённую пользу (или удовлетворение), или в возможность таковой (в обещание).

Правое полушарие, в противоположность левому, по-видимому, осталось в прямом соприкосновении с, — по-видимому, приспособлено для столкновения с — **неизвестным** и его ужасами, которые воспринимаются как инстинкты, побуждения и эмоции задолго до того, как их можно классифицировать или понять разумом. Способность правого полушария к торможению и прекращению поведения (к вызыванию осторожности во время исследования, к управлению бегством, к вызыванию отрицательных эмоций) обеспечивает то, что должное почтение оказывается необъяснимому (и поэтому опасному), когда оно появляется. Пригодность правого полушария к универсальному распознаванию образов (которая появляется как следствие его основного нейрофизиологического устройства¹⁵⁶) **помогает обеспечить то, что предварительное понятие (воображаемое представление) о неизвестном событии (на что оно похоже, как действовать в его присутствии, какие другие явления или ситуации оно напоминает) может быть быстро сформулировано.** Правое полушарие, как кажется, неотъемлемо вовлечено в начальные стадии анализа неожиданного или нового, а его **предшествующее всякому опыту** предположение всегда таково: **это (неизвестное) место, это незнакомое пространство, эта неисследованная территория является опасной, и поэтому разделяет свойства всех других известных опасных мест и территорий, а также и всех тех, которые остаются неизвестными.** Эта форма обработки информации — "а" есть "б" — является метафорой, или перенесением; порождение метафоры (ключ к созданию повествований: снов, драм, историй и мифов) вполне можно рассматривать как первую стадию создания гипотезы. По мере того как в ходе исследования порождается характерное для обстановки приспособительное поведение, эта предварительная догадка, или гипотеза, или фантазия будет изменяться (в предположении, что ничего действительно наказывающего или решительно угрожающего не произойдет). Такое изменение есть дополнительное и более подробное обучение. Беспокойство стихает при отсутствии наказания или дополнительной угрозы (включая новизну). Надежда, подкрепляемая желанием двигаться вперед и исследовать (под управлением левого полушария), занимает эмоциональный передний край.

Правое полушарие, по-видимому, воспринимает менее определенную информацию; оно может использовать виды познания, которые являются более расплывчатыми, более универсальными¹⁵⁷ и более "всеохватывающими", и уже в исходном положении придти к пониманию того, что еще не понято, но что неоспоримо существует. Его способность к широкому обобщению и пониманию образов позволяет ему изучать новый раздражитель в изначально осмысленном контексте, что является предваряющим всякий опыт способом подходящей категоризации. Этот контекст определяется смыслом нового явления как побуждения, который раскрывается не его объективными чувственными качествами (по крайней мере не только ими), но сначала просто его новизной (которая делает его как угрожающим, так и обещающим), а затем его подробным исследованием. Правое полушарие озабочено получением ответа на вопрос: "На что похоже это новое явление?", и этот вопрос означает: "Что следует делать при наличии этого неожиданного явления?", а не: "Что представляет собой это явление объективно?" "На что похоже это новое явление?" (это является вопросом насчет его основной природы) означает: "Является ли оно опасным, или угрожающим (в первую очередь), или приносящим удовлетворение, или обещающим?" (хотя каждая из этих основных категорий эмоционального значения может быть подразделена на частные случаи (можно его есть? может ли оно съесть меня? может ли оно служить в качестве супруга?). Распределение по категориям в соответствии с валентностью означает, что явление есть то, что оно значит для поведения.

Хаос, который представляет собой неизвестное, становится предсказуемым — превращается в "мир" — благодаря появлению приспособительного поведения и способов представления. Именно процесс подгоняемого новизной исследования создает в конкретных случаях такое поведение и способы классификации. Однако мы не являемся только личностями; мы живем в очень сложном общественном окружении — в окружающей среде, отличительной чертой которой служит постоянный обмен сведениями относительно средств и целей "надлежащего" приспособления. Человеческая способность к порождению саморегулирующего поведения и представления уже чрезвычайно расширилась — некоторым образом вышла за пределы нашего собственного понимания — за счет нашей способности к словесному и несловесному (главным образом, подражательному¹⁵⁸) общению. Мы можем обезьянничать — и учиться — у всех, кто нас окружает и с кем мы можем придти в непосредственное соприкосновение. Кроме того, мы можем получать информацию, от всех, кто может писать — предполагается, что мы грамотны, — или кто мог писать, когда они были живы. Но в нашем распоряжении имеется даже больше того: мы можем также учиться у каждого, кто может действовать (в естественной обстановке или на сцене), и мы можем также хранить поведение отдельных личностей, с которыми соприкасаемся (если это соприкосновение непосредственно, подражая им, а если оно косвенно, — через посредничество повествовательных и драматических видов искусства). Кроме того, наша способность к воспроизведению чужого поведения — к

подражанию – означает, что мы способны делать то, чего не "понимаем" (то есть не можем явно описать). Отчасти именно по этой причине мы нуждаемся в "психологии".

Образцы приспособления поведения и представления порождаются в ходе деятельного исследования и "соприкосновения с неизвестным". Эти образцы, однажды порождённые, однако, не остаются постоянными. Они изменяются и приспособляются – улучшаются и делаются более целесообразными – благодаря обмену ими при общении. Человек "а" создаёт новое поведение, "b" его видоизменяет, "с" изменяет то, что сделал "b", "d" коренным образом изменяет видоизменённое "с", и так далее, до бесконечности. Тот же самый процесс применяется к представлениям (скажем, к метафорам или к явно определённым понятиям). Это значит, что наши исследовательские процессы уподобления и согласования на самом деле растягиваются на огромные промежутки времени и пространства, что, конечно, поймёт всякий, кто поддерживал через посредство документов "беседу" с каким-либо великим деятелем прошлого. Какая-то часть этого "растяжения" – может быть наиболее очевидная – осуществляется за счёт грамотности. Столь же сложная и тонкая часть, однако, осуществляется с помощью подражания.

Образцы приспособления поведения и схемы классификации или представления могут быть получены при наблюдении других (и, коли на то пошло, из наблюдения самого себя). То, как мы действуем при наличии явлений, в их постоянно меняющемся, как правило, общественном окружении, и есть то, что эти явления означают (или даже чем они являются) до того, как то, что они означают (или чем они являются), может быть более отвлечённо (или "объективно") отнесено к тому или другому разряду. Следовательно, можно было бы определить (при отсутствии более полезных сведений), что такое данное явление, исследуя то, какие действия происходят при его наличии: это всё равно, что сказать, что если кто-то убегает от чего-то, то можно с уверенностью предположить, что то, от чего он убегает, опасно (происходящее действие, по сути, предопределяет это предположение). Наблюдение образцов действия, предпринятого членами любого данного сообщества, – включая образцы действия наблюдающего субъекта – обязательно допускает извлечение и классификацию предварительной оценки. Если вы наблюдаете, как кто-то (даже вы сами) приближается к чему-то, то вы можете предположить, что то, к чему он приближается, хорошо, по крайней мере в какой-то определённой обстановке, даже если вы больше ничего об этом не знаете. Знание того, что надо делать, в конце концов, тоже является классификацией, до того как она приняла отвлечённую форму: классификацией с точки зрения уместности как побуждения, причём чувственные стороны явлений служат просто намёком на воспоминание об этой уместности.¹⁵⁹

Дело несомненно обстоит так, что многие из наших навыков – и наших автоматизированных приёмов классификации – "непроницаемы" для ясного сознания. Наличие у нас многочисленных систем памяти и их качественно различных способов представления, описанных далее, ручается за то, что дело обстоит именно так. Эта непроницаемость означает, по существу, что мы "понимаем" больше, чем "знаем". Именно по этой причине психологи по-прежнему зависят от представлений "бессознательного" при объяснении поведения. Эта бессознательность – психоаналитический бог – есть наша способность к неявному хранению сведений о природе и валентности явлений. Эти сведения порождаются в ходе деятельного исследования и изменяются, часто до неузнаваемости, постоянным, длящимся много поколений, общением между людьми. Мы живём в общественных группах. Большая часть наших взаимодействий общественна по своей природе. Мы проводим большую часть своего времени в обществе других, а когда мы одни, мы всё ещё хотим понимать, предсказывать и контролировать собственное поведение. Наши карты "понятой части мира" поэтому в значительной части являются **картами образцов действия – поведения**, установленного в результате творческого исследования и изменённого в ходе бесконечных взаимодействий в обществе. Мы следим за тем, как мы действуем. Из этого действия мы делаем выводы о природе мира, включая **и свои действия, которые являются частью этого мира**.

Мы знаем, что правое полушарие – по крайней мере его лобная часть – приспособлено для отклика на наказания и угрозы. Мы знаем также, что повреждения правого полушария наносят ущерб нашей способности распознавать любые структуры и понимать смысл историй.¹⁶⁰ Не будет ли чрезмерным предположить, что эмоциональные, образные и повествовательные способности правого полушария играют ведущую роль в начальных стадиях процесса преобразования чего-то нового и сложного – такого, как поведение других людей (или нас самих) и валентность новых явлений, – в нечто основательно понятое? В конце концов, когда мы сталкиваемся с чем-либо новым, у нас возникают фантазии (образные, словесные) насчёт его возможной природы. Это значит, что мы пытаемся определить, как это неожиданное явление могло бы быть связанным с чем-нибудь, что мы уже себе подчинили, или, по крайней мере, с другими явлениями, которые мы ещё себе не подчинили. Сказать: "Эта нерешённая

задача, кажется, похожа на вот эту другую задачу, которую мы ещё не решили", – значит сделать шаг по пути к её решению. Сказать: "Вот как эти (всё ещё по существу таинственные) явления, по-видимому, соответствуют друг другу" – значит обнаружить тонкое понимание такого рода, который предшествует подробному знанию, способность видеть лес, хотя ещё и не проводя различия между породами деревьев. Прежде чем мы поистине подчиним себе нечто новое (что значит прежде чем мы сможем действительно ограничить его неопределённое значение чем-то предсказуемым, даже не относящимся к делу), мы пытаемся **представить себе**, чем оно могло бы быть. Наши образные представления на самом деле представляют собой наши первоначальные приспособления – представляют собой часть устройства, которое мы используем, чтобы тормозить наши отклики на **доопытное** значение неизвестного, – даже когда они предшествуют получению более подробных и конкретных сведений. Нет оснований предполагать, что мы уже в состоянии понимать эту способность: отчасти потому, что она, по-видимому, действительно **лежит в основе (служит необходимой или аксиоматической предпосылкой) нашего понимания в явном виде**.

Кажется, что распознавание образов и пространственные способности правого полушария, по-видимому, позволяют ему извлекать из повторных наблюдений поведения **образы типов действия**, которые словесное левое может со всё большей и большей логикой и подробностями переделать в **истории**. История – это карта смысла, "стратегия" приведения в порядок эмоций и выбора надлежащего поведения, описание того, как действовать в каком-то случае, как обеспечить, чтобы этот случай сохранял своё положительное значение как побуждение (или, по меньшей мере, чтобы его отрицательные качества были по возможности уменьшены). Эта история на её начальных стадиях кажется порождённой способностью к созданию и распознаванию образов, присущей правому полушарию, которое существенно вовлечено в повествовательное познание¹⁶¹ и в процессы, которые способствуют такому познанию или подобны ему: умение расшифровывать несловесные и мелодические стороны речи, способность опереживать (или, более обще, приобщаться к отношениям между людьми) и способность понимать образы, метафоры и аналогии.¹⁶² "Языковые" системы левого полушария "отделяют" историю: добавляя логику, подходящий временной порядок, внутреннюю последовательность, словесное представление и возможность быстрой явной передачи в отвлечённом виде. Таким образом наше явное знание ценностей расширяется посредством анализа наших собственных "сновидений". Те их истолкования, которые "срабатывают", то есть улучшают нашу способность упорядочивать свои собственные эмоции (иначе говоря, превращать современный мир в мир желаемый), **оцениваются как обоснованные**. Именно таким способом мы проверяем правильность наших всё более и более отвлечённых предположений.

Очевидной целью процесса творческого исследования – так сказать назначения **того, кто познаёт**, кто порождает область исследованного, – является возрастание количества двигательных навыков и изменение схемы представления. Каждой из этих двух целей, по-видимому, служит создание особого вида знания и его последующее хранение в долговременной памяти. Первый вид уже был описан как **знание того как**. Двигательная система, которой поручено порождение новых образов поведения, когда прежние терпят неудачу (когда они производят нежелательные последствия), создаёт дополнительные образцы действия, которые в порядке опыта применяются, чтобы вызвать желаемый результат. Долговременное подтверждение примерами нового поведения, если это поведение было успешно, можно рассматривать как развитие нового **навыка**. **Знание того, как что-либо делать**, есть навык. Второй вид знания, который относится к представлению о предмете (который является не самим предметом, а скорее его **образом** или **моделью**), уже был описан как **знание, что**¹⁶³ (я предпочитаю называть его **знание того что**). Исследование нового случая, события или явления во время деятельного или отвлечённого взаимодействия исследователя с исследуемым предметом приносит новые чувственные и эмоциональные входные данные. Эти новые данные представляют собой основу для создания, разработки, пересмотра и дополнения долговременной, но поддающейся изменению четырёхмерной (пространственной и временной) изобразительной модели поля опыта в его настоящих и будущих проявлениях. Эта модель, как я предположил бы, есть история.

Именно гиппокамповая система – которая, как мы уже видели, есть неотъемлемая часть системы регулирования беспокойства – решающим образом вовлечена в передачу сведений, извлечённых из наблюдения текущей деятельности, в долговременную память¹⁶⁴ и предоставляет (во взаимодействии с высшими корковыми структурами) физиологическую основу для развития и совершенствования их представления в памяти. Именно правое полушарие, которое возбуждается неизвестным и мгновенно порождает образы, предоставляет первоначальную образность – содержание игры воображения – для упомянутой выше истории. Именно левое полушарие придаёт этим образам устройство и способность к

дальнейшей передаче (как оно делает, например, когда истолковывает картину, роман, драму, беседу или сновидение). Гиппокамп замечает несоответствие; это растормаживает (может быть, не непосредственно) миндалину. Такое растормаживание "высвобождает" беспокойство и любопытство, управляющие исследованием. При таких условиях побуждения правое полушарие извлекает из информации, находящейся в его распоряжении, образы, подходящие для того, чтобы заключить в себе неожиданно появляющееся неизвестное. Многие из этой информации может быть извлечено из общественного окружения и из взаимодействия поведения и способов представления – неожиданно возникающих свойств исследования и общения, – которые "впаяны" в общественный строй. Многие из этой "информации" всё ещё неявно, то есть зашифровано в **самом** поведении. Это есть по-прежнему **знание того как**, прежде чем оно было абстрагировано и сделано явным в качестве знания того что. Левое полушарие вовлекается всё больше и больше, по мере того как происходит перемещение вверх по "иерархии абстракции".

Сведения, относящиеся к **знанию того, как** (иначе описываемые как **процедурные**, привычные, склонностные или искусные), и сведения, относящиеся к **знанию того что** (иначе описываемые как **повествовательные**, эпизодические, фактические, автобиографические или изобразительные), по-видимому, физиологически отличны в своей телесной основе и отделимы друг от друга в ходе развития видов и развития особей.¹⁶⁵ Процедурное знание (и в эволюции, и в личном развитии) развивается задолго до повествовательного и, как кажется, представлено в "бессознательном" виде, выразимом исключительно в действии. Напротив, повествовательное знание – знание того что – одновременно представляет собой доступный сознанию и поддающийся передаче случайный мысленный образ (мир в воображении) и включает даже более недавно развитое семантическое (языковое) знание, которое, по большей части, делает возможным отвлечённое представление содержания воображения и его передачу. Сквайр и Золя-Морган¹⁶⁶ представили отношение между этими видами памяти в соответствии со схемой рисунка 12 "**Многообразие устройства памяти**".¹⁶⁷

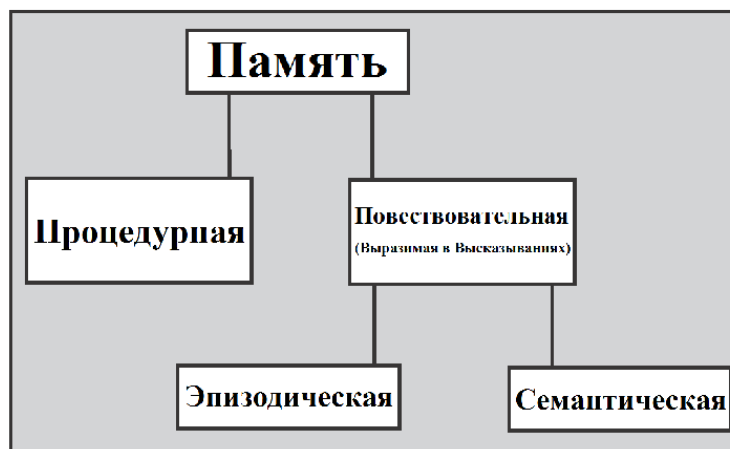


Рисунок 12

Нейроанатомическая основа **знания того, как** остаётся относительно неустановленной. Порождение навыков проявляется частично как область корковой предмоторной системы; их "хранение", по-видимому, вовлекает мозжечок. Напротив, само существование **знания того, что**, по-видимому, зависит от исправной работы корковой чувствительной системы во взаимодействии с гиппокамповой системой.¹⁶⁸ Однако многое из нашего **знания того что** – нашего описания мира – есть знание насчёт **знания того, как**, которое является знанием о поведении – мудростью. Многие из нашего описательного знания – изобразительного знания – есть представление о том, что представляет собой мудрость (не будучи само этой мудростью). Мы получили наше описание мудрости, **наблюдая, как мы действуем в наших направляемых культурой общественных взаимодействиях, и представляя себе эти действия.**

Мы знаем, **как**, что означает как действовать, чтобы преобразовать таинственный и вечно угрожающий мир настоящего в то, чего мы желаем, задолго до того как мы знаем, как **мы знаем как** или **почему** мы знаем как. То есть ребёнок, например, учится **вести себя** надлежащим образом (предполагается, что он это делает) задолго до того, как он может дать отвлечённое объяснение или описание своего поведения.¹⁶⁹ Ребёнок может быть "хорошим", не будучи философом нравственности. Эта мысль в отношении развития ребёнка является отголоском представления эволюционного психолога Жана Пиаже о том, что приспособление на чувственно-двигательном уровне происходит до – и закладывает основу для – более отвлечённых форм приспособления, которые присущи взрослому. Пиаже рассматривал **образное представление** как промежуточное между чувственно-двигательным пониманием и (наивысшей или наиболее абстрактной) стадией "формальных операций". Кроме того, он полагал, что подражание – "разыгрывание" предмета – служит необходимой предпосылкой такого образного представления (изображения в образе или слове, вместо поведения). С этой точки зрения процесс **игры** появляется как более отвлечённая форма подражания или форма подражания высшего порядка. Пиаже выдвигает два главных положения:

"Первое положение состоит в том, что в поле игры и подражания можно обнаружить переход от чувственно-двигательного уподобления и приспособления к мысленному уподоблению и приспособлению, служащий отличительным признаком начал представления... [Второе состоит в том, что] различные виды представления взаимодействуют между собой. Бывают представления, когда подражают отсутствующему образцу. Бывают представления в символической игре, в воображении и даже в сновидениях; системы понятий и логических отношений, как в их интуитивной, так и в оперативной формах, подразумевают представление".¹⁷⁰

Пиаже полагал, что подражание может быть описано с точки зрения приспособления: "...если в деятельности замечается первенство приспособления (соответствия в поведении) над уподоблением (изменением схем), деятельность имеет тенденцию становиться подражанием".¹⁷¹ Это подразумевает, что подражающий чему-то или кому-то ребёнок на самом деле **воплощает** больше информации, чем он "понимает" (представляет). Пиаже продолжает: "Представление... можно рассматривать как своего рода подражание, ставшее внутренним, и поэтому как продолжение приспособления".¹⁷² Относительно модели с тремя системами памяти (на которую Пиаже, конечно, прямо не ссылается) он говорит: "...хотя бы и имелось оправдание для связывания различных ступеней умственного развития с вполне определёнными неврологическими уровнями, остаётся истинным то, что, несмотря на относительную разрывность структур, существует несомненная функциональная непрерывность, причём каждая структура готовится для своих преемников, в то же время используя своих предшественников".¹⁷³

То, что можно сказать о детях, по-видимому, более или менее верно в смысле развития нашего биологического вида: наши культуры (которые мы впитываем, будучи детьми, через посредство процессов подражания) состоят главным образом из образцов деятельности, предпринимаемой в общественной обстановке. Как родители относятся к детям, так культуры относятся к взрослым: мы не знаем, как возникли те образцы поведения, которые мы разыгрываем, (или понятия, которые мы используем) или каким в точности "назначением" (каким долговременным "целям") они служат в настоящее время: эти образцы поведения, по сути, являются **"неожиданно появляющимися свойствами" долговременных общественных взаимодействий**. Более того, мы не можем описать такие образцы хорошо, абстрактно (явно, семантически), даже если мы точно (и бессознательно) воспроизводим их в своём поведении (и можем представлять их от случая к случаю в своих литературных опытах). Мы не знаем, **почему** мы делаем то, что делаем, или, если высказать то же самое другими словами, чем мы являемся (вопреки всем идеологическим теориям). Мы наблюдаем за собой и удивляемся. Наше удивление принимает вид истории или, более существенно, **мифа**. Мифы, описывающие **известное**, исследованную территорию, представляют собой **то, что мы знаем, о нашем знании того, как, прежде чем мы можем явно утверждать, чем является то, о чём мы знаем, как его делать**. Миф – это есть, отчасти, образ нашей приспособительной деятельности, как она формулируется воображением, до его явного вмещения в абстрактный язык. Миф есть посредник между действием и отвлечённым языковым представлением этого действия. Миф – это извлечённая сущность тех историй, которые мы рассказываем себе об образцах нашего поведения и о неизбежных последствиях этих образцов, появляющихся, когда они разыгрываются в общественном и безличном мире опыта. Мы выучиваемся историям, **которых мы не понимаем** (то есть не можем сделать ясными), посредством наблюдения. Мы представляем образцы

действия, с которыми встречаемся, в действии – то есть в обряде, – и в образе, и в слове: мы действуем, затем представляем наше поведение всё более отвлечённым образом (всё более ясно, "сознательно").

Главные черты нашего обусловленного обществом поведения, таким образом, становятся основными участниками – действующими лицами – в наших историях (совсем как процедурные части во внезапно возникающих играх детей становятся позже в развитии явными "правилами"). Порождение и постоянное совершенствование этих историй, рассказываемых и пересказываемых в течение столетий, позволяет нам всё более ясно определить, в чём именно состоит хорошее (и нехорошее) поведение в окружающей среде, **долговременным отличительным признаком которой является взаимодействие безопасности и непредсказуемости.** Мы все чрезвычайно (неудержимо) подражательны, ужасающе общительны и постоянно склонны к исследованию. Эти особенности позволяют нам порождать и передавать другим представленные образы и одновременно служат в качестве узлового момента исследования этих образов. Наша способность к творческой деятельности постоянно освобождает нас от вечно меняющихся запросов "окружающей среды". Способность изображать творческую деятельность – воспроизводить наблюдаемый творческий дар в наших собственных действиях и изображать этот творческий дар подробно и по существу – позволяет каждому извлекать пользу из творческой деятельности всякого другого (по крайней мере всякого, общение с кем могло бы предположительно иметь место). Благодаря нашей общительности наше приспособительное поведение принимает (в долговременном смысле) во внимание общество и увеличивает вероятность воздействия на нас творческого ума. Мы наблюдаем за образом действия других, который находим восхитительным, и воспроизводим их действия. Так мы приобретаем их навыки. Наша способность к абстракции позволяет нам продвинуться в подражании на шаг вперёд: мы можем выучиться подражать не только в точности тем поведением, которые представляют собой приспособление, **но и процессу, посредством которого были порождены эти поведения.** Это значит: мы можем выучиться не только навыку, но и метанавыку (можем выучиться подражать образцу поведения, которое порождает новые навыки). Именно включение метанавыка в историю делает эту историю великой.

Наша склонность к подражанию, по-видимому, находит своё более абстрактное дополнение в нашей способности восхищаться – долговременной, врождённой или легко приобретаемой составной части нашего внутридушевного состояния. Эта способность к благоговению, это желание воспроизводить часто служат движущей силой душевного и познавательного развития. Благоговейное отношение, которое, например, возникает у маленьких мальчиков к их героям, представляет собой внешнее выражение силы, побуждающей их к изображению, или к воплощению, или даже к придумыванию самих (часто плохо определённых) героических качеств. Способность к подражанию всплывает на поверхность в более абстрактном облике в виде человеческой склонности действовать так, "как будто"¹⁷⁴ – отождествляя себя с другим, – становиться другим в воображении (что означает ритуально отождествиться с его историей, бессознательно воспринять его цель как свою собственную¹⁷⁵). Способность действовать так, "как будто", выражается в восхищении (колеблющемся от простого уважения, оказываемого заслуживающему его другому, до жалкого преклонения) и, даже более отвлечённо, в идеологической одержимости. Чтобы объяснить эту подражательную способность, не требуется обязательно принимать без доказательств существование какого-либо независимого "инстинкта" (хотя он вполне может существовать): всё, что может оказаться необходимым, – это способность заметить, что другой достиг цели, которая ценится также и наблюдающим это (что наблюдение даёт необходимое побуждение), и искусство копировать образ действия, который приводит к такому свершению.

Склонность к подражанию, выраженная подражательной деятельностью, чрезвычайно усиливает способность к правильному поведению¹⁷⁶; позволяет **умению** каждого делаться **способностью** всех. Лёгкость точного копирования, однако, по-прежнему сохраняет резко выраженные ограничения. Конкретное поведение сохраняет своё приспособительное значение только в пределах особой, ограниченной окружающей среды (только в пределах ограниченной системы отсчёта). Если окружающая среда меняется (по какой бы то ни было причине), полезность того, что было предназначено для первоначальных условий (и было передано посредством подражания), может разительно измениться. **Способность к отвлечённому подражанию** – которая в начальных стадиях является способностью к драматической игре – преодолевает конкретные ограничения точного подражания, совершенствуя воспроизведение отдельных действий, перемещая поведение, которое должно быть воспроизведено, из его первоначальной конкретной обстановки, создавая его повествовательное изображение и обобщение первого уровня. **Игра** позволяет надолго увеличить умение и уверенность с помощью притворства, что означает с помощью метафорического и символического действия (которое является семантическим использованием эпизодического представления), и естественное расширение размаха поведения от

безопасных, предсказуемых, самоочевидных ситуаций вовне, к неведомому миру опыта. Игра создаёт в "управляемом правилами" воображении целый мир – в эпизодическом или образном представлении, – в котором поведение можно повторять и им можно овладеть до его проявления в действительном мире с действительными последствиями. Игра – это ещё одна форма поведения "как будто", которая допускает экспериментирование с вымышленными повествованиями: притворными описаниями настоящего и желаемого будущего состояний мира, с приложенными планами действия, предназначенными для того, чтобы перейти от первого ко второму. **Играть** – значит ставить, или преобразовывать в воображении, – "вымышленные" цели. Такие вымышленные цели придают валентность явлениям, которые в другой обстановке оставались бы бессмысленными (но при этом валентность, которая является поучительной, не будучи **серьёзной**). Игра позволяет нам производить опыты с самими целями и средствами, не подвергаясь действительным последствиям "настоящего" поведения, и в ходе этого получать положительные эмоции. Цели игры вымышленны. Однако побудительные вознаграждения, которые сопровождают продвижение к вымышленной цели, – те **реальны** (хотя и ограничены, подобно вызванным игрой беспокойствам). Ограниченная реальность такой эмоции объясняет, по крайней мере частично, побуждение участвовать в игре; объясняет внутренний интерес, который сопутствует игре или погружению в любую драматическую деятельность.

Игра превосходит подражание в том, что она менее связана с обстановкой. Она допускает **отвлечение существенных принципов от конкретных (замечательных) примеров поведения**, допускает первоначальное установление более общего образца того, что такое допустимое (или идеальное) поведение. Развитие драматической игры в правильную драму подобным же образом превращает игру в обряд, перенося её главные составные части на уровень выше, и дополнительно очищает жизненно важные стороны поведения, которые показательны (отнюдь не случайно) для того деятельного героического общественного (исследовательского и общительного) образца, на котором с необходимостью основывается всё приспособление. Театральный ритуал в драматической форме представляет личность и общественные последствия стилизованных, очищенных типов поведения, основанных в их выражении на различных предположениях о ценности и ожиданиях исхода. Настоящая драма вкладывает убедительные мысли в уста своих персонажей, исследуя различные пути направляемого или мотивированного действия, очистительно разыгрывая столкновения интересов, предлагая ритуальные образцы для подражания или отвержения. **Действующие лица драмы** воплощают поведенческую мудрость истории. Аналогичным образом менее отвлечённо, менее ритуализированно поведение родителей в течение их жизни разыгрывает накопленную подражательную историю для детей.

Возникновение повествования, которое парадоксальным образом содержит гораздо больше сведений, чем оно явно представляет, ещё более отдаляет от конкретного воплощения знание, заложенное в структуре поведения. Повествование передаёт семантическое выражение игры или драмы – отвлечённое изображение общественного взаимодействия и личных стремлений – и позволяет образцам поведения, раскрывающимся в языковом представлении, воплощаться на собственной сцене воображения отдельного человека. Многое из сведений, извлечённых из рассказа, на самом деле уже **содержится в эпизодической памяти**. В известном смысле можно сказать, что слова рассказа действуют просто как восстанавливающий намёк для сведений, уже находящихся в системе памяти (слушателя), хотя, может быть, ещё не преобразованных в форму, допускающую явную (семантическую) передачу или изменение процедуры.^{177, 178} Именно по этой причине Шекспира можно рассматривать как предтечу Фрейда (подумайте о Гамлете): Шекспир "знал" то, что позднее "открыл" Фрейд, но он выражал это более неявно, более образно, более процедурно. (Этим не сказано, что Шекспир хоть сколько-нибудь уступал Фрейду, просто у него был другой уровень абстрагирования.) Мысли, в конце концов, приходят откуда-то: они не возникают самопроизвольно из пустоты. У каждой сложной психологической теории есть очень длинный период исторического развития – развития, прямо не связанного с окончательным появлением теории.

Объяснение причин драматических последствий, изображённых в повествовании (обычно оставаемое воображению читателей), представляет собой разбор **морали** рассказа. Передача этой морали (правил поведения или представления) является **целью** повествования, в то время как очарование и невольно захватывающий интерес – его (биологически-предопределёнными) средствами. С развитием рассказа простое описание решающе важных (и поэтому неотразимых) образцов поведения и представления становится способным вызывать активное подражание. В этот момент семантическая система, возбуждающая образы в эпизодической памяти, подготавливает почву для изменения самой процедуры. Это означает введение "контура обратной связи", где информация может кружить вверх и вниз по "уровням сознания" – причём общественное окружение играет роль необходимого посредника, – преобразуясь и расширяясь, по мере того как она перемещается. Развитие повествования означает

словесное выражение знания, отделённого от конкретного воплощения в эпизодической памяти и воплощённого в поведении. Оно означает способность распространять такое знание широко и быстро по всему общающемуся населению с наименьшими затратами времени и энергии. Оно означает сохранение такого знания в целости для будущих поколений. Повествовательное описание типичных образцов поведения и схем изображения – **миф** – появляется как существенная предпосылка построения общества и последующего упорядочивания сложно организованных личных предположений, действий и желаний.

Только после того как поведенческая (процедурная) мудрость стала "представленной" в эпизодической памяти и изображённой в драме и повествовании, она сделалась доступной "сознательному" словесному описанию (процедурное знание в своей основной форме не изобразительно) и (возможным) изменениям, в отвлечённом виде. Знания о том, как сделать что-либо, полученные в ходе исследовательской деятельности, могут, тем не менее, быть **перенесены** в обществе от лица к лицу посредством подражания. Пиаже указывает, например, что дети сперва воздействуют на предметы и определяют предметные "свойства" в соответствии с этими действиями, а затем почти тотчас же подражают самим себе, превращая свои собственные первоначальные самопроизвольные действия в нечто такое, что должно быть представлено и ритуализовано.¹⁷⁹ Тот же самый процесс происходит и при взаимодействии между взрослыми людьми, где действие другого лица быстро становится чем-то, чему следует подражать, а потом превращать его в ритуал (а затем выражать словесно и приводить в систему). Общий обряд, где поведение каждого лица видоизменяется другим, может поэтому возникнуть при отсутствии "сознания" его устройства. Однако как только общественный ритуал установлен, его устройство может быть быстро описано и включено в систему (в предположении достаточных познавательных способностей и уровня зрелости). Этот процесс можно в действительности наблюдать во время самопроизвольного создания (а затем приведения в систему) детских игр.¹⁸⁰ Именно организация таких "игр" и их совершенствование посредством неоднократного общения составляет основу создания самой культуры.

Поведению подражают, затем абстрагируют в игру, формализуют в драму и рассказ, кристаллизуют в миф и систематизированную религию и только тогда критикуют в философии, а **после этого** снабжают разумными подпорками. Явные философские утверждения относительно основы и природы нравственного поведения, изложенные понятным образом, не были результатом умственных усилий – их словесное выражение как таковое является вторичным, как признавал Ницше:

"То, что философы называли «обоснованием морали» и чего они от себя требовали, было, если посмотреть на дело в надлежащем освещении, только учёной формой твёрдой **веры** в господствующую мораль, новым средством её выражения".¹⁸¹

Явная (нравственная) философия возникает из мифологии культуры, основанной на процедуре и постепенно ставшей более отвлечённой и эпизодической благодаря ритуальному действию и его наблюдению. Процесс всё возрастающего абстрагирования позволил системе **знания того что** породить в воображении представление о "скрытых свойствах" поведения, управляемого системой **знания того как**. Порождение такого знания было необходимо, чтобы одновременно обеспечить точное предсказание поведения других (и самого себя) и запрограммировать предсказуемое общественное поведение посредством обмена отвлечёнными нравственными (процедурными) сведениями. Кроме сказанного выше, Ницше утверждает:

"Что отдельные философские понятия не представляют собою ничего произвольного, ничего само по себе произрастающего, а вырастают в соотношении и родстве друг с другом; что, несмотря на всю кажущуюся внезапность и произвольность их появления в истории мышления, они всё же точно так же принадлежат к известной системе, как все виды фауны в данной части света, – это сказывается напоследок в той уверенности, с которой самые различные философы постоянно заполняют некую краеугольную схему **возможных** философий. Под незримым ярмом постоянно вновь пробегает они по одному и тому же круговому пути, и, как бы независимо ни чувствовали они себя друг от друга со своей критической или систематической волей, нечто в них самих ведёт их, нечто гонит их в определённом порядке друг за другом – прирождённая систематичность и родство понятий. Их мышление в самом деле является в гораздо меньшей степени открыванием нового, нежели опознаванием, припоминанием старого, – возвращением под родной кров, в далёкую стародавнюю общую вотчину души, в которой некогда выросли эти понятия, – в этом отношении философствование есть род атавизма высшего порядка".¹⁸²

Система знания того, что, повествовательная, эпизодическая и семантическая, разработала описание деятельности системы **знания того, как** – процедуры – через посредство сложного, очень долгого процесса абстрагирования. Действие и подражание действию предшествуют в развитии явному описанию или открытию правил, управляющих действием. Приспособление посредством игры и драмы предшествовало развитию языковедческой мысли и предоставило почву, из которой та возникла. Каждая "стадия" развития: действие, подражание, игра, ритуал, драма, повествование, миф, религия, философия, разумность – выдвигает всё более и более отвлечённое, обобщённое и подробное представление поведенческой мудрости, запечатлённой и установленной во время предыдущей стадии. Введение семантического представления в область человеческого поведения сделало возможным продолжение и всевозрастающее расширение познавательного процесса, возникающего в действии, подражании, игре и драме. Язык превратил драму в мифическое повествование, повествование – в оформленную религию, а религию – в критическую философию, обеспечивая чрезвычайно быстрое возрастание способности к приспособлению. Подумайте над словами Ницше ещё раз:

"Мало-помалу для меня выяснилось, чем была до сих пор всякая великая философия: как раз самоисповедью её творца, чем-то вроде *memoires*, написанных им помимо воли и незаметно для самого себя; равным образом для меня выяснилось, что нравственные (или безнравственные) цели составляют в каждой философии подлинное жизненное зерно, из которого каждый раз вырастает целое растение".¹⁸³

Процедурная система предоставляет (представляет собой) память для поведения. Такая память включает подражательное представление поведений, самопроизвольно порождённых в ходе творческих действий личности, условия происхождения которых были утрачены в туманах истории, но которые были объединены в последовательную закономерность, а с течением времени объединены в обусловленный культурой **образ**. Объединение означает деятельное уравнивание соперничающих субъективно обоснованных потребностей побуждения в пределах общественной окружающей среды. Оно означает, что выражение упорядочиваемого обществом субъективного желания в поведении становится внутренним. Такое явление есть построение иерархии ценностей (преобладания) – установление относительной уместности (нравственности) в данной обстановке образцов действия, которым подражали или которые приняли иным образом. Такое построение неизбежно "предшествует" эпизодическому или семантическому представлению основы этого построения, **хотя такое представление второго порядка, будучи раз установлено, становится способным (косвенно) изменять саму процедуру (так как то, что воображается, может потом быть разыграно)**. Это та петля, которая поддерживает развитие самого явного "сознания": процедура устанавливается, затем представляется, потом в её отвлечённое представление вносятся изменения, затем она применяется; процедура изменяется вследствие отвлечённых и осуществлённых изменений; это изменение, в свою очередь, вызывает изменение в её представлении и так далее, от лица к лицу по цепи поколений. Этот процесс может происходить "внешне", как следствие общественных взаимодействий, или "внутренне", как следствие отвлечённой исследовательской деятельности, опосредствованной словом и образом ("мышления"). Эта диалоговая петля – и её предполагаемая связь с лежащими в её основе структурами памяти и познавательными структурами – изображена схематически на рисунке 13 **"Отвлечённое понятие мудрости и его отношение к памяти"**. (Ради схематической простоты на этом рисунке показаны только немногие из взаимодействий между "стадиями" знания.)

Имеющее отношение к поведению знание порождается в процессе творческого исследования. Результатам такого исследования – порождённым образцам приспособительного поведения – подражают и их представляют в более отвлечённом виде. Игра даёт возможность обобщения подражаемого знания и объединения поведений, собранных из разных источников (одно "хорошее дело, которое надо делать" в данной обстановке, может противоречить другому; "хорошим делам, которые надо делать" поэтому надо дать определённую оценку с точки зрения их зависящей от обстановки ценности, важности или **преобладания**). Каждая последующая стадия абстрагирования изменяет все другие, как наша способность говорить, например, расширила наши возможности играть. По мере того как процесс абстрагирования продолжается – и сведения, жизненно важные для выживания, представляются всё более просто и целесообразно, – то, что при этом представляется, преобразует всё: от подробностей любого данного приспособительного действия до наиболее общего и подходящего в самой широкой области

образца приспособления – самого творческого исследования. То есть отдельным героическим поступком, так сказать (то есть **поступкам, состоящим в добровольном и успешном столкновении с неизвестным**)

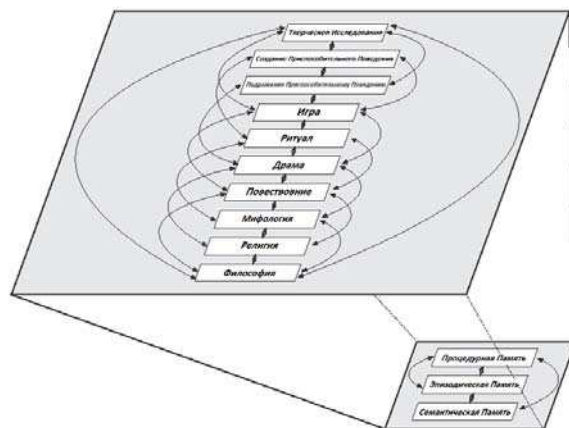


Рисунок 13

могут свободно подражать; они могут вызывать самопроизвольное подражание. Но **некоторые более существенные ("изначальные"¹⁸⁴) черты свойственны всем героическим поступкам**. Со всё более возрастающей отвлечённостью и широтой представления существенные черты начинают преобладать над особыми. Как указывает Элиаде¹⁸⁵, традиционные (то есть бесписьменные) культуры обладают исторической памятью, которая может охватывать только три поколения, то есть такой же долгой (в пересчёте на поколения), как и жизнь старейшего из живущих. События, которые произошли до этого, сжимаются во что-то похожее на время "сновидения" у австралийских туземцев – в "заисторическое" время, когда герои-предки ходили по земле и устанавливали образцы поведения, которые представляют собой современный образ жизни. Это сжатие есть "мифологизация" истории, и оно очень полезно с точки зрения **целесообразного хранения** (памяти). Мы учимся подражать не отдельным героям (и помнить не отдельных героев) – не "объективным" историческим деятелям прошлого, – а тому, что эти герои представляли, – **образу действия, благодаря которому они сделались героями**. Этот образ есть – скажем это ещё раз – добровольное и успешное столкновение с неизвестным: **порождение мудрости вследствие исследования**. (Я не пытаюсь также предполагать, что системы семантической или эпизодической памяти могут непосредственно изменять процедуры; нечто большее, чем действия этих систем, изменяет мир, а изменения мира изменяют процедуры. Влияние языка и образа на поведение, вообще говоря, вторично – осуществляется через посредство окружающей среды, – но не теряет при этом глубины.)

То обстоятельство, что многие "истории", которыми мы живём, могут кодироваться и передаваться на разных уровнях "отвлечённости", колеблющихся от чисто двигательного или процедурного (передаваемого через подражание) до чисто семантического (передаваемого через посредство, скажем, явной нравственной философии) затрудняет умозрительное понимание их структуры и взаимосвязей. Это затруднение осложняется тем, что различные истории имеют разные пространственно-временные "разрешения" – то есть тем, что в один момент нами могут руководить краткосрочные, простые соображения, а в следующий – долгосрочные, более сложные. Кто-нибудь женатый может, например, подумать: "Я нахожу жену моего друга особенно привлекательной; я хотел бы заняться с ней любовью", оценивая эту женщину положительно, а затем, тотчас же, поправиться: "Жена моего друга слишком много заигрывает с мужчинами и выглядит так, словно причинит любому из них много хлопот". Возможно, обе эти точки зрения обоснованны. Для одного и того же "раздражителя" обладать состояющимися валентностями – не редкость. Иначе – как я говорил ранее – мы никогда не должны были бы думать.

Каждое постижимое явление имеет множество значений и возможных применений. Именно по этой причине каждый из нас может утонуть в возможностях. Даже нечто столь же простое, как кусок бумаги,

совсем не просто, кроме тех случаев, когда скрытые, зависящие от обстановки силы вынуждают его таким казаться. Витгенштейн спрашивает:

"Укажите на кусок бумаги. – А теперь на его форму, – теперь на его цвет, – теперь на его число (это звучит странно). Как вы это делали? Вы скажете, что "имели в виду" каждый раз, когда вы указывали, что-нибудь другое. А если я спрошу, как это делается, вы скажете, что сосредоточивали своё внимание на цвете, форме и так далее. Но я снова спрашиваю: как **это** делается?"¹⁸⁶

Например, кухонный нож: есть ли он нечто, служащее для того чтобы разрезать овощи за обедом? Нечто, служащее для того чтобы проводить линии для натюрморта? Игрушка для игры в ножичка? Отвёртка, чтобы починить полку? Или, может быть, орудие убийства? В первых четырёх случаях он "обладает" положительной валентностью. В последнем случае его валентность отрицательна, если вы не испытываете безумного гнева. Каким образом его существенная функциональная и эмоциональная множественность сводится к чему-то единственному и, следовательно, полезному? Вы не можете чинить полку и готовить обед в одно и то же время и в том же самом месте. Вам нужно, однако, в какой-то момент сделать и то и другое, а это значит, что вы должны сохранять многочисленные назначения и валентности ножа в качестве возможностей (что бы это ни значило). Это означает, что вы должны: 1) выбрать какой-то порядок действий и устранить все остальные, и тем не менее, 2) сохранить другие возможности для "будущего рассмотрения", чтобы обеспечить наибольшую возможную широту пределов ваших возможных действий.

Как улучшить это вечно присутствующее соревнование? Как рассматривать процесс такого улучшения относительно дополнительно усложняющего дело обстоятельства – многоуровневых воплощения и отвлечённости историй? До сих пор мы рассматривали "цели" и "средства" данной системы отсчёта (истории) как качественно различные явления, отражая то затруднительное положение, которое охватывает этику как область исследования. "Результат", или цель, данной спланированной последовательности действий представляет собой образ желаемого будущего, который служит противоположностью "невыносимого" настоящего. "Средства", которыми эта цель могла бы быть достигнута, включают действительные шаги, которые могли бы быть предприняты в преследовании такой желательной перемены. Это кажется очень разумной точкой зрения, разумной в том, что в любой данный момент "средства" и "цели" могут быть с пользой различены. **Куда мы собираемся** очевидным образом отлично от того **как мы туда доберёмся**. Эта умозрительная полезность, однако же, является только временной, и факт отличия "средств" от "целей" на самом деле затемняет более подробное и исчерпывающее описание. "Средства" и "результаты" – планы и цели – не являются качественно различными в каком-либо окончательном смысле и могут быть преобразованы, одни в другие, в любую минуту. Такое преобразование происходит, по сути, всякий раз, когда возникает сложная обстановка: когда в ходе нашего текущего поведения проявляется неизвестное. Именно так мы переключаем пространственно-временное разрешение (изменяем "настройку" или переходим от одной "системы отсчёта" к другой), для того чтобы переоценить наши поступки и пересмотреть уместность наших желаний.

Наши истории – наши системы отсчёта – по-видимому, имеют "вложенную" или "иерархическую" структуру. В любой момент наше "внимание" занято только одним уровнем этой структуры. Однако мы можем также "сдвигать уровни отвлечённости", что означает **можем, когда это необходимо, сознательно сосредоточивать наше внимание на историях, которые наносят на карту большие или меньшие области пространства-времени** (простите мне этот эйнштейновский намёк, но эти слова на самом деле точны в этом случае, поскольку у наших историй есть продолжительность, равно как и площадь). Выражение "когда это необходимо" означает **в зависимости от состояния наших текущих дел**. Например, вы находитесь в кухне и хотите читать книгу в своём кабинете. **Ваш** образ, читающего книгу в своём любимом кресле, занимает полюс "целей" или "желаемого будущего" вашей действующей в настоящее время истории (противопоставляемый **вам** настоящего времени, всё-ещё-слишком-безграмотному). Эта "история" по замыслу длится, скажем, десять минут. Она происходит в пространстве, определяемом присутствием полудюжины относящихся к делу "предметов": лампы для чтения, кресла, пола, по которому вы должны пройти к вашему креслу, самой книги, ваших очков. Вы подходите к креслу. Ваша книга под рукой. Вы протягиваете руку, чтобы включить лампу для чтения – вспышка! – лампочка перегорела. Неизвестное – в этой обстановке неожиданное – только что проявилось. Вы переключаете "настройку". Теперь ваша цель, вложенная внутрь истории о "чтении книги", – "починить лампу для чтения". Вы приспособливаете ваши планы к обстановке, находите новую лампочку

и вкручиваете её в лампу. Вспышка! Она тоже перегорела. На этот раз вы чувствуете запах горелого провода. Это вызывает беспокойство. Книга теперь забыта. Она больше не имеет отношения к делу. Что-нибудь не так с лампой (и, следовательно, со всеми планами, зависящими от лампы)? Вы исследуете. Лампа не пахнет. Это же штепсельная розетка в стене! Покрывающая её дощечка горячая! Что это значит? Вы повышаете уровень пространственно-временного разрешения. Может быть, что-то не так с проводкой самого дома? Лампа теперь прочно забыта. Обеспечить, чтобы ваш дом не сгорел дотла, внезапно стало задачей первостепенной важности. Как произошло это переключение внимания?

Рисунок 14 "Преобразование понятия отношения между средствами и целями от статического к динамическому" представляет собой состоящий из трёх частей план, предназначенный для того, чтобы перевести нас из состояния, где мы умозрительно представляем себе средства и цели как различные, в состояние, где они изоморфны, а упомянутое различие только временно.

Подсхема (1) уже привычна и представляет "обычную" историю, состоящую из настоящего состояния, желаемого будущего состояния и трёх различных средств, которые можно использовать, чтобы преобразовать первое в последнее. Эта подсхема основана на предположении, что можно использовать многие средства, чтобы добраться из точки "а" в точку "b". В действительности, однако, в любое данное время будет использовано только одно средство (самое "целесообразное" или желательное по другим причинам). (В конце концов, у каждого из нас только одна двигательная система и, следовательно, одно "сознание"?)

Подсхема (2) – это преобразованная версия подсхемы (1), показывающая, что "планы" (1) могут быть лучше представлены как "истории", в себе и о себе; показывающая, что "большая" история (та, которая занимает большую пространственно-временную область) на самом деле состоит из вложенных друг в друга "маленьких" историй.

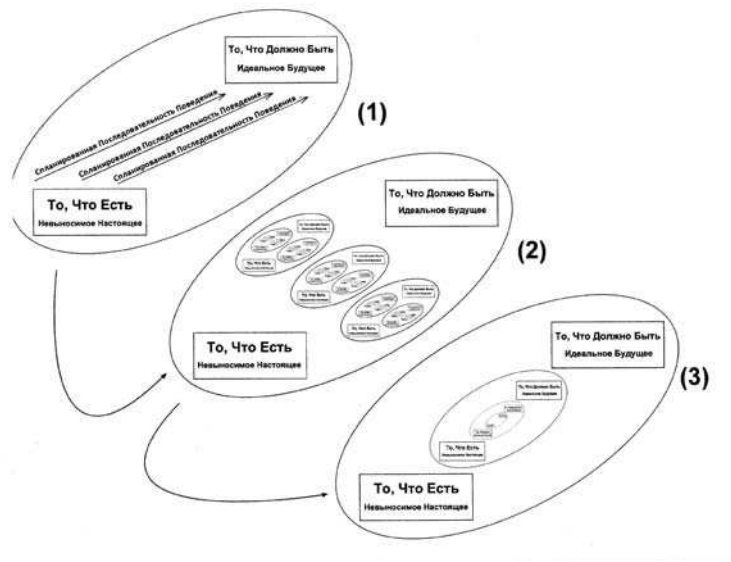


Рисунок 14

Подсхема (2) по-прежнему основана на предположении, что множество меньших историй могло бы быть использовано как средство для достижения большей цели. Если ваша компания не имеет успеха, вы можете уволить половину ваших служащих, расширить её для производства новой продукции или урезать жалование ваших высших управляющих. Каждый из этих подходов – все они предназначены для достижения той же самой цели, – очевидно, отличается от других своей внутренней структурой, и она сложна. Вы могли бы принять несколько этих подходов, но если два из них вступают между собой в противоречие, один из них придётся подчинить другому. Планам (и целям) приписывается относительная важность, и они организуются соответственно (то есть в структуру, которая, кстати сказать, очень похожа на иерархию преобладания). Это положение дел, где относительная важность (возможно соперничающих

между собой) планов уже установлена, представлено на подсхеме (3), которая избрана для завершения данного обсуждения.¹⁸⁷

В любое данное время и в любом данном месте мы рассматриваем только постоянное число "переменных" в качестве средств и целей. Это совершенно необходимо, поскольку действие требует исключения, в той же (или большей) мере, что и включения.¹⁸⁸ Однако совокупность "относящихся к делу переменных" должна быть изменчивой. Мы должны решать и сохранять при этом возможность изменять наши решения. Наша лобная кора – решающе важная для целенаправленной деятельности¹⁸⁹, – по-видимому, предоставляет нам эту свободу: она делает это, "определяя временные последовательности" событий и действий,¹⁹⁰ рассматривая "относящиеся к обстановке сведения", используя это рассмотрение для управления поведением¹⁹¹ и "меняя настройку".¹⁹² Она, я смею утверждать, выполняет множество последовательных действий, рассматривая сначала одно, затем другое в качестве действующего в настоящее время "вознаграждения за выполнение", в качестве цели поведения, в качестве "желаемого будущего", с которым "невыносимое настоящее" должно сравниваться. Структура, изображённая на подсхеме (3) рисунка 14, – это многоуровневая, вложенная структура, состоящая из взаимозависимых целей и планов, которые в своей целостности охватывают всю "историю жизни". Это представление помогает объяснить идею "шага по пути" (лестницы на Небо, в переносном смысле).¹⁹³

Каждый шаг – каждая подыстория – обладает "тем же самым" **строением** (но не тем же самым **содержанием**), что и все эти истории "выше" и "ниже" его. Это значит, что можно было бы ожидать, что все составные части "хорошей" истории каким-то глубоким образом отражают все другие её части: что историю, как и сам мир, можно было бы прочитать (и прочитать правильно) на многочисленных и многократно содержательных "уровнях анализа". Именно по этой причине Фрай мог утверждать:

"Одно из самых распространённых переживаний при чтении – это ощущение, что дополнительные открытия должны быть сделаны в пределах того же самого словесного построения. Ощущение примерно таково: «есть многое, что должно быть получено из этого», или мы можем сказать о чём-либо, чем мы особенно восхищаемся, что каждый раз, когда мы это читаем, мы извлекаем из него нечто новое".¹⁹⁴

Явление, которое представляет собой цель на одном "уровне", может рассматриваться как побудительное вознаграждение на следующем, так как достижение вспомогательных целей есть предпосылка достижения целей более высокого уровня (это значит, что большая часть вознаграждений за выполнение будет одновременно побуждать к действию). Познавательные действия, зависящие от целостности лобной коры, могут, так сказать, передвигаться вверх и вниз по этим уровням, закрепляясь на одном и выполняя определённое действие, в наиболее подходящее время (делая другие возможности "скрытыми" в том месте и в то время); "реорганизуя" и "переустанавливая" уровни с их соответствующими "статусами", когда это необходимо. **Рисунок 15 "Ограниченная революция"** проливает свет на этот процесс и одновременно на загадку относительной новизны. Как может что-то быть **полностью новым, отчасти новым, отчасти знакомым и полностью знакомым?**

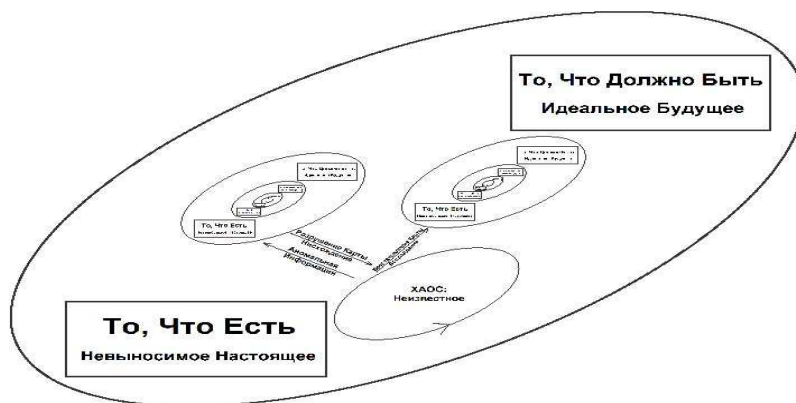


Рисунок 15

Ответ прост: полезность и (или) значение данного явления ("вещи" или "обстановки") может быть изменена на одном уровне анализа, но не на другом. Это означает, что новизна может быть ограниченной: что нечто может быть новым в одном, но оставаться хорошо знакомым в другом. Этот верхний "хорошо знакомый" уровень создаёт "стены" безопасности: предоставляет устойчивое обрамление, в пределах которого необходимые изменения могут происходить безо всяких катастроф.

Вот достойная подражания история: я студент. Я хочу быть врачом. Я не уверен в точности почему, но этот вопрос никогда не был уместным (это означает, что моё желание является скрытым предположением – аксиомой моего поведения). Я хорошо успевал в средней школе. У меня были хорошие оценки в университете на предварительных курсах. Я сдам экзамен. Я проваливаюсь: двадцатая процентная группа. Внезапно – и неожиданно – я не хочу быть врачом. Стены стали рушиться. Мои эмоции, сдерживаемые установленными валентностями, которые моя текущая история придавала явлениям жизненного опыта, теперь снова возникли, ужасно, в беспорядке. Я весь подавленная и озабоченная развалина. По мере того как я прихожу в себя, я переоцениваю свою жизнь. Я дисциплинирован, и у меня хорошие учебные навыки. Я люблю университет; я люблю работать с людьми. Многие из историй верхних уровней, подразумеваемых историей с моим желанием быть врачом, по-прежнему целы и невредимы и не нуждаются в изменении. **Значит, дальше вверх по иерархии!** – может быть, в первый раз. Мы не подвергаем сомнению историю, когда она срабатывает! Если она производит желаемые результаты, она **правильна!** Почему я хотел быть врачом? Ради надёжного заработка. Потому что этого от меня ожидали (из-за традиции: мой отец был врачом). Ради общественного положения. Потому что я мог бы облегчать страдания других и быть хорошим человеком. Итак: вот организованная иерархия (это требует мышления или даже им является) : (1) я хочу помогать людям; (2) мне нужен надёжный заработок; (3) я хотел бы по-прежнему заниматься профессией, связанной со здоровьем людей; (4) может быть, общественное положение не так важно, как я думал (и могло бы быть "принесено в жертву", чтобы умиротворить разгневанных богов и восстановить порядок в космосе). Я стану **медицинским техником** или, может быть, даже санитаром. Я могу по-прежнему быть "хорошим человеком", даже если я не врач – и, может быть, это самое важное. Внутренняя перестройка завершена. Полезность явлений жизненного опыта вновь установлена. Эмоциональная честность и устойчивость подтверждены. Хорошо, что я не покончил с собой!

Интересно и поучительно рассмотреть представления жителей Востока о действительности (то есть о "космосе") в свете этого понимания. Действительность (согласно этим представлениям) составлена из вложенных друг в друга истолкований, которые придают определённую форму "предметам" (как орудиям) и валентности этих предметов. Каждое истолкование на каждом уровне, однако, подвержено преобразованию. Это постоянное (и необходимое) преобразование в сочетании с, по крайней мере, преходящей (и необходимой) устойчивостью составляет мир. Мирча Элиаде описывает индийский вариант учения о "вечном возвращении" – циклической природе "вселенной" (понимаемой как целостность опыта, а не как "объективная реальность"):

"Полный цикл, **махаяуга**, охватывает 12 000 лет. Он кончается распадом, **пралайя**, который повторяется более решительно (**махапралайя**, Великий Распад) в конце тысячного цикла. Ибо парадигматическая схема «создание-разрушение-создание-и так далее» воспроизводится **до бесконечности**. 12 000 лет **махаяуги** рассматривались как божественные годы, каждый продолжительностью в 360 (обычных) лет, что даёт в сумме 4 320 000 лет для одного космического цикла. Тысяча таких **махаяуг** составляет **кальпу** (форму). 14 **кальп** составляет **манвантару** (называемую так потому, что, по предположению, каждая **манвантара** должна управляться Ману, мифическим царём-предком. Одна **кальпа** равна дню в жизни Брахмы, вторая **кальпа** – ночи. Сотня «лет» Брахмы, иными словами 311 000 миллиардов человеческих лет, составляет жизнь Брахмы. Но даже эта продолжительность жизни бога не исчерпывает времени: ибо боги не вечны, а создания космоса и его разрушения постоянно сменяют друг друга".¹⁹⁵

В каждом вдохновлённом новизной, подгоняемом исследованием "опыте обучения" есть доля революционного. Просто те его воссоздания, которые предполагают истории с очень ограниченными "размерами" (пространственно-временными областями), высвобождают только соразмерное количество эмоций. **Деление надвое** – на обычное и революционное – следовательно, недействительно: дело всегда в степени того и другого. Раздражения малого масштаба требуют незначительных изменений жизненной истории. Несчастья большого масштаба, напротив, подрывают всё. "Наибольшие бедствия" случаются, когда наиболее значительным историям, которые мы разыгрываем, угрожает распад вследствие коренного

преобразования "окружающей среды". Такое преобразование может произойти при естественном ходе событий, когда имеет место землетрясение или подобное ему стихийное бедствие. Оно может быть вызвано внутренними причинами как последствие еретического поступка. Или оно может возникнуть, когда "иностранные черти" – лазутчики хаоса – угрожают нашим исследованным территориям (нашим вложенным друг в друга историям, устойчивости нашей культуры). В последнем случае мы вполне можем обратиться к войне как возможности, эмоционально желательной по сравнению с подавляющей угрозой разрушения наших историй, нашего мира, всей нашей жизни.

Наши истории вложены друг в друга (одно явление приводит к другому) и иерархически упорядочены (стремление к "а" подчинено стремлению к "b": любовь важнее денег). В пределах этой многослойной иерархии наше "сознание" – и наше самосознание, – по-видимому, имеют "естественный" уровень разрешения или распределения по разрядам. Это "разрешение за неимением лучшего" определяется, как намекалось ранее, наличием "основного предметного уровня". Мы "видим" некоторые вещи **естественно**, то есть, употребляя терминологию Роджера Брауна, на уровне, который даёт нам "наибольшее количество сведений с наименьшими познавательными усилиями"¹⁹⁶. Я не знаю, что управляет тем механизмом, который определяет соответствующий уровень анализа. Вероятность и предсказуемость должны при этом играть свою роль. В конце концов, всё более и более бесполезно строить предположения о всё больших пространственно-временных областях, так как число переменных, которые должны быть при этом учтены, возрастает очень быстро, примерно как показательная функция (и вероятность точного предсказания, следовательно, уменьшается). Может быть, ответ – это что-то в духе правила: "Простейшее решение, которое не вызывает дополнительных очевидных затруднений, выигрывает", то есть вариант бритвы Оккама. Таким образом, наиболее вероятно, что будет выбран простейший познавательно-исследовательский приём, который позволит представить непредсказуемое происшествие как **условно** предсказуемое или хорошо знакомое. Это ещё один пример доказательства от полезности, то есть согласно принципу: "если решение «работает» (служит дальнейшему продвижению к заданной цели), то оно «правильно»". Возможно, именно лобная кора определяет, что могло бы быть наиболее экономным возможным обрамлением, в пределах которого данное новое происшествие могло бы быть оценено. Таким образом, идея, вероятно, состоит в том, что новое происшествие начинает исследование, часть которого посвящена нахождению уровня анализа, наиболее подходящего для оценки. Это, вероятно, подразумевает изменение историй. Кроме того, данный "раздражитель", очевидно, не оценивается на всех уровнях анализа одновременно. Это представляло бы невозможное бремя для познания. Кажется, кора головного мозга должна временно "закрепляться" на определённом избранном уровне, а затем вести себя так, "как будто" это и есть единственный уровень, относящийся к делу. Благодаря этому приёму, валентность чего угодно может казаться установленной подобным же образом. Именно это "произвольное" ограничение "данных" и делает понимание и действие возможными.

Мы как биологические организмы приспособлены к тому, чтобы истолковывать свою окружающую среду как территорию с конкретными временными и пространственными "границами", то есть как область определённого размера и определённой продолжительности. В пределах этой "окружающей среды" некие явления "выскакивают на нас" и "кричат во всеуслышание, чтобы их назвали".¹⁹⁷ Однако, когда бы ни случилось, что эти "естественные категории" понимания и связанные с ними планы действия нам изменяют, мы должны поискать более подходящего пространственно-временного разрешения. Мы ищем его, глядя на "большую картину" или "сосредоточиваясь на подробностях", которые могли ранее ускользнуть от нас. Как "подробности", так и "большую картину" можно рассматривать как уменьшающиеся или стягивающиеся сначала в "бессознательное" (где они существуют как "возможные предметы познания"), а затем в "неизвестное" (где они существуют как "скрытая информация" или как "неоткрытые факты"). "Бессознательное" можно затем рассматривать как посредника между неизвестным, которое окружает нас постоянно, и областью, которая настолько хорошо нам знакома, что её содержимое сделалось для нас ясным. Этот посредник, как я бы сказал, есть "просто-напросто" те метафорические, образные процессы, зависящие от побуждаемой лимбической системой деятельности правого полушария, которая первоначально помогает нам создать наши истории. **Рисунок 16** **"Вложенные друг в друга истории, процессы порождения и многообразие систем памяти"** помогает объяснить основную идею этого "бессознательного": истории широчайшего размаха, которые определяются сложными общественными взаимодействиями, являются эпизодическими (образными) или даже процедурными (проявляющимися только в изменяемом обществом поведении) по своей природе. Имеется очень небольшое число выразимых "систем отсчёта" – сознательных историй. Попросите любого маленького ребёнка или простодушного взрослого объяснить "основную причину" своего поведения – и вы убедитесь в этом.

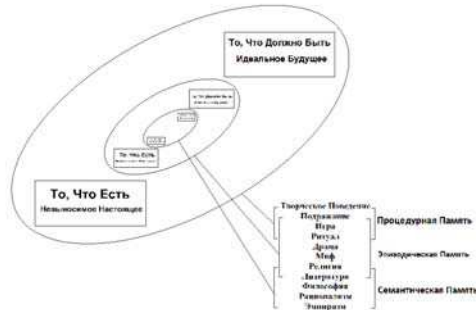


Рисунок 16

Каждый уровень анализа – то есть каждая поддающаяся определению система распределения по разрядам и план действия (каждая определённая история) – был уже создан в ходе межличностного исследовательского поведения и передачи его приёмов и итогов. Наши "естественные уровни понимания" – то есть истории, которые наиболее легко или за неимением лучших захватывают наше внимание, – наполнены содержанием, доступным "сознанию", или явному словесно-семантическому выражению и передаче. Истории "высшего порядка", охватывающие более обширные пространства и более продолжительные отрезки времени, сложнее: они не могут быть так просто сформулированы. Миф заполняет разрыв.

2.3. Мифологическое представление: составляющие опыта

Миф представляет весь мир как "место действия". Мир как "место действия" содержит три извечно существующие составляющие опыта и четвертую, которая "предшествует" им. Неизвестное, тот, кто познаёт, и известное составляют мир как место действия драмы; неопределимый "докосмогонический хаос", вызывающий их возникновение, служит первичным источником всех вещей, включая три составляющие опыта.

Докосмогонический хаос представляется метафорой уробора – самопоглощающего змея, который символизирует союз материи и духа и возможность преобразования. Уробор – "первоначальный источник" мифологических мировых родителей (Великой Матери, природы, божества неизвестного, творщего и губящего; Великого Отца, культуры, божества хорошо знакомого, деспота и защитника) и их "Божественного Сына" (Того, кто познаёт, порождающего Слова, процесса исследования).

Миф о творении из древней Месопотамии – "Энума элиш" – представляет собой конкретный пример взаимодействия этих "личностей". В этом мифе изображаются четыре действующих лица, или множества действующих лиц: Тиамат – дракон хаоса (женского пола), изначальная богиня творения (как часто бывает, уробор и Великая Мать – одно существо в этом мифе); Апсу – супруг Тиамат; "старшие боги" – дети Тиамат и Апсу; и Мардук – солнечное божество и мифический герой. Тиамат символизирует великое неизвестное, утробу мира; Апсу – известное, систему, которая делает возможным упорядоченное существование. "Старшие боги" – общие психологические свойства человеческой природы ("отрезки или составные части сознания") представляют собой более полное изображение составных частей "патриархального" известного; Мардук – величайший из богов второго поколения – представляет процесс, который вечно посредничает между утробой мира и упорядоченным существованием.

Первоначальный союз Тиамат и Апсу вызывает к жизни "старших богов". Эти боги легкомысленно убивают Апсу, от которого они "бессознательно" зависят. Тиамат появляется вновь, полная мести, и решает уничтожить всё, что она создала. Её "дети" посылают одного добровольца за другим, чтобы одолеть её. Все они терпят поражение. В конце концов, Мардук предлагает, что он сразится с ней. Он избран царём – как величайший из богов, как "определятель судеб" – и добровольно выступает против Тиамат. Он разрезает её на части и создаёт космос из её частей. Месопотамский царь – который ритуально олицетворяет Мардука – разыгрывает эту битву, во время праздника Нового года, когда "старый мир" обновляется.

"Энума элиш" выражает в образе и повествовании представление, что психологическая функция, придающая порядок хаосу (1) "создаёт" космос и (2) должна занимать положение высшего порядка во внутридушевной и общественной областях. Представлениям, содержащимся в этом мифе, было придано более развитое выражение в более поздних египетских сочинениях по метафизической теории, которые непосредственно обращаются к представлению о героическом обновлении культуры.

Три "составляющие опыта" и четвёртую, которая им "предшествует", можно, на "более высоком уровне разрешения", рассматривать как семь всемирных "действующих лиц", которые принимают какую-либо из личных форм, определяемых культурой. Миф описывает взаимодействия этих действующих лиц. Великий дракон хаоса – уробор, самопожирающий змей, – может быть умозрительно представлен как чистая (скрытая) информация до того, как она разделена на мир знакомого, незнакомого и переживающего субъекта. Уробор – это то, из чего состоит безусловное знание до того, как оно станет осознанным; это первичная "стихия" мира, которая разлагается на космос, окружающий его хаос и исследовательский процесс, который их "разделяет".

Двухвалентная Великая Мать (второе и третье действующие лица) – это создание и разрушение, она одновременно есть источник всех новых явлений, благожелательная опора и возлюбленная героя; и источник самого страха – разрушительные силы неведомого, постоянно устраивающие заговоры, чтобы уничтожить жизнь. Двухвалентный божественный сын (четвёртое и пятое действующие лица) – это солнечное божество, герой, который совершает путешествие в преисподнюю, чтобы спасти своих неспособных к собственному спасению предков, мессианский сын девственной матери, спаситель мира и одновременно его заклятый враг, надменный и лживый. Двухвалентный Великий Отец (шестое и седьмое действующие лица) – это мудрый царь и деспот, культурная защита от ужасных сил природы, защита для слабых и мудрость для глупых. Одновременно, однако, он есть сила, которая пожирает своё собственное потомство, которая правит своим царством жестокой и несправедливой рукой и которая деятельно подавляет любые признаки несогласия или расхождения во мнениях.

Ужасные силы хаоса таятся за "видимостью" обычного мира. Эти силы удерживаются в страхе поддержанием общественного порядка. "Власть порядка", однако же, неудовлетворительна, так как сам порядок становится подавляющим и смертоносным, если становится возможным его неконтролируемое и долговременное выражение. Действия героя представляют собой противоядие от смертоносных сил хаоса и от тирании порядка. Герой создаёт порядок из хаоса и воссоздаёт этот порядок, когда это необходимо. Его действия обеспечивают то, что новизна остаётся терпимой, а безопасность – гибкой.

М е ф и с т о ф е л ь

Хвалю тебя, пока нам не пришлось
Расстаться: чёрта знаешь ты насквозь.
Вот ключ, ты видишь?

Ф а у с т

Жалкая вещица.

М е ф и с т о ф е л ь

Возьми. Не брезгуй малым. Пригодится.

Ф а у с т

Он у меня растёт в руках, горит!

М е ф и с т о ф е л ь

**Не так он прост, как кажется на вид.
Волшебный ключ твой верный направитель
При нисхождении к Матерям в обитель.¹⁹⁸**

2.3.1. Введение

Исследователи, по крайней мере со времён Фрэзера¹⁹⁹, установили широкое распространение космогонических историй, рассказов о героизме и хитрости, обрядов посвящения и общепринятых образных представлений, таких, как дева и дитя. Эти истории, рассказы, обряды и образы отличаются подробностями и последовательностью их во времени. Иногда они совпадают, что могло быть вызвано распространением из общего источника сотни веков назад. Это предположение, однако, не объясняет, почему общепринятые истории **вспоминаются**, стоит им только распространиться, и передаются из поколения в поколение с небольшими изменениями. По-видимому, человеческий род "забывает" всё, что бесполезно. Мы, однако, не забываем своих мифов: наша "культурная" деятельность, по сути, сводится к усилиям обеспечить, чтобы они сохранялись и передавались.

Карл Юнг пытался объяснить повсеместность такого истолкования мира с помощью предположения о "коллективном бессознательном". Юнг полагал, что религиозные или мифологические символы возникают из общего источника, передаваемого по наследству. Его "коллективное бессознательное" состоит из наследуемых "комплексов", которые он определял как склонности к поведению или к классификации. Юнговская точка зрения, которую почти никогда не понимали как следует, навлекла на себя более чем заслуженную долю высмеивания. Юнгу, как и его поколению, не были ещё известны механизмы наследования. Представление о "коллективной памяти" кажется сегодня невозможным — ламаркистским. На самом деле Юнг не имел в виду, что личные воспоминания могут передаваться по наследству: его произведения, не лёгкие для понимания, не всегда выражают это ясно. Говоря о коллективном бессознательном, он старается передать, что наследуемым является возможность разбиения на разряды, а не содержимое памяти. Однако он зачастую пишет так, "будто" наследуется само содержание.

Общее раздражение, вызванное юнговским предположением о "наследуемой памяти", затемнило для психологов – и не только для психологов – то замечательное обстоятельство, что повествования **действительно** появляются наделённые структурой во всех различных культурах. "Простое" обстоятельство, что все культуры используют то, что ясно и быстро распознаётся как "повествования" (или, по крайней мере, как "обряды", которые очевидно драматичны по своей природе), само по себе решительно указывает на лежащую в их основе общность структуры и цели. Можно было бы по-прежнему возразить, что попытки приписывать понятную структуру таким "повествованиям" не могут быть обоснованы без теории истолкования, а такая теория может просто быть "вчитыванием" структур туда, где на самом деле их не "существует". То же самое возражение может, конечно, быть использовано – и использовано обоснованно – против истолкования литературы, изучения истории, анализа сновидений и антропологии. Явления культуры не могут быть поняты, кроме как с точки зрения культуры. Это затрудняет **проверку** теорий в "области ценностей".

Тем не менее, чтобы жить, необходимо действовать. Действие предполагает верование и истолкование (скрытое, если не явное). Верование, в конечном счёте, основано на вере (поскольку критерии, посредством которых можно было бы оценивать теорию нравственности, тоже должны быть **выбраны**). Нет, однако, никакой причины, по которой такая вера не может быть основана на знании и критически оценена. Разумным кажется предположение, что сравнительный анализ систем верований различных культур и их сравнение с основными произведениями классической литературы могли бы явиться средством достижения такого знания. Таков был подход Юнга. "Причинный механизм", который он придумал, чтобы объяснить то, что он обнаружил, – то есть "коллективное бессознательное", – видимо, существенно непригоден с современной эмпирической точки зрения (хотя его мысль гораздо более сложна, и от неё гораздо менее легко отделаться, чем это обычно признают). Это не означает, что мы должны отбросить его методологию или осмеивать его ценные в других отношениях прозрения. Великие современные умы, работая в областях вне психологии, также пришли к выводу, что у историй есть универсальные структуры.

Как можно примирить **существование** структурированных историй – если угодно, образцовых историй – с **невозможностью** наследования содержания памяти? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы могли бы обратить наше внимание на явление языка и процессы его "хранения" и передачи. Человеческая способность к языку, по-видимому, имеет довольно определённую биологическую основу. У других животных в их естественном состоянии нет языка, и их нельзя научить языку на каком-либо утончённом уровне. Напротив, дети – даже когда их умственным способностям нанесён тяжёлый ущерб – легко обучаются языку и используют его бегло, естественно и творчески. Использование языка есть существенная особенность вида "**человек разумный**", и сам строй языка, по-видимому, биологически обоснован. Тем не менее языки людей отличаются друг от друга. Тот, кто говорит по-японски и для кого японский язык является родным, не понимает того, кто говорит по-французски и для кого родным языком является французский, хотя обоим может быть ясно, что оба пользуются **языком**. Два явления могут быть различны на одном уровне анализа и сходны на другом.

Можно было бы задать вопрос: из какого запаса данных, так сказать, черпает ребёнок, когда он учится говорить (читать, писать)? Ребёнок слушает тех, кто вокруг него. Его, в общем, не "учат" явно, как говорить, хотя какое-то явное обучение имеет место. Его склонность как живого существа сталкивается с культурной реальностью – существованием языка. Его родители – главные посредники культуры: **они воплощают язык в своём поведении** и передают его ребёнку в повседневном общении. Они не "создатели" языка, хотя они пользуются им своеобразно и даже творчески. Это способность к человеческой языковой деятельности – чем бы она ни была – является его "создательницей". Накопленные её последствия, выражавшиеся веками, изменили поведение людей, ставших носителями данной языковой "культуры". Некоторые личности являются временными "представителями воплощённой памяти" для всей культуры в любом данном месте и в любой период времени. Тем не менее потеря любой данной личности не представляет никакой угрозы богатству культуры. Это происходит потому, что язык "вспоминается" – то есть воплощается – в поведении всех тех, кто на нём говорит. Дети "подхватывают" язык посредством взаимодействия со взрослыми, которые его воплощают. Таким образом, они учатся говорить и учатся сознавать, что у них есть язык, и даже наблюдать и изучать тот факт, что у них есть язык.

То же самое остаётся верным в отношении нравственного поведения и верований, которые лежат в его основе. Взрослые воплощают поведенческую мудрость культуры в глазах своих детей. Дети взаимодействуют со взрослыми как "представителями культуры". Очевидно, каждый взрослый может быть лучшим или худшим её представителем, так же как и родитель может быть более или менее грамотным. Плохой пример может быть таким же образцовым, как и хороший. Кроме того, на детей редко влияет только один "герой". Если в действительности вокруг нет других взрослых, то там неизбежно присутствуют их "заместители" в "развлечениях": в ритуалах, драме, литературе и мифе. Образцы поведения, заключённые в наших историях, могли бы поэтому рассматриваться как "хранимые" нашим (общественным) поведением. Это подразумевает, что такие образцы могут быть в любое время рассматриваться независимо от этого поведения. "Коллективное бессознательное" является с этой точки зрения воплощённой поведенческой мудростью в её наиболее существенном виде, накопленными и переданными последствиями влияния **исследования и культуры на действия.**

Наша способность к отвлечению позволяет нам извлечь составные части самого успешного "приспособления" из наблюдения образцов поведения, которые постоянно разыгрываются в **реальном** мире. Образцы поведения, которые представляют собой взаимодействие взрослых, например, чрезвычайно утончённы – обусловлены до последнего телодвижения столетиями развития культуры. Мы можем извлечь "образы" этих образцов; такие образы – такие же утончённые, как и поведение, которое они представляют, – служат "кирпичиками" для построения наших историй и для нашего самопонимания. (Замечательная взрослая женщина – личность, которую можно распознать, – поддерживает свой дом чистым и опрятным, примиряет своих враждующих братьев и получает тяжёлые уроки, когда это необходимо. Типичный герой создаёт порядок из хаоса, приносит мир в мир и перестраивает общество, когда оно делается косным и устаревшим.) "Коллективное бессознательное" – основа разделяемой всем обществом религиозной мифологии – это, по сути, поведение, то есть те процедуры, которые были созданы, переданы, которым подражали и которые изменяли все, кто когда либо и где-либо жил. Образы этого поведения – и запредельного "места", где оно происходило (вселенной хаоса и порядка), – являются **метафорами**, символическими образами. Метафоры служат связующим звеном между нашей процедурной мудростью и нашим явно выраженным знанием; они представляют собой образную повествовательную точку перехода между действием и словом.

Мы провели сотни тысяч лет, наблюдая за своими действиями и рассказывая вследствие этого истории о том, как мы действуем. Хорошая история всеобща: это означает, что она говорит на языке, который все понимают. Слова любого повсюду понятного языка должны обладать универсальными значениями, а это значит, что хорошая история должна говорить нам о тех сторонах опыта, которые все разделяют. Но что же такое есть то, что является общим для всех людей, невзирая на место и время рождения? Разумно ли утверждать, что что-нибудь могло, например, остаться неизменным за столетия, которые отделяют нас от наших предков каменного века; за идеологическими и религиозными преградами, которые разделяют жителей наших современных государств? Наши отдалённые предки жили гораздо ближе к природе, и вопросы, которые волновали их, кажутся слишком отдалёнными от наших текущих повседневных забот. Огромная разница между нами и ими похожа (в смысле расстояния, если и не в точности в смысле природы) на ту, которая существует между различными культурными мирами наших дней, – тем огромным разрывом, который всё ещё отделяет, например, индусского религиозного мистика от манхэттенского банкира. Неудивительно, что мир, отличительным признаком которого являются такие различные человеческие жизни, может изобиловать постоянными столкновениями между группами; неудивительно также, что нам может казаться, что мы переросли свою передаваемую из поколения в поколение мудрость. Но существуют ли такие существенные предположения, с которыми мы могли бы согласиться – могли бы разделить, – несмотря на наши разногласия?

Большинство предметов опыта имеют некоторые общие свойства, в то время как в отношении других свойств они разнятся. Вообще говоря, важны и сходства, и различия. Так обстоит дело с личностями, так и с культурами. Однако мы, по-видимому, особенно сознаём наши различия, а не наши сходства. Даже группы людей, у которых много общего, по крайней мере с точки зрения более далёких сторонних наблюдателей – на ум сразу приходят ирландские католики и протестанты, – видимо, достаточно сознают те движущие силы, которые делают их единственными в своём роде в их общественных связях. Мы гораздо менее наделены естественной способностью к пониманию нашего сходства с кем-либо. Я думаю, что так обстоит

дело отчасти потому, что мы не созданы для того, чтобы сосредоточиваться на предсказуемом и хорошо знакомом. Наше внимание естественно притягивается к тем сторонам нашей окружающей среды, естественной и общественной, которые содержат информацию. Сходные черты серба и хорвата скрыты от каждого из них, так сказать, стеной привычки, но их различия резко выделяются.

Задать вопрос: "Что могут **иметь общего** два существа, или явления, или ситуации?" значит на самом деле спросить: "На каких уровнях анализа могут два явления рассматриваться как одно и то же, а на каких – как различные?" Именно подробности нашего отдельного бытия отличают нас одного от другого. То, что, тем не менее, объединяет нас, – это **наличие** этих подробностей и влияние такого наличия на природу нашего существования. Наши жизни восприимчивы к возможностям, но остаются вечно ограниченными болезнью, смертью и подчинением общественному строю. Как изменчивые, ограниченные общественные существа мы все вовлечены в массовое, совместное и основанное на соревновании предприятие. В конечном счёте, мы не понимаем правил, которые управляют этим предприятием. Не можем явно утверждать, **почему всё обстоит так**, что мы делаем то, что мы делаем. Например наши демократические конституции – которые содержат самые основные аксиомы того "свода законов", которому мы подражаем (который управляет нашим поведением), – запутанным образом внедрены в понятие **естественных прав** (что означает внедрены в заявление о вере: "Мы считаем эти истины очевидными"). В результате мы все **подражаем истории, которую не понимаем**. Эта история охватывает широчайшее возможное протяжение времени и пространства (по крайней мере то протяжение, которое относится к нам) и по-прежнему неявно "содержится" в нашем поведении (хотя отчасти и представлена в эпизодических образах и семантическом описании). Это частично неявное содержание является нашей мифологией и предоставляет нам "бессознательные" системы отсчёта "высшего уровня", в пределах которых наши обусловленные и выразимые личные истории сохраняют свою истинность.

Невозможно должным образом понимать природу категорий мифологического воображения, не выработав некоторого понимания процесса категоризации. Категоризация даёт нам возможность обходиться с таинственным и сложным миром, где мы живём, так, как будто он устроен проще, как будто он более понятен. Мы упрощаем его, полагая, что предметы или ситуации, имеющие общие стороны устройства, назначение или значение, тождественны. Люди очень способны к распределению по разрядам, или категориям; их способность к этому кажется простой, сама собой разумеющейся. Однако она не так уж проста. Оказалось, что ни "правила", лежащие в основе распределения по разрядам, ни само это действие так легко не описываются. Роджер Браун, выдающийся психолингвист, утверждает:

"До примерно 1973 года психологические опыты по образованию категорий представляли себе человеческие категории по образцу «подходящего множества». Треугольники образуют подходящее множество, что означает, что элементы класса треугольников точно определимы в терминах сочетания свойств, присущих всем элементам этого множества и неприсущих ни одному из не-элементов. Треугольник – это замкнутая трёхсторонняя фигура. Из того обстоятельства, что существует ясное определение множества, следует, что принадлежность к нему не имеет степени: один треугольник, по существу, не более треуголен, чем любой другой. Любой предмет или является, или не является треугольником.

Бросая взгляд в прошлое, испытываешь изумление от того, что психология в течение такого долгого времени могла мыслить о категориях действительной жизни как о подходящих множествах. Нам следовало бы больше беспокоиться о чрезвычайной трудности, которую каждый испытывает, определяя что-нибудь «естественное», а слово «естественное», как оно употребляется здесь, включает не только собак и морковки, но также и поделки вроде стульев, автомобилей и карандашей. Я знаю, что вы можете распознать любой из этих предметов, когда вы его увидите, но попробуйте составить список свойств, присущих всем собакам и не присущих ни одной кошке, волку или гиене; или присущих всем морковкам и не присущих ни одной редиске и ни одной репе; или присущих всем стульям и не присущих ни одному столику, ни одной подушечке, скамейке или праче".²⁰⁰

В естественном состоянии, так сказать, люди не думают, как логики или даже как те, кто ставит научные опыты. Чтобы думать, как они, требуется обучение. При отсутствии такого обучения мы, однако, всё-таки думаем, но более субъективно, как "неразумные", своеобразно эмоциональные существа, которые обитают в телах особенного размера, с особыми и вынужденными свойствами. Наши **естественные** категории – являющиеся группировками, которые мы производим самопроизвольно, – не состоят исключительно из единодушно понимаемых свойств, общих для предметов и ситуаций, с которыми мы сталкиваемся. Не являются эти естественные категории и непроницаемо ограниченными: их границы расплывчаты, а сами они перекрываются. Построение подходящих множеств возможно – это очевидно, так как они существуют, – а наша способность придумывать и использовать такие множества оказалась полезной в очень многих отношениях. Тем не менее с точки зрения развития человеческого рода способность, которая лежит в основе такого придумывания, по-видимому, относительно нова и, видимо, зависит, по крайней мере отчасти, от способности думать **эмпирически** и рассматривать вещи **объективно**. При отсутствии такой способности – которая требует специального обучения (или, по меньшей мере, погружения в культуру, подобную нашей, где такое мышление стало общим местом), – люди естественно склоняются к созданию того, что (недавно) было описано как "познавательная модель". Отличительным признаком познавательных моделей служит наличие у них некоторого количества интересных и характерных свойств (описание которых есть отчасти пересказ работы Джорджа Лакофа²⁰¹):

1) Их содержание **воплощено**, что, по существу, значит, что их можно использовать, не обязательно их определяя; значит, что они скрыты в действии, не будучи явно описанными. Две вещи, отнесённые к одному классу в пределах той же самой познавательной модели, – это две вещи, которые вызывают одно и то же поведение и могут поэтому рассматриваться, по крайней мере с точки зрения действия, как одна вещь. Если вы используете познавательную модель, а кто-либо попросит вас описать её содержание ("Что представляет собой **собака**?"), вы могли бы ответить: "Не могу сказать, но узнаю её, когда её увижу". Вы знаете, например, что собака – это нечто дружелюбное, то, что надо ласкать и с чем надо играть, хотя такое знание не включает всего, что составляет содержание ваших представлений о **собаке**. Большая часть общих представлений, которые вы используете, на самом деле воплощены на самом основном из уровней, в действительности являются привычными, процедурными, двигательными, поведенческими. Вы можете использовать их не думая. Те же, которые не воплощены, следует применять медленно, вполне осознанно и с усилием.

2) Они отличаются **категоризацией основного уровня и первенством основного уровня**. Эти выражения означают, соответственно, что явления, наиболее "естественно" понятные человеческому уму, – воспринимаемые как целое, или гештальт; называемые, поддающиеся передаче, незабываемые, которыми можно орудовать, – служат материалом исходного разбиения на категории и что эти исходные категории дают основу для развития более отвлечённых общих представлений (даже для точки сравнения, нужной, чтобы определить, что мы считаем "отвлечённым"). Наиболее "естественно" понятные значит выученные и названные первыми (как правило с короткими названиями); значит представленные с точки зрения "отличительного действия", отмеченные характерным поведением, таким, как ласка для категории "кошка" и нюхание для категории "цветок". Наши категории основного уровня отражают столько же наше внутреннее устройство, сколько и строение внешнего мира: мы наиболее точно понимаем те явления, которые представляются нам простейшим образом. "Высшие" и "низшие" уровни категорий, которые окружают эти естественно понятные явления основного уровня, можно было бы в противоположность этому рассматривать, используя выражение Роджера Брауна, как "достижения воображения"²⁰². Мы воспринимаем, например, кошку и делаем **вывод** о том биологическом виде (или о его подвиде, скажем, сиамиских кошек), к которому принадлежит эта кошка. Наши категории основного уровня, как правило, находятся в середине наших понятийных иерархий: мы обобщаем, когда двигаемся от них "вверх", и конкретизируем, когда двигаемся "вниз".

3) Они могут использоваться в **метонимическом** или **ориентационном** рассуждении. Метонимическое рассуждение **символично** в психоаналитическом или литературном смысле. **Метонимическое** значит **взаимозаменяемое** и более того. Метонимические свойства предметов в познавательной модели означают, что любой из этих предметов или все они могут "означать" любой из остальных предметов или все остальные предметы. Эта возможность осмысленна, так

как все предметы данной категории, по определению, рассматриваются как равноценные в некоем необыденном смысле (наиболее обычно в смысле **последствий для действия**). Человеческая способность к метафоре, эстетической оценке и намёку, по-видимому, неразрывно связана со способностью к метонимическому рассуждению и использованию имеющих богатый смысл познавательных моделей.

4) Они отличаются **степенным характером отношения принадлежности и важности**. Степенной характер отношения принадлежности подразумевает наличие степени принадлежности, то есть что страус, например, это птица, но может быть не настолько птица, как малиновка, так как у малиновки больше признаков, **важных** для категории птица. Вещь может быть лучшим или худшим образцом своей категории; если она и является худшим, она всё-таки может быть помещена в пределах этой категории.

5) Они содержат явления, связанные **семейным сходством** (последний термин был впервые использован в этом смысле Людвигом Витгенштейном²⁰³). Все вещи, обладающие семейным сходством, обладают сходством с неким (предположительно существующим или существовавшим) предметом. У первообразного брата Смита – если использовать знаменитый пример,²⁰⁴ – может быть, были тёмные усы, глаза-бусинки, лысеющая макушка, очки в толстой роговой оправе, тёмная борода, тощая шея, большие уши и слабый подбородок. Возможно, имеется всего шесть братьев Смит, ни один из которых не обладает всеми свойствами первообразного Смита. У Адама Смита – слабый подбородок, большие уши, лысеющая макушка и тощая шея, но ни очков, ни усов, ни бороды. У Джозефа, напротив, есть очки, усы и борода, но полностью заросшая волосами голова, маленькие уши и обычная шея. У Финеаса – отклоняющаяся назад линия волос, глаза-бусинки, тёмные борода и усы. Подобным же образом описываются Джордж, Эверетт и Сэм. Ни один из братьев в точности не походит на другого, но если бы вы увидели их вместе, вы сказали бы: "Все эти люди – братья".

6) Они полагают начало явлению **многозначности**, или **полисемии**, – определяющей особенности мифа. Многозначная история написана и может быть обоснованно прочитана на многих "уровнях". Явление полисемии, обсуждаемое далее в этой книге более подробно, возникает, когда отношение предметов внутри отдельной познавательной модели в каком-то смысле сходно с отношением, которое существует между познавательными моделями. Великие произведения литературы всегда многозначны: образы внутри истории находятся в таком же отношении друг к другу, как явления более общего значения – в более широком мире. Например, борьба Моисея против египетского фараона – если взять историю, которую мы будем рассматривать позже, – может быть также прочитана как иносказание о борьбе угнетённого против угнетателя или, даже более обще, как восстание (разрушающего (затопляющего) мир) спасителя против общества.

Сказать, что две отделимые одна от другой вещи принадлежат к одной и той же категории, – это мудрёное дело. Мы предполагаем, не думая, что распределяем вещи по группам вследствие чего-то, имеющего отношение к ним, а не к нам. Что же в таком случае имеют между собой общего все **кресла**? Любое данное кресло может не иметь некоторых принадлежностей кресла, таких, как ножки, или спинка, или подлокотники. Является ли пень дерева креслом? Да, если вы можете на нём сидеть. На самом деле не что-то, относящееся к предмету, рассматриваемому как независимое явление, делает его креслом: скорее, это нечто, относящееся к его возможностям взаимодействия с нами. Категория "кресло" содержит предметы, служащие назначению, которое мы ценим. На креслах можно удобно сидеть. Наше поведение перед лицом предмета представляет собой простую, но существенную разновидность классификации (представляет собой в действительности наиболее существенную из всех классификаций – классификацию, из которой получают все отвлечённые подразделения). Категорию "всех вещей, которые вызывают у вас желание убежать прочь, при одном взгляде на них", можно было бы, например, рассматривать как основной вид понятия. Тесно связанной с этой категорией, хотя и несколько выше её в иерархии отвлечённости, могла бы быть категория "всех предметов, которых надо бояться", или "всех предметов, которые опасны, если к ним подойти с одной стороны, но полезны, если к ним подойти с другой".

Именно содержательную, но "неразумную" схему классификации такого рода Юнг описывал как **комплекс** – одну из "составных частей" "коллективного бессознательного", группу явлений, связанных вместе вследствие общего значения (которое, по существу, является **последствием для действия** или **эмоциональной равнозначностью**). Юнг думал, что многие комплексы имеют

архетипическую (или универсальную) основу, коренящуюся в биологии, и что эта укоренённость имеет что-то особо общее с памятью. По-видимому, истина несколько более сложна. Мы классифицируем вещи в соответствии с тем, какими они нам кажутся, с тем, как они действуют, и в соответствии с их значением для нас, которое есть указание на то, как действовать в их присутствии; и мы можем смешивать любые из этих способов классификации или все их – неразумно, но осмысленно – в единой схеме. Мы распределяем различные вещи по категориям сходным образом во всех культурах, потому что имеем общее устройство памяти и физическую форму, проявляющиеся в наблюдаемом поведении; потому что у нас одинаковые органы ощущения, побуждения для действия и эмоциональные состояния. У нашего воображения есть свои естественные категории, существование которых зависит от взаимодействия между нашими воплощёнными душами и миром общего опыта. Отдельные явления подпадают под эти категории более или менее предсказуемым образом. Истории описывают взаимодействие содержания категорий воображения, которые воплощаются в виде действующих лиц драмы. Эти действующие лица имеют предсказуемую природу и разыгрывают свои отношения неизменно очаровательным, приукрашенным образом, снова и снова, повсюду в мире.

Итак, теперь у нас есть понятие об общности структуры и правдоподобная теория, объясняющая наличие этой общности. Может быть, в таком случае было бы разумно описать природу универсальных образцов в повествовании, налагая при этом ради предосторожности разнобразные дополнительные и строгие ограничения на это описание (принимая во внимание трудность проверки "объяснительных теорий"). Во-первых, давайте сделаем это описание разумно приемлемым и внутренне последовательным: то есть давайте найдём способ понять смысл мифа, который не противоречит принципам эмпиризма и основанной на опыте науки и который оказывается применимым к историям, происходящим из многих различных мест и времён. Давайте, кроме того, так как хорошая теория должна быть простой, упростим это описание так, чтобы вспомнить объяснительное обрамление было гораздо легче, чем вспомнить сами истории. Пусть оно также будет неотразимым с эмоциональной точки зрения. У хороших теорий есть эмоциональная составляющая, иногда описываемая как "красота". Эта "красота" одновременно проявляется как **работоспособность** – работоспособность того же рода, который отличает хорошо сработанное орудие труда, – и как то, что **можно было бы описать как "окно в царство возможного"**. Хорошая теория позволяет вам использовать вещи – вещи, которые некогда казались бесполезными, – для желательных целей. Вследствие этого хорошая теория вызывает общее чувство возбуждения и надежды. Хорошая теория структуры мифа должна позволить вам увидеть, как история, которую вы ранее не могли даже понять, могла бы пролить новый и полезный свет на смысл вашей жизни. В заключение, давайте ограничим наше описание, согласовав его с описанными ранее известными сведениями о том, как на самом деле работает мозг; давайте обеспечим, чтобы мир мифа, как он истолкован, был тем же самым "миром", который воспринимается умом в свете его прошлых представлений.

Действия в пределах этого набора ограничений делают возможным зарождение следующего простого предположения: "частично скрытые" мифические истории или фантазии, которые руководят нашим приспособлением, вообще говоря, видимо, описывают, или изображают, или воплощают три постоянные составляющие человеческого опыта: **неизвестное**, или неисследованную область; **известное**, или исследованную область; и процесс – **субъект познания**, – который служит связующим звеном между ними. Эти три "составляющие" образуют космос – то есть мир опыта – с повествовательной, или мифологической, точки зрения.

Неважно, где живёт человек – и всё равно когда, – он сталкивается с тем же самым множеством задач или, может быть, тем же самым множеством метазадач, так как подробности отличаются бесконечно. Он культурное живое существо и должен придти к согласию с существованием своей культуры. Он должен овладеть областью **известного** – исследованной областью, – которая является множеством истолкований и поведенческих схем, разделяемых им со своими "соотечественниками" (в смысле принадлежности к тому же обществу). Он должен понять свою роль внутри этой культуры – роль, определяемую необходимостью сохранения, поддержания и передачи традиции, равно как и коренной ломки, пересмотра и дополнения этой традиции, когда такие пересмотр и дополнение делаются необходимыми. Он должен, кроме того, быть способен выносить существование **неизвестного** – неисследованной области, – превосходящего его способности к пониманию, и даже уметь извлекать из него пользу. (Неизвестное является той стороной опыта, к которой нельзя обращаться, просто применяя

заученные наизусть привычные процедуры: оно есть та часть окружающей человека "среды", которая требует деятельного, добровольного и мужественного исследования.) В заключение, он должен приспособиться к наличию самого себя: должен смело встречать бесконечно трагическую драму **того, кто познаёт**, процесса исследования, ограниченного, смертного человека; должен служить вечным посредником между созидательной и разрушительной "преисподней" неизвестного и безопасным, гнетущим патриархальным царством человеческой культуры.

Мы не можем видеть неизвестного, потому что мы ограждены от него всем хорошо знакомым и не вызывающим сомнений. Мы, кроме того (по определению), **привыкли к тому**, что хорошо знакомо и известно, и поэтому часто не в состоянии понять его устройство (часто даже не в состоянии ощутить, что оно там есть). В конце концов, мы остаёмся в неведении относительно нашей собственной природы из-за её внутренней сложности и из-за того, что мы действуем по отношению к другим и к самим себе принятым в обществе, то есть предсказуемым, образом и этим заслоняемся от нашей собственной тайны. Образы мифа, однако, воплощают мир – "видимый" и "невидимый". Рассматривая его образы, мы можем прийти к пониманию того, каков именно его смысл и как этот смысл раскрывается в связи с нашими действиями. Именно благодаря такому рассмотрению мы можем представить себе возможные глубины своих собственных эмоций и природу нашего подлинного существа; оценить свои склонности к великим злым и к великим добрым делам, как и побуждения для участия в них.

Рассмотрим ещё раз этот архаический миф о творении из Шумера:

"До сих пор не найдено ещё ни одного собственно космогонического текста, однако некоторые намёки позволяют воссоздать решающие моменты творения, каким его представляли себе шумеры. Богиня Намму (чьё имя передаётся пиктограммой, обозначающей изначальное море) считается «породившей Небо и Землю» и «прародительницей всех богов». Тема Изначальных Вод, воображаемых как целое, одновременно космическое и божественное, характерна для архаических космогоний. И в нашем случае тоже водная стихия отождествляется с Первоматерью, которая посредством самопорождения произвела на свет первую пару существ, Небо (Ан) и Землю (Ки), воплощение мужского и женского начал. Эта первая пара связана, вплоть до слияния, в **hieros gamos** [священном браке]. От их союза происходит Энлиль, бог воздуха. Из другого отрывка мы узнаём, что этот последний разъединил своих родителей: бог Ан поднимает небо вверх, а Энлиль забирает с собой свою мать, Землю. Космогоническая тема размежевания Земли и Неба тоже широко распространена".²⁰⁵

"Небо" и "земля" шумеров есть категории понимания, характерные для шумерской культуры, и их не нужно смешивать с "небом" и "землёй" современного основанного на опыте мышления. "Ан" и "Ки" драматически представляются Великим Отцом и Великой Матерью всех вещей (**включая их "сына", который производит их на свет**). Это несколько парадоксальное повествование первообразно: мифологии сотворения мира следуют этому образцу. Например, в "Энума элиш" – древнейшем записанном мифе, которым мы обладаем, – месопотамский герой-бог Мардук смело встречает водяного дракона-самку Тиамат (мать всех вещей, включая самого Мардука), разрезает её на куски и создаёт мир из этих кусков.²⁰⁶ Бог Мардук явно служит примером для подражания месопотамскому царю,²⁰⁷ чья работа состоит в том, чтобы обеспечивать существование и устойчивость космоса его, царя, надлежащим "нравственным" поведением, **определяемым его "подражанием" Мардуку**. В иудео-христианской традиции именно **Логос**²⁰⁸ – Слово Божие – создаёт порядок из хаоса и именно по образу **Логоса** создан человек ("Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему", Бытие, 1 : 26). Как мы увидим, у этого представления были недвусмысленные предшественники в ранней и поздней египетской космологии. Подобным же образом на Дальнем Востоке космос представляется как состоящий из взаимодействия между **ян** и **инь**, хаосом и порядком²⁰⁹ – то есть неизвестной, или неисследованной, областью и известной, или исследованной, областью. **Дао**, с восточной точки зрения, есть образец поведения, которое служит связующим звеном между ними (подобно Энлилю, Мардуку и **Логосу**) и которое постоянно порождает и возрождает "вселенную". Для восточного человека жизнь согласно Дао – это наивысшее благо, "путь" и "смысл", цель, которой подчинены все другие цели.

Наши повествования описывают мир в той мере, в какой он обладает смыслом, в какой он **означает**. Мы собираем сведения о природе мира в той мере, в какой он что-либо означает для поведения, наблюдая, как **действуем** в этом мире мы сами и как **действуют** в нём другие, которые составляют наши общественные группы. Мы делаем выводы об основных смыслах явлений, наблюдая, как мы отзываемся на них. Таким образом неизвестное становится классифицируемым, поскольку мы отзываемся на его проявления предсказуемым образом. Оно вынуждает наши **действия** и заставляет нас **чувствовать**. Оно запугивает нас до столбняка и одновременно манит нас вперёд. Оно воспламеняет наше любопытство и усиливает наши ощущения. Оно предлагает нам новое знание и большее благосостояние, возможно ценою наших жизней. Мы наблюдаем свои реакции, которые биологически предопределены, и делаем соответствующие выводы. Неизвестное внутренне **интересно** тем, как оно бесконечно ставит нас в затруднительное положение. Оно одновременно обещает и угрожает. Оно проявляется как предполагаемый первичный "источник" всех определённых сведений и как конечное единство всех различных в настоящее время вещей. Оно вечно окружает все вещи, порождает все вещи и забирает их обратно. Можно поэтому сказать, хотя и парадоксально, что мы уже **знаем** кое-что об области неизвестного: что мы что-то в нём понимаем, что мы можем как-то с ним поступать и представлять себе его, хотя оно ещё не исследовано. Эта парадоксальная способность не обиденна. Так как неизвестное представляет собой, так сказать, неискоренимую составляющую "окружающей среды", мы должны знать, что это такое, что оно означает; должны понимать его значение для поведения и знать его эмоциональную валентность.

Исследованная область есть нечто совершенно отличное. Вместо испуганного, пробного или исследовательского поведения, которое годится там, где ничто не является несомненным, тут полезны привычные и хорошо знакомые действия. Привычные и хорошо знакомые действия, как общее правило, существуют, потому что они оказались успешны; потому что их осуществления достаточно, чтобы преобразовать то, что иначе осталось бы неисследованной областью, в безопасное и плодотворное убежище. Как мы уже старались доказать, неизвестное не теряет своего **доопытного** значения для побуждения – как обещания и угрозы – из-за пассивного процесса "привыкания". Приспособление всегда **активно**. "Привыкание", кроме как в наиболее обыденном смысле, есть следствие успешного творческого исследования, которое означает порождение образцов поведения, превращающих неопределённое значение чего-либо недавно встреченного в нечто в лучшем случае положительное, а в худшем – в безразличное. Опасен огонь или полезен? Это зависит от того, как к нему подходить: то есть огонь обладает зависящей от обстановки способностью приносить и вред, и пользу. Какую из многих своих "способностей" огонь проявит на самом деле, зависит от стратегии поведения, принятой в его присутствии. Огонь согревает наши дома. Время от времени – когда мы недостаточно внимательны – он сжигает один из них дотла. Что делает огонь – то есть чем он является с точки зрения побуждения, – зависит от того, как мы с ним обращаемся.

Мы утратили свой страх перед огнём не потому, что мы к нему привыкли, а потому, что мы научились его сдерживать: потому, что мы научились точно определять и ограничивать его "внутренне" двойственную эмоциональную валентность, приспособляя к нему своё собственное поведение. Огонь – в той мере, в какой мы можем им управлять, – сделался предсказуемым, не угрожающим, даже хорошо знакомым и успокаивающим. Подобным образом – по определению – все вещи и явления, которыми мы можем управлять (что означает можем подчинить своим целям), уже стали предсказуемыми. "Территория", или "исследованная область", поэтому определяется, по крайней мере в общем случае, её **безопасностью**. Безопасная территория – это место, где мы знаем, как действовать. "Знать, как действовать" значит "быть уверенными, что наши действия в настоящем вызовут последствия, желательные в будущем". Эмоциональное значение явлений, которые входят в состав "исследованной области", уже было нанесено на карту. Эта карта представляется как история, которая описывает валентность явлений настоящего, вид желаемого будущего и средства, которые могли бы с пользой послужить тому, чтобы преобразовать первое в последнее. Любые территории, где наши истории полезны, составляют "родную почву".

Родная почва – исследованная область – это место, где незнакомых **вещей** не существует. Однако многие из "вещей" – может быть большая их часть – это другие люди. Это значит, что "исследованная область" – это также и место, где не встречается незнакомое **поведение**. На знакомой почве мы занимаемся той деятельностью, которая для нас привычна, рядом с другими,

которые делают то же самое (которые преследуют те же самые цели, чьи эмоции можно понять, чьи убеждения те же самые, что и у нас, чьи действия предсказуемы). Многое из того, что мы знаем, как делать, есть поведение, подобающее в обществе: личное поведение, видоизменённое накопленным поведением окружающих нас людей, соответствующее ему и приспособленное к нему. Слово, "исследованная" поэтому неизбежно значит та, "где человеческая деятельность предсказуема", равно как и та, "где ход «естественных» событий может быть точно установлен". Карты хорошо знакомой области поэтому в значительной части состоят из **представлений поведения**: личного поведения, которое мы проявляем сами, и поведения других людей, с которым мы постоянно сталкиваемся и к которому мы уже приспособили наше собственное. Более того, мы подсознательно наносим на карту своё собственное поведение и поведение других людей, потому что эти поведения охватывают значительную часть мира. Мы не всегда, однако, понимаем, что делаем: о наших действиях нельзя сказать, что они ясно поняты. Наше поведение чрезвычайно сложно, а психология – молодая наука. Пределы нашей поведенческой мудрости превосходят широту нашего ясного истолкования. Мы действуем и учим – и всё же не понимаем. Как это может быть, что мы можем делать то, чего не можем объяснить?

Мы уже видели, что мы можем представлять то, чего не можем понять: что мы изучаем природу неизвестного (того, что является вечно пугающим и многообещающим), наблюдая, как мы ведём себя в его присутствии. Нечто подобное происходит в отношении общества и принятого в нём поведения. Мы наблюдаем за другими, и подражаем им, и так учимся действовать. Более того, мы учимся **представлять** себе мир общества – который в значительной части **есть** исследованная область, – наблюдая действия, которые в нём имеют место; исследуя его при этом. Так возникают образцы действий, затем истории (когда природа образцов поведения была опознана и представлена повествовательным образом). Хорошая история изображает образец поведения в достаточно широкой области, где она выглядит убедительно. Отсюда следует поэтому, что величайшая из всех историй изображает образец поведения в широчайшей мыслимой области.

Подражая, мы наносим на карту приспособительное поведение – поведение, которое действительно достигает желаемой цели, – для того чтобы мы могли преобразовать непостижимое неизвестное в нечто желательное и предсказуемое; для того чтобы общественные и необщественные стороны нашего опыта оставались нам подчинёнными. Отдельные поведения, которым мы подражаем и которые мы представляем, организованные в связанное целое и разделяемые с другими людьми, составляют нашу культуру; составляют способ, которым мы привносим порядок в нашу жизнь. Наши карты приспособительного поведения содержат описания того мира, в котором это поведение проявляется, – содержат описания исследованной и неисследованной областей, – так же как и представления самих этих поведений. Истории, которые человечество рассказывает о прошлом, личном и историческом, являются выражением содержания повествовательной системы памяти, той системы, которая знает, что происходило. Истории, как правило, рассказываются об одушевлённых предметах – имеющих свои побуждения, наделённых эмоциями существах – и могут рассматриваться как описания поведения, включающие их прошлое, последствия их действий и обстановку, в которой те происходили. Истории содержат изображения итогов деятельности процедурной системы – являющейся системой, которая знает, как что-то сделать, – и выводы (явные и неявные) о существовании и природе движущих сил (неявных, несловесных, неповествовательных "предпосылок"), побужденческих и эмоциональных, которые направляют эти итоги и управляют ими. Поэтому система **знания того что** содержит сложное общественно-исторически созданное (но всё ещё отчасти "бессознательное") словесное и образное описание поведения системы **знания того как**. Это описание принимает повествовательную форму. Способность к такому его представлению возникает вследствие сложного и очень долгого хода развития, берущего начало в действии и достигающего высшей точки в создании способности к отвлечённому познанию.

Эпизодическая система памяти человека, которая порождает представления доступного опыту мира, содержит тщательно разработанную модель мира явлений, порождённого другими людьми и им самим и в значительной части состоящего из тех человеческих поведений – наиболее сложных и эмоционально уместных явлений, – с какими сталкивались в опыте. Эти представления принимают образную, драматическую, а потом повествовательную форму мифа, когда упомянутая модель создаётся в воображении, а затем описывается семантической системой. Повествовательно-мифическая "действительность" – это мир, представленный в воображении,

включающий образное представление основного для "нравственности" образца поведения, разыгрывающегося в окружающей среде, неизменно характеризующейся взаимодействием между известным и неизвестным. Эта "действительность" есть мир как место действия, а не как "место, где происходят объективные явления".

"Весь мир – театр,
В нём женщины, мужчины – все актёры.
У них свои есть выходы, уходы.
И каждый не одну играет роль".²¹⁰

До возникновения основанной на опыте методологии – которая позволила систематически разделять субъект и объект при описании – модель мира содержала отвлечённые выводы о природе существования, полученные главным образом из наблюдений человеческого поведения. Это значит, что, по существу, человек, живший до возникновения основанной на опыте науки, наблюдая "нравственность" в своём поведении и (через посредство процесса, описанного ранее) делал вывод о существовании источника этой "нравственности" в устройстве самой "вселенной". Эта "вселенная", конечно, есть **область внутреннего опыта** – эмоций, воображения и всего такого, – а не "объективный" мир, созданный умами, жившими после возникновения такой науки. Эта донаучная "модель действительности" состояла главным образом из повествовательных представлений образцов поведения (и окружающей их обстановки) и касалась прежде всего значения событий и процессов как побудительных причин. По мере того как эта модель становилась более отвлечённой – по мере того как семантическая система анализировала знания, представленные в повествовательной форме, однако не "понятые", – человек создавал богатые образами "предположения" о природе "идеального" человеческого поведения в "первобытной" окружающей среде. Эта первобытная окружающая среда состояла (состоит) из трёх областей, которые легко делаются тремя "личностями".

Неизвестное есть неисследованная область, природа, бессознательное, сила Диониса, **Оно (ид)** Фрейда, Великая Мать-богиня, царица, утроба, праматерь, вместилище, то, что должно быть оплодотворено, источник всех вещей, странное, чувственное, чужое, место возвращения и покоя, утроба земли, брюхо зверя, дракон, злая мачеха, море, плодородная, беременная, долина, трещина, пещера, ад, смерть и могила, луна (владычица ночи и таинственной тьмы), неудержимая эмоция, материя и земля.²¹¹ Любая история, которая упоминает или намекает на любое из этих явлений, тотчас же вызывает их все. Могила и пещера, например, обе означают разрушительную сторону материнского: боль, горе и утрату – глубокую воду и тёмные леса. Источник в лесу (вода и леса с их взаимоисключающей стороны), напротив, напоминает об убежище, мире, возрождении и восполнении.

Тот, кто познаёт, есть творческий исследователь, фрейдовское **эго**, "Я", глаз, половой член, плуг, субъект, сознание, озарённый или **просвещённый** человек, плут, шут, герой, трус, дух (как противопоставляемый материи, как противопоставляемый догме), солнце, сын неизвестного и известного (сын Великой Матери и Великого Отца).²¹² Главное действующее лицо в истории должно играть роль героя или обманщика; должно представлять солнце (или, напротив, его противника – ту силу, что вечно противится "владычеству света").

Известное есть исследованная область, культура, аполлоновское управление, фрейдовское **сверх-Я (суперэго)**, совесть, разумное, царь, праотец, мудрый старик и деспот, исполин, великан-людоед, циклоп, порядок и сокрушительная тяжесть традиции, догма, дневное небо, крестьянин, остров, холмы, духи предков и деятельность умерших.²¹³ Власть и её опасность играют главные роли в интересных рассказах, потому что человеческое общество иерархично и потому что организованный общественный мир вездесущ. Власть и сила проявляются, явно или неявно, во всех человеческих отношениях; мы не можем жить – никогда и не жили – без других людей. Наличие "силовых" отношений и власти – вечно бросающая вызов необходимая постоянная черта человеческого жизненного опыта.

Неизвестное – это **ян**, холодное, тёмное и женственное; известное – **инь**, тёплое, светлое и мужественное; тот, кто познаёт, – это человек, живущий согласно **Дао**, на лезвии бритвы, на прямом и узком пути, на правильной дороге, в смысле, в царстве небесном, на вершине горы, распятый на ветвях мирового древа. Это человек, который добровольно выкраивает пространство между природой и культурой. Истолкование слов по отношению к этим прообразам:

неизвестному, тому, кто познаёт, и известному – осложнено тем, что их значения меняются: **земля**, например, есть неизвестное (женственное) по отношению к небу, но известное (мужественное) по отношению к воде; **дракон** – женственное, мужественное и субъект познания одновременно. Эта способность значений изменяться не является нелогичной, она просто не является "подходящей".²¹⁴ Значение слов бесконечно преобразуется при изменении истолковательного контекста: оно отчасти определяется этим контекстом (этой системой отсчёта, этой историей). Одно и то же слово в двух предложениях – одном, например, ироническом, а другом – имеющем прямой смысл – может иметь два совершенно различных, даже противоположных, значения. Подобным же образом предложение, вырванное из контекста отрывка, может быть истолковано каким-то образом, который совершенно чужд намерениям того, кто его написал. Допущение зависимости значения от контекста, не является нелогичным, не служит признаком неряшливого рассуждения и не является чем-то первобытным. Оно есть только признание того, что контекст определяет значение и смысл встречающихся в нём слов. Зависимость значения и смысла данного символа от контекста, однако, затрудняет его истолкование, в особенности, когда он удалён из своего созданного культурой окружения или среды.

Неизвестное, известное и тот, кто познаёт, имеют потрясающую эмоциональную двухвалентность: область природы, Великая Мать, содержит всё творческое и разрушительное, так как создание и разрушение неотделимы. Старое должно умереть, уступить дорогу новому, должно быть уничтожено; таинственный источник всех вещей (то есть неизвестное) есть также их конечное место назначения. Подобным же образом область культуры, Великий Отец, есть одновременно и непрерывно тирания и порядок, потому что безопасность личности и собственности всегда приобретается за счёт неограниченной свободы. Вечный субъект познания, человек, тот, кто познаёт, также пребывает в разладе с самим собой: маленький бог земли есть также смертный червь, мужественный и малодушный, героический и лживый, обладающий великими и опасными способностями, знающий добро и зло. Неизвестное, по определению, не может быть описано. Известное слишком сложно, чтобы быть понятым. Тот, кто познаёт – отдельный наделённый сознанием человек, – подобным же образом бросает вызов своей собственной способности к пониманию. Взаимодействие между этими в конечном счёте непостижимыми "силами", тем не менее, есть мир, в котором мы действуем, к которому нам нужно приспособливаться. Мы придали форму нашему поведению, расчленив его на естественные категории²¹⁵, отражающие эту форму.

"Дао существовало до его имени,
а из его имени развились противоположности,
дающие начало трём разделениям,
а затем – именам в изобилии.
Принимай эти вещи восприимчиво,
достигая внутренней гармонии,
и посредством их единства создавай
внутренний мир человека".²¹⁶

Мифологический мир – который есть мир как драма, история, место действия, – по-видимому, образуется тремя составляющими и "четвёртой", которая предшествует этим трём, следует за ними и окружает их. Эти составляющие с их самой основной системой взаимоотношений, изображены на рисунке 17 "**Составляющие опыта**". Этот рисунок можно было бы умозрительно представить как три диска, положенные стопкой один на другой и "покоящиеся" на каком-то бесформенном фоне. Этот фон – хаос, конечный источник и место назначения всех вещей, – окутывает "мир" и включает всё, что сейчас является самостоятельным и опознаваемым: субъект и объект; прошлое, настоящее и будущее; "сознательное" и "бессознательное"; материю и дух. Великие Мать и Отец – прародители мира (соответственно, неисследованная и исследованная области, природа и культура) – могут с пользой рассматриваться как изначальные "потомки" первобытного хаоса. Великая Мать – неизвестное, как оно проявляется в опыте, – это божество женского пола, всё рождающее и всё пожирающее. Она непредсказуема, когда с ней сталкиваешься, и поэтому отличается одновременно крайней положительной и крайней отрицательной валентностью. Великий Отец есть порядок,

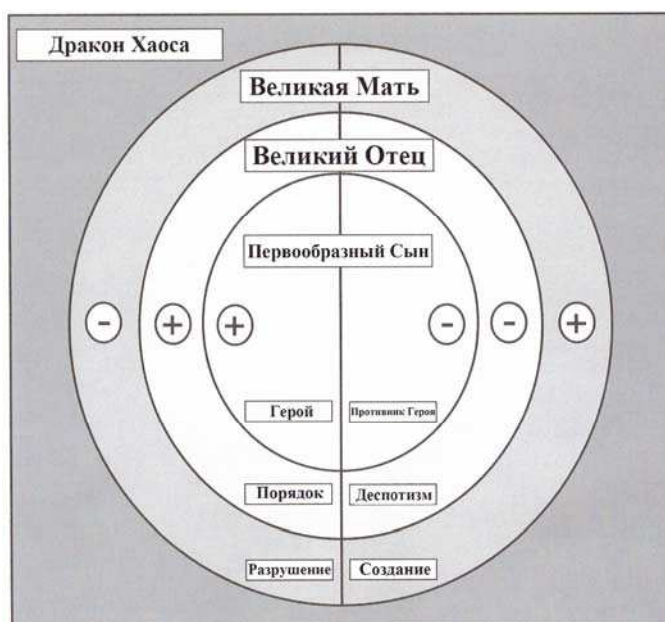


Рисунок 17

противопоставленный хаосу; цивилизация, воздвигнутая против природы и с помощью природы. Он – благожелательная сила, которая защищает людей от бедственного столкновения с тем, что ещё не понято; стены, что окружали взрослеющего Будду и заключали в себе еврейский Эдем. Несмотря на это, однако, Великий Отец – тиран, который не допускает возникновения (или даже предположительного существования) чего-либо нового. Первообразный Сын есть дитя порядка и хаоса – культуры и природы – и поэтому он, очевидно, их плод. Парадоксально, однако, что в качестве божества, которое отделяет землю (мать) от неба (отца), он является также процессом, который даёт начало своим "родителям". Это парадоксальное положение появляется потому, что существование установленного порядка и неисследованной области, определённой в противопоставлении к этому порядку, может возникнуть только в свете сознания, которое есть та способность, что знает (и не знает). У Первообразного Сына, как и у его "родителей", есть положительная сторона и отрицательная сторона. Положительная сторона непрерывно воссоздаёт определённую территорию вследствие "усвоения" неизвестного, то есть как следствие "кровосмесительной" (то есть "половой" – читай **творческой**) связи с Великой Матерью. Отрицательная сторона отвергает или уничтожает всё, чего она не понимает или не хочет понимать.



Рисунок 18

Рисунок 18 "Олицетворённые положительные составляющие опыта"²¹⁷ изображает французскую скульптуру пятнадцатого века "Дева открывающаяся", которая представляет "составляющие мира" в олицетворённом и исключительно положительном виде. Олицетворение этого рода является правилом; решительное исключение или включение в соответствии с валентностью (все "плохие" части; все "хорошие" части) почти так же обычно. Все **положительные** явления, в конце концов, разумно понимаются как сходные, или тождественные, а подобно им – и все **отрицательные**. Отчасти именно по этой причине ужас неведомого, тирания государства и злая сторона человека "заражены" друг другом: по той причине, что дьявол и незнакомец легко воспринимаются как одно и то же. "Дева открывающаяся" – странное, с обычной христианской точки зрения, произведение искусства, так как она изображает Марию, "матерь Божию", как высшую, в сравнении с Богом Отцом и Христом, его сыном. Это высшее её положение совершенно обоснованно с более общей мифологической точки зрения, хотя оно и не является **единственным** обоснованным. Каждая "составляющая опыта" может рассматриваться как предок или как потомок относительно любой другой (так как прародители мира родят своего божественного сына; так как этот божественный сын отделяет друг от друга прародителей мира; так как порядок есть производное хаоса; так как хаос определяется порядком). Поэтому наиболее хорошо знакомая христианская "последовательность порождения" (которая могла бы выглядеть как Бог, Мария, Христос) есть только одна из многих "обоснованных" последовательностей (и даже не является единственной, которая служит отличительным признаком христианства).

Мир опыта, в итоге, состоит из известного – исследованной области – в парадоксальном сопоставлении с неизвестным – неисследованной областью. Первобытные представления о "действительности" предполагают, что хорошо знакомый мир есть священное пространство, окружённое хаосом (населённым по-разному: бесами, пресмыкающимися, духами и варварами, ни один из которых **неотличим** от других). Мир порядка и хаоса можно было бы рассматривать как театр для человека, точнее сказать, для спаренных сторон человека: той стороны, которая спрашивает и исследует (которая сознательно расширяет область и структуру порядка, культуру), и той, которая противится такому расспрашиванию, исследованию и преобразованию. Великая история, следовательно, может быть названа пьесой "Добро **против** зла", разыгрываемой на фоне бесконечного потока жизни, в той мере как она осмысленна. Силы "добра" имеют вечный характер (тем же самым образом, что и платоновские предметы вечно представлены в наднебесном пространстве); к несчастью, так же обстоит дело с силами "зла". Эта вечность имеет место потому, что, по существу, все члены вида "человек разумный" равноценны, равны перед Богом: мы находим себя уязвимыми, смертными существами, заброшенными во вселенную, стремящуюся к нашему созданию и защите – и к нашему превращению и уничтожению. Наше "отношение" к этой противоречивой вселенной может принять только один из двух первообразных видов: положительный или отрицательный. Точная природа этих двух видов (которые могут рассматриваться только как сложные "личности") – и фона, на котором они работают, – представляет собой главную тему мифа (и, да позволено будет сказать, надлежащую тему гуманитарных наук и изобразительных искусств).

Разбор ряда мифов – ряда, который (как я хотел бы доказать) лежит в основе самой западной цивилизации, – должен сделать всё это до боли самоочевидным. Мы начнём с обсуждения "**Энума элиш**". Это месопотамское предание о творении, которое тщательно разрабатывалось и усложнялось в ходе многочисленных столетий, является наиболее древним из полных космогонических мифов, находящимся в нашем распоряжении. От шумеров мы обратимся к древнеегипетской космологии; затем от этих конкретных примеров – к более общему обсуждению мифологических представлений.

2.3.2. "**Энума элиш**": всеобъемлющий образец повествовательного распределения по категориям

Мифы о творении обычно считаются первобытными или суеверными попытками осуществить чудеса современной науки. Мы предполагаем, что наши предки пытались делать то же самое, что и мы, когда мы создаём свои космологические теории, и описывать порождение объективного мира. Это предположение ошибочно. Наши предки не были настолько бесхитростными, как мы полагаем, а их теории образования космоса не были просто первобытной наукой. Первобытные теории творения пытались объяснить существование мира, как

испытываемого в целостности (что означает, включая **значения**), а не только отдельный факт существования материального мира. Мир как испытываемый в целостности состоит из материальных явлений, с которыми мы хорошо знакомы, и валентностей, которые мы считаем вторичными; из объектов опыта и субъекта, который его испытывает. Мир, возбуждённый к жизни в первобытных мифах о творении, – это скорее мир явлений, чем материальный мир: он содержит в себе весь опыт, включая те явления, которые мы сейчас рассматриваем как чисто субъективные. Первобытный ум ещё не научился забывать то, что важно. Поэтому древние рассказы о порождении мира сосредоточиваются скорее на всей действительности, чем на тех далёких и отвлечённых её сторонах, которые мы рассматриваем как чисто объективные.

Науку можно было бы рассматривать как "описание мира в отношении тех его сторон, которые вызывают общее согласие и понимание" или же как "точное определение наиболее полезного способа достижения цели (при условии, что определённая цель задана)". Повествование – в основном миф – может более точно рассматриваться как "описание мира, насколько он имеет **значение (для действия)**". Мифическая вселенная – это **место, где надо действовать**, а не **место, где надо воспринимать**. Миф поэтому описывает явления с точки зрения их единственной в своём роде или общей с другими явлениями эмоциональной валентности, их ценности, их значения для побуждения. Если мы можем рассказать (или разыграть) о чём-то историю, то уже можно сказать, что мы нанесли это явление на карту, по крайней мере частично. Мы рассказываем истории о неизвестном, о том, кто познаёт, и об известном, и о нас можно поэтому несколько парадоксально сказать, что мы уже приспособились к непредсказуемому, к **тому обстоятельству**, что мы можем приспособиться к непредсказуемому – и к самой исследованной области, где всё уже безопасно. Хотя неизвестное поистине неизвестно, его можно рассматривать как обладающее, в широком смысле, устойчивыми особенностями. Эти особенности открываются **в действиях, которые мы предпринимаем в ответ на появление неожиданных явлений**.

Мир, как он испытывается в опыте, образуют: во-первых, все явления, с которыми мы знакомы и которые мы классифицировали в соответствии с их уместностью; во-вторых, все явления, с которыми мы незнакомы и которые полностью обладают своей уместностью; и в-третьих, процесс, который служит связующим звеном между этими двумя классами явлений, превращая незнакомое в знакомое, а, иногда, делая предсказуемое странным. Область незнакомого, или неведомого, можно было бы рассматривать как конечный источник всех явлений, так как мы порождаем всё наше определённое знание в результате исследования того, чего мы не понимаем. Равным образом, однако, процесс исследования должен рассматриваться как плодотворный, так как ничто хорошо знакомое не может быть порождено из непредсказуемого при отсутствии исследовательской деятельности и понимания. Область известного – создаваемая в ходе исследования – это хорошо знакомый мир, суша, отделённая от материнского моря хаоса. Эти три области входят в состав основных строительных "кирпичей" первобытного мифа. Мы уже ранее кратко обсуждали шумерский миф о творении, описывающий "мир" как следствие отделения друг от друга космических родителей, **Ан** (Неба) и **Ки** (Земли), **Энлилем** – их сыном и богом воздуха. Древние египтяне рассматривали положение подобным же образом:

"Подобно многим другим традициям, египетская космогония начинается с возникновения холма из первичных вод. Появление этого «Первого Места» над необъятными водными просторами означало возникновение земли, но также и начало света, жизни и сознания. В Гелиополе место, называвшееся «Песчаный Холм» и являвшееся частью храма солнца, считалось первичным холмом. Гермополис был знаменит своим озером, на котором взошёл космогонический лотос. Но и другие местности претендовали на ту же честь. Действительно, каждый город, каждое святилище рассматривались как Центр Мира, место, где началось Творение. Первичный холм становился иногда космической горой, на которую взбирался фараон для встречи с богом солнца.

В других версиях говорится о первичном яйце, в котором находилась «Птица Света» («Тексты саркофагов» – Coffin Texts, vol. 4, 181sq.), или о первичном лотосе, породившем Дитя-Солнце, или, наконец, о первобытном змее, первом и последнем образе бога Атума (в главе 175 «Книги мёртвых» читаем: когда мир вернётся в состояние хаоса, Атум снова станет змеем. В Атуме мы можем признать верховного и скрытого бога, в то время как Ра, Солнце –

это прежде всего открытый бог; ср. 32). Фазы Творения: космогония, теогония, создание живых существ и т. д. – представлены по-разному. В соответствии с солнечной теологией Гелиополя, города, расположенного в верховье дельты, бог Ра-Атум-Хепри [три вида солнца, соответственно, полуденное, заходящее и восходящее] создал первую божественную чету – Шу (Воздух) и Тефнут, которые стали родителями бога Геба (Земля) и богини Нут (Небо). Демиург осуществил акт творения, мастурбируя или выплюнув слюну. Эти выражения простодушно грубы, но их значение ясно: божества рождаются из самого вещества верховного бога. Так и в шумерской традиции Небо и Земля находились в непрерывном священном браке (**hieros gamos**), пока их не разделил Шу, бог воздуха [в других подобных преданиях Пта]. От их союза родились Осирис и Исида, Сет и Нефтида – герои трогательной драмы, к которой мы обратимся позже".²¹⁸

Первобытные мифы о творении обычно описывают происхождение мира как следствие одного или более из двух связанных между собой событий. Вселенная была, например, символически порождена действиями первобытного обоеполого божества. В других мифах она появилась от влияния друг на друга несколько более отличающихся мужского и женского духов или начал (часто потомков самого изначального бога): возникла, например, от взаимодействия неба, чаще всего связанного с отцом, и земли, которой, как правило, но не всегда придавался женский характер. Образы последнего рода скрыто запечатлены в древнейшем (яхвистском) мифе о творении в хорошо знакомой книге Бытия из Ветхого завета. Яхвистский рассказ начинается в четвёртом стихе второй главы книги Бытия и описывает Бога мужского пола, вдвухающего жизнь (дух) в **адаму**, мать-землю, создавая таким образом первоначального (двуполого) человека, Адама.²¹⁹ В других, взаимоисключающих, более оживлённо драматических сообщениях – таких, как рассказ в "**Энума элиш**", вавилонском мифе о творении, – творец, создатель мира, убивает дракона, или змея, и строит вселенную из частей его тела. Эти две формы рассказа, внешне очень различные, имеют, так сказать общий грамматический строй; используют метафоры, которые тесно связаны, психологически и исторически, чтобы донести до читателя или слушателя их основную мысль:

"В вавилонском гимне о творении «**Энума элиш**» («когда вверху»²²⁰), записанном около 650 года до н. э., в его единственной сохранившейся форме, происходящей из традиции, по меньшей мере, на две тысячи лет более древней, бог пресноводного моря Апсу был убит, и его вдова Тиамат, богиня «горьких» или солёных вод, угрожала богам уничтожением. Мардук, борец за дело богов, убил её и разделил её надвое, создав небо из одной половины, а землю – из другой. Подобным же образом творение в книге Бытия начинается с «тверди небесной», отделяющей воды, которые над ней, от вод, которые под ней, но сменяющей мир, который был пустыней (**tohu**) и пуст, и тьма была над бездною (**tehom**). О выделенных древнееврейских словах говорят, что они одного происхождения с Тиамат, и в Ветхом завете имеется много других намёков на то, что сотворение мира было убийством дракона или чудовища..."²²¹

Легко – или, по крайней мере, кажется, что легко, – понять, почему ум, живший до возникновения основанной на опыте науки, мог часто связывать создание всего с женственностью – с источником новой жизни через посредство рождения (очевиднейшим образом, причиной и конкретным источником происхождения всех живых существ). Роль мужчины в первоначальном творении – точнее сказать роль, которую играет "мужское начало", – сравнительно трудно понять, как раз потому, что роль мужчины в произведении потомства является более тонкой. Тем не менее наиболее широко распространённые мифы о творении – и, как можно доказать, наиболее убедительные и важные, – по существу, меняют на обратный обычный порядок мифического происхождения и ставят особое ударение на роли мужского начала. В иудео-христианской традиции сотворение мира зависит от существования и действия **Логоса**, мифического отличительно мужского сознания или исследовательского духа, неразрывно связанного со способностью к языку, – со Словом, как утверждает Св. Иоанн (в том, что, может быть, было предназначено составить начальное заявление Нового завета, структурно подобное началу книги Бытия²²²):

"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
 Оно было в начале у Бога.
 Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
 В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков.
 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его." (Иоанн, 1 : 1 – 5).

Явное ударение, поставленное иудео-христианской традицией на первенстве слова и на том, что ему метафорически равноценно, делает её до некоторой степени единственной в своём роде среди мифов о творении. Древние евреи, возможно, были первыми, кто ясно утверждал, что деятельность в мифической мужской области духа как-то неотъемлемо связана с созданием и установлением опыта как такового. Невозможно понять, почему иудео-христианская традиция обладала такой огромной силой – или понять природу отношения между душой и миром, – не подвергая анализу смысловую сеть, которая составляет учение о Слове.

Существует ясное психологическое предвосхищение философии древних евреев (и более поздних христиан) в месопотамской и египетской школах метафизических размышлений: в их обрядах, образах и отвлечённых словесных представлениях. Месопотамский миф о творении – "Энума элиш", – который мы рассмотрим первым, изображает возникновение древнейшего мира как следствие (половой, порождающей, созидательной) связи первобытных божеств **Апсу** и **Тиамат**. Апсу, божество мужского пола, **породил** небо и землю до их распознавания как таковых (до того как они были названы). Тиамат, "та, что родила их всех,"²²³ была его супругой. Первоначально Апсу и Тиамат существовали неразличимо друг от друга, "ещё смешаны были их воды вместе"²²⁴, когда "ещё не было создано никакой пастбищной земли, и даже тростниковой топи не было видно; когда ни один из других богов не был вызван к жизни, когда они ещё не были названы своими именами, а их судьбы ещё не были решены..."²²⁵ Их, Апсу и Тиамат, **уроборский** союз послужил источником, из которого произошли более различённые, но всё ещё основные устройства и процессы, или духи: "в то время были боги созданы с ними".²²⁶ "Докосмогоническое яйцо", "обитаемое" Тиамат и Апсу, дало начало исходному "миру богов". Этот процесс схематически изображён на рисунке 19 "**Рождение мира богов**".

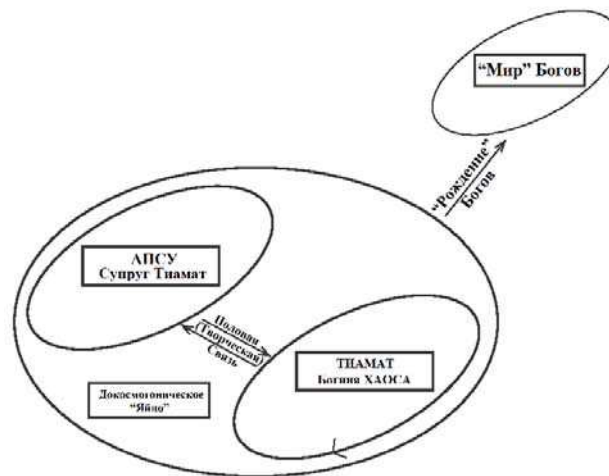


Рисунок 19

Для современного ума месопотамские боги – подобно божествам, почитаемым повсюду, – представляются какой-то тайной. Первобытные культуры изобилуют божествами. Сейчас мы, по-видимому, неспособны определить их местонахождение. Они не кажутся частью объективного внешнего мира. Невольно напрашивается, следовательно, выход – рассматривать такие существа как образные построения – как олицетворения субъективных эмоциональных состояний или побуждений; как разновидность воплощённого субъективного переживания. Слово "олицетворение", однако, подразумевает сознательное действие, означает использование

метафоры личностью, побуждаемой представлять и знающей, что она представляет. Нет, однако же, никакого указания на то, что донаучное божество возникает именно в результате **сознательного создания**; в действительности, по сути, противоположное кажется более истинным: именно действие божества полагает начало творческой попытке создающего субъекта как таковой. Бог поэтому должен быть чем-то большим, нежели творящий субъект; большим, чем первоначальное повествовательное представление субъекта о самом себе.

Явления, которые мы сейчас описали бы как эмоции или движущие силы, с точки зрения нашего современного сравнительно развитого и обострённого самосознания не кажутся воспринимаемыми именно как "внутренние" в их первоначальном виде. Вернее сказать, они появлялись как неотъемлемая часть опыта (события или последовательности событий), который положил им начало, и первоначально принимали изобразительную форму в образном воплощении. Современное представление о "раздражителе" можно рассматривать как остаточный пережиток этой формы мышления – формы, которая предоставляет эмоциональное и поведенческое управление предмету опыта (или которая не отличает отклик на раздражитель от самого раздражителя). Мы как взрослые больше не думаем "анимистически", разве что в минуты слабости или повышенной игривости, потому что приписываем побуждения и эмоции нашим собственным действиям, а не (как правило) тому раздражителю, который непосредственно даёт им начало. Мы отличаем явление от смысла этого явления, потому что мы выучены основанному на опыте мышлению и экспериментальному методу и извлекаем из них пользу. Мы не приписываем силу побуждения и эмоциональную силу "предмету опыта" и оставляем его в его чисто чувственном и общем для всех людей виде; можем отличать то, **что есть мы**, и то, **что есть внешний мир**. Донаучный ум не мог (и не может) делать это, по крайней мере последовательно; не мог достоверно отличать **предмет опыта и его воздействие на поведение**. Именно этот предмет и его воздействие в совокупности составляют бога (точнее сказать, именно **класс** предметов и их воздействий составляют бога).

Бог, рассматриваемый таким образом, – более определённо, могущественный и влиятельный бог; бог с историей, – это способ, которым группа или семейство раздражителей, значения которых для побуждения изоморфны, открывается общему (передаваемому друг другу) воображению данной культуры или захватывает его. Такое представление есть (с более поздней, основанной на опыте точки зрения) своеобразная смесь духовных и общественных явлений с объективной "действительностью" – неразличённая в себе смесь субъекта и объекта (эмоций и чувственного опыта), межличностная по своей природе (так как она является исторически разработанным "построением" и общим опытом воображения). Первобытное божество, тем не менее, служит точным изображением основы бытия, так как оно есть эмоция и субъективность, равно как и чистый объект (прежде чем эти две противоположности должным образом очищены или разделены): потому что оно есть скорее первобытное **переживание**, чем простое первобытное **явление**.

Первоначальные "дети Тиамат и Апсу" – "старшие боги" – должны поэтому рассматриваться как воплощения первобытных межличностных "внутридушевных" явлений, которые полагают начало человеческому побуждению, так же, как и те "стороны объективного мира", которые приводят в действие эти внутридушевные "устройства". Шумеры считали себя предназначенными "одевать и кормить" таких богов, потому что они рассматривали себя, в известном смысле, как "слуг" этих бессознательных сил, "вызываемых окружающей средой". Такие силы можно разумно рассматривать так, как их рассматривали шумеры, то есть как божества, населяющие "наднебесное место", существовавшее до начала человечества. Например, любовное влечение – могущественное божество, – имеющее историю развития, которая предшествовала возникновению человечества, связано с относительно "врождёнными" освобождающими "раздражителями" (отличающими чувственную красоту), обладает ужасной силой и живёт жизнью, "превосходящей" жизнь любой личности, которая в настоящее время "одержима" таким влечением. **Пан**, греческий бог природы, вызывал или представлял страх (вызывал "панику"); **Арес**, или римский **Марс**, – воинственную ярость и вызывающее поведение. Мы более не олицетворяем такие "инстинкты", кроме как в целях литературного украшения, поэтому мы не думаем о них, как о "существующих" в каком-то "месте" (например, вроде неба). Но метафорическое представление, что такие инстинкты населяют какое-то пространство – и что в этом пространстве происходят войны, – заряжено безмерной силой и обладает объяснительной полезностью. Межличностные движущие силы и в самом деле ведут долгу и

непрекращающуюся борьбу друг с другом; они вынуждены, каждая из них, приходить к соглашению со своими могущественными "противниками" во внутридушевной иерархии. Битвы между различными "образами жизни" (или различными философиями) вечно отличают человеческое общество, могут быть с пользой наглядно представлены как бои между разными мерилami ценностей (и, следовательно, разными иерархиями побуждений). "Силы", вовлечённые в такие войны, не умирают, так как они "бессмертны": люди – "пешки богов" в подобные времена – не так удачливы.

Вернёмся к "Энума элиш". Вторичные или патриархальные божества месопотамского небесного пантеона – включая пары **Лакхму** и **Лакхаму**, а также **Кишар** и **Аншар** – возникают как прямое следствие взаимодействий первоначального, полового "единения" Тиамат и Апсу, самой главной пары. Это неразличённое "докосмогоническое яйцо" (общая метафора в других мифах о творении) "содержит" сплав "порядка", представляющего собой "мужское" начало, и "хаоса", представляющего "женское" начало. Этот сплав – "прародители мира", соединённые в "созидательном объятии" (есть "дух" и "материя", представляемые попеременно, по-прежнему являясь "одной сущью"). Союз Тиамат и Апсу даёт начало их детям – изначальным "инстинктам", или "силам жизни", которые, в свою очередь, порождают существа, более наделённые личностью. Сам гимн "Энума элиш" не тратит много времени, облакая плотью отдельные отличительные черты этих "сил жизни", так как он "сосредоточивается" на более общей истории. Лакхму и Лакхаму, а также Кишар и Аншар – это случайные образы, служащие только посредниками между действительными главными действующими лицами драмы – Мардуком, запоздало рождённым, наделённым подобием личности "богом", и Тиамат, его "матерью"-перебежчицей. Кишар и Аншар поэтому годны только на то, чтобы стать родителями **Ану**, который, в свою очередь, "породил Эа"²²⁷, своё подобие, "владыку своих отцов"²²⁸, "обширного пониманием, мудрого, могучего силой, много сильнее его деда, Аншара"²²⁹, не имеющего "соперника среди богов, его братьев"²³⁰.

Старшие боги, в целом, годны только для того, чтобы размножаться и шуметь. Их непрерывный шум и передвижение огорчают их божественных родителей; приводят в беспорядок "внутренности Тиамат"²³¹. Поэтому Тиамат и её супруг Апсу сговариваются "пожрать" своих детей. Это обычное в мифах явление: явление, эхо которого "позднее" отдаётся в истории о Яхве, Ное и всемирном потопе. "Боги" порождают космос, но непрестанно пытаются его уничтожить.

Эа, однако, пронюхивает о заговоре своих родителей и убивает Апсу, и добавляет оскорбление к несправедливости, строя дом на его останках (и называя тот дом Апсу, в насмешку или в память об убитом). В этот дом он приводит свою невесту, **Дамкину**, которая вскоре родит Мардука, героя этой истории, "мудрейшего из мудрых, мудрейшего из богов"²³², исполненного "внушающего благоговейный трепет величия"²³³. Когда Эа увидел своего сына:

"Он возрадовался, он просиял, его сердце наполнилось радостью.
Он отличил его и даровал ему двойное равенство с богами,
Так что тот был высоко превознесён и превосходил их во всём.
Хитро устроены, выше всякого понимания, были его члены,
Непригодны для человеческого понимания, тяжело было на них смотреть.
Четыре было у него глаза, четыре было уха.
Когда его губы двигались, вспыхивал огонь.
Каждое из четырёх его ушей выросло большое,
И также и его глаза, чтобы всё видеть.
Он был превознесён среди богов, превосходящ был его вид;
Его члены были громадны, он превосходил всех высотой.
Мариюту, Мариюту:
Сын бога солнца, бог-солнце богов!"²³⁴

Мардук отличается метафорическими спутниками сознания. У него преувеличенные чувственные способности; сами его слова отличаются созидательной и разрушительной силой (преобразовательной способностью огня). Он, прежде всего, "бог солнца", что означает, что он уподобляется "взгляду", "зрению", "освещению", "просвещению", "рассвету", "устранению тьмы" и "концу ночи" или, точнее сказать, занимает то же самое "категориальное пространство".

Посреди всего этого действия – планов войны, смерти, рождения – **Ану** (дед Мардука, отец Эа) порождает четыре ветра. Они поднимают волны на поверхности вод, занимаемых Тиамат и (ранее не известными) первичными или матриархальными божествами низшего порядка, которые, видимо, сопутствуют ей там. Это новое вторжение нестерпимо беспокоит её, уже расстроенную шумом её потомства и смертью супруга. Она решает раз и навсегда избавить вселенную от вызывающих раздражение вторичных или патриархальных старших богов и начинает создавать ужасных "воинов", чтобы они помогали ей в битве:

"... родив чудовищных змеев,
С острыми зубами и беспощадными клыками.
Ядом вместо крови наполнила она их тела.
Свирепых драконов облекла она ужасом,
Увенчала их внушающим страх сиянием и сделала их подобными богам,
Так что тот, кто взглянул бы на них, должен был погибнуть от ужаса".²³⁵

"Разгневанная" Тиамат – неизвестное, хаос, рассматриваемый с его ужасной, или разрушительной, стороны, – создаёт одиннадцать видов чудовищ, чтобы они помогали ей в битве – включая гадюку, дракона, огромного льва, бешеную собаку, человеко-скорпиона и демона бури, – и избирает своего первенца, по имени **Кингу**, царствовать над всеми ими, дав ему "таблицы судеб"²³⁶, чтобы обозначить его приход к власти и владычество. История продолжается:

"После того как Тиамат серьёзно подготовилась,
Она была готова вступить в битву с богами, её потомками.
Чтоб отомстить за Апсу, она сотворила это зло.
Как она приготовилась к нападению, открылось Эа.
Когда Эа услышал об этом,
Он оцепенел от страха и сидел в безмолвном унынии.
После того как он поразмыслил об этом, а его гнев утих,
Он пошёл к его [пра]деду, Аншару.
А когда он пришёл к Аншару,
Он сообщил ему всё, что затеяла Тиамат".²³⁷

Вы могли бы вспомнить, что именно Эа убил Апсу. Ну, хотя Апсу не был хорошо описан в "Энума элиш", ясно, что он был мужчиной-супругом Тиамат. Мужчиной-супругом неизменно является "бог известного" (или его "прародитель" и подчинённый, **тот, кто познаёт**). Именно "известное" служит защитой от "неизвестного", понимается это или нет. Эа "убивает" Апсу: это означает, что он "бессознательно" лишает себя защиты.

Эа мог бы поэтому небезосновательно рассматриваться как представитель той части человечества, которая вечно (и невежественно) презирует традицию и готова подорвать или уничтожить эту традицию, не понимая её необходимости или природы. Те, кто "бессознательно" защищён от внешнего мира "стенами культуры", могут раздражаться ограничениями, которые такие стены представляют, и неосторожно их снести. Это разрушение, замаскированное под удар в борьбе за свободу, позволяет ужасному неизвестному потоком хлынуть обратно. "Великая Мать" – это ужасная сила в отсутствие "патриархальной" защиты. "Энума элиш" неявно доказывает это жизненно важное утверждение. Это положение дел схематически представлено на **рисунке 20 "«Смерть» Апсу и (повторное) появление Тиамат как угрозы"**.

Аншар ужасно огорчён новостью о гневе Тиамат. Он просит Эа, который сразил Апсу, выступить против Тиамат. Эа заслуженно терпит неудачу, и Аншар посылает вместо него Ану. Тот также обращён в бегство и возвращается, охваченный ужасом. В отчаянии Аншар и Эа вызывают к своей последней надежде – Мардуку, юному богу солнца:

"Эа позвал Мардука в свою потайную комнату;
Он посоветовал ему, сказав ему замысел своего сердца:
«Мардук, подумай над моей мыслью, послушай твоего отца.
Ты, мой сын, тот, кто облегчает его душу;
Подойди близко к Аншару, готовый к бою;

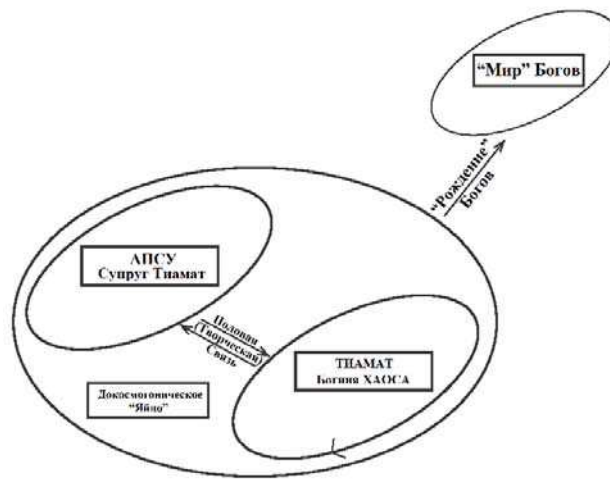


Рисунок 20

Заговори и выступи вперёд; когда он тебя увидит, он успокоится».
 [Мардук] обрадовался словам своего отца;
 Он приблизился и встал перед Аншаром.
 Когда Аншар увидел его, его сердце наполнилось радостью.
 Он поцеловал Мардука в уста, его страх прошёл.
 «Аншар, не молчи, а открой свои уста;
 Я пойду и совершу всё, что у тебя на сердце!
 Что за мужчина поднял битву против тебя?
 Тиамат, женщина, выходит против тебя с оружием!
 Отец мой, создатель, радуйся и возвеселись;
 Скоро ты попрёшь ногой шею Тиамат!
 Да, отец мой, создатель, радуйся и возвеселись;
 Скоро ты попрёшь ногой шею Тиамат!»"

Аншар отвечает:

"Мой сын, ты, кто знает всю мудрость,
 Успокой Тиамат твоим священным заклинанием".²³⁸

"Волшебные слова" Мардука (вспомните, он говорит огнём) ясно и разумно изображены как одно из наиболее мощных средств в битве против сил хаоса. Аншар продолжает:

"«На колеснице бури быстро следуй по своему пути!
 [...]... обрати её вспять!»
 Владыка обрадовался словам своего отца;
 Его сердце возликовало, и он сказал своему отцу:
 «Владыка богов, судьба великих богов,
 Если я, поистине, должен быть твоим мстителем,
 Победить Тиамат и сохранить тебя в живых,
 Сзови собрание и **провозгласи мой жребий высшим**
 [жирный шрифт добавлен автором книги].
 Когда вы радостно усядетесь во Дворе Собрания,
 Пусть я высказыванием своих уст буду решать судьбы вместо тебя.
 Что бы я ни создал, должно остаться неизменным,
 Мой приказ не должен повторяться... он не должен изменяться»".²³⁹

Александр Гейдель – который создал цитируемый перевод "Энума элиш" – замечает:

"Мардук требует высшей и неоспоримой власти в качестве цены за то, что он будет подвергать свою жизнь опасности в бою с Тиамат. Поэтому когда боги собирались во Дворе Собрания на новогодний праздник (см. обсуждение этого ниже), «они почтительно являлись к Мардуку, «царю богов неба и земли» и решали судьбы мира. Боги на самом деле продолжают «определять судьбы» долгое время и после того, как Мардук получил полномочия, которых он здесь пожелал²⁴⁰; но окончательное решение остаётся за Мардуком, так что в конечном счёте именно он решает судьбы".²⁴¹

Это может служить примером "иерархической организации богов" – очень распространённого мифологического представления, и мы вернёмся к нему позже. Все первые дети Тиамат – это могущественные и безличные старшие боги, "духовные силы", – "божества", которые вечно правят человеческими побуждениями и эмоциями или возбуждают их. Вопрос о надлежащем упорядочении этих сил ("кто или что должен (должно) править?") заключает в себе как главную задачу нравственности, так и основную задачу, встающую перед отдельными людьми и общественными организациями. Шумерским "решением" этой задачи было возвышение Мардука – бога солнца, который сознательно, не дрогнув, встречает хаос, – до положения "царя" (и подчинение остальных богов этому "царю"):

"Аншар открыл свои уста
И обратился с этими словами к Каке, своему визирю:
'Кака, мой визирь, что радует моё сердце,
Я пошлю тебя к Лахму и Лахаму;
Ты знаешь, как различать, и способен рассказывать.
Вызови богов, моих отцов, чтобы они пришли ко мне.
Пусть они приведут всех богов ко мне!
Пусть они беседуют и сядут пировать.
Дай им есть хлеб и приготовь вино.
Мардуку, их мстителю, пусть решат они судьбу.
Отправляйся, о Кака, иди и предстань перед ними.
То, что я собираюсь сказать тебе, повтори им:
«Аншар, ваш сын, послал меня.
Приказ своего сердца поручил мне передать,
Говоря: "Тиамат, наша родительница, ненавидит нас.
Она провела собрание и бушевала неистово.
Все боги перешли к ней;
Даже те, которых вы создали, шагают рядом с ней.
Они отделились и перешли на сторону Тиамат;
Они были разгневаны, они вынашивали заговор, не отдыхая ни днём, ни ночью;
Они обсуждали борьбу, кипя от злости и бесясь;
Они провели собрание и замыслили столкновение.
Матерь Хубур [Тиамат], что придаёт вид всем вещам,
Добавила к этому неотразимое оружие, родив чудовищных змеев,
С острыми зубами и беспощадными клыками.
Ядом вместо крови наполнила она их тела.
Свирепых драконов облекла она ужасом,
Увенчала их внушающим страх сиянием и сделала их подобными богам,
Так что тот, кто взглянул бы на них, должен был погибнуть от ужаса,
Так, чтобы их тела могли прыгать вперёд, и никто не мог обратить их вспять.
Она вызвала гадюку, дракона и лахумума –
Огромного льва, бешеную собаку и человеко-скорпиона,
Гонящих бурю демонов, гигантскую стрекозу и бизона,
Носящих беспощадное оружие, не боящихся битвы.
Могучи её решения, непреодолимы они.

Всего одиннадцать видов чудовищ этого рода она создала.
 Из тех, кто среди богов, её первенцев, составлял её собрание,
 Она возвысила Кингу; среди них она его возвеличила.
 Шагать во главе армии, приказывать войскам,
 Поднимать оружие для боя, начинать атаку,
 Высшее командование битвой
 Она вверила его рукам; она заставила его сидеть в собрании, говоря:
 «Я произнесла для тебя чары, я сделала тебя великим в собрании богов.
 Я вручила тебе власть над всеми богами.
 Да будешь ты весьма возвеличен, ты – мой единственный супруг!
 Да будут твои имена более великими, чем имена Ануннаков!»
 Она дала ему таблицы судеб, она привязала их к его груди, говоря:
 «Что до тебя, твой приказ не будет изменён, слово твоих уст будет надёжно!»
 Теперь, когда Кингу возвысился и получил высшую власть,
 Они решили судьбы богов, её сынов, говоря:
 «Пусть открытие наших уст успокоит бога огня!
 Пусть твой неодолимый яд победит противящуюся ночь!»
 Я послал Ану, но он не смог смело встретить её.
 Эа тоже был испуган и повернул назад.
 Затем Мардук, мудрейший из богов, ваш сын, откликнулся.
 Его сердце побудило его смело встретить её.
 Он открыл свои уста и сказал мне:
 «Если я, поистине, должен быть твоим мстителем,
 Победить Тиамат и сохранить тебя в живых,
 Созови собрание и провозгласи мой жребий высшим.
 Когда вы радостно усядетесь во Дворе Собрания,
 Пусть я высказыванием своих уст буду решать судьбы вместо тебя.
 Что бы я ни создал, должно остаться неизменным,
 Мой приказ не должен повторяться впустую, он не должен изменяться».
 Поспешите тогда ко мне и быстро решите для него его судьбу,
 Чтобы он мог пойти и встретить вашего могучего врага!"»²⁴²

"Иерархическая организация богов" схематически представлена на рисунке 21
"Иерархическое устройство «мира» богов", который изображает Мардука как наивысшую
 "личность" или "образец действия", предназначенную (предназначенный) для того, чтобы
 преобразовать невыносимое настоящее в желаемое будущее. "Энума элиш", по существу,
 утверждает: "когда дела идут обычным образом, любой бог мог бы управлять. Однако в случае
 действительно тяжёлого положения все обращаются к богу солнца (воплощению «сознания»)."

Следовательно, может быть, разумно предположить, что он всегда должен царить как
 наивысший". Формулировка этого "предположения" была делом непревзойдённого гения и
 решающим шагом в истории западного духа.

Визирь Кака идёт своим путём, как ему было приказано, и разносит известие среди
 (вторичных или патриархальных) старших богов, которые собираются, чтобы обдумать
 приближающуюся битву:

"Они вошли в присутствие Аншара и заполнили Двор Собрания;
 Они целовались друг с другом, когда они вместе сошлись на собрание;
 Они беседовали и уселись пировать.
 Они ели хлеб и приготовили вино.
 Сладкое вино рассеяло их страхи;
 Их тела раздулись, когда они выпили крепкий напиток.
 Они были совсем беззаботны, их дух возносился;
 Для Мардука, их мстителя, они решали судьбу.
 Они воздвигли для него роскошный трон-возвышение,
 И он занял своё место перед его отцами, чтобы получить высшую власть.
 «Ты – важнейший среди великих богов,

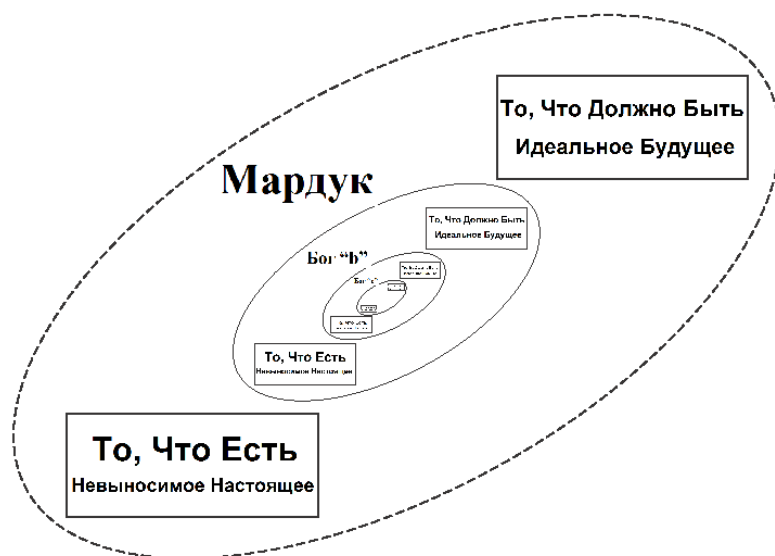


Рисунок 21

Твоя судьба непревзойдённа, твоё повеление подобно повелению Ану.

Мардук – ты важнейший среди великих богов.²⁴³

Твоя судьба непревзойдённа, твоё повеление подобно повелению Ану.

С этого дня и далее твоё повеление не будет изменено.

Возвышать и унижать – вот в чём будет твоя власть!

На твоё слово можно будет положиться, твоё повеление не окажется тщетным.

Никто среди богов не будет посягать на твои права".²⁴³

Боги расстилают "звёздное одеяние ночного неба"²⁴⁴. По приказу из уст Мардука – по его слову – оно появляется; по его приказу оно исчезает, "как ночное небо после прохождения солнца"²⁴⁵. Мардук, очевидно, является частью пантеона, который вечно побеждает дракона ночи. История продолжается:

"Когда боги, его отцы, узрели силу его слова,

Они возрадовались и воздавали ему почести, говоря: «Мардук – царь!»

Они даровали ему скипетр, трон и царскую мантию;

Они дали ему неотразимое оружие, поражающее врага, говоря:

«Иди и отрежь жизнь Тиамат.

Пусть ветры унесут её кровь в далёкие места!»

После того как боги, его отцы, решили судьбу [Мардука],

Они отправили его по дороге – по пути к успеху и достижению"²⁴⁶

Мардук собирает своё оружие – лук, палицу и молнию – воспламеняется и изготавливает сеть, чтобы поймать ею Тиамат. Он владыка огня и оружия, то есть владыка технологии, наиболее основная польза от которой – преобразовывать "неведомый и ужасающий мир" в утешительный, плодородный и хорошо знакомый. Он в состоянии "связать" неизвестное, ограничить область его действия и подчинить его своей власти. Он поднимает в помощь себе ветры и бурю, используя силы природы против самой природы. Он одевается во вселяющую ужас кольчугу и носит на своей голове "внушающее ужас сияние". Тщательно подготовленный таким образом и защищённый от яда, он выбирает "прямую дорогу" к Тиамат. Он противостоит "новизне" сознательно, в избранное им время, после тщательной подготовки и не избегая её. Простое его

появление вселяет ужас в сердца **Кингу** и его тьмы чудовищ (в точности, как Христос, гораздо "позже", вселяет ужас в Дьявола и его приспешников). Мардук встаёт против Тиамат, обвиняет её в вероломстве и вызывает её на бой.

"Когда Тиамат услышала это,
Она сделалась как безумная и потеряла рассудок.
Тиамат вскричала громко и яростно,
До самых корней её две ноги закачались взад и вперёд.
Она произносит заклинание, снова и снова заклиная своей силой.
Что до богов битвы, они точат своё оружие.
Тиамат и Мардук, мудрейший из богов, наступают один на другого;
Они спешат к единоборству, они сближаются для боя".²⁴⁷

Мардук наполняет Тиамат "злым ветром", который раздувает её брюхо. Когда она открывает свою пасть, чтобы пожрать его, он выпускает стрелу, которая разрывает её внутренности и раскалывает её сердце. Он полностью подавляет её, перевёртывает её труп и становится на него. Его добровольное столкновение с силами неизвестного приносит решающую победу. Он производит облаву на её подчинённых – включая Кингу, у которого он отбирает таблицы судеб, – и связывает их сетями. Затем он возвращается к Тиамат:

"Господь наступил на заднюю часть Тиамат
И своей беспощадной палицей расколол ей череп.
Он перерезал её кровяные артерии
И заставил северный ветер унести её кровь в далёкие места...
Он разломал её, как мидию, на две части;
Половину её он оставил на месте и сделал из неё (тотчас) небо, как крышу.
Он закрепил поперечину и поставил стражей;
Он приказал им не давать её водам ускользнуть.
Он пересёк небеса и осмотрел их области.
Он разместился напротив Апсу, жилища Эа.
Господь измерил размеры Апсу,
И огромное здание он заложил, то есть Эшарру [Землю]".²⁴⁸

Затем Мардук создаёт небесный порядок, оформляя год, определяя зодиак из двенадцати знаков, определяя движение звёзд, планет и луны.²⁴⁹ В конце концов, он снисходит до того, чтобы создать человека (из Кингу, величайшего и самого виновного из союзников Тиамат), так что "на него было возложено служение богам, чтобы они могли жить в покое"²⁵⁰, потом он возвращает союзным с ним богам их соответствующие небесные жилища. Благодарные, они преподносят ему подарок:

"Ныне, о Господь, который установил нашу свободу от обязательной службы
Что будет знаком нашей благодарности тебе?
Давайте создадим нечто, чьим именем будет «Святилище».
Оно будет жилищем для нашего отдыха ночью; давайте, отдохнём там!"²⁵¹

Это жилище есть Вавилон, средоточие цивилизации, мифическое священное пространство, навечно посвящённое Мардуку.

Мифический рассказ "Энума элиш" описывает природу вечного отношения между (непознаваемым) источником всех явлений, "богами", которые правят человеческой жизнью, и субъектом или процессом, который создаёт определённый опыт посредством добровольного столкновения с неизвестным. "Полная история", представленная в шумерском мифе о творении, изображена на рисунке 22 "**«Энума элиш» в схематическом представлении**". Тиамат изображена на нём одновременно как то, что порождает всё (как мать всех богов); как то, что всё уничтожает; как супруга патриархального духовного начала, от которого творение тоже зависит (Апсу); и, в заключение, как существо, которое разрезает на куски герой, творящий мир. Мардук, самое младшее "дитя" инстинкта, – есть герой, который добровольно встречает лицом к лицу

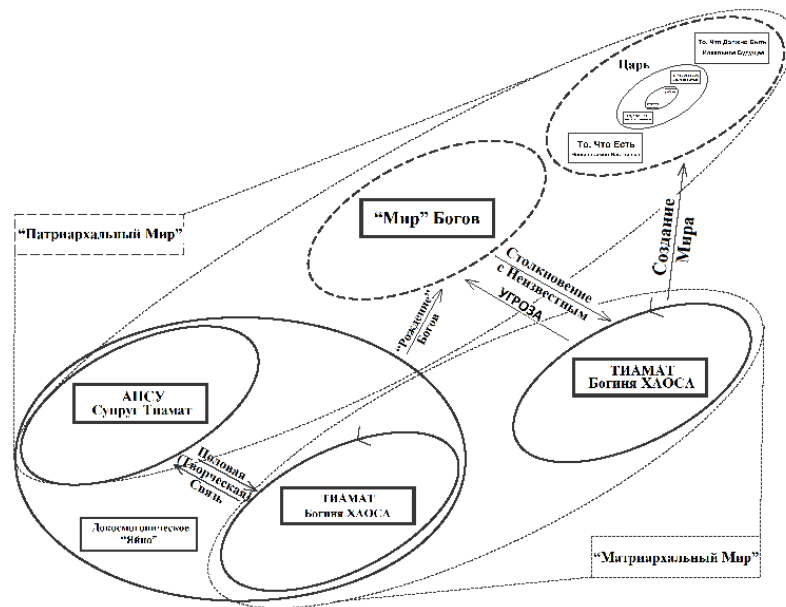


Рисунок 22

созидательную и разрушительную силу, охватывающую ту "область", из которой появляется всё. Он воинственное божество, образец для культуры Запада, которая насильственно разрезает неизвестное на части и создаёт из них предсказуемый мир.

Этот рассказ "содержит" в себе сложное и утончённое представление о причинности. Ни одна из его составных частей не противоречит какой-либо другой, хотя они и подчёркивают различные стороны того же самого развития. Что-то должно существовать ещё до создания распознаваемых вещей (нечто, которое не может быть представлено при отсутствии субъекта). Это что-то могло бы с пользой быть изображено как "всепожирающая мать всего". Особенности, различные, хорошо знакомые составляющие человеческого опыта существуют, однако, так, как они есть, поскольку сознательный субъект может их обнаружить, создать и преобразовать. Роль "сына-героя" в "рождении" явлений поэтому является такой же главной, как и роль "их матери", хотя эту роль труднее понять. Тем не менее шумеры справились с её изображением в повествовательной форме. От этого драматического образного изображения героя – только относительно небольшой шаг до наиболее явного христианского учения о **Логосе** – творящем Слове (а отсюда до нашего понятия "сознания").

Мифический рассказ о Мардуке и Тиамат говорит о способности личности сознательно исследовать и созидать. Герой разрезает мир непредсказуемого – неисследованную область, называемую Тиамат, – на его различные составные части; сплетает сеть определённых значений, способную охватить огромное неизвестное; воплощает божественную "мужскую" суть, которая обладает как наиболее значительной чертой способностью преобразовывать хаос в порядок. Убийство всеохватывающего чудовища и создание вселенной из частей его тела есть символическое (иносказательное) представление главного приспособительного процесса – героического столкновения с неразличённым в себе неизвестным и создание или порождение вследствие этого полного различий порядка. Именно этот процесс, лежавший в основе царской власти, которому подражал царь Месопотамии (ритуально олицетворявший Мардука), поныне лежит в основе представления об облечении законной властью. отождествление месопотамского царя с наиболее божественным из всех божеств (по **решению и избранию богов**) придавало ему силу и служило делу поддержания общественного и душевного порядка среди его народа. Кроме того, месопотамский царь находился в том же самом отношении к своему народу, как Мардук в отношении к самому царю: как ритуальный образец для подражания; как личность, чьи действия служили образцом для всего предпринимаемого в его царстве; как личность, которая была

государством, в той мере, в какой это государство определяло и привносило порядок во взаимодействия между личностями (что, в конце концов, является его важнейшим назначением). Вавилон был поэтому умозрительно представляем как "царство бога на земле" – то есть как мирское подражание небу. Царь служил этому "подражаемому небу" в качестве "подражателя Мардука", по крайней мере, насколько он был осторожен, справедлив, отважен и созидателен. Элиаде делает замечание относительно священной природы месопотамского повелителя и описывает обряды, предназначенные поддерживать эту священную природу:

"В Вавилоне поэму "Энума элиш" читали в храмах на четвёртый день празднеств Нового Года. Этот праздник – по-шумерски **загмук** («начало года»), по-аккадски **акиту** [обратите внимание: шумеры и аккадцы объединились и образовали Вавилон] – длился первые двенадцать дней месяца нисан. Он включал целый ряд ритуалов. Назовём наиболее важные из них: 1) день царского искупления, соответствующий «заточению» Мардука; 2) освобождение Мардука; 3) ритуальные битвы и триумфальное шествие в Бит Акиту (дом новогоднего празднества) под водительством царя, завершающееся пиршеством; 4) **hieros gamos** [священный брак] царя с храмовой рабыней-жрицей, олицетворяющей богиню; 5) определение судеб богами".²⁵²

Смысл некоторых терминов и природа последних двух действий объясняются ниже.

Во-первых, в отношении 4) следует отметить, что **hieros gamos** означает **таинственный брак** – брак царя и царицы или богини. Этот брак драматически представляет союз исследовательской склонности (воплощённой царём) с положительной стороной неизвестного, воплощённой храмовой рабыней- жрицей. Мардук (царь) первоначально "заточён", что означает его временное исчезновение (смотри ниже описание Осириса). Он освобождён, чтобы встретить Тиамат; он так и делает, вступая с ней в половую связь. Эта половая (читай созидательная) связь – сопоставление процесса познания, олицетворяемого царём (Мардуком), с неизвестным, олицетворяемым Тиамат, (воплощаемой храмовой рабыней- жрицей) – как раз то, с чего начинается порождение нового знания и образцов приспособления. Процесс порождения знания уподобляется половой связи как исконному созидательному процессу. Божество хаоса, или неизвестное, обычно появляется как женское (и как наполовину отрицательное, а наполовину положительное), как только установится первоначальное разделение между порядком и хаосом. **Приписывание**, так сказать, этому божеству женского пола является наиболее существенным, так как неизвестное служит утробой, из которой рождаются определённые формы. Приписывание ему отрицательного характера (примером служит Тиамат) объясняется тем, что у неизвестного есть отрицательная сторона; положительного (здесь **жрица**, **Исида** в египетском мифе об Осирисе, **Мария** в христианстве) – тем, что неизвестное является также творческим или порождающим началом.

Во-вторых, что касается 5), следует отметить, что царь (в своём воплощении бога) служил для того, чтобы "решать судьбы", потому что он был как героем – ритуальным образцом для подражания, – так и неограниченным правителем. Как таковой, он буквально управлял личными судьбами, будучи, как это и было, практически и в представлении, самым могущественным человеком в обществе и преобладающей "стратегией" в иерархии приспособления поведения. Для того, однако, чего он не мог определить посредством закона, он должен был предоставить пример (поскольку "свод законов" как воплощение мудрости прошлого недостаточен для того, чтобы иметь дело с вызовом, брошенным настоящим). Как мы увидим, эта мысль была гораздо более ясно разработана египтянами. Но вернёмся к истории, рассказываемой Элиаде:

"Первое действие этого мифо-ритуального сценария – унижение царя и заточение Мардука – обозначает возвращение мира в докосмогонический хаос. В святилище Мардука верховный жрец снимал с царя символы его власти (скипетр, кольцо, меч и корону) и бил по лицу. Затем, стоя на коленях, царь делал заявление о своей невиновности: «Я не совершал греха, о Господь моей страны, я не оставлял заботу о твоей божественности». Верховный жрец отвечал от имени Мардука: «Не бойся... Мардук услышит твою молитву. Он расширит твоё царство...».

Тем временем народ искал Мардука, о котором думали, что он «заточён в горе» (формула, обозначающая «смерть» божества) [вследствие спуска] «далеко от солнца и света»".²⁵³

Когда мир "возвращается" к докосмогоническому хаосу, это всегда означает, что не хватает героя. Ведь герой является, в конце концов, олицетворением процесса, посредством которого хаос преобразуется в порядок. Если господствует хаос, это, по определению, происходит из-за недостаточности героизма. Можно, следовательно, сказать, что новое появление Великой Матери в её ужасном облике, смерть Великого Отца (который служит защитой от своей созидательной и разрушающей жены) и отсутствие героя (который превращает хаос в порядок) – всё это суть различные способы рассказать ту же самую историю – историю, которая описывает **угрожающее жизни отсутствие равновесия между составляющими опыта**. Элиаде продолжает, описывая "новое обнаружение" или "новое появление" Мардука:

"В конце концов его спасали, и боги воссоединялись (т. е. их статуи ставили рядом) для определения судеб. (Этот эпизод соответствует утверждению Мардука в качестве верховного божества в «Энума элиш».) Царь вёл процессию к Бит Акиту, зданию, расположенному за пределами города **[вне области цивилизации, или порядка]**. Процессия представляла воинство богов, выступающее против Тиамат. По одной из надписей Синнахериба можно предположить, что так изображалась первоначальная битва. Царь олицетворял Ашшура (бога, который сменил Мардука). Священный брак происходил после возвращения с пиршества в Бит Акиту. Последним действием было определение судеб для каждого месяца года. «Определяя» их, осуществляли ритуальное **сотворение** года, то есть обеспечивали благополучие, плодородие и богатство вновь рождённого мира...

Роль царя в **акиту** недостаточно известна. Его «унижение» соответствует возвращению мира в хаос и заточению Мардука в горе. Царь изображает бога в битве против Тиамат и в священном браке с храмовой жрицей. Однако отождествление его с богом отмечается не всегда: как мы видели, во время своего «унижения» царь обращается к Мардуку. Тем не менее священная природа месопотамского государя достаточно подтверждается документами...

Хотя сам царь признавал своё земное происхождение, он рассматривался как «сын богов»... Это двойное происхождение делало царя наилучшим посредником между богами и людьми. Царь представлял народ перед богами, и именно он искупал грехи своих подданных. Иногда он должен был претерпеть смерть за преступления своего народа; вот почему у ассирийцев был «заместитель царя». В текстах говорилось, что царь живёт в непосредственной связи с богами, в сказочных садах, где растёт Древо Жизни и течёт Живая Вода... Царь – «посланец» богов, «пастырь народа», призванный богом установить на земле справедливость и мир...

Можно сказать, что царь разделял с богами их природу, но богом не становился. Он **представлял** бога, а на уровне первобытной культуры это подразумевало, что в каком-то смысле он и **был** тем, кого представлял. Во всяком случае, месопотамский царь как посредник между миром людей и миром богов осуществлял собственной персоной ритуальный союз между способами существования, божественным и человеческим. Именно благодаря своей двойной природе царь рассматривался, по крайней мере в переносном смысле, как творец жизни и плодородия"²⁵³

Мардук в его проявлении как **Намтиллаку** – это к тому же и "бог, который возвращает к жизни"²⁵⁴, – который может вернуть к жизни всех "погибших богов, как будто они были его собственным созданием; Господь, который священным заклинанием возвращает умерших богов к жизни"²⁵⁵. Это представление отдаётся эхом в древнеегипетском богословии, как описано ниже. Мардук – это также и **Намшуб**, "тот светлый бог, который освещает наш путь"²⁵⁶, – что ещё раз уподобляет его солнцу – и **Асару**, бог воскресения, который "заставляет появляться зелёную траву"²⁵⁷. Всё, что представляет собой Мардук, считается также главным для создания изобилия²⁵⁸, для милосердия²⁵⁹ и справедливости²⁶⁰, для семейной любви²⁶¹ и, что самое интересное, для "создания изобретений" от "столкновения с Тиамат"²⁶² (!!!). Жители Месопотамии в действительности обращались к нему, называя его пятьюдесятью именами.

Каждое имя означало независимое ценное свойство или качество (вероятно, некогда отдельных богов), теперь рассматриваемое как очевидно зависимое от Мардука и от того, что означал его образ действия. Кажется очевидным, что приписывание этих пятидесяти имён Мардуку соответствует движению по направлению к единобожию, описанному в "Энума элиш" (со всеми богами, добровольно объединяющимися под властью Мардука) и происходившему в месопотамском обществе на человеческом и историческом уровне. **Можно было бы сказать, что жители Месопотамии дошли до понимания (по крайней мере, в ритуале и образе) того, что все поддерживающие жизнь процессы, которым они поклонялись в изображении, являлись вторичными сторонами исследовательского, творческого, омолаживающего процесса, олицетворяемого Мардуком.**

Сходное устройство ритуала и вторичного умозрительного представления было отличительной чертой древнеегипетского общества. В самой ранней египетской космологии (около 2700 года до н. э.) бог **Птах**, одухотворённое проявление **Атума**, всеокружающего змея, творит "своим разумом (своим «сердцем») и своим словом (своим «языком»)"²⁶³. Элиаде утверждает:

"Птах объявляется самым великим богом, тогда как Атум почитается только как создатель первой божественной четы. Это Птах «дал богам существование».

Коротко говоря, теогония и космогония были осуществлены созидательной силой мысли и слова одного бога. Как замечает Джон Вильсон,²⁶⁴ **именно вначале** египетской истории мы находим учение, которое можно сравнить с христианской теологией Логоса [или Слова]"²⁶⁵.

Египтяне "сформулировали" ту мысль, что "сознание" и способность к пользованию языком столь же жизненно важны для существования явлений, сколь и непознаваемый источник их бытия. Это – мысль, которая ещё не вполне ясно понята нами (так как мы приписываем существование явлений их чисто "материальной" "основе"), несмотря на её важность для христианской мысли. Египтяне рассматривали Птаха – оплодотворяющее слово – как изначального или исконного (читай "небесного") царя. Как и в Месопотамии, он, по сути, уступил свою власть в земной области своему преемнику, фараону (его "подлинному" или "буквальному" сыну, с египетской точки зрения (так как фараон рассматривался **как** бог)). Творческая сила, таким образом переданная, буквально определялась египтянами как способность ввести порядок (**Маат**) "вместо Хаоса"²⁶⁶. Элиаде замечает:

"И тоже самое говорится о Тутанхамоне, который восстановил порядок после «ереси» Эхнатона или о Пепи II: «Он поставил **маат** на место лжи (беспорядка)». Подобным же образом глагол «**khay**» («светить») используется для описания солнца в момент творения или каждого рассвета, равно как и для описания появления фараона на церемонии коронации, на торжествах или на тайном совете.

Фараон является воплощением **маат**, слова переводимого как «истина», главное значение которого – это, однако, «добрый порядок», и отсюда «право», «справедливость». **Маат** относится к первоначальному творению; следовательно, отражает совершенство «Золотого Века». Составляя самую основу космоса и жизни, **маат** может познаваться каждой личностью отдельно. В текстах различного происхождения и различных периодов встречаются такие выражения: «Побуждайте ваше сердце познать **маат**»; «Я сделаю так, чтобы ты познал **маат** в твоём сердце; чтобы ты делал то, что для тебя правильно». Или: «Я был человеком, который любил **маат** и ненавидел грех. Ибо я знал, что это (грех) есть оскорбление Бога». И действительно, лишь Бог дарует необходимое знание. Государь определяется как «тот, кто знает истину (**маат**) и кого учит Бог». Автор молитвы, обращённой к Ра, вызывает: «Вложи **маат** в моё сердце!»

Как воплощение **маат**, фараон является парадигматическим образцом для всех своих подданных. По выражению визиря Рекмира, «он бог, который даёт нам жизнь своими деяниями». Дела фараона обеспечивают устойчивость космоса и государства и, следовательно, непрерывность жизни. В самом деле, космогония повторяется каждое утро, когда солнечный бог «отвращает» змея Апопа, не имея, однако, возможности уничтожить его; ибо хаос (первоначальная тьма) представляет собой царство возможностей; следовательно, он неразрушим. **Политическая деятельность фараона воспроизводит подвиг Ра: он**

(фараон) также «отвращает» Апопа – иными словами, следит за тем, чтобы мир не был ввергнут снова в состояние хаоса. Когда на границах появляются враги, они уподобляются Апопу [богу первобытного хаоса], и победа фараона воспроизводит торжество Ра [жирный шрифт добавлен автором книги]".²⁶⁷

Идеям царства, творчества и обновления придан отличный и более утончённый уклон в главном мифе об Осирисе, который служил другой основой египетского богословия.

История Осириса и его сына Гора в некоторых отношениях гораздо более сложна, чем месопотамский миф о сотворении мира или история Ра, и описывает взаимодействие между "составляющими опыта" в чрезвычайно сжатом виде. Осирис – легендарный образ предка – был изначально царём, который мудро и справедливо правил Египтом. Его злой брат Сет – которого он не понимал²⁶⁸ – восстал против него. **Рисунок 23** "Борьба между Осирисом и Сетом в области порядка" изображает это столкновение как "борьбу" в "(небесной) области порядка".

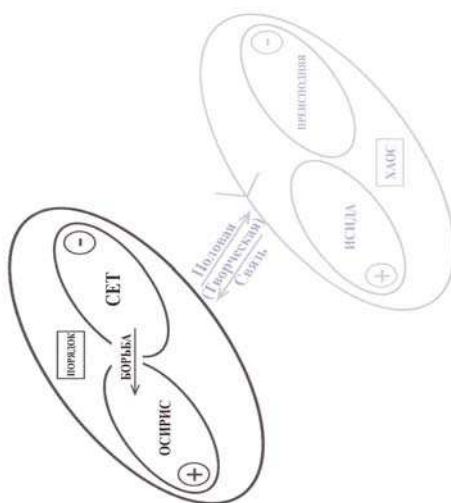


Рисунок 23

Сет убивает Осириса (то есть посылает его в преисподнюю) и расчленяет его тело так, чтобы его "никогда не нашли". **Рисунок 24** "Вынужденное нисхождение и расчленение Осириса" изображает "вынужденное нисхождение и расчленение" Осириса и его как бы "существование" в преисподней хаоса.

Смерть Осириса означает два важных обстоятельства: 1) склонность (неподвижного) господствующего представления, системы оценки или особой истории – неважно, насколько великолепных или уместных первоначально, – становиться со временем всё более и более неуместными и 2) опасности, обязательно выпадающие на долю государства, которое "забывает" или отказывается допустить существование бессмертного божества зла. Сет, брат царя и его противоположность, представляет собой мифического "враждебного близнеца" или "противника героя", который вечно противится процессу творческого столкновения с неизвестным; означает, иначе говоря, образ приспособления, отличающийся твёрдым противодействием установлению божественного порядка.

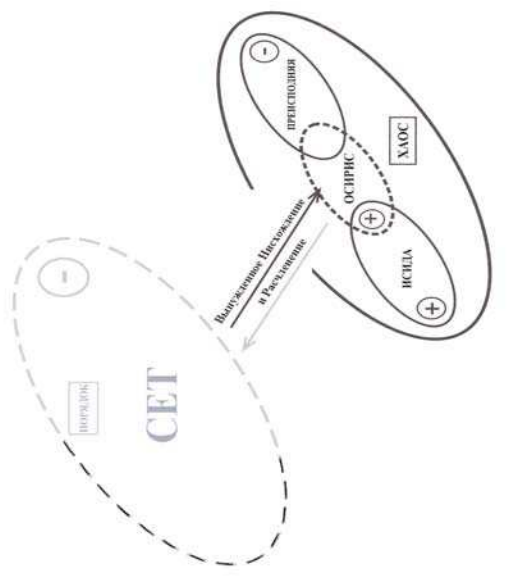


Рисунок 24

Когда это начало захватывает власть – то есть узурпирует престол, – "законный царь" и его царство непременно обречены. Сет и сходные с ним личности – часто представленные в повествовании как развращённые "правая рука" или "советник некогда великого царя" – рассматривают саму человеческую жизнь с презрением. Такие личности побуждаются к действию только тем, чтобы защитить или продвинуть своё положение в иерархии власти, даже если господствующий порядок очевидно нецелесообразен. Их действия обязательно ускоряют процесс распада, присущий любому строю. Осирис, хотя и великий, был в каком-то глубоком смысле простоват – по меньшей мере слеп к существованию "бессмертного" зла. Эта слепота и вытекающая из неё неосторожность вызывают (или, по крайней мере, ускоряют) кончину Осириса.

У Осириса есть жена, как и подобает "царю порядка". Исида как мифическое дополнение Осириса является представительницей положительной стороны неизвестного (подобно храмовой жрице в месопотамском новогоднем ритуале). Она – как можно было бы ожидать, принимая во внимание её положение, – обладает огромными волшебными силами. Она собирает разбросанные куски тела Осириса и делается беременной, используя его отделённый член. Эта история имеет глубокий смысл: вырождение "государства", или "области порядка", и его "нисхождение" в хаос служит только тому, чтобы оплодотворить эту область и сделать её "беременной". Когда великая организация распадается – разваливается на куски, – эти куски всё ещё могут быть оформлены в нечто другое или могут положить начало чему-то другому (может быть более жизненно важному и ещё большему). Исида поэтому рождает сына, Гора, который возвращается в своё "законное царство" и сталкивается со своим злым дядей. Этот процесс схематически представлен на рисунке 25 "Рождение и возвращение Гора, божественного сына порядка и хаоса".

Гор ведёт трудный бой с Сетом – так как силы зла трудно одолеть – и в бою теряет глаз. Сет, тем не менее, побеждён. Гор возвращает себе свой глаз. История могла бы тут – с заслуженным восшествием ныне целого и невредимого и победоносного Гора на престол – и оборваться, и целостность повествования не нарушилась бы.

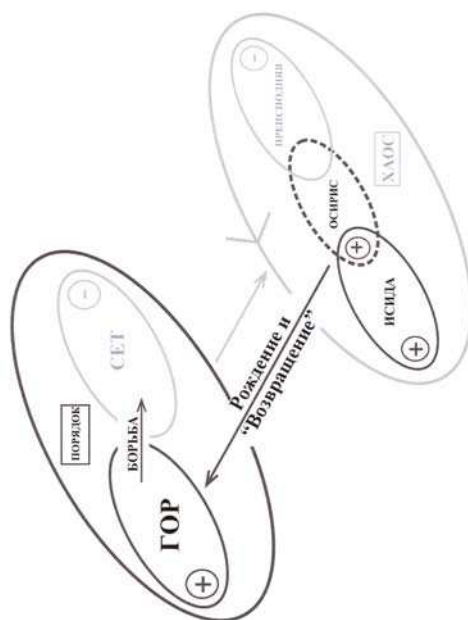


Рисунок 25

Однако Гор делает нечто неожиданное, **добровольно** сходя в преисподнюю, чтобы найти своего отца (как это схематически изображено на **рисунке 26 "Добровольное столкновение с Преисподней"**). Именно изображение этого поступка, напоминающего добровольное снисхождение Мардука в "преисподнюю" Тиамат, представляет собой блестящий и самобытный вклад египетского богословия.

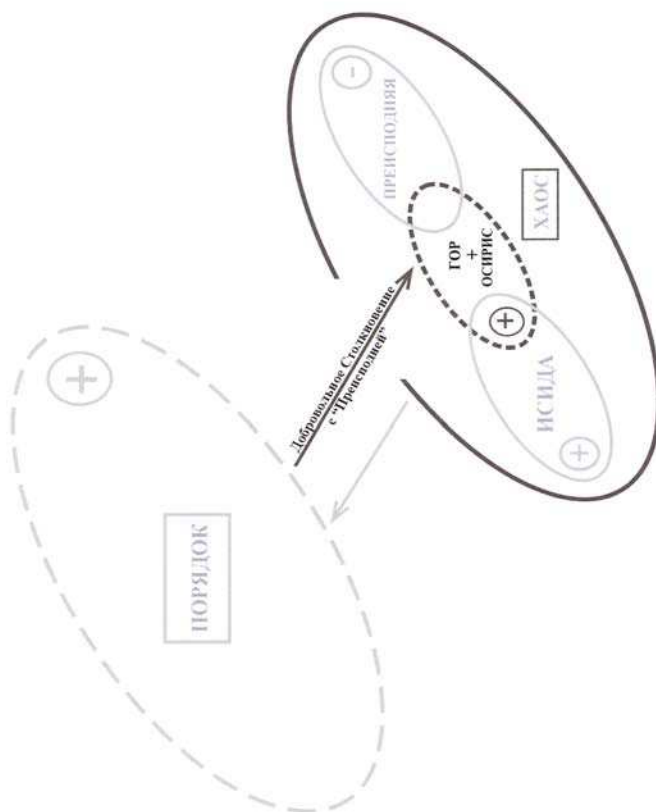


Рисунок 26

Гор обнаруживает Осириса, сохранившегося в состоянии оцепенения. Он предлагает свой возвращённый глаз отцу, для того чтобы Осирис мог снова "видеть". Они возвращаются, объединённые и победоносные, и устанавливают возрождённое царство. Царство "сына и отца" является улучшением в сравнении с царством отца или одного только сына, так как оно соединяет тяжело завоёванную мудрость прошлого (то есть мёртвого) со способностью к приспособлению настоящего (то есть живого). Восстановление и улучшение области порядка схематически представлено на рисунке 27 "**Восхождение и возрождение отца**".

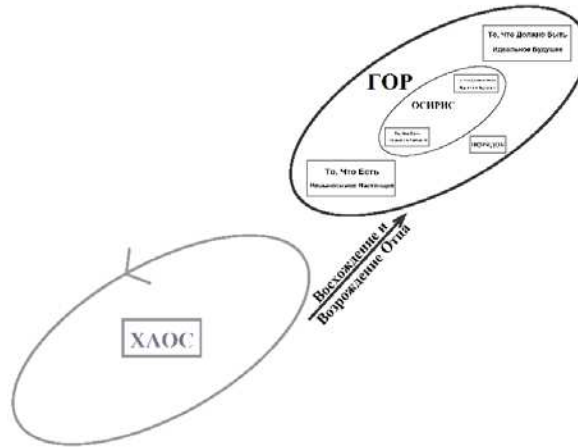


Рисунок 27

В истории Осириса старение и смерть отца (представленные как следствие вероломства Сета) преодолеваются его мифическим сыном, героем, который (временно) наносит поражение силе зла и который возвращает молодость своему отцу. Мардук, месопотамский верховный бог, есть, по сравнению с ним, простой герой: он вырезает хорошо знакомый мир из незнакомого. Гор, не менее отважный, более сложен и более утончён. Он не может остаться удовлетворённым своим собственным возвышением, ощущая себя "несовершенным" без своего "отца". Поэтому он добровольно спускается в преисподнюю, освобождает разделившиеся силы предания, "пойманные там в ловушку" и превращает их в часть самого себя. Этот образ поведения является усовершенствованием того, что представлен Мардуком (или Ра – египетским богом солнца).

Мардук создаёт порядок из хаоса. Эта способность – которая теоретически олицетворена в образе месопотамского царя – придаёт светской власти её законную силу. Та же самая мысль, существенно разработанная, применяется в Египте. Осирис представляет собой древнее государство, некогда великое, но слишком устарелое. Гор причастен к сущности предания (он сын своего отца), но оживлён влиянием "нового знания" (в конце концов, его мать является "положительной стороной неизвестного"). В качестве пересмотренной и дополненной версии своего отца он способен иметь дело с задачами настоящего времени (то есть с развивающимся злом, представленным его дядей). Торжествующий победу над своим дядей, он, тем не менее, несовершенен, так как его юношескому духу недостаёт мудрости прошлого. Поэтому он отправляется в неизвестное, где покоится его отец, "безжизненный" – то есть непонятый; без олицетворения или воплощения (в действии) в настоящем. Гор объединяется со своим отцом и становится "совершенным правителем" – "сознанием" юной жизни настоящего, соединённой с мудростью предания.

"Умерший" египетский фараон – то есть правитель, чья смерть предшествовала восшествию на престол царствующего фараона, – уподоблялся Осирису (занимал то же самое категориальное пространство). Это значило, что он рассматривался как равнозначный "тому духу, что основал государство", – первообразному богу-творцу или легендарному предку, чьи мужественные

действия имели космогоническое значение. Современный тогдашним египтянам правитель (чья власть во многом зависела от традиций его предшественников, видоизменённых, если это было необходимо) рассматривался как равнозначный Гору или богу солнца Ра. Правящий фараон был поэтому той силой, которая порождала порядок из хаоса (как Ра), и той силой, что омолаживала порядок, как только он вырождался в немыслимый деспотизм или в слишком жёсткую (и слепую) традицию. Кроме того, однако, он **был обновлённым Осирисом** (самим Осирисом был "умерший фараон"). Поэтому он был традицией, которой было придано зрение. Утончённость этого представления об уважаемом руководстве – творческая сила, возрождающая сила и оживлённая традиция – едва ли может рассматриваться как что-либо не замечательное. Представляет также ошеломляющий исторический интерес и современную уместность то, что египтяне всё более и более приходили к тому, чтобы рассматривать Осириса-Гору как образец не только для фараона, **но и для каждого человека в египетском царстве**. Элиаде утверждает в отношении более поздних египетских погребальных обычаев:

"Тексты, которые ранее высекались на стенах тайных камер в пирамидах, воздвигаемых для фараонов, теперь стали воспроизводиться на саркофагах знати и даже совершенно бесправного народа. «Текст саркофагов» (4, 276 и сл.) гласит: «Теперь ты сын царя, принц, и будешь им так долго, пока твоё сердце (то есть дух) будет с тобой». Следуя примеру Осириса, и с его помощью, умершие в состоянии превращать себя в «души», в идеально цельные и потому неуничтожимые духовные существа. Умерщвлённый и расчленённый Осирис был воссоздан Исидой и оживлён Гором. Так он открывает новую форму существования: из бессильной тени он становится «личностью», которая «знает», духовным существом, должным образом посвящённым".²⁶⁹

Такое развитие можно было бы рассматривать как пример возрастающей "психологизации", "отвлечённости" и "превращения во внутренние" религиозных представлений: на самых ранних ступенях божества рассматриваются как множественные, а также как индивидуалистические и раздражительные члены наднебесной (то есть надличной и бессмертной) общины. Позднее – по мере того как культура становится более объединённой, более убеждённой в относительной оценке и нравственной добродетели – они объединяются в иерархию – и единый бог, со множеством связанных с ним черт, приходит к господству. **Развитие единобожия, таким образом, соответствует духовному и нравственному объединению внутри культуры.** По мере того как средний гражданин всё больше и больше отождествляет себя с этим единобожным, объединённым устройством, его "внешняя" природа (как свойство богов) отступает в тень. Она более отчётливо становится скорее свойством человека, **самого по себе**, чем отличительной чертой внеличного мира, – и более сходна с тем, что мы бы восприняли как психологическую особенность. Субъективная сторона божества – его или её душевные свойства – становится более очевидной (по крайней мере, для наиболее утончённого понимания), и возможность "личных отношений" с божеством возникает как перспектива на умозрительном уровне. Этот ход развития только начинается в отвлечённом виде в Месопотамии и Египте. Как будет доказано позже, именно древние евреи наиболее последовательно довели его до осуществления, которое имело значительные и долговечные последствия. Кажется разумным рассматривать это развитие как предтечу христианской революции, которая предоставила каждому человеку положение "сына божия", и нашего современного понятия о "правах человека", которое является нашим основанным на метафизике предположением, что каждый, невзирая на его "земное общественное положение", имеет ценность, перед которой всякая светская власть должна склониться.

Египетский фараон, подобно месопотамскому царю, являлся телесным воплощением процесса, который отделяет порядок от хаоса. Одновременно фараон (царь) буквально воплощал своё государство. В заключение, фараон (царь) омолаживал своего собственного "отца". "Совершенный" фараон (царь) был поэтому исследовательским процессом, положившим начало своему государству, самим государством и оживляющим (исследовательским) процессом, который осовременивал это государство, когда ему грозила опасность слишком консервативного окостенения. Дополнительная широта и глубина придаётся этому чрезвычайно сложному и утончённому умозрительному представлению посредством рассмотрения его "психологической" составляющей. "Государство" не просто культурно; оно также и духовно. По мере того как устанавливаются обычаи и традиции, оно внедряется в каждую личность и становится частью её

духовного устройства. "Государство" поэтому одновременно является личностью и общественной организацией – личностью и общественным порядком, которых соединяли усилия сдерживать ужас хаоса (или, ещё лучше сказать, соединяли усилия сделать из хаоса что-либо положительно полезное). Это означает, что герой (царь), который устанавливает, воплощает и осовременивает общественный мир, является также той самой силой, что устанавливает, воплощает и осовременивает внутридушевный мир, **личность**, – и что одно осовременивание не может непременно или разумно отличаться от другого. "Улучшая" мир, герой улучшает себя; улучшая себя, он подаёт пример миру.

Первоначально "личность государства" была, по сути, ритуальным человеческим образом, героем, за которым надо было следить и которому надо было подражать (существом, представленным в образце поведения); затем историей о таких ритуальных образах (существом, представленным в воображении), а в конце концов – и только гораздо позже – отвлечённым построением правил, описывающих явные права и обязанности граждан (сущностью слов "свод" законов). Это всё более и более абстрактное и подробное построение развивается от подражания до отвлечённого представления и включает правила и схемы истолкования, полезные для поддержания устойчивости во взаимодействии между личностями. Именно установление этих правил и схем придаёт определённый смысл человеческому опыту, принося предсказуемость во все общественные ситуации (во все явления, с которыми сталкиваются многие личности). То же самое можно было бы сказать с психологической точки зрения. Именно включение "личности государства", над которой господствует личность героя, привносит порядок во внутреннюю общность нужд и желаний; привносит порядок в порождающий хаос души.

Месопотамский культурный герой и божество Мардук представляет способность процесса исследования неизвестного, которое вечно обещает и угрожает, порождать мир опыта. Египетские боги Гор и Осирис представляют расширенный вариант этой способности, которая означает не только порождение мира из неизвестного, но и преобразование образа приспособления, составляющего известное, когда такое преобразование делается необходимым.

Иногда "приспособление" является просто вопросом подгонки средств к цели. Более редко, но так же неизбежно приспособление есть умозрительное переосмысление "того, что известно": невыносимого настоящего, желательного будущего и средств достижения такового, – так как то, что известно, устарело и поэтому смертоносно. Именно итог этих процессов проявляется в иудео-христианской традиции как мифическое Слово Божие, которое воплощено во Христе, христианском культурном герое. Это та сила, которая порождает субъект и объект из первичного хаоса и которая, следовательно, предшествует существованию обоих; та сила, которая порождает традицию, делающую незащищённое существование возможным перед лицом постоянной смертельной угрозы; и та сила, которая пересматривает и дополняет защитную традицию, когда та становится несостоятельной и тиранической вследствие старения.

Шумерские и египетские мифы изображают представления чрезвычайной сложности в обрядовой (драматической) и образной форме. Эта форма является не целенаправленной мистификацией, а образом, в котором представления возникают, до того как они достаточно развиты, чтобы быть ясно постижимыми. Мы разыгрывали и предварительно формулировали полные, "импрессионистские" модели мира опыта (который был тем миром, какой мы должны были понимать) задолго до того, как "содержание" таких моделей могло быть понято в том смысле, в каком мы в настоящее время представляем себе понимание.

Краткий анализ шумерской и египетской теологий и их отношения к политической деятельности пролил достаточно света на образ, в котором развивались многие из наших важнейших современных представлений (и на то, что эти представления, в сущности, означают). Это понимание, извлечённое из двух или трёх конкретных примеров, может быть дополнительно усилено посредством более общего обсуждения. Поэтому мы переключим наше внимание с анализа законченных историй – чьё преимущество состоит в их более захватывающей природе – на подробное описание мифологических образов, сущность и взаимодействия которых составляют их "мир". Целостность мира, которая включает значения пережитых явлений, равно как и сами эти явления, состоит из того, что уже было исследовано и стало хорошо знакомым; из того, с чем ещё предстоит столкнуться и что поэтому непредсказуемо; и процесса, который выступает посредником между этими двумя областями. Следует дополнительно рассмотреть одну последнюю часть: состояние бытия, которое включает разделение всего на эти три составляющие или предшествует ему. Это состояние можно было бы рассматривать как

подлинный источник всех явлений, субъектов и объектов – как единого предка и конечное место назначения всего. Полный мифологический "мир опыта" схематически изображён – как личность, территория и процесс – на рисунке 28 "**Составляющие опыта как личности, области и процессы**". Наше обсуждение обратится сначала к разнообразной природе изображений первоначального, неразличённого в себе состояния – состояния первобытного хаоса, – а затем к более разработанному описанию его "детей" – божественных родителей, природы и культуры, и божественного сына, одновременно ребёнка, первоначального творца и вечного противника героя.

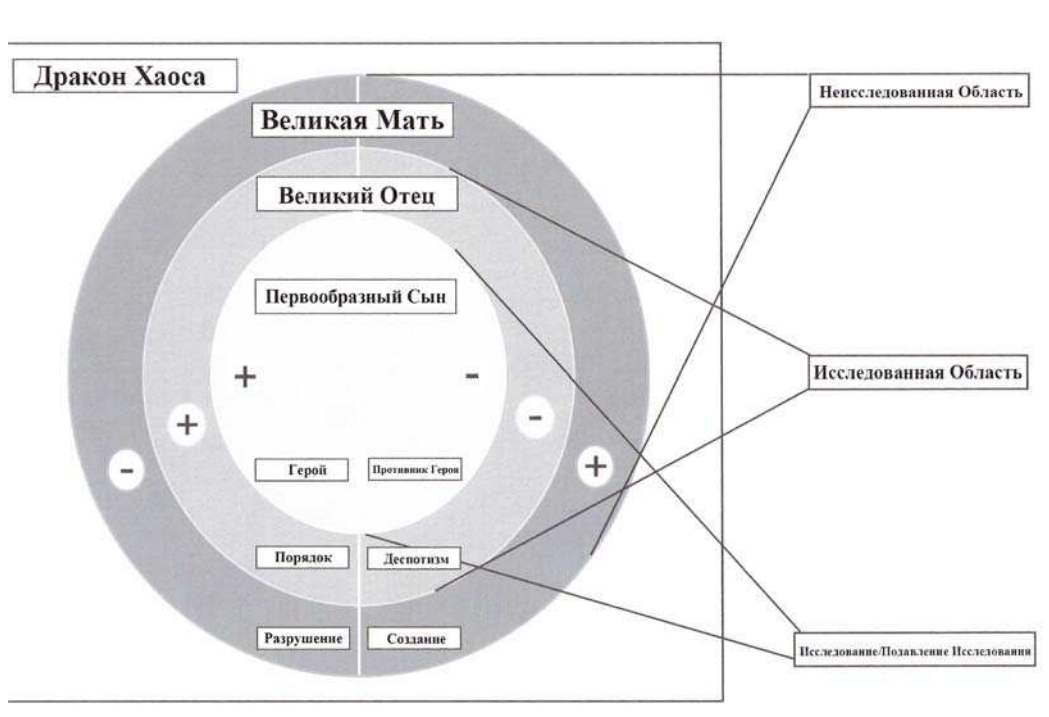


Рисунок 28

2.3.3. Дракон первобытного хаоса

"Источник всех вещей есть безграничное. Откуда они возникают, туда они должны по необходимости возвратиться. Ибо они искупают свою несправедливость в течение времени их жизни и возмещают одна другой за неё".²⁷⁰

Могло бы показаться бесплодным строить предположения о природе "того, что существовало до всякого опыта", или "того, что ещё не было исследовано". Бесплодно оно или нет, такое размышление занимало добрую часть времени человека, с тех пор как он пытался понять тайну своего возникновения и мира, в котором, как он обнаружил, он живёт. Определить, чем **является** то, что было до всего, что было, кажется невозможным. Миф пытается разрешить эту задачу, несмотря на невозможность её решения. Он решает её, используя орудие метафоры. Метафорические утверждения мифа работают, потому что неизвестные или частично известные явления неизбежно имеют общие важные свойства с более основательно исследованными, понятыми и хорошо знакомыми явлениями. Два или более предмета или ситуации, следовательно, располагаются в одном и том же мифологическом или категориальном пространстве, так как они имеют общие сходную форму, назначение или способность вызывать эмоции и вынуждать поведение. Корень мандрагоры, например, обладает, выражаясь символически, природой человека, так как имеет **форму** человека. Марс – воинственная планета,

потому что он красен, а красный цвет, цвет крови, нерасторжимо связан с нападением. Металл ртуть (и "дух", который живёт в нём) сродни морской воде, так как оба вещества могут служить растворителями или средствами преобразования. Темнота и лесной зверь – одно и то же, потому что и то и другое незнакомо; потому что и то и другое тормозит текущее поведение, когда они появляются; потому что они вызывают **страх**. Метафора соединяет явление с явлением, ситуацию с ситуацией, сосредоточиваясь на внешних, эмоциональных, функциональных и связанных с побуждением чертах, которые общи связанным ситуациям или явлениям. Через посредство такой связи то, что могло бы иначе оставаться совершенно таинственным, может начать становиться понятным, то есть **использованным**.

Мифы о происхождении метафорически изображают природу бесконечных возможностей, служивших отличительной чертой бытия до начала опыта. Это общее символическое построение включает множество видов, о каждом из которых можно было бы сказать, что он представляет собой частичную попытку изобразить неизобразимое целое. Природа этих особых видов простирается от определённой и конкретной до общей и абстрактной, и они оказываются под влиянием культурных условий и условий окружающей среды, существовавших во время их возникновения. Процесс метафорического изображения перебрасывает мост – и всё более и более используемый для сообщения мост – между тем, что может быть непосредственно исследовано, испытано и "понято", и тем, что навеки остаётся неизвестным.

Мифологические символы хаоса как начала – это богатые образами картины, чьей целью является изображение парадоксальной целостности – "состояния" (что уже говорит нечто слишком определённое) самостоятельного, однородного и совершенного, где всё ныне отличное пребывает в союзе: состояния, где бытие и небытие, начало и конец, вещество и энергия, дух и тело, сознание и бессознательное, женственность и мужественность, ночь и день остаются смешанными до их различения на отделимые друг от друга составные части опыта. В этом "состоянии" все мыслимые пары противоположностей и противодействующих сил существуют вместе – внутри всеохватывающего объятия всеведущего, вездесущего, всемогущего и совершенно таинственного Бога. Это "райское" предварительное состояние, отличающееся полной завершённостью, которому ничего не недостаёт, существует в противопоставлении богохульному миру, несовершенному и частичному, невыносимо подвешенному во времени и в пространстве; полностью окружает этот мир, как ночь окружает день; представляет собой начало всех вещей, первоисточник всего и подобным же образом – место упокоения и место назначения для всего. Уильям Джеймс обратился к поэзии в попытке умозрительно представить это "место":

"Никакое многословие не может его дать, потому что многословие – это другое,
Бессвязное, связанное – то же самое.
И оно постепенно исчезает! И оно бесконечно! И оно бесконечно!
Разве вы не видите разницу, разве вы не видите тождество?
Постоянно соединённые противоположности.
Это тоже самое, как я бы приказывал вам писать и не писать!
Крайнее – крайнее, крайнее!..
Нечто и нечто другое, чем та вещь!
Опьянение и нечто другое, чем опьянение.
Каждая попытка улучшения, каждая попытка отличия – это...
Оно исчезает навсегда и навечно, когда мы передвигаемся".²⁷¹

Это состояние – "целостность всех вещей" – можно было бы рассматривать как "объективный мир в отсутствие субъекта", хотя это умозрительное представление слишком узко, так как первобытный хаос содержит также и то, что "развивается в" субъекта, когда оно видоизменяется. То, что можно было бы рассматривать как общепринятую объективную точку зрения, основано на представлении, что "предметы", как они воспринимаются, существуют, невзирая на воспринимающего. С некоторой точки зрения, это правда. "Предметы" обладают "природой", которая кажется независимой от субъективной воли, и следуют своим собственным законам существования и развития, несмотря на наши желания. Тем не менее задача определения того, чем является "предмет" в отсутствие субъекта, гораздо более трудна, чем могло бы первоначально представляться. Дело несомненно обстоит – как мы уже видели – так, что **ценность** предмета может меняться с изменением системы отсчёта. По-видимому, истинно, однако, что то, чем

предмет является "сам по себе", также подвержено такому изменению. Любой данный предмет – скажем стол – существует **как стол**, потому что он понимается только очень сдержанным и ограниченным способом. Нечто является столом на особом и обособленном уровне анализа, точно определяемом природой наблюдателя. В отсутствие этого наблюдателя можно было бы спросить: чем же является то, что так понимается? Является ли надлежащий уровень анализа и точного определения внутриатомным, атомным или молекулярным (или всеми тремя сразу)? Должен ли стол считаться неотличимой составной частью планеты Земля, на которую он опирается, или солнечной системы, содержащей Землю, или самой Галактики? Тот же самый вопрос относится к временной точке зрения. То, что теперь является столом, некогда было деревом, перед тем – землёй, перед тем – горной породой, перед тем – звездой. То, что теперь стол, имеет также одинаково сложную и очень долгую историю развития, ожидающую **прямо перед** ним, что она наступит. Он (стол), возможно, будет, золой, затем – землёй, потом – достаточно далеко в будущем – опять частью солнца (когда солнце, в конце концов, опять окутает землю). Стол является тем, что он сейчас "есть", только в очень узком промежутке пространственного и временного разрешения (том промежутке, который точно отличает наше сознание). Таким образом, что же такое стол как "независимый предмет" – то есть "свободный" от ограничений, которые отличают очевидно ограниченную человеческую точку зрения? Чем же является то, что может быть умозрительно представлено на всех пространственных и временных уровнях анализа одновременно? Включает ли "существование" этого предмета его взаимодействия со всем, на что он влияет и что на него влияет посредством электромагнитного поля и поля тяготения? Является ли этот "предмет" всем, чем он некогда был, всем, что он есть, и всем, чем он будет, всеми, в одно и то же "время"? Где же тогда его границы? Как его можно отличить от других предметов? А без такого различения, каким образом можно о нём говорить, что он "существует"?

Вопрос: что такое предмет при отсутствии системы отсчёта? Ответ: он является всем возможным сразу: он есть нечто, которое представляет собой соединение всех различных в настоящее время противоположностей (и нечто, которое, следовательно, не может быть легко отлито от ничто).

Я не говорю, что нет таких явлений как "предметы", что было бы, конечно, совершенно нелепо. Вполне очевидно также, что "предметы", которые мы постигаем, "подчиняются правилам": космос, как мы его переживаем, упорядочен и разумно постижим. Что я заявляю, так это то, что "объективные" предметы являются в действительности плодами взаимодействия между всем, что есть наше ограниченное сознание, и всем, что является неограниченным "фоном", который составляет мир в отсутствие субъекта. Это и есть позиция, сообщённая мифологией, в особенности мифами о происхождении.

Первобытные мифы, описывающие первичное происхождение всего, занимаются изображением источника не **объектов** в современном смысле, а **субъектов и опыта этих субъектов** (какая-то часть которого может рассматриваться как "объекты"). Такие мифы символически описывают возникновение мира опыта, рассказывая о "жизни" изначального бога, изображая разделение этого бога на мировых родителей и подробно рассказывая о разделении этих родителей их собственным "сыном". Это последнее есть разделение двуполого, всеохватывающего, самопожирающего и самопитающего змея хаоса на землю, или материю, и небо, или дух, и последующее различение этих "изначальных противодействующих друг другу сил" до распознаваемых сторон бытия. Показательный пример этого даёт индо-европейский миф об **Индре и Вритре**:

"Центральный миф об Индре, который к тому же является важнейшим мифом «Ригведы», рассказывает о его победоносном сражении с Вритрой, гигантским драконом, который удерживал воды в «горной расщелине». Подкреплённый сомой, Индра распластывает змея своей **ваджрой** («молнией»), оружием выкованным Тваштаром, раскалывает его череп и освобождает воды, которые низвергаются в море «как мычащие коровы» (РВ I 32) .

Борьба бога со змееподобным или морским чудовищем является, как известно, весьма распространённым мифологическим сюжетом. Можно вспомнить борьбу между Ра и Апопом, между шумерским богом Нинуртой и Асагом, Мардуком и Тиамат, между хеттским богом грозы и змеем Иллуянкой, между Зевсом и Тифоном, иранским героем Тразтаоной и трехглавым драконом Ажи-Дахакой. В некоторых случаях (например, Мардук – Тиамат)

победа бога является предусловием космогонии. В других случаях ставка – начало новых времён или установление новой власти (ср.: Зевс – Тифон, Баал – Йамму). Короче говоря, именно умерщвление змееподобного чудовища, выступающего как символ «хаоса» и одновременно «первоначальности», создаёт новую космическую или организационную «обстановку». Характерная и общая для всех этих мифов черта – первоначальное поражение героя или страх поражения. Мардук и Ра колеблются вступать в бой; поначалу змею Иллуянке удаётся ранить бога; Тифону удаётся отрезать и унести сухожилия Зевса. Согласно «Шатапатха-брахмане» (I 6.3 – 17), Индра, увидев Вритру, убегает как можно дальше, а «Маркандея-пурана» представляет его «больным от страха» и надеющимся на мир.²⁷²

Нет нужды останавливаться на натуралистических истолкованиях этого мифа. В победе над Вритрой видели то грозу, разрешающуюся дождём, то освобождение горных вод (Ольденберг), то победу солнца над холодом, «пленившим» и заморозившим воды (Хиллебрандт). Конечно, натуралистические элементы здесь есть, поскольку миф многозначен; в частности, победа Индры равносильна торжеству жизни над бесплодием и смертью как последствиями «остановки» вод Вритрой. Однако настрой мифа космогоничен. В «Ригведе» (I 33.4) говорится, что своей победой бог сотворил солнце, небо и рассвет. Согласно другому гимну (X 113.4 – 6) Индра самим своим рождением разделил Небо и Землю, установил небесный свод и, метнув **ваджру**, поразил Вритру, который удерживал воды в плену во тьме. Теперь Небо и Земля – родители богов; Индра – самый младший из них (III 38.1) и последний, поскольку он кладёт конец священному браку Неба и Земли: «Своей силой он разводит эти два мира, Небо и Землю, и позволяет Солнцу воссиять» (VIII 3.6). После этого творческого подвига Индра утверждает Варуну в качестве миродержца и хранителя **риты** (которая осталась спрятанной в подземном мире (I 62.1)).

... Существуют и иные типы индийской космогонии, которые выводят сотворение мира из **первичной материи**. Миф, который мы только что подытожили, не таков, ибо здесь некоторый тип «мира» уже существовал. Ибо Небо и Земля были уже сформированы и породили богов. Индра всего лишь развёл космических родителей и, метнув свою **ваджру** во Вритру, положил конец бездвижности, «виртуальности», символизируемой образом существования дракона. [Индра наталкивается на Вритру, «не разделённого, не бодрствующего, погружённого в глубочайший сон, растянувшегося» (RV IV 19.3).] В некоторых традициях «формовщик» богов Тваштар, чья роль скудно освещена в «Ригведе», построил себе дом и создал Вритру, целиком накрывшего собой дом. Внутри этого жилища, окружённого Вритрой, существовали Небо, Земля и Воды. Индра расколол эту первичную монаду, сломив «сопротивление» и инерцию Вритры. Другими словами, мир и жизнь не могли родиться иначе как через убийство первичного бесформенного Существа. Миф этот существует в бесчисленных вариантах и довольно распространён...²⁷³

Первобытный зверообразный змей-бог – это бесконечная **возможность**; это всё, что включает бытие до возникновения способности к опыту. Эта возможность наиболее обычно представлялась как самопожирающий дракон, так как этот образ (изображённый на рисунке 29 "Уробор – докосмогонический дракон хаоса"²⁷⁴) удачно символизирует **союз несоизмеримых противоположностей**.

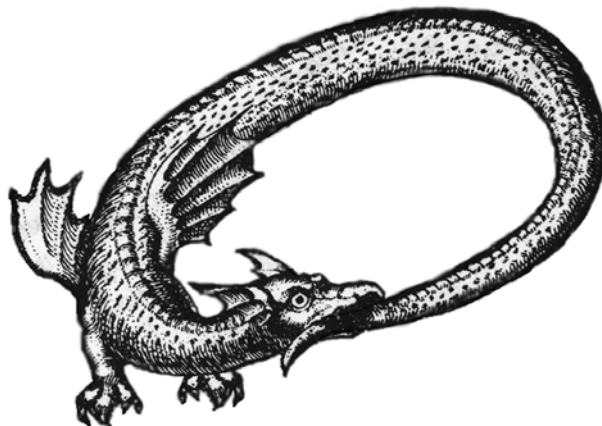


Рисунок 29

Уробор одновременно является представителем двух исконных прямо противоположных начал. Как змея, уробор – создание земли, **материи**; как птица (крылатое животное), он – создание воздуха, неба, **духа**. Уробор символически изображает союз **известного** (связанного с духом) и **неизвестного** (связанного с материей), исследованного и неисследованного. Он символизирует сопоставление "мужских" начал безопасности, тирании и порядка с "женскими" началами тьмы, исчезновения, творческой способности и хаоса. Более того, как и змея, уробор обладает способностью сбрасывать свою кожу – "возрождаться". Таким образом, он к тому же представляет возможность преобразования и означает **того, кто познаёт**, кто может превратить хаос в порядок, а порядок – в хаос. Уробор означает, или представляет собой, всё, с чем ещё не сталкивались, до его внутреннего различия вследствие деятельного исследования и классификации. Он есть источник всех сведений, которые составляют установленный мир опыта, и одновременно – место рождения испытывающего этот опыт субъекта.

Уробор является одним существом, как всё, что ещё не было исследовано, является одной вещью; он существует везде и во все времена. Он совершенно замкнут, совершенно самоотносителен: он питает, оплодотворяет и поглощает себя. Он объединяет начало и конец, бытие и становление в бесконечном круговороте своего существования. Он служит символом основы самой действительности. Он является "множеством всех вещей, которые ещё не являются вещами", – главным источником и последним местом возвращения для каждого отличимого объекта и каждого независимого субъекта. Он является прародителем всего, что мы знаем, всего, что мы не знаем, и духа, который составляет нашу способность знать и не знать. Он есть тайна, постоянно возникающая, когда решения старых задач вызывают новые задачи; море хаоса, окружающее остров знания человека, а также источник этого знания. Он есть весь новый опыт, порождённый временем, которое непрестанно работает, чтобы ещё раз превратить временно предсказуемое в неизвестное. Он – самый вездесущий и могущественный из исконных богов человечества:

"Это древний египетский символ, о котором сказано: **«Draco interfecit se ipsum, maritat se ipsum, impraegnat se ipsum»**. Он убивает себя, вступает с собой в брак и оплодотворяет себя. Он мужчина и женщина, порождающий и зачинающий, пожирающий и рожающий, активный и пассивный, наверху и внизу – сразу.

Как Небесный Змей уробор был известен в древнем Вавилоне; в более поздние времена в тех же самых краях он часто изображался мандеями; Макробий приписывает его происхождение финикийцам. Он является прообразом греческого выражения Всеединство, появляясь как Левиафан и как Эон, как Океан и как Главное Существо, которое говорит: «Я есмь Альфа и Омега». Как Кнеф классической древности он – Первобытная Змея, «наиболее древнее божество доисторического мира». Следы уробора можно обнаружить в Откровении св. Иоанна и среди гностиков, равно как и среди римских синкретистов. Его изображения имеются в песчаных росписях индейцев Навахо и у Джотто. Он обнаружен в Египте, Африке, Мексике и Индии, как амулет среди цыган и в алхимических текстах".²⁷⁵

Уробор – это Тиамат, дракон, который обитает в пучине, преобразованный Мардуком в мир; это Апоп, змей, который еженощно пожирает солнце; и это **Раав**, левиафан, убитый Яхве в ходе создания космоса:

"Можешь ли ты удою вытащить левиафана и верёвкой схватить за язык его?
Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его?
Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко?
Сделает ли он договор с тобою, и возьмёшь ли его навсегда себе в рабы?
Станешь ли забавляться им, как птичку, и свяжешь ли его для девочек твоих?
Будут ли продавать его товарищи ловли, разделат ли его между Хананейскими купцами?
Можешь ли пронзить кожу его копьём и голову его рыбацьею острогою?
Клади на него руку твою и помни о борьбе; вперёд не будешь.
Надежда тщетна: не упадёшь ли от одного взгляда его?"

Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его; кто же может устоять перед Моим лицом?

Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? Под всем небом всё Моё.

Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их.

Кто может открыть верх одежды его, кто подойдёт к двойным челюстям его?

Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его – ужас.

Крепкие щиты его – великолепие; они скреплены как бы твёрдою печатью.

Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними.

Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются.

От его чихания показывается свет; глаза у него, как ресницы зари.

Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры.

Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла.

Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя.

На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас.

Мясистые части тела его сплочены между собою твёрдо, не дрогнут.

Сердце его твёрдо, как камень, и жёстко, как нижний жернов.

Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса.

Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копьё, ни дротик, ни латы.

Железо он считает за солому, медь – за гнилое дерево.

Дочь лука не обратит его в бегство; пращные камни обращаются для него в плеву.

Булава считается у него за соломину; свисту дротика он смеётся.

Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи.

Он кипятит пучину, как котёл, и море претворяет в кипящую мазь;

Оставляет за собою светящуюся стезю; бездна кажется сединою.

Нет на земле подобного ему: он сотворён бесстрашным;

На всё высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости".

(Иов, 40 : 20 – 27; 41 : 1 – 26).

Уробор есть то, что существует как чистая неограниченная возможность, до проявления такой возможности в опыте ограниченного субъекта. Он является бесконечной возможностью внезапной разительной непредсказуемости, которая всё ещё пребывает в наиболее основательно исследованных и знакомых из предметов (явлений, других людей, нас самих). Эта непредсказуемость есть не простая физическая возможность или потенциал; она к тому же и смысл. Область хаоса – которая находится там, где то, что надо делать, ещё не было точно определено, – это "место", отличающееся наличием могучих эмоций, упадка духа, подавленности, страха; место, характеризующееся отсутствием корней, утратой и сбитостью с толку. Именно эмоциональная сторона хаоса составляет то, что наиболее несомненно известно о хаосе. Это "тьма, засуха, приостановка норм и смерть".²⁷⁶ Это ужас темноты ночи, которая наполняется демонами воображения и всё же вызывает жуткое очарование. Это огонь, который волшебным образом сводит одну определённую вещь к другой. Это ужас и любопытство, возбуждаемые незнакомцем и чужестранцем.

Уробор – первобытная утроба – содержит в "зародышевом" виде всё, что, возможно, может в принципе быть испытано в опыте, и то существо, которое это испытывает. Великий змей (утроба) является поэтому сознанием – **духом**, до того, как он проявится, – и **материей**, до того, как она отделена от духа. Это великое мифологическое представление находит свой отзвук в некоторых современных теориях развития субъекта; в особенности среди тех, которые называются **конструктивистскими**. Знаменитый швейцарский учёный, занимавшийся психологией развития, Жан Пиаже утверждал, например, что переживающий субъект создаётся в младенчестве вследствие его исследовательской деятельности.²⁷⁷ Он действует и наблюдает себя, действующего; затем подражает действию, создавая первичное представление самого себя, – позднее формулирует более отвлечённую модель своих собственных действий. **Таким образом субъект создаётся из сведений, порождённых в ходе исследовательской деятельности.** Одновременно возникает мир:

"Ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни.

Ты иссёк источник и поток, Ты иссушил сильные реки.

Твой день и Твоя ночь; Ты уготовал светила и солнце;
Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил".
(Псалтирь, 73 : 14 – 17).

Действия имеют последствия. Последствия действий составляют мир – хорошо знакомый мир, когда они предсказуемы; мир неожиданного, когда они непредсказуемы.

"Состояние" первоисточника наиболее абстрактно представлялось как круг, самая "совершенная" из геометрических фигур, или как шар, без начала или конца, симметричный в отношении всех осей. Платон в "Тимее" описывает первичный источник в самом начале как круглый²⁷⁸. На Дальнем Востоке мир и его значения возникают из окружающего взаимодействия и союза светлого, духовного, мужского начала **ян** и тёмного, материального, женского начала **инь**.²⁷⁹ Согласно знатокам средневековой алхимии, различные объекты опыта (и субъекты, которые испытывали их в опыте) возникали из круглого хаоса, который был шарообразным вместилищем изначальной стихии.²⁸⁰ Бог ислама, иудаизма и христианства, "Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний" (Откровение, 22 : 13) помещается вне или по ту сторону мирских изменений и соединяет временные противоположности в пределах великого круга своего бытия. Уподобление первоисточника кругу находит повествовательный отзвук в мифах, описывающих Небо как цель, которой жизнь посвящена или должна быть посвящена (по крайней мере, с точки зрения "бессмертной души"). Царство Божие, обещанное Христом, есть, по сути, восстановление рая (хотя рая, отличительной чертой которого является примирение противодействующих сил, а не возврат их к досознательному единству и исчезновение в нём). Такое восстановление замыкает круговорот временного бытия.

Первоначальное состояние уробора есть "место", где все противоположности были (и будут) объединены; это великий самопожирающий дракон, чьё разделение на составные части представляет непереносимое предварительное условие самого опыта. Это первоначальное состояние есть "место", где нет трудностей, и, вследствие этого, имеет райский вид, однако цена, которую приходится платить за уроборский рай – это само бытие. Пока первоначальное единство всех вещей не нарушено, – пока самый изначальный из богов не убит, – само существование не возникает. Возникновение вещей, однако, приносит с собой проблему противоположностей – проблему, которую нужно разрешить наилучшим образом, не уничтожая самого существования.

Уробор – объединённый родитель известного, Великого Отца (исследованной области и хорошо знакомого), и неизвестного, Великой Матери (непредсказуемого и сведений о необычном). Его можно было бы также рассматривать как единого двуполого деда и бабушку героя, сына ночи и дня, посредника между известным и неизвестным, чьё бытие составляет необходимую предпосылку существования различных вещей (и который может, следовательно, также рассматриваться как **первопричина**). Мировые прародители, Земля и Небо, возникают, когда дракон-уробор подвергается первому разделению. **Рисунок 30 "Рождение прародителей мира"** представляет "рождение мира" в схематическом виде, насколько оно было умозрительно представлено воображением создателей мифа. Хаос, который составляет целостность, разделяется на то, что уже было исследовано, и то, что ещё должно быть исследовано.

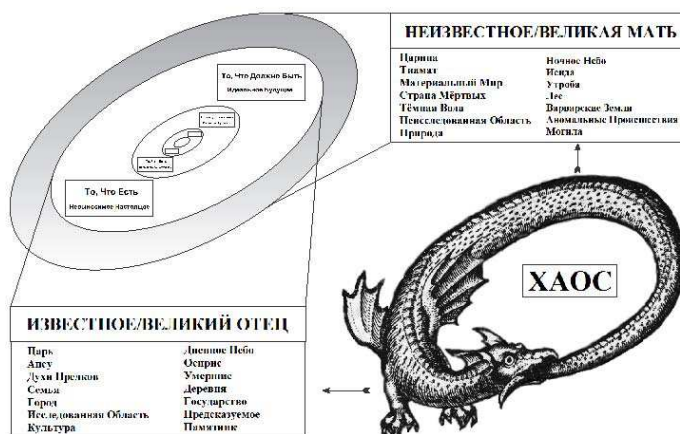


Рисунок 30

С точки зрения мифа это разделение равносильно возникновению космоса и, следовательно, сотворению мира, или самого бытия. Недостаёт одного – наличия исследователя и природы его связи с тем, что известно, и тем, что ещё должно стать известным. С "рождением" исследователя – с его созданием из взаимодействия культуры и природы – возникает целый "мир".

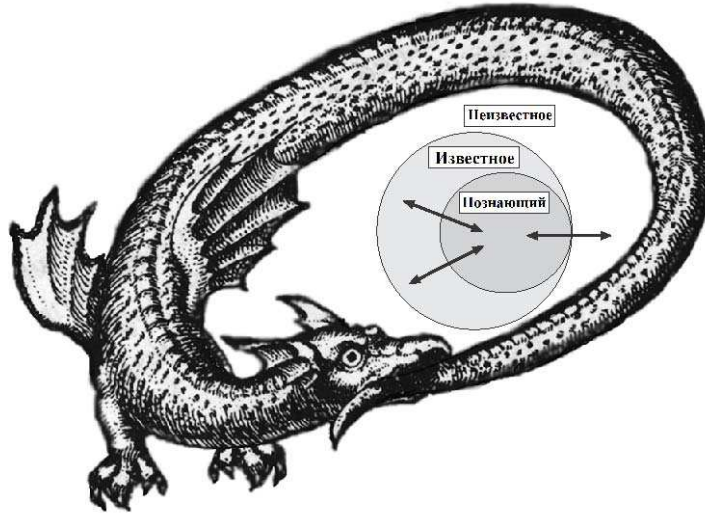


Рисунок 31

Это "возникновение опыта" изображено на рисунке 31 "**Составляющие опыта в их динамическом отношении**". "Тот, кто познаёт", – это одновременно дитя природы и культуры, создатель культуры (как следствия его столкновения с природой неизвестного мира) и "личность", для которой неизвестное является действительностью.

Почти невозможно переоценить степень, до которой схема категоризации "прародителей мира" окрашивает основные человеческие предположения и деятельность (или, наоборот, получена из них). "Мир" – это исследованная область, окружённая тайной. Эта тайна испытывается как неразличённый, но часто угрожающий хаос. Всё, что "занимает" такой хаос, **непосредственно воспринимается как** (но не отвлечённо умозрительно представлено как) **ему тождественное** – непосредственно воспринимается как неизвестное и вызывающее беспокойство. Следовательно, чужестранец – обитатель "жилища шакалов" (Исайя, 34 : 13) – **естественно** понимается как представитель бесформенного хаоса. Элиаде утверждает:

"Одной из характерных особенностей традиционных обществ является противоположность, которую они предполагают между их обитаемым миром и неизвестным и неопределённым пространством, которое его окружает. Первое – это мир (точнее сказать наш мир), космос. Всё, что вне его, – это уже не космос, а своего рода «иной мир», чуждое, хаотическое пространство, населёемое призраками, демонами, «чужаками» (которые уподобляются демонам и душам мёртвых (более точно неотличимы от них))".²⁸¹

Всё, что **снаружи**, занимает то же самое категориальное пространство, что и дракон хаоса или ужасная Великая Мать. Ранние индо-европейцы приравнивали уничтожение врагов в бою к убийству Вритры Индрой.²⁸² Древние египтяне рассматривали гиксосов, "варваров", как равноценных Апопу, змею, который еженощно пожирает солнце,²⁸³ а древние иранцы (зороастрийцы) приравнивали мифическую борьбу царя Феридуна против иностранного захватчика, дракона Аждахака, космогонической борьбе героя Тразтаоны против Ажи-Дахаки,

первобытного змея хаоса.²⁸⁴ Враги ветхозаветных евреев также испытали ту же самую судьбу: они рассматриваются как равнозначные Рааву, или Левиафану, змею, побеждённому Яхве в его битве за то, чтобы создать мир ("Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я на тебя, фараон, царь Египетский, большой крокодил, который, лёжа среди рек своих, говоришь: «Моя река, и я создал её для себя»" (Иезекииль, 29 : 3), а также "Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский; сделал меня пустым сосудом; поглощал меня, как дракон; наполнял чрево своё сластями моими, извергал меня" (Иеремия, 51 : 34)). Элиаде продолжает:

"При первом взгляде это разделение в пространстве кажется вызванным противоположностью между обитаемой и организованной – следовательно превращённой в космос – территорией и неведомым пространством, что простирается за её границами: на одной стороне находится космос, на другой – хаос. Но мы увидим, что если всякая обитаемая территория есть космос, это имеет место потому, что она сначала была освящена, потому что, так или иначе, она есть создание богов или находится в связи с миром богов. Мир (то есть наш мир) – это вселенная, внутри которой священное уже проявилось, в которой, следовательно, прорыв из одного уровня в другой стал возможным и повторяемым. Нетрудно понять, почему религиозное значение подразумевает космогоническое. Священное открывает абсолютную реальность и в то же самое время делает возможной ориентацию. Следовательно, оно **создаёт мир** в том смысле, что оно закрепляет его пределы и устанавливает порядок этого мира.

Всё это очень ясно проявляется в ведическом обряде вступления во владение территорией. Владение становится имеющим законную силу через посредство сооружения алтаря огня, посвящённого Агни. «Сказано, что человек введён во владение, если он соорудил алтарь огня (**garhapatya**), и все те, кто соорудил алтарь огня, введены в законное владение» (**Shatapatha Brachmana**, VII, 1, 1, 1 – 4). Посредством воздвижения алтаря огня Агни заставляют присутствовать и обеспечивается общение с миром богов. Пространство алтаря становится святым местом. Но значение этого обряда гораздо более сложно, и если мы рассмотрим все его разветвления, мы поймём, почему освящение территории равносильно тому, чтобы сделать её космосом, **превратить её в космос**. Ибо, по сути, воздвижение алтаря Агни – это только воспроизведение – на микрокосмическом уровне – сотворения мира. Вода, на которой замешивается глина, уподобляется изначальной воде. Глина, которая образует основание жертвенника, символизирует землю. Его боковые стены представляют воздух и так далее. И сооружение жертвенника сопровождается песнями, которые объявляют, какая космическая область была только что создана (**Shatapatha Brachmana**, I, 9, 2, 29 и так далее). Поэтому сооружение жертвенника огня – которое одно только делает законным вступление во владение новой территорией – равносильно космогонии.

Неизвестная, чуждая и необитаемая территория (что часто означает «необитаемая нашим народом») по-прежнему разделяет с хаосом его текучий и личиночный способ бытия. Занимая её и, прежде всего, поселяясь в ней, человек символически превращает её в космос посредством обрядового повторения космогонии. То, что должно стать «нашим миром», должно сперва быть «создано», а у каждого создания есть образец – сотворение мира богами. Когда скандинавские поселенцы вступали во владение Исландией (**land-nama**) и расчищали её, они не рассматривали это предприятие ни как самобытное, ни как человеческое и мирское дело. Для них их работа была только повторением изначального деяния, превращения хаоса в космос посредством божественного действия творения. Когда они пахали пустынную землю, они на самом деле повторяли действия богов, которые организовали хаос, придавая ему строение, вид и порядок.

Имеет ли место расчищение необработанной почвы или завоевание территории, уже населённой «иными» людьми, ритуальное вступление во владение ею должно всегда повторять космогонию. Ибо с точки зрения первобытных обществ всё, что не есть «наш мир», – это ещё не мир. Территория может стать нашей только путём создания её заново, то есть посредством её освящения. Это религиозное поведение в отношении неизвестных земель продолжалось, даже на Западе, вплоть до зари новых времён [и было недавно отражено в «водружении флага» на луне американскими космонавтами]. Испанские и португальские конкистадоры, открывая и покоряя области, вступали во владение ими во имя Иисуса Христа [творящего мир Слова Божьего]²⁸⁵.

Подобная форма обряда и образования представлений господствует в даже настолько "простых" процессах как заложение фундамента нового здания. В Индии

"... прежде чем будет уложен хоть один камень, «звездочёт показывает, какое место в фундаменте находится как раз над головой змеи, которая поддерживает мир. Каменщик изготавливает деревянный колышек из дерева хадира и забивает его кокосом в землю в этом особенном месте таким образом, чтобы надёжно пригвоздить голову этой змеи... Если ей придётся когда-либо действительно сильно встряхнуть головой, весь мир распадётся на кусочки».²⁸⁶ Краеугольный камень помещается прямо над колышком. Таким образом, этот камень расположен точно в «центре мира». А действие заложения фундамента в то же самое время повторяет космогоническое действие, ибо «закрепить» голову змеи, вбить в неё колышек – это значит повторить изначальный жест Сомы (РВ, II, 12, 1) или Индры, когда последний «поразил Змея в его логове» (РВ, VI, 17, 9), когда удар молнии Индры «отсёк его голову» (РВ, I, 52, 10)".²⁸⁷

Порядок – исследованная область – создаётся из хаоса и одновременно существует в противоположении к этому хаосу (точнее сказать, к "новому" хаосу: неизвестному, **ныне определённого в противоположении к исследованной области**). Всё, что не является порядком – то есть непредсказуемо, непригодно к употреблению, – есть (по определению, данному за неимением лучшего) **хаос**. Чужестранец – чьё существование и территория не были освящены, чьё поведение невозможно предсказать, который не является родственником, ни по крови, ни по обычаю, и не является обитателем "космоса", – **равнозначен** хаосу (а не просто приравнен хаосу в переносном смысле). Его появление как таковое означает угрозу, так как его верования и образ действия обладают способностью опрокинуть само общество, обладают способностью растворить и затопить мир и восстановить владычество уробора.

2.3.4. Великая Мать: образы неизвестного, или неисследованной области

"Мать Песен, мать всего нашего потомства, родила нас в начале. Она мать всех народов и мать всех племён. Она мать грома, мать рек, мать деревьев и всевозможных вещей. Она мать песен и танцев. Она мать наших старших братьев, камней. Она мать зерна и мать всех вещей. Она мать наших младших братьев, французов, и чужестранцев. Она мать танцевального убранства и всех храмов и единственная мать, которая у нас есть. Она мать животных, единственная, и мать Млечного Пути. Та самая мать, которая начала крестить. Она дала нам известняковое блюдо для коки. Она мать дождя, единственная, которая у нас есть. Она одна мать всех вещей, она одна. И эта мать оставила воспоминание во всех храмах. Со своими сынами, спасителями, она оставила песни и танцы как напоминание. Так рассказывали жрецы, отцы и старшие братья".²⁸⁸

Представление о культуре, известном, сравнительно просто. Это абстракция второго порядка, описание того, что уже было подчинено порядку. Представление о культуре – это представление в сжатом виде того, к чему уже ранее произошло приспособление поведения; тех явлений или ситуаций, чьи чувственные свойства, эмоциональный смысл и значение как побуждения уже были точно определены и являются таковыми сейчас. Представление о том, кто познаёт, о познающем человеке, есть также описание того, с чем люди постоянно сталкиваются во всех межличностных взаимодействиях и во всех сознательных состояниях: это изображение тех сторон бесконечно сложного множества данных, которые были, по крайней мере, испытаны, если и не исчерпаны. Представление о неизвестном, однако, кажется невозможным, кажется явным противоречием. Как может то, с чем ещё не встречались, быть постигнуто, понято, воплощено? Как можно смотреть ему в лицо или приспособиться к нему? Но то, с чем ещё не встречались, должно быть понято. Наш опыт постоянно выходит за пределы области нашего установленного знания. Мы стремимся к постоянному соприкосновению с неизвестным. Оно появляется всякий раз, когда мы совершаем ошибку; всякий раз, когда наши предположения не оправдываются; всякий раз, когда наше поведение не вызывает ожидаемых и желаемых последствий. Отсутствие

определённого описания необъяснимого обстоятельства не отменяет необходимости соответствующего действия, даже если природа этого действия ещё не могла быть точно определена. Это значит, что природа неизвестного как такового должна быть представлена, чтобы можно было задумывать образцы действия, **которые в общих чертах годны быть откликом на то, что ещё не может (и никогда не сможет) быть предсказано или управляемо.** Мы в действительности одарены множеством парадоксальных способностей: мы знаем, что делать, когда мы не знаем, что делать; мы знаем, как представить, что делать, когда мы не знаем, что делать; в конце концов, мы знаем, как представить то, с чем мы ещё не сталкивались. Эти приспособительные способности – на первый взгляд невозможные – чрезвычайно способствуют нашему умению успешно справляться со своим таинственным опытом, а также сообщать другим и расширять это умение.

Если случается ошибка в суждении, истолковании или поведении и появляется нечто неожиданное, то это неожиданное обладает распознаваемыми свойствами: оно является опасным и многообещающим. Опасность – это возможность наказания, расстройства, разочарования, общественной изоляции, телесных повреждений, даже смерти. Однако каждый миг угрозы одновременно является мигом благоприятной возможности. Перемена, которая расстраивает предсказуемое и упорядоченное в настоящее время, означает также возможность продвижения в более многообещающее будущее. Неожиданное есть само знание, знание, необходимое для постоянного расширения способностей к приспособлению. Такое знание приходит, обрамлённое угрозой и обещанием. Чтобы получить обещанное знание, угроза должна быть преодолена. Этот процесс необходимого вечного преодоления постоянно создаёт и преобразует наш запас возможных способов поведения и изобразительные схемы.

Всё известное сейчас о субъекте и объектах человеческого опыта было некогда просто неразличённым неизвестным, что было гораздо больше, чем то, что ещё оставалось открыть о совместно постижимых чувственных качествах мира. Неизвестное может проявиться в согласованно утверждаемой эмпирической области как стороне материального мира; подобным же образом оно может проявиться как новое значение там, где до того никакого значения очевидно не было. То, что известно и хорошо знакомо, не представляет никакой угрозы и не предлагает никакой возможности сверх того, что уже было ранее установлено. Исследованное явление или ситуация уже были связаны с поведением, которое делает их в идеальном случае благотворными или, по крайней мере, не относящимися к делу. Вездесущее неизвестное, напротив, представляет угрозы и обещания бесконечного размаха, которые невозможно охватить одним словом и на которые одинаково невозможно не обращать внимания. Неизвестное, неожиданное или непредсказуемое есть источник всякого обусловленного знания и место, куда такое знание, так сказать, "возвращается", когда оно больше не является полезным. Всё, что мы знаем, мы знаем потому, что кто-то исследовал то, чего он не понимал; исследовал что-то, чего он боялся, перед чем испытывал благоговейный трепет. Всё, что мы знаем, мы знаем потому, что кто-то произвёл что-то ценное в ходе столкновения с неожиданным.

"Цивилизация продвигается вперёд, увеличивая число действий, которые мы можем выполнять, не думая о них".²⁸⁹ Все вещи, которые мы знаем, больше не требуют нашего внимания. Знать нечто – значит делать это машинально, не думая, относить его к какому-либо разряду с одного взгляда (или меньше, чем взгляда) или совершенно не обращать на него внимания. Нервная система "задумана" так, чтобы устранить предсказуемость из рассмотрения и сосредоточить ограниченные средства анализа там, где их сосредоточение произвело бы полезные результаты. Мы следим за местами, где происходят изменения; где случается нечто, что ещё не было взято за образец; где случается нечто, вокруг чего ещё не воздвигнуто поведение; где происходит нечто, что ещё не понято. Само сознание можно было бы рассматривать как тот "орган", который занимается, в основном, анализом и классификацией непредсказуемых событий. До того, что можно было бы обычно считать высшей познавательной обработкой, внимание и сосредоточенность естественно тяготеют к тем составным частям поля опыта, которые больше всех других содержат новизны, или к тем, которых меньше всего ожидают. Нервная система отзывается на изменения, нарушающие правила, и устраняет из рассмотрения соответствия правилам. В предсказуемом содержится ограниченная информация, как положительная, так и отрицательная. Напротив, новое происшествие можно рассматривать как окно в "запредельное пространство", где в вечной и неограниченной возможности существуют вознаграждение и наказание.

Неизвестное, или неожиданное, или новое происходят, когда замыслы не удаются: когда приспособление поведения не производит того, что желательно, или объяснительная схема не предсказывает того, что происходит. При отсутствии сознательного желания появление неожиданного или непредсказуемого тормозит текущую целенаправленную деятельность. Одновременно с этим торможением деятельности приходит непреклонное перенаправление внимания к неожиданному событию. Неожданное овладевает поведением и самопроизвольно порождает прямо противоположные эмоции, изменяющиеся по силе, создающие повышенный интерес, страх, сильное любопытство или совершенный ужас. Это значение неожиданного как побуждения, по-видимому, уже испытывалось как существенная черта неизвестного до современного строго формального разделения мира опыта на эмпирический объект и субъективного наблюдателя, и оно, в сущности, по-прежнему испытывается тем же образом и сегодня. Рудольф Отто в своём плодотворном исследовании природы религиозного переживания описал такое переживание как таинственное,²⁹⁰ как непроизвольно захватывающее, как указывающее на значение сверх обычного и среднего. У "таинственного" переживания есть две стороны: **mysterium tremendum**, которая является способностью вызывать страх и трепет, и **mysterium fascinans** – способность неотразимо привлекать, очаровывать и принуждать. Эта таинственная сила, божественная суть, есть чрезвычайная эмоциональная уместность (неизвестного) объекта и сопутствующего ей поведения. Эта "сила" обыкновенно рассматривается теми, которые ей подвластны, как проявление Бога, воплощение неизвестного и конечный источник всякого обусловленного знания:

"Ощущение этого может временами приходиться захватывающе, как слабый прилив, наполняющий душу спокойным настроением глубочайшего преклонения. Оно может перейти в более установившееся и длительное отношение души, продолжаясь, так сказать, как волнующе трепещущее и звучащее, пока, наконец, оно не увядает, а душа не возобновляет своё «мирское», нерелигиозное настроение повседневного опыта. Оно может разражаться во внезапных извержениях из глубины души с приступами и судорогами или приводить к страннейшему возбуждению, к опьянённому неистовству, к порыву и к иступлённому восторгу. У него есть свои безумные и демонические формы, и оно может впадать в почти суеверный ужас и содрогание. У него есть своё грубое, варварское прошлое и свои ранние проявления, и опять-таки оно может развиться во что-то прекрасное, и чистое, и славное. Оно может стать притихшим, дрожащим и безмолвным смирением живого существа в присутствии – кого или чего? В присутствии того, что есть **тайна**, невыразимая и превыше всех созданий".²⁹¹

Ни о чём, что не представлено, нельзя сказать, что оно понято, по крайней мере, в том смысле, как мы обычно используем это выражение. Тем не менее понимание неизвестного – которое теоретически не может быть представлено – жизненно важно для продолжительного выживания. Вследствие этого желание представить себе неизвестное, схватить его сущность могущественно: достаточно могущественно, чтобы побуждать строить культуру – сеть, которая сдерживает непознаваемый источник всех вещей. Движущая сила для представления области неожиданного возникала (и возникает) как следствие внутреннего, биологически предопределённого эмоционального значения неизвестного или нового мира. Представления неизвестного представляют собой попытки разработать в подробностях его природу, разъяснить его эмоциональное значение и его значение как побуждения (с донаучной или мифологической точки зрения, разъяснить его **бытие**). Это есть категоризация всего, что ещё не было исследовано и представлено на службе у приспособления к тому, что ещё не было понято. Это есть попытка сформулировать понятие "категории всех ещё не распределённых по категориям явлений", с тем чтобы в отношении этой категории можно было бы занять верную позицию.

Новое непрестанно вдохновляет мысль и позволяет себя запутывать, но неизбежно переступает пределы всех попыток окончательной классификации. Поэтому неизвестное предоставляет постоянный мощный источник "энергии" для исследования и порождения нового знания. Желание сформулировать представление о том, что вытесняет окончательную классификацию и остаётся вечно побуждающим, вполне можно понять как преобладающее и непреодолимое побуждение. Это побуждение представляет собой то, что можно было бы рассматривать как наиболее существенный религиозный порыв, – представляет собой общую

всем культурам попытку определить и установить отношения с Богом – и лежит в основе установления цивилизованного исторического порядка. Плод этого побуждения, созданный культурой комплекс, сохранившийся в воображении, – **символ**, состоящий из передаваемого представления обо всех явлениях, постоянно угрожающих и обещающих что-либо человеку, – влияет на жизненный опыт каждой личности и придаёт ему определённое устройство, однако остаётся безличным, отличным и отдельным:

"Живой символ выражает в виде формулы существенную бессознательную движущую силу, и чем более широко распространена эта сила, тем более общим является воздействие этого символа, ибо он касается соответствующей струны в каждой душе. Так как для данной эпохи он является наилучшим возможным выражением того, что ещё неизвестно, он должен быть плодом наиболее сложных и развитых умов этого века. Но для того, чтобы вообще воздействовать, он должен заключать в себе то, что является общим для большой группы людей. Этим никогда не может быть то, что является наиболее развитым, высочайшим, чего только можно достичь, ибо только очень немногие достигают этого или понимают это. Общая движущая сила должна быть чем-то, что по-прежнему является настолько простым, что в его повсеместности невозможно сомневаться. Только если символ заключает в себе это и выражает это в наивысшей возможной форме, он обладает общей действительностью. В этом заключается могущество живого, общественного символа и его спасающая сила".²⁹²

Это динамическое представление может охватывать часть субъективного жизненного опыта несметного числа людей и поэтому обладать своим "собственным" биологически обоснованным, культурно предопределённым существованием, независимым от любого данного лица в любое данное время, – даже следовать своим собственным внутренним правилам развития – и однако не существовать "объективно" в том смысле, как объективное понимается в настоящее время.

Ритуализованные, драматические или мифологические представления неизвестного – области, которая возникает, когда совершена ошибка, – по-видимому, предоставляли исходные данные для наиболее простых и существенных сторон формализованных религий. Понимание природы неизвестного как категории развилось как следствие наблюдения нашего врождённого отклика на то, чего мы не ожидали, проявляющегося как предсказуемый образ эмоций и поведения: страх и любопытство, ужас и надежда, торможение текущей деятельности и осторожное исследование, "привыкание" и порождение соответствующих новых и определяемых ситуаций стратегий поведения. Две вещи являются одним и тем же с точки зрения опыта, если они имеют общие одинаково понимаемые чувственные качества. Две вещи являются одним и тем же с метафорической, драматической или мифологической точки зрения – с точки зрения естественных категорий, – если они вызывают то же самое субъективное состояние бытия (эмоцию или побуждение) или обладают тем же функциональным положением (что является смыслом поведения). Переживания, которые имеют общее эмоциональное настроение, по-видимому, могут быть отнесены к одной категории, единому комплексу, символическому по своей природе (с точки зрения отвлечённого познания), – плоду культуры, который развился в общественном окружении, характерном для нашего предка, "человека разумного", а позднее исчез. Такие комплексы могли играть полезную роль в поощрении общего приспособительного поведения перед лицом многообещающих предметов, которых к тому же опасались, при отсутствии подробных порождённых исследованием сведений относительно явной природы этих предметов.

Эти представления можно было бы считать следствиями представлений первого уровня – подражания, как указывал Пиаже, – а затем, позднее, следствиями более отвлечённого представления второго порядка (символического понимания). Понимание может быть достигнуто на наиболее всеохватывающем, однако первичном уровне через посредство ритуала и подражания. Неизвестное явление, захватывающее, но непостижимое, может всё-таки быть представлено ритуально, может быть **разыграно**. Вторичное представление этого разыгрывания составляет первоначальную форму отвлечённого представления. Чтобы понять, например, льва – или зверя, за которым охотятся, – сначала надо "стать" львом или зверем, за которым охотятся, – подражать ему физически, а позднее представлять это подражание в воображении. Именно так сын подражает отцу, которым он позднее станет. Воплощение ребёнком своего отца означает усвоение им знаний этого отца, по крайней мере, постольку, поскольку эти знания являются

действием. Ребёнок разыгрывает своего отца, не понимая его и не понимая причин этого разыгрывания. Следовательно, можно было бы сказать – в переносном смысле, – что подражающий ребёнок одержим **духом своего отца**, как его отец был одержим в своём детстве. Этот "дух своего отца" в этой схеме можно представлять себе как существо, независимое от конкретного отца или конкретного сына, – как нечто, проявляющееся из поколения в поколение в воображении и в одержимости поведения, в более или менее постоянной, обычной форме. Подобным же образом неизвестное, которое можно было бы считать одновременно объектом и субъектом – которое проявляется в воспринимаемом мире, в эмоции, и которое овладевает поведением, – вполне могло бы рассматриваться как (или проявляться в воображении как) надличностное существо (или как следствие действий надличностного существа). Наш предок, "первобытный охотник", приведённый в ужас чем-то неизвестным в чаще, когда он возвращается в свою деревню, изображает своё столкновение с тем, что его напугало, "разыгрывая" неизвестного демона. Это "разыгрывание" есть одновременно воплощение и представление – есть предположение основного уровня о природе неизвестного как такового. Может быть, подойдя к делу по-другому, он изготовит образ, идол неизвестного существа и придаст конкретную форму тому, что до тех пор было только вынуждением поведения. Неизвестное сначала появляется, так сказать, символически, как независимая личность, когда его невозможно представить себе никаким иным образом, а позднее появляется так, **как будто** оно есть личность (в метафорическом облике). За свидетельствами в пользу принятия "личности" представляющими или как бы представляющими "комплексами" далеко ходить не надо.²⁹³ Такие "комплексы" могут "создаваться" в течение многих столетий как следствие исследовательских и творческих стараний многих сильно отличающихся друг от друга личностей, объединённых общей культурой.

Именно таким образом за огромные промежутки времени "надличностная" область воображения заселяется "духами". Юнг описывал "пространство", занимаемое такими "духами", как **плерому** (гностическое выражение).²⁹⁴ Эту плерому можно было бы описать как субъективный мир опыта в воспоминании – как, может быть, эпизодический мир, с точки зрения современной теории памяти – хотя, по-видимому, представления, совместно воспринимаемые многими людьми в особых обстоятельствах (как представления девы Марии в Югославии, до опустошительной сербско-мусульманской войны в Боснии, или представления "инопланетных космических кораблей" (НЛО) во время холодной войны), также находят здесь себе "приют". Плерома – это "пространство", в котором существуют рай и ад; это место, где пребывают платоновские "наднебесные" идеалы, земля мечты и воображения. По-видимому, она имеет четырёхмерную структуру, подобную структуре объективного пространства-времени (и памяти)²⁹⁵, но отличается ужасной неопределённостью относительно категорий и времени. "Духи", которые населяют плерому в её "естественном" состоянии, – это **божества**, неразличённые в себе смеси субъекта и объекта, побудительных причин и чувственности, развитые в олицетворённые представления усилиями многих людей. Это означает, что любое представление есть **создание общества с историческими (даже биологическими) корнями** – как и любая мысль – и что дух, который живёт в воображении, не является непременно вымыслом, созданным лицом, у которого "есть" такое воображение. Дьявол не есть плод воображения отдельного христианина. Точнее было бы заметить, что образ дьявола – или, если на то пошло, образ Христа – живёт в душе христианина (и всех христиан) и что такое проживание происходит вследствие межличностных общественных и исторических процессов, действующих почти полностью вне области личного управления.²⁹⁶ Подобным же образом нельзя сказать о ребёнке, что он создаёт чудовища, которые населяют его воображение. Они, так сказать, "вырастают" там и затем "субъективно" наблюдаются – "подкармливаются" случайными заявлениями со стороны взрослых, образами поведения, которые ребёнок наблюдает, но не может объяснить, эмоциями и состояниями побуждения, что возникают внезапно и непредсказуемо, фантазиями в книгах, передачах телевидения и в театральных постановках.

События или переживания, которые пребывают вне пределов исследования, усвоения и приспособления, остаются твёрдо укоренившимися в области неизвестного, угрожающей и многообещающей, или машинально приписываются ей. Категория **всех событий, которые ещё не могут быть отнесены ни к какой категории**, может, тем не менее, создаваться по образцу метафорического представления частично понятных и всё же вызывающих эмоции явлений, чья эмоциональная уместность как то связана с неизвестным. Каждое из конкретных явлений, которое, например, означает опасность – или, напротив, укрепление жизни, – по-видимому, легко

связывается с каждым другим конкретным явлением, отличающимся тем же самым свойством, равно как и с самой новизной, которая вызывает страх и надежду как часть её (субъективно) внутренней природы. Эти переживания, видимо, взаимосвязаны на основе сходных эмоциональных или поведенческих состояний, которые они вдохновляют, – на основе мотивационных воздействий, которые они порождают в ходе исследовательского поведения до развития "привыкания".²⁹⁷ Архаическая "лимбическая система" обладает, так сказать, своим собственным способом классификации, лично испытываемым как эмоция или как самопроизвольно предпринятое поведение, проявляющиеся вне области обусловленных, отвлечённых, определяемых культурой предположений.²⁹⁸ Всё встреченное новое, избегаемое из-за невольного или умышленно проявляемого страха или невежества, связано в возможности или в действительности со всем, что остаётся за пределами личного понимания и (или) культурной классификации. Всё, что вызывает страх, может субъективно рассматриваться как один из видов той же самой (скрытой) сути. Что это за суть?

Неизвестное как таковое окружает все вещи, но существует только в предположительном состоянии и – как мы уже видели – представляется в символическом виде как уробор. Распад или разделение уробора полагает начало всему, включая беспорядок, или непредсказуемость, **которая определяется как противоположность тому, что уже было исследовано.** Эту более узко определённую область беспорядка, или непредсказуемости, – то есть неизвестное, как оно на самом деле испытывается, а не как некая предполагаемая сущность – чаще всего изображают как существо определённо женского рода, как дочь великого змея, как утробу, откуда вышли все существа. Полезно рассматривать Великую Мать как основного представителя змея хаоса, так сказать, как змеева представителя в мирской области. Как мы увидим, змея хаоса можно видеть притаившимся "за" Великой Матерью, и она часто "принимает" (материальные) черты пресмыкающегося или (духовные) черты птицеподобного существа. Это отношение между ними схематически представлено на рисунке 32 "Новизна, Великая Мать,"²⁹⁹ как дочь Уробора".

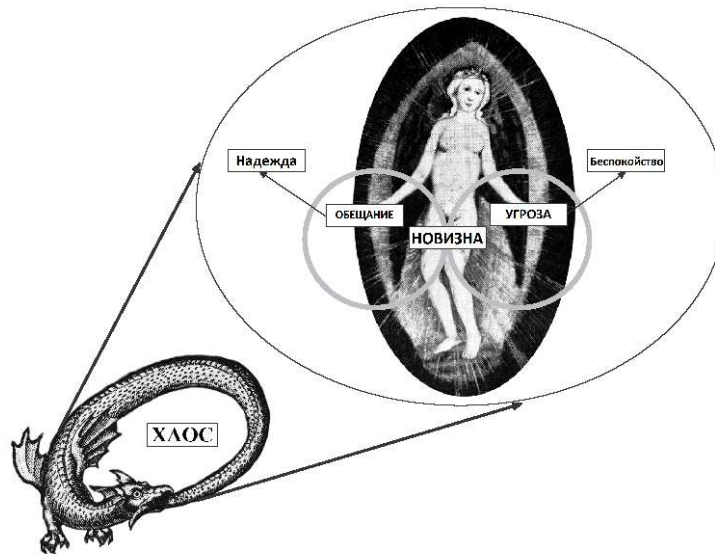


Рисунок 32

В изображённом на нём воплощении Великая Мать – это Венера, богиня плодородия и любви. Как крылатая мать – птица и материя – она есть "дух" и "земля" сразу: крылья могли бы точно так же быть заменены изображением змеи, которое более тесно связало бы её образ с землёй (и с представлением о превращении). Оболочка, которая окружает её, часто обнаруживаемая, например, в искусстве позднего средневековья и раннего Возрождения окутывающей Христа (как сына Божественной Матери) или деву Марию (саму Божественную Мать), – это **миндалина**, или **vesica pisces**, "рыбий пузырь", который, видимо, со времён задолго до того, как началась писаная история, использовался в качестве полового или символического представления источника всех вещей.³⁰⁰

Уробор и образ Великой Матери обычно перекрываются, так как "хаос, составляющий первоначальное состояние", трудно отличить от "хаоса, определённого в противопоставлении установленному порядку". Две "вещи", у которых нет отличимых особенностей (как в случае "двух областей хаоса"), трудно отделить друг от друга. Однако различия между образами уробора и Великой Матери точно так же важны, как и их сходства. Существует огромное различие между **возможностью** чего-то неизвестного и действительным неизвестным (различие между возможным и действительным). Элиаде представляет пример тщательной попытки распутать эти категории, взятый из Лао-цзы:

"В другом космогоническом отрывке (гл. 25) через Дао обозначается «неразличённое и совершенное бытие, рождённое прежде Неба и Земли... Мы можем считать его Матерью этого мира, но я не знаю его имени; я буду называть его Дао; а если ему нужно дать имя, его именем будет Огромное (да)». «Неразличённое и совершенное бытие» истолковывается комментатором второго века до н. э. таким образом: «Таинственное единство [Хунь-дунь] Неба и Земли хаотически [хун-дун] представляет собой (состояние) неразрезанной глыбы». Следовательно, Дао есть первичная целостность, живая и творческая, но бесформенная и безымянная. «То, что безымянно, есть источник Неба и Земли. То, у чего есть имя, — это Мать десяти тысяч существ...»³⁰¹

Неизвестное как таковое — это вещь "в себе и по себе". В противоположность этому, неизвестное, с которым сталкивается определённый субъект в конкретной обстановке, является **утробой всякого бытия** — действительным источником сведений, который, как только он исследован и распределён по категориям, представляет собой "космос", или порядок (и, если уж на то пошло, **исследующего деятеля**).

Лао-цзы также говорит, в попытке дополнительно прояснить обстановку:

"Душа долин никогда не умирает. Её называют Таинственной женщиной. И в лоне Таинственной женщины — корень Земли и Неба".³⁰²

Неизвестное, как кажется, по большей части умозрительно или символически представляется как женщина, главным образом, потому, что женские половые органы — скрытые, тайные, неисследованные, плодородные — служат "подворотней" или "порталом" "(божественного) неведомого мира или источника творения" и поэтому легко начинают означать это "место". С этой точки зрения, новизна и женственность имеют общую аналогичную или категориальную природу: и та и другая представляют собой, так сказать, окно в мир "за нею". Женщина, поскольку она подчинена потребностям природы, — это не просто модель природы: она и есть божественная природа, в воображении и в действительности. Она буквально **воплощает** утробу биологического бытия и представляет как таковая подходящий образ для метафорического моделирования основы всего. Женское тело — это **граница** между обычным жизненным опытом и целостностью, из которой возникают все формы. Младенцы выходят из матерей. Это предположение, основанное на непосредственном наблюдении, объясняет условный источник существования отдельных личностей. Этот источник **сам по себе** причастен к той же самой существенной невыразимой природе, причастен ко всему что угодно, отличающему мать (которую можно встретить в опыте) и другие распознаваемые источники происхождения, которые не могут быть так легко описаны или поняты (такие, как пещеры, где "растут и созревают руды", или почву, где вырастает урожай). Утроба всех вещей есть нечто **женственное**, как матери из опыта; есть нечто с бесконечно плодородной и возобновляемой (материнской и девственной) природой; есть нечто, определяющее плодородие и, следовательно, саму женственность. Все вещи откуда-то приходят: у всех вещей есть своё место рождения. **Ясно выраженное** отношение человека к природе, вечной матери, бесконечно воспроизводит отношение отдельного ребёнка к его собственной матери, или, точнее сказать, дитя и мать воспроизводят жизнь и мир.

Неизвестное — как оно воспринимается — это женщина, и женщина с парадоксальными свойствами. Великая и Ужасная Мать всех вещей бесконечно обещает; она также и бесконечно угрожает. Исход столкновения с неизвестным — как необходимой предпосылкой порождения нового знания (порождения "космоса" и переживающего субъекта) — не может быть точно определён заранее: что-нибудь новое может принести пользу или уничтожить. Из-за связи,

которая существует в пределах опыта между созданием одной вещи и уничтожением и преобразованием другой, женственности присуща эмоциональная валентность новизны и угрозы, способствуя полезности женщины как (в переносном смысле) зерна для помола.³⁰³ Процессы развития самого зародыша требуют изменения крови. Само рождение ребёнка травматично, болезненно, опасно и пугающе, оно снова и снова поднимает естественную тему создания, преобразования и уничтожения. Питание неразрывно связано со смертью и с ужасом с самого начала, когда превращение крови в молоко превращает мать в пищу для её младенца. К тому же природа женственна из-за изоморфного отношения, которое существует между зависимостью детства от материнской благожелательности и причуд и подчинением взрослого биологической реальности. Младенцы подсознательно подготовлены к тому, чтобы установить отношения со своей матерью и с живостью откликаться на проявление материнского интереса. Первичное переживание мира каждой личностью – это переживание матери, которая сама есть мир на начальных ступенях развития (поскольку мир обладает каким-либо значением для побуждения, каково бы оно ни было). (На самом деле, для людей, которые достаточно задержаны в своём психологическом развитии, "мир" никогда не развивается во что-либо иное, чем "мать".³⁰⁴) Кроме того, развитие личности и совместная жизнь матери и ребёнка сравнимы с развитием человечества как вида и связью этого человечества с землёй и морем или его зависимостью от них. Типичная младенческая ситуация, которая простирается назад во времени ранее установления самой культуры, повторяется во взрослом состоянии с матерью как предметом страха и почтения, надежды, любви и благодарности, вовлечённым в сам жизненный опыт.

Метафорические представления угрожающих сторон Великой Матери накапливаются как химеры вызывающих тревогу мест, животных, телодвижений, выражений и предметов. Эти составные части – разные с объективной точки зрения (с точки зрения "подходящего множества"), – тем не менее, объединяются, вызывая образ постоянно возможной опасности, неотъемлемо связанной со всем непредсказуемым. Великая Мать – неисследованная область – это тьма, хаос ночи, миры насекомых, змей и пресмыкающихся, повреждённое тело, маска гнева или ужаса – полный набор вызывающих страх переживаний, с которыми обычно сталкивается (и которые воображает себе) "человек разумный". Динамический комплекс таких предметов проявляется как наиболее тонкое и точное представление неизвестного, которое можно вообразить, – как нечто, способное одновременно охарактеризовать жгучий укус змеи, жизнь огня, жало скорпиона, сети паука, – как наиболее подходящее воплощение явного стремления жизненных сил преобразования природы, вызывающих смерть, распад, разрушение и бесконечное созидание. Переживания, коренящиеся в необъяснимом, которых бояться, представляются в воображении как вызывающие страх духи. Эти духи, облечённые в особые вызывающие тревогу происшествия, придают форму видам опыта, которые иначе остаются необъяснимыми – выше понимания, с точки зрения условного приспособления, действия и отвлечённой мысли, – но такими, на которые нельзя не обращать внимания с точки зрения эмоций. "Личность" таких существ воплощает непостижимое и часто невыносимое мотивационное значение. Она состоит из представления основы сильнейшего эмоционального переживания, способного вызвать познавательную и поведенческую одержимость, которая выходит за рамки обычного, культурно устроенной жизни.

Рисунок 33 "Самопроизвольное олицетворение неисследованной области" представляет один из таких образов и процесс его развития в несколько смешном виде.³⁰⁵

Равносильными, но более серьёзными представлениями этого рода являются божества – боги, порождённые человеческим переживанием, обладающие как бы объективным надличностным положением, – подобно Слову Божию – проявления незнакомого, другого, неведомого и непредсказуемого. То, что сейчас может быть спокойно описано как устарелый символ или бог из прошлого, можно также разумно рассматривать как проявление первобытной "независимой" личности – единого "воплощения" в ритуале или в воображении некоторого множества явлений, объединённых их эмоциональной равнозначностью или равносильностью их назначения. Эти личности – скажем ещё раз божества – вследствие постоянного расширения человеческой способности к приспособлению со временем утратили эмоциональную и умозрительную уместность и "распались" на менее сложные, более определённые виды переживания. В их первоначальном виде, однако, эти "представительные личности" открывались в пределах творческого, возмещающего переживания исключительных людей, осаждаемых их собственной непостижимой (хотя и не чисто своеобразной) личной трагедией. Конкретное осуществление такого проявления – превращение, например, в художественное произведение или убедительную



Рисунок 33

историю — невольно захватывало внимание равных и внушала им ощущение очарования и благоговейного ужаса. Длющаяся столетиями культурная разработка такого произведения давала начало развитому "существованию" надличностных существ, обладающих превосходящей пониманием силой, которые населяли "пространство", определяемое совместным воображением человечества, и которые вели себя в соответствии с велениями их собственных не одарённых разумом, черпающих из мифов душ. Эти "представления" служили активными образами, подробно объясняющими каждому то, что ещё было только частично известно; указывали путь к сторонам опыта, недоступным схватыванию "сознательным" отвлечённым пониманием и в то же время таким, на которые небезопасно не обращать внимания.

Это не простое дело — ограниченному субъекту сформулировать точное представление о неограниченном неизвестном, о природе, об основе существования. Неизвестное есть утроба всего, источник всякого рождения и место конечного упокоения. Оно скрывается за нашей личной тождественностью и нашей культурой; оно постоянно угрожает всему, что мы делаем, всему, что мы понимаем, и всему, чем мы являемся, и постоянно порождает всё это. Его никогда нельзя навечно устранить из рассмотрения, так как всякое решение только создаёт множество новых задач. Неизвестное — вечный враг и величайший друг вида "человек разумный", постоянно бросающий вызов личным способностям к приспособлению и представлению, постоянно толкающий мужчин и женщин к большим глубинам и более трудно достижимым высотам. Неизвестное как природа проявляется как парадоксальная грозная, подавляющая сила, приложенная одновременно в каком-то направлении и в направлении, ему противоположном. Голод, воля к самосохранению, заставляет живые существа алчно пожирать друг друга, и охотники не щадят тех, за кем охотятся. Чувственность неумолимо и часто трагически подчиняет личную волю потребностям вида, и жизнь поддерживает себя в бесконечном страдании, преобразовании и смерти. Жизнь порождает и уничтожает себя в безжалостном круговороте, а личность постоянно остаётся подчинённой силам выше её понимания и вне её контроля. Желание существовать пропитывает всё, что живёт, и выражается ужасным образом в неукротимых порывах, в бесконечном контрапункте плодородия и разложения. Самые основные, существенные и необходимые стороны опыта являются в то же самое время наиболее опасными и неприятными.

"Предметы" опыта (классические) являются либо одним, либо другим. В противоположность этому, природа — великое неизвестное — является чем-то одним и его (эмоциональной) противоположностью в то же самое время и в том же самом месте. Новый, первозданный опыт был (и остаётся) во многом слишком сложным, чтобы быть тут же схваченным разумом нашего

времени. Мифологическое воображение, "склонное" приносить в жертву разборчивую ясность ради всеохватывающей точности в описании явлений, предоставляет путь для необходимого развития. Самые ранние олицетворения природы поэтому являются символическими сочетаниями разумно несовместимых свойств – чудовищами, по существу, женственными, которые представляют животное и человеческое, создание и уничтожение, рождение и прекращение жизненного опыта. Аналитический психолог Эрих Нейман – который написал всеохватывающую, исчерпывающую и полезную книгу о символизме женственного – утверждает:

"На ранних ступенях сознания таинственность [то есть эмоциональная валентность] архетипа... превышает человеческую способность представления настолько, что сначала ему невозможно придать хоть какую-нибудь форму. А когда, позднее, первичный архетип оформляется в воображении человека, его представления часто являются чудовищными и нечеловеческими. Это стадия химерических созданий, состоящих из различных животных или из животного и человека – например, грифонов, сфинксов, гарпий, – а также таких чудищ, как бородатые матери или матери с фаллосами. Только тогда, когда сознание выучивается смотреть на явления с некоторого расстояния, откликаться более тонко, различать и отличать [это назначение исследования и связанных с ним абстрактных процессов], смесь символов, преобладающих в первичном архетипе, разделяется на группы символов, характерных для одного архетипа или группы связанных архетипов; одним словом, они делаются опознаваемыми".³⁰⁶

Ужасные стороны первобытной Великой Матери представлялись, символизировались разнообразными способами, но лежащая в её основе реальность и существенное образование представлений остаются непосредственно опознаваемыми. Нейман утверждает:

"Эти образы ужасно похожи. Их явная ужасность заставляет нас колебаться, представляют ли они собой череп, голову змеи или бегемота, лицо, показывающее человеческое подобие, или голову, состоящую из двух каменных ножей, которую несёт тело, соединённое из частей змей, пантер, львов, крокодилов и людей. Так велико нечеловеческое, внечеловеческое и сверхчеловеческое в этом переживании ужаса, что человек может наглядно представить его себе только через посредство призраков. Но всё это – и об этом не следует забывать – есть образ не только Женственного, но, особенно и в частности, Материнского. Ибо в некоем глубоком смысле рождение и жизнь всегда связаны со смертью и разрушением. Вот почему эта Ужасная Мать является «Великой» и это имя дано также и Та-Урт, беременному чудовищу, которое есть бегемотиха и крокодилица, львица и женщина в одном лице. Она тоже смертоносна и защитна. У неё есть пугающее сходство с Хатор, доброй богиней-коровой, которая в облике бегемотихи является богиней преисподней. У неё есть положительная сторона, и в то же самое время она богиня войны и смерти.

В ходе последующего³⁰⁷ развития патриархальных ценностей, то есть мужских божеств солнца и света, отрицательная сторона Женственного погрузилась в забвение. В настоящее время она различима только как содержание первобытной эпохи или бессознательного. Таким образом, ужасная Та-Урт, равно как и ужасные Хатор, Исида, Нейт и другие могут быть воспроизведены со своих изображений, которые были «закрашены», но на них нельзя посмотреть непосредственно. Только чудовище Ам-мит, или Аман, которое пожирает души, осуждённые на суде над мёртвыми, указывает своим параллелизмом на ужасную сторону Та-Урт. Ам-мит описывалась следующим образом: «Её передняя часть та же, что и у крокодилов, её задняя часть та же, что и у бегемота, а её средняя часть та же, что и у льва». Женственный животнo-материнский характер этого многогрудого создания очевиден, как очевиден и характер держащего в руках ужасный нож чудовища, которое охраняет одни из ворот преисподней, через которые должны проходить души умерших.

Ам-мит пожирает души, которые не выдержали полуночного суда над мёртвыми в преисподней. Но её роль сделалась подчинённой, ибо религия Осириса и Гора с её таинствами теперь обещала возрождение и воскресение всем человеческим душам, а не только – как это было первоначально – душе фараона. Несомненность магического успеха в следовании пути солнца, который сообщается жрецами каждому человеку после смерти, покрыла первобытный страх, представленный Ам-мит. Но первоначально она была ужасным

духом предка в матриархальной культуре, в которой Женственное забирает то, что было рождено из него, – точно так, как это происходит среди первобытных обитателей меланезийского острова Мелекула или в высокоразвитой культуре Мексики".³⁰⁸

Ужасная Мать бросает вызов и безусловно угрожает всякой личности. Она богиня тревоги, уныния и полного душевного беспорядка – богиня возможности боли и смерти. Она есть ужас, в той мере, в какой ужас можно себе представить, и, сверх того, причина этого ужаса. Она раскрывает и использует в своих интересах постоянную смертельную уязвимость всего живого. Она парадоксальным образом торгуется, предлагая продолжение жизни за жертвенную смерть. Она требует примирения, не предлагая несомненности выживания. Она воплощает возможности спасения и главную задачу жизни; невольно побуждает личность к дальнейшему расширению сознания или вызывает непроизвольное его сокращение, ведущее к смерти.³⁰⁹ Великая Мать принуждает – толкает (с несомненностью смертности) и тянет (с возможностью спасения) – к развитию сознания и самосознания. Тождественность смерти с неизвестным уже навечно и неискоренимо уничтожила всякую возможность окончательного привыкания к – точнее сказать приспособления к – миру опыта. Вследствие этого человек – это (неискоренимо) озабоченное животное:

"Таким образом утроба земли становится смертоносной пожирающей пастью преисподней, и рядом с оплодотворённой утробой и защитной пещерой земли и горы зияет бездна ада, тёмная дыра пучины, пожирающая утроба могилы и смерти и тьма небытия без света. Ибо эта женщина, которая порождает жизнь и все живые существа на земле, есть та же самая, что забирает их обратно в себя, которая преследует свои жертвы и захватывает их ловушкой и сетью. Болезнь, голод, нужда и, прежде всего, война являются её помощниками, и среди всех народов богини войны и охоты выражают человеческое переживание жизни как женщины, требующей крови. Эта Ужасная Мать есть голодная земля, которая пожирает своих собственных детей и жиреет на их трупах; она тигр и гриф, гриф и гроб, поедающий плоть саркофага, жадно вылизывающий кровавое семя людей и животных и, как только она оплодотворена и насыщена, выбрасывающая его в новом рождении, швыряющая его смерти и снова и снова смерти".³¹⁰

Ужасное женственное было представлено такими образами как химера, сфинкс, грифон и горгона, которые сочетали и объединяли наиболее несопоставимые, однако связанные стороны природы (те её стороны, которые по отдельности внутренне внушают ужас и почтительное отношение). Горгонообразные образы и их "сёстры" появляются широко, по всему миру.³¹¹ Как и ацтекская богиня **Коатлике**, чей ужасный головной убор состоял из черепов, Ужасная Мать была богиней смерти и расчленения, предметом жертвенного почитания. Как Богиня Змей она была священной на древнем Крите и почиталась древними римлянами. Равнозначные ей современные богини продолжают существовать на острове Бали и в Индии. Индусская богиня **Кали** – изображённая на рисунке 34 "Неисследованная область как Губящая Мать" – является восьмирукой, как паук, и сидит внутри паутины из огня.



Рисунок 34

В каждой своей руке она держит орудие творения или оружие разрушения. Она носит тиару из черепов, у неё заострённые, фаллические груди и вызывающие, широко раскрытые глаза. Змея – знак древней безличной силы, превращения и возрождения – обвёрнута вокруг её пояса. Она одновременно пожирает и рождает взрослого человека. Медуза, греческое чудовище, с её шапочкой из змей, представляет вид столь ужасный, что единственный взгляд на неё превращает сильных людей в камень, – навечно сковывает их страхом.

Эта горгона есть, так сказать, поздний "исчезающий" остаток древней богини, которая одновременно олицетворяла невероятную производящую плодovitость природы и её бессердечное пренебрежение к жизни. Невропсихологическое описание отклика мозга на неожиданное – такое, как мы представили ранее, – это одно дело; другое дело – мифологическое представление того же самого. Рассмотрение образа Великой и Ужасной Матери полезно: оно способствует пониманию того, от чего именно наши культуры – то есть наше ритуальное отождествление с умершими – нас защищают. Мы защищены от ужасов нашего воображения (и от явлений, которые вызывают такой ужас) крышкой хорошей осведомлённости, предоставляемой общим обрамлением действия и истолкования. Эти "стены" служат своей цели настолько хорошо, что нам легко забыть нашу смертельную уязвимость: на самом деле, мы породили эти стены, чтобы способствовать этому забвению. Но невозможно понять, почему мы так стремимся поддерживать наши культуры – наши верования и связанные с ними образцы действия, – не поглядев пристально на ужасные образы, порождённые нашими предками, и не оценив их.

Великая Мать в её отрицательном облике – это сила, которая заставляет ребёнка плакать в отсутствие его родителей. Она – это те ветки, что хватают ночного путника в чаще леса. Она – ужасная сила, которая побуждает к совершению зверств, намеренного изнасилования и мучительного массового убийства, во время ведения войны. Она – нападение, не сдерживаемое ни страхом, ни чувством вины; чувственность при отсутствии ответственности; господство без сострадания; жадность без сочувствия. Она – фрейдовское ид, бессознательное, заражённое неизвестным и смертельным ужасом, и мухи на трупики котёнка. Она есть всё, что набрасывается ночью, что царапается и кусается, что визжит и воет. Она – цепенящий испуг, ужас и вопли, которые сопутствуют безумию. Великая Мать приводит к выкидышам детей и является мёртвым утробным плодом; вызывает мор и является чумой; она делает из черепа нечто ужасно неотразимое и является всеми черепами сама. Раскрыть её истинный облик – значит подвергаться опасности безумия, пристально вглядываться в бездну, потерять дорогу, вспомнить подавленную травму. Она – досаждающая детям, голем, бука, чудовище в болоте, гниющий смертельно бледный зомби, который угрожает живым. Она – предшественник дьявола, "странного сына хаоса". Она – змей и Ева-искусительница; она **роковая женщина**, насекомое в мази, скрытый рак, застарелая болезнь, нашествие саранчи, причина засухи, отравленная вода. Она использует любовное наслаждение как приманку, чтобы поддерживать мир живым и размножающимся; она грубое чудовище, которое питается кровью живущих. Она – вода, что угрожающе плещется через край обваливающейся плотины; акула в пучине, тварь из глухих лесов с широко открытыми глазами, крик неизвестного животного, когти серого медведя и улыбка уголовника-безумца. Великая и Ужасная Мать играет главную роль в каждом фильме ужасов, в каждой "чёрной" комедии; она лежит в засаде, поджидая умышленно невежественных, как крокодил ожидает в болоте. Она есть тайна жизни, которой никогда не овладеть; она делается всё более и более угрожающей с каждым отступлением.

Мне снилось, что я вижу мою бабушку по матери, сидящую у берега плавательного бассейна, который к тому же был рекой. В действительной жизни она была жертвой болезни Альцгеймера и перед смертью впала в полубессознательное состояние. Во сне она также утратила способность к самообладанию. Область её половых органов была неясно выставлена напоказ; она выглядела как толстый волосяной ковёр. Бабушка рассеянно поглаживала себя. Она перешла ко мне с горстью волос с лобка, сжатой во что-то, похожее на большую кисть художника. Она сунула эту кисть мне в лицо. Я несколько раз подняла свою руку, чтобы отклонить её руку; в конце концов, не желая причинять ей боль или как-либо мешать ей, я дала ей сделать по-своему. Она нежно

погладила моё лицо своей кистью и сказала, точно ребёнок: "Разве это не мягко?" Я посмотрела на её разрушенное временем лицо и сказала: "Да, бабушка, это мягко".

Из-за неё выступил старый белый медведь. Он встал справа от неё – слева от меня. Мы все стояли рядом с бассейном. Медведь был очень стар. Он не мог уже хорошо видеть и действовал жалко и непредсказуемо. Он начал рычать и махать мне головой: точно как маленькие подлые собачки рычат и смотрят, перед тем как тебя укусить. Медведь схватил мою левую руку своими челюстями. Мы оба упали в бассейн, который к этому времени был больше похож на реку. Я отталкивала медведя своей свободной рукой. Я закричала: "Папа, что мне делать?" Я взяла топор и с силой ударила медведя по затылку, много раз, и убила его. Он безвольно упал в воду. Я попыталась вытащить его тело на берег. Какие-то люди пришли мне на помощь. Я крикнула: "Я должна это сделать сама!" В конце концов я вытащила его из воды. Я пошла прочь, вдоль по берегу. Мой отец присоединился ко мне и обнял меня за плечи. Я чувствовала себя истощённой, но удовлетворённой.

Неизвестное никогда не исчезает: оно является постоянной составляющей опыта. Способность представлять ужасные стороны неизвестного позволяет нам умозрительно представлять то, с чем мы ещё не сталкивались, и упражняться в выработке надлежащего отношения к тому, чего мы не понимаем.

Ибо я первая и последняя.
Я почтенная и презренная.
Я шлюха и святая.
Я жена и дева.³¹³

Положительная сторона утробы всего существования – так сказать "сестра-близнец" Кали – находится в заметной противоположности к Ужасной Матери. Благотворное неизвестное – это источник вечного изобилия и поддержки. Именно "положительная женственность", в переносном смысле, представляет собой почву для самой надежды – для веры в существенную благодать порядка вещей и убеждения в этом, которые необходимы для сознательного поддержания жизни и культуры. Вследствие этого благотворная "сестра" приобрела широту и глубину метафорического мифологического представления, равносильные таковым у Ужасной Матери. Благотворная сторона утробы всего существования – вечно плодородной (потому что вечно обновляемой) "девы", матери спасителя, – служит олицетворением полезного источника; служит постоянной помощью болезненным родовым мукам, трагическому страданию и жизненным заботам. Само спасительное знание возникает из порождающего его столкновения с неизвестным, из исследования сторон новых явлений и новых ситуаций; есть часть возможностей явлений, скрытая в них, внутренне присущая их природе. Это спасительное знание есть **мудрость**, знание того, как действовать, порождённое вследствие надлежащей связи, установленной с положительной стороной неизвестного, источника всех вещей:

"Мудрость сияюща и неувядающа,
и она легко различается теми, кто её любит,
и её находят те, кто её ищет.
Она спешит сделаться известной тем, кто её жаждет.
У того, кто рано встаёт, чтобы искать её, не будет трудностей,
ибо он найдёт её сидящей у его ворот.
Не отвлекать своих мыслей от неё – это совершенное понимание,
а тот, кто бдителен насчёт неё, будет
скоро свободен от забот,
ибо она ходит туда и сюда, ища тех, кто её достоин,
и милостиво является им на их путях,
и встречает их в каждой мысли.
Начало мудрости есть искреннейшее
желание наставления,
а забота о наставлении есть любовь к ней,

а любовь к ней есть соблюдение её законов,
а обращение внимания на её законы есть заверение бессмертия,
а бессмертие приводит человека близко к Богу;
поэтому желание мудрости ведёт к царству". [Премудрость Соломона (из апокрифов), 6 : 12 – 20].

А также:

"Поэтому я молился, и мне дано было понимание;
Я зывал к Богу, и дух мудрости сошёл ко мне.
Я предпочитал её скипетрам и тронам,
и я считал богатство за ничто в сравнении с нею.
И я не сравнивал её с какой-то бесценной жемчужиной,
ибо при взгляде на неё всё золото – это только немного песка,
а серебро будет считаться перед нею за глину.
Я любил её больше, чем здоровье и красоту,
и я предпочёл скорее иметь её, чем свет,
ибо её сияние никогда не прекращается.
Все хорошие вещи приходили ко мне с нею,
а в её руках – несчётное богатство.
Я радовался им всем, потому что приводит их мудрость,
но я не знал, что она – их мать.
Я учился без обмана, и я давал не жалея;
я не скрываю её богатства,
ибо оно – неисчерпаемое сокровище для людей;
те, кто получают её, достигают дружбы с Богом,
хвалимые за дары, что происходят от наставления.
Дай, Боже, чтобы я говорил с рассудительностью
и думал достойно о том, что я получил,
ибо Бог – советчик даже мудрости
и исправитель мудрых" (Премудрость Соломона, 7 : 7 – 15).

Мудрость может быть олицетворена как **дух, который вечно даёт**; который даёт своим приверженцам неисчерпаемые богатства. Её как источник всех вещей следует ценить выше, чем общественное положение или вещественное имущество. С категорической неточностью, отличающей мышление в переносном смысле – и сопутствующее ему богатство соозначения, – **высокая оценка этого духа есть также Мудрость**. Так что сама утроба становится объединённой с отношением, которое делает из неё нечто благотворное, – то есть помещённой в ту же самую категорию, что и это отношение. Это объединение происходит потому, что основная производящая способность отличает как "источник всех вещей", **так и** многообещающие исследовательские отношения и действия, которые получают из этого источника определённые вещи. Мы хотели бы только рассматривать эти отношения и действия – "субъективную позицию" – как нечто несомненно душевное (как нечто сродни "мудрости" в современном смысле слова). С нашей точки зрения, более вероятно рассматривать первое как "внешнее", как нечто, находящееся за пределами субъективного вмешательства. Но дело обстоит так, что без соответствующего отношения ("Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят" (Матфей, 7 : 7 – 8)) неизвестное является бесплодной пустыней.³¹⁴ Надежда и вера определяют "отклик" неизвестного (так как мужественный подход устраняет предварительную тревогу, а исследование делает неожиданное чем-то ценным). Таким образом неразборчивое распределение по категориям, отличающее эти отрывки, имеет свои достоинства.

Мы склонны защищать плоды нашего исследования, наши хорошо знакомые территории, потому что неисследованные явления полны внутреннего значения, и это значение склонно проявляться как угроза. Однако вероятность того, что значением неисследованной территории будет угроза, **по-видимому, зависит от условий истолкования, внутри которого она появляется**. Если к неизвестному подходят добровольно (что означает так, "как будто" оно

является благотворным), тогда его обещающая сторона, вероятно, проявится более выпукло. Если, напротив, неизвестное появляется вопреки нашему желанию, тогда оно, вероятно, яснее проявится с его угрожающей стороны. Если мы готовы допустить существование тех вещей, которые мы не понимаем, это означает, что такие вещи более вероятно окажутся положительными. Наоборот, отвержение неизвестного увеличивает вероятность того, что, когда оно неизбежно проявится, его вид будет ужасающим. Мне кажется, что это является одним из существенных учений Нового завета, с его точно выраженным (хотя и трудно истолковываемым) настаиванием на том, что Бога следует рассматривать как всеблагого.

Благотворная сторона неизвестного есть нечто не имеющееся в наличии для "недостойного", что-то вечное и чистое; нечто, из века в век входящее в связь с теми, кто к этому готов; и нечто, создающее "друзей Божиих". Она есть нечто, могущее быть умозрительно представленным, используя половой символизм: нечто, что можно "познать" в библейском смысле. Когда с ней соединяются, как с "невестой", она производит всё, что хорошо:

Я научился тому, что тайно и что явно,
ибо мудрость, придающая вид всем вещам, учила меня.
Ибо в ней есть дух, который разумен, свят,
единственен в своём роде, многообразен, тонок,
подвижен, ясен, незагрязнён,
внятен, неуязвим, любящ добро, проницателен,
непреодолим,
благотворен, человечен,
стойк, надёжен, свободен от заботы,
всемогущ, наблюдающий за всем
и пронизывающий всех духов,
которые разумны, и чисты, и наиболее тонки.
Ибо мудрость более подвижна, чем любое движение;
из-за своей чистоты она наполняет собой и пронизывает все вещи.
Ибо она – дыхание силы Божией
и чистое излучение славы Всемогущего;
поэтому ничто осквернённое не получает в неё доступа.
Ибо она – отражение вечного света,
безупречное зеркало деяний Божиих
и подобие его благодати.
Хотя она только одна, она может делать всё
и, оставаясь в себе, она обновляет всё;
в каждом поколении она переходит в святые души
и делает их друзьями Божьими и пророками;
ибо Бог ничто не любит так сильно, как человека, который живёт с мудростью.
Ибо она более прекрасна, чем солнце,
и превосходит любое небесное созвездие.
Сравни её со светом – и ты найдёшь, что она превосходит его,
Ибо он сменяется ночью,
А над мудростью зло не торжествует.
Она мощно простирается от одного края земли до другого,
и она хорошо приводит все вещи в порядок.
Я любил её и искал её с юности,
и я желал взять её в невесты,
и я влюбился в её красоту.
Она украшает своё благородное происхождение, имея сожитие с Богом,
и Господь всех любит её.
Ибо она посвящена в знание Бога,
и она – помощница в его делах.
Если богатства – желанное владение в жизни,
Что богаче, чем мудрость, которая всё создаёт?
А если понимание действительно,

кто более, чем она, придаёт вид тому, что существует?"
(Премудрость Соломона, 7 : 22 – 8 : 6)³¹⁵

Ужасное неизвестное заставляет представлять его; подобным же образом ведёт себя и благотворное неизвестное. Мы пришли к тому, чтобы представлять то, что возможность пребывает в каждом точно неизвестном событии, что обещание манит из глубин каждой тайны. Превращение, сопровождающееся возникновением изменений, означает смерть всего старого и захиревшего, означает смерть всего, чьё продолжающееся существование означало бы только дополнительные страдания со стороны тех, кто всё ещё стремится преуспеть. Ужасное неизвестное, от которого всё цепенеет, когда оно появляется, может также обратиться в помощь для страдающих, спокойствие для встревоженных, мир для воина, понимание и открытие для сбитых с толку и любопытных – это искупительный драгоценный камень в голове жабы или в логове изрыгающего огонь дракона. Неизвестное есть огонь, который сжигает и защищает, – бесконечно таинственный запредельный предмет, что одновременно даёт и забирает назад. Положительная сторона неизвестного, воплощённая в качестве многогрудой греко-римской богини **Дианы**, или **Артемиды**, – владычицы животных, – изображена на рисунке 35 "Неисследованная область как Творящая Мать".³¹⁶



Рисунок 35

Всё, что **содержит, укрывает и порождает** служит источником символического представления этой многообещающей стихии или входит в ту же самую категорию, что и она. Плод, содержащий семена, такой, как гранат или мак, символически представляет состояние беременности. Свинья является представительницей плодovitости, а корова – священное животное Индии – воплощением начала питания. Раковина "означает" порождение и плодородие из-за своей формы, сходной с наружными женскими половыми органами. Неодушевлённые предметы, такие, как ящики, мешки и корыта содержат и укрывают, тогда как подобные им предметы, такие, как кровать, колыбель и гнездо отличаются защитным и, следовательно, "материнским" назначением³¹⁷. Среди наиболее древних предметов искусства очеловеченные изображения – статуэтки обнажённых богинь³¹⁸, – по-видимому, представляют в человекообразном виде плодородие и производящую сторону природы. Создание и последующая высокая оценка таких образов, возможно, помогала людям и их обществам в усилиях прояснить природу человеческого отношения к защитной стороне жизни. Создатели таких статуэток придавали огромное значение собирательным, безличным признакам порождения, таким, как груди, половые органы и бёдра (признакам, чьё назначение остаётся в значительной степени вне области сознательного контроля), но уделяли мало внимания особенностям, определяющим сознательную личность, таким, как черты лица. Такие фигурки, очевидно, изображали сосуд

жизни и были сделаны по образу и подобию женщины, чьё тело порождало человеческую жизнь и её питало. Тело-сосуд представляло саму благотворную природу:

"Все основные жизненно важные отправления происходят в этом устройстве тела-сосуда, чьей «внутренностью» является неизвестное. Области входа в него и выхода из него обладают особым значением. Еда и пищё вводятся в этот неизвестный сосуд, в то время как во всех созидательных отправлениях – от удаления отбросов и испускания семени до издавания вдоха и произнесения слова – что-нибудь «рождается из него». Все отверстия тела: глаза, уши, нос, рот (пупок), прямая кишка, область половых органов, – равно как и кожа, имели в качестве мест обмена между внутренностью тела и внешним миром таинственное значение для древнего человека. Поэтому они отличаются как «служащие украшениями» и защищённые области, а в человеческом художественном самоизображении они играют особую роль как идолы".³¹⁹

Неизвестное, источник всех установленных сведений, одновременно является разрушительным и созидательным. Ужасная сторона Великой Матери угрожает всему смертию. Её положительная сестра является порождающей стороной бытия. **Рисунок 36** "«Небесная родословная» Губящей и Творящей Матерей" изображает отношение между этими двумя "различимыми" сёстрами, их происхождение из объединённого, но противоречивого неизвестного и их первичное "происхождение" от "дракона хаоса".

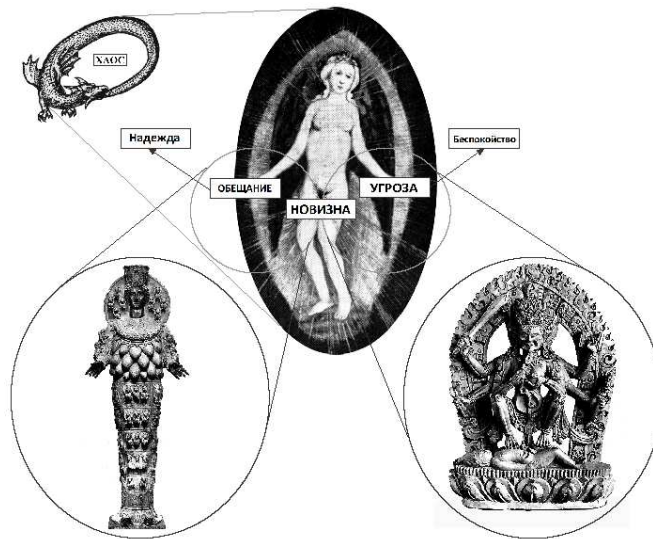


Рисунок 36

Способность "ограничивать появления Ужасной Матери" и "благоприятствовать осуществлению её Благожелательной Сестры" (то есть способность уменьшать угрозу и увеличивать до предела обещание и удовлетворение) вполне могла бы рассматриваться как "тайна успешного приспособления". Существование "представлений спаренных сторон неизвестного" позволяло **упражняться в приспособлении** перед лицом таких представлений, позволяло (управляемым образом) подвергать личность в воображении и в действии воздействию мощных представлений того, чего ему было предназначено больше всего бояться, перед чем он неизбежно был наиболее уязвим, но чего невозможно было вечно избегать. Подобные "ритуалы" лежат в основе каждого успешного вида современной психотерапии. Современное лечение расстройств, связанных с тревогой, – если взять конкретный пример "понижение чувствительности" – включает в себя подвергание личности "ритуальному" (то есть происходящему при предсказуемых благодаря чьему-либо влиянию обстоятельствах) воздействию новых или иным образом угрожающих раздражителей (с соответствующей реакцией, формируемой этим влиянием).³²⁰ Такое

"понижение чувствительности" с теоретической точки зрения вызывает "привыкание": что на самом деле происходит, так это то, что **направляемое исследование в ходе такого лечения вызывает переклассификацию и приспособление поведения** (такое, что "некогда ужасающее явление" или "ещё раз ужасающее явление" превращается (обратно) в нечто управляемое, знакомое и **известное**). Добровольное подвержение воздействию таких раздражителей дополнительно даёт ранее приходившей в ужас личности необыденный урок, **что она способна предстать перед "местом страха" и преодолеть его**. Процесс направляемого добровольного подвержения такому воздействию, по-видимому, приносит пользу в лечении, даже когда "то, чего избегают", травматично³²¹, – когда, с поверхностью "сочувственной" точки зрения, могло бы показаться жестоким настаивать на таком подвержении и "переработке".

Ритуал добровольного подвержения **воспитывает подражательное отождествление с героем** (признаётся ли это явно или нет); учит личность тому, что мужественный исследовательский "дух" может "вечно" одерживать победу над угрозой. Именно это подражательное отождествление и то отвлечённое, что ему равносильно или является его последствием, объясняет возросшую общую уверенность в себе и способности, которые обычно сопровождают упражнение в упомянутом подвержении. Переклассификация и приспособление поведения, сопутствующие такому лечению, помещают ранее ужасные силы неизвестного обратно под власть знания, в область известного – расширяют "исследованную область" за счёт хаоса – помещают "Великую Мать" под строгую власть её "супруга", культуры, "Великого Отца". Это есть основанное на исследовании "создание космоса" из докосмогонического хаоса и воспитание неявного отождествления с **Логосом**, творческим и спасительным Словом.

Анализ гораздо более впечатляющих, очень широко распространённых, но метафорически равносильных явлений жертвенного ритуала – обряда, чьё само существование заставило одного проницательного писателя доказывать существенное безумие человека³²², – даёт дополнительное понимание природы способности превращать угрозу в обещание. Мы уже обсуждали то, что валентность предмета меняется при изменении условий его истолкования. Именно знание этой мысли позволяет понять смысл действий приносящего жертву. Прекрасное лицо благожелательной матери – это то лицо, которое принимает неизвестное, **когда к нему подходят с надлежащей точки зрения**. Всё неизвестное одновременно является ужасающим и многообещающим: мужество и одарённость (и милость Божия) определяют, какая сторона господствует. Неудержимая сила, половая мощь и кровожадность быка – это та сила, которая, когда её приручат, служит тому, чтобы воспитывать, защищать и порождать стадо. Разрушительная сила внезапного взрывного сгорания есть надёжное и действенное средство доставки, когда она используется надлежащим образом. Горгона природы становится помощницей, когда к ней подходят храбрые, честные и смиренные.

Основные религиозные обряды, служащие главной приспособительной цели, "основанные" на знании надлежащих "механизмов подхода", развились, чтобы соответствовать пространству, окружающему главное божество, воплощение неизвестного. Повсеместная драма человеческого жертвоприношения, типичный (и первообразный) исконный религиозный обычай, разыгрывала следующее представление: сущность человека есть нечто, что должно добровольно приноситься в жертву разрушительному действию природы, – нечто, что должно быть приведено в творческое столкновение с ужасным неизвестным. Жертва в обряде часто пожиралась, в действительности или символически, как вспомогательное средство воплощения бессмертного человеческого духа; как вспомогательное средство начала героического процесса. Такие обряды, по мере того как они развивались, делались более отвлечёнными и менялись, причём природа приносимого в жертву существа менялась (лежащие же в основе этого представления оставались неизменными).

Например, ещё в 1871 году в Индии празднество в честь Великой Матери, в облике Дурги³²³, или Кали, сопровождалось ежедневным убоим двадцати буйволов, двухсот пятидесяти козлов и двухсот пятидесяти свиней. Насквозь промоченный кровью песок в жертвенных ямах заменялся дважды в день: его удаляли и зарывали в землю, чтобы обеспечить плодородие. С точки зрения исторической психологии убой животных есть относительно позднее событие, и ему обычно предшествует ритуальное принесение в жертву людей, которое он заменяет. Индолог Генрих Циммер утверждает:

"В её «отвратительном виде» (**ghora-rupa**) богиня как Кали, «чёрная», поднимает к своим губам череп, полный кипящей крови; её благочестивый образ показывает её одетой в кроваво-

красное, стоящей в лодке, плавающей по морю крови: посреди изобилия жизни, жертвенного сока, которого она требует, чтобы она могла, в её милостивом проявлении (**sundara-murti**) как матери мира (**jagad-amba**), даровать жизнь новым живым формам в ходе непрерывающегося порождения, чтобы как мировая кормилица (**jagad-dhatri**) она могла вскармливать их своими грудями и давать им пищу, которая «полна питания» (**annapurna**). Древнее представление, простирающееся назад до каменного века: на каждом шагу природе надо протягивать руку помощи; даже она не может ничего совершить сама. Она не более самостоятельна, чем человек. Ничто не случается само по себе, ни в космосе, ни в людях. Человек должен выполнять шумные обряды, чтобы освободить луну из когтей затмения, чтобы рассеять её демонов; а если солнце должно избавиться от его зимней слабости и подниматься всё выше и выше при прохождении года, то юная девушка, символизирующая солнце, должна взлетать на качелях всё выше и выше в небо. Для того чтобы приносить плоды и питать жизнь, мать-земля требует, чтобы её оплодотворяли и усиливали питьём крови, жизненно важной жидкости"³²⁴.

Таинственный и неразумный на вид "жертвенный" обряд на самом деле драматизирует или разыгрывает две решающе важных и связанных собой мысли: (1) что сущность человека – то есть его божественная сторона – должна постоянно "приноситься в жертву" неизвестному, должна добровольно преподноситься той разрушительной или созидательной силе, которая является Великой Матерью, воплощением непредсказуемого (как мы уже видели); и (2) **что "то, что любят больше всего", должно быть уничтожено – то есть принесено в жертву, – чтобы проявилась положительная сторона неизвестного.**

Первая мысль "основана" на представлении, что неизвестное должно быть встречено добровольно, для того чтобы были порождены новые сведения, чтобы были созданы новые образцы поведения. Последняя мысль "основана" на наблюдении, что неуместная, или устаревшая, или же необоснованная привязанность – такая, как привязанность к неуместному образцу поведения или к извлечённому из поведения убеждению, – превращает мир в пустыню, мешая самому ходу приспособления. Стойкая, непреклонная привязанность к "неуместным ценностям" – указывающая на преобладание болезненной иерархии ценностей ("мёртвого бога") – равносильна отрицанию героя. Кто-то жалкий и бесполезный посреди изобилия – только ради примера – несчастен из-за его или её привязанностей к не тем "вещам". Несчастье часто является следствием незрелого или жёсткого мышления – следствием завышенной оценки явлений, которые, по сути, незначительны. Неврастеничка цепляется за вещи, которые делают её несчастной, обесценивая процессы, возможности и мысли, которые освободили бы её, если бы она их приняла. Принесение в жертву "того, что любят больше всего", чтобы "умиротворить богов", – это воплощение в процедуре той мысли, что благожелательная сторона неизвестного возвратится, если существующая схема приспособления ("правлящий царь") будет достаточно изменена (то есть уничтожена и возрождена). Человек, лишённый своего "отождествления" с тем, чем он прежде дорожил, одновременно является кем-то, смело встречающим неизвестное, и, следовательно, кем-то, "бессознательно" подражающим герою. Добровольное "лишение" такого отождествления превращает просителя в "нового человека" – по крайней мере, если жертвоприношение было искренним. Это не значит, что такие представления не могут выродиться в бессмысленный, пустой и жестокий обряд.

Тесная связь между "цеплянием за прошлое", "непринятием героизма" и "отрицанием неизвестного" наиболее часто объясняется в повествовательном виде (может быть, потому, что эта связь так сложна, что ещё не стала явной). Следующая волшебная сказка – "призыв проснуться", исходящий из психоаналитического "бессознательного", – может служить полезным примером для подражания. Она сама собой пришла мне в голову как единая история, когда я пытался помочь человеку, которого я знал и который переживал психологический кризис. Его привязанность к ненужным и излишним материальным предметам подвергала его будущее серьёзной опасности, но он не хотел соглашаться с этим. Я хотел предупредить его, что он со временем заплатит огромную цену за свою недалёковидность. Он, однако, не обратил внимания на эту историю – с предсказуемыми последствиями.

Кукареку

Жил-был человек, которому предстояло долгое и тяжёлое путешествие. Он устало тащился по дороге через валуны и через кустарник, пока не увидел маленького блестящего гнома с большими белыми зубами и чёрным хохолком, сидящего у обочины дороги. Он барабанил по бревну двумя белыми костями и странно мурлыкал про себя. Маленький гном сказал:

"Джон, зачем работать так усердно? Зачем идти так быстро? Кто знает, попадёшь ли ты туда когда-нибудь в любом случае? Подойди-ка сюда. У меня есть что-то, что я хочу тебе показать".

Поэтому Джон сошёл с дороги. Ему, во всяком случае, надоело идти, потому что люди не переставали кидать в него камни и палки. Маленький гном сказал:

"У меня есть блестящий красный драгоценный камень, который я хотел бы продать тебе. Дёшево. Вот он", – и он вытащил из-под плаща самый большой рубин, который человек когда-либо видел. Он, должно быть, весил сто фунтов, и он сиял, как солнце.

Гном сказал: "Он тебе нравится? Это заколдованный камень. Что ты мне за него предложишь?", а человек ответил: "У меня не так много, не так много денег. Но я отдам тебе всё, что у меня есть". Гном выглядел недовольно, поэтому Джон добавил: "Я мог бы платить ещё сколько-то каждый месяц".

Так что гном согласился: "Это довольно честно! Покупай сейчас – плати позже. По мне это звучит хорошо. Я всецело за покупку в рассрочку".

Так человек отдал гному все свои деньги и обещал заплатить остальное позже. А гном пошёл обратно в чащу у дороги, щёлкая зубами, и хихикая, и подёргиваясь.

Чем больше человек думал о своём рубине и о том, как много он получил, тем счастливее он становился. Он начал опять, с лёгким сердцем, идти по дороге, но скоро обнаружил, что не может далеко уйти, так как сто фунтов – это большой груз. Он сказал про себя: "Так или иначе зачем продолжать? У меня есть то, что я хотел. Почему бы мне просто не стать здесь, держа мой рубин, – и когда люди пройдут мимо, они смогут увидеть, как мне уже стало хорошо!"

Поэтому он остановился. Немного погодя один из его друзей проходил мимо и увидел, как он там стоит. Его друг сказал:

"Джон, почему бы тебе не пойти со мной? Я только что открыл новое торговое дело, и я мог бы действительно воспользоваться какой-то помощью. Оно скоро откроется. Пошли вместе, быстро!"

Человек подумал, что это звучит хорошо, но его друг спешил. Кроме того, разве тот не видел рубин? Как ему спешить вместе с другом? Куда он денет свой драгоценный камень? Поэтому он сказал: "Спасибо, но мне надо позаботиться о моём сокровище. Может быть, мы увидимся позже".

Друг посмотрел на него так, как будто на сумасшедшего, но он старался поскорей куда-то добраться. Поэтому он только слегка пожал плечами и сказал: "Хорошо, Джон. Увидимся позже", и поспешно пошёл вперёд по дороге.

Немного погодя другой друг прошёл мимо, и он сказал: "Джон! Рад тебя видеть. Я возвращаюсь в школу. Есть много чудесных вещей, которые можно выучить! Есть много великолепных вещей, которые можно сделать! Мир полон нерешённых задач! Я мог бы делать это вместе с кем-то. Не хотел ли бы ты пойти со мной?" Человек подумал, что это звучит очень хорошо, но его друг выглядел так, как будто он торопится. Кроме того, было утомительно стоять у дороги, держа этот драгоценный камень, и ему нужны были для этого все его силы. Поэтому он сказал своему другу: "Спасибо, но мне надо позаботиться о моём сокровище. Разве оно не прекрасно? Может быть, мы увидимся позже".

Друг посмотрел на него так, как на сумасшедшего, но он старался куда-то поспеть. Поэтому он только пожал плечами и сказал: "Надеюсь, у тебя всё в порядке. Увидимся позже".

Много друзей приходило и уходило. Проходили годы. Драгоценный камень становился всё тяжелее и тяжелее, а человек всё более и более привязывался к нему. Было только одно смущающее обстоятельство: казалось, никто не замечал, как прекрасен этот камень. Люди, бывало, проносились мимо и говорили о своих планах,

ни у кого не было такого большого рубина,

– и, казалось, никто не достанет такого большого рубина,

поэтому можно было бы надеяться, что кто-нибудь может сказать что-нибудь, что-нибудь, по крайней мере, похожее на:

"Какой хороший рубин, Джон. Я очень хотел бы, чтобы у меня был такой".

Но такого никогда не случилось.

Затем в один прекрасный день кто-то новый прошёл по дороге. Он сгибался и был худ, а его волосы были седыми, хотя он не выглядел таким уж старым. Он бережно нёс в руках большой грязный булыжник, и он продвигался не очень быстро.

Станный человек приблизился. Мельком взглянул на Джона. Затем он ухмыльнулся и произнёс:

"Зачем ты глупо стоишь тут с большим безобразным камнем в усталых старых руках? Ты выглядишь как совсем тронутый. Бьюсь об заклад, что ты хотел бы, чтобы у тебя был большой рубин, такой, как я несу!", а Джон подумал: "Этот бедняга обманут. Он несёт булыжник – это у меня рубин!", поэтому он сказал: "Извините, но вы ужасно заблуждаетесь. Я – тот, у кого сокровище. Я встретил маленького гнома у обочины дороги, и он продал мне свой драгоценный камень. Я всё ещё плачу за него, хотя и не так уж много! У вас в руках – булыжник!"

Утомлённый незнакомец – который был чертовски раздосадован – сказал: "Я не знаю, в какую игру вы играете. У вас булыжник. У меня драгоценный камень. Маленький гном, которого вы описали, продал его мне и сказал, что это единственный! Я носил его двадцать лет, и я никогда его не отпущу!", а Джон отвечал: "Но я тоже носил мой камень двадцать лет. Он не может быть простым булыжником!"

У кого булыжник, а у кого сокровище? Они всё спорили и спорили.

Внезапно выступил маленький гном – как будто он никогда и не уходил! Только на этот раз он не был таким уж маленьким. Он был больше, и краснее, и более угрожающим, а его смех звучал, словно грохот цепей.

"Бросьте спорить, вы двое! Я ещё никогда не видел зрелища настолько трогательного. У вас обоих – булыжники. И если бы у вас был здравый смысл, чтобы оставить их на пару секунд, вы бы увидели это!"

Ну хорошо – вы, по крайней мере, были усердны. А я подло обманул вас. Я плохо себя чувствую из-за этого.

Поэтому я собираюсь дать вам то, чего вы действительно заслуживаете. Хотите ли вы того, чего вы действительно заслуживаете?" – и Джон, и худой незнакомец нетерпеливо кивнули. В конце концов, чем чёрт не шутит, подумали они.

"Вы ещё ничего не видели. Бросьте ваши камни на землю!"

Джон и худой незнакомец повиновались. Каждый булыжник раскололся пополам, когда ударился о землю. Из них хлынул поток прожорливых белых червей, которые бросились к людям и сожрали их целиком, в то время как те металась и вопили.

Скоро от них не осталось ничего, кроме ножной кости от каждого.

Маленький гном подобрал их и сошёл с дороги. Он сел у полого бревна и начал по нему барабанить.

Он барабанил, и ждал, и мурлыкал странную песенку:

"Картинка еды

кормит целый голодный род,

образ добра делает целого человека здоровым.

Зачем идти целую милю?

Зачем делать работу?

Просто улыбайся своей улыбкой!

Успех,

в конце концов,

это причуда!

Жизнь нереальна,

вот сообщение, что я передаю.

Это легко – так жить,

к тому же

– кто хочет жить?"

Именно представления о "необходимости жертвы" лежат, например, в основе общеизвестного, но явно непостижимого обряда христианского причастия (точнее сказать, обряд христианского причастия служит поведенческим предшественником этих явных представлений). Христианский герой – Христос – это дух, который добровольно предлагает себя кресту, могиле, страданию и смерти, ужасной матери. Такой дух, прежде всего, "смиренен", что является весьма парадоксальным выражением в этой обстановке. Высокомерие есть вера в личное всеведение. Героическое смирение, противопоставляемое такому высокомерию, означает постоянное признание личной ошибки, сочетающееся с верой в свою способность **превзойти** эту ошибку (смело встретить неизвестное и вследствие этого пересмотреть ошибочное мнение). "Смиренный" поэтому означает "более великий, чем догма" (так как дух человека является "более высокой силой", чем те законы, что управляют его поведением). Тело Христово (представляемое в обряде причастия "вечно воскресающей" пшеничной облаткой) – это вместилище воплощённого духа умирающего, возродившегося и спасающего божества. Это тело ритуально пожирается – то есть включается в тела участников обряда, – чтобы помочь им отождествиться с Христом, вечно умирающим и воскресающим (солнечным) богом. Создание этого внушающего благоговение обряда означало поддержку отвлечённого умозрительного представления неизменной структурной стороны (каждой) человеческой души – героической стороны, **Слова**, – как деятельной, лично обречённой, однако мифически вечной, предназначенной для трагического соприкосновения с угрозой и обещанием неизвестного и всё же постоянной участницы творческого, искупительного процесса приспособления.

Ритуальное действие подвергания воздействию неизвестного проводится, чтобы одновременно умиротворить или до предела уменьшить жестокую сторону природы и допустить установление связи с её благотворной стороной. С

современной точки зрения, можно было бы сказать (гораздо более отвлечённо), что добровольное осторожное, внимательное столкновение с угрожающим неизвестным представляет собой предпосылку превращения этого неизвестного в многообещающее (или, по крайней мере, мирское) вследствие изменения в поведении или истолковании. Мы, современные люди, истолковываем это "изменение в опыте" как изменение в субъективном состоянии. Донаучный ум, менее способный отличать субъект от объекта, более озабоченный значением опыта для побуждения, наблюдает вместо того, что **внушающий страх характер предмета пошёл на убыль** (как следствие мужества исследователя или благожелательности того, что подвергалось исследованию).

Ритуальное жертвоприношение было ранним (предшествующим отвлечённо поведенческому) вариантом "представления" о героизме, веры в личную силу, разыгрыванием той мысли, что добровольное подвержение воздействию неизвестного (или уничтожение самой любимой вещи) – это необходимая предпосылка для (1) появления благотворной "богини" и (2) продолжающегося успешного приспособления. Включение принесения в жертву человека в действительность (в ритуальном людоедстве) или в религиозную церемонию (например, в обедню) означало уподобление культурному герою; заключало в себе "досознательную" попытку воплотить героическую сущность, укрепить людей, составляющих общину, против цепящего страха смерти и тьмы: укрепить личность и общественную группу против страха перед самим неизвестным. Жертвенный ритуал был **разыгрыванием** героя, прежде чем такое "разыгрывание" могло быть представлено в отвлечённом виде, в драме, в истории. Более отвлечённое повествовательное представление цели "героического жертвоприношения" затем пришло к тому, чтобы изображать появление благожелательной богини, способной осыпать вознаграждениями человека, её вечного возлюбленного и ребёнка.

Дух, постоянно готовый подвергнуться опасности личного (если выразить это в более отвлечённом виде, внутридуховного) уничтожения можно было бы считать **типичным представителем процесса приспособления как такового**. Донаучный ум считал, что опасный союз этого "мужественного" представителя с разрушительным и порождающим женственным неизвестным необходимо предшествует непрерывному обновлению и возрождению личности и общества. Это представление так же великолепно, как и то, что содержится в мифе об Осирисе и Горе; оно придаёт дополнительную глубину блестящим "нравственным предположениям", содержащимся в этом мифе. Герой-исследователь, божественный сын известного и неизвестного, мужественно предстаёт перед неизвестным, творчески – оставив все притязания ранее существовавшего "совершенного знания" – соединяется с ним, запасает новое знание, возвращается к своему обществу и оживляет его традиции. Именно к этой более сложной истории мы теперь обратим наше внимание.

2.3.5. Божественный Сын: образы познающего, процесс исследования

"Восстань, восстань, облекись крепостию, мышца Господня! Восстань, как в дни древние, в роды давние! Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила?" (Исайя, 51 : 9).

Великий двуполый дракон хаоса – это также и мифическое существо, которое стережёт великое сокровище, скрытое в недрах горы или скрывает девственную принцессу в своём логове. Он огнедышащий крылатый змей превращения – неопишемое "объединение всего, что теперь различено", которое постоянно замышляет забрать назад то, что он произвёл. Великая и Ужасная Мать, дочь хаоса, уничтожает тех, кто приближается к ней случайно, неосторожно или с неподобающим отношением, но осыпает тех, кто её любит (и которые действуют соответствующим образом), всем хорошим на свете. Великий и Ужасный Отец, сын хаоса, даёт начало своим собственным сыновьям, но затем пытается подавить или даже пожрать их: он является предпосылкой жизни, но препятствием к её успешному развитию. Что могло бы представлять "подходящий образ действия" перед лицом таких постоянных и разнообразных противоречий?

Основным творческим действием в человеческой области в данном конкретном случае является создание образа поведения, который вызывает эмоционально желательные последствия в обстановке, которая ранее отдавала непредсказуемостью, опасностью и обещанием. Творческие действия – несмотря на их единственные в своём роде особенности – имеют вечно распознаваемую структуру, так как они всегда происходят при тех же самых условиях: то, что известно, вечно

"извлекается" из неизвестного. Вследствие этого можно бесконечно извлекать и вновь извлекать главные черты метаобраза поведения, который всегда и неизбежно означает человеческий прогресс. Люди проявляют любопытство в отношении устройства и назначения всего, не в самой меньшей мере самих себя: наша способность рассказывать истории является отражением нашей способности себя описывать. Кто-то сказал, что Фрейд просто повторил Шекспира. Но потребовался именно гений Фрейда, чтобы поднять (несмотря на его многочисленные ошибки) то, что Шекспир изобразил драматически, **на один уровень отвлечённости выше** в философском (или даже эмпирическом) направлении. Фрейд переместил знание о поведении из неявного повествования в явную теорию (или, по крайней мере, в более явную теорию). Шекспир, как все рассказчики, сделал нечто подобное, на более "основном" уровне: **он отталкивался от того, что было поведенческим, от того, что ещё действительно не привлекло внимания в драме.**

Во время исследования поведение и схема представления видоизменяются пробным образом в надежде вызвать искусными средствами любой исход, какой только можно вообразить в настоящее время. Такое исследование вызывает также изменение чувственного мира, поскольку этот мир изменяется в связи с результатами передвижений и изменением физического места действия. Исследование связано с преобразованием **предположений, направляющих поведение, и ожидания исхода поведения:** вызывает обучение знанию того как и знанию того что. Если выразить это наиболее общим образом, новое обучение означает применение новых средств для той же самой цели, что надо понимать так: образ предположений, лежащих в основе внутренней модели настоящего и желаемого будущего, остаётся, по сути, нетронутым. Этот вид переприспособления можно было бы описать как **обычную** творческую деятельность. Она составляет большую часть человеческой мысли. Тем не менее в редких случаях текущая деятельность (в особенности, целенаправленная или исследовательская) вызывает более глубокое и выбивающее из колеи несоответствие. Это несоответствие является более напряжённым (и более многообещающим) и неизбежно влечёт за собой более коренной пересмотр и дополнительное моделирование, а также направляемое исследование перепрограммирование основных поведенческих предположений и связанного с ними эпизодического или семантического представления. Такое перепрограммирование также есть творческая деятельность, но **революционного** рода, обычно связанная с гением. Поэтому исследование является созданием и воссозданием мира. Порождение нового знания из соприкосновения с неизвестным означает создание самого опыта. Разрушение предшествующих способов приспособления и представления (предшествующих "миров") означает возвращение "исследованной области" к неисследованному состоянию, которое ей предшествовало, а затем её перестройку более всесторонним образом. Это есть столкновение с Великой и Ужасной Матерью, а также смерть и воскресение Отца и Сына.

Новый образ общения с неожиданно появляющимся неизвестным (то есть **поведения по отношению к нему** или **классификации его**) есть **дар героя** – дар, который требует, чтобы его дарили, который **заставляет** общаться, прямо (скажем в виде непосредственного подражания) или косвенно (в виде отвлечённого описания или повествования). Между преобразованием средств и преобразованием целей нет действительного качественного различия: то, что является "целями" на более низком уровне анализа становится "средствами" на более высоком уровне. Отсюда следует, что "дар героя" **одновременно** является обычным и революционным приспособлением: обычным приспособлением, так как схемы действия и представления расширяются, так что неизвестное делается благотворным; революционным, так как старое перестраивается, чтобы предоставить место новому. Эта перестройка равносильна установлению **мира** – мира, отличающего мифический рай, где лев лежит рядом с ягнёнком. Такой мир возникает как следствие иерархической организации "богов традиции" под властью героя. Это значит, что творческий герой-исследователь в своём полном проявлении является также миротворцем:

Мне снилось, что в яркий солнечный день я стою в покрытом травой дворе каменного собора. Двор был безупречен, большое хорошо ухоженное зелёное пространство. Когда я стоял там, я увидел, как подобный плите участок, заросший травой, оттянулся под землю, точно задвижная дверь. Под "дверью" оказалась прямоугольная яма, которая, очевидно, была могилой. Я стоял на древнем кладбище, о чьём существовании уже давно забыли. Средневековый король, облечённый в прочную броню, поднялся из могилы и встал по стойке "смирно" у изголовья места своего погребения. Подобные "плиты" задвинулись

обратно во многих местах. Из каждой могилы поднялся король, и каждый король был из другой эпохи.

Все короли были могущественными, по праву. Сейчас, однако, они занимали ту же самую территорию. Они озаботились тем, что будут сражаться, и они спросили меня, как это можно было бы предотвратить. Я рассказал им о смысле христианской свадебной церемонии – обряда, предназначенного для того, чтобы подчинить двух главных участников высшей власти Христа, христианского героя, и сказал, что это и есть путь к миру.

Если бы все великие короли добровольно преклонились перед образом героя, то больше не было бы повода для войны.

Каждая не нанесённая на карту область – то есть каждое место, где ещё точно не определено, что делать, – также представляет поле боя для наследственных королей. Выученные образы действия и объяснения, которые соперничают за то, чтобы их применили, когда возникает новая ситуация, можно с пользой рассматривать (в переносном смысле) как современные воплощения стратегий приспособления, сформулированных вследствие исследовательской деятельности прошлого, – как стратегии приспособления, придуманные и созданные героями прошлого, которым "бессознательно" подражают и которые "бессознательно" копируют те, кто живёт в настоящее время. Приспособление к новой области – то есть к неожиданному – поэтому означает также успешное посредничество между устаревшими или привычными стратегиями, состоящимися в новой обстановке за преобладание в поведении. Упорядочение этих "борющихся" стратегий по положению – то есть создание для данной ситуации особой поведенческой "иерархии преобладания" (которая соответствует модели вложенных друг в друга повествований, предложенной ранее) – поэтому является приспособлением ровно настолько, как и создание новых, особых для данной ситуации образа поведения или способов объяснения. Процесс исследования – включая его уподобляющую и приспособительную стороны – поэтому неизбежно впутан в процесс примирения. В любой данной обстановке исследование едва ли можно считать полным, пока все соперничающие тенденции и теории, борющиеся за преобладание в этой обстановке, не будут организованы так, чтобы её внутренние (или вышедшие наружу) столкновения и эмоциональные перевороты прекратились.

Герой-исследователь, спаситель человечества, разрезает первобытный хаос на куски и создаёт мир; освобождает своего умершего отца из преисподней и оживляет его; и организует "знать" своего царства в действенную, гибкую и динамичную иерархию. Нет решительной разницы между личностью, которая исследует, и личностью, которая воссоздаёт "общество" вследствие такого исследования. Усвоение новых сведений является неотъемлемой частью процесса исследования: аномалия не обработана, пока объяснительные схемы, существовавшие до её появления, не будут перестроены так, чтобы принять во внимание её наличие. Каждый исследователь поэтому по необходимости является революционером, а каждый **успешный** революционер – миротворец.

Мы действуем соответствующим образом, прежде чем мы понимаем, как мы действуем: точно так же, как дети учатся, как себя вести, прежде чем они могут описать основания своего поведения. Только через посредство наблюдения наших действий, накопленного и очищенного в ходе столетий, мы пришли к пониманию наших собственных побуждений, пришли к пониманию образцов поведения, которые отличают наши культуры (а эти культуры изменяются, по мере того как мы подражаем таким образцам). **Деятельное приспособление предшествует отвлечённому пониманию основы такого приспособления.** Это непременно так, потому что мы более сложны, чем мы можем понять, – и таков же мир, к которому мы должны приспосабливаться.

Сперва мы действуем, затем мы представляем себе образ, который составляют наши действия, потом мы используем этот образ, чтобы направлять эти действия. Именно установление сознательной (повествовательной) связи между поведением и последствиями этого поведения (что означает установление нового процесса обратной связи) даёт человеку возможность отвлечённо представлять желаемое будущее, действовать таким образом, чтобы вызывать это будущее, и судить об уместности самих возникающих явлений на основании их видимого отношения к этому будущему. Эта способность, по-видимому, основана на каком-то скачке в развитии, по крайней мере постольку, поскольку "направляющая история" сделалась сознательной (или представленной в эпизодической или семантической памяти, как противопоставленным тому, что остаётся, так

сказать, неявно запечатлённым в поведении) и, видимо, невероятно, чтобы она отличала очень маленьких детей (или, в этом отношении, животных). Жан Пиаже решил проблему "целеподобного" поведения в созданиях, ещё не способных к отвлечённому умозрительному представлению, предположив, что "цели" первоначально внедрены в действие чувственно-двигательных рефлексов, которое является бессознательным. Это, по существу, значит, что то, что становится позднее историей, сначала является **образом** – образом, например, видоизменённого обществом поведения, которое составляет человека. Только позднее, по мере того как возбуждаются познавательные системы "высшего порядка" (эпизодические или семантические), цели становятся явно представляемыми (и они могут отвлечённо рассматриваться до их осуществления). Это, таким образом, означает, что можно действовать способом, который выглядит так, "как будто" он является целенаправленным, прежде чем проявятся цели как таковые. Рыхлак описывает наблюдение Пиаже: "Дети, по-видимому, не являются при рождении логиками, умозрительно взаимодействующими, с самого начала создавая схемы. Первоначальные их построения производятся биологически, и только спустя некоторое время ребёнок действительно представляет схематически рефлекторные образцы, которые уже в ходу..."³²⁵

Сначала появляется образец действия, направляемый инстинктом, которому (без сознательного понимания) придают форму последствия общественно опосредованных "наград" и "наказаний" (определяемых в их "устройстве и местонахождении" современными общественными нравами, результатами исторических сил). Затем появляется способность представлять себе цель, к которой поведение "должно" быть направлено. Сведения, порождённые наблюдением поведения, дают основу для создания фантазий насчёт таких целей. Действия, которые удовлетворяют эмоции, обладают структурой. Абстракция позволяет нам представлять и копировать эту структуру как цель. Абстракции высочайшего уровня поэтому позволяют нам представлять наиболее повсеместно применимый образ поведения – тот, что является отличительной чертой героя, который (вечно) превращает неизвестное в нечто безопасное и благотворное; который вечно воссоздаёт безопасное и благотворное, когда оно вырождается в деспотизм.

Миф о герое пришёл к тому, чтобы представлять существенную природу человеческих возможностей, как они проявляются в приспособительном поведении. Это происходит вследствие наблюдения и перепредставления такого поведения, совокупно проводимых в ходе тысячелетий. Миф о герое предоставляет образ, который направляет, но не предопределяет общий ход истории; выражает один основной предрассудок тысячью разных способов. Основное представление мифа о герое (сходное в своей структуре с современной гипотезой, хотя и не выраженное явно и не созданное разумом таким же образом, как и гипотеза) является необходимой предпосылкой изменений, при осуществлении которой личный творческий дар становится общественно приемлемым. Наиболее существенное предположение мифа о герое таково, что природа человеческого опыта может быть (должна быть) улучшена сознательным изменением личного человеческого отношения и действия. Это утверждение – **историческая гипотеза** – есть выражение веры в человеческие возможности и представляет поистине революционную мысль исторического человека.

Всякое отдельное приспособительное поведение (которое есть действие, ограничивающее разрушительные или увеличивающее благотворные возможности неизвестного) следует общему образцу. Этот "образец" – **по крайней мере** вызывающий последствия, которые имеются в виду и поэтому желаются, – неизбежно привлекает общественный интерес. "Интересное" или "замечательное" поведение порождает подражание и описание. Такие подражание и описание сперва могут быть **подражанием интересному или замечательному поведению и описанием такового**, но позднее они становятся **подражанием классу интересных или замечательных поведений и описанием этого класса**. Затем этому классу подражают в качестве общего руководства к отдельным действиям. Он заново описывается, заново очищается и ему снова подражают. Образ героя, шаг за шагом, становится всё более и более ясным и широко применимым. Образ поведения, характерный для героя, – то есть добровольное продвижение вперёд перед лицом неизвестного, порождение в результате чего-то ценного и одновременно распад и воссоздание современного знания, современной **нравственности**, – этот образ поведения доходит до того, чтобы образовывать ядро **хорошей истории** во всех культурах. Эта хорошая история – которая учит тому, что делать, когда ты больше не знаешь, что делать, – определяет главный образец поведения, запечатлённый во всех подлинно религиозных системах (более того,

предоставляет основу для "уважения, причитающегося личности", лежащего в основе нашего представления о естественных правах). Представления уробора, дракона хаоса, и его дочери, Великой Матери, являются символическими изображениями неизвестного. Мифологическое представление героя и его культурных созданий, напротив, являются исследованием и изображением **того, кто (или что) познаёт, и того, чем является то, что известно**. Творческое и разрушительное женственное есть личность, проявляемая в мифологии в отношении жизни и в её пределах всем неизвестным, угрожающим и многообещающим. Миф склонен изображать порождающее личное сознание, вечно готовое смело встретить эту неизвестную силу как, по существу, мужественное – в отличие от бессознательной, безличной и непредсказуемой женственности и в свете его "плодотворной", деятельной, "оплодотворяющей" природы.

Самые ранние "ступени" развития образа героя принимают форму мифологического представления ребёнка или подростка, над которым полностью или частично господствует могущественная материнская сила.³²⁶ Этот ребёнок или подросток есть особая личность, находящаяся под влиянием особенной матери и вида "человек разумный", подчинённого природе. Его "порождающее личное сознание" как "вечный сын девственной матери" представлено на рисунке 37 "Герой-исследователь как Сын Небесной Матери".³²⁷

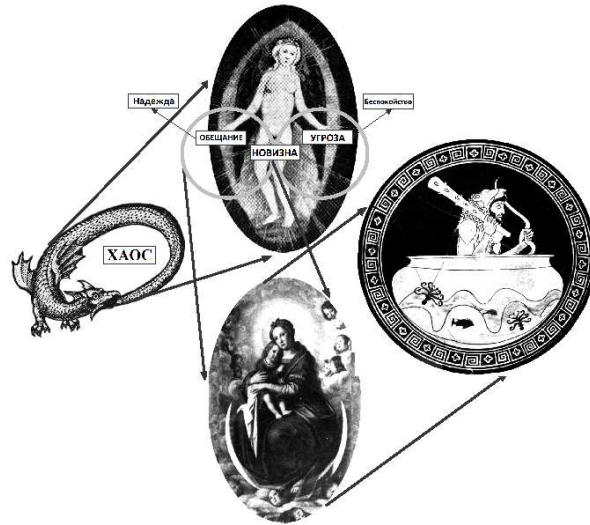


Рисунок 37

В своём более зрелом виде герой – прежде "сын небесной матери" – может быть изображён как "возлюбленный Великой Матери" – матери, в чьё тело он "входит" в творческом (половом) союзе, чтобы умереть и перевоплотиться (чтобы оплодотворить и зачать). Великая Мать – это священная проститутка, вавилонская блудница, равно как и Девственная Мать, девица, постоянно обновляемая, вечно юная, принадлежащая всем мужчинам и не принадлежащая ни одному из них. Миф обычно использует (символически половой) лейтмотив **небесного кровосмешения** – образ столкновения как пожирания или поглощения, избыливающего творческими возможностями, – чтобы представить связь с изначальным женственным; чтобы изобразить **созидательное или разрушительное столкновение героя с возможностями самой жизни**. Это есть "знание" как созидательное действие: "добровольная порождающая (половая) связь" сознания и хаоса создаёт – или возрождает – порядок и космос.

Мифология героя **в целом** изображает развитие и создание личности, способной смело встречать самые крайние условия существования. Поиски или путешествие героя были представлены в мифологии и в ритуале многочисленными способами, но эти многочисленные представления появляются в соответствии с мифом о пути, как он был ранее описан: гармоничному обществу или образу жизни, предсказуемому и устойчивому в своём устройстве и назначении, неожиданно угрожает появление (ранее используемых) неизвестных и опасных сил. Человек

простого (или царственного) происхождения по своему свободному выбору восстаёт, чтобы противостоять этой угрозе. Этот человек подвергается огромным личным испытаниям и рискует пережить или переживает физическую и духовную смерть. Тем не менее он преодолевает эту угрозу, волшебным образом восстанавливается (часто улучшенным) и получает вследствие того великую награду. Он возвращается к своему обществу с наградой и (вновь) устанавливает общественный порядок (иногда после кризиса, порождённого его возвращением).

Эта наиболее существенная из историй схематически изображена на рисунке 38 "Метамифология Пути, при повторном обращении к ней".³²⁸

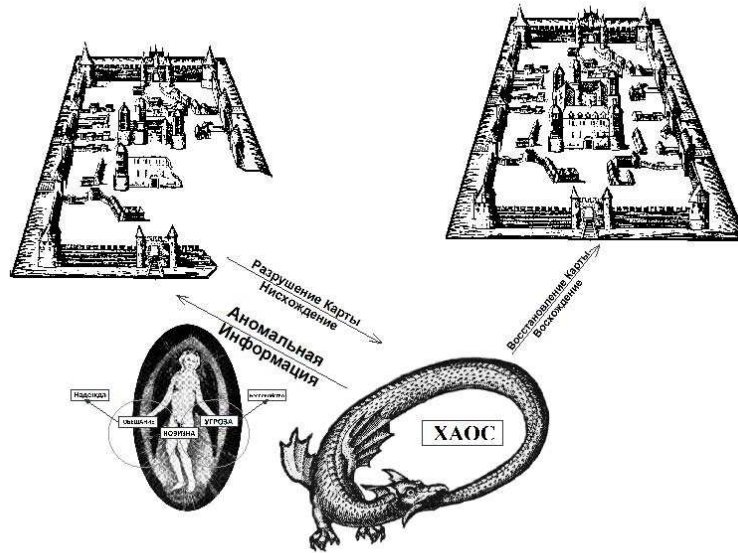


Рисунок 38

Хаос порождает новизну, многообещающую и угрожающую; герой добровольно покидает своё общество, чтобы смело встретить этот хаос. Его исследовательское или творческое "действие" подавляет угрозу, внедрённую в хаос, и освобождает то, что является многообещающим, из его "тисков". Включение в его личность этого освобождённого обещания (этого "спасительного" знания) – символизируемого союзом с девственницей или обнаружением сокровища – преобразует героя. Его преобразённое (обогащённое) поведение затем служит образцом его обществу. Общество, в свою очередь, преобразуется и вновь обретает устойчивость.

Окончательное или типичное представление первоначального "угрожаемого" состояния мира – это лишённый самосознания (но "неполный") рай, который существовал до грехопадения. Выражаясь более прозаично, это состояние есть невинность и бесконечные возможности детства, слава прошлого, сила хорошо управляемого царства, мощь города, устойчивость, богатство и счастье семьи. Самая исконная угроза – это внезапное появление (или повторное появление) или обнаружение одного из проявлений Ужасной Матери: наводнения, землетрясения, войны, чудовища (какой-то разновидности дракона), рыбы, кита – всего непредсказуемого или неожиданного, что уничтожает, пожирает, ловит в ловушки, поглощает, разрывает на части, пытается, ужасает, ослабляет, вводит в заблуждение, приводит в испуг, душит или отравляет (это неполный список). Герой, плод божественного происхождения и чудесного рождения, уцелевший после опасного детства, смело вступает в единоборство с Ужасной Матерью – и пожран ею. Он проглочен огромной рыбой, или змеей, или китом и проводит время под землёй, во тьме, зимой, в царстве мёртвых или в аду; сталкивается с драконом, или горгоной, или ведьмой, или соблазнительницей; он утоплен в воде, охвачен огнём, бурей, съеден опасными животными; его мучают, хоронят заживо, очаровывают, расчлениают, потрошат и обманывают. Он наносит поражение чудовищу, освобождая тех, кто до него потерпел поражение, и приобретает или получает обратно утраченный или ранее

необнаруженный ценный предмет – девственницу или сокровище. Гораздо старшим, гораздо более мудрым он возвращается домой, с преображённым характером, неся с собой то, что он приобрёл, и торжествующе восоединяется со своим обществом, которое очень обогащено – или даже совершенно преобразовано – его удачей.³²⁹

Битва героя – это частый мотив во вдохновлённых мифологией ваянии, рисунке и живописи. Показательный пример представлен на рисунке 39 "Замок, герой, змей и дева: святой Георгий и дракон".³³⁰

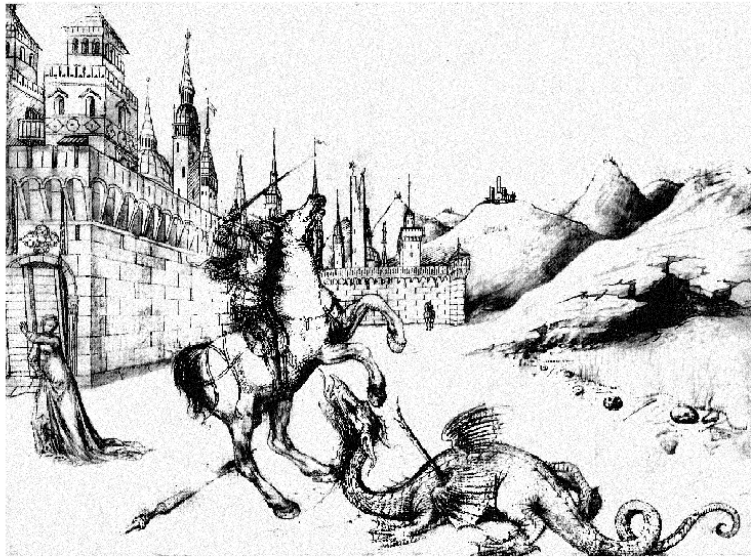


Рисунок 39

На этом рисунке изображены все составные части "метамифа": угрожаемое общество, представленное обнесённым стеной городом или замком; крылатый дракон, который появился из преисподней (чьё логово, окружено костями погибших); герой, вооружённый мечом, который "разрезает" громадину-дракона на куски и создаёт мир; и дева, освобождённая из лап дракона, которая представляет благожелательную, созидательную и плодотворную стороны неизвестного. Город в таких изображениях обычно рисуется на горе, змей – в долине или за рекой. Битва имеет место на заходе солнца (когда солнечное божество встречает дракона ночи).³³¹

Солнечные мифы изображают путешествие героя, используя одновременно мотивы "битвы с драконом" и "ночного путешествия по морю". В типичном солнечном мифе герой отождествляется с солнцем, носителем света и сознания, которое еженощно пожирается водяным змеем Запада. Ночью он ведёт ужасный бой с этим чудовищем и победоносно появляется утром, вставая обновлённым на востоке:

"В этой последовательности опасностей, боя и победы свет – чьё значение для сознания мы уже неоднократно подчёркивали – является главным символом подлинности героя. Герой – это всегда носитель света и посланец света. В самой нижней точке ночного путешествия по морю, когда солнечный герой проходит через преисподнюю и должен пережить бой с драконом, в полночь загорается новое солнце и герой побеждает тьму. В этот же самый нижайший момент года родился Христос как сияющий Спаситель, как свет года и свет мира, и его почитают рождественской ёлкой на зимнее солнцестояние. Новый свет и победа символизируются освещением его головы, увенчанной и украшенной сиянием".³³²

Месопотамские цари и фараоны Египта были солнечными богами, представителями воплощённого божества солнца, вечного победителя в нескончаемой битве между порядком и хаосом, светом и тьмой, известным и неизвестным. В иносказательном смысле их можно было бы

считать первыми подлинными личностями, по крайней мере с точки зрения западной исторической традиции. Египетский народ, бессознательно побуждаемый своей причастностью к существенной богоподобности фараона и своим подражательным отождествлением с ним, посвящал все свои культурные стремления прославлению своих правителей. Это представление было далее развито (отвлечено и обобщено) греками, которые приписывали душу каждому мужчине-греку, и доведено до своего логического завершения евреями и христианами, которые признавали за каждой личностью совершенное и неприкосновенное личное достоинство перед Богом или (возможное) тождество с ним.

Великая Мать есть воплощение неизвестного, нового. Герой – её сын и возлюбленный, плод её таинственного брака – является драматическим (сначала конкретно поведенческим, затем подражательно образным, потом словесным) представлением образа действия, способного творчески использовать это неизвестное. Возможность выражения этого образа (и восхищения им, и представления его) представляет собой наследуемое свойство человеческой души, постоянно выраженное в поведении во время человеческой культурной деятельности. Удерживание его в динамическом образе, в мифе, следует за столетиями наблюдения и порождения предположений о сути природы вида "человек разумный" – исторического животного. Развитие такого удерживания идёт по сложному пути всё более и более отвлечённого описания и переописания себя и других.

Герой – это **образец** действия, предназначенного для того, чтобы разбираться в неизвестном; он обязательно появляется везде, где бы люди ни были успешны. Верность этому главному образцу обеспечивает то, что уважение к процессу исследования (и необходимая перестройка верований, сопутствующая этому процессу) всегда остаются **высшими по отношению ко всем другим соображениям, включая соображения поддержания устойчивой веры**. Вот почему Христос, этот определяющий герой западной нравственной традиции, способен сказать: "Я есмь путь, и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня" (Иоанн, 14 : 6); вот почему верность восточному пути (дао) – существующему на границе между хаосом (инь) и порядком (ян) – ручается за то, что "космос" будет продолжать выдерживать испытание временем. **Рисунок 40** **"Процесс исследования и пересмотра как метакель существования"** схематически представляет "высочайшую цель" жизни, умозрительно представленную с такой точки зрения: отождествлению с процессом создания и пересмотра зависящих от обстоятельств и характерных для данной окружающей среды целей в этой схеме придаётся необходимое превосходство над отождествлением с любой частной, вполне определённой целью. Таким образом дух, так сказать, возвышен над догмой.

Мы используем истории, чтобы упорядочивать наши эмоции и управлять своим поведением; используем истории, чтобы снабдить настоящее, в котором мы живём, определённой точкой отсчёта – желаемым будущим. Наилучшим "желаемым будущим", однако, является не состояние, а процесс – (внутренне непреодолимый) процесс посредничества между порядком и хаосом; процесс воплощения **Логоса** – Слова, которое есть создающее мир начало.³³³ Отождествление скорее с этим процессом, чем с любым из его определённых исходов (то есть с любым из "идолов", или с любой **неподвижной системой отсчёта**, или с любой **идеологией**) обеспечивает то, что эмоции будут оставаться упорядоченными наилучшим образом – и действие останется возможным, – как бы и когда бы ни изменялась "окружающая среда". Вследствие такого отождествления уважение к вере уступает первое место уважению к процессу, посредством которого порождается эта вера.

Герой – это повествовательное представление личности, вечно готовой творчески действовать, бесконечно способной создавать новые образцы поведения, вечно приспособленной к тому, чтобы делать безвредным или положительно благотворным нечто ранее угрожающее или неизвестное. Именно повествовательное представление образа поведения, типичного для героя, в конце концов приходит к тому, чтобы приблизиться к истории **спасителя**. За каждым отдельным (то есть **историческим**) искателем приключений, исследователем, творцом, революционером и миротворцем таится образ "сына бога", который противопоставляет свою безупречную личность тирании и неизвестному. Типичным или первичным примером спасителя является спаситель мира, Мессия, создающий и спасающий мир герой, общественный революционер и великий примиритель

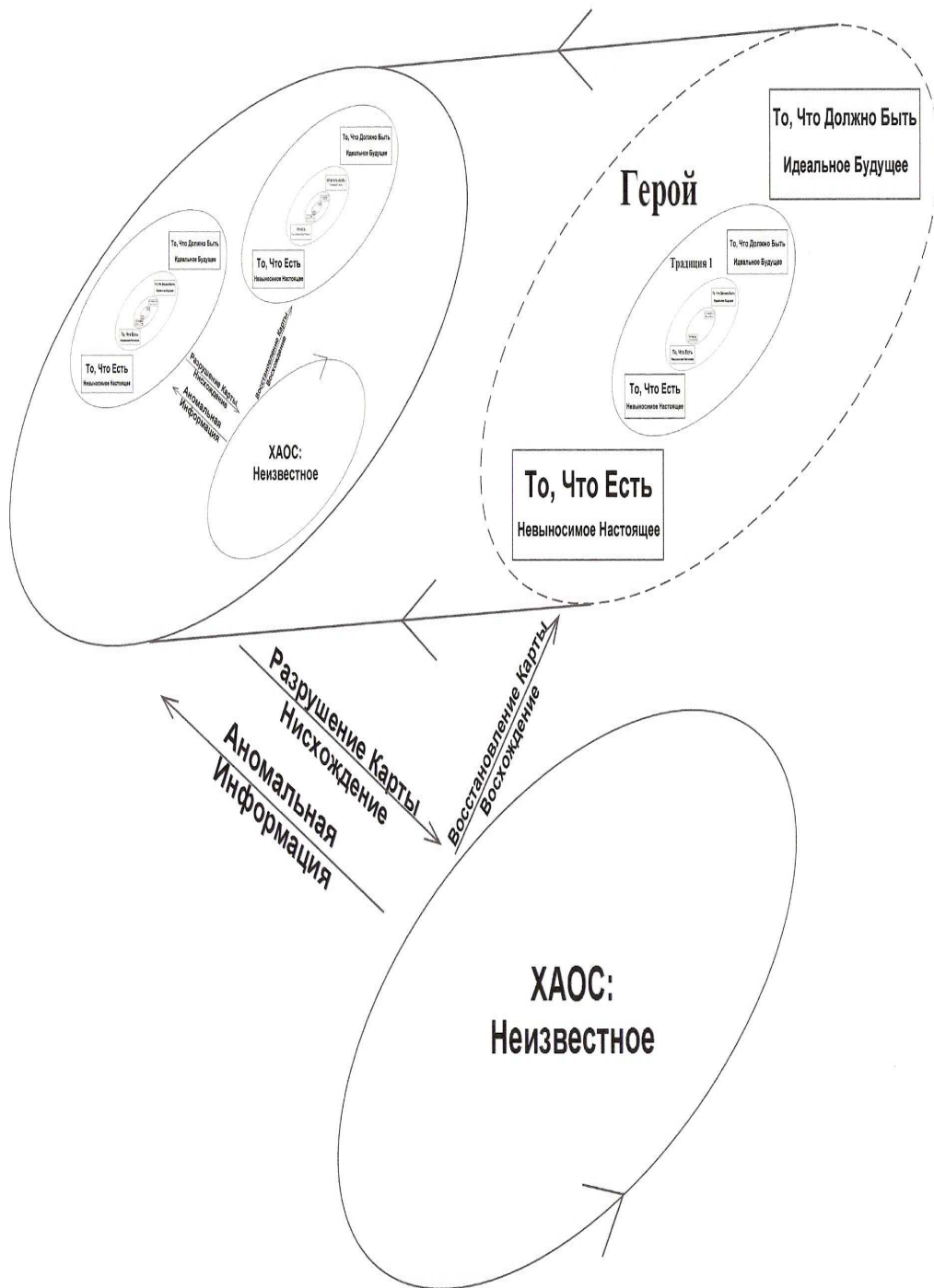


Рисунок 40

Общий итог деятельности Мессии, накопленный в течение времени, как раз и составляет культуру, Великого Отца, самый порядок – исследованную территорию, область известного. Однако в "метастабильном" обществе Отец, хотя бы и здоровый, подчинён Сыну: все установленные ценности обязательно остаются "подчинёнными" образу жизни, представленному героем. Во "Граде Божиим" – то есть первообразном человеческом царстве – вечно правит Мессия.

"Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шёл как бы Сын человеческий, дошёл до Ветхого днями и подведён был к Нему.

И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не прейдёт, и царство Его не разрушится".
(Даниил, 7 : 13 – 14).

2.3.6. Великий Отец: образы известного, или исследованной области

Всякое частное приспособительное поведение (и все объяснительные схемы – схемы **ценности**) порождаются с течением времени по вечному образцу поведения, описанному на языке мифа как характерная черта первичного героя, бога солнца. Эти поведения и схемы накапливаются в течение столетий (как следствие подражания и других видов передачи памяти), но они, так сказать, не обязательно **согласуются друг с другом**. Наши тяжело заработанные способы приспособления часто неистово борются между собой за преобладание внутри данной личности, между личностями внутри обществ и между обществами. Поэтому возникает задача организации. Как привести в порядок имеющиеся возможности, раз уж они порождены или заимствованы у кого-то ещё? Как можно разобраться в историческом накоплении знания и мудрости? В конце концов, в любой данной ситуации существуют многочисленные возможности для поведения; кроме того, возможность истолкования делает даже и саму "ситуацию" изменчивой. Как могут соревнующиеся между собой возможности – многочисленные возможные выборы – быть слиты в своего рода единство; в разновидность единства, которое делает взаимное сосуществование (и взаимно полезное сосуществование) возможным? Как, короче говоря, можно создать и поддерживать общество?

Процедурное знание, порождённое в ходе героического поведения, не организуется и не объединяется внутри группы и личности вследствие простого накопления. Процедура "а", подходящая в ситуации номер один, и процедура "b", подходящая в ситуации номер два, могут прийти во взаимное неистовое противодействие в ситуации номер три. При таких условиях обязательно возникает внутридушевное противоречие или столкновение между личностями. Когда такое происходит, нравственная переоценка становится необходимой. Как следствие такой переоценки выборы в поведении жестоко упорядочиваются по значимости или, менее часто, целые системы нравственности разрушаются, перестраиваются и заменяются. Эта организация и её перестройка происходят как следствие "борьбы" в её конкретных, абстрактных, внутридушевных и межличностных разновидностях. В самом основном случае личность делается подверженной невыносимому противоречию вследствие воспринимаемой (эмоциональной) несовместимости двух или большего числа исходов данной поведенческой процедуры. В чисто внутридушевной области такое противоречие часто возникает, когда достижение того, что желается сейчас, неизбежно помешает достижению того, что желается (или избеганию того, чего боятся) в будущем. Постоянное удовлетворительное разрешение такого противоречия (например, между искушением и "нравственной чистотой") требует создания отвлечённой системы нравственности, **достаточно сильной, чтобы позволить тому, что данное происшествие означает для будущего, управлять откликом на то, что оно означает теперь**. Даже такое создание, однако, является обязательно неполным, если его рассматривать только как "внутридушевное" явление. Личность, даже способная к согласованному объединению соревнующихся и побуждающих её к действию потребностей в личной области, тем не менее остаётся обречённой на столкновения с другими в ходе неизбежных преобразований личного жизненного опыта. Это значит, что личность, которая пришла к согласию сама с собой, по крайней мере в принципе, по-прежнему подвержена эмоциональным расстройствам, неизбежно вызываемым взаимодействием с другими личностями. Дело к тому же обстоит так, что такая подверженность в действительности служит признаком недостаточной "внутридушевной" организации, так как многие основные "потребности" могут быть удовлетворены только через посредство сотрудничества с другими.

Задачи, которые ставит "будущее я" – чьё всё ещё возможное существование должно быть принято во внимание при управлении действиями в настоящем, – очень сходны с теми, которые ставит существование других людей, чьи эмоциональные отклики столь же предположительны (поскольку они не могут быть испытаны непосредственно, а только выведены путём умозаключения). Однако должным образом подготовленная к жизни в обществе личность уже

обучена предоставлять этому "абстрактному другому" (будущей своей личности и другому лицу) онтологический статус, равнозначный статусу своей пережитой личности; обучена использовать существование этого другого как руководство к "правильному действию и истолкованию" в настоящем. Это значит, что для общественного существа все личные действия приходят к тому, чтобы их оценивали относительно их вероятных современных и будущих последствий для себя и для других, вероятно ими затронутых. Такая оценка может происходить непосредственно – то есть как дело "сознательного обдумывания"; в противном случае хорошо подготовленный к жизни в обществе человек может действовать так, "как будто" он всё продумал, оставаясь на проторённых нравственных путях (которые были установлены под накопившимся историческим давлением, вызванным необходимостью поддерживать внутридушевный и общественный порядок). Более скрытые знания, имевшиеся в последнем случае, "помещены туда" как следствие обмена эмоциональными сведениями, сопровождающего данный образ действия при возможном отсутствии явного разумного объяснения: кому-то, например, сообщили трудно уловимым презрительным телодвижением, что данное (теоретически приятное и даже очевидно безвредное) поведение "просто не подходит", что значит по обычаю считается каким-то образом – который не легко заметить, но который всё же "важен", – вредным для себя и для других. Именно такие "произвольные правила" составляют скрытые знания, "закодированные" в общественном строе, – знания, не обязательно вмещённые туда разумными средствами, не обязательно "понятые" в каком-либо повествовательном смысле; тем не менее знания, передающиеся и представимые в мифологии и так далее как следствие д лящегося распознавания образов и их рассмотрения.

"Истории", которыми люди живут (которые составляют их схемы истолкования, которые направляют их действия, которые упорядочивают их эмоции), поэтому являются неожиданно появляющимися построениями, оформляемыми необходимостью упорядочить состояющиеся между собой внутренние, меняющиеся во времени, биологические потребности в обществе людей, сталкивающихся с той же самой судьбой. Это сходство **потребностей** (вынужденное физиологическим устройством) и **обстановки** (вынужденное общественной действительностью) вызывает сходство **реакций**. Именно это сходство реакций, в свою очередь, лежит в основе неожиданно возникающей "общей нравственной точки зрения", которая объясняет сходство в мифах разных культур. Это значит, кстати, что такие "общие точки зрения" относятся к чему-то **реальному** – по крайней мере постольку, поскольку за неожиданно появляющимися свойствами признаётся реальность (а большинство вещей, которые мы без сомнения рассматриваем как реальные, являются именно такими неожиданно появляющимися свойствами).

Реакции первенца-ребёнка на его новорождённого брата или сестру могут служить конкретным примером взаимодействия между личным, межличным и общественным. Старших брата или сестру могут положительно привлекать к новорождённому естественные родственные склонности и любопытство. В то же самое время, однако, новорождённому уделяется значительная часть родительского внимания, иногда за счёт внимания, уделяемого более старшему ребёнку. Это изменение родительской заботы часто вызывает расстройство, проявляющееся в вызывающем поведении со стороны вытесненного брата или сестры. Старший ребёнок поэтому будет "внутренне" раздираться противоречиями вследствие привязанности к новому члену семьи, любопытства насчёт его природы и раздражения по поводу существования этого создания, его потребностей и влияния на (некогда) предсказуемые взаимодействия семейного общественного целого. Защитное отношение родителей, которые ограничивают агрессию со стороны более старшего ребёнка, дополнительно осложняет обстоятельства, вовлекая дополнительные требования общественного целого в уже достаточно трудную обстановку.

Как должен ребёнок разрешить свои противоречия? Он должен выработать **личную позицию**, чтобы наладить отношения со своим новым братом или сестрой (должен стать "настоящим старшим братом"). Это значит, что он может подчинить свою агрессию страху, чувству вины и стыду, вызываемым родительским поведением в интересах младенца. Это будет значить, что он будет, по крайней мере, "вести себя как человек" вблизи младенца в непосредственном присутствии его родителей. Он может также научиться вести себя так, **как будто** его агрессивная реакция, побуждаемая переменой в его положении в семье, в общем, менее желательна, чем принятие новорождённого как родственника. Разумная перемена в истолковании легко может поддержать его позицию **как будто**: он может, вероятно, получить от своего младшего брата или сестры часть того внимания, которое больше не обращают на него родители, по крайней мере, если он будет

старателен и искренен в своих попытках быть дружелюбным. Он может также развить некоторые более независимые интересы, соответствующие его новому положению относительно зрелого члена семьи. В первом, простейшем случае (когда он подчиняет свою агрессию страху) ребёнок упорядочивает по значимости свои побуждения, проявляющиеся в поведении. В последней, революционной обстановке ребёнок перестраивает скрытые предположения, которые первоначально положили начало его противоречиям. И в том и в другом случае обстановка разрешается (рассказывается в виде другой истории) в ходе того, что могло бы быть разумно описано как внутренняя борьба, неминуемо сопровождаемая сильными вспышками боли, страха и гнева. Личность, которая возникает вследствие такой борьбы, является, по крайней мере в революционном случае, чем-то "более похожим на героя", чем та которая существовала до изменения в условиях окружающей среды.

Состояние брака даёт добавочный пояснительный пример, относящийся ко взрослым. В браке желание личного самовыражения неизбежно ограничено желанием поддержания близких отношений между личностями и принятием "достойной уважения" общественной роли, которую составляет такое поддержание. Мужчина, который больше не является холостяком, может продолжать свой добрый образ деятельности, зависящий исключительно от его личных желаний и причуд и ограниченный любыми минимальными общественными обязательствами, какие он приобрёл до того. Скоро он обнаружит (если он взял в жёны соответственно напористую супругу), что его (до того индивидуалистические) мечты и желания вызывают столкновения в его женатой жизни, проявляющиеся в семейных раздорах и последующих эмоциональных расстройствах.

Столкновения, обычно сопровождающие семейные отношения, возникают вследствие несовместимости (явных и неявных) личных нравственных установок и ожиданий во взаимоотношениях между личностями (вследствие межличностной "борьбы неявных богов"). Такие столкновения могут быть разрешены разными путями. Один из супругов может посредством рассудительного применения физических или психологических наказаний сделать другого, так сказать, бессильным и подчинённым – постоянно расстроенным, жалким, озабоченным и враждебным. Ценность брака при этом снижается, и в итоге он может вообще быть расторгнут. Это не решение, а просто возвращение (перед лицом неожиданно возникшей аномалии) к исходному состоянию "одной личности". И наоборот, каждый из супругов может решить всерьёз принимать "другого" во внимание и соответственно перестроить личное поведение (и возникающие при этом ценности). Этот процесс не произойдёт сам собой без открытого столкновения (говоря практически, обмена мнениями) или без мужества добровольного переживания отрицательных эмоций, включая тревогу, чувство вины и стыд, по мере того как ранее "бессознательные" (неявные) проступки и недостатки выходят наружу. Мифическое подчинение супругов в браке высшей власти Христа, их культурного героя, ритуально представленное в христианском брачном обряде, "символически" поддерживает брак.³³⁴

Добровольное подчинение желаний обеих личностей высшему нравственному порядку, воплощённому в образе действий христианского спасителя, означает принципиальное (явное или неявное) согласие насчёт природы высших начал, к которым можно обратиться, когда посредничество между несовместимыми желаниями и предположениями делается необходимым. Это значит, что "личность", установленная "таинственной связью" обоих супругов в браке, предполагается приближающейся ко Христу, – предполагается выступающей в качестве высшего существа в отношении "менее совершенных" личностей, которые составляют "женатую пару". Этот процесс добровольного подчинения "высшему божеству" соответствует в отношении прихода к власти Мардука расширенному межличностному историческому процессу, описанному в "Энума элиш". Через посредство столкновения (и сотрудничества) внутри "вместилища" брака создаётся новая нравственность – новые образцы поведения, и предположения, и ожидания, проявляющиеся в поведении и внутренне представленные в сознании супругов. Этот процесс может быть направлен к разумному исходу посредством взаимного участия в поддерживаемом обществом религиозном обряде. В противном случае личности могут добиваться успеха или терпеть неудачу сами по себе.

Различные побуждения соревнуются за преобладание в чисто субъективной и межличностной областях в настоящем, а также в будущем. Вызывающий страх сейчас бывает терпимым потому, что оно означает меньшее наказание (или меньший страх, или большее наслаждение, или большую надежду) в будущем, поскольку разум или обычай могут вынести такое суждение. Подобным же образом общественная группа и дополнительное давление, которое она оказывает, терпится, потому

что "такая группа" составляет наиболее действенное, какое только можно вообразить в настоящее время, приняв всё во внимание, решение задачи приспособления к окружающей среде. Эта группа – современное воплощение человеческого обычая – есть следствие борьбы между различными "образами жизни", которая велась в течение многих поколений.

Хотя "борьбу за преобладание", которая является отличительной чертой обмена сведениями, имеющими отношение к нравственности, можно представлять себе как войну (и она часто ведётся в действительности как настоящая война), дело более часто обстоит так, что она проявляется как борьба между "верованиями". В последнем случае исход борьбы определяется скорее утратой **веры**, чем жизни. Люди могут заменять смерть утратой веры отчасти потому, что они способны отвлечённо истолковывать свои "территории" (представляя их как верования) и в отвлечённом смысле оставлять эти "территории", когда их больше невозможно занимать. Животным, менее способным к отвлечённому мышлению, также бывает легче потерять престиж, чем жизнь, хотя они "разыгрывают" эту потерю в установившемся порядке поведения, а не в словесной борьбе или в борьбе образов (не посредством споров). Именно эта способность "символически сдаться" и "символически уничтожить" в значительной части лежит в основе способности отдельных животных организовываться в общественные группы (что требует иерархической организации) и поддерживать и осовременивать эти группы, раз они уже установлены. Во многом то же самое можно сказать о людях, которые также занимаются абстрактной войной, на процедурном уровне, равно как и настоящей войной и спорами.

"Сильные" идеи вызывают проявления глубокой веры, или если выразить это иначе, проявления непоколебимой веры указывают на "силу" идеи. Можно с полным основанием считать, что сила объединяющей идеи измеряется её способностью тормозить соревнующиеся с ней порывы, в особенности те, которые вызываются страхом. Полезный пример этого предоставляют показы преобладания в группах приматов и других сложных общественных животных высшего порядка. Большинство споров о преобладании улаживается до обострения, кончающегося физическим нападением. В случае такого спора наиболее вероятно, что победителем будет то животное, которое наиболее способно удерживать свои позиции перед лицом вызова – несмотря на угрозу, невзирая на страх. Способность удерживать территориальные позиции, когда они оспариваются, поэтому указывает на степень, до которой внутридушевное состояние объединено по отношению к современным побуждениям (что значит, оно указывает на то, насколько данное животное "убеждено" в том, что оно может или должно удерживать свои позиции). Это объединение представляет собой силу – в человеческом обществе **дар божий**, – которая делается наиболее очевидной в показном введении. Уверенность, с которой удерживается позиция (будь то территориальная позиция, место в иерархии преобладания или отвлечённое понятие) – насколько о ней можно сделать вывод из наблюдаемого поведения, такого, как "отсутствие страха", – представляет веское указание на возможную объединяющую силу этой позиции; представляет указание на то, насколько существо, которое удерживает эту позицию верит в правильность (справедливость, ценность) своего к ней отношения. Объединяющая сила верований этого рода может быть точно определена посредством вызова (так как способность выдерживать вызов зависит от этой силы). Это значит, что способность тех, кто держится какой-либо идеи, без колебаний выдерживать вызов представляет собой один из эмоциональных (не основанных на опыте) **критериев** определения истинности этой идеи или, по крайней мере, её внутридушевной полезности. Отсюда проистекает сила мученика и нерасположенность даже современных тоталитаристов позволять своим врагам совершать открытые принесения себя в жертву.

Упорядочение поведения по рангу на языке сравнительной полезности есть (процедурное, эпизодическое или семантическое) суждение насчёт ценности. Такое суждение составляет решение о "природе добра и зла", вынесенное с мифологической, или повествовательной, точки зрения. Такие определения ценности являются решениями, чьё назначение – организация нацеленного на будущее личного поведения в настоящем, проявляющегося в (непрерывно) общественной обстановке, в соответствии с мудростью прошлого жизненного опыта. Содержание передаваемых мифами поведенческих схем и их основанное на ценности упорядочение обычно остаются скрытыми, находящимися вне области описательной понятности, из-за их чрезвычайно сложного устройства, которое сложилось, в первую очередь, в ходе не повествовательных эволюционных процессов. Эмоциональный переворот, вызванный одновременным применением несоразмерных стратегий поведения или объяснения, даёт толчок организации этих стратегий. Такая организация

возникает, внутри души или в отношениях между личностями, в ходе "борьбы за преобладание" – то есть вследствие как бы дарвиновской борьбы за выживание.

В ходе столетий действия героев-предков, которым непосредственно подражали, а затем представляли их в мифах, стали преображёнными, упрощёнными, обтекаемыми и оживлёнными – всё более и более точно сведёнными к их "платоновским" формам. Поэтому культура – это "общий итог" уцелевшего исторически определённого и иерархически упорядоченного поведения и его отвлечённых представлений второго и третьего порядка и более того: она есть объединение всего этого, в ходе бесконечных общественных и внутридушевных столкновений и противоречий, в единый образ поведения – в единую систему нравственности, одновременно управляющую личным поведением, взаимодействием между личностями и образным или семантическим описанием таковых. Этот образ есть "вещественный идеал" культуры, её способ преобразования невыносимого настоящего в желаемое будущее, её направляющая сила, её главная личность. Эта личность, выраженная в поведении, сначала воплощается в обществе (где она образует основу понятия о "верховой власти") в виде царя или императора. Отвлечённо представленная – подражаемая, разыгрываемая, ритуализированная и ставшая предметом историй, – она становится чем-то всё более и более психологическим. Этот воплощённый и представленный "культурный образ" передаётся из поколения в поколение, меняясь по форме, но не в сущности. Он передаётся непосредственным обучением, через посредство подражания и как следствие человеческой способности включать в свою личность черты личности, временно освобождённые от телесной оболочки в повествовании.

"Объединительное столкновение" сложных идей, полагающее начало "главному образу культуры", появляется как процесс, тянувшийся в течение несчётных столетий. Этот процесс представляется в мифах как "борьба богов на небесах", которую Элиаде описал как "столкновение между божественными поколениями".³³⁵ Элиаде обсуждает хуррито-хеттскую и ханаанейскую мифологию (примерно 2000 – 1740 гг. до н. э.) и её отношение к сходным мифам в древней Финикии и в других местах. В хеттской теогонии относительная власть богов была определена борьбой, которая велась между ними:

"Вступительный эпизод «О царствовании на небесах» описывает смену первых богов. Вначале царём был Алалу, и Ану, самый значительный из богов, склонился перед ним и служил ему. Но спустя девять лет Ану напал на него и одержал победу. Тогда Алалу бежал в подземный мир, и Кумарби стал слугой нового повелителя. Прошло девять лет, и Кумарби в свою очередь напал на Ану. Спасаясь бегством, последний взлетел на небо, но Кумарби преследовал его, схватил за ноги и, откусив его «филеи», швырнул на землю. Поскольку он смеялся и ликовал по поводу своего подвига, Ану сообщил ему, что он забеременел. Кумарби выплюнул то, что у него оставалось во рту, но часть семени Ану вошла в его тело, и он разрешился от бремени тремя богами. Остальная часть текста сильно повреждена, но предполагается, что «дети» Ану, ведомые Тешубом, богом грозы, боролись с Кумарби и свергли его с престола".³³⁶

Элиаде продолжает, заимствуя из древней "Финикийской истории" Филона Библиского:

"... первым верховным [финикийским] богом был Элиун (в Греции – Гипсиссос, «всевышний»), соответствующий Алалу в хуррито-хеттской мифологии. От его союза с Берут появились на свет Уран (соответствующий Ану) и Ге (Гея). В свою очередь эта пара имела четырёх сыновей, первый из которых – Эл (или Крон) соответствует Кумарби. Поссорившись с женой, Уран решил уничтожить своё потомство, но Эл выковал себе пилу (или копьё?), изгнал отца и стал править сам. Наконец, властителем становится (представляющий четвёртое поколение и соответствующий Тешубу и Зевсу) Баал: в виде исключения он получил власть без борьбы.

Важно сразу же подчеркнуть «обособленный» и в то же время синкретический характер этого мифа, и не только в хуррито-хеттской версии (где, кроме того, имеется некоторое количество шумеро-аккадских элементов). В «Энума элиш»³³⁷ подобным же образом представляется: 1) ряд божественных поколений; 2) борьба молодых богов против старых богов; 3) победа Мардука, который таким образом приходит к власти.

Подводя итог, отметим, что все мифы, повествующие о борьбе между сменяющимися друг друга поколениями богов за главенство, с одной стороны, оправдывают позицию последнего

победившего бога, а с другой стороны, объясняют существующее строение мира и современное им состояние человечества".³³⁸

"Боги" – это надличностные силы – "бессознательные" и видоизменённые обществом, всюду присутствующие как составные части опыта. Организация этих богов, возникающая вследствие борьбы, есть отвлечённое и поэтическое описание путей, какими возникающие образы поведения и объяснительные схемы – так сказать нравственные позиции – борются за преобладание и потому с течением времени организуются.

Способ, каким данное общество пришло к установлению своих иерархий поведения, неявно содержится в его способе приписывания ценности "предметам" или восприятия в них ценности (что означает **неявно содержится в его способе ограничения значений, проявляемых предметами, приемлемыми по разряду и величине**). Грубо организованные последствия "борьбы богов" составляют традицию, которая устанавливает иерархию ценностей внутри души, упорядочивает взаимодействие между личностями и сдерживает личные эмоции (так как последствия личного поведения и поведения общества, когда они направляются традицией, остаются предсказуемыми). Данное поведение, проявляемое **в отсутствие** других людей, не обязательно вызывает тот же самый исход, когда оно разыгрывается **в их присутствии**. Двое детей и одна игрушка не образуют ту же самую ситуацию, что один ребёнок и одна игрушка (потому что, в известном смысле, **игрушка** не является той же самой с точки зрения её проявлений). В общественной ситуации поведенческие наклонности личностей подвергаются постоянному видоизменению, так как присутствие в ситуации общества изменяет роль всех имеющихся в ней предметов как возможных побудительных причин. Двое детей с одной игрушкой должны прийти к соглашению, которое является взаимным изменением поведения, прежде чем игрушка может стать тем, что она "есть", когда с ней сталкивается один ребёнок, – то есть скорее забавой, чем неприятностью.

Склонности личностей к определённому поведению – это подражаемые образцы действия, которым подражают и которые первоначально были установлены в какой-то момент прошлого как следствие героического поведения. Взаимодействие образцов поведения в мире общества, однако, приводит к их неизбежным изменениям. Образцы поведения – вызванные, например, вызывающим поведением других, или любовью, или страхом – обладают надличностной основой, что частично объясняет их олицетворение в качестве богов (или, с более свободомыслящей точки зрения, их **существование** как богов). Именно постоянное столкновение этих богов делает возможным их взаимное сосуществование и их общественную организацию. Много богов могло бы, например, действовать одновременно в области оспариваемой игрушки (в "неизвестной области", вызванной наличием чего-то желательного, но единственного в своём роде, в общественном окружении). "Бог войны" (ради спора, скажем, **Арес**) мог появиться "внутри" одного ребёнка или обоих: в таком случае последует драка. Победитель в ней – предположим, что такой есть, – может потом, в будущем, с большей вероятностью быть более воинственным в двусмысленной ситуации. У побеждённого могли бы быть другие мысли: им может теперь овладевать **Пан**, или **Паника**, когда перед ним возникнет столкновение с незнакомцем из-за игрушки (он может заплакать и убежать). В противоположность этому, в наилучшем случае, один ребёнок может (или они оба могут) **договориться** о справедливом решении вопроса, так что оба будут удовлетворены и ни один не обижен. "Переговоры" о "справедливом решении" предполагают, что каждый ребёнок относится к другому как к "чему-то, представляющему собой ценность", – то есть как к человеку, которого надо **принимать во внимание** в ходе принятия решений о поведении. Это **принятие других во внимание** есть признание их подразумеваемого достоинства – их "основных прав человека" – как (мифологически равноправных) членов общества. Такое "признание" разыгрывается, прежде чем оно понято, и представляет основание для организации общества на основе, отличной от силы. Несмотря на "недостаток явного понимания", переговоры, тем не менее, указывают на "отождествление с героем" (вечное "средство достижения мира"), так как в одном из своих многих обликов герой – это "божественный миротворец". Возникновение переговоров во время спора поэтому является как "самопроизвольным воплощением спасителя", так и источником сведений для получения историй о "природе героя" (что полезно для будущих ссылок).

В случае детей, вовлечённых в спор об игрушке, родитель, который (ради целей обсуждения предположим, что такой найдётся) позволяет более сильному ребёнку предпочтительный доступ к желаемому предмету, выдвигает нравственное притязание на то, что этот предмет – и необузданное

его желание, которое вполне может "слиться" с ним, – есть нечто, обладающее более высокой ценностью, чем эмоциональное состояние или физическое здоровье другого ребёнка, который может потерпеть поражение. Родитель может также поступить наоборот и потребовать от детей, вовлечённых в это столкновение, занять промежуточное положение между их состязавшимися потребностями, не возвращаясь к тому, что "сила – это и есть право", и создать свою "иерархию ценностей", управляющих поведением в "хаотической ситуации", определяемой общим желанием единственной игрушки. Именно организованный иерархически "общий итог" таких взаимодействий, проведённых в некогда неисследованной области, в конце концов и составляет культуру.

В случае более многочисленного общества дело обстоит так, что "значение" предмета – то есть его значение для упорядочения эмоций и последующего поведения – определяется общественными последствиями поведения, предпринятого в его присутствии, и выводов, сделанных в этих условиях. Таким образом, внутренние силы побуждения соперничают в борьбе за преобладание под влиянием общественного контроля. Валентность, например, любовных предложений, сделанных данной женщиной, – то есть вызывает ли её поведение "богиню любви" или "бога страха" – будет зависеть от её положения в данной общественной иерархии. Если она не замужем и действует сообразно обстановке, она может считаться желанной. Если она, напротив, несколько подвыпившая жена большого и опасного человека, её можно отнести к разряду "того, от чего лучше всего быстро убежать".

Когда, например, исследование заканчивается наказанием, исследовательская склонность, соответствующая этой ситуации, будет тормозиться страхом. Когда такое происходит вследствие исследования естественного предмета, истолкование этого, вероятно, будет таково: мы чему-то научились о природе мира (во всяком случае, той его части, которая опасна). В общественной области этот процесс расширяется сложным образом. Вызванный какими-то побуждениями образ действия (даже само побуждение) может начать тормозиться страхом, так как его выражение в поведении в пределах социальной общности кончается тем, что тебя отвергает общество (или другим наказанием, опосредованным взаимодействием между личностями). Поэтому можно было бы сказать, что структура внутреннего состояния побуждения отражает последствия поведения, предпринятого в природном и общественном мирах, или, более подробно, **что имеется отношение изоморфизма между внутренним представлением состояний побуждения и внешним, общественным миром.** Именно по этой причине политическое состояние и психологическое состояние могут в некотором смысле рассматриваться как тождественные (а люди так легко приходят к тому, чтобы "отождествлять" себя с их общественными группировками).

Культурно обусловленное значение предмета – первоначально понимаемое как сторона этого же предмета – в значительной части является, по сути, подразумеваемыми неявными сведениями о природе современной иерархии преобладания, которые были частично преобразованы в отвлечённое предположение насчёт относительной ценности вещей и людей. То есть **что кому принадлежит**, например, определяет **что означают принадлежащие вещи, а само отношение принадлежности** зависит от иерархии преобладания. Что означает данный предмет определяется присвоенной ему (определённой обществом) ценностью, проявляющейся в выражениях системы обещаний, наград, угроз и наказаний, связанных с воздействием этого предмета, соприкосновением с ним, а также с использованием этого предмета и злоупотреблением им. Это, в свою очередь, определяется эмоциональным значением предмета (его отношением к достижению определённой цели или отсутствием такого отношения) в сочетании с его редкостью или широким распространением и властью тех, кто судит о её природе (или её отсутствием у них). В согласии с этим наблюдением психолог-экзистенциалист Людвиг Бинсвангер отмечает:

"Все «превращения своекорыстных инстинктов в общественные» и поэтому, собственно говоря, все превращения дурных побуждений и склонностей в хорошие происходят, согласно Фрейдю, под влиянием принуждения. «Первоначально, то есть в истории человечества [такие превращения происходили] только под влиянием внешнего принуждения, но они [происходили] посредством введения в мир наследственных предрасположений к таким превращениям, а также через посредство их увековечения и укрепления 'в течение жизни самой личности'». Действительно, всё это «развитие» принимает направление, в котором внешнее принуждение переносится внутрь и которое в случае человеческого суперэго полностью

поглощено. Как мы знаем, такое превращение происходит «посредством примешивания любви»: «мы учимся ценить то, что нас любят, как преимущество, благодаря которому мы можем обойтись без других преимуществ». Культура, таким образом, «достигается посредством отказа от бессознательных удовольствий и продвигается каждым новым обстоятельством, которое служит целям такого отказа».

Во всём этом мы стоим перед чистым образцом «человека естественного»: телесные инстинкты, получение удовольствия (принесение в жертву меньшего удовольствия ради получения большего), торможение из-за принуждения или давления со стороны общества (прообразом которого является семья), история развития в смысле превращений внешнего принуждения во внутреннее и наследование этих превращений".³³⁹

Вызывает ли конкретная стратегия выбора поведения (спланированного или исследовательского) положительный или отрицательный исход, для общественных животных в конкретной обстановке зависит от природы общественной окружающей среды, в которой это поведение проявляется. Любой данный "предмет", способный вызвать поведение, **обязательно является частью общественной обстановки среди общественных животных; эта общественная обстановка играет важную роль в определении ценности этого предмета.** Именно общественное определение ценности помогает сделать предмет безразличным, опасным, многообещающим или удовлетворяющим – в значительной части независимо от "объективных" свойств предмета, о котором идёт речь. Обусловленное обществом эмоциональное значение предмета "естественно" испытывается как свойство этого предмета: то есть дар божий, исходящий от гитары Элвиса Пресли, является "частью" этой гитары. Это значит, что значение предметов в общественной обстановке **является на самом деле сведениями о строении этой общественной обстановки,** равно как и "частью" предмета (его "волшебством") с мифологической или повествовательной точки зрения.

Опознавание зависящего от обстановки значения предметов в общественной окружающей среде, которое является определением образов поведения, чьё проявление соответствует этой обстановке, означает столкновение с культурным устройством, предназначенным привести предсказуемость в текущий поток событий. Участие в процессах и представлениях, составляющих это устройство (то есть **принятие отождествления с обществом**), означает повышенную способность предсказывать поведение себя и других и, следовательно, приводить в порядок свои эмоции через все приливы и отливы жизни. **Многое из возможной непредсказуемости остаётся ограниченным общностью, которая составляет культуру.** Эта социальная общность, которая есть история о том, какими являются вещи – включая себя и других людей – и какими они должны быть, предоставляет рамки, которые ограничивают невыносимое иначе **доопытное** значение в конечном счёте непознаваемого эмпирического предмета как побуждения. Неизвестное окружает личность, как океан окружает остров, и вызывает эмоции, вынуждает поведение, всякий раз, когда оно показывает своё ужасное, но многообещающее лицо. Культура создана несмотря на эту вездесущую силу (в сотрудничестве с ней, из уважения к ней) и служит преградой, успокаивающей эмоции, предоставляющей защиту против выставления перед невыносимым лицом Бога.

Именно **охранительная** сторона общества обеспечивает, что прошлое, как его **перевоплощают и помнят** в настоящее время, продолжает служить последним источником нравственной добродетели и эмоциональной защиты. Это прошлое, которое помнят, есть мифический Отец, более отвлечённо отражённый в одном из "лиц" христианской Троицы. Силе прошлого – например в обрядах почитания предков – отдаётся должное признание, которое побуждается желанием оставаться "в общении" с умершими (то есть которое побуждается желанием сохранить мудрость, защитную силу и направляющую руку умерших). Такое побуждение составляло силу, достаточную для того, чтобы дать толчок сооружению мегалитов – огромных каменных "завещаний прошлого" – в географической области, простирающейся от западной и северной Европы через Ближний Восток до Тибета и Кореи, с 4000 г. до н. э. по настоящее время.³⁴⁰ Эти мегалиты, как и современные кладбища, являются "городами мёртвых", памятниками и вспомогательными средствами памяти и непрерывности культуры. Элиаде утверждает:

"Мегалиты имеют отношение к определённым идеям, касающимся существования после смерти. Большая часть их возводится в ходе церемоний, назначением которых является защита души во время её путешествия в загробный мир, но они также обеспечивают вечное загробное существование как тем, кто воздвигал их, так и тем, для кого они были сооружены. Кроме того, мегалиты представляют собой не имеющую себе равных связь между живущими и мёртвыми; люди верили, что они увековечивают магическую силу тех, кто их построил, или тех, для кого они сооружались, обеспечивая таким образом плодovitость людей, скота и посевов".³⁴¹

а также:

"Благодаря этим мегалитическим сооружениям умершие приобретают исключительную силу; однако, поскольку ритуалы обеспечивают общение с предками, такая сила может быть передана и живущим... Мегалитические же религии характеризует тот факт, что идеи **вечности и неразрывности жизни и смерти** воспринимаются через **поклонение предкам, отождествляемым или связанным с камнями**".³⁴²

То, что, так сказать, облечено в камень, **помнится**, а то, что помнится (при отсутствии постоянных литературных средств общения), есть ценность культуры, значение открытий всех тех, чья жизнь предшествовала настоящему времени. Прошлое, ставшее в переносном смысле присутствующим в виде камня, – это мифический герой-предок, Осирис, основатель общества. В традиционных обществах внушённое благоговением подражание действиям этого главного действующего лица, которое видоизменено временем и отвлечённым представлением, сохраняет первоначальную силу (оно сохраняет могучую силу даже в революционных культурах, таких, как наша собственная). Деятельность донаучного человека заключается в ритуальном удваивании и одновременном соблюдении табу – действию, ограниченном обычаем. Когда такой человек пытается достичь вполне определённой цели, он следует достойному подражания образцу. Этот образец был "установлен" его прародителями во времени, "относящем к определённому разряду всё время" и в "божественном" пространстве (на самом деле, внутридушевном пространстве членов его общины). В конце концов, его традиция – это не просто сила прошлого: это сила прошлого, **как она существует и представляется в настоящем**. То, что помнится, принимает её представление как образец, как образец поведения, типичный для создающих культуру "сверхъестественных существ", которые жили до времён, о которых сохранились живые воспоминания. Этот образец есть традиционное поведение как установленное и организованное теми, кто был способен положить начало приспособлению, или – можно было бы сказать – как установленное и организованное тем основным бессмертным в человеческом духе, что постоянно борется со страхом смерти и создаёт условия, которые поддерживают жизнь:

"... Для человека традиционного общества всё значительное – то есть всё творческое и могущественное, – что когда-либо происходило, имело место в начале, во «время мифов».

В каком-то смысле можно было бы почти утверждать, что для человека архаического общества история «замкнута»; что она исчерпалась в немногих изумительных событиях в начале. Открывая в начале времени полинезийцам различные способы ловли рыбы в глубоких водах, мифический Герой одним махом исчерпал все возможные виды этой деятельности; с тех пор, когда бы они ни отправлялись на рыбную ловлю, полинезийцы повторяли образцовые телодвижения мифического Героя, то есть они подражали сверхчеловеческому образцу.

Но, если её рассматривать должным образом, эта история, сохранённая в мифах, замкнута только по видимости. Если человек примитивного общества удовлетворялся тем, что постоянно подражал немногим образцовым телодвижениям, открытым мифами, то были бы необъяснимы бесчисленные нововведения, которые он принял с течением времени. Не существует такой вещи как совершенно замкнутое первобытное общество. Мы не знаем ни одного такого общества, которое бы не позаимствовало каких-то элементов культуры извне; ни одного, которое вследствие этих заимствований не изменило бы по крайней мере некоторых сторон своих установлений; короче говоря, ни одного, у которого не было бы истории. Но, в противоположность современному обществу, первобытное общество принимало все нововведения как такое же количество «откровений», следовательно, как имеющие

сверхчеловеческое происхождение. Считалось, что предметы или оружие, которые были заимствованы, образцы поведения и установления, которым подражали, мифы и верования, которые были усвоены, были заряжены волшебной-религиозной силой; на самом деле, именно по этой причине они были замечены и чтобы приобрести их были предприняты усилия. И это не всё. Всё, перечисленное выше, было принято потому, что считалось, что Предки получили первые культурные откровения от Сверхъестественных Существ. И так как у традиционных обществ нет исторической памяти в строгом смысле слова, требовалось только несколько поколений, а иногда даже меньше, чтобы облечь недавнее нововведение всем престижем первичных откровений.

В конечном счёте, мы могли бы сказать, что, хотя они и «открыты» истории, традиционные общества склонны мысленно переносить каждое новое приобретение в изначальное Время, сжимать все события в тот же самый вневременной горизонт мифического начала".³⁴³

Общественный строй, который возникает с течением времени вследствие "борьбы богов", можно было бы наиболее точно уподобить личности (личности, **принятой всеми, кто принадлежит к той же самой культуре**). По сути, это личность "умерших героев прошлого" ("героя как ранее осуществлённого") и она чаще всего символизируется образом Великого Отца, одновременным "олицетворением" порядка и тирании. Типичный Великий Отец защищает своих детей от хаоса; сдерживает докосмогонические воды, из которых всё произошло, в которые всё "вернётся"; и является прародителем героя. Защитная способность благотворной традиции, воплощённая в виде политического порядка, представляет собой общую мифологическую или повествовательную тему. Для наших целей это можно пояснить на примере посредством рассмотрения и анализа польской народной сказки "Весёлый портной, который стал королём".³⁴⁴ Герой этой истории Нитечка – простой портной. Он мужественно помогает раненой цыганке – то есть действует по-человечески по отношению к постороннему, к незнакомцу, олицетворённому "посланцу хаоса". В ответ на это цыганка снабжает его "спасительным" знанием" – сообщает ему, что если он пойдёт на запад, то станет королём. Он получает в качестве спутника пугало – "Графа" – и испытывает с ним много приключений. В конце концов, двое путешественников прибывают в город Пацанов и с великим изумлением наблюдают то, что там происходит.

"Кругом светило солнце и было приятно; но над Пацановым дождь лился с неба как из ведра.

«Я не пойду туда, – сказал Пугало, – потому что моя шляпа промокнет».

«И даже я не хочу стать королём такого мокрого королевства», – сказал портной.

Именно тогда заметили их горожане и бросились к ним, возглавляемые бургомистром, едущим на подкованном козле.

«Уважаемые господа, – сказали они, – может быть, вы можете нам помочь».

«А что с вами случилось?» – спросил Нитечка.

«Нам угрожают потоп и разорение. Недели тому назад умер наш король, и с этого времени ужасный дождь падает на наш прекрасный город. Мы не можем даже разжечь огонь в наших домах, потому что так много воды льётся через дымоходы. Мы погибнем, уважаемые господа!»

«Это очень плохо», – очень мудро сказал Нитечка.

«Ох, очень плохо! А больше всего нам жаль дочку покойного короля, так как бедняжка не может перестать плакать и это добавляет ещё больше воды».

«Это ещё хуже», – ещё более мудро отвечал Нитечка.

«Помогите нам, помогите! – продолжал бургомистр. – Знаете ли вы о безмерной награде, которую принцесса обещала дать тому, кто остановит дождь? Она обещала выйти за него замуж, и тогда он станет королём»".

Основной сюжет установлен. Портной – тот, кто одевает, штопает и пришивает, – является героем. Хотя он и прост (невзрачен по внешности, скромн, готов рискнуть, полезен и добр), у него есть способности, необходимые, чтобы стать королём. Он прибывает в город, которому угрожает потоп (хаос в облике "возвращения изначальных вод"). Этот потоп начался после недавней смерти короля. Дочь короля – благожелательный (так как она молода, прекрасна и добра) двойник сил отрицательного женственного (непрекращающегося дождя), – видимо, готова соединиться со

всяким, кто "спасёт королевство". Она представляет возможности, внедрённые в хаос, с которым портной сознательно сталкивается (и тем не менее своими "подобными дождю" слезами уподобляется её исконному спутнику, Великой Матери).

Нитечка понимает, что он должен вернуть "приятную погоду". Он обдумывает обстановку три долгих дня. В конце концов, он получает откровение:

"«Я знаю, откуда происходит дождь!»

«Откуда?»

«С неба» (то есть с «небес»).

«Вот как! – проворчал Пугало. – Я тоже это знаю. Конечно, он не падает снизу вверх, а иначе».

«Да, – сказал Нитечка, – но почему он выпадает только над городом, а не в других местах?»

«Потому что в других местах хорошая погода».

«Глупый ты, господин граф, – сказал портной. – Но скажи мне, как долго идёт дождь?»

«Говорят, что с тех пор как умер король».

«Вот видишь! Теперь я знаю всё! Король был так велик и могуч, что когда он умер и пошёл на небеса, он проделал огромную дыру в небе».

«Ох, ох, правда!»"

Смерть короля – являющегося "ритуальным образцом для подражания", деятелем, приносящим порядок и предсказуемость во взаимодействия между личностями, которые являются его подданными, – означает возможное исчезновение безопасности и защиты. Смерть короля (его "возвращение на небо", или в царство мёртвых) равносильна разрушению защитной стены. Неизвестное, от которого его подданные были защищены, льётся через проломленную стену. Королевству угрожает затопление:

"«Через эту дыру дождь лился, и он будет литься **до конца мира** [жирный шрифт добавлен автором книги], если дыра не будет зашита!»

Граф Пугало посмотрел на него в изумлении.

«За всю мою жизнь я никогда не видел такого мудрого портного», – сказал он»".

Нитечка приказывает горожанам принести "все лестницы в городе", "связать их вместе" и "прислонить их к небу". Он поднимается по лестнице с сотней иголок, в одну из которых продета нитка:

"Граф Пугало оставался внизу и разматывал катушку, на которой было сто миль ниток.

Когда Нитечка добрался до самого верха, он увидел, что в небе была огромная дыра – дыра, такая же большая, как город. Вырванный кусок неба свисал вниз, и через эту дыру лилась вода".

Этот повествовательный отрывок особенно интересен, так как очевидно, что вода как-то поступает "из-за" неба. Небо, вообще, используется в мифологии как символ "мужественного" (по крайней мере, дневное небо), и имеется склонность уподоблять его предметам той же самой естественной категории, что и "король". По-видимому, повреждение **общего устройства** "мужественного" неба, вызванное смертью определённого короля, представляет собой пролом, через который может проливаться **докосмогоническое вещество** (в виде воды). "Смерть короля" и "пролом в небе" равносильны по смыслу смерти Апсу в "Энума элиш" – той смерти, которая предвещала повторное появление Тиамат. В этой сказке, однако, Нитечка восстанавливает "устройство неба" (действие равнозначное возрождению Осириса), вместо того чтобы непосредственно бороться с "драконом хаоса":

"Поэтому он приступил к работе и зашивал, и зашивал два дня. Его пальцы одеревенели, и он очень устал, но не прекращал работы. Когда он кончил пришивать, он выгладил небо утюгом и затем, изнурённый, сошёл вниз по лестницам.

Солнце снова засияло над Пацановом. Граф Пугало чуть не сошёл с ума от радости, как и все другие жители города. Принцесса вытерла свои глаза, которые она едва не выплакала, и, бросившись Нитечке на шею, нежно его поцеловала".

"Творческий союз" героя с "благотворной стороной неизвестного", очевидно, приближается.

"Нитечка был очень счастлив. Он посмотрел вокруг, а там уже стояли бургомистр и городские советники, которые принесли ему золотой скипетр и великолепную корону и кричали:

«Да здравствует король Нитечка! Да здравствует Нитечка! Да здравствует Нитечка! И пусть он будет мужем принцессы и счастливо царствует!»

Так весёлый портняжка счастливо царствовал долгое время, и в его королевстве никогда не выпадал дождь".

Эта сказка представляет собой конкретный пример истории более общего типа – то есть истории о "боге, который связывает".³⁴⁵ Богом, который связывает, может быть Мардук, окружающий Тиамат сетью, данной ему его отцом Ану. В этом случае связывание, очевидно, благотворно (оно даже "порождает мир"). Связывание может также быть представлено как исключительное право повелителя, который связывает своих "врагов" – то есть тех, кто угрожает устойчивости его царства, – верёвками, канатами и законным осуждением. Короче говоря, связывание приносит порядок, но избыток порядка тоже может быть опасным. Заключительная строка "Весёлого портного" сообщает нам, что дождь никогда не выпадает в новоустановленном королевстве. В то время как это могло бы показаться звучащим как счастливый конец тем, кто недавно был затоплен водой, это не настолько удачная хитрость, если она вызывает засуху. Чтобы показать это, мы можем обратиться к другому литературному примеру.

В знаменитом детском романе "Складка во времени" в маленького мальчика, наделённого волшебными силами, вселяется могущественный патриархальный "внеземной" дух. Это происходит в то время, когда мальчик пытается спасти своего отца от "тёмных сил", угрожающих вселенной. Будучи одержимым, этот мальчик – которого зовут Чарльз Уоллес – замечает своей сестре:

"Ты должна расслабиться и перестать бороться. Расслабиться и быть счастливой. О Мег, если бы ты только расслабилась, ты бы поняла, что все наши неприятности кончились. Ты не понимаешь, в какое чудесное место мы пришли. Понимаешь, на этой планете всё находится в совершенном порядке, потому что все научились расслабляться, уступать, подчиняться. Всё, что ты должна сделать, – это спокойно и твёрдо взглянуть здесь в глаза нашего доброго друга, ибо он наш друг, дорогая сестра, и он примет тебя, как он принял меня".³⁴⁶

Каждый, кто пребывает в состоянии, где господствует этот "добрый друг", ведёт себя запрограммированно и единообразно. Всякого, кто ведёт себя иначе, с большими мучениями "приспосабливают" или уничтожают. Для беспорядков любого вида нет места:

"Станный, однозвучный голос Чарльза Уоллеса скрежетал в её ушах. «Мег, должен же у тебя быть хоть **какой-то** ум. Почему, ты думаешь, у нас на родине были войны? Почему, ты думаешь, люди приходят в замешательство и несчастны? Потому что они все живут своей собственной, отдельной, личной жизнью. Я уже пытался, как можно проще, объяснить тебе, что с личностями тут покончено... Здесь есть ОДИН ум. Это ОН. И вот почему все так счастливы и разумны...»

«Никто здесь не страдает, – произносил нараспев Чарльз. – Никто никогда не бывает несчастлив»".³⁴⁷

Необходимое ограничение значений, типичное для данной культуры, является следствием налагаемого этой культурой единообразия поведения по отношению к предметам и ситуациям. Нажим в сторону такого единообразия есть главная отличительная черта "патриархального" государства (так как каждый, кто действует тем же самым, зависящим от обстановки, образом, уже сделан удобно "предсказуемым"). Однако, по мере того как давление в сторону единообразия

поведения возрастает, это государство становится всё более и более тираническим. Когда побуждение к подобию поведения делается крайним, всякий делается "тем же самым" лицом – то есть подражание прошлому всеохватывающим. Всякая изменчивость в поведении и умозрительном представлении таким образом вытесняется из государства. Тогда государство становится воистину **неподвижным**: оцепеневшим или лишённым жизненной силы – на мифологическом языке превращённым в камень. Отсутствие изменчивости в действии и в образовании представлений делает общество и людей, которые его составляют, всё более и более уязвимыми по отношению к резкому изменению "окружающей среды" (то есть к произвольному наплыву "хаотических" изменений). Постоянно сопротивляясь даже небольшим изменениям, можно вызвать полное крушение общества. Именно таким образом боги делаются недовольны своим созданием, человеком – и его своевольной глупостью – и смывают мир. Необходимость взаимного обмена сведениями между "известным" и "неизвестным" означает, что **государство рискует погибнуть, требуя избытка единообразия**. Этой опасности обычно придаётся повествовательное представление в качестве "старения и хилости старого короля" или "смертельной болезни короля, вызванной отсутствием «воды» (то есть «докосмогонического хаоса» с его положительной стороны)". Такие "представления" хорошо поясняет волшебная сказка братьев Гримм "Живая вода"³⁴⁸.

"Жил когда-то король; был он больной, и никто уже не верил, что он сможет когда-нибудь выздороветь. А было у короля три сына; вот запечалились они из-за этого, сошли вниз в королевский сад и заплакали. Но повстречался им в саду какой-то старик, стал про их горе расспрашивать. Они ему говорят, что отец у них сильно болен, наверно, помрёт, а помочь ему никак невозможно.

А старик говорит: «Я знаю ещё одно средство – это живая вода; если кто той воды напьётся, то снова выздоровеет; но воду эту найти нелегко»".

Два старших сына, один за другим, решают разыскать живую воду, получив неохотное позволение их отца. В начале своего путешествия они оба встречают карлика и говорят с ним грубо. Карлик проклинает их за гордость, и каждый из них кончает тем, что крепко застревает в узком горном ущелье.

Затем отправляется на поиски "самый младший сын". Он скромнее, и у него "правильное отношение" к тому, чего он не понимает. Поэтому, когда он встречает карлика – который играет ту же самую роль, что и цыганка в "Весёлом портном", – он получает от того некоторые ценные сведения:

"Оттого, что ты держишь себя как следует и не чванишься, как твои лицемерные братья, я укажу тебе дорогу, как к живой воде добраться. Эта вода течёт из родника во дворе заколдованного замка.³⁴⁹ Но ты туда пробраться не сможешь, если я не дам тебе железного прутика и двух маленьких коврижек хлеба. Ты ударь тем прутиком трижды в железные ворота замка, и они тогда распахнутся; лежат на дворе два льва, они разинут пасть, но если ты бросишь каждому из них по коврижке, они будут молчать; но ты не мешкай, набери себе живой воды, пока не пробьёт полночь, а не то ворота закроются и ты останешься там взаперти".

Эта история имеет смысл: если ты не знаешь, куда ты идёшь, не стоит предполагать, что ты знаешь, как туда попасть. Этот смысл является конкретным примером более общей морали. Высокомерные ("исполненные гордости") люди предполагают, что знают, кто и что является важным. Это делает их слишком высокомерными, чтобы, когда они попадают в беду, заметить это; слишком высокомерными, чтобы, в особенности, уделять внимание тем вещам или людям, которых они обычно презирают. "Высыхание окружающей среды" или "старение короля" являются следствиями слишком жёсткой – слишком высокомерной – иерархии ценностей. ("Что или кого можно благоразумно не замечать" настолько же является частью такой иерархии, насколько и "кому или чему надо уделять внимание". Когда приходит беда, обычная иерархия ценностей должна быть пересмотрена. Это значит, что ранее смиренные и презираемые могут внезапно оказаться хранящими тайну продолжения жизни³⁵⁰, а те, кто отказываются признать свою ошибку, как "старшие братья", неизбежно столкнутся с бедой.) История продолжается:

"Поблагодарил его принц, взял прутик и коврижки и двинулся с тем в путь-дорогу. Когда он прибыл туда, всё было, как сказал ему карлик. Ворота распахнулись после третьего удара прутиком, и когда он задобрил львов хлебом, он проник в замок и вошёл в большой прекрасный зал; а сидели в том зале зачарованные принцы. Поснимал он у них с пальцев кольца; и лежали тут меч и хлеб, и он взял их с собой".

Очарованных принцев можно было бы рассматривать как равнозначных, в некотором существенном смысле, Осирису – герою-предку, чьи возможности лежали неиспользованными в преисподней после его расчленения Сетом. Очарованные принцы – это силы предков с волшебными свойствами (как "мёртвые короли" в сне о кладбище, который мы обсуждали ранее). Путешествие юного принца в "заколдованный замок" равносильно добровольному схождению в опасное царство мёртвых. Его "неожиданная встреча с мёртвыми предками" даёт ему доступ к какой-то части их силы (под видом их орудий и их принадлежностей). Юный принц также неожиданно встречается в преисподней с "благодарной стороной неизвестного" – как вполне можно было бы ожидать – в её типичном воплощении:

"Потом зашёл он в комнату, и стояла там прекрасная девушка. Увидев его, она обрадовалась, поцеловала его и сказала, что он её освободил от злых чар и может теперь получить всё её королевство; а если он вернётся через год, то они отпразднуют с ним свадьбу. Потом она сказала ему, где родник с живой водой, но что должен он торопиться и набрать из него воды, прежде чем пробьёт полночь.

Пошёл принц дальше, зашёл, наконец, в комнату, где стояла красивая, только что постеленная кровать; а был он утомлён, и захотелось ему немного отдохнуть. Он лёг и уснул, а когда проснулся, пробило без четверти двенадцать. Он вскочил в испуге, побежал к роднику, зачерпнул воды в кубок, что стоял там, и поспешил скорее уйти. Только он вышел за ворота, как раз пробило двенадцать, и ворота захлопнулись так сильно, что оторвали ему кусок пятки.

Но ему было радостно и весело, что достал он живой воды, и он отправился домой. Пришлось ему проходить опять мимо карлика. Увидел карлик меч и хлеб и говорит: «Ты добыл для себя великое благо: этим мечом ты можешь разбить целое войско, а этого хлеба тебе будет невпоед»".

Меч и хлеб – это конкретные формы, принятые "возможностью", освобождённой во время героического путешествия принца в ужасное неизвестное. Меч является орудием, которое может найти применение в борьбе с силами зла. Хлеб волшебен в том же самом смысле, как и хлебы и рыбы в истории о том, как Христос чудесным образом накормил голодных:

"В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им:

Жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть;

Если не евшими отпущу их в дома их, ослабевут в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека.

Ученики Его отвечали Ему: откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?

И спросил их: сколько у вас хлебов? Они сказали: семь.

Тогда велел народу возлечь на землю; и взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил их и дал ученикам Своим, чтобы они раздали; и они раздали народу.

Было у них и немного рыбок: благословив, Он велел раздать и их.

И ели и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин.

Евших же было около четырёх тысяч. И отпустил их.

И тотчас вошед в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далмануфские.

Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его.

И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение.

И оставив их, опять вошёл в лодку и отправился на ту сторону.

При сём ученики Его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А Он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой. И рассуждая между собою, говорили: это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? ещё ли не понимаете и не разумеете? ещё ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не помните? Когда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят Ему: двенадцать. А когда семь для четырёх тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: семь. И сказал им: как же не разумеете?" (Марк, 8 : 1 – 21).

Герой достаёт "пищу, которая никогда не кончается".

Вернёмся к нашей истории. Карлик рассказал принцу, где можно найти его братьев, предупредив его, что у них злое сердце и что их следовало бы предоставить их судьбе. Юный принц, тем не менее, разыскивает их, спасает их и рассказывает им всё, что произошло.

"Потом поехали они вместе и попали в такую страну, где были война и голод, и король той страны думал, что ему придётся пропадать, так была велика опасность.

Тогда пришёл к тому королю принц, дал ему хлеб, и король накормил этим хлебом всё своё королевство; дал принц ему меч – он разгромил им войско врагов и мог с той поры жить в мире и спокойствии. Взял принц назад свой хлеб и меч, и трое братьев двинулись дальше.

Но пришлось им побывать ещё в двух странах, где царили война и голод; и принц давал королям каждый раз свой хлеб и меч – и так он спас три страны".

История отклоняется таким образом от темы, чтобы помочь показать общую полезность того, что было унесено из "зачарованного королевства, где живёт принцесса". Сокровища, унесённые из этого королевства, обладают могучей, защитной, оживляющей силой независимо от того, где они применяются.

Братья продолжают свой путь домой, но двое старших братьев по дороге обманывают младшего, подменяя настоящую живую воду горькой морской водой ("надменные старшие братья" заменяют "благотворную сторону Великой Матери" её "разрушительным двойником"). Младший сын, когда он прибывает домой, не зная об этом, даёт эту ядовитую воду своему отцу, от чего тот заболевает сильнее. Затем старшие братья исцеляют отравленного короля украденной ими подлинной живой водой, скрывая свои злые души под видимостью благожелательности, и устраивают дело так, что их несчастного брата король приказывает изгнать и убить. Егерь, которому поручено это убийство, не может, однако, заставить себя убить юного принца и даёт ему убежать. Затем события начинают принимать иной оборот. Предшествующие великодушные подвиги юного принца становятся известными старому королю, и он раскаивается:

"Спустя некоторое время прибыло к старому королю для его младшего сына три повозки золота и драгоценных камней; а были он присланы тремя королями, что разбили своих врагов мечом принца и накормили свои королевства его хлебом.

Подумал старый король: «Неужто мой сын ни в чём не повинен?» – и сказал своим слугам: «Если бы сын мой остался в живых! Как я жалею, что приказал его убить».

«Он ещё жив, – сказал егерь. – Я не мог осилить своего сердца и выполнить ваше приказание», и он рассказал королю всё, как было.

Словно камень свалился с сердца короля, и он приказал оповестить по всем королевствам, что сын его может вернуться назад и будет им ласково принят".

Тем временем принцесса готовится к возвращению принца. Она

"... велела проложить перед своим замком дорогу, да чтоб была она вся золотая, блестящая, и сказала своим людям, что кто по дороге той будет скакать прямо к ней, тот и есть её настоящий

жених, и его должны пропустить, а кто будет ехать окольной тропой, тот ненастоящий жених, и чтоб они его не впускали.

Вот подошло время, и старший брат подумал, что надо скорее спешить к королевне и выдать себя за её избавителя, и тогда он возьмёт её себе в жёны и получит ещё королевство в придачу. Он выехал и, подъезжая к замку, увидел прекрасную золотую дорогу и подумал: «Как жаль скакать по такой дороге», и он свернул с неё и поехал правой стороной, по обочине. Он подъехал к воротам, но люди сказали ему, что он ненастоящий жених и пусть, мол, уезжает себе отсюда.

Вскоре после того собрался в путь-дорогу второй принц; он подъехал к золотой дороге, и только ступил конь на неё копытом, принц подумал: «Жалко такую дорогу сбивать» и свернул, поехал левой стороной, по обочине. Подъехал он к воротам, но люди сказали, что он ненастоящий жених, пускай, мол, себе уезжает отсюда».

Двое старших принцев слишком связаны их традиционными мыслями о власти, богатстве и славе, чтобы сосредоточиться на том, что подлинно важно. Из-за их "великого уважения" к золоту, из которого построена дорога, они упускают великую возможность. Их всеохватывающее восхищение материальными благами ослепляет их в отношении возможности установления связи с источником всего хорошего в облике принцессы (играющей "роль", сходную с ролью Мудрости у Соломона). Самый младший сын не делает такой ошибки:

"Как раз исполнился год, и собрался выехать из лесу к своей возлюбленной меньшей брат, чтоб вместе с ней развеять своё горе. Собрался он в путь-дорогу, и всё думал только про королевну, и так хотелось ему быть поскорее с нею, что не заметил он вовсе той золотой дороги. Поскакал его конь прямо посередине; вот он подъехал к воротам, распахнулись ворота, и радостно встретила его королевна и сказала, что он – её избавитель и всему королевству хозяин; и отпраздновали свадьбу в великом веселье и радости. Когда свадебный пир закончился, она сказала ему, что его отец приглашает его к себе и прощает. Он поехал к отцу и рассказал ему обо всём – как обманули его братья и как пришлось ему при этом молчать. Старый король хотел их казнить, но они сели на корабль, и уплыли за море, и с той поры так назад и не вернулись".

Старый король умирает от отсутствия воды. У него есть два старших сына, которые могли бы его спасти, но они ограничены, традиционны, материалистичны, своекорыстны и косны. У них нет надлежащего "духа" для поиска. Самый младший сын – настоящий герой – обращает внимание на то, на что не обращают внимания "здравомыслящие", совершает путешествие в неизвестное и приносит оттуда то, что нужно. Именно путешествие героя оживляет короля. Осирис будет томиться в преисподней – невзирая на прошлое величие – без Гора.

Именно возникновение героической позиции, мифологически представленной человеком как равным в божественности неизвестному Природе, создало предпосылку для порождения конкретных приспособлений поведения к миру опыта. Возникновение героизма означало построение культуры – исторически определённого процедурного знания и поддающегося передаче его описания. Построение культуры – это создание мифического Великого и Ужасного Отца, тирана и мудрого царя, как посредника между уязвимой личностью и подавляющим естественным миром. Этот Отец есть **последствие** сознательного героического действия – подытоженное во времени и объединённое следствие творческого исследовательского поведения, постоянно порождаемого и передаваемого от личности к личности перед лицом вечно угрожающего и обещающего неизвестного, – равно как и **прародитель** тех, кто предпринимает такое действие. Этот парадоксальный ребёнок-и-отец-героя, **в первую очередь**, является "личностью" и, только **во вторую очередь**, – её отвлечённым представлением первого и второго порядка (и наиболее несомненно не является накопленным описанием "объективного" мира). То, что это так, можно видеть даже сегодня, когда представители тоталитарных культур, таких, как современная Северная Корея, впадают в настоящую истерию вследствие смерти их вождя, который является воплощением порядка и определённого смысла. И такие склонности не ограничены теми, над кем господствует тоталитаризм. Фрай утверждает:

"Назначение короля – это, главным образом, представлять для своих подданных единство их общества в виде личности. Даже Елизавета Вторая может привлечь толпы, где бы она ни появилась, не потому, что в её внешности есть что-нибудь замечательное, а потому, что она представляет в драматической форме иносказание об обществе как едином «теле». У других обществ есть другие деятели, но, по-видимому, есть особое символическое красноречие, даже пафос, в отношении **законного** монарха, чьё положение было достигнуто им в силу чистой случайности рождения и у которого нет исполнительной власти. В то же самое время большинство обществ покончило с монархическими деятелями: «наделённые божьим даром» вожди, диктаторы и тому подобные почти неизменно являются зловещими и реакционными; таинственная сторона королевского достоинства, которая в пьесах Шекспира принимается за нечто само собой разумеющееся, для нас теперь мало что значит; а богословы, говорящие о «верховной власти Бога», подвергаются опасности оттолкнуть своих читателей, пытаясь уподобить религиозную жизнь иносказаниям варварской и устарелой формы общественной организации. Это естественно, что наши средства передачи новостей должны использовать царственные иносказания так непрерывно, рассказывая нам о том, что делают Франция, или Япония, или Мексика, как будто они были бы наделёнными личностью существами. Но тот же самый оборот речи, к моему великому раздражению, использовался во дни моей юности, чтобы способствовать росту престижа диктаторов: «Гитлер строит дороги через Германию», «Муссолини осушает болота в Италии» и тому подобное. Те, кто использовал этот оборот, часто были людьми демократических убеждений, которые просто не могли прекратить использовать такое царственное иносказание. Кажется, будто монарх может быть или наиболее привлекательным из образов, или самым опасным из кумиров".³⁵¹

Великий Отец является плодом истории – или самой историей, поскольку она разыгрывается и самопроизвольно вспоминается, – внутренне подтверждаемой примерами в ходе общения и внедрённой в общественные взаимодействия и особые приписывания предметам значений, которые составляют данную культуру. Это обусловленное культурой устройство – эта тормозящая сеть, этот **представитель общественного целого внутри души**, – придаёт явлениям опыта определённое значение. Это определённое значение есть ограниченное значение – уменьшенное от общего значения неизвестного, **самого по себе**, до частного, – а не уместность или важность, добавленные к безразличному фону. Неизвестное проявляется внутренне осмысленным образом – образом, состоящим из угрозы и обещания. Определённое значение предметов, отличающихся от неизвестного, состоит из ограничений этого общего значения (часто из ограничений до нуля – до неуместности). Такие ограничения, однако, являются чисто условными и остаются неприкосновенными, только пока сама определённая культурой модель значения поддерживает свою полезность (включая правдоподобие). Слова "пока модель значения поддерживает свою полезность" означают пока культура выдвигает разумное описание настоящего, конечную цель, в которую можно верить, и осуществимый способ преобразования первого в последнюю (осуществимый для личности и при поддержании и расширении самой культуры).

Рисунок 41 "Порядок, Великий Отец, как сын Уробора"³⁵²

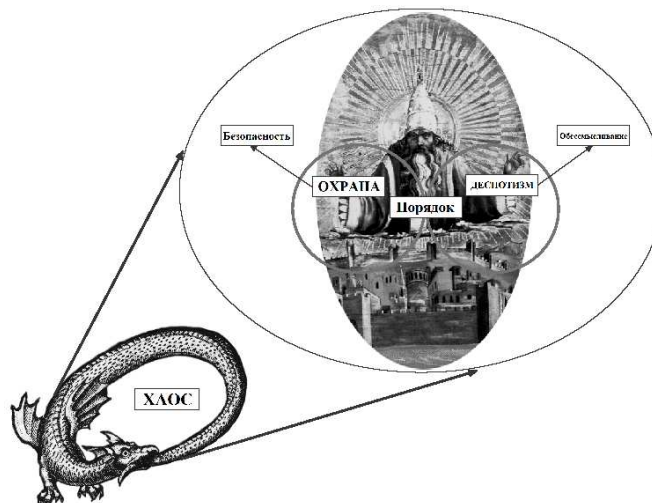


Рисунок 41

схематически изображает Великого Отца как "потомка" "докосмогонического хаоса"; как воплощение известного, предсказуемого, хорошо знакомого; как безопасность и деспотизм одновременно. Великий Отец – это патриархальное общество, традиция, пышность и торжественность, военно-промышленный комплекс и суперэго: требующие, жёсткие, несправедливые, опасные и необходимые. Он двойственен, в точности тем же образом, что и Великая Мать, его "жена". В облике настоящего отца он является защитой для детей, которые слишком незрелы и уязвимы, чтобы иметь дело с неизвестным. Выражаясь более отвлечённо, он есть образ поведения, который представляет отец и который становится "внутренним" во время взросления. Великий Отец использует бесконечные возможности духа, которые представляет младенец, и выковывает из них нечто ограниченное, но действительное. Он – воплощённый обычай, управляющий всеми общественными взаимодействиями.

Рисунок 42 "Исследованная область как благонравный Отец-защитник"³⁵³ представляет Великого Отца как мудрого Царя, как воплощение безопасности.



Рисунок 42

Мудрый Царь поддерживает устойчивость не потому, что он боится неизвестного, а потому, что ничто новое не может быть построено без прочного основания. Он – это приспособительные стереотипы, разработанные героями прошлого, чьё принятие теми, кто живёт в настоящем допускает управление и безопасность. Он – это дом с дверями; строение, которое укрывает, но не душит; учитель, который учит и наказывает, но не промывает мозги и не сокрушает. Он представляет собой традицию, благоприятствующую сотрудничеству между людьми, чья общая культура облегчает доверие между ними; между людьми, чьё непосредственное знакомство друг с другом прогоняет страх, обычно вызываемый "другими". Великий Отец как Мудрый Царь сдерживает Ужасную Мать, удерживает чудовищ хаоса, запертых в его подземной темнице или изгнанных в нижние области его царства. Он является личностью умерших героев (то есть образцами действия и иерархиями ценностей, установленными посредством исследования в прошлом), устроенной, так сказать, в соответствии с принципом "уважения к внутренней ценности всего живого". Это делает его Царём, который принимает советы от своих подданных – который готов войти в творческий обмен с теми, над кем он законно "господствует", – и извлечь пользу из этого "совета от недостойных".

"Знание" о необходимости такого взаимодействия между "сильными и слабыми" проникло в явное сознание Запада не в последнюю очередь через посредство деятельности древнееврейских пророков. Философ религии Хастон Смит извлекает два примера из Библии, чтобы пояснить это:

‘Один из них – это история Навуфея, который, потому что он отказался передать свой семейный виноградник царю Ахаву, был ложно обвинён в богохульстве и деятельности против царя, а затем побит камнями, так как богохульство было преступлением, наказуемым смертной

казнь, а его собственность после этого перешла к царю. Когда новость об этой пародии на справедливость дошла до пророка Илии, к нему пришло слово Божие, гласящее:

"Встань, пойдя навстречу Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии; вот, он теперь в винограднике Навуфея, куда пришёл, чтобы взять его во владение;

И скажи ему: «Так говорит Господь: ты убил, и ещё вступаешь в наследство?» и скажи ему: «Так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь»". (3-я Царств, 21 : 18 – 19).

Этот рассказ обладает революционным значением для человеческой истории, ибо это рассказ о том, как некто без официального положения принял сторону человека, с которым поступили несправедливо, и обвинил царя в лицо в несправедливости. Напрасно искать соответствий этому в летописях. Илия не был жрецом. У него не было официальной власти для ужасного приговора, который он произнёс. Обычный образ действий в те дни требовал, чтобы царские телохранители сразили его на месте. Но то обстоятельство, что он говорил не от своего имени, было настолько очевидно, что царь принял заявление Илии как справедливое.

Та же самая поразительная последовательность событий повторилась в случае царя Давида и Вирсавии. С высоты своей крыши Давид мельком увидел купающуюся Вирсавию и захотел её. Однако к этому имелось препятствие: она была замужем. Для членов царской семьи в те дни это было ничтожным делом: Давид пустил в ход всё, чтобы избавиться от её мужа, Урии. Ему было приказано отправиться на передовую, неся с собой предписания, чтобы его поставили в гуще сражения и оставили там, чтобы его убили. Всё прошло, как оно было задумано. На самом деле, всё казалось делом обычным, пока не стало известным пророку Натану. Тотчас ощутив, что то, что сделал Давид, "было зло в очах Господа", он пошёл прямо к царю, который имел полную власть над его жизнью, и сказал ему:

"Так говорит Господь, Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем, и Я избавил тебя от руки Саула,

И дал тебе дом господина твоего и жён господина твоего на лоно твоё, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если этого для тебя мало, прибавил бы тебе ещё больше.

Зачем же ты пренебрёг слово Господа, сделав зло пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечем; жену его взял себе в жену, а его ты убил мечем Аммонитян.

Итак не отступит меч от дома твоего во веки, за то, что ты пренебрёг Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтобы она была тебе женою.

Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жён твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с жёнами твоими пред этим солнцем.

Ты сделал тайно; а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем.

И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не умрёшь.

Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрёт родившийся у тебя сын" (2-я Царств, 12 : 7 – 14).

Удивительное в каждом из этих сообщений состоит не в том, что цари делают, ибо они просто пользовались повсеместно принятыми правами царских особ своего времени. Революционным и беспримерным был образ, каким пророки оспаривали их действия.³⁵⁴

Смит заключает:

"Принцип Пророков в самом общем виде может быть выражен следующим образом. Необходимой предпосылкой политической устойчивости является общественная справедливость, ибо в природе вещей, чтобы несправедливость не продолжалась вечно. Утверждаемый с богословской точки зрения этот принцип гласит: у Бога высокие требования. Божество не будет вечно мириться с эксплуатацией, развратом и посредственностью".³⁵⁵

Первоначально "невывыказываемое" требование "уважения к более слабому" создаёт предпосылку для возникновения отвлечённых и выразимых в словах принципов общественной справедливости. Общества, где отсутствует такое требование, – или которые со временем приходят к тому, чтобы забыть о его необходимости, – подвергают себя опасности "мщения Божия":

"Так говорит Господь: за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережёл кости царя Едомского в известь.

И пошлю огонь на Моава, – и пожрёт чертоги Кериофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом, при звуке трубы.

Истреблю судью из среды его и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь.

Так говорит Господь: за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень, и постановлений Его не сохранили, и идола их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути.

И пошлю огонь на Иуду, – и пожрёт чертоги Иерусалима.

Так говорит Господь: за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро, и бедного – за пару сандалий.

Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают; даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя Моё.

На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвинённых, пьют в доме богов своих.

А Я истребил пред лицом их Аморрея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок как дуб; Я истребил плод его вверху и корни его внизу.

Вас же Я вывел из земли Египетской и водил вас в пустыне сорок лет, чтобы вам наследовать землю Аморрейскую.

Из сыновей ваших Я избирал в пророки и из юношей – в назореи; не так ли это, сыны Израиля? говорит Господь.

А вы назореев поили вином и пророкам приказывали, говоря: «Не пророчествуйте».

Вот, Я придавлю вас, как давит колесница, нагружённая снопами, –

И у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасёт своей жизни,

Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасёт своей жизни.

И самый отважный из храбрых убежит нагой в тот день, говорит Господь".

(Амос, 2 : 1 – 16).

Такие общества являются **тираническими**. Тиранические общества нарушают те скрытые принципы, на которых основано само общество. Это делает их самоуничтожающими.³⁵⁶

Рисунок 43 "Исследованная область как Отец-деспот" представляет силы традиции как "Царя, пожирающего своего сына".



Рисунок 43

Охранительная тенденция любой культуры, стремящейся себя поддерживать, легко может превратиться в оглушающее бремя самовластия. Великий Отец как деспот уничтожает всё, чем он некогда был, и подрывает всё, от чего он ещё зависит. Деспот есть сила всего, что уже было, – включая всё, что некогда было хорошо, – противопоставленная всему, что могло бы быть. Это та сторона Великого Отца, которая побуждает подростков к мятежу; которая полагает начало идеологическим повествованиям, приписывающим обществу всё, что вызывает зло в человеке. Именно Отец-деспот поедает своих собственных детей и заточает девственных принцесс в недоступном месте. Отец-деспот правит неограниченно, в то время как его царство сохнет или делается оцепенелым; его дряхлость и возраст сравнимы только с его высокомерием, непреклонностью и слепотой ко злу. Он является олицетворением самодержавного или тоталитарного государства, чьей "целью" является сведение всех, кто живёт в настоящее время, к проявлениям одной умершей личности прошлого. Когда все являются тем же самым, всё предсказуемо; все явления обладают строго определённым значением, а всё неизвестное (и вызывающее страх) скрыто от взгляда. К сожалению, каждое непредсказуемое и вызывающее страх явление, конечно, является к тому же поучительным, а новое знание жизненно важно для продолжающегося успешного приспособления.

Великий Отец в его двойственном облике – это запрет, преграда, поставленная против вторжения опасно непредсказуемого, шлюзные ворота, удерживающие океан позади них. Он защита для дураков, препятствие для гения, а также необходимая предпосылка гения и наказание для дураков. Его двойственность неизбежна и должна быть признана, ибо такое признание служит действенным противоядием от простодушной, побуждаемой идеологией утопической мысли. Всё, что защищает и поощряет (и поэтому предсказуемо и могущественно), неизбежно обладает способностью душить и угнетать (и может непредсказуемо проявить эту способность в любой данной обстановке). Никакая неподвижная политическая утопия поэтому невозможна, а царство Божие остаётся духовным, а не от мира сего. Признание существенно двойственной природы предсказуемого – сводящего на нет, но надёжного – означает отбрасывание упрощенческих теорий, которые приписывают существование человеческого страдания и зла исключительно государству или предполагают, что государство есть всё, что есть хорошего, и что человек должен существовать только как его подчинённый или раб. Царь – это стена. Стены представляют преграду внезапному наплыву неизвестного и препятствуют продвижению вперёд. Одно их назначение предполагает другое (хотя любое из них, конечно, может начать господствовать).

Рисунок 44 "«Небесная родословная» Отца-деспота и Отца-защитника" изображает отношения между этими двумя различными сторонами известного, их источник в объединённом, но двойственном известном и их первоначальное "происхождение" от "дракона хаоса".

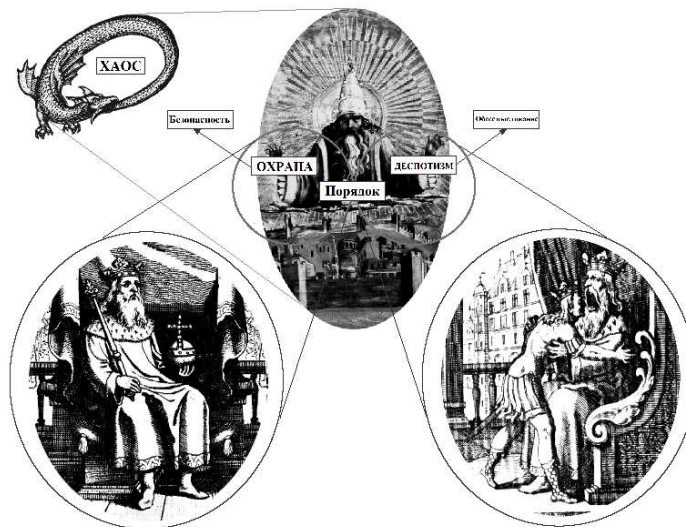


Рисунок 44

Великий Отец – это порядок, противопоставленный хаосу; прошлое, противопоставленное настоящему; старое, противопоставленное юному. Он родовой дух, чья сила простирается и за могилой и которого следует сдерживать могущественными и смиренными обрядами. Он есть единая личность, состоящая из последствий вечной борьбы между всеми великими героями прошлого, и он возвышается, подобно богу, над развивающимся человеком в облике его действительного отца. Великий Отец – это старый император, сейчас опасно устарелый: могучий воин в дни своей юности, сейчас заколдованный враждебной силой. Он вечное препятствие для девственной невесты; отец-деспот, который желает твёрдо удерживать свою плодородную дочь под своей властью. Он самодержец, который правит землёй, которую опустошает засуха; правитель замка, где всё было доведено до застоя.

Великий Отец является защитой и необходимой помощью росту, но полное отождествление с его личностью и силой в конце концов уничтожает дух. Культура, успех и роль не исчерпывают полностью возможностей личности. Рисунок 45 поэтому изображает **Героя-исследователя** – отпрыска хаоса и порядка – как **Сына Великого Отца**.³⁵⁸

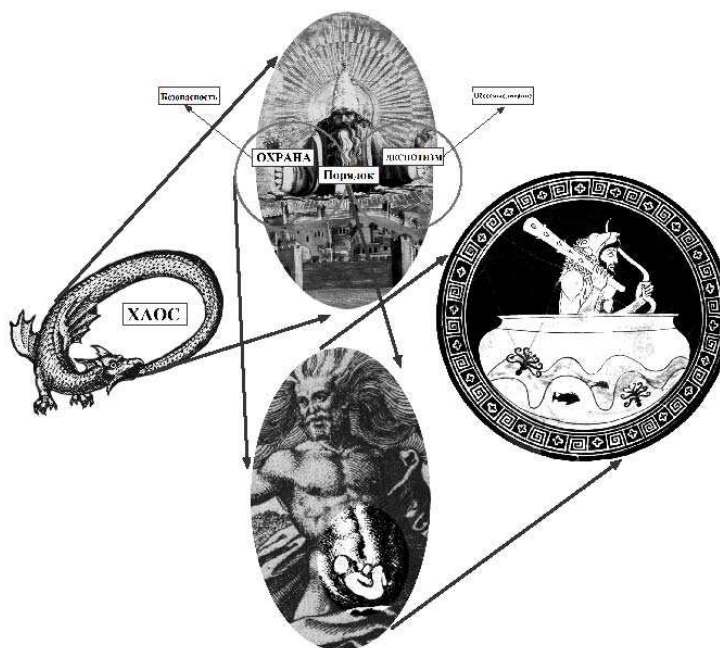


Рисунок 45

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. УЧЕНИЧЕСТВО И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ: ПРИНЯТИЕ ОБЩЕЙ КАРТЫ

Идеологии можно рассматривать как неполные мифы – как неполные истории, чья неотразимая природа является следствием усвоения мифологических представлений. Философия, приписывающая частное зло болезненности общественной силы, представляет собой одну такую частичную историю. Хотя у общества, Великого Отца, есть тираническая сторона, оно также укрывает, защищает, обучает и наказывает развивающуюся личность и налагает необходимые ограничения на её мысли, эмоции и поведение.

Подчинение законной власти могло бы более разумно рассматриваться в свете метафоры ученичества. До развития полной зрелости зависимость детства должна быть заменена членством в группе. Такое членство предоставляет обществу ещё одну личность, чтобы использовать её как "орудие", и предоставляет созревающему, но всё ещё уязвимому человеку необходимую защиту (поддерживаемую группой "личность"). Способность придерживаться принятых в обществе правил, независимо от конкретных подробностей порядка, можно поэтому рассматривать как необходимую переходную ступень в движении от детства к состоянию взрослого.

Подчинение порядку должно поэтому рассматриваться как навык, который может быть развит посредством приверженности строгому ритуалу или погружения внутрь строгой системы верований или иерархии ценностей. Когда такое подчинение порядку уже достигнуто, ограничения предшествующей ступени развития могут быть сняты. Именно таким образом достигается истинная свобода. Именно на этом уровне анализа все подлинно религиозные и культурные традиции и догмы равноценны, независимо от их содержания: все они являются учителями, служение которым может увенчаться развитием умения владеть собой и вытекающей из него способности превзойти традицию и догму.

Принятие этой аналитической точки зрения допускает некоторый нравственный релятивизм в сочетании с полнейшей нравственностью высшего порядка. Подробности системы поддержания порядка неважны. Тем обстоятельством, что приверженность такой системе необходима, однако, нельзя пренебрегать.

Ученичество является необходимым, но им не следует пленяться. Догматические системы являются грубыми и неразумными учителями. Системы верований и нравственного действия – и те, кто отождествляется с ними, – прежде всего озабочены самоподдержанием и сохранением предсказуемости и порядка. Неизбежно охранительные тенденции больших систем делают их тираническими и более чем готовыми сокрушить дух тех, кому они "служат". Ученичество – это, тем не менее, состояние, предшествующее свободе, а всё необходимое и стоящее по-своему опасно.

Мы все хорошо знакомы с историей о благотворной природе, которой угрожают хищные силы испорченной личности и общества машин. Сюжет основателен, действующие лица правдоподобны, но Мать-природа – это к тому же малярийные комары, черви-паразиты, рак и синдром внезапной смерти младенца. История о мирной и упорядоченной традиции, подрываемой неосторожными людьми упадочной нравственности (с вечно скрывающейся на заднем плане угрозой хаоса.), также хорошо знакома, и неотразима, и верна, за исключением того, что силы традиции – какими бы они ни были защитными – слепы и более заботятся о своей собственной устойчивости, чем о благополучии тех, кто им подчиняется.

Мы все, кроме того, слышали историю об отважном первопроходце (и мысленно отождествляли себя с ним) – с плугом в руке, полном решимости вырвать хорошую жизнь и устойчивое положение у непримиримых сил природы, – хотя мы иногда и сознаём, что "непримиримые силы", придающие повествованию такой героический вид, включали теперь уже уничтоженных первых обитателей нашего некогда чуждого пейзажа.

Мы все знаем, в конце концов, историю о благожелательном человеке, искреннем и невинном, которому не дают доступа к питательным силам подлинного и естественного мира и которого портит неразумное осуждение со стороны общества. У этой истории тоже есть свои приверженцы

(не в последнюю очередь потому, что это так успокаивает – верить, что всё "плохое" происходит скорее извне, чем изнутри).

Все эти истории (и их гораздо больше) являются **идеологиями**. Идеологии привлекательны, не в самую последнюю очередь, для современного образованного ума – легковверного, несмотря на свой скептицизм, – в особенности, если те, кто их воплощает или иным образом поддерживает, предоставляют своим слушателям все возможности отождествления с творческими и положительными действующими лицами соответствующей истории и отрицания их связи с отрицательными. Идеологии к тому же могущественны и опасны. Их могущество происходит от их неполноты, но действенно усвоенных мифологических представлений. Их опасность происходит от их привлекательности в сочетании с их неполнотой. Идеологии рассказывают только часть соответствующей истории – и они рассказывают эту часть так, как будто она является полной историей. Это значит, что они не принимают во внимание огромные "пространства" мира. Действовать в мире так, как будто в нём существует только какой-то набор его "составляющих", неосторожно. "Те составляющие, на которые при этом не обращают внимания", вступают, так сказать, в заговор вследствие их "подавления" и неизбежно дают знать о своём существовании каким-либо нежелательным образом.

Знание основ мифологии вполне могло бы составить противоядие от идеологического легковверия. Подлинные мифы способны представлять всю совокупность сталкивающихся сил, действующих в любой данной обстановке. У каждой положительной силы есть свой вездесущий и вечный "противник". Благотворная сторона "естественной окружающей среды" поэтому оценивается в свете её способности по произволу причинять страдания и приносить смерть. Защитная и укрывающая способность общества поэтому понимается в свете его сильной тяги к тирании и устранению необходимого разнообразия. Героическая сторона личности рассматривается в свете вечно таящегося образа её противника: высокомерного, трусливого и жестокого. История, объясняющая все эти "составляющие действительности", в противоположность идеологии, уравновешенна и устойчива: гораздо менее вероятно, что она вызовет взрыв общественной психопатии. Но силы, которые составляют мир как место действия, постоянно борются во взаимном противопоставлении. Как же можно, так сказать, проложить путь между ними, придумать принимающий всё во внимание способ существования, при котором тебя мимоходом не уничтожили бы? Отчёт о развитии отношений между "силами личности, общества и хаоса" помог бы разобраться в их взаимодействии.

Одно время, когда я работал в качестве начинающего врача-психолога, я консультировал одного недоразвитого мужчину тридцати с лишним лет. Он всегда действовал наперекор самому себе, воздвигая преграды на своём пути, а затем спотыкаясь о них. (Это было в буквальном смысле истиной. Он жил у своей матери, после того как его неудачный брак распался. Я предлагал ему начать приводить в порядок свою жизнь, для начала прибирать свою комнату, что, для человека, не приученного к порядку, является более трудным шагом, чем можно было бы случайно предположить. Прodelав примерно половину этой работы, он ставил пылесос в дверях своей спальни. В течение недели он должен был переступить через него, но не убирал его и не заканчивал своей работы. Эту ситуацию можно обоснованно рассматривать как многозначительный пример из его жизни). Этот человек искал помощи, потому что от его распавшегося брака у него был сын, которого он любил (или, по крайней мере, хотел любить). Он стал лечиться, потому что он не хотел, чтобы его ребёнок рос так же плохо, как и он сам. Я пытался запугать его, чтобы он вёл себя как следует, так как я верил (и верю), что страх – это великий и недостаточно используемый побудитель. (Тревога, которая неискоренима, может работать против тебя или за тебя.) Мы потратили долгое время, обрисовывая с большими подробностями последствия его недисциплинированного поведения до этого времени его жизни (никакой успешной карьеры, никаких близких отношений, младенец-сын, брошенный в разбитую семью) и вероятные будущие долговременные последствия (всё время возрастающее отвращение к самому себе, цинизм в отношении к жизни, возросшие жестокость и стремление к мести, безнадежность и отчаяние). Мы обсуждали также необходимость дисциплины – то есть приверженности к связному и трудному нравственному закону – для него и для его сына.

Он, конечно, беспокоился о том, что любая попытка с его стороны формировать поведение своего сына помешает естественному развитию и цветению врождённых возможностей ребёнка.

Используя выражения Юнга, можно было бы сказать, что он был "бессознательным представителем"³⁵⁹, например философии Руссо:

"С какой лёгкостью я, должно быть, доказывал, что человек по природе добр и что только наши установления сделали его дурным!"³⁶⁰

То есть того Руссо, который неоднократно помещал своих собственных детей в приюты для подкидышей, потому что их существование было неудобно для него (и, мы должны предположить, для цветения его внутренней добродетели). В любом случае пламенной надеждой каждого не приученного к порядку человека (даже не приученного к порядку гения) является то, что его современная никчёмность и глупость – вина кого-то другого. Если – в самом лучшем случае – это вина **общества**, то общество можно заставить платить. Эта ловкость рук превращает не приученного к порядку человека в восхитительного мятежника, по крайней мере в его собственных глазах, и позволяет ему стремиться к неоправданной мести в облике революционного героя. Более тошнотворную и своекорыстную пародию на героическое поведение едва ли можно вообразить!

Один раз мой пациент рассказал мне свой сон:

"Мой сын спал в своей кровати внутри какого-то домика. Молния вошла в домик через окно и прыгала вокруг по всему домику. Молния была могуча и прекрасна, но я боялся, что она сожжёт домик".

Толкование снов – это трудное и сомнительное дело, но я верил, что эти образы можно было истолковать с помощью наших обсуждений. Молния представляла возможности, скрытые в ребёнке. Эти возможности были чрезвычайно велики и полезны, как и электричество. Но электричество полезно только тогда, когда оно обуздано. В противном случае оно сжигает дома.

Я не могу много рассказать об исходе этого частного случая, так как моё общение с теми, кто стремился получить помощь психолога, было по необходимости ограничено во времени. По крайней мере, казалось, что моему пациенту очень не нравилось его незрелое поведение, что поразило меня как разумное начало. Кроме того, он понимал (по меньшей мере явно, хотя ещё и не процедурно), что дисциплина может порождать героя, а не просто быть его противником. Пробуждение такого понимания было началом зрелой и здоровой философии жизни с его стороны. Такая философия была обрисована с явными подробностями Фридрихом Ницше, несмотря на его теоретически "антидогматическую" позицию.

Ницше случайно рассматривался как великий враг христианства. Я думаю, однако, что он сыграл полезную роль в истории христианства и создавал это. Когда устройство сообщества стало испорченным – особенно согласно его собственным началам, – дело друга критиковать его. Ницше рассматривается также как пламенный индивидуалист и общественный революционер – как пророк сверхчеловека и окончательный разрушитель традиции. Он был, однако, более изощрён и сложен. Он рассматривал "невыносимую дисциплину" христианской церкви, которую он "презирал", как необходимую и восхитительную предпосылку свободы европейского духа – свободы, которую он считал ещё не полностью осуществлённой:

"Всякая мораль в противоположность *laissez aller* есть своего рода тирания по отношению к «природе», а также и к «разуму» – но это ещё не возражение против неё, ибо декретировать, что всякая тирания и всякое неразумие непозволительны, пришлось бы ведь опять-таки, исходя из какой-нибудь морали. Существенно и бесценно в каждой морали то, что она является долгим гнётом: чтобы понять стоицизм, или Пор-Рояль, или пуританизм, стоит только вспомнить о том гнёте, под влиянием которого до сих пор всякий язык достигал силы и свободы, – о метрическом гнёте, о тирании рифмы и ритма.

Сколько трудов задавали себе поэты и ораторы всех народов! – не исключая и некоторых нынешних прозаиков, в слухе которых живёт непреклонная совесть, – «ради глупости», как говорят остолопы-утилитаристы, воображающие, что изрекают нечто премудрое, – «из покорности законам произвола», как говорят анархисты, мнящие себя поэтами «свободными», даже свободомыслящими. Но удивительно то обстоятельство, что только в силу «тирании таких законов произвола» и развилось всё, что существует или существовало на земле в виде

свободы, тонкости, смелости, танца и уверенности мастера, всё равно – в области ли самого мышления, или правления государством, или произнесения речей и убеждения слушателей, как в искусствах, так и в сфере нравственности; и в самом деле, весьма вероятно, что именно это-то и есть «природа» и «природное», а вовсе **не** *laisser aller*!

Всякий художник знает, как далеко от чувства этого самотёка самое «естественное» его состояние, когда он свободно приводит в порядок, устанавливает, распоряжается, придаёт формы в минуты «вдохновения», – и как строго и тонко повинуетя он именно тогда тысяче законов, которые ускользают от всякой понятийной формулировки именно вследствие своей строгости и точности (даже самое определённое понятие включает в себе, сравнительно с ними, нечто расплывчатое, многообразное, многозначашее).

Существенное, повторяю, «на небесах и на земле», сводится, по-видимому, к тому, чтобы **повиновались** долго и в **одном** направлении; следствием этого всегда является и являлось в конце концов нечто такое, ради чего стоит жить на земле, например добродетель, искусство, музыка, танец, разум, духовность, – нечто просветляющее, утончённое, безумное и божественное. Долгая несвобода ума, гнёт недоверия в области сообщения мыслей, дисциплина, которую налагал на себя мыслитель, заставляя себя мыслить в пределах установленных духовной и светской властью правил или исходя из аристотелевских гипотез, долгое стремление ума истолковывать всё случающееся по христианской схеме и в каждой случайности заново открывать и оправдывать христианского Бога – всё это насильственное, произвольное, суровое, ужасающее, идущее вразрез с разумом оказалось средством, при помощи которого европейскому духу была привита его сила, его необузданное любопытство и тонкая подвижность; прибавим сюда, что при этом также должно было безвозвратно пропасть, задохнуться и погибнуть много силы и ума (ибо здесь, как и везде, «природа» выказывает себя такую, какова она есть, во всём своём расточительном и **равнодушном** великолепии, которое возмущает, но тем не менее благородно).

В течение тысячелетий европейские мыслители только о том и думали, как бы доказать что-нибудь – нынче, напротив, для нас подозрителен всякий мыслитель, который «хочет нечто доказать», – для них всегда уже наперёд предопределённым оказывалось то, что **должно** было явиться результатом их строжайших размышлений, как это, например, было встарь в азиатской астрологии или как это бывает ещё и теперь при безобидном христианско-моральном истолковании ближайших лично пережитых событий: «во славу Божию» и «во спасение души», – эта тирания, этот произвол, эта строгая и грандиозная глупость **воспитала** дух; по-видимому, рабство в более грубом и в более тонком смысле является также необходимым средством для духовной дисциплины и наказания. Взгляните с этой точки зрения на любую мораль, и вы увидите, что её «природа» в том и заключается, чтобы учить ненавидеть *laisser aller*, ненавидеть слишком большую свободу и насаждать в нас потребность в ограниченных горизонтах, в ближайших задачах; она учит **сужению перспективы**, а стало быть, в известном смысле, глупости, как условию жизни и роста.

«Ты должен повиноваться кому бы то ни было и долгое время: **иначе** ты погибнешь и потеряешь последнее уважение к самому себе» – таковым кажется мне моральный императив природы, правда, не категорический, чего хотел от него старый Кант (отсюда и «иначе»), и обращённый не к единицам – какое дело природе до единиц? – а к народам, расам, векам, сословиям, прежде же всего ко всему животному виду «человек», к **человеку**».³⁶¹

В этом состоит **философия ученичества**, полезная для умозрительного представления необходимого отношения между подчинением могущественному исторически созданному общественному установлению и конечным развитием подлинной свободы.

Ребёнок не может жить самостоятельно. Сам по себе он тонет в возможностях. В начале жизни неизвестное вытесняет личную способность к приспособлению. Только передача исторически определённых образцов поведения и, во вторую очередь, их сопутствующих описаний даёт возможность выжить в юности. Эти образцы поведения и иерархии ценностей, которым дети подражают, а затем выучиваются в явном виде, придают надёжное устройство сомнительному существованию. Именно группа, первоначально в облике родителей, стоит между ребёнком и несомненной душевной катастрофой. Подавленность, тревога и физический упадок, которые являются отличительной чертой разлучения с родителями в раннем детстве, есть следствие

воздействия "избытка неизвестного" и "недостатка культурного устройства". В течение долгого времени его зависимости от других людей человеку должна быть обеспечена устойчивая общественная окружающая среда – предсказуемые взаимодействия в обществе, которые отвечают личным запросам побуждения; обеспечение образцами поведения и схемами оценки, способными превратить непредсказуемое и пугающее неизвестное в равноценное, но благотворное неизвестное. Это значит, что преобразование зависимости детства означает принятие ритуального поведения (даже постоянное время принятия пищи и отхода ко сну является ритуалом) и установление нравственности (системы отсчёта) с неизбежно метафизическими основаниями.

Успешный переход от детства к юности означает **отождествление с группой**, а не продолжающуюся зависимость от родителей. Отождествление с группой предоставляет личности другой, обобщённый, отличный от родительского источник защиты от неизвестного и предоставляет группе средства ещё одной души. Группа представляет собой исторически оправданный образ приспособления (особого поведения, описаний поведения и общих описаний). Отождествление личности с этим образом усиливает её – когда она нуждается в том, чтобы отделиться от своих родителей и начать продвижение к зрелости, – и тем усиливает соответствующую группу, поскольку она теперь получает доступ к использованию способностей этой личности. Отождествление личности с этим образом поддерживает её всё ещё созревающую способность стоять на собственных ногах; поддерживает её "решимость" уйти из всеохватывающего и слишком безопасного мира материнской зависимости. Отождествление с группой поэтому приходит, чтобы заменить обращение за помощью к родительской власти как "способ существования перед лицом неизвестного". Оно придаёт устройство общественным отношениям (с собой и другими), определяет значение предметов, представляет желательную цель как идеал и устанавливает приемлемую процедуру (приемлемый способ) "достижения земного рая".

Личное отождествление с группой означает обобществление личности, личное осуществление оценок группы, как выраженных, в основном, в поведении. Групповые ценности представляют собой накопленное историческое суждение об относительной важности отдельных состояний побуждения, вынесенное с должным учётом их силы, выраженной личным действием, произведённым в общественной обстановке. Все общества состоят из личностей, чьи действия являются воплощением творческого прошлого. Это творческое прошлое может быть умоизобразительно представлено как синтез всей создающей культуру исследовательской деятельности общения (включая сам этот синтез).

Миф включает в себя описание процедурного знания. Он представляет собой эпизодическое или семантическое представление накопленной мудрости поведения во всё более и более отвлечённом виде. Введение в юности ранее зависимой личности в мир поведения предков и мифа представляет собой **передачу** культуры – внушение мысли о Великом Отце как исторически определённой личности и представления о таковом – как приспособления к неизвестному, его объяснения и защиты от него как Великой и Ужасной Матери. Это введение достигает своей высшей точки в посвящении, основном ритуале, означающем передачу культуры, – событию, которое разрушает "бессознательную" связь между ребёнком и его родной матерью.

Ребёнок рождается в состоянии жалкой зависимости. Его любящая мать одновременно является наделённой личностью силой и воплощением безличного благодеяния жизни. Она есть "вечная" мифическая Дева-мать, "земная" супруга Бога. Младенец приходит в мир, наделённый способностью отзываться на её питающее его с рождения присутствие, развивать отношения совместной жизни с теми, кто о нём заботится, и становиться всё сильнее и сильнее. Надлежащее возникновение и созревание творческой исследовательской способности – которая является основой зрелой самостоятельности, – по-видимому, зависит от проявления материнской заботы: от любви, уравновешенного поощрения личных способностей и защиты от вреда. Нежное прикосновение и забота привлекают младенца к жизни, расширению своей независимости, проявлению своей личной силы и способностей.³⁶² Отсутствие такой заботы означает неудачу в преуспевании, означает подавленность и внутридушевный ущерб, даже смерть.³⁶³

Взрослеющая личность неизбежно (трагически, героически) выходит за пределы области райской материнской защиты; в ходе своего развития достигает того уровня понимания, при котором тяга к опасности, потребность в жизни превосходят возможности материнского укрытия. Это значит, что перед растущим ребёнком в конце концов предстают задачи – как ладить со сверстниками в состоящих только из сверстников игровых группах; как выбрать себе друга из тьмы

возможных друзей, – которые не могут быть разрешены (на самом деле, могут быть затруднены) вовлечением в дело благожелательного материнского начала. Такие задачи можно было бы рассматривать как неожиданно возникающие последствия самого взросления, возросших возможностей для действия и понимания, неизбежно сопутствующих взрослению. Четырёхлетний ребёнок, начинающий ходить в детский сад, не может использовать привычки и представления трёхлетнего в своём новом общественном окружении. Тринадцатилетний не может действовать как семилетний, становясь подростком. Группа вступает в действие в момент достижения юности и предоставляет "проницаемое" защитное укрытие ребёнку, слишком взрослому для своей матери, но ещё недостаточно взрослому, чтобы жить самому по себе. Повсеместно распространённые ритуалы посвящения – "духовной" смерти и последующего возрождения – ускоряют развитие взрослеющей личности, следуя основному образцу циклического, кругового космогонического мифа. Обусловленные культурой обряды и жизненные процессы, связанные с посвящением, представляют собой полное разрушение детской личности, детской зависимости – первоначально не наделённой самосознанием "райской" устойчивости – ради необходимого ускорения отождествления с группой. Такие обряды обычно более сложны и имеют более значительные последствия для мужчин, чем для женщин. Возможно, это происходит отчасти потому, что развитие мужчин, по-видимому, легче сбить с пути общественно вредным образом, чем развитие женщин (подростки мужского пола более склонны к правонарушениям и агрессивны³⁶⁴), а отчасти потому, что переход женского организма к взрослому состоянию ускоряется природой в виде сравнительно быстрого созревания и естественно резкого начала месячных.

Группа, в которую вводится посвящённый, придерживается сложного переплетения образов поведения, установленных и впоследствии принятых в прошлом в ходе сознательного творческого исследования и общения. Группа есть современное выражение образа поведения, развитого в течение сотен тысяч лет. Этот образ создан из поведений, первоначально установленных творческими героями – людьми, которые были способны и готовы сделать и придумать нечто такое, чего никто не был способен сделать или придумать до того. Объединение этих поведений в устойчивую иерархию и отвлечённое их представление в ходе процесса, начинающегося с подражания и кончающегося семантическим описанием, создаёт поддающуюся описанию процедурную структуру, чьё **установление** резко увеличивает возможности выбора поведения личности и её описательные, предсказательные и изобразительные способности. Это установление, которое является главным образом скрытым и потому невидимым, есть **отождествление с группой**. Отождествление с группой означает придание жизни определённого смысла как противостояния против мучительного незнания и обнажения перед воздействием хаоса.

Множество (особых) обрядов было развито, чтобы ускорить такое отождествление. Такое ускорение часто кажется необходимым, так как движение к юности жизненно важно, но оно вызывает душевное напряжение, так как включает "сознательное" принесение в жертву зависимости детства, которая является обоснованным видом приспособления, но таким, который основан на (неописательных) предположениях, подходящих только для состояния детства. Такие переходные обряды обычно основаны на разыгрывании основной повествовательной структуры – Пути, – представленной ранее. Например, ритуальное посвящение – повсеместная формальная черта донаучной культуры³⁶⁵ – имеет место при наступлении половой зрелости или около этого времени, когда для дальнейшего душевного развития и продолжающейся безопасности племени является решающе важным, чтобы мальчики превзошли свою зависимость от их матерей. Это отделение от матерей часто имеет место в условиях намеренного запугивания и насилия. В общем образе посвящения мужчины, действуя как целое (как **воплощение истории общества**³⁶⁶), отделяют посвящаемых от их матерей, а те оказывают некоторое более или менее театрализованное сопротивление и выказывают какую-то искреннюю скорбь (при виде "смерти" их детей).

Мальчики знают, что их должны представить какой-то чудовищной силе, которая живёт в ночи, в лесу или в пещере, в глубинах неизвестного. Эта сила, способная их пожрать, является таинственным божеством посвящения. Как только их отделят от матерей, мальчики начинают свой ритуал. Этот ритуал обычно включает какую-то смесь искусственно вызванного возвращения личности к более ранней ступени развития – доведения её до состояния "докосмогонического хаоса", существовавшего даже ранее самого раннего детства, – и вызывания непреодолимого страха, сопровождаемого суровыми физическими или духовными лишениями или мучениями. Посвящаемым часто запрещают говорить, и их могут кормить только мужчины. Их могут обрезать,

увечить или хоронить заживо. От них требуется подвергаться тяжёлому наказанию, испытывая сильный страх. Они символически переходят в утробу Ужасной Матери и заново рождаются как мужчины, как взрослые члены "племени", которое является историческим накоплением опыта приспособительного поведения. (Посвящаемые часто действительно, в буквальном смысле, проходят через сооружённое взрослыми тело какого-то животного, в чём им помогают старейшины племени, которые служат представителями этого божества.³⁶⁷) Когда обряд успешно завершается, посвящённые больше не являются детьми, зависящими от произвольных благодеяний природы – в облике их матерей, – а становятся членами племени мужчин, деятельными знаменосцами своей особой культуры, чья прежняя личность была, так сказать, уничтожена огнём, людьми, которые успешно встретили, вероятно, самое худшее испытание из тех, которые они когда-либо встретят в своей жизни.

Ужас, вызываемый ритуальным обнажением перед силами неизвестного, по-видимому, приводит мозг в состояние, отличающееся повышенной внушаемостью, или, по крайней мере, резко усиленной потребностью в порядке, потребностью в связном и осмысленном **повествовании**. Человек, который находится в "состоянии", когда он больше не знает, что делать или чего ожидать, испытывает сильное побуждение избавиться от этого состояния любыми средствами, какие окажутся необходимы. Лишение прежнего способа приспособления, порождаемое резким изменением общественного места действия ("обстановки"), вызывает в душе тех, с которыми так обращаются, состояние острого опасения и жажду восстановления предсказуемости и здравого смысла. Это острое опасение есть следствие "обновления" окружающей среды: достаточный вызов, брошенный целостности прежней личности, разрушает её строение, "освобождая" явления, к которым она ранее приспособилась, от власти хорошо знакомых действия и оценки. Эти явления, таким образом "освобождённые", снова "получают" "энергию", достаточную, чтобы оправдать их переосмысливание (то есть сделать процесс их переосмысливания чем-то достаточно важным и значительным, чтобы запечатлеться в памяти – в постоянном воплощении в качестве "личности").

Ритуально "доведённые" почти до смерти и приведённые в ужас посвящаемые, неспособные полагаться на стратегии приспособления времён их детства, отчаянно нуждаются в новых объяснениях и новых образцах поведения, чтобы выжить в новой окружающей среде. Эта новая окружающая среда есть общество мужчин, где женщины им равны и являются их возможными или действительными супругами, вместо того чтобы быть источником зависимого утешения; где добывание пищи и крова является обязанностью, а не чем-то данным; где безопасности – и высшей власти в облике родителя – больше не существует. Так как "личность" детства уничтожается, внушается личность взрослого – проявление переданной культуры. Общее посвятельное повествование или ритуал схематически представлено на рисунке 46 "**«Смерть» и «воскресение» посвящаемого подростка**".

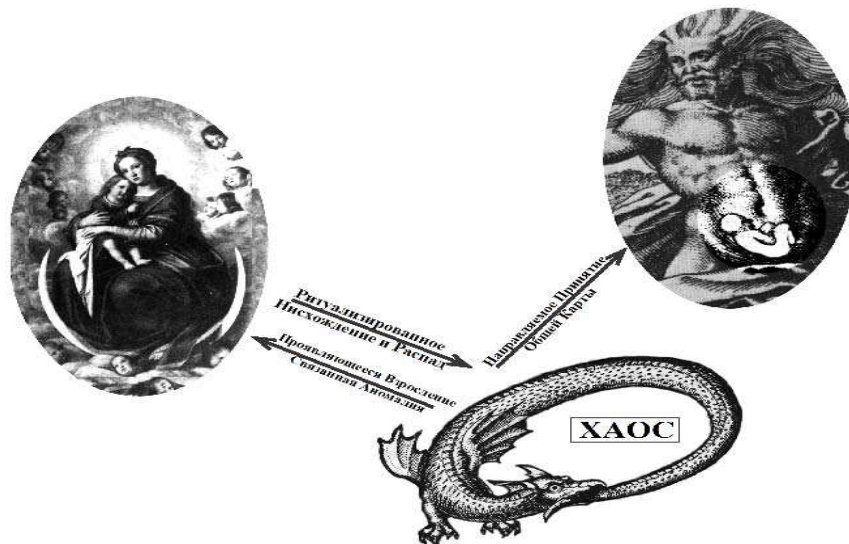


Рисунок 46

Сравнительно более отвлечённый обряд крещения основан на сходных началах. Крещение – это драматическое или эпизодическое представление действия или обряда посвящения, или оно, по крайней мере, стоит на полпути между совершенно "бессознательными" или процедурными видами посвящения и равноценными им семантически отвлечёнными символическими обрядами. Крещение – это духовное рождение (возрождение), как противопоставленное рождению во плоти. Купель церкви, которая содержит воду для крещения, является символическим подобием матки³⁶⁸ (*uterus ecclesiastiae*), которая есть "первоначальное" место, преобразующее докосмогонический хаос в воплощающую дух материю (в "личность"). Когда посвящаемый погружается в крещальную воду (сейчас окропляется ею), он символически низводится из состояния недостаточной устойчивости до хаоса; его топят как непосвящённое существо, а затем воскрешают; он воссоединяется (выражаясь мифологически, кровосмесительно воссоединяется) с Великой Матерью, а затем он внешне возрождается в общину духа.³⁶⁹ Такое отвлечённое доведение до смерти и символическое восстановление представляет собой превращение в обряд процесса, бесконечно необходимого для придания новой жизненной силы отдельной личности и общественной группе. Элиаде утверждает:

"Большинство посвятительных суровых испытаний более или менее ясно подразумевает ритуальную смерть, за которой следует воскресение или новое рождение. Главный момент каждого посвящения представлен церемонией, символизирующей смерть новообращённого и его возвращение к братству живущих. Но он возвращается к жизни новым человеком, принимающим новый образ жизни. Посвятительная смерть означает в то же самое время конец детства, неведения и непосвящённого состояния...

Все обряды возрождения или воскресения и символы, которые они предполагают, показывают, что непосвящённый достиг другого способа существования, недостижимого для тех, кто не подвергся посвятительным испытаниям, кто не испытал смерти. Мы должны отметить эту отличительную черту первобытного склада ума – верование, что состояние не может быть изменено без того, чтобы сперва быть уничтоженным, – в данном примере без того, чтобы ребёнок умер для детства. Невозможно преувеличить важность этой одержимости желанием всё начать с самого начала, которая, в общем, является одержимостью безусловным началом, космогонией. Для того чтобы вещь была хорошо сделана, она должна быть сделана так, как в первый раз. Но в первый раз эта вещь – этот класс предметов, это животное, это особое поведение – не существовала: когда в начале этот предмет, это животное, это установление возникли, это произошло так, как будто бытие, посредством силы Богов, возникло из небытия.

Посвятительная смерть необходима для начала духовной жизни. Её назначение должно быть понято в отношении к тому, к чему она готовит – к рождению для высшего способа существования... Посвятительная смерть часто символизируется тьмой, космической ночью, земной утробой, хижинкой, брюхом чудовища. Все эти образы скорее выражают отступление к неоформленному состоянию, к скрытому способу существования (дополнительному к докосмогоническому Хаосу), чем полное уничтожение (в смысле, в котором, например, представитель современного общества понимает смерть). Эти образы и символы ритуальной смерти неразрывно связаны с порождением, с развитием зародыша: они уже показывают новую жизнь в ходе подготовки к ней...

Значит, для первобытной мысли человек создан: он не создаёт всего себя сам. Его создают древние посвящённые – духовные учителя. Но эти учителя применяют то, что им было открыто в начале Времени Сверхъестественными Существами. Они являются только представителями этих Существ; на самом деле, во многих случаях они их воплощают. Это равносильно тому, чтобы сказать, что, для того чтобы стать мужчиной, необходимо походить на мифический образец".³⁷⁰

Группы – это личности, единообразно принимающие совместный исторически обусловленный образ поведения и схему оценки. Осознание этого образа и его описание (мифы – и философии, в более отвлечённых системах, – которые его сопровождают) одновременно вырабатывают

способности действовать в данной общественной среде, предсказывать исход такого действия и определять смысл общих событий (смысл неразрывно связан с исходом поведения). Такое осознание достигает высшей точки в создании неявных процедурных и явных поддающихся описанию структур "личности", которые более или менее изоморфны по своей природе и которые одновременно являются привычками и нравственным знанием. Привычки задают способ существования, общую стратегию "спасения" в "природной" и "культурной" областях, отточенную общественным обменом нагруженной эмоциями информацией, которой овладели до "бессознательной" автоматичности. Нравственное же знание, или мудрость – есть установившееся представление о (ранее) "неизвестном"; есть способность предсказывать поведение других людей и собственное поведение. Общий итог точного представления мира как места для действия, для поведения есть структура, которая сводит многообразный смысл полноты явлений опыта к ограниченной и поэтому обозримой области. Этим многообразным смыслом при первом соприкосновении (или при неуправляемых, подавляющих или недобровольных условиях такого соприкосновения) является тревога – тревога, которая в противном случае порождалась бы в ответ на всё что угодно. Поэтому помехи воплощению юношеской группы, приобщение к которой было ускорено посвящением, приводят к разрушению или неудаче в (вос)создании структуры, предоставляющей передышку от невыносимой порождаемой жизнью тревоги.

Общество "работает" в той степени, в которой оно даёт своим представителям возможность предсказывать события в области их опыта и контролировать их; работает постольку, поскольку оно предоставляет преграду и защиту против неизвестного или неожиданного. Культура предоставляет ритуальный образец для подражания в поведении и общие указания насчёт поиска способов исполнения желаний и предсказания; предоставляет действенные (хотя и скрытые) правила поведения в обществе и вне его, а также описание процессов в обществе и вне его, включая поведение. Формирование культуры поэтому означает постоянное приспособление к неизвестному; одновременно означает подавление вызываемого новизной страха, упорядочение поведения по отношению к окружающим и предоставление спасительного образа жизни. Группа есть историческое сооружение, которое человечество воздвигло между личностью и ужасным неизвестным. Внутридуховное представление культуры – установление группового самосознания – защищает людей от непреодолимого страха их собственного переживания; от соприкосновения с доопытным значением явлений и ситуаций. Оно есть заступничество мифического Великого Отца перед ужасным миром Великой Матери. Это заступничество состоит в предоставлении определённой схемы целей, допускающей превращение превратностей личного жизненного опыта в положительные события в обществе и защиту от невыносимого неизвестного.

Эта исторически определённая культурная структура сооружена из мужественно задуманных и творчески объединённых откликов на ситуации, которые обычно возникают в ходе человеческого опыта, – откликов, расположенных в порядке их относительной важности, одновременно организованных так, чтобы уменьшать внешние столкновения между людьми и столкновения побуждений в их душах, допуская при этом продолжение приспособления. Эта (главным образом, несловесная) передаваемая обществом структура предположения, ожидания и поведения в большинстве случаев очень устойчива. Она, так сказать, видела всё и делала всё, и её не так легко подорвать. В большинстве ситуаций она действительно направляет общественные взаимодействия, общие ожидания и организацию целенаправленного поведения. В своей неявной подражательной, драматической, повествовательной форме она исключительно долговечна и очень устойчива против простодушной общественной революции.³⁷¹ Однако такая устойчивость полезна только в устойчивые времена. При исключительных обстоятельствах – когда окружающая среда быстро меняется – историческая "личность" должна быть изменена или даже качественно перестроена, чтобы допустить одинаково быстрое приспособление. Этот процесс переупорядочения неизбежно основывается на разрушении (смерти) прежнего порядка. Исчезновение прежнего порядка означает (возможное) возвращение определённого значения предметов опыта к их предшествующему всякой классификации состоянию хаоса – одновременно невыносимо угрожающему и, во вторую очередь, бесконечно обещающему. Страх перед неизбежностью такого исчезновения – каким бы смутным он ни был – представляет собой мощную преграду для процесса творческого переприспособления.

Культурно обусловленный исторический строй общества "защищается" двумя взаимосвязанными способами. Во-первых, он подавляет внутренне вознаграждающее, но "противообщественное" (то есть такое, которое могло бы нарушить устойчивость культуры данной

группы) поведение, связывая его с определённой карой (или, по крайней мере, с её угрозой). Эта кара может включать действительное применение нежелательных наказаний или, более утончённо, – лишение "права служить признанным представителем данного общественного строя". Во втором случае это означает (по крайней мере для некогда подготовленного к жизни в обществе) вынужденную потерю личностью отождествления с вышеуказанным общественным строем (подражания ему, его сознательного принятия) и вызывание ошеломляющего чувства вины или тревоги как следствие потери цели, уничтожения ценностей и последующего повторного обнажения перед новизной опыта, вырванного из своего контекста. Именно в возможности такого эмоционально невыносимого состояния заключается сила изгнания, которое может быть "сознательно" использовано обществами, чтобы наказывать преступников, или может переживаться как вызванное ими самими состояние теми личностями, которые достаточно беззаботны, высокомерны или невежественны, чтобы "убивать" то, что их поддерживает.³⁷²

Во-вторых, исторический строй общества защищает и поддерживает себя тем, что активно поддерживает личное участие в стратегиях поведения, которые удовлетворяют личные потребности и одновременно увеличивают устойчивость группы. Например, созданный обществом образ жизни **профессии** предоставляет личности, которая занимается этой профессией, возможность осмысленной деятельности в форме, поддерживающей или, по крайней мере, не подрывающей устойчивости исторически определённой структуры, которая направляет работу системы угроза-отклик этой личности. Принятие одобренной обществом "профессиональной личности" предоставляет посвящённому и распознаваемому лицу одобренную равными ему возможность внутреннего наслаждения, происходящего от достижения цели, а также относительную свободу от наказания, стыда и чувства вины. Могущее приносить огорчения соперничество между освящёнными обществом образами жизни в пределах данной общественной группы также сводится почти на нет влиянием культуры. Каждая из многих профессий, чей союз составляет живое сложное общество, является следствием героической прошлой деятельности, которая внесла вклад в установление этой профессии, видоизменённой одинаково героической деятельностью, которая потребовалась для поддержания этой профессии при наличии других, соперничающих с ней, видов деятельности и для её необходимого "обновления" перед лицом всё время возрастающих запросов "окружающей среды". "Адвокат" и "врач", например, являются двумя воплощёнными идеологиями, вложенными в рамки более сложных повествовательных схем, чьи области деятельности, знания и правомочности определялись до тех пор, пока они стали способны занимать ту же самую "территорию" без возникновения разрушительных и нецелесообразных столкновений. Это есть, так сказать, "организация умерших королей" под властью "героя": и врачи, и адвокаты подчинены "(правовым) принципам высшего порядка", которые направляют их поведение так, что один может выносить – по крайней мере в пределах разума – присутствие другого.

Патриархальная система с приданной ей надлежащей структурой удовлетворяет потребности настоящего, "принимая во внимание" потребности будущего; она удовлетворяет запросы личности одновременно с запросами других. Пригодность этого "культурного решения" оценивается личным эмоциональным откликом. Такая проверка с помощью эмоции, которая не зависит от того, кто именно её испытывает, в сочетании с дополнительными ограничениями устойчивости и приспособляемости означает неизбежное создание человеческих групп – и человеческих нравственных систем – с распознаваемыми чертами и процессами порождения. Создание преуспевающей группы – наиболее трудный из подвигов – означает установление общества, состоящего из личностей, которые действуют в своих собственных интересах (по крайней мере, делают достаточно, чтобы сделать свою жизнь сносной) и которые при этом одновременно поддерживают и развивают свою культуру. "Требование удовлетворять, защищать и приспособлять, в личном и общественном смысле" – и делать это в течение огромных и меняющихся промежутков времени – налагает суровые "внутренние" ограничения на способ, которым "успешные" человеческие общества могут действовать. Можно было бы сказать, что такие ограничения дают всюду пригодные границы приемлемой человеческой нравственности. Природа того, что составляет такую приемлемость, благоприятствует непосредственному столкновению или спору из-за подробностей, но общая картина неизбежно ясна. Эта картина вновь и вновь представляется в ритуале, мифологии и повествовании, которые вечно изображают внутренне осмысленные темы, разыгрываясь неизменно пленяющим образом. Ницше утверждает:

"Что отдельные философские понятия не представляют собою ничего произвольного, ничего само по себе произрастающего, а вырастают в соотношении и родстве друг с другом; что, несмотря на всю кажущуюся внезапность и произвольность их появления в истории мышления, они всё же точно так же принадлежат к известной системе, как все виды фауны в данной части света, – это сказывается напоследок в той уверенности, с которой самые различные философы постоянно заполняют некую краеугольную схему **возможных** философий. Под незримым ярмом постоянно вновь пробегают они по одному и тому же круговому пути, и, как бы независимо ни чувствовали они себя друг от друга со своей критической или систематической волей, нечто в них самих ведёт их, нечто гонит их в определённом порядке друг за другом – прирождённая систематичность и родство понятий. Их мышление в самом деле является в гораздо меньшей степени открыванием нового, нежели опознаванием, припоминанием старого, – возвращением под родной кров, в далёкую стародавнюю общую вотчину души, в которой некогда выросли эти понятия, – в этом отношении философствование есть род атавизма высшего порядка".³⁷³

Принятие особого образа жизни одновременно позволяет определить значение предметов и нравственность поведения. Предметы приобретают значение в соответствии с их ощущаемой полезностью в отношении их способности содействовать движению от невыносимого настоящего к идеальному будущему. Подобным же образом нравственное поведение рассматривается как способствующее такому движению, а безнравственное – как препятствующее ему или подрывающее его. Конечно, распознавание того, что составляет основу для определения природы нравственности или сравнительной ценности предметов, – дело не простое. Умение судить об этом, в сущности, представляет собой постоянное главное требование приспособления к окружающей среде. Невозможно предложить никакого неизменного решения этой задачи – этого вопроса о "природе высочайшего идеала" или о "природе наивысшего блага", – потому что окружающая среда, которая ставит этот вопрос, постоянно изменяется, по мере того как движется время (это изменение, по сути, и есть движение времени). Постоянное и вечное её изменение не исключает, однако, полезности всех "нравственных" ответов, так как эти ответы должны быть сформулированы до того, как имеют место любое действие или истолкование. Время просто вечно превращает в бессмыслицу предложение в качестве решения неизменной структуры – то есть неизменной структуры как противопоставляемой **процессу** (в этом случае следующему каким-либо образцам творческому процессу порождения механизмов приспособления в ходе общения).

В личной и общественной плоскости конфликт представляет собой спор о сравнительной ценности переживаний, предметов и поведения. Невыразимое словами предположение "а", , на котором, скажем, основано поведение "b", оказывается подчинённым предположению "с", "с" – подчинённым "d" и так далее, в соответствии с какой-то схемой или понятием предельной ценности, которое сперва – задолго до того, как оно могло быть представлено эпизодически или семантически, – проявляется в поведении и в столкновении поведений. Можно было бы сказать, что создание понятия предельной ценности есть следствие общественного развития человека как исследователя. Культурная структура как внутреннее содержание души складывается в творческом действии, подражании такому действию и соединении своего и подражаемого действия. Она представляет собой приспособительное действие и представление объединённого образа действия. Соответствующие процедуры отображаются эпизодической памятью и, по существу, представляются в отвлечённом виде семантической системой. Этот процесс приводит к созданию истории, или повествования. Любое повествование содержит в себе некий набор нравственных предположений. Представление этого набора эпизодической памятью составляет основу для мифа. Оно предоставляет почву и материал для возможного развития религиозной догмы или системы нравственности. Преимущества такого представления в виде системы, возникающие за счёт отвлечённого представления **самого по себе**: лёгкость сообщения, облегчение преобразования и формальное провозглашение освящённых историй принципов, полезных при улаживании возникающих споров о ценностях. Недостатки его включают преждевременное прекращение творческих попыток и догматическое следование мудрости (ушедшего) прошлого.

Люди как общественные животные действуют так, "как будто" их побуждает к действию (ограниченная) система более или менее внутренне непротиворечивого и составляющего единое целое набора нравственных добродетелей – даже при отсутствии явного (описательного) представления этой системы. Природа этих добродетелей, вначале воплощённая в поведении, в ходе общественно опосредованного развития человеческого познания становится всё более и более сознательной (более представленной описательным мышлением и воспоминанием). Тем не менее даже в настоящее время очень трудно определить и явно утверждать, в чём именно состоит добродетельное поведение и как в точности его описать, чтобы определить те цели, достижению которых должно быть посвящено поведение, и представить достаточное оправдание для таких притязаний. Культура – это (в значительной степени) общий нравственный кодекс, и отклонения от этого кодекса обычно легко распознаются, по крайней мере, **после того как они имели место**. Но описание области нравственности обычно превосходит возможности описательной мысли, а природа принятого нравственного поведения всё ещё во многом бессознательна. Поэтому мы легко приходим в замешательство, когда дело касается природы нравственности, и готовы при этом сделать "определённые" неуместные, несвоевременные и опасные выводы.

Консерватор почитает свою культуру как создание того, что, в первую очередь, заслуживает верности, воспоминания и уважения. Это создание есть конкретное решение задачи приспособления: "как себя вести?" (и как это можно представить и сообщить другим?). Но здесь очень легко ошибиться в определении ценности и почитать скорее само это конкретное решение, а не его источник. Отсюда проистекает библейское предписание:

"Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.

Не поклоняйся им и не служи им: ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня" (Исход, 20 : 3 – 5).

Это "произвольное" предписание существует в значительной части потому, что гораздо меньше явного внимания обычно оказывается (и **может быть** оказано на начальных ступенях отвлечённого представления) более важной, но и более абстрактной и трудной **метазадаче** приспособления к окружающей среде – "как определяется (или определялось) то, как себя вести?" – или "какова природа процедуры, которая приводит к установлению и упорядочению по важности обоснованных форм поведения (которая приводит к успешному приспособлению как таковому)?" и "как это можно представить и сообщить другим?" Ответ на вопрос: "что представляет наивысшую ценность?" или "что такое наивысшее благо?" является, по сути, решением **метазадачи**, а не самой задачи, хотя

решения последней постоянно смешивались и смешиваются с решениями первой, с постоянным ущербом (часто смертельным) для тех, кто пытается заниматься первой.

Природа нравственности трудно описуема. Структура нравственности, отражённая в поведении, слишком сложна, чтобы её можно было легко сформулировать. Тем не менее эта структура остаётся целостной системой (по существу, исторически определённой личностью и её представлением), плодом решительных усилий (процедурных и описательных), посвящённых целостному приспособлению, а не просто случайным, непостижимым собранием обрядов и верований. Культура – это устройство, направленное на достижение некоторых (эмоционально определённых) целей в непосредственном настоящем и близком будущем. Данная культура как таковая обязательно должна удовлетворять ряду строгих ограничений: 1) она должна быть самоподдерживающейся (в том смысле, что она способствует деятельности, которая позволяет ей сохранять свою главную форму); 2) она должна быть достаточно гибкой, способной постоянно приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды и 3) она должна приобрести верность тех, кто её представляет.

Первое требование является настолько существенным, даже на краткий срок, что оно кажется самоочевидным. Культура должна способствовать деятельности, которая требуется для её собственного поддержания, – или она себя пожрёт. Второе требование, гибкость, труднее выполнить, особенно в сочетании с первым (в сочетании с самоподдерживаемостью). Культура должна способствовать деятельности, которая её поддерживает, но она должна при этом допускать достаточно новизны, чтобы существенно непредсказуемое изменение в условиях окружающей среды могло вызвать нужное изменение поведения. Культуры, которые пытаются поддерживать себя, следуя безусловной приверженности традициям, довольно быстро перестают удовлетворять второму требованию и стремительно разрушаются. Напротив, культуры, которые допускают неограниченные изменения, перестают удовлетворять первому требованию и разрушаются так же быстро. Третье требование (верность культуре её носителей) можно рассматривать как необходимую предпосылку двух первых. Культура, которая сохраняется, должна (добровольно) поддерживаться её носителями. Это означает, в конечном счёте, что её образ действия должен оставаться подтверждённым общим итогом личных эмоций; означает, что большинство её представителей должно оставаться удовлетворённым её деятельностью: должно извлекать достаточные вознаграждение, защиту от наказания, надежду и смягчение угрозы, чтобы сделать издержки поддержания группы её носителей терпимыми. Более того, решение, предлагаемое этой культурой, должно **казаться** идеальным, по сравнению с любыми или всеми другими действительными или воображаемыми возможными решениями. Неотразимая привлекательность упрощенческих утопических идеологий, даже в "недоверчивом" двадцатом столетии, является доказательством огромной трудности выполнения этого последнего требования.

При ненаилучших условиях задача "защиты развивающейся личности" и "поддержания единообразного защитного общественного устройства" разрешается посредством постоянного принесения в жертву личного своеобразия в пользу устойчивости и целостности группы. Это решение на короткий срок действительно изгоняет страх, но оно к тому же уничтожает необходимые возможности и способность к "приспособительному" преобразованию. Ненаилучшим решением проблемы авторитарной или тоталитарной опасности, в свою очередь, является очернение роли общества, приписывание зла всем её последствиям и вырождение традиционного мастерства и обучения. Это есть принесение в жертву Ужасного Отца без признания необходимости его воскрешения и, следовательно, приглашение хаоса к вторжению. Наилучшее решение проблемы необходимости отождествления с группой должно, в противоположность этому, быть найдено в философии ученичества: каждый человек должен добровольно подчиниться учителю – "мудрому царю", – чьей целью является не столько поддержание и защита своей собственной личности и общественного положения, сколько создание личности ("сына"), способной превзойти ограничения группы.

Наилучший "мудрый царь", подчинение которому можно было бы считать необходимым, должен поэтому быть или личностью, чьё "самосознание" вложено в иерархию, самая внешняя область которой занята героем-исследователем, или группой, о которой можно было бы сказать то же самое. Таким образом, идеальная "группа", или учитель, может быть ещё раз умозрительно представлена как Осирис (традиции прошлого), вложенный внутрь Гора или Ра (того процесса, который первоначально создал эти традиции и который в настоящее время их осовременивает). Это значит, что ответ для "метазадачи" приспособления к окружающей среде – **"какова природа**

процедуры поведения, которая приводит к установлению и упорядочению по важности обоснованных форм того, как себя вести (которая приводит к успешному приспособлению как таковому)?" – был получен группами, которые обеспечивают, чтобы их традиции, как бы ими ни восхищались и как бы им ни подражали, были подчинены высшему авторитету – авторитету героя-творца. Поэтому "наивысшее благо" становится "подражанием (почитанием) процесса, представленного героем", который, как утверждали древние шумеры, возвращает к жизни всех "погибших богов, как будто они были его собственным созданием"³⁷⁴.

Человеческая нравственность есть исследовательская деятельность (и допущение таковой), предпринимаемая в достаточно устойчивой общественной обстановке, проходящая в пределах строгих ограничений, воплощённая в действии, вторично представленная, сообщаемая другим и разработанная в отвлечённом виде в эпизодической и семантической памяти. Такая нравственность – как действие и мысль – не является произвольной в своём устройстве и конкретно целенаправленной. Она основана на умозрительном представлении о наивысшем благе (которым в его наивысшей форме является устойчивая общественная организация, допускающая проявление процесса творческого приспособления), представляемом в сравнении с представленным настоящим. Такая умозрительная деятельность допускает определение приемлемого поведения и ограничений, налагаемых на значения предметов (всегда рассматриваемых с точки зрения их полезности как, в некотором смысле, орудий для достижения желаемой цели).

Болезненное государство доводит подражание "своду законов" до крайности и пытается управлять каждой подробностью личной жизни. Это "всеохватывающее подражание" уменьшает гибкость государства в поведении и делает общество всё более и более способным к разрушению от изменения окружающей среды (от наплыва "хаотических изменений"). Таким образом, государство страдает из-за отсутствия "живой воды", до тех пор пока оно внезапно не затопляется и не смывается. Напротив, здоровое государство понуждает к подражанию более в виде добровольного присоединения (до установления личной компетентности и дисциплины). Вслед за успешным "ученичеством" человек становится достаточно знающим, чтобы быть своим собственным учителем, быть самостоятельным воплощением героя. Это значит, что способность личности к "культурному подражанию" – то есть способность к содействию обычному порядку – оказалась подчинённой её способности участвовать в процессе, который посредничает между порядком и хаосом. Каждая "научившаяся должным образом жить в обществе" личность поэтому приходит к тому, чтобы служить Гором (царём-солнцем, сыном Великого Отца) после старательного приобретения мудрости Осириса.

Отождествление себя с группой – ученичество подростка – приучает личность к порядку и привносит необходимую предсказуемость в её действия в пределах общественной группы. Самосознание группы, однако, создано прошлым, сформировано так, чтобы иметь дело с событиями, характерными для прошлого. Хотя и разумно рассматривать такое самосознание как необходимую ступень развития, рассматривать его как конечную точку человеческого развития болезненно. Настоящее в значительной части состоит из новых задач, и полагание на мудрость умершего – каким бы оно ни было героическим – в конце концов ставит под сомнение честность живых. Хорошо обученный ученик, однако, обладает мастерством умерших и динамичной сообразительностью живых. Это значит, что он может извлекать пользу из неизбежного соприкосновения с аномалией в её многих обликах, даже приветствовать такое соприкосновение. Поэтому в тех местах, где **не** правит обычай, поведением управляет наивысший уровень нравственности. Герой-исследователь в неисследованной области чувствует себя как дома: он с охотой прислушивается к новым мыслям, он друг незнакомца, а также осторожный, дисциплинированный социалист-революционер.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ПОЯВЛЕНИЕ АНОМАЛИИ: ВЫЗОВ ОБЩЕЙ КАРТЕ

Теории в области нравственности неизбежно имеют общие черты с другими теориями. Одной из наиболее существенных общих черт теорий, вообще говоря, является их зависимость от "внетеоретических" предпосылок. Эти "внетеоретические" предпосылки явных нравственных теорем, по-видимому, принимают неявный вид в образе и, более основательно, в действии. Нравственное поведение и нравственные схемы оценки возникают как следствие взаимодействия между поведением различных лиц в обществе: каждый человек, побуждаемый к упорядочению своих эмоций посредством действия, видоизменяет поведение других людей в той же самой окружающей среде. Следствием этого взаимного влияния, имеющего место в течение долгого времени, является возникновение устойчивого образа поведения, "предназначенного" для того, чтобы одновременно соответствовать личным и общественным потребностям. В конце концов, доходит до того, что этот образ поведения зашифровывают в образах, возмещают в повествовании и явно представляют в словах. В цельной личности – или в целостном государстве – действие, представление в образах и явно выраженная словами мысль изоморфны: явные и опосредованные образами верования и действительное поведение образуют связное целое. Выраженные словами теории нравственности (явные правила) соответствуют традиционным образам нравственного поведения, а предпринятое действие остаётся в согласии и с теми и с другими. Эта целостная нравственность придаёт предсказуемость поведению, образует основу устойчивого государства и способствует контролю над эмоциями.

Возникновение аномалии – это угроза целостности нравственной традиции, направляющей поведение и оценку. Странные явления или ситуации могут бросить вызов всей данной системе действия и относящихся к нему верований; могут представлять такой вызов на сравнительно ограниченном ("обычном") или более широком ("революционном") уровнях организации. Например, продолжительная засуха на общественном уровне – или случай тяжёлой болезни или нетрудоспособности на личном – способны вынудить перестройку поведения и пересмотр верований, которые сопровождают такое поведение,

следуют из него или лежат в его основе. Появление чужестранца – или, более обще, группы чужестранцев – может вызвать подобное же действие. Чужестранец придерживается других верований и следует им, используя другие орудия и представления. Простое существование этих необычных верований, действий и орудий – обычно являющееся следствием продолжительных, сложных и мощных процессов развития – может оказаться достаточным для того, чтобы полностью преобразовать или даже разрушить ту культуру, которая сталкивается с ними, будучи к этому неподготовленной. Культуры могут быть ниспровергнуты также и изнутри, вследствие "странной мысли" или, подобным же образом, действиями революционеров.

Способность представлять нравственность в отвлечённом виде – то есть зашифровывать её в образе и слове – облегчила общение, понимание и развитие поведения, а также взаимодействие поведений разных лиц. Однако эта способность к тому же подорвала устойчивость нравственной традиции. Как только процедура оказывается заключена в образе – и, в особенности, в слове, – её делается легче видоизменять, "в виде опыта"; но также легче небрежно критиковать и отбрасывать. Эта способность легко видоизменять очень опасна тем, что явные и поддающиеся высказыванию правила нравственности, которые отличают данную культуру, обычно существуют по причинам, всё ещё являющимся глубинными и скрытыми. Способность отвлечённо мыслить, которая уже облегчила общение другим людям очень сложных и только частично понятых общих представлений, является поэтому также способностью подрывать то самое устройство, которое придаёт предсказуемость действию и которое ограничивает доопытное значение явлений и ситуаций. Наша способность к отвлечённому мышлению способна разрушить наше "бессознательное" – то есть образное и процедурное – общественное единство, расстраивая нашу эмоциональную устойчивость и подрывая нашу целостность (то есть изоморфизм между нашими действиями, образными их представлениями и явными теориями, или кодексами нравственности). Такое разрушение делает нас уязвимыми перед упрощенческими идеологиями, восприимчивыми к цинизму, отчаянию найти смысл жизни и слабости перед лицом угрозы.

Постоянно расширяющаяся человеческая способность к отвлечённому мышлению – главная для человеческого "сознания" – дала нам возможность создавать модели нас самих, достаточно сложные и расширенные, принимающие во внимание временные границы человеческой жизни. Мифы о "познании добра и зла" и "грехопадении в раю" изображают возникновение этой способности к представлению под видом "исторического события". Последствием этого "события" – то есть развития "самосознания" – является способность представлять себе смерть и понимать, что возможность смерти есть "часть" неизвестного. Это "заражение аномалии возможностью смерти" резко повысило эмоциональное воздействие неизвестного и его значение как побуждающей причины и привело к созданию сложных систем действия и верования, предназначенных для того, чтобы принять эту ужасную возможность во внимание.

Эти сложные системы действия и верования являются религиозными. Они составляют традиционные средства для того, чтобы иметь дело с тенью, отбрасываемой на жизнь знанием о нашей смертности. Наша неспособность понять свои религиозные традиции и вытекающее из этого наше сознательное очернение их видов на будущее, к несчастью, резко уменьшают пользу, которую они могли бы нам принести.

Мы достаточно сознательны, чтобы разрушить устойчивость наших верований и нашего традиционного образа действия, но нам не хватает сознательности, чтобы их понять. Если бы, однако, основы наших традиций были бы более явными, мы, возможно, могли бы развить большую духовную цельность и общественную целостность. Способность развить такое понимание могла бы помочь нам использовать свою способность к рассуждению, чтобы поддерживать, а не разрушать, системы нравственности, которые приучают нас к порядку и защищают.

4.1. Введение. Парадигматическая структура известного

"Известное" – это иерархическая структура, состоящая из "стен внутри стен". Человек находится в середине ряда концентрических колец, состоящих из цельных "личностей" его предков, вложенных (по крайней мере в идеале) в фигуру героя-исследователя. Защита

внутренних стен и их продолжающееся существование и законность зависят от целостности внешних. Чем более "внешней" является данная стена, тем более "неявно" её строение – то есть тем более оно воплощено скорее в поведении и в образе, чем явно в слове. Более того, чем более "внешней" она является, тем старше соответствующая ей "личность", тем обширнее область, которую она окружает, и тем больше сила эмоций, которые она сдерживает. Группы – и личности – могут иметь общими какие-то определённые уровни известного, отличаясь на других. Сходства объясняют "общее самосознание группы", поскольку оно существует; различия – отождествление тех, кто не принадлежит к группе, с силами хаоса.

Ритуалы, предназначенные, чтобы усиливать сознание принадлежности к группе, сдерживают хаос, но угрожают личному отождествлению с героем-исследователем – "личностью", от которой, в конечном счёте, зависит сохранение группы. Следовательно, ради самой группы личность не следует делать рабепной по отношению к группе.

"Стороны вещей, которые наиболее важны для нас, скрыты от нас своей простотой и обычностью. (Невозможно заметить то, что всегда перед глазами.) Действительные основания его исследования вовсе не поражают человека, если его когда-то не поразило это обстоятельство. А это значит: нас не поражает то, что – как только его увидишь – является наиболее поразительным и могущественным".³⁷⁵

Система нравственности – система культуры – непременно имеет общие черты с другими системами. Наиболее основная из таких черт была распознана Куртом Гёделем. Теорема Гёделя о неполноте показала, что любая внутренне непротиворечивая и последовательная система предложений должна **обязательно** быть основана на предположениях, которые не могут быть доказаны в пределах этой системы. Философ Томас Кун, занимающийся историей развития науки, называл подобные, полные неявных предположений, системы **парадигматическими**. Явно научные парадигматические системы – средоточие внимания Куна – занимаются предсказанием тех событий и управлением теми событиями, существование которых может быть проверено особым формальным способом и которые предлагают "образцовые задачи и решения обществу тех, кто ими занимается"³⁷⁶. Донаучное мышление, которое главным образом означает мышление о вопросах нравственности (мышление о смысле и значении событий, предметов и поведения), также, по-видимому, неизбежно отличается парадигматическим устройством.

Парадигма – это сложное орудие познания, чьё использование предполагает принятие ограниченного числа аксиом (или **определений того, что, для целей обсуждения и действия, составляет действительность**), взаимодействие которых создаёт внутренне непротиворечивую объяснительную и предсказательную структуру. Парадигматическое мышление можно было бы описать как мышление, чья область была формально ограничена; как мышление, которое действует так, как будто на некоторые вопросы уже был дан окончательный ответ. "Ограничения этой области" или "ответы на эти вопросы" составляют аксиоматические утверждения парадигмы, которые являются (согласно Куну) сформулированными "в явном виде" (семантически представленными, в соответствии с излагаемым здесь обсуждением) или оставлены "неявными" – запечатлёнными в эпизодическом воображении или воплощёнными в поведении. Обоснованность этих аксиом или должна быть принята на веру, или (по крайней мере) должна быть доказана с помощью использования подхода, который является внешним по отношению к рассматриваемой парадигме (что равносильно той же самой вере, если вопрос рассматривать "изнутри этой парадигмы").

В некоторых отношениях парадигма подобна игре. В игру играть не обязательно, но раз она начата, она должна подчиняться (проверяемым обществом) правилам. Эти правила не могут оспариваться, пока идёт игра (или, если они оспариваются, то **это уже другая игра**). Дети, спорящие о том, как играть в футбол, не играют в футбол. Вместо этого они занимаются некоей разновидностью философии. Парадигматическое мышление позволяет понимать бесконечность "фактов" посредством применения конечной системы предположений; позволяет, в конечном счёте, ограниченному субъекту сформулировать достаточное предварительное понимание неограниченного предмета опыта, включающего самого этого субъекта.

Человеческая культура по необходимости обладает парадигматической структурой, задачей которой является не объективное описание того, что есть, а описание совокупной эмоциональной

уместности, или значения, того, что есть. Способность определять уместность предмета или ситуации как побуждения зависит, в свою очередь, от представления о (предположительно) идеальном состоянии (представляемом как противоположность умозрительному пониманию настоящего) и от порождения последовательности действий, предназначенной для того, чтобы достичь этого идеала. Именно "предметы веры" (высказанные, не высказанные и такие, которые невозможно высказать) лежат в основе этого тройного представления и поддерживают ход всего процесса осуществления этого идеала. Эти "предметы веры" являются, так сказать, аксиомами нравственности – некоторые явными (описательно представленными в образе и слове), а большая часть по-прежнему неявными, – которые развились в ходе человеческого исследования и общественной организации в течение сотен тысяч лет. В своём чисто неявном состоянии такие аксиомы чрезвычайно сильно сопротивляются изменению. Однако стоит им стать (хотя бы частично) явными, аксиомы нравственности быстро становятся подвержены бесконечному тщательному и глубокомысленному или небрежному и беззаботному обсуждению. Такое обсуждение полезно для непрерывности и расширения приспособления к окружающей среде, но оно также и очень опасно, так как именно продолжающееся существование неоспариваемых аксиом нравственности поддерживает ограничение на иначе невыносимое значение событий и сохраняет живой возможность беспрепятственного действия.

Парадигматическая структура предоставляет определённую организацию (неограниченной) информации в соответствии с ограниченными принципами. Классический пример этого даёт система Евклидовой геометрии. Человек, который хочет получить желаемый исход поведения как следствие применения Евклидовых принципов, по необходимости обязан принять некоторые аксиомы "на веру". Эти аксиомы таковы.

- "1. Между любыми двумя точками можно провести отрезок прямой.
2. Любой отрезок прямой можно неограниченно расширять до прямой.
3. Если дан отрезок прямой, то можно провести окружность, центром которой является один из концов этого отрезка, а радиусом – сам этот отрезок.
4. Все прямые углы конгруэнтны.
5. Если две прямые линии пересекают третью таким образом, что сумма внутренних углов на одной стороне меньше двух прямых, то эти две линии неизбежно должны пересечься с этой стороны, если их продолжить достаточно далеко".³⁷⁷

Именно взаимодействие всех пяти первоначальных постулатов – которые суть всё, что надо обязательно помнить или понимать, чтобы геометрия оказалась полезной, – даёт начало внутренне непротиворечивому и последовательному Евклидовому построению, с которым мы все хорошо знакомы. То, что составляет истину с точки зрения этого построения, может быть установлено посредством ссылки на эти первоначальные постулаты. Однако сами постулаты должны быть приняты. Их истинность не может быть доказана в пределах данной системы. Они, однако, могут быть "доказуемы" в пределах другой системы, хотя истинность этой последней будет с необходимостью оставаться зависимой от других постулатов и так далее до бесконечности. Обоснованность данного построения обязательно зависит от "бессознательных" предположений, например очевидно сомнительного предположении, что в случае Евклидовой геометрии пространство трёхмерно.

Во многих случаях оказывается, что предположения явных семантических утверждений принимают эпизодическую или образную форму. Евклидовы постулаты, например, кажутся основанными на "наблюдаемых фактах" (образах "мира опыта", как он понимается). Евклид основывал свою явно отвлечённую (семантическую) систему на наблюдаемых "абсолютах". Можно конкретно доказать, например, что любые две точки, указанные в песке, могут быть соединены заданной ими прямой. Повторные приведения этого "факта" в качестве примера кажутся (приемлемо) убеждающими, как подобным же образом кажется таковым и ("опытное") доказательство того, что любой отрезок прямой можно неограниченно продолжать до прямой линии. Эти постулаты (как и остальные три) не могут быть доказаны в пределах самой геометрии, но они кажутся истинными и будут приняты в качестве таковых **как следствие практического примера**. Это означает, что вера в Евклидовы предположения зависит от принятия практического опыта как чего-то достаточно несомненного. Последователь Евклида проводит, так сказать, прямую на песке и говорит, что "здесь вопросы прекращаются".

Подобным же образом представление истины с эпизодической точки зрения связано с принятием законности и достаточности определённых процедурных действий. Как явление представлено, например, в эпизодической памяти – и чем оно является, насколько мы знаем, – зависит, по-видимому, от того, как оно исследовано; от неявных "предпосылок", направляющих или ограничивающих стратегии поведения, применяемые к нему в ходе творческого исследования. Кун утверждает:

"Учёные могут соглашаться с тем, что Ньютон, Лавуазье, Максвелл или Эйнштейн дали очевидно вечное решение группы выдающихся задач и всё-таки не соглашаться, иногда сами этого не зная, с частными отвлечёнными характеристиками, которые увековечивали эти решения. То есть они могут соглашаться в своём **распознавании** парадигмы, не соглашаясь насчёт её полного **понимания** или **разумного представления**, даже не пытаясь его создать. Отсутствие стандартного понимания или сведения к правилам, с которыми все согласны, не помешает парадигме направлять исследование. Обычная наука может быть отчасти определена посредством прямого рассмотрения парадигм – процесса, которому часто помогает формулировка правил и предположений, но который от этого не зависит. На самом деле существование парадигмы даже не должно влечь существования какого-либо полного набора правил".

Он продолжает в примечании:

"Майкл Поляни³⁷⁸ блестяще разработал очень сходную тему, доказывая, что очень многое в успехе учёного зависит от «подразумеваемого знания», то есть знания, которое было приобретено посредством практики и которое не может быть явно и отчётливо выражено".³⁷⁹

Последователь Евклида проводит прямую линию, соединяющую две точки на песке, и принимает на веру достаточность этого доказательства с помощью поведения и очевидную его несомненность (отчасти потому, что никакого его иного умозрительного представления невозможно сейчас же представить). Евклидова геометрия работала – и считалась полной – столетиями, так как она позволяла предсказывать все те возможные в опыте явления, которые возникали в ходе человеческой деятельности, ограниченной возможностями поведения в прошлом, и допускала контроль над этими явлениями. Двести лет назад мы не знали, как действовать конкретно или мыслить абстрактно, чтобы вызвать некую ситуацию, чья природа не могла бы быть описана Евклидом. Но это уже не так. Многие более общие геометрии были созданы в течение последнего столетия. Эти новые системы описывают природу "реальности" – тех явлений, которые возникают в опыте, – более полно.

Все представления предметов (или ситуаций, или последовательностей действий в ходе поведения), конечно, условны, потому что они могут быть изменены непредсказуемым образом или даже полностью преобразованы дальнейшими исследованиями (или вследствие самопроизвольного возникновения аномалии). Модель предмета опыта (сдерживающая тревогу, точно определяющая цели) поэтому **зависит от обстоятельств** – зависит от сохранения тех (невидимых) условий, которые к ней относились, и тех (нераспознанных) контекстов, которые имели к ней отношение, когда первоначально была получена содержащаяся в ней информация. Знание изменчиво, как заметил Ницше:

"Всё ещё есть такие простодушные самосозерцатели, которые думают, что существуют «непосредственные достоверности», например «я мыслю» или, подобно суеверию Шопенгауэра, «я хочу» – точно здесь познанию является возможность схватить свой предмет в чистом и обнажённом виде, как «вещь в себе», и ни со стороны субъекта, ни со стороны объекта нет места фальши. Но я буду сто раз повторять, что «непосредственная достоверность» точно так же, как «абсолютное познание» и «вещь в себе», заключают в себе *contradictio in adjecto*: нужно же наконец когда-нибудь освободиться от словообольщения!

Пусть народ думает, что познавать – значит узнавать до конца, – философ должен сказать себе: если я разложу событие, выраженное в предложении «я мыслю», то я получу целый ряд смелых утверждений, обоснование коих трудно, быть может, невозможно, – например, что это **Я** – тот, кто мыслит; что вообще должно быть нечто, что мыслит; что мышление есть

деятельность и действие некоего существа, мыслимого в качестве причины; что существует **Я**; наконец, что уже установлено значение слова «мышление»; что я **знаю**, что такое мышление. Ибо если бы я не решил всего этого уже про себя, то как мог бы я судить, что происходящее теперь не есть – «хотение» или «чувствование»? Словом, это «я мыслю» предполагает, что я **сравниваю** моё мгновенное состояние с другими моими состояниями, известными мне, чтобы определить, что оно такое; опираясь же на другое «знание», оно во всяком случае не имеет для меня никакой «непосредственной достоверности».

Вместо этой «непосредственной достоверности», в которую пусть себе в данном случае верит народ, философ получает таким образом целый ряд метафизических вопросов, истых вопросов совести для интеллекта, которые гласят: «Откуда беру я понятие мышления? Почему я верю в причину и действие? Что даёт мне право говорить о каком-то **Я** и даже о **Я** как о причине и, наконец, ещё о **Я** как о причине мышления?» Кто отважится тотчас же ответить на эти метафизические вопросы, ссылаясь на некоторого рода **интуицию** познания, как делает тот, кто говорит: «Я мыслю и знаю, что это по меньшей мере истинно, действительно, достоверно», – тому нынче философ ответит улыбкой и парой вопросительных знаков. «Милостивый государь, – скажет ему, быть может, философ, – это невероятно, чтобы вы не ошибались, но зачем же нужна непременно истина?»³⁸⁰

"Предмет" всегда остаётся чем-то способным превзойти "границы" его представления. Он есть нечто, неизбежно сохраняющее свою таинственную сущность, её связь с неизвестным и её способность внушать надежду и страх. "Действительный" или "трансцендентный" предмет, предмет в себе и сам по себе, – насколько такую вещь можно рассматривать – есть общая сумма его исследованных свойств **плюс то, что остаётся неисследованным, то есть само неизвестное.**

Наше понимание данного явления всегда ограничено теми средствами – временными, экономическими и технологическими, – которые находятся в нашем распоряжении. Знание неизбежно условно, хотя оно с той же неизбежностью не менее "объективно" и не менее является из-за этого "знанием". Наши представления о предметах (или о ситуациях, или о последовательностях действий поведения) принимаются в настоящее время как обоснованные, **потому что они служат своим целям как орудия.** Если мы можем орудовать нашими моделями в воображении, применять полученные таким образом решения к "действительному" миру и вызывать желаемый исход, то мы предполагаем, что наше понимание истинно и достаточно. Наши модели не считаются недостаточными до тех пор, пока мы не сделаем чего-то и вызовем неожиданные последствия. Это означает, что наши современные представления о данных явлениях основаны на (неявном) предположении, что эти явления достаточно исследованы. Утверждение, что "это исследование достаточно", есть суждение, вынесенное, как подразумевалось ранее, на основании последовательности действий, достигших желаемой цели ("то, что срабатывает" – "истинно"). **Процедура считается достаточной, когда она достигает своего желаемого конца, – когда она соответствует своей цели.** Природа этой цели – это обычно установление райского состояния или продвижение к нему. Райское же состояние отличается устойчивым, динамическим избавлением от (невыносимого) страдания, свободой от (цепящего) беспокойства, изобилием надежды и щедрым предоставлением главной награды – мирной земли "млека и мёда" (на языке мифа). Сказать всё это – значит просто сказать, что знание скорее служит целям жизни, чем существует в себе и само по себе.

Некоторые условные формы знания – скажем отдельные виды поведения и схемы оценки – обладают постоянной ценностью (то есть вызывают желательный исход в широком ряде контекстов). Они "запоминаются" – хранятся в ритуале и мифе – и передаются из поколения в поколение. С течением времени они объединяются со всеми другими существующими видами поведения и схемами оценки в иерархию, которая допускает различное их выражение. Эта иерархия, как было описано ранее, состоит из действий и оценок героев прошлого, организованных другими героями в устойчивый общественный характер, разделяемый всеми представителями той же самой культуры (как христианская церковь составляет символическое тело Христа). Этой иерархии уже придавали и придают в настоящее время форму бесчисленные петли эмоциональной обратной связи, так как средства и цели, избираемые каждой личностью и обществом в целом, видоизменяются действиями и реакциями общества и вечным неискоренимым присутствием самого неизвестного. Проистекающая из этого "иерархия побуждений" может быть наиболее точно описана как **личность** – как образ мифического "предка", которому каждый подражает сознательно

(с полным участием семантической и эпизодической систем, рациональной мысли и воображения) или бессознательно (только в действии, несмотря на выраженное "неверие"). Этот обладающий иерархическим устройством образ поведения (личность), представляющий собой культуру, с течением времени как бы вторично, изоморфно запоминается в эпизодической памяти, а затем явно кодируется (насколько современное развитие познания это позволяет). Явный нравственный кодекс поэтому основан на предположениях, которые истинны только с чисто эпизодической точки зрения. В свою очередь, эти эпизодические представления извлекают свою истинность из процедурного знания, предназначенного для того, чтобы удовлетворять эмоциональным потребностям в обществе людей и в присутствии неизвестного.

Существование философии нравственности, которая является образцом поведения и понимания, зависит поэтому от мифологии, являющейся собранием образов поведения, возникших как следствие взаимодействия в обществе (сотрудничества и соревнования), предназначенного для того, чтобы удовлетворять эмоциональные запросы. Эти запросы принимают то, что, по существу, повсеместно является постоянной и ограниченной формой, вследствие их врождённой душевной и жизненной основы и общественного выражения этой основы. Отсюда проистекают (как подразумевалось ранее) ограниченные "формы" мифа. Нортроп Фрай пишет:

"Я должен различать первичные и вторичные интересы, хотя между ними и нет настоящей границы. Вторичные интересы возникают из общественного договора и включают привязанности патриотической и иной верности, религиозные верования и обусловленные классовой принадлежностью отношения и поведение. Они развиваются из идеологической стороны мифа и последовательно склоняются к тому, чтобы их непосредственно выражали на языке идеологической прозы. На стадии мифа они часто сопровождают ритуал. Такой ритуал может быть предназначен, например, для того, чтобы внушить мальчику, что он должен быть допущен в общество мужчин через ритуал, которому подвергаются только мужчины; что он принадлежит к этому племени или группе, а не к тому (обстоятельство, которое, вероятно, предопределяет природу его брака); что его особые тотемы, или божества-покровители, эти, а не другие.

Первичные интересы могут рассматриваться как принадлежащие к четырём главным областям: еда и питьё вместе со связанными с ними телесными потребностями; половые отношения; собственность (то есть деньги, имущество, кров, одежда и всё, что представляет собственность в смысле того, что оно является «принадлежащим» к собственной жизни человека); свобода передвижения. Общая цель первичного интереса выражена в библейском обороте «жить более изобильно». В начале первичные интересы относятся не столько к личным или общественным, сколько к общим, предшествующим сталкивающимся притязаниям единственного и множественного числа. Но, по мере того как общество развивается, они становятся притязаниями отдельной личности как отличные от притязаний государства. Голод – это общественное бедствие, но только отдельная личность умирает от голода. Поэтому долговременная попытка выражать первичные интересы может развиваться только в обществе, где уже развилось также и чувство личности. Аксиомы первичных интересов – это простейшие и оголённые плоскости, которые можно выразить в словах: жизнь лучше смерти; счастье лучше, чем несчастье; здоровье лучше болезни; свобода лучше рабства (для всех людей без значительных исключений).

То, что мы называем идеологиями, тесно связано со вторичными интересами и в большой мере состоит из их разумных выражений. И чем больше мы смотрим на мифы, или образцы рассказываемых историй, тем более ясно выделяются их связи с первичными интересами... Это укоренение поэтического мифа в первичных интересах объясняет то, что число мифических тем, отличных от отдельных мифов или историй, ограничено".³⁸¹

Явный свод нравственных правил обосновывается ссылкой на (религиозное, мифическое) повествование; повествование же есть (главным образом эпизодическое) представление традиции поведения; традиция возникает как следствие личного приспособления к требованиям естественных условий; она повсеместно проявляется в эмоции, порождаемой в общественной обстановке. Эпизодическое представление – которое является представлением исхода процедуры и самой процедуры – основано на вере в достаточность и действенность этой процедуры; говоря более тонко, оно обладает той же самой структурой – по крайней мере настолько, насколько оно является

точным представлением поведения, – и поэтому содержит (неявную) иерархическую структуру исторически определённого процедурного знания в более явном виде.

Поэтому в течение продолжительных промежутков исторического времени "образ" всё более точно охватывает поведение, а истории находят свою неотразимую существенную форму. Фрай утверждает:

"Литературное единство Библии является побочным продуктом чего-то другого (мы могли бы назвать его бессознательным побочным продуктом, если бы вообще что-нибудь знали о душевных процессах, вовлечённых в его создание). Более ранняя часть Ветхого завета с её ссылками на «Книгу Доблестного» (Яшар) и тому подобное производит то впечатление, что она очистила и возбудила богатую поэтическую литературу, чтобы извлечь из неё другой вид словесной сущности, а в меньшем масштабе тот же самый процесс можно увидеть и в Новом завете... Редакторская работа, проделанная над этим более ранним поэтическим материалом, не была попыткой низвести его от поэзии к своего рода простому прозаическому смыслу (в предположении, что таковой имеется). Этот род смысла подразумевает прямое обращение к доверчивости, к младенчеству, которое является столь раздражающей чертой народных религий и других идеологий. Что мы здесь имеем, так это скорее слияние поэтического и мифического представлений, которое относит нас за миф к чему-то другому. При этом оно ускользает от тех, кто предполагает, что миф означает только нечто такое, что никогда не случилось".³⁸²

Семантическая кодификация второго порядка основывается на эпизодическом представлении; она склонна с течением времени воспроизводить иерархическую структуру этого представления; и основана на принятии достоверности процедурной и эпизодической памяти. Семантическое, эпизодическое и процедурное содержание имеют (в душевно целостной, "сознательной" или душевно здоровой личности) общую тождественную иерархическую структуру в их соответствующих формах действия или представления. Эта составляющая единое целое нравственность придаёт предсказуемость личному и межличностному поведению, составляет основу устойчивого государства и помогает обеспечить управление эмоциями и их регулирование.

Рисунок 47 "Парадигматическое строение Известного" представляет "личность" типичного человека Запада – в этом случае делового человека из буржуазии и отца.

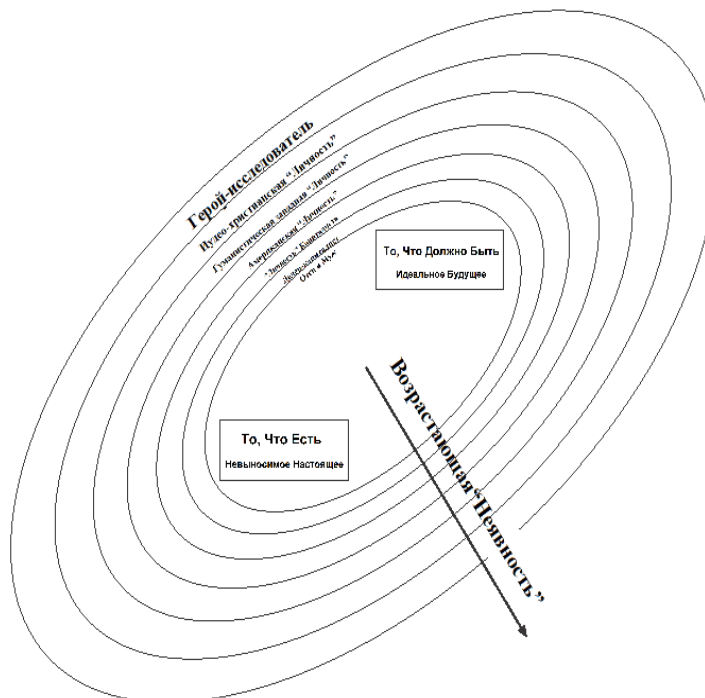


Рисунок 47

Его личная жизнь вложена внутрь всё более и более надличных, общих с другими "личностей" с глубокими всё более и более неясными историческими корнями. Продолжительная полезность "меньших историй", гнездящихся внутри больших, зависит от поддержания больших: как экономическая устойчивость буржуазной семьи, например, зависит от устойчивости капиталистической системы, так капиталистическая система коренится в гуманистической мысли Запада, так гуманизм зависит от понятия о внутренней ценности личности (от понятия "прав личности") и так внутренняя ценность личности зависит от её связи, или ритуального отождествления, с "героем-исследователем" общества. Более всеохватывающие, "внешние" уровни организации могут существовать только в поведении: то есть типичный человек Запада мало что знает или совсем ничего не знает о своих исторических корнях, хотя и "разыгрывает" исторически обусловленную личность. Точно также для личности, конечно, возможно – и это всё более становится правилом – отрицать свою "веру" в правильность иудео-христианской этики или в существование какого бы то ни было "героя-исследователя". Это отрицание на словесном уровне "сознания" только мешает цельности рассматриваемой личности. Процедурная сторона, в большой степени составляющая иудео-христианские верования, – и даже ритуальное отождествление до некоторой степени с их героем ("подражание Христу") – почти неизбежно остаётся при этом нетронутой (по крайней мере в случае "порядочного гражданина"). Современный образованный человек Запада "разыгрывает", но не "верит". Можно было бы сказать, что отсутствие изоморфизма между явным отвлечённым представлением о себе и реальными действиями приводит к существенному жизненному замешательству, к внезапному подчинению любой идеологии, дающей всему "более полное" объяснение. Таким же или даже более тревожным представляется то, что отсутствие явной "веры", обычно проявляется в медленном изменении образного представления и поведения (так как мысли со временем изменяют действия) и "невидимо" подрывает душевную и общественную устойчивость.

Группы и личности могут отличаться своими целями, ценностями и поведением на одном уровне, в то же время разделяя общие черты на "высших", более неявных уровнях. **Рисунок 48** "Известное как вложенные друг в друга группы и личности" изображает три такие группы, хотя это число произвольно.

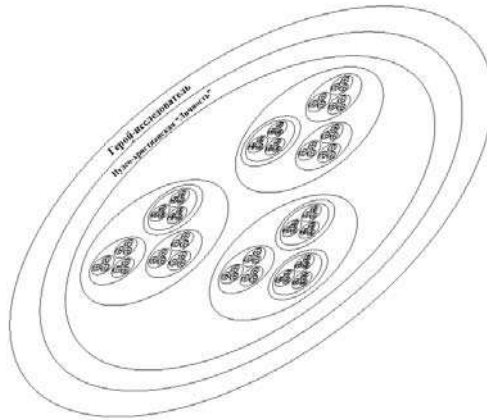


Рисунок 48

Католики, протестанты и православные, например, могли бы все рассматриваться в пределах иудео-христианской "личности": хотя они вполне могут сражаться между собой по любому поводу ("в пределах" этой личности), они должны стремительно объединить свои силы, чтобы устранить угрозу – действительную или воображаемую – со стороны евреев или мусульман. **Внутри** каждой из этих трёх групп – этих трёх разделяемых с другими "личностей" – тоже должны быть различия и сходства. В каждой общине верующих, вероятно, имеются свои отдельные секты, отличающиеся одна от другой временем их возникновения, отличной мерой ценностей и поведением, сопутствующим такому расхождению. В конце концов, личности внутри групп будут тоже расходиться во мнениях, в соответствии с их личными интересами и своеобразными верованиями.

(Это парадоксально, но именно верность этим **личным** чертам наиболее подлинно объединяет разные личности в "почитании" героя-исследователя. Это значит, что самый внутренний "уровень" организации личности – та сторона, которая скорее является поистине единственной в своём роде, чем общей, – является также и внешним уровнем, от которого зависит устойчивость всей структуры.)

Возникновение аномалии – "повторное появление Великой Матери" – представляет собой угрозу целостности нравственной традиции, направляющей поведение и оценку. Именно по этой причине приспособлению к аномалии – во многих "мифологически равносильных" видах, которые она принимает, – часто сопротивляются пассивно (посредством "непринятия её во внимание") или агрессивно (посредством попыток искоренить её источник). Как мы уже видели, аномалии могут иметь последствия на разных "уровнях". Наиболее глубокие угрозы подрывают устойчивость "личностей", которые охватывают наибольшее число людей, имеют самые глубокие исторические корни, наиболее полно укоренены в образе и поведении – наиболее широко применимы независимо от обстановки ("покрывают" наибольший возможный промежуток времени и пространства). Мы, по-видимому, в некотором смысле "знаем" об опасности глубоких аномалий, может быть, потому, что значительная масса отрицательных эмоций и отвлечённого познавательного размышления может быть извлечена просто через посредство представления себе их возможности ("что **если бы** нам угрожали иностранные дьяволы?"). Скажем, наша склонность отождествлять себя со своей (соответствующей) страной – лелеять наш патриотизм и гордиться им – отражает "знание" того, что, хорошо это или плохо, наша личная целостность и безопасность неразрывно связаны с судьбой нашей культуры. Поэтому мы испытываем побуждение защищать нашу культуру – защищать наше общество и самих себя – от "возвращения ужасного дракона хаоса". Однако дело часто обстоит так, что наши попытки поддерживать безопасность части нашего защитного самосознания подрывают нашу устойчивость на более высоком уровне бытия. Например "американский (британский, русский, китайский) образ жизни" – это более заметный (и менее требовательный) образ, чем герой-исследователь, хотя он и является менее решающе важной частью ядра нашего личного и культурного самосознания. Это значит, что попытки увеличить силу государства за счёт личности нецелесообразны, хотя бы они даже и могли повысить ощущение порядка и на короткий срок сдерживать эмоции. Патриотизм, как и любая подобная попытка усиления группового самосознания, должен быть ограничен сознанием того, что творческие способности личности должны рассматриваться как первостепенно важные – "божественные".

Личность защищена от хаоса в его полном проявлении многими "стенами", которые её окружают. Всё пространство снаружи данной стены, однако, – несмотря на его вероятный охват дополнительными защитными сооружениями – кажется несколько опасным всякому, кто в настоящее время находится внутри этой стены. Вся "внешняя область" вызывает страх. Эта эмоциональная "равнозначность" области страху не означает, однако, что все угрозы одинаково сильны: просто всё что угодно "снаружи" имеет одну и ту же способность напугать (или просветить) всё что угодно "внутри". Вызовы, бросаемые "высочайшим" уровням порядка, являются, очевидно, наиболее глубокими и, вероятно, вызывают наиболее основательные отклики. Наблюдение за откликами на такие угрозы может быть, однако, затруднено временными ограничениями: вызов, брошенный чрезвычайно "неявным" личностям, может вызывать отклики в виде исследования и обсуждения, пересмотра действия и борьбы между противоположными, взаимно исключающими точками зрения, которые продолжаются столетиями (случай католиков и протестантов). То, что угрозы, представляемые "высочайшим" уровням порядка, наиболее глубоки, осложняется "скрытостью" этих уровней и их "невидимостью". Кроме того, структуры, заложенные внутри данной личности, могут оказаться достаточно прочными, чтобы устоять и во времена, когда внешние стены, которые их защищали – и которые поистине придавали им структурную целостность, – были проломлены и разрушены. Устойчивость политического или общественного строя, некогда заложенного в потерявшее к себе доверие предвзятое религиозное мнение, можно было бы уподобить устойчивости здания, выстоявшего землетрясение: на поверхности оно выглядит неповреждённым, но ещё одного небольшого толчка может оказаться достаточно, чтобы оно обрушилось. "Смерть бога" в современном мире выглядит как совершившийся факт и, может быть, даже как событие, чьё влияние оказалось не смертельным. Но переворот в жизни и философская неопределённость, отличающие первые три четверти двадцатого века, доказывают, что мы всё ещё не стоим на твёрдой почве. Наше современное чудесное состояние относительного мира и экономического спокойствия не должно ослеплять нас: в наших душах – зияющие дыры.

Хаос, который был "скрыт" установлением временного порядка или которому оно придало форму, может вновь проявиться в любое время, явиться во всевозможных обликах. Любое новое появление хаоса – какова бы ни была его причина – может, однако, рассматриваться как событие того же самого рода с точки зрения эмоции, побуждения или смысла. Это значит, что все явления, которые угрожают современному положению дел, невзирая на их "объективные" черты, вследствие их эмоциональной тождественности могут быть отнесены к той же самой "естественной категории". Варвар у ворот поэтому неотличим от еретика внутри стен. Оба они равнозначны природному бедствию, исчезновению героя и возникающей старческой слабости царя. "Повторное появление дракона хаоса" – какова бы ни была его форма – представляет собой развязывание опасных, вызывающих страх (и многообещающих) возможностей. Различные "виды" этих возможностей и основания их равносильности, а также её природа являются нашим следующим предметом обсуждения. Природа отклика, вызываемого этими возможностями, – героического или иного – является темой остальной части этой книги.

4.2. Особые виды аномалий: странное, чужестранец, странная мысль и революционный герой

Аномальные явления имеют общую способность угрожать целостности известного – имеют общую способность разрушать "хорошо знакомое и исследованное". Такие явления, отличаясь своими особенностями и образом их проявления, входят в ту же самую естественную категорию. Угрозы устойчивости культурной традиции возникают четырьмя "мифологически неотделимыми" путями: через посредство быстрого изменения природной окружающей среды, "независимого" от человеческой деятельности; через посредство соприкосновения с изолированной до того чужой культурой; через посредство применения новых (революционных), опосредованных языком или эпизодической памятью критических навыков – неизбежного следствия растущей способности абстрагировать, обучаться и сообщать свои знания другим; и как следствие революционной героической деятельности.

"Естественная" человеческая склонность откликаться на чужестранца, странную мысль и на творческую личность со страхом и агрессией может быть легче понята, как только станет понятно, что эти разные явления принадлежат к той же категории, что и "стихийное бедствие". Трудность с этой "естественной" реакцией, однако, состоит в том, что способность аномального нас "расстраивать", то есть выводить из душевного равновесия, одновременно является жизненно важным источником интереса, смысла и личной силы. Кроме того, способность "расстраиваться" – подрывать и вновь оживлять наши собственные верования – есть внутренне необходимая и "божественная" сторона человеческой души: часть самого творящего "Слова".

Для тех, кто "продал свои души" своей группе, это Слово неотлично от врага.

4.2.1. Странное

Изменение условий "окружающей среды" как следствие чисто естественных причин обычно понижает устойчивость культуры. Продолжительная засуха, наводнения, землетрясения, заразные болезни – наиболее ужасающие и причудливые явления природы – способны одним ударом обессилить самые тщательно приспособленные к своей среде общества.

Стихийные бедствия подобного рода можно было бы рассматривать просто как быстрые изменения – как ситуации, где ранее отмеченные эмоционально уместные отношения окружающей среды меняются быстрее, чем может последовать приспособительное действие. Это значит, что недостаточность культурного приспособления трудно отличить от естественной катастрофы. Общество, так сказать, лёгкое на подъём, постоянно пребывает в состоянии готовности приспособиться к неожиданному изменению – даже к быстрому и катастрофическому неожиданному изменению – и даже превратить такое изменение в нечто положительно благотворное (рассмотрим, например, послевоенных японцев). Отношение между "стихийным бедствием" и "приспособлением культуры" поэтому подобно отношению "эмоции" к "познанию": эмоция, вызванная новизной, всегда возникает там, где что-нибудь неизвестно (и потому всегда зависит от того, что известно); всегда сравнивается с некоторым умозрительным представлением настоящего, будущего и средств перехода из одного в другое. Что представляет собой "новизна", таким образом, зависит от того, что не ново в условиях настоящего. Что представляет собой

"травма" зависит от имеющихся налицо набора образов поведения и схемы оценки. Метель, которая вывела бы Вашингтон из строя на месяц, едва заставляет мигнуть жителей Монреаля.

Мифологические представления быстрого изменения непредвиденных обстоятельств окружающей среды (изображаемые как новое явление Великой Матери или, более коренным образом, дракона хаоса) непременно "заражены" образами бесплодного, состарившегося или тиранического царя, чья непреклонность превращает всякое неизбежное изменение окружающей среды в смертоносное. Когда бедствие не является бедствием? Когда общество готово откликаться на него соответствующим образом. И наоборот, любое незначительное изменение природы могло бы рассматриваться как конечное, катастрофическое – и на самом деле стать таким, – если устройство приспособления к этому миру требует слепого повиновения, при котором любое самопроизвольное изменение считается запрещённым, еретическим.³⁸³ Общество с таким отношением к изменениям – такое, как прежний Советский Союз, – это несчастный случай, ждущий того, чтобы произойти. Интересный пример последствий такого отсутствия гибкости в личном масштабе описан Куном:

"В психологическом эксперименте, который заслуживает того, чтобы быть гораздо лучше известным вне профессиональных кругов, Брунер и Постмэн³⁸⁴ просили подвергавшихся ему определить после короткого и контролируемого показа ряд игральных карт. Многие из карт были обычными, но некоторые – необычными, например красная шестёрка пик и чёрная четвёрка червей. Каждый отдельный эксперимент состоял из показа одной карты одному испытуемому, причём время показа постепенно увеличивалось. После каждого показа испытуемого спрашивали, что он видел, и отдельный эксперимент заканчивался после двух последовательных правильных опознаний.

Даже после кратчайшего показа многие испытуемые распознавали большинство карт, а после небольшого увеличения продолжительности показа все испытуемые распознавали все карты. Обычные карты по большей части распознавались правильно, но необычные – почти всегда распознавались как обычные, без видимого колебания или смущения. Чёрная четвёрка червей могла, например, быть опознана как четвёрка или червей или пик. Без какого-либо колебания она тотчас же вставлялась в одну из понятийных категорий, подготовленных прежним опытом. Не хотелось бы даже говорить, что испытуемые видели нечто отличное от того, что они узнавали. При дальнейшем возрастании времени показа необычных карт испытуемые действительно начинали колебаться и обнаруживать сознание аномалии. Когда им, например, показывали красную шестёрку пик, некоторые, бывало, говорили: «Это шестёрка пик, но с нею что-то не так: у чёрных пик – красная граница». Дальнейшее увеличение времени показа вызывало ещё большее колебание и смущение, до тех пор пока в конце концов (и иногда совершенно внезапно) большинство испытуемых без какого-либо колебания не распознавало все карты правильно. Более того, после того как они это проделывали с двумя или тремя необычными картами, они испытывали не так уж много дополнительных трудностей с другими картами. Небольшое число испытуемых, однако, никогда не было в состоянии произвести требуемое приспособление своих категорий. Даже при времени показа в сорок раз больше, чем среднее время показа, необходимое для распознавания обычных карт, более десяти процентов необычных карт не были правильно опознаны. И испытуемые, которые потерпели в этом неудачу, часто испытывали острое личное огорчение. Один из них воскликнул: «Я не могу понять, что это за масть, какая бы она ни была. На этот раз это даже не выглядит как карта. Я не знаю, какого она теперь цвета, и пики это или черви. Боже мой!»³⁸⁵

Миф и литература постоянно представляют "иссушенное царство", общество, ставшее жертвой (наиболее часто) засухи: конкретно – отсутствия воды и символически – отсутствия "живой воды", или духа; представляют землю, пересохшую от чрезмерно продолжительного господства (некогда великой) правящей "идеи". Эта идея – в повествовании и часто в действительности – есть царь, дух предка, представитель своего народа, сделавшийся тираном от старости, или из-за гордости, или от невыносимого разочарования или вянувший под влиянием какой-то преднамеренно неправильно понятой силы-советчицы. Развитие таких неприятных и опасных ситуаций требует, конечно, появления героя – "пропавшего сына" подлинного царя, которого тайно воспитали приёмные родители; законного правителя царства, чья власть была подорвана или который был, по общему мнению, убит ещё в юности; законного наследника престола, странствовавшего в далёких странах и

считавшегося умершим. Герой низвергает тирана и занимает принадлежащее ему место. Боги, которым приятно восстановление порядка, ещё раз дают выпасть дождю (или не дают ему больше выпадать в опасном избытке). В истории этого рода созидательная сторона неизвестного (природы) в переносном смысле "заперта" всеподавляющей современной культурой. Такое состояние дел в царстве, доведённом до застоя, можно было бы представить, например, в виде спящей принцессы (или в виде какой-то другой разновидности существования "сокровища, которое трудно добыть"³⁸⁶). Оцепеневшее от "отеческого" деспотизма³⁸⁷ (или часто от страха перед Ужасной Матерью) царство пребывает в застое, в то время как принцесса – природа в её благожелательном облике – ожидает поцелуя героя, чтобы проснуться. Её пробуждённая и оживлённая красота вновь одушевляет её народ.

Ритуалы смерти и возрождения царя разыгрывали это преобразование культуры задолго до того, как общее представление о возрождении стало постижимым. Фрай утверждает:

"Предполагаемый ритуал, изученный в «Золотой ветви» Фрэзера, может быть достаточно уязвим в различных контекстах антропологии, но в качестве структуры мифа он так же твёрд, как пирамиды. Здесь царь, рассматриваемый как божественный, предаётся смерти на вершине своих сил из страха перед тем, что его физическое ослабление принесёт соответствующее бессилие плодородию земли, которой он правит... Принесённый в жертву божественный царь тотчас же замещается своим преемником, а его тело затем съедается, и кровь выпивается в обрядовой церемонии. Мы должны сделать, пожалуй, отчаянное усилие, чтобы наглядно увидеть, что теперь имеется два тела божественного царя: одно – воплощённое в его преемнике, а второе – скрытое в животах его почитателей. Последнее заставляет общество через посредство поедания и выпивания объединиться в одно тело, которое является как их собственным, так и его телом".³⁸⁸

Обширное собрание повсеместно распространённых мифов об умирающем и воскресающем боге³⁸⁹ (разыгрываемых в жертвенном обряде) живо воплощает два общих представления. Первое: действительные идеи, или образцы поведения, управляющие приспособлением к окружающей среде, должны умереть и возродиться заново, чтобы обеспечить постоянное осовременивание способов выживания. Второе, более основное, состоит в том, что герой – подлинный деятель приспособления – должен вечно ниспровергать защитное устройство традиции и входить в жертвенный союз с вновь возникающим неизвестным. Сами космологические явления "разыгрывают" эту вечную драму (точнее сказать, используются как описательные орудия для неё): солнце (бог), рождённое на востоке, "умирает" на западе и проходит в преисподнюю ночи (в логово дракона хаоса). Каждую ночь герой-солнце сражается с ужасными силами хаоса, вырезает себя из чрева этого зверя и торжествующе возрождается утром.

Владыкой странного в его "естественном виде" является герой в его технологическом облике (более, чем в, скажем, его общественной роли революционера). Мардук, который встал лицом к лицу с Тиамат в единоборстве, – это очень серьёзный представитель "владычества" человека над природой. Образ действия, этого бога, мужественный и творческий перед лицом неопределённости, "бессознательно" рассматривался жителями Месопотамии как необходимый для "нахождения остроумных выходов" при "столкновении с Тиамат"³⁹⁰. Герой придаёт форму орудиям защиты, взятым из природы, чтобы использовать их против природы. Эта мысль, лежащая в основе культурного приспособления человека, "естественно" проявляется в человеческой душе.

Самопроизвольная фантазия, проявленная 10 августа 1997 года моей дочерью Михайлой в возрасте пяти лет и восьми месяцев во время игры в принца и принцессу с её трёхлетним братом Джулианом: "Папа, если бы мы убили дракона, могли бы мы использовать его шкуру как броню, что нет? Разве это не очень хорошая мысль?"

Герой использует положительную сторону Великой Матери как защиту от её отрицательного двойника. Таким образом "стихийное бедствие" сдерживается – или ещё лучше – переводится из кризиса в благоприятную возможность.

4.2.2. Чужестранец

Прибытие чужестранца, конкретно представляемое в мифологии, является угрозой "устойчивости царства", в переносном смысле неотличимой от угрозы, выдвигаемой "изменением окружающей среды". Устойчивый **смысл** событий жизни как следствие иерархической структуры группового самосознания легко разрушается присутствием "другого", который практически представляет конкретную угрозу устойчивости наличной структуры, определяющей, кто над кем и что над чем господствует, и который, в более отвлечённом смысле, – так как его действия "отражают" его нравственную традицию – существует как буквальное воплощение вызова **допытным** предположениям, направляющим верования. Чужестранец не действует ожидаемым образом. Его "внутренняя" непредсказуемость делает его неотличимым от неизвестного как такового и легко отождествляемым с той силой, которая постоянно подрывает порядок. Такое отождествление с точки зрения группы также не является чисто произвольным, так как простое существование (пользующегося успехом) чужестранца выдвигает серьёзную угрозу устойчивости общей культуры – её способности сдерживать ужас жизни и придавать определённое значение действию.

Когда представители одной изолированной группы входят в соприкосновение с представителями другой группы, сцена, следовательно, готова для беды. Каждая культура, каждая группа развивались для того, чтобы защищать своих представителей от неизвестного – от ужасающих сил Великой и Ужасной Матери, от невыносимых эмоций, – развивались, чтобы придавать порядок общественным отношениям и уметь их предсказывать, задавать цели и средства их достижения. Все культуры вырабатывают особый образ жизни, оказываясь перед лицом ужаса и неопределённости. Все культуры – это устойчивые, целостные, иерархически устроенные структуры, основанные на предположениях, считающихся безусловными, но особая природа этих предположений в разных культурах различна (по крайней мере на более понятных и "сознательных" уровнях анализа). Каждая культура представляет своеобразную парадигму, образ поведения перед лицом неизвестного, и эта парадигма не может быть изменена (её основные аксиомы не могут быть изменены) без тяжёлых последствий – без распада, в переносном смысле смерти – до (возможного) воссоздания.

Каждое общество – каждая культура – предоставляет защиту от неизвестного. Само неизвестное – это опасная вещь, полная непредсказуемости и угрозы. Беспорядочные общественные отношения (лишённые порядка, определяющего, кто над кем и что над чем господствует) вызывают тяжёлое беспокойство и резко повышают возможность столкновений между личностями. Кроме того, распад определяемых культурой целей делает личную жизнь, отождествляемую с этими целями, бессмысленной и не приносящей её внутренней сущности вознаграждения. Невозможно и неразумно просто отказаться от данной культуры, которая есть образ общего приспособления к окружающей среде, только потому, что проходит рядом кто-то ещё, кто делает дела по-другому, чьи действия основаны на других предпосылках. Это не простое дело – подстраивать общественные отношения под новые идеи. Не простое дело – и отказываться от цели, главной объединяющей и побуждающей к действию мысли. Отождествление личности с группой означает, что душевная устойчивость личности поставлена на карту, когда речь идёт о поддержании благополучия группы. Если группа внезапно идёт ко дну вследствие внешних обстоятельств или внутренней борьбы, входящая в неё личность обнажается перед миром, её общественные связи исчезают, оправдание её существования пропадает, она проглатывается невыносимым неизвестным, и ей не легко уцелеть. Ницше утверждает:

"Человек эпохи распада, смешивающей расы без всякого разбора, человек, получивший вследствие этого весьма разнообразное племенное наследие, – т. е. противоположные и часто не одни только противоположные инстинкты и ценностные нормы вещей, которые борются друг с другом и редко успокаиваются, – такой человек поздних культур и преломлённых лучей в среднем становится слабее: главнейшее стремление его клонится к тому, чтобы наконец кончилась война, которую он собою **олицетворяет**".³⁹¹

Невысказанный вывод из наблюдения Ницше состоит в том, что эмоционально неприятная война, связанная со смешением рас (смешением культур, если использовать более современную терминологию), предшествует появлению той более основательно объединённой личности, которая "выиграла" эту войну. Этот "победитель" – который организовал соперничающие в настоящее время точки зрения различных культур в объединённую иерархию – будет сильнее, чем его

"однокультурный" предшественник, так как его поведение и ценности будут следствием более разнообразного и широко классифицирующего объединения отдельных культур. Именно "бессознательное" рассмотрение возможного положительного исхода такого смешения культур привело Ницше к откровению о зарождающемся будущем "сверхчеловеке"³⁹². Победа при соприкосновении культур – это, однако, не простое сосуществование различных ранее самостоятельных предположений в одной душе. Это означает, что упрощенческое содействие "культурному разнообразию" как средству от всех болезней вероятно вызовет беззаконие, нигилизм и ответный удар реакции. Именно сплавление этих разнообразных верований в единую иерархию является предпосылкой мирного смешения их всех. Это сплавление не может обойтись без войны, или борьбы, между противоречивыми потребностями "при соприкосновении культур". Такая борьба настолько трудна, настолько эмоционально выбивает из колеи и бросает такой познавательный вызов, что убийство необычного "другого" в нравственно приемлемом облике войны часто кажется утешительной возможностью.

Между группами людей сильные угрозы – обычное дело. Конкретно говоря, угрожающим является **поведение** чужестранцев – непредсказуемое в частности, ужасающее в общем, – потому что существенные верования, бросающие вызов верования наиболее убедительно выражаются посредством действий:

"Он сделался для нас порицанием наших мыслей; самый вид его – бремя для нас, ибо его образ жизни не таков, как у других, а его обычаи странны".
(Премудрость Соломона, 2 : 14 – 15).

Чужой человек, чужестранец, является угрожающим, потому что он не утвердился внутри общественной иерархии и может поэтому вести себя непредсказуемо – с непредсказуемыми последствиями для неё. Сигналы безопасности и угрозы меняются при переходе от одной группы к другой. Непредсказуемое означает вероятную опасность. Говоря более отвлечённо, в частности, то, во что чужестранец **верит**, угрожает общей целостной структуре исторически определённой веры. Однако трудности не возникают, если его чуждые действия или мысли не вызывают основного противоречия – не угрожают главным верованиям. Когда, однако, под угрозой оказываются основные понятия, снова поднимает голову невыносимое, ужасное неизвестное и некогда твёрдая почва начинает поддаваться.

4.2.3. Странная мысль

Всевозрастающая способность к абстрагированию делает прежние познания, установленные не абстрактными средствами, всё более и более доступными изменению и всё более и более уязвимыми. В этом, некоторым образом, состоит вся суть абстракции и самой способности к обучению. Слов – обманчиво простых и безвредных – достаточно, чтобы вызвать разрыв и столкновение, потому что "человек разумный" может выражать свои верования словами. Можно было бы сказать поэтому – и с достаточным основанием, – что **новая мысль** – это **принявший отвлечённый вид чужестранец** (или, посредством той же самой логики, **стихийное бедствие**). Именно по этой причине перо поистине более могущественно, чем меч.

Процесс постоянно возрастающего абстрагирования способствует всё более возрастающему самопониманию (самосознанию) и предсказанию поведения других, которое неразрывно связано с развитием самосознания (как бы я стал себя вести в такой обстановке?). Кроме того, абстрагирование облегчает распространение нравственности (наставления в том, как себя вести), до того как нечто важное действительно произойдёт. Например драма, которая представляет поведения **в поведении и образе**, позволяет следить за действием, могущим иметь ужасные последствия без того, чтобы актёры или зрители им подвергались.

Однако способность к абстрагированию далась не даром. Неосторожные, одарённые воображением (и обиженные) могут легко использовать свой дар разума, созданного обществом, чтобы подрывать нравственные начала, для создания которых потребовались века и которые имеют законные, хотя и невидимые для них основания. Такие "невидимые" начала, как только они принимают образную, письменную или устную, форму, легко подвергаются критике невежд в истории. Последствием этой "критики" является подрыв необходимой веры и распад предсказуемости отношений между личностями, расстройство управления эмоциями и порождение

безнравственности, агрессии и идеологического легковерия, так как обнажённая душа старается снова одеться.

Опасность такой критики может быть более тщательно оценена, если рассмотреть то, что называется **каскадом**. Мы можем изменить своё поведение, потому что мы изменяем то, как мы думаем, хотя это и не так просто, как обычно считают. Мы можем изменять то, как мы думаем, легко и невзирая на последствия отчасти потому, что не понимаем, почему мы думаем то, что думаем (потому что не все обстоятельства, которые направляют наше поведение, известны нашему "сознанию"), и потому, что воздействия этого изменения часто не являются непосредственно очевидными (могут не быть очевидными в течение поколений). То, что изменения в традиции имеют ненамеренные и часто опасные "побочные последствия", объясняет консерватизм большинства человеческих культур. Упомянутый выше "каскад" означает, что угроза ощущаемой законности любого предположения на любом уровне (процедурном, образном или эпизодическом, явном или семантическом) угрожает всем уровням одновременно. Это значит, что "случайная" критика данного "явного" предположения может со временем дойти до того, чтобы подорвать "бессознательную" образную и процедурную "личность" культуры и эмоциональную устойчивость, которая ей сопутствует. У слов есть сила, которая лежит в основе лёгкости их использования.

Рисунок 49 "Отрывочное представление «процедуры и обычая» в образе и слове" даёт схематическое изображение организации поведения и схем оценки в "памяти".

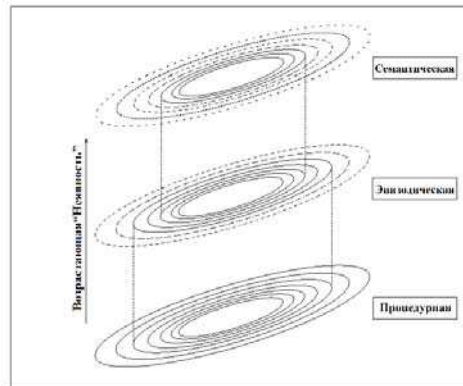


Рисунок 49

Обычаи – то есть предсказуемые и устойчивые образы поведения – возникают и хранятся "процедурно" как следствие постоянного взаимодействия в обществе в течение долгого времени и как итог обмена эмоциональной информацией, отличающей это взаимодействие. Ты изменяешь меня, я изменяю тебя, мы оба изменяем других и так далее в цикле, который вовлекает тысячи личностей в течение тысячелетий. Большая часть этой информации является более или менее постоянной частью общественной сети (является частью устройства общества), но может стать частично или полностью представленной в образах, а затем более явно – в словах. Образное представление "нравственности" данного общества будет, вероятно, неполным, поскольку сложность образов, его составляющих, превосходит (современную) способность к представлению. Семантические представления, посаженные "над" образами, вероятно, должны быть даже более неполными. Это значит, например, что словесные системы, используемые в отвлечённом мышлении, содержат, в лучшем случае, только "часть загадки", содержат только частичные сведения относительно устройства целого. Поэтому в то время как некоторые из "правил", управляющих поведением, стали полностью "явными" и "понятыми", другие остаются частично скрытыми (и плохо "понятыми"). Некоторые из этих частично скрытых правил, вероятно, должны существовать по полностью неявным (и поэтому полностью невидимым) причинам. Именно такие правила, как эти – находящиеся на самой грани понимания, – должны, вероятно, вызвать основанную на плохом их понимании, но, тем не менее, потенциально сокрушительную критику. Отвлечённый словесный разум может сверлить дыры в "нелепой мифологической структуре", которая его поддерживает, не понимая ни того, что его поддерживают, ни того, что такой подрыв

смертельно опасен для жизни. Легко критиковать, например, понятие "бессмертной души" и традиционную нравственность, которые склонны сопутствовать вере в неё, не понимая, что в этом общем представлении содержится больше, чем видно глазу.

"Каскад" означает, что угроза ощущаемой законности любого предположения на любом уровне – обычно словесно опосредованном – тотчас же становится угрозой и этому предположению, и всему, что на него опирается на всех уровнях. Общественно опосредованная способность абстрагировать – рассуждать и представлять, в поведении, воображении и слове – означает, что плохо выбранные действие, фантазия или мысль могут иметь разрушительные последствия. Это, в особенности, верно в отношении слова, волшебного слова – а-бра-ка-да-бры. Одно хорошо выбранное выражение может изменить **всё** ("от каждого по способности..."). Слово, в определённом контексте (контексте, установленном поведением и эпизодическим представлением), многозначно: оно исключает больше (ограничивает больше), чем кажется, и значит больше, чем оно (рассматриваемое само по себе или выдернутое из контекста) "содержит". Оно обладает этой способностью отчасти потому, что способно относиться к явлениям вне его области значений, для того чтобы сделаться понятным (в этом состоит использование метафоры). Слово приводит на ум события и действия, особым образом образующие последовательность. Именно (воображаемое) представление этих событий и действий содержит многое из его значения: слова действуют просто как намёки для его восстановления. Восстановленная информация (ещё) не обязательно является семантической: она может по-прежнему оставаться воплощённой в эпизодической памяти и процедуре. Многозначность осмысленного слова, которое что-то значит для образного представления и придаёт упорядоченность поведению, делает его могущественным и опасным. Вся иерархия поведения может быть подорвана удачно выбранным искусным выражением, если это выражение – носитель нравственных предположений совершенно другой и, может быть, логически (или, по крайней мере, видимо) противоположной природы.

Существует недостоверная история о космологе, читающем лекцию сельским жителям в конце первого десятилетия XIX века. Он описывает основное устройство солнечной системы, подчёркивая то обстоятельство, что Земля, ничем не поддерживаемая, плавает в пространстве, бесконечно вращаясь вокруг Солнца. После лекции одна старуха подходит к подножию кафедры и говорит:

"Молодой человек, это очень интересная история. Конечно, она совершенно нелепа".

"Нелепа, мадам? – спрашивает лектор. – Что это вы имеете в виду?"

"Хорошо известно, – отвечает старуха, – что Земля покоится на спине огромной черепахи".

"Если это так, мадам, тогда на чём покоится эта черепаха?"

"Не играйтесь со мной, молодой человек, – отвечает старуха, – там и ниже одни черепахи".³⁹³

Дуглас Гофшtedтер представил похожую идею в вымышленном обсуждении между греческим героем Ахиллесом и черепахой, прославленными **парадоксом Зенона**:

"Черепаха. Для пояснения позволь мне предложить тебе рассмотреть более простое утверждение: «29 – простое число». Ну, по сути, это утверждение в действительности означает, что дважды два – это не 29, и пятью шесть – это не 29 и так далее, разве не так?

Ахиллес. Должно быть, так, я полагаю.

Черепаха. Но ты совершенно счастлив собрать все такие факты вместе и прикрепить их связкой к числу 29, говоря просто, что «29 – простое число»?

Ахиллес. Да...

Черепаха. И число вовлечённых в рассмотрение фактов на самом деле бесконечно, не так ли? В конце концов, такие факты, как «4444, умноженное на 3333, не равно 29», все являются частью того факта, что «29 – простое число», разве не так?

Ахиллес. Строго говоря, я полагаю, что так. Но ты и я оба знаем, что нельзя получить 29, перемножая два числа, большие, чем 29. Поэтому в действительности, сказать, что «29 – простое число», – значит только подытожить **КОНЕЧНОЕ** число фактов насчёт умножения.

Черепаха. Ты можешь, если хочешь, выразить это таким образом, но подумай о следующем: то, что произведение двух чисел, которые оба больше, чем 29, не может равняться 29, затрагивает всё строение системы натуральных чисел. В таком смысле этот факт сам по себе есть краткое изложение бесконечного числа фактов. Ты не можешь, Ахиллес, уйти от того

обстоятельства, что, когда ты говоришь: «29 – простое число», ты на самом деле утверждаешь бесконечное число предложений.

Ахиллес. Может быть, это и так, но для меня это ощущается как только один факт.

Черепаша. Это потому, что бесконечность фактов содержится в твоём предшествующем знании: они неявно внедрены в тот способ, которым ты наглядно представляешь себе вещи. Ты не видишь явной бесконечности, потому что она неявно заключена в образах, которыми ты орудуешь".³⁹⁴

Здесь одинаково **кстати** приходятся замечания Джерома Брунера о "спусковых крючках". Он приводит как примеры следующие предложения. Спусковой крючок: "Джон видел (или не видел) химеру". Предпосылка: "Существуют химеры". Спусковой крючок: "Джон понимал (или не понимал), что он сломлен". Предпосылка: "Джон был сломлен". Спусковой крючок: "Джону удалось (или не удалось) открыть дверь". Предпосылка: "Джон пытался открыть дверь". "Существует" фактически бесконечное число "предпосылок" для каждого "спускового крючка". Брунер утверждает: "Очевидно, вы не можете понуждать читателя (или слушателя) бесконечно заниматься истолкованием ваших неясных замечаний. Но вы можете пройти в этом направлении удивительно долгий путь только при условии, что вы начнёте с чего-то, приближающегося к тому, что Джозеф Кемпбелл называл «мифологически обученной общиной»".³⁹⁵ Передача того, что обычно рассматривается как духовная мудрость, на самом деле способна принимать повествовательную форму (быть "сведённой к ней") именно потому, что слово – в контексте истории, которая является описанием эпизодического представления событий и поведения, – обладает этим обманчиво простым, однако бесконечно многозначительным свойством быть "спусковым крючком":

"Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём,

Которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.

Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина взявши положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.

Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им,

Да сбудется речённое чрез пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира»" (Матфей, 13 : 31 – 35).

Не только история насыщена значением; точно так же им насыщены воображение, поведение и практические последствия воображения и поведения. Отдельные мысли, особые плоды воображения и личные поступки людей предполагают культуру, от которой они происходят. Слово, в осмысленном контексте, осмысленно именно потому, что оно даёт информацию, имеющую отношение к эпизодическому представлению **самому по себе**, а также потому, что оно обладает уместностью – которая может не быть "сознательно" постижимой или описуемой – для поведения. Подобным же образом поведение и фантазии – в контексте – основаны на определяемых культурой ценностях и верованиях и, по сути, их содержат. Именно поэтому Юнг мог сказать о фантазии современного мечтателя:

"По сути, он является бессознательным представителем самостоятельного душевного развития, в точности как средневековый алхимик или классический философ-неоплатоник. Следовательно, можно было бы сказать – **с некоторыми оговорками**, – что история могла бы так же легко быть воссоздана из собственного бессознательного человека, как и из подлинных текстов".³⁹⁶

Даже более конкретный инструмент или орудие, подобно слову, не является поделкой, которую можно отделить от культуры, где она была создана. Именно непонимание этого обстоятельства обрекает на неудачу многие из благонамеренных планов "помощи зарубежным странам" и, не менее того, жителей тех зарубежных стран, которым такая помощь предоставляется. Даже нечто столь же "простое", как лопата или мотыга, предполагает наличие культуры, которая предоставила человеку владычество над природой – которая дала человеку право заставлять Великую Мать содействовать

человеческим притязаниям. Это представление составляет главную мысль сложно цивилизованной патриархальной культуры и возникает в сознании с величайшей трудностью:

"Индийский пророк, по имени Смохалла, из племени Юматилья отказывался возделывать землю. «Это грех, – говорил он, – ранить или резать, рвать или царапать нашу общую мать, работая в сельском хозяйстве». И он добавлял: «Вы просите меня вкапываться в землю? Должен ли я взять нож и погрузить его в грудь моей матери? Но тогда, когда я умру, она не заберёт меня опять в своё лоно. Вы говорите мне, чтобы я выкапывал и убирал прочь камни. Должен ли я увечить её плоть так, чтобы добраться до её костей? Тогда я никогда не смогу опять войти в её тело и опять родиться. Вы просите меня срезать траву и маис и продавать их, чтобы стать богатым, как белые люди. Но как же я посмею обрезать волосы моей матери?»³⁹⁷

Каждое общество обладает своей точкой зрения на нравственность, которая, в сущности, есть самосознание, состоящее в неоспоримой верности особенному представлению о "действительности" (о том, **что есть** и **что должно быть**) и из соглашения о природе принятого поведения. Все люди каждой отдельной нации, в основном, соглашаются насчёт природы невыносимого настоящего, идеального будущего и средств преобразования одного в другое. Каждый человек своими действиями более или менее успешно разыгрывает это умозрительное предствление; более успешно – или, по крайней мере, более спокойно, – когда не происходит ничего непредусмотренного, порождающего сомнение; менее успешно – когда нравственное действие не вызывает надлежащих последствий. Любое предположение можно оспорить. Основная надежда моих фантазий – каковы бы они ни были – то, что мои предположения истинны. Несоответствие между тем, чего я желал, и тем, что произошло на самом деле, является свидетельством того, что одно (или более) из моих предположений неверно (но не обязательно сведениями о том, какое из них неверно и на каком оно уровне). Последствием такого несоответствия является применение других (основанных на предположениях) образов действия и связанных с ними ожиданий (порождение гипотез), что связано с собиранием новых сведений посредством деятельного исследования. Чем более основным и обобщённым является то предположение, которому угрожает это несоответствие (то есть чем более истинность других предположений от него зависит), тем более **напряжённа** ситуация, тем больше растормаживается страха, тем больше побуждений для отрицания, тем больше необходимость в исследовании, тем более необходимо перепрограммирование предположений о поведении и соответствующих чувственных ожиданий.

Поистине неожиданная последовательность событий опровергает те неявные предположения, на которых была основана первоначальная особенная фантазия и не только эта фантазия, но и **бесчисленные неявные другие, чьё существование зависит от этих нарушенных предположений**. Неизбежным последствием их нарушения являются несостоятельность ожидания и последующее порождение страха и надежды, за которым идёт исследование – попытка приспособиться к новой окружающей среде (вести себя соответственно – удовлетворить побуждающие потребности при новых условиях и нанести на карту новые условия). Это последствие требует полного прекращения деятельности, связанной с использованием прежней модели, возвращения в остальном поддерживаемых устойчивыми эмоциями к соперничеству и хаосу и направляемого исследованием восстановления порядка.

Чем более основным является уровень, тем больше общего имеют его предположения с фактически каждой мыслимой фантазией. Чем более основной уровень подорван, тем больше высвобождается тревоги и уныния, и других побуждений, особенно (и это не очевидно) **надежды**. Чем больше приспособляющееся поведение приобретает дурную славу, – чем больше побуждений для отрицания, обмана, фашистского переприспособления, вырождения и отчаяния, – тем сильнее желание спасения. Подрыв и перестройка более основных уровней есть, как мы уже видели, действие революционное, даже в научной области. "Обычный" учёный работает в пределах ограничений великих моделей; учёный-революционер изменяет эти модели. "Обычный" учёный, так сказать, принимает (современную) игру как истинную и пытается расширить имеющую к ней отношение область. Учёный-революционер, который изменяет сами правила этой игры, играет в другую игру, с другими и опасными с точки зрения современной игры правилами. Кун утверждает:

"Переход от парадигмы в переломном состоянии к новой парадигме, из которой может возникнуть новая традиция обычной науки, – это процесс, далёкий от процесса накопления,

процесса, осуществляемого разработкой или расширением прежней парадигмы. Скорее это восстановление научной области, исходя из новых основ, восстановление, изменяющее некоторые из наиболее основных теоретических обобщений этой области, равно как и многие из методов и применений её парадигмы. В течение переходного периода будет иметь место значительное, но никогда не полное перекрывание между задачами, которые могут быть решены в пределах старой и новой парадигм. Но будет существовать также и решительная разница в способах их решения. Когда переход будет завершён, специалисты изменят свои взгляды на эту научную область, её методы и её цели".³⁹⁸

Обычный учёный часто противоположен своему более крайнему (более созидательному и более разрушительному) двойнику – как хороший член общества противоположен еретику – отчасти потому, что изменение правил изменяет значение (ранее ценимых) действия и мысли как побуждений, часто, по-видимому, сводя его к нулю (что означает, что революционер может полностью уничтожить значение карьеры, прошлой, настоящей и будущей, преданного и усидчивого работника); отчасти же потому, что перестройка правил временно возвращает всё к состоянию вызывающего тревогу хаоса. Кун утверждает:

"... парадигма является [даже] предпосылкой самого восприятия. То, что человек видит, зависит как от того, на что он смотрит, так и от того, что предыдущий зрительно-понятийный опыт научил его видеть. При отсутствии такого обучения может иметь место только, используя выражение Уильяма Джеймса, «цветущий и гудящий беспорядок»".³⁹⁹

Этот "цветущий и гудящий беспорядок" – Великий Дракон Хаоса, если это ещё нужно говорить, – не является эмоционально безразличным: по сути, его эмоциональное значение – угроза и обещание – это, может быть, всё, что может быть испытано, до того как его отнесут к какой-то категории.

Иногда новые сведения означают, так сказать, просто побочное приспособление поведения – изменение подхода в пределах области, по-прежнему определяемой хорошо знакомой целью. Иногда, однако, неизвестное возникает способом, который требует качественного исправления стратегии приспособления – переоценки прошлого, настоящего и будущего и принятие страданий и замешательства, которые это непременно повлечёт. Кун делает замечания о воздействии неожиданно возникающего и устойчивого неизвестного в области науки и вызываемых им эмоциях. Структура, которую он описывает, была отличительной чертой всех переворотов в познании, включая те, которые имеют место в мире (обычной) нравственности:

"Когда... аномалия доходит до того, чтобы казаться чем-то большим, чем просто ещё одной загадкой обычной науки, переход к кризису и к необычной науке уже начался. Сама аномалия теперь приходит к тому, чтобы быть более общепризнанной специалистами как таковая. Ей посвящают всё больше и больше внимания всё больше и больше самых выдающихся людей из той научной области, к которой она относится. Если она по-прежнему продолжает не поддаваться их усилиям – чего обычно не происходит, – многие из них могут придти к тому, чтобы рассматривать её решение как **предмет** их науки. Для них их научная область никогда больше не будет выглядеть совершенно такой же, как раньше. Часть её отличительной внешности сводится просто к сдвигу точки зрения, к которой тяготеет научное рассмотрение. Ещё более важным источником изменения является расходящийся характер многочисленных частных решений этой задачи, которые представило согласованное внимание к ней. Ранние подходы к неподдающейся решению задаче очень тщательно следуют правилам имеющейся парадигмы. Но, если такое положение продолжается, всё больше и больше подходов к ней сводится к какой-либо незначительной или не столь уж незначительной разработке парадигмы, причём все они не являются совершенно одинаковыми, каждый до некоторой степени успешен, но ни один не настолько успешен, чтобы быть принятым всеми в качестве парадигмы. Через посредство этого размножения расходящихся разработок (всё чаще и чаще они описываются как приспособления **для данного случая**) правила обычной науки всё более и более затуманиваются. Хотя парадигма всё ещё существует, немногие из занимающихся данной наукой одинаково понимают её суть. Даже ранее стандартные решения уже решённых задач подвергаются сомнению.

Когда положение становится острым, эта ситуация иногда признаётся вовлечёнными в неё учёными. Коперник жаловался, что в его дни астрономы были столь «непоследовательны в этих (астрономических) исследованиях, что они даже не могли объяснить или заметить постоянную продолжительность звёздного года». «С ними, – продолжал он, – всё выглядит так, как будто художник должен был бы собирать для своих образов руки, ноги, голову и другие части тела из разных моделей: каждая часть была бы превосходно нарисована, но не связана с единым телом. И, так как они никоим образом не соответствовали бы друг другу, результат был бы скорее чудовищем, чем человеком».⁴⁰⁰ Эйнштейн, которого современные обычаи вынудили ограничиться менее цветистым языком, написал только: «Это выглядело так, как будто почва была вытащена из-под ног человека, нигде не было видно никакого твёрдого основания, на котором можно было бы строить». А Вольфганг Паули написал другу за несколько месяцев до того, как статья Гейзенберга о матричной механике показала путь к новой квантовой теории: «В данную минуту физика снова пребывает в ужасном беспорядке. В любом случае она слишком трудна для меня, и я хотел бы быть скорее комическим киноактёром или чем-то в этом роде и никогда не слышать о физике». Это свидетельство особенно впечатляюще, если его противопоставить словам Паули, написанным меньше чем пять месяцев спустя: «Механика гейзенберговского типа снова дала мне надежду и радость в жизни. Она наверняка не даёт решения загадки, но я верю, что опять можно шагать вперёд».^{402" 403}

Итак, Кун проводит качественное различие между обычным и революционным способами действия. Никаких особых качественных различий здесь нет. Различие между ними больше напоминает различие между "преобразованием того, что данная группа хочет преобразовать", и "преобразованием того, что данная группа хотела бы оставить устойчивым", причём "революционный" способ действия меняет больше, чем хотелось бы в настоящее время (например для поддержания существующей общественной иерархии). "Преобразование того, что данная группа хочет преобразовать", есть, как мы уже обсуждали ранее, разновидность ограниченной революции. Ограниченные революции вызывают положительные эмоции. Революции, которые опрокидывают сами границы – а это и есть то, что производит куновский учёный-революционер, – вызывают страх (и отрицание, и агрессию, как "механизмы защиты"). "Революционер" вызывает невольное изменение в "догматах веры" обычного человека. Именно эта способность делает его революционером и необходимым и заставляет других бояться и презирать его. (Процессы "открытия", которые опрокидывают "карты" большого пространственно-временного масштаба, разрушают эмоции равнозначного масштаба, и именно такое крупномасштабное разрушение мы называем революцией.)

Общественные и личные "предположения", наделённые мифологической структурой, – догматы веры – предоставляют ту окружающую среду, в которой данный, характерный для определённой культуры приспособительный образец сохраняет свою условную истинность. Эта доразумная мифологическая окружающая среда сходна в своём строении с самой физической или естественной окружающей средой, так как устройство, приспособленное к окружающей действительности, быстро становится составной частью самой этой действительности, с теми же самыми существенными особенностями. (Или, если сказать это несколько иначе, всё, содержащееся вне стены, определяющей "рассматриваемое сейчас пространство", является "окружающей средой", хотя бы многое из него на самом деле было следствием исторической или даже личной деятельности.) Разрушение "доразумной окружающей среды мифа" является точно таким же катастрофическим, как и разрушение "физической, или естественной, окружающей среды" (два эти "разрушения", в конечном счёте, могут на самом деле быть неотличимы друг от друга). По существу, это значит, что серьёзно рассмотреть точку зрения другого человека означает подвергнуть себя опасности воздействия сомнительной неизвестности; рискнуть, что повысится жизненная тревога, боль и подавленность; пережить в течение неопределённого времени эмоциональный, образный и познавательный хаос. Вследствие этого гораздо более вероятно, что чуждая точка зрения покажется злом или с течением времени дело дойдёт до того, что она будет определена как таковое (особенно во времена, ставшие неустойчивыми – непереносимо новыми – по другим причинам). В таком случае применение агрессии для уничтожения источника угрозы покажется нравственно оправданным, даже требованием долга. Другая, или чуждая, точка зрения, хотя это и опасно односторонне, по сути, разумно считается злом в рамках исторически определённой общественно-психологической структуры приспособления и её возможной

разрушительной способности. Только в пределах области метанравственности (которая есть нравственность, предназначенная для того, чтобы пересматривать правила нравственности и заменять их более современными) странное может быть терпимо и даже приветствоваться.

Группа, в её внешних общественных и внутридушевных воплощениях, есть современное выражение формы мышления и действия, чьё содержание создавалось в течение тысячелетий. Это особое содержание – образы поведения и их представления – было первоначально установлено людьми, которые столкнулись с неизвестным лицом к лицу и одолели его, которые были способны совершить и подумать то, чего никто не мог ранее. Таким образом героические личности формулируют новые предположения и создают новые ценности. Объединение этих предположений и ценностей в образ мышления группы в ходе соревнования, которое начинается с подражания и кончается выраженной в словах отвлечённой мыслью, увеличивает разнообразие поведения личностей, образующих эту группу, и их отвлечённо логические возможности. Совокупность таких образов поведения и их описания второго и третьего порядка создают эту группу. Группы основаны на коллективной исторически определённой структуре (отвлечённо представленных) образов поведения и их последствий, как правило, внутренне непротиворечивой и устойчивой во времени. Превращение этих образов поведения и их представлений во внутренние защищает личности, которые образуют группу, от страха привнесённого их собственным жизненным опытом. Обусловленная культурой иерархическая структура поведения членов группы и его отвлечённых умозрительных представлений сдерживает страх новизны, страх перед Ужасной Матерью, источником всех кошмаров. Группа есть историческое строение, которое человечество воздвигло между личностью и неизвестным. Группа в её благотворном облике – защитница от угрозы и неизвестного. Общественная установка поведения в данной ситуации препятствует цепящему страху, который данная ситуация в противном случае бессознательно вызывала бы.

Группа к тому же является конкретным историческим выражением единственного в своём роде героического "тезиса" вида "человек разумный", как он был высказан ранее: **"природа жизненного опыта может быть изменена к лучшему сознательными изменениями действия и мысли"**. Этот главный тезис выражен в мифе о пути. Утрата (ранее существовавшего) рая полагает начало "спасительной" деятельности – истории. Новое обретение рая – в ходе или вследствие надлежащего поведения – становится её целью. Этот общий образец, по-видимому, характерен для всех цивилизаций, для каждой философии, каждой идеологии, всех религий. Общая мысль, что изменение может принести улучшение, – на которой основано всякое сознательное изменение – сама по себе в идеале основана на предположении (на необходимом вымысле), что совершенство может быть достигнуто в ходе исторического процесса. Этот миф – даже в своём самом раннем обрядовом воплощении – даёт основу для самого понятия прогресса. Группа как воплощённая история воплощает особый образ жизни, избранный для достижения совершенства, она отражает конкретное выражение человеческих целей. Она есть объективное и субъективное осуществление способа, каким люди улучшают своё трагическое положение. История не только защищает людей от неизвестного: она открывает им пути для достижения того, чего они больше всего желают, и, следовательно, для выражения (по существу неопишуемого) смысла их жизни.

Человеческое познание нравственности продвигается вперёд, по мере того как расширяет свою область процедурное знание, по мере того как эпизодическая память всё более точно кодирует образы, которые составляют это знание, и по мере того как семантическая система приобретает способность явно представлять неявные принципы, на которые опираются процедурное знание и эпизодическое представление этого знания, и, конечно, по мере того как последствия этого представления второго и третьего порядка изменяют природу самой процедуры. Таким образом, демократический теоретик политики, например, может наконец выразить словами сущность религиозного мифа, после того как этот миф уже уловил в образе суть приспособительного поведения; может говорить о "внутреннем праве", как будто бы это понятие было чем-то **разумным**. Этот процесс возрастающей отвлечённости и её представления равносителен развитию "высшего" сознания (особенно если всё более просвещённые слова в действительности – желание утопическое! – преобразуются вниз по иерархии обратно в действия).

Главным преимуществом возросшей отвлечённости представления – независимо от лёгкости его сообщения другим – является возросшая гибкость приспособления: изменения в отвлечённой мысли могут происходить "как будто" – "как будто" это игра без непосредственных практических последствий, положительных или отрицательных.⁴⁰⁴ Невыгодной стороной этой гибкости приспособления является возникновение способности постоянно (и, в большинстве случаев, не ко

времени) подрывать **доопытные** предположения игры – подвергать сомнению её правила; разлагать порыв к действию и растормаживать жизненную тревогу. Игра является забавой, пока её правила кажутся ребяческими. Затем забава исчезает. Это может, со временем, оказаться прогрессом. Пока, однако, не возникнет новая игра, это только мучительно. Процесс отвлечённого (семантического) исследования способен подорвать нравственное приспособление на всех уровнях – семантическом, эпизодическом и процедурном – одновременно. Эту возможность можно было бы ещё раз рассматривать как разрушительное или благотворное побочное следствие способности к отвлечённому мышлению.

Создание общественной структуры приспособления, проявляющейся в поведении и в семантическом или эпизодическом его представлении, означает абстрагирование и иерархическую организацию знания, тяжело добытого в естественной борьбе за выживание, и последующую способность к непосредственной передаче этого знания. Это означает также возможность изменений и постановки опытов в области отвлечённого (в игре, эпизодической и семантической) до применения их результатов в действительном мире. Приобретение способности к отвлечённой творческой мысли и к общественному обмену ею чрезвычайно усиливает способность к приспособлению, так как чисто семантические понятия при этом уже могут изменять эпизодическое представление и саму процедуру. Если природа нравственности семантически закодирована, если скрытые предпосылки поведения стали явными, то они могут рассматриваться и обсуждаться, а их суть может быть изменена. Такое изменение, так сказать, резонирует в познавательной цепи, достигая процедуры. Подобным же образом изменения в процедуре способны (и должны быть способны) глубоко воздействовать на эпизодическое и семантическое представления. Эта возросшая гибкость – итог чрезвычайно сложного и продолжительного исторического развития – сильно ускоряет приспособление и в равной мере вызывает общественные и внутридушевные конфликты, возникающие как следствие нарушения устойчивости исторической традиции.

Именно существенная гибкость человеческого мозга, его способность обучаться, а потому и разучиваться, делает представителей вида "человек разумный" слишком впечатлительными, когда дело доходит до внутридушевных противоречий и столкновений между группами. Образ поведения животного – его процедурное знание – установлен; его образ жизни в неизвестном в своей основе не может быть легко изменён. Напротив, предположениям и ценностям, которыми живёт отдельный человек, могут угрожать несколько хорошо подобранных революционных слов, лёгкость сообщения которых лежит в основе их изысканно сложной истории развития, глубины героических усилий, необходимых для их выражения, и их чрезвычайной современной силы. Достаточно новые словесно передаваемые сведения могут одновременно расстроить семантическую, эпизодическую и процедурную парадигмы, хотя такие воздействия могут не сказываться во всей полноте в течение лет, нередко поколений.

Каждая культура поддерживает определённые основные верования, которые для неё наиболее важны и которые лежат в основе всех вторичных верований. От этих основных верований невозможно легко отказаться, потому что отказ от них ведёт к падению всего остального и возврату неизвестного. Нравственность Запада, поведение человека Запада, например, основаны на предположении, что каждая личность священна. Это верование уже существовало в зародыше у древних египтян, и оно представляет подлинный краеугольный камень иудео-христианской цивилизации. Успешный вызов этой мысли обесценил бы поступки и цели человека Запада, разрушил бы западную иерархию преобладания – общественную обстановку личного действия. При отсутствии этого главного предположения вся совокупность западного права – формализованного мифа, кодифицированной нравственности, – изнашивается и падает. Нет личных прав, нет ценности личности – и основа западного общественного строя и душевного устройства разлагается. Вторая мировая война и холодная война в значительной степени велись, чтобы устранить такой вызов.

Для человека, чьи верования сделались отвлечёнными (а следовательно, более сомнительными, более спорными), простой **мысли** о ком-то, придерживающемся чуждых представлений, достаточно, чтобы разрушить устойчивость повседневных предположений. Толстой в своей "Исповеди" вспоминает о влиянии современных западноевропейских идей на слишком долго бывшую неподвижной средневековую культуру России:

"Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володишка М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам

открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что всё, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались этой новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное".⁴⁰⁵

Это "открытие", которое было на самом деле совокупным итогом очень продолжительного и болезненного познавательного процесса, обладало способностью подорвать основы русской культуры (как оно уже подорвало основы культуры Запада):

"В самом деле, с тех давних, давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало её бессмыслицу, и всё-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Всё, что есть во мне и около меня, всё это – плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю её, всё это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоённый, ими наученный, их мыслями и словами думающий, доказал им, что они – бессмыслица!"⁴⁰⁶

В конце концов то же "открытие" неизбежно вызвало следующие результаты:

"Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растёт, и больной не успеет оглянуться, как уже сознаёт, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это – смерть.

То же случилось и со мной. Я понял, что это – не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются всё те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешил и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!..» И я ничего-ничего не мог ответить.

Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать, и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперёд знал, что, удовлетворю или не удовлетворю моё желание, из этого ничего не выйдет.

Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это – обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чём она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.

Я как будто жил-жил, шёл-шёл и пришёл к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме гибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья, и настоящих страданий, и настоящей смерти – полного уничтожения.

Жизнь мне опостылела – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от неё. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общего хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести её слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не распутаюсь, то всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьём на охоту, чтобы не соблазниться слишком лёгким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от неё и, между тем, чего-то ещё надеялся от неё.

И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной, и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми – десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришёл к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишиться себя жизни.

Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления".⁴⁰⁷

Самосознание группы – внушённая нравственность и её принятое понимание – служат тому, чтобы ограничивать значение явлений жизненного опыта как побуждений. Когда этому самосознанию (которое основано на вере в особое умозрительное представление образа жизни группы, вере, которой придерживаются явно или неявно) бросают вызов, такие ограничения исчезают. Это "разрушение" символически патриархального обычая и веры делает личность жертвой внутридушевной борьбы сталкивающихся эмоций – "столкновения противоположностей", по выражению Юнга, – подчиняет её невыносимому познавательному, эмоциональному и нравственному конфликту. В этой связи уместны замечания Ницше о Гамлете, которого "бледный оттенок мысли сделал болезненным":

"Познание убивает действие, для действия необходимо покрывало иллюзии – вот наука Гамлета... Здесь уже не поможет никакое утешение, страстное желание не останавливается на каком-то мире после смерти, даже на богах; существование отрицается во всей его целостности, вместе с его сверкающим отражением в богах или в бессмертном потустороннем будущем. В осознании раз явившейся взорам истины человек видит теперь лишь ужас и нелепость бытия, теперь ему понятна символичность судьбы Офелии, теперь познал он мудрость лесного бога – Силена; его тошнит от этого".^{408, 409}

Трагикомический главный герой Достоевского в "Записках из подполья", чиновник, страдающий расстройством личности (в переносном смысле мышь), реагирует похожим образом, сравнивая свою собственную (извращённую) неспособность мужественно ответить на оскорбление со способностью "человека природы и истины" – естественного и поэтому правдивого, однако сравнительно бессознательного (процедурного):

"Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена (а она почти всегда бывает обижена) и тоже желает отомстить. Злости-то в ней, может, ещё и больше накопится, чем в l'homme de la nature et de la verite. Гадкое, низкое желанье воздать обидчику

тем же злом, может, ещё и гаже скребётся в ней, чем в l'homme de la nature et de la verite, потому что l'homme de la nature et de la verite, по своей врождённой глупости, считает своё мщенье просто-запросто справедливостью; а мышь, вследствие усиленного сознания, отрицает тут справедливость. Доходит, наконец, до самого дела, до самого акта отмщения. Несчастливая мышь, кроме одной первоначальной гадости, успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешённых вопросов, что поневоле кругом неё набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из её сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на неё от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остаётся махнуть на всё своей лапкой и с улыбкой напускного презренья, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою шелочку".⁴¹⁰

Вымышленные герои Шекспира и Достоевского реагируют на ту же самую исторически определённую совокупность обстоятельств – на "смерть бога", по выражению Ницше, безжалостно вызванную продолжающимся развитием отвлечённого сознания, – так же, как и Толстой, человек из плоти и крови. "Первый современный человек" Гамлет – и те, кто следует ему в искусстве и в жизни, – как это ему свойственно, реагирует на неё, как ницшевский "бледный преступник"; как Раскольников, неспособный выносить "ужасную красоту"⁴¹¹ своих деяний. Ницше утверждает:

"О великом следует или молчать, или говорить с величием. С величием – это значит цинично и с невинностью. То, что я рассказываю, – это история следующих двух столетий. Я описываю то, что идёт, что больше не может придти иначе, – **приход нигилизма...** Вся наша европейская культура сейчас уже какое-то время движется, как будто к катастрофе, с мучительным напряжением, которое растёт с каждым десятилетием: беспокойно, бурно, стремительно, как река, которая хочет достичь конца, которая больше не размышляет, которая боится размышлять.

Тот, кто здесь говорит, напротив, пока что ничего не делал, кроме как размышлял: как философ и отшельник по инстинкту, который нашёл своё преимущество в том, чтобы стоять в стороне, снаружи. Почему приход нигилизма стал необходимым? Потому что те ценности, которые у нас были до сих пор, таким образом выводят своё последнее следствие; потому что нигилизм представляет последнее логическое заключение наших великих ценностей и идеалов, – потому что мы должны пережить нигилизм, прежде чем сможем узнать, какой ценностью обладают на самом деле эти «ценности».

В какое-то время нам требуются новые ценности.

Нигилизм стоит у дверей: откуда приходит этот самый сверхъестественный из гостей?

Точка отправления: это ошибка – рассматривать «общественное бедствие», или «физиологическое вырождение», или испорченность всех вещей как причину нигилизма. Наш век – век самый честный и сострадательный. Бедствие – будь то душевное, телесное или умственное – вовсе не должно вызывать нигилизма (то есть радикального отрицания ценности, смысла и желательности). Такое бедствие всегда допускает разнообразные истолкования. Нигилизм, пожалуй, коренится в одном особенном истолковании – христианском нравственном.

Конец христианства приходит от руки его собственной нравственности (которую невозможно заменить), которая обращается против христианского Бога: чувство правдивости, высоко развитое христианством, испытывает тошноту от ложности и лживости всех христианских истолкований мира и истории; оно отскакивает от утверждения: «Бог есть истина» к фанатической вере в утверждение: «Всё ложно» – к деятельному буддизму.

Скептицизм относительно нравственности есть то, что является решающим. Конец нравственного истолкования мира, которое больше не имеет никакого одобрения свыше, после того как оно попыталось ускользнуть куда-то за пределы мира, приводит к нигилизму.

«Ни в чём нет смысла». (Невозможность защищать одно истолкование мира, на которое было расточено огромное количество энергии, пробуждает подозрение, что все истолкования мира ложны.)"⁴¹²

Это, короче говоря, есть "каскад".

Нигилизм, другое "я" тоталитаризма, – это ответ на переживание мира, себя самого и других людей, лишённое определённого смысла и поэтому не могущее иметь никакого смысла; это реакция на мир, освобождённый от (бессознательных) ограничений привычки, обычая и веры; это отклик на новое появление ужасного неизвестного; это реакция духа, вследствие своей абстрактной критической способности более неспособного проявлять (бессознательную или процедурную) тождественность с героем, более неспособного проявлять веру в человеческие возможности перед лицом своей обнажённости перед самым ужасным, что только можно вообразить. Явления остаются ограниченными в их (эмоциональном) значении, по крайней мере частично, потому что соответствующая группа (иерархия преобладания) достигла соглашения относительно их смысла (относительно их последствий для действий, характерных для данной ситуации). Когда эта иерархия падает, – может быть, вследствие возникающего неверия в главное предположение, – ничто не остаётся "священным". С эмпирической точки зрения, этот процесс становится очевидным во время беспорядков. Когда закон и порядок временно перестают действовать, когда сдерживающая сила навязанной угрозы уменьшена (когда мгновенно рушится иерархия преобладания), те, чьё нравственное поведение основано на обидчивом повиновении, становятся жертвами их собственных приведённых в беспорядок эмоций и разражаются взрывом агрессии, жадности, ненависти и мстительной разрушительности. Этот взрыв (внутренний взрыв) есть, с донаучной, или мифологической, точки зрения⁴¹³, "сведение к докосмогонической непрерывности", есть отступление ко времени и месту до разделения явлений на известное и неизвестное. Это можно рассматривать или как изменение в эмоции, или как изменение мотивационного смысла явлений. Объективный ум предположил бы первое, а ум мифологический, субъективный – последнее. Это отступление является предпосылкой творческой перестройки. Полусознательное (полуописательное) понимание этого чреватого эмоциями состояния (проявляющегося как цепенящий страх), к счастью, является величайшим препятствием к изменениям.

Существующая в обществе и внутри душ иерархия ценностей с помощью страха (и обещаний) регулирует доступ к желаемым удобствам и определяет чистое мотивационное значение отдельных событий и процессов. Любое данное явление способно вызывать разнообразные эмоциональные или мотивационные состояния. Именно общественно и лично обусловленный исход состязания между этими (внутридушевыми) состояниями определяет последующее поведение. Внешняя иерархия преобладания, которая является "внутридушевым патриархатом", фрейдовским "суперэго", становится внутренним знанием чистой мотивационной уместности явлений в пределах отдельного общества. Это подразумевает, что (исторически обусловленное) устройство власти данного общества можно было бы вывести посредством анализа значения, придаваемого людьми внутри этого общества технологическим и познавательным продуктам труда. То, что желается, зависит от цели, к которой движется данное общество. Эта цель первоначально представляется ценной вследствие действия бессознательных "предположений", гипотетически предшествующих действию. Ценность, подтверждаемая действием, затем кодируется эпизодически, а потом формализуется семантически. Представитель другой культуры оценивает явления иначе: различие оценок основано на принятии другой цели. Природа и этого различия может быть выведена из наблюдения за чуждым поведением, воображением и обсуждением – может быть даже выведена из воздействия предметов культуры (которым обычно придаётся значение "простых" орудий труда, что значит орудий образа жизни) или из намёков, столь тонких, как голос или процедурная мелодия.⁴¹⁴

Движение от одной схемы к другой – или от обеих к предполагаемой третьей, которая их объединяет (что могло бы являться следствием усилий революционного героя), – предполагает поглощение одной из схем другой или взаимное их слияние, а не простое сложение (предполагает "качественное", а не "количественное" изменение). Мифологически, как мы уже видели, это движение могло бы быть представлено как спуск из пропасти в бездну, как падение кумира с глиняными ногами, как распад на составные телесные или материальные части, как путешествие в преисподнюю или на дно моря, как временное пребывание в долине тени смерти, как сорок лет (или сорок дней) в пустыне, как столкновение с гидрой, как кровосмешение с матерью. Когда такое путешествие предпринято сознательно, – достаточные средства приготовлены заранее, есть вера в то, что всё хорошо кончится, – вероятность успеха (возвращения, восстановления, воскресения, подъёма) существенно увеличивается. Когда распад происходит случайным образом, – когда столкновение с неизвестным ненамеренно⁴¹⁵ или его избегают после его неизбежного появления, – внутридушевная или общественная катастрофа, самоубийство или война, делаются неизбежными.

Цель, на достижение которой направлено поведение, служит одним из полюсов познавательной схемы, определяющей значение событий как побудительных причин. Представители одной и той же культуры имеют некую общую цель. Эта цель состоит в достижении некоторого предположительно желаемого конечного состояния, которое возникает как противоположность некоему умозрительному представлению настоящего и которое может быть достигнуто участием в особом, принятом по общему согласию и определяемом традиционным образом, процессе. Эта схема сходна с полным мифологическим представлением пути, которое включает (беспокойное) настоящее, понятие (желаемого) будущего и описание способов (нравственных предписаний и запретов) преобразования первого в последнее. Нравственные предписания и запреты способствуют продвижению по этому пути: они сводят бесконечность возможных значений отдельных событий как побуждений к особым и более определённым возможным значениям. Этот процесс сведения является общественным по своей природе: события принимают установленное значение, которое определяется обществом и становится для него общим. Эмоциональное соответствие явления, существенно влияющего на целенаправленное поведение, является следствием действия ориентированной на цель схемы, частично выраженной в иерархии преобладания. Иерархия преобладания – это общественное устройство, которое определяет доступ к желаемым удобствам. В большинстве случаев эти удобства являются намёками на завершающее вознаграждение – переживаниями, которые означают движение к желаемой цели или возросшую вероятность её достижения. Относительное положение в иерархии преобладания – по крайней мере в отлично работающем обществе – само по себе определяется суждением общества. Это суждение отражает оценку ценности отдельной личности. Эта ценность выражает отношение общества к способности этой личности вносить вклад в достижение упомянутой цели. Это истолкование, конечно, подразумевает, что принятие данного пути обязательно, неизбежно создаёт иерархию ценностей (так как и люди, и вещи отличаются своей полезностью как средства достижения желаемой цели). Каждое явление, испытываемое в опыте в пределах отдельного общества, нагружено сведениями, имеющими отношение к иерархии преобладания и целевой схеме. Ценность любого отдельного предмета или переживания определяется мифологической основой, на которой сознательно или бессознательно покоится всё общество. Эта ценность есть волшебство предмета.

Раскольническая деятельность – семантическая, эпизодическая или процедурная – могла бы рассматриваться как внутригрупповое явление, равносильное прибытию (абстрактного или конкретного) чужестранца. Расколы культуры возникают, когда некогда предсказуемые и хорошо знакомые люди становятся одержимыми новыми понятиями о поведении, образами или семантическими формулировками, которые представляют вызов доселе неприкосновенным предположениям, – таким, как (наиболее опасное, властное) предположение, что все принятые в настоящее время предположения "истинны". Средневековый ужас перед ересью – и решительные отклики на неё, считавшиеся необходимыми католическими стражами правильной мысли, – становятся понятными при рассмотрении 1) защитного назначения нетронутой догмы и 2) методологической невозможности, так сказать, "опровергнуть" другие, основанные на мифах повествовательные представления, раз они выдвинуты. Христианская церковь раскалывалась беспорядочно (и, может быть, творчески) – и продолжает это делать – с ужасными последствиями даже и тогда, когда такое раскалывание жестоко наказывалось. Это утверждается не для того, чтобы оправдывать подавление творческого начала, а для того, чтобы понять побуждения такого подавления. Вырождение в хаос – упадок – можно было бы рассматривать как постоянную угрозу нововведения, предпринимаемого при отсутствии понимания и уважения к традиции. Такой упадок точно так же опасен для устойчивости и приспособляемости общества (и личности) – и так же побуждаем чисто подпольными хотениями и желаниями, – как тоталитаризм, или желание совершенного порядка. Отсутствие общепринятой методологии определения относительной ценности или действительности очевидных различий, основанных на мифологии, означает, что жестокое подавление таких различий будет часто повторяться.

Быстрое развитие семантического мастерства представляет собой третью главную угрозу продолжающейся устойчивости приспособительных систем культуры, обусловленных историей общества (равно как и главную действующую силу в сложной разработке таких систем). (Первые две угрозы – это просто напоминание – суть быстрое изменение природной окружающей среды независимо от человеческой деятельности и соприкосновение с недоступной до того чужой культурой.) Грамотные люди, представители культур, содержащихся в точно выраженном

богословии или рациональной философии, легче воплощают и (или) отвлечённо принимают или условно формулируют различные позиции относительно исходных предположений; они могут также письменно выражать верования других народов, усваивать их и подвергать их критическому рассмотрению или (теоретически) простодушному принятию; они неизбежно **многолики** в подражании, воображении и мысли. Опосредованная языком критика основ поведения подрывает веру в действенность исторически установленного иерархического образа приспособления. Неожиданно возникающий в самом конце развития процесс создания цепи абстракций может применяться для того, чтобы подорвать устойчивость его основания. Поэтому современный словесно утончённый человек всегда подвергается опасности отпилить ту ветвь, на которой он сидит.

Язык превратил драму в повествование мифа, повествование – в оформленную религию, а религию – в критическую философию, обеспечивая чрезвычайно быстрое расширение способности к приспособлению и в то же время подрывая его предположения и ожидания и отделяя знание от действия. Цивилизованный "человек разумный" может использовать слова, чтобы разрушать то, чего слова не создают. Эта возможность поставила современных людей в положение, когда всё более и более исполняются их самые худшие опасения. Ницше пишет:

"Наша современная Европа, представляющая собою арену бессмысленно внезапных опытов радикального смещения сословий и, **следовательно**, рас, скептически по отношению ко всем высотам и глубинам, то тем непоседливым скепсисом, который нетерпеливо и похотливо перескакивает с ветки на ветку, то мрачным, как туча, обременённая вопросительными знаками, – и часто ей до смерти надоедает собственная воля! Паралич воли: где только ни встретишь теперь этого калеку! И часто ещё какого разряженного! Как обольстительно разодетого! Для этой болезни есть роскошнейшие одежды, сотканые из лжи и блеска; и что, например, большая часть выставяемого нынче напоказ под названием «объективности», «научности», «искусства для искусства», «чистого безвольного познания» есть лишь разряженный скепсис и паралич воли, – за такой диагноз европейской болезни **я поручусь**".⁴¹⁶

Умственное развитие, которое привело к установлению современной научной методологии, повысило опасность этой несколько болезненной склонности. Создание мощного и точного представления "объективного" или общего мира – логическое завершение обмена чувственной информацией между личностями, ставшее возможным посредством языкового общения, – бросило вызов вере в реальность мифологического мира, который, по сути, никогда и не был объективным с точки зрения восприятия и ощущения. Мир мифа всегда был эмоциональным и никогда "объективным" – хотя его разделяли все члены общества – и содержал процедурную информацию (и её отвлечённое представление), приведённую в иерархический порядок на языке ценности, воплощённой в несловесной процедурной, отвлечённо образной и семантической форме. Представление мифологической ценности в словесном виде допускало постановку простых опытов в области нравственности, в воображении (а затем, часто трагически, в действии), как и порождение простоватой, но действенной критики традиционных оснований поведения. Ницше заявляет:

"Ибо таким образом обычно и отмирают религии, а именно, когда мифические предпосылки какой-нибудь религии под строгим, рассудочным руководством ортодоксального догматизма систематизируются как готовая сумма исторических событий и когда начинают боязливо защищать достоверность этих мифов, но в то же время всячески противиться их дальнейшему естественному разрастанию и дальнейшей их жизни, когда, таким образом, отмирает чутьё к мифу и на его место вступает претензия религии на исторические основы".⁴¹⁷

Фрейд – как совершенный эмпирик девятнадцатого столетия – утверждал, что "нет другого источника знания вселенной, кроме мысленного орудования тщательно проверенными наблюдениями, – то есть того, что называется научным исследованием, – и что никакого знания нельзя получить из откровения, интуиции или вдохновения". Он говорит, кроме того, что "некуда обращаться выше разума"⁴¹⁸ (основанного, предполагается, непосредственно на "наблюдении"). Этот подход не оставляет места для эмоции (или даже ощущения) в определении в самой основной (и простодушной) форме того, что такое мудрость, – "то, что причиняет мне (и другим) боль, неправильно" – и не может ответить на вопрос об источнике научных предположений вообще (о

повествовательном процессе). Чистое знание чувственного мира недостаточно для приспособления к этому миру, то есть для умения себя вести (хотя накопление таких сведений имеет очевидные последствия для приспособления). Толстой утверждает:

"Разумное знание в лице учёных и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, всё человечество – признают этот смысл в неразумном знании. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это Бог, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и всё то, чего я не могу принять, пока я не сошёл с ума.

Положение моё было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там в вере – ничего, кроме отрицания разума, которое ещё невозможнее, чем отрицание жизни. По разумному знанию выходило так, что жизнь есть зло, и люди знают это, от людей зависит не жить, а они жили и живут, и сам я жил, хотя и знал уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло. По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни, я должен отречься от разума, того самого, для которого нужен смысл".⁴¹⁹

Мифологическое мышление тоже, так сказать, основано на наблюдении, но на наблюдении поведения в мире эмоционального переживания. Это означает (многократное) наблюдение действия, основанное на теории того, что должно быть, и на извлечении из него процедурных, эпизодических или семантических представлений. Это тоже знание, и в свете тщательного анализа, по-видимому, не более произвольное, чем основанное на опыте описание объективного мира.

Может быть, для науки, борющейся за то, чтобы вырваться из мира познания, где господствовало религиозное и мифологическое мышление, было необходимо обесценить этот мир для установления своего независимого существования. Это существование, однако, уже давно установлено, а процесс такого обесценивания продолжается (даже в областях, теоретически отделившихся от строго эмпирической). Фрай утверждает:

"Со времён Платона большая часть литературных критиков связывала слово «мышление» с диалектическими и умозрительными выражениями и отрицала существование поэтического и одарённого воображением мышления или не обращала на него внимания. Это отношение продолжалось и в двадцатом столетии работой Ричардса «Наука и поэзия» с её внушением, что мифологическое мышление уже было вытеснено научным и что, следовательно, поэты должны ограничиваться псевдо-утверждениями. Ранняя критика Т. С. Элиота, хотя и значительно более осторожная, чем эта, также выявила массу беспорядка, сопровождающего слово «мышление». С тех пор медленно росло понимание того, что мифологическое мышление не может быть вытеснено, так как оно образует обрамление и контекст всего мышления. Но старые взгляды всё ещё упорно держатся, хотя и в более изощрённом виде, и по-прежнему имеется слишком много литературных критиков, которые как почти ничего не знают об умственных процессах, создающих литературу, так и презрительно к ним относятся".⁴²⁰

Ницше утверждает подобным же образом, но с несколько большей насмешкой:

"Каждое время имеет свой собственный божественный род наивности, измышление которой может возбудить зависть других веков: и сколько наивности, достопоченной, детской и безгранично дурацкой наивности, в этой вере учёного в своё превосходство, в чистой совести его терпимости, в недогадливой, прямолинейной уверенности, с каковой его инстинкт трактует религиозного человека как малоценный и более низменный тип, над которым сам он возвысился, который он **перерос**, – он, маленький, заносчивый карлик и плебей, прилежно-расторопный умственный ремесленник «идей», «современных идей»!"⁴²¹

Мифологическое мышление не есть просто произвольное суеверие. Его очернение – в недавние годы лившееся водопадом даже в литературной критике – является не только необоснованным, а и **опасным**. Это не значит, что религиозные установления и догмы не являются жертвами тех же самых слабостей, что и все другие человеческие создания. Однако те понятия, которые лежат в основе этих установлений, – и образ действия, который положил им начало и обновлял их, – продолжают сохранять решающую важность для поддержания личной эмоциональной устойчивости; для групповой терпимости, связности и гибкости; для положительного

приспособления к странному во всех его обликах; и для способности сопротивляться господству односторонних и смертоносных идеологий. Мысль, что мы уже вытеснили такое мышление, является главным примером способности "семантической системы" частично представлять и основательно критиковать. Она неправильна, высокомерна и опасна.

Группа содействует целостному поведению и единому понятию ценностей. В этом её сила: целостный образ передаёт одно сообщение и поэтому способствует единству и направленности. В этом также и её слабость: целостность – устойчивое, иерархически организованное устройство, довольно негибкое и потому хрупкое. Это означает, что группе и тем, кто отождествляет себя с нею, нелегко развить у себя новые способы восприятия или изменить свою направленность, когда такое изменение или развитие становится необходимым. При устойчивых условиях в обществе и в окружающей среде это является преимуществом, так как то, что срабатывало в прошлом, будет продолжать срабатывать в настоящем. Однако во времена перехода, быстрого изменения окружающей среды, соприкосновения со многими культурами, технологического или идеологического прогресса одной устойчивости не всегда достаточно. Русский невропсихолог Соколов утверждал (как уже приводилось ранее⁴²²): "Один способ улучшить качество экстраполяции (суждения о соответствии между намерением и его исходом) – это получить дополнительные сведения; другой – это изменить принципы, посредством которых такие сведения обрабатываются, так что регулирование станет более действенным". Эта основная мысль воплощена в мифологии в образе революционного героя. Он является четвёртым способом, которым может быть представлена угроза культурной традиции, и одновременно он является решением вечно повторяющейся задачи о такой угрозе.

4.2.4. Революционный герой

Революционный герой переупорядочивает защитное устройство общества, когда с появлением аномалии такое переупорядочение делается необходимым. Он та действенная сила, которая вносит изменения и на чьих действиях основана вся последующая устойчивость. Это качество – благодаря которому он должен был бы стать желанной личностью в любом обществе – оказывается чрезвычайно угрожающим для тех, кто удовлетворён своим положением и не в состоянии оценить недостатки современного состояния приспособления к окружающей среде и связанную с ними опасность. Типичный революционный герой поэтому сталкивается с гневом и неприятием со стороны ему равных, а также с ужасами совершенно неизвестного. Тем не менее он является "лучшим другом" государства.

Анализ первобытных иступлённых обрядов **шаманизма** – преобладающего во всей "огромной области, охватывающей Среднюю и Северную Азию,"⁴²³ – проливает дальнейший свет на природу действий и типичных переживаний революционного героя. Европейцы, которые первоначально сталкивались с этими племенными целителями, часто считали их безумными. Истинно на самом деле было противоположное: подлинный шаман был самым здравомыслящим человеком своего племени (то есть человеком, чья степень приспособления к окружающей среде была наибольшей). Кроме того, он был изначальным "общим предком" исторически недавно отделившихся или специализировавшихся творческих деятелей: исследователя, мистика, художника, учёного и врача. Азиатский шаман был наставником религиозной жизни, воплощением и хранителем священного учения, господствующим авторитетом и создателем культуры.

Широко распространённые обряды и точки зрения шаманизма – это, так сказать, связанная философия, "бессознательно" вложенная в поведение и образ. Эта ритуальная философия включает в себе набор наблюдений, касающихся природы коренного преобразования личности, и обрядов, предназначенных для того, чтобы вызвать такое изменение. Шаманизм предназначен для качественного улучшения "сознания" или общей способности к приспособлению; он "схватывает" сущность такой возможности в образе, чтобы предельно уменьшить сопутствующий ей ужас. Шаманизм – прообраз тех религиозных обрядов, которые призваны изменить человеческое поведение и понимание – вызывать процессы духовной мутации и управлять ими. Эти обряды по своей природе не являются только культурными. Они возникают при наблюдении самопроизвольного душевного превращения – человеческой способности, имеющей душевные и жизненные основания. Шаманские ритуалы поэтому не просто анахронизмы без всякой современной уместности, кроме вызываемой любопытством, а главные образцы процесса, к пониманию которого мы должны прийти.

Шаман **не** просто устарелый образ, интересная аномалия из ушедшего прошлого: он есть воплощение (в культурах, которые мы не понимаем) тех людей прошлого, которыми мы больше всего восхищаемся. Явление "творческой болезни" – обстоятельно описанное Генри Эллиенбергером в его солидном исследовании истории бессознательного – живо и вполне на месте в нашей собственной культуре. Эллиенбергер так описал его характерные элементы:

"Творческая болезнь следует за периодом сильной поглощённости мыслью и поиска некоторой истины. Это многообразное состояние, которое может принимать форму подавленности, невроза, психосоматических недугов или даже психоза. Каковы бы ни были её симптомы, они ощущаются подверженным ей как болезненные, если не мучительные, с чередующимися периодами облегчения и ухудшения. В течение всей болезни больной никогда не теряет нить господствующей над ним поглощённости. Болезнь часто совместима с обычной профессиональной деятельностью и семейной жизнью. Но даже если больной занят своей общественной деятельностью, он почти совершенно поглощён самим собой. Он страдает от ощущений совершенной изоляции, даже если у него есть наставник, который проводит его через тяжёлое испытание (как учитель-шаман своего ученика). Окончание болезни часто происходит быстро и отмечается фазой возбуждения. Больной выходит из своего тяжёлого испытания преобразованной личностью и с убеждением, что он открыл великую истину или новый духовный мир".⁴²⁴

Многие из деятелей науки и культуры девятнадцатого и двадцатого столетий, неоспоримо признанных "великими": Ницше, Дарвин, Достоевский, Толстой, Фрейд, Юнг, Пиаже – переживали продолжительные промежутки глубокого душевного беспокойства и неуверенности. Их "психопатология" – смехотворное выражение в этом контексте – была порождением революционной природы их личного жизненного опыта (их действия, воображения и мысли). Это не такой уж большой скачок сравнительной психологии – видеть, что их роль в нашем обществе подобна роли первобытного вождя и целителя.

Для среднего представителя племени навязанное обществом посвящение означает смерть детства и воссоединение личности на уровне общественной зрелости. Для будущего шамана посвящение, предпринимаемое добровольно, означает распад обусловленной обществом взрослой личности и её воссоединение на уровне единственной в своём роде личности. Этот процесс поясняется на рисунке 50 "**«Двойная смерть» революционного героя**". Те, кто подвергается второму посвящению, страдают от жизни более глубоко и основательно, чем их сверстники. Они, по выражению Юнга, являются "самыми сложными и развитыми умами своего века"⁴²⁵. Эти творческие личности обнаруживают внезапно возникающую аномалию и начинают процесс приспособления к ней задолго до того, как средняя личность заметит какое-либо изменение в окружающих её обстоятельствах. В своём исступлении шаман живёт возможной будущей жизнью своего общества. Этот опасный человек может играть исцеляющую роль в своём обществе, потому что он больше испытал на своём веку, чем его соплеменники. Если кто-либо в обществе (или само общество) заболевает, расстраивается – начинает, так сказать, путешествие в страну мёртвых, ужасного неизвестного, – то шаман уже тут как тут, чтобы служить проводником, чтобы дать разумное объяснение современному жизненному опыту, воссоединить страдающую личность со своим обществом или обновить это общество – вернуть устойчивость парадигматическому контексту надежды и желания, в пределах которого личные и общественные переживания терпимы. Поистине творческая личность "была там и сделала это" и может поэтому служить проводником других, добровольно начинающих – или грубо ввергнутых в – подобные путешествия

Посвящаемым в первобытные шаманы обычно был кто-либо исключительно отмеченный судьбой, "волей богов" – особой наследственностью, "волшебным" (необычным) происшествием в раннем детстве или позднее в жизни (родился в "рубашке", остался в живых после удара молнии) или внутридушевым своеобразием (восприимчивость к падучей болезни, склонность к видениям).⁴²⁶ Его единственная в своём роде личность или история переживаний в сочетании с существовавшими в его время общественными условиями обрекали его на жизненный опыт настолько аномальный, что он не мог одновременно быть принят как действительно происходящий – как реальный – и как возможный в пределах, определяемых господствующими в обществе предположениями.

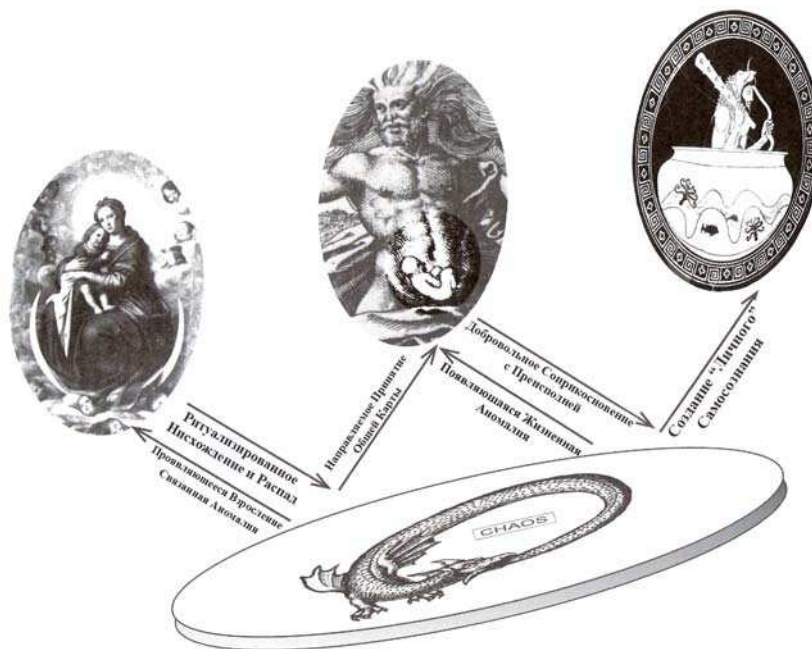


Рисунок 50

Существование этого опыта – если он "допускался" и "обрабатывался" – ощущалось как роковой вызов истинности аксиом, лежащих в основе обычного "здравомыслия", – обусловленной историей общества устойчивости взаимно определяемого приспособления поведения и значения явлений жизненного опыта. Существование этого особого жизненного опыта служило, так сказать, вратами в неизвестное или шлюзом, главным входом, через который неизвестное может вливаться, с неизбежно разрушительными и возможно созидательными последствиями. Шаман – это личность, которая предпочитает встретить такой потоп лицом к лицу.

Шаман, вообще иступлённый – и равным образом революционный философ или учёный, верный самому себе, – отличается упорной приверженностью к своей собственной своеобразной области опыта, в которой встречаются случаи – процедурные, эпизодические или семантические по своей природе, – которые чужды научившемуся предсказуемо жить в обществе человеку и его прозаическим нравственным ожиданиям. Размах жизненного опыта творческого деятеля превосходит пределы области современной приспособительной достаточности его культуры, как она существует в обществе и воплощена и представлена внутридушевно. Вместо того чтобы не рассматривать такие случаи (которые существуют в противоречии с её условными, определяемыми обществом ожиданиями или совершенно вне их) или не обращать на них внимания и действовать так, как будто они не существуют, творческая личность (добровольно) признаёт их реальность и подчиняется распаду её современного (нравственного) мировоззрения и образа действия. Этот распад личности, в эпизодическом представлении равносильный смерти, временно обновляет жизненный опыт; более того, создаёт предпосылки для более обширного воскрешения порядка, внутриличного и общественного.

Будущего шамана, по сути, мучает неполное или внутренне противоречивое состояние устройства его культуры, как оно ему представляется. Он подвергается душевному надлому, вызванному какой-то стороной его жизненного опыта, какой-то аномалией, которая не может быть легко включена в это устройство. Этот надлом вновь обнажает его перед неизвестным, ранее, так сказать, скрытым его культурой. Его поведение во время инкубационного периода, предшествующего его появлению в качестве шамана, обычно отмечается рядом поступков, считающихся в современной культуре, точно так же, как и в первобытной, характерными признаками серьёзного душевного надлома. Он ведёт себя своеобразно, стремясь к уединению, впадая в припадки ярости, теряя сознание, живя один в горах или лесах и страдая от видений и периодов рассеянности. Его соплеменники объясняют его странное поведение одержимостью. Это переживание распада и нового обнажения перед хаосом сопровождается внутридушевное подчинение действию врождённых, произвольных (эпизодических, лимбических, управляемых правым полушарием мозга) механизмов, ответственных за разрушение и возобновление условного знания. Это действие субъективно проявляется в имеющем внутреннее строение мифологическом

переживании – в самопроизвольном личном переживании, которое придерживается образца, связанного с ритуализированным общественным посвящением, и которое первоначально могло также служить его источником.

Душа шамана "уносится прочь духами" – завсегдатаями области эпизодического – и возвращается к "месту богов". Это место существует вне времени и пространства, на той же самой плоскости реальности плеромы, что и доисторический и следующий за апокалипсисом рай. "Входу" в эту область предшествует полный душевный распад, сопровождаемый приводящими в ужас видениями мучений, расчленения и смерти. Новопосвящённый шаман спускается в матриархальный ад, который предшествовал созданному миру и сосуществует с ним, проходя через сталкивающиеся скалы или ворота в виде челюстей. Он доводится до состояния скелета, в то время как его отделённая от тела голова наблюдает за этой процедурой; его внутренние органы удаляются или перестраиваются; его кости ломают, а его глаза выкалывают. Его пожирает змея или великанша. Его варят, жарят или иначе сводят к его существенному и основному устройству – к самим его костям. Элиаде пишет:

"Общий душевный кризис будущего шамана, иногда ведущий к полному распаду его личности и к сумасшествию, можно оценить не только как посвятельную смерть, но также и как символическое возвращение к докосмогоническому хаосу, к бесформенному и неопишуемому состоянию, которое предшествует всякой космогонии. Теперь, как мы знаем, для архаических и традиционных культур символическое возвращение к хаосу равносильно подготовке к новому творению. Отсюда следует, что мы можем истолковывать душевный хаос будущего шамана как признак того, что непосвящённый человек «растворяется» и новая личность готовится к рождению".⁴²⁷

Этот распад есть удаление предметов и процессов опыта из их обусловленного обществом состояния условного значения, управляемого парадигмой, и их возвращение к эмоционально зловещему неизвестному, бесконечно угрожающему и многообещающему. Подвержение воздействию последовательно обновляемого жизненного опыта представляет собой эмоциональное и мотивационное ядро восторженного переживания, основу религиозного переживания (и переживания смысла) как такового, до того как его поймут, словно в ловушку, в догму и направят по ней. Растворение испытывается в образном или эпизодическом представлении как смерть. Это – точное умозрительное представление **смерти научившейся жить в обществе личности** как растворения установленного в настоящее время внутридушевного представления и процедурного воплощения образцов действия, созданных в истории и ныне считающихся нравственно приемлемыми. Простительный ужас, который вызывает рассмотрение последствий такого разложения, представляет собой главное препятствие к достижению спасительного изменения; представляет грозную преграду для внутридушевного объединения.

Шаманский "процесс преобразования" появляется как средство обновления познавательных систем, если это необходимо; эмоция, которая высвобождается при этом процессе, есть часть жизненного опыта. В каждом крупном "шаге вперёд" есть нечто от революционного "спуска в безумие". Он качественно изменяет оттенки из обычного в коренной. Строение этого процесса легко формулируется в образном представлении – даже среди детей, слишком маленьких, чтобы выработать какое-либо "допускающее явное высказывание" знание.

Следующий сон о моём сыне Джулиане (одного года и одиннадцати месяцев) был описан 5 октября 1995 года моей дочерью Михаилой (трёх лет и девяти месяцев). Джулиана уже приучали садиться на горшок, его речь быстро развивалась, и сдерживание эмоций причиняло ему некоторые хлопоты. Михаиле нравилось называть его "младенцем". У нас уже было с ней несколько разговоров о том, что он уже не младенец. Она рассказывала мне эту историю, в то время как я был у компьютера, поэтому я смог записать её дословно.

**Михаила. Глаза Джулиана выпали,
а затем**

он развалился на куски.

Папа. Что за куски?

**Михаила. Куски Джулиана,
и его кости тоже выпали,**

затем
 яма поглотила его,
 а в ней была вода,
 а когда он вышел из неё,
 он стал большой.
Мама. Так Джулиан больше не младенец?
Михаила. Нет, он большой мальчик,
 и жук с ногами вытащил его из ямы,
 потому что жуки умеют плавать,
 а яма была в парке,
 и она передвинулась в наш задний двор,
 а он упал в неё.
 Дерево сгорело,
 и осталась яма.

Именно частичное "растворение" прежней младенческой личности Джулиана вызывало его эмоциональное бедствие. Михаила, расстроенная его беспокойством (и охваченная любопытством в связи с исчезновением "её младенца"), пыталась понять, через что проходит её брат. Её сон представлял его преобразование как "смерть" и возрождение: сперва выпали его глаза, затем он развалился на куски, потом выпали его кости. Всё пошло в "яму", которая первоначально находилась в соседнем парке. (Парк у нашего дома – это 40 акров, заросших лесом. Дети и я ходили туда вечером, несколько раз. Они нашли, что в нём полно привидений, но что он волнующий. Для них он был ближайшим проявлением неизвестного, находящимся вне исследованной и хорошо знакомой области, – главной местностью его проявления (в переносном смысле) как источник происхождения "ямы", в которой имело место превращение.) Яма была полна воды, чью символику как омолаживающей или разрушающей "живой воды" мы уже обсуждали. "Жук с ногами", который умел "плавать", был, я думаю, подобием очень древних внутридушевных систем, которые лежат в основе преобразования более изощрённых корковых или личностных структур или управляют им. Представление, что "дерево" сгорело и осталась яма, очень сложно. Дерево – это, по меньшей мере, сложная структура, которая возникает из основного материала (из "почвы"). Оно также обычно используется как иносказательное представление "сущности" отдельного человека – даже самой его нервной системы.⁴²⁸ В этом случае "дерево" также представляло Джулиана, но символически. Оно, среди прочих вещей, "означало" личностные структуры, которые в настоящее время подвергались преобразованию.

Способность к приспособлению обязательно ограничивается областью, охватываемой единым набором принципов – единым образом действия, единым способом понимания, – при отсутствии возможности пересмотра современных представлений о нравственности. (Здесь нравственность – это описание невыносимого настоящего, идеального будущего и средств преобразования первого в последнее.) Такое ограничение, представляющее собой неспособность играть в игры с правилами игр, означает опасное ограничение гибкости поведения и представления и возросшую восприимчивость к опасностям, создаваемым неизбежным изменением "окружающей среды" (то есть неизбежным повторным появлением дракона неизвестного). Биологически предопределённая способность к его удовлетворительному преодолению является необходимой предпосылкой осуществления способности человека к качественному изменению в приспособлении. Разрешению кризиса – символическому возрождению – сопутствуют посвятельное растворение, расчленение и смерть. Элиаде утверждает:

"Собственно посвятельные действия всегда включают обновление органов и внутренностей, очищение костей и вставление волшебных веществ – кристаллов кварца, или жемчужной раковины, или «духовных змей». Кварц связан с «небесным миром и с радугой»; жемчужная раковина подобным же образом связана с «радужной змеей», то есть, в итоге, по-прежнему с небом. Эта символика неба сопровождает восторженные подъёмы на Небо, ибо во многих местах верят, что кандидат в шаманы посещает небо, своими ли силами (например, поднимаясь по верёвке) или его уносит туда змея. На небе он беседует со Сверхъестественными Существами и Героями мифов. Другие виды посвящения включают спуск в царство мёртвых: например, будущий шаман ложится спать у кладбища, или входит для этого в пещеру, или

переносится под землю, или – на дно озера. Среди некоторых племён посвящение включает и то, что новичка «жарят» в или на огне. В конце концов кандидата в шаманы оживляют те же самые Сверхъестественные Существа, которые его ранее убили, и теперь он становится «человеком, обладающим Силой». Во время своего посвящения и после него он встречается с духами, Героями мифических Времён и душами умерших – и, в некотором смысле, все они наставляют его в тайнах шаманской профессии. Естественно, собственно обучение завершается под руководством более старых учителей. Короче говоря, кандидат в шаманы делается шаманом посредством обряда посвятельной смерти, за которым следует воскресение в новое и сверхчеловеческое состояние".⁴²⁹

Шаман путешествует вверх и вниз по **оси мира**, главному шесту мира, дереву, соединяющему нижний, хтонический мир пресмыкающихся и верхний, небесный мир птиц со срединной областью человека. Это "составляющие опыта", представленные в другом, но хорошо знакомом расположении как небо наверху (отец наверху), преисподняя, или материя, или земля внизу (мать внизу) – представленные в форме, первоначально устроенной создающим космос героем. Успешное завершение путешествия шамана "с земли в область богов" даёт ему право выступать в роли **душеводителя**, посредника между человеком и богом; помогать членам его общины в приспособлении к тому, что остаётся вне условного приспособления, если такое приспособление не удаётся. Шаман служит своему обществу как деятельный посредник между ним и неизвестным; как линия связи, через которую неизвестное говорит с людьми; как деятель, через которого протекает информация, вынуждающая приспособительные изменения. Важно отметить, что путешествие шамана в "неведомые земли", чтобы оно имело ценность, должно заканчиваться возвращением к общине. В противном случае первичное иступлённое переживание – главное для шаманских занятий (и вообще для творческой мысли и действия) – есть просто безумие, и оно будет рассматриваться обществом и переживаться в душе шамана как таковое. Разрешение кризиса – это психологическая перестройка, воссоединение, возрождение на более высоком уровне, причём спасительное личное переживание остаётся нетронутым, но вновь включённым в целое современного общественно-культурного мифа и истории.

Неискоренимая аномалия, которая входит в число вечных сторон жизни, периодически подрывает душевную устойчивость – здравомыслие – множества несчастных, но одарённых личностей. Те из них, кто сохраняют свои головы во время "путешествия в преисподнюю", возвращаются заражёнными этой преисподней, с точки зрения их соотечественников, способными к переупорядочению мира и, следовательно, поддержанию здравомыслия и устойчивой жизни. Такое возвращение есть, **в сущности**, преобразование предположений и ценностей – личных, а затем культурных. История – это неоценимая сокровищница творческого жизненного опыта и мудрости прошлого. Прошлой мудрости не всегда достаточно, чтобы устроить современную жизнь, к которой можно привыкнуть. Если бы сам жизненный опыт был неизменным и конечным, как прошлое, все явления были бы давно управляемы, а жизни предков и их потомков мало отличались бы. Но опыт динамичен и потенциально бесконечен. Сама природа жизненного опыта изменяется со временем. Новые вызовы и опасности будущего проявляются в настоящем, там, где ранее их не существовало. История как описание прошлого неполна, так как в ней нет движения. Поэтому она пребывает в постоянном противоречии с новыми переживаниями. Дух, лежащий в основе преобразования культуры, разрешает невыносимое внутреннее противоречие сокрушительным откровением, сначала – личности, потом – обществу в целом. Творческая личность "умирает" – метафизически и, слишком часто, буквально – ради тех, кто следует за нею, вместо того чтобы разделять общую судьбу ей равных. Те, кто несут первоначальное бремя движения истории вперёд, способны преобразовать своё личное своеобразие и откровение в реальность общества, не сломившись под тяжестью одиночества и страха. Каждая человеческая личность и человеческое общество вообще боятся, и ненавидят, и желают, и почитают такую творческую способность. Творческие личности разрушают старые ценности и угрожают хаосом, но они также несут свет и обещание чего-то лучшего. Именно этим образом "жертвоприношение революционного спасителя" спасает и вновь зажигает космос.

Революционный герой – это человек, который добровольно, мужественно решает встать лицом к лицу с какой-либо стороной всё ещё неизвестного и угрожающего. Он может к тому же быть единственным лицом, которое в настоящее время способно понять, что приспособление общества к окружающей среде каким-то образом неполно или несоответственно устроено, кто в настоящее

время понимает, что всё ещё остаются непобеждённые злые духи, опасное неизвестное и угрожающие возможности. Предпринимая творческое действие, он (вновь) сталкивается с хаосом, порождает новые основанные на мифах стратегии поведения и расширяет границы (или преобразует парадигматическое строение) области культуры. Хорошо приспособленный человек отождествляет себя с тем, что уже было, сохраняет мудрость прошлого и поэтому защищён от неизвестного. В противоположность ему герой, творец и исправитель истории, овладевает известным, переходит его границы, а затем подвергает его перестройке – открывая

в ходе этого виду хаос – или отталкивает назад границы неизвестного, устанавливая определённую территорию там, где ранее не существовало ничего, кроме страха и надежды. Герой преодолевает природу, Великую Мать, вступая с нею в творческий союз и вследствие этого переустраивая культуру, Великого Отца. Такое воссоединение и воскресение, по сути, является полным изменением личных – а затем культурных – нравственных предположений. Опосредованная обществом совокупная передача последствий такого творения и внутридушевной перестройки составляет групповое самосознание, саму культуру, канон предположений и ценностей, лежащих в основе поведения, вечную защиту от ужасного неизвестного.

Герой – это первый человек, чьё "внутреннее строение" (то есть его иерархия ценностей и образов поведения) перестраивается вследствие соприкосновения с внезапно возникающей аномалией. Его "спуск в преисподнюю" и последующая перестройка личности делает его спасителем, но его соприкосновение с драконом хаоса заражает его силами, которые разрушают традицию и устойчивость. Устойчивость господствующего "в настоящее время положения" может быть только кажущейся, то есть культура в её современной форме может быть уже обречена на гибель ещё не вполне проявившимися изменениями. Герой обнаруживает дракона или, по крайней мере, допускает его присутствие раньше любого другого и возглавляет нападение на него. Его возвращение в царство угрожаемого порядка едва ли, однако, может сопровождаться похвалой, так как знание, которое он несёт, кажется (или, может быть, является) раскалывающим и разрушительным задолго до того, как оно окажется спасительным. Вследствие этого очень легко рассматривать революционного героя как самую глубокую опасность для государства, и это на самом деле было бы правдой, если бы совершенный застой в государстве не был более существенной опасностью. **Рисунок 51 "Распятый спаситель как дракон хаоса и преобразования"**⁴³⁰ представляет этого спасителя как змею в соответствии с его "заражённостью" неизвестным.⁴³¹

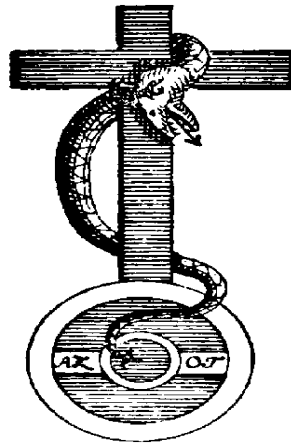


Рисунок 51

Рисунок 52 "Разрушительное для общества искупительное «путешествие» революционного героя" схематически представляет "путь спасителя". Личность, обеспокоенная ненормальными и вызывающими тревогу данными жизненного опыта, одинаково страдает от "распада", "жёсткости" или "дряхлости" внутри общества. Выбор в пользу "обработки" таких данных – то есть "разрабатывания" их как рудника значений и вследствие этого подрыва созданной обществом внутридушевной иерархии поведения и ценностей – равносильна, выражаясь мифологически, "спуску в преисподнюю". Если этот спуск оказывается успешным, – то есть если исследователь не отступит к своему прежнему устройству личности и не обнесёт его стенами и если он не падёт жертвой безнадёжности, тревоги и отчаяния, – то он может "вернуться" к своему

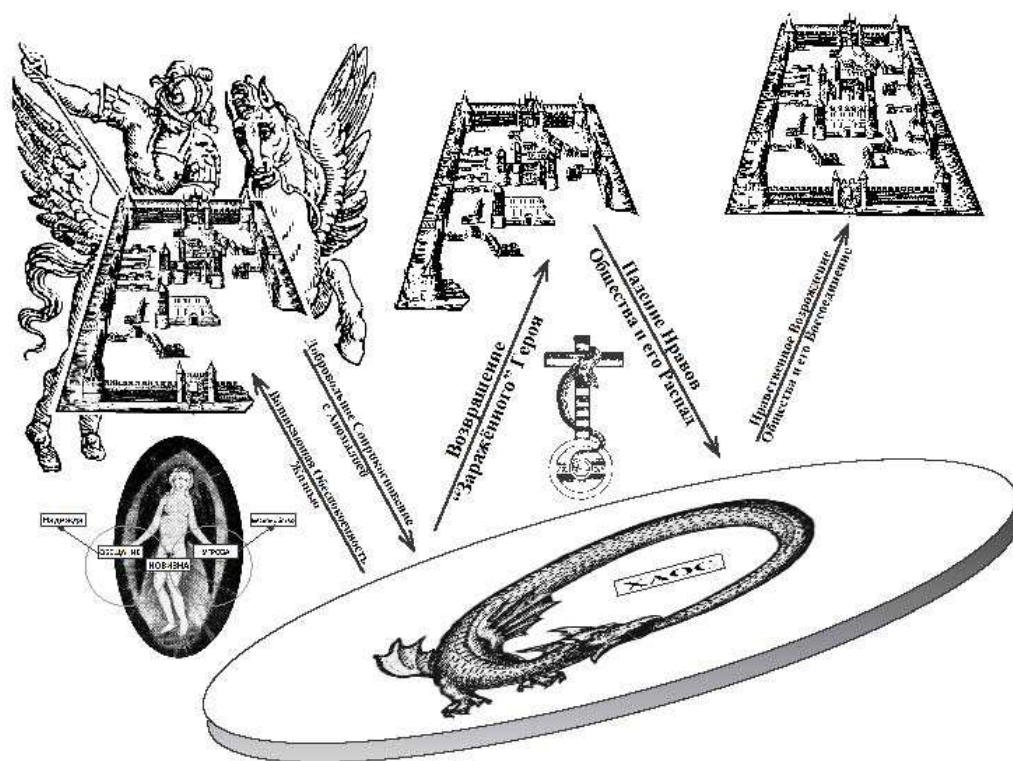


Рисунок 52

обществу с сокровищем в руках, с обработанными сведениями, чьё рассмотрение принесло бы пользу оставшимся дома членам общества. Очень вероятно, однако, что вследствие его "заражённости неизвестным" те, кто "оставался позади" него, будут смотреть на него со страхом и даже ненавистью, особенно если они "не признают" той угрозы, которая первоначально побуждала его к путешествию. Кроме того, его заражённость не следует воспринимать как что-то лёгкое. Если исследователь действительно получил новый способ приспособления или представления, необходимый для продолжающегося успеха и выживания группы, то в обществе неизбежны существенные изменения. Их осуществление отбросит тех, кто полностью отождествил себя с группой, против их воли в царство хаоса. Такой "недобровольный спуск в преисподнюю", как мы уже видели, является очень опасным предприятием, особенно при отсутствии "отождествления с революционным героем". Это значит, что не могут отличить героя от дракона хаоса (героя – от бедствия в окружающей среде, от смерти царя, от опасного чужестранца или еретической мысли), в первую очередь, те люди, которые "продали свою душу группе".

Чем более деспотично их отношение, тем более те, кто его придерживается, ненавидят и боятся героя, жертву творческой болезни и облагодетельствованного ею:

"Устроим ковы праведнику, ибо он неудобен для нас и противится нашим действиям; он укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания. Он объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа. Давайте посмотрим, верны ли его слова, и испытаем, что случится в конце его жизни; ибо если праведник – сын Божий, Он поможет ему и избавит его от рук его противников. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Давайте осудим его на позорную смерть, ибо, как он говорит, его защитят" (Премудрость Соломона, 2 : 12 – 13; 16 – 20).

Деспотическое отношение поддерживает общество в состоянии однородности и жёсткой предсказуемости, но в конце концов обрекает его на падение. Этот надменный традиционализм, маскирующийся под нравственную добродетель, является просто невыраженным страхом перед тем, чтобы оставить проторённую тропу, проложить новую тропинку, – вполне понятным, но, тем не менее, непростительным увиливанием от судьбы вследствие отсутствия веры в личные способности и в точности равного ему страха перед неизвестным. Неизбежным результатом такой неудачи является, по определению, **ограничение смысла**, так как смысл существует на границе между известным и неизвестным. Подавление личного опыта – которое является неудачей в обновлении действия и представления перед лицом ненормального происшествия – означает запруживание реки жизни; означает жизнь на бесплодной равнине, в оцепеневшем царстве, среди вечной засухи. Именно **личный** опыт, ненавистный для фашиста, вечно вытесняющий групповое разбиение на разряды и истолкования умершего, является новым и бесконечно освежающим.

Безопасность предсказуемого общества предоставляет противоядие от страха, но слишком жёсткое общество обеспечивает в конце концов своё собственное разрушение. Будущее приносит с собой неизвестное: негибкость и нерасположенность к переменам приносят несомненность вымирания. Приспособительное поведение создаётся и (или) преобразуется теми, кто доведён до того, чтобы разрешить напряжение, неизбежно существующее между динамическим личным жизненным опытом и обществом; теми, кто доведён до того, чтобы разрешить напряжение между тем, что (как они знают) истинно, и тем, что заявляет история. Переприспособление во времена перелома не обязательно представляет собой простое добавление к имеющемуся историческому знанию, хотя и это тоже является героической попыткой. Полное переприспособление может потребовать революционных мер, частичное или полное перевоплощение – разложения на составные части и систематического переустройства. Такое переустройство изменяет смысл жизненного опыта и, следовательно, мифологию истории и жизни. Если разрешение напряжения не достигнуто во время перелома, личности угрожает душевная болезнь, а обществу – вырождение культуры. Эта "душевная болезнь" (недостаток культуры, недостаток героизма) есть возврат к господству неизвестного, выражаемый на языке мифологии как невольное кровосмешение (разрушительный союз) с Ужасной Матерью.

Революционный герой раскрывается перед возможностью продвижения, – перед содействием главному мифу его культуры, – помещая себя вне защитной ограды истории и обнажая свою уязвимость перед ужасной природой действительности. На языке психологии герой открывает ограничения истории; открывает наготу своего отца (Бытие, 9 : 20 – 25). Он должен, следовательно, бросить вызов истории и предстать лицом к лицу перед тем, от чего она ранее его защищала. Соприкосновение с Ужасной Матерью означает обнажение полной уязвимости смертного перед существованием и последствиями невежества, безумия, жестокости, болезни и смерти. Революционный герой смело встречает реальность своей уязвимости и ведёт борьбу с ужасом, порождённым ею.

Неизменное превосходство будущего постоянно служит разрушению всех предыдущих исторически обусловленных систем, так что путь, определённый революционным героем, остаётся единственной неизменной дорогой к спасению. "Революционный герой" – это воплощение и повествовательное представление деятельности самого сознания. Это мужское начало мифологии возникает из своего тождества с хаосом и культурой и выступает как независимое божественное явление, как сила, равная разрушительным, порождающим, защитным и тираническим силам, которые составляют жизненный опыт. Герой – это личность, которая нашла "третье решение" своих жизненных задач, нашла решение, отличное от упадочничества и самовласти. Когда перед ним оказывается парадокс, чьё разрешение невозможно на языке исторического канона (этой установленной, основанной на аксиомах иерархии ценностей и предположений), он вдохновенно действует и переступает пределы своих обусловленных культурой ограничений. Вместо того чтобы отрицать существование проблемы – и следовательно, мучить тех, кто не может не ставить её, – революционный герой ставит невозможную задачу воссоединения враждующих противоположностей. Он допускает возможность её успешного решения не потому, что задача может быть уменьшена до предела, а потому, что он верит в то, что человеческая природа может расшириться до соответствия ей. Такое верование, как и религиозная вера, предоставляет необходимые предпосылки для мужества. Добровольный переход героем пределов подвергает его воздействию грубой силы неизвестного (и гневу его общественной группы), но делает возможной творческую деятельность. Способность героя рискнуть тем, что он окажется в одиночестве, – не

отвергая при этом свою культуру, потому что он не знает её ценности, и не убегая от неё в страхе, – предоставляет ему возможность достичь своего подлинного роста, хотя и не обязательно шумных приветствий или популярности.

Подлинно безусловным в личности, которая может встретить совершенно неизвестное, является её героическая сторона, которую нельзя заставить в конце концов подчиниться тирании и которая не управляется прошлым. Это тот дух, что создал цивилизацию и который не должен быть связан внутри личности жалким подчинением тому, что уже было. Человек, который стоит вне культуры, неизбежно противопоставляет себя природе и миру. Положение его кажется безнадёжным. Но человек мало знает о своих подлинных возможностях – и в этом неведении состоит его надежда:

"Он есть камень, пренебрежённый вами жидущими, но сделавшийся главою угла" (Деяния, 4 : 11).

4.3. Подъём самосознания и постоянное заражение аномалии смертью

Появление аномалии может быть более или менее расстраивающим. Малые "проявления неизвестного" разрушают относительно небольшие полосы "исследованной области". Большие проявления могут разрушить всё, что ранее считалось само собой разумеющимся, – даже "невидимые" явления.

Расстраивающие проявления неизвестного могут произойти как следствие деятельности "внешних сил": геологических, метеорологических, даже космологических. Подобным же образом общественные преобразования могут перевернуть устойчивое и хорошо знакомое. Войны, революции и переселения народов ещё раз делают очевидной обусловленную природу всего, что считается само собой разумеющимся.

Внутренние преобразования с точно такой же вероятностью вносят неустойчивость. Процесса полового созревания самого по себе достаточно, чтобы разрушить ранее устойчивую и хорошо приспособленную личность и маленькое общество её семьи. "Кризисы" в приспособлении могут быть вызваны в детстве, в начале обучения в школе и первого независимого соприкосновения с непосредственным миром общества. Гормональные изменения и новые общественные запросы юности могут подобным же образом превратить счастливого и разумного ребёнка в подавленного и враждебного подростка.

Некоторые "внутренние" преобразования являются также естественными и общественными событиями. Например, вечно расширяющаяся человеческая способность к отвлечённому мышлению, по-видимому, является следствием деятельности биологических и общественных сил, действующих согласованно. С точки зрения эволюции видов, человеческий мозг развился исключительно быстро. Опосредованное языком взаимодействие между людьми, характерное для всё больших человеческих обществ, снабдило эту быстро развивающуюся биологическую способность "данными", чья изощрённость и широта возрастают подобно взрыву. Это значит, что человеческий ум всё более и более проявляет способность расстраивать самого себя – вызывать, так сказать, откровения, которые пробьют зияющие дыры в ранее достаточных приспособительных и защитных общественных и внутридушевных структурах.

Всё время расширяющаяся человеческая способность к отвлечённому мышлению дала нам – как виду и как личностям – возможность создать модели самих себя, которые включают границы нашего существования во времени. Мы способны теперь представить себе свою собственную смерть и смерть тех, кого мы любим, и связать хрупкость смертного с каждой опасностью, с которой мы сталкиваемся. Возникновение такой способности – которое вновь происходит каждый раз, когда взрослеет новый человек, – вносит в развитие каждой жизни самую неподатливую аномалию, которую можно себе представить.

Миф представляет собой вечно повторяющееся появление этой способности к представлению – этого неожиданно возникающего "самосознания", наследуемого греха Адама, – как вкушение "запретного плода", как развитие познания добра и зла, с последующим изгнанием из рая. Её появление является событием "космического значения", приводящим к отделению неба от земли, делающим человеческий жизненный опыт чем-то "вечно падшим", чем-то всегда нуждающимся в спасении.

Для вида "человек разумный" неизвестное сделалось постоянно заражённым смертью. Это заражение ужасно преувеличило наши общие побуждения – то есть наши страх и любопытство, – так как мы способны воспринять потенциально смертельные последствия каждого ненормального события. Создания нашей культуры – наши великие общества и верования, которые им сопутствуют, – могут с пользой рассматриваться как приводимые в движение нашим знанием о своей смертности и энергией (повышенной настороженностью и пронизательным сознанием), которую такое знание вдохновляет.

Наша великая надличная познавательная мощь, однако, ещё не спасла нас от долины смертной тени.

"Кто настолько глуп, чтобы подумать, будто Бог по подобию человека-земледельца насадил Рай в Эдеме, на востоке, и посадил там дерево Жизни, воспринимаемое глазами и чувствами, которое давало жизнь тому, кто ел его плоды; и другое дерево, которое давало тому, кто ел его плоды, знание добра и зла? Я думаю, никто не сомневается, что этот рассказ образно указывает на некоторые тайны".⁴³²

Метамифология Пути изображает образ действий, которым определённые представления о настоящем, будущем и способе преобразования первого во второе первоначально создаются, а затем воссоздаются во всей их полноте, когда такое преобразование становится необходимым. Этот метамиф содержит глубинную структуру, связывающую с ним другие классы мифов, включая те, которые описывают современное или предшествующее устойчивое состояние; те, которые изображают появление в этом состоянии чего-то неожиданного; те, которые представляют распад рая вследствие этого; и те, которые описывают восстановление устойчивости. Этот круговорот существенно отличает развитие сознания, способности действовать и представлять, которая с мифологической точки зрения рассматривается как нечто родственное сотворению мира.

"Предыдущее состояние устойчивости", разрушенное вследствие возникшей аномалии, может пониматься или как "рай, что некогда царил", с точки зрения хаоса, порождённого его падением, или как "жёсткое и тираническое прошлое", с точки зрения оживлённого и возобновлённого порядка. Мифы о рае и грехопадении обычно описывают первые динамические составные части пути с точки зрения "хаоса, царящего в настоящее время", то есть состояния неуверенности и страха, которое служит отличительной чертой "светской" и "мирской" жизни. С этой точки зрения человеческая жизнь – это существование в "долине смертной тени", заражённое невыносимым и невозвратимым даром познания добра и зла. Мифы о спасении – то есть о подъёме из хаоса, о возвращении в рай или о "полёте" на небо – это истории, "предназначенные" для того, чтобы описать процесс излечения "доисторического" грехопадения. Такие мифы излагают нравственность, установление или воплощение которой – это лекарство от духовного оцепенения, вызванного неожиданно возникающим знанием о смерти.

Мысль о первозданном, затем утраченном рае – о происхождении жизненного опыта, подъёме (само)сознания и следующем затем вечном, наследуемом грехопадении, отпадении от благодати, – проявляется как постоянное свойство человеческой культуры, распространённое по всему миру. Даже самые технологически первобытные из народов, чей образ жизни те европейцы, которые первыми столкнулись с ними, часто ошибочно принимали за райский, обычно считали себя падшими из более раннего состояния совершенства. Для них – как и для "нас" – благородный дикарь был образом предка, подобного Адаму, который мог непосредственно общаться с Богом:

"Когда Небо было резко **отделено** от Земли, то есть когда оно стало **отдалённым**, как в наши дни; когда дерево (или лиана), соединяющее Землю с Небом было срезано; или когда гора, которая обычно касалась Неба, была сравнена с землёй, – тогда райское состояние закончилось, а человек вступил в своё современное состояние. В действительности все мифы о рае показывают нам человека, изначально наслаждающегося блаженством, непринуждённостью и свободой, которые он, к несчастью, утратил вследствие своего **грехопадения** – то есть того, что последовало за мифическим событием, которое вызвало **разрыв** между Небом и Землёй".⁴³³

Представление о рае охватывает несколько больше, чем "предыдущее состояние устойчивости". На самом деле это все предыдущие состояния устойчивости, соединённые в едином представлении. Каждое предыдущее состояние устойчивости становится таким образом **порядком** как таковым,

совершенно уравновешенным со своими возможностями, – становится существованием без страдания в Эдеме или Парадизе, в "обнесённом стеной саду наслаждения" ("«Эдем» означает на древнееврейском "наслаждение, место наслаждения"... наше собственное слово Парадиз, которое происходит из персидского, где «рай» значит «вокруг», а «daeza» – «стена», означает собственно огороженное стеною место. Очевидно, тогда, что Эдем – это обнесённый стеной сад наслаждения"⁴³⁴). Рай – это место, где совершенное равновесие порядка и хаоса устраняет страдание, порождая в то же время предметы необходимости и удовольствия жизни, без труда и усилий. В райском состоянии хаос и порядок объединены в единое совершенное целое.

Рай поэтому также оказывает влияние на состояние "космоса" перед его разделением на вечно враждующие между собой составляющие опыта. Это положение или состояние **уробора**, умозрительно представляемое как способ существования, который свободен от противодействия или находится вне его, является также по необходимости тем местом или состоянием жизни, где страдание – следствие ограничения и противодействия – не существует. Этот вид символического представления кажется несколько парадоксальным, так как именно "дракон хаоса" вызывает ужасную тревогу, когда он неожиданно проявляется. Однако контекст определяет, что бросается в глаза, определяет **значение**, в мифологии, как и в других областях. Условия существования – то есть равновесия, достигнутого силами порядка, хаоса и сознания, – нередко кажутся нестерпимыми, в себе и сами по себе (например в состоянии тревоги и боли, отличающем тяжёлое горе или уныние). С этой точки зрения состояние небытия (равносильное "тождественности с докосмогоническим хаосом") есть отсутствие всякой возможности страдания. В состоянии порождения мыслей, отличающем, например, самоубийство, Великая Мать манит. Мой студент, который перенёс относительно тяжёлый "кризис сознания", рассказал мне следующую историю:

"Я поехал на океан. За взморьем там были утёсы. Я стоял на одном из утёсов, глядя на воду. Я был в подавленном состоянии духа. Я посмотрел на горизонт. Я увидел в облаках фигуру прекрасной женщины. Она подала мне знак идти вперёд. Я чуть не переступил через край утёса, прежде чем вышел из моей фантазии".

Моя жена рассказала мне очень похожую историю. В поздней юности, чувствуя себя несколько неустроенно, она отправилась в поездку с ночёвкой в палатке на берегу глубокой реки возле её родного города. Она переночевала на отвесном берегу, круто обрывающемся вниз. Утром от реки поднялся туман и заполнил всю речную долину. Когда она проснулась, она подошла к краю берега:

"Я видела облака подо мной. Они выглядели как большая мягкая подушка. Я представила себе, что погружаюсь в неё, туда, где было тепло и удобно. Но часть меня лучше знала, что делать".

Состояние небытия – состояние до открытия ящика Пандоры – при многих условиях может показаться состоянием, стоящим того, чтобы его (вновь) прочувствовать.

Обычное употребление слова "рай" как названия географического места служит для того, чтобы конкретизировать сложное положение дел, внутренняя природа которого иначе оставалась бы совершенно непонятной; служит для того, чтобы, так сказать, "приземлить" **доопытные** состояния духа и сделать их изначально понятными, по крайней мере символически. Рай как место или состояние – это ставшее совершенным взаимодействие между личностями – гармония льва и ягнёнка – равно как и духовная гармония (это "внутреннее царство" и "внешнее царство", одновременно соединённые как "царство Божие"). Рай – это к тому же мир, до того как он стал богохульным, до того как невинность его была утрачена.

Мифы о "рае детства" используют обстоятельства, применимые на заре каждой отдельной жизни – до разделения матери и ребёнка, – как метафору для "места начал". Отношение совместной жизни матери и ребёнка включает в себе связь составных частей, которые со временем станут отдельными, и может поэтому быть использовано как зерно для символической мельницы. Близкая связь двух личностей в начале каждой жизни после рождения включает в себя "состояние", которое является одновременно одной вещью и более чем одной вещью. Этот конкретный пример единства, которое в то же самое время есть множественность, может быть использован в отвлечённом смысле, чтобы представлять само предполагаемое довременное состояние, где всё, что было бы более чем одной вещью, всё ещё существовало в неразделимом тождестве. Это единство – ненарушенное

первоначальное состояние – склонно принимать эмоциональную оценку совершенства (так как оно есть место, где нет столкновений, нет "разделения противоположностей").

Например, широко распространённые изображения на иконах Святой Девы-Матери и её Дитяти – христианские и нехристианские – можно было бы рассматривать как кристаллизованные фантазии об эмоциональной природе начала. В идеальном союзе матери и ребёнка каждое желание остаётся безусловно ограниченным любовью. Состояние раннего детства более обычно символизирует свободу от противоречия; символизирует честное, невинное, идиллическое существование человека, погружённость в любовь, жизнь до необходимой порчи от соприкосновения с обществом, жизнь, предшествующую воздействию грубо карательных условий физического существования. Детство представляет (а может быть, и есть) жизнь до открытия смертности, до понимания временных границ субъективного существования – представляет, следовательно, жизнь без заражения знанием о смерти. Это "отсутствие заражения" придаёт жизненному опыту детства идеальный характер, который легко доходит до того, чтобы служить мифологическому воображению образцом состояния жизни, которое превосходит жизненные тревоги взрослого состояния. Ребёнок, отец человека, представляет собой прошлое человека; к тому же он представляет собой человеческие возможности и вечную надежду человека на будущее. Хасиды, например, верят, что их "цадик (совершенный, праведный человек) находит то, что было утрачено с рождения, и возвращает это человеку"⁴³⁵. Подобным же образом в христианском предании утверждается, что "если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное" (Матфей, 18 : 3). Взросление означает расширение способностей, различение себя и мира, превращение возможности в действительность, но также и утрату возможностей, так как всё развитое развивается в одном направлении, а не в любом из бесчисленных других направлений. Рост означает также и упадок, так как каждый шаг к взрослому состоянию означает, что смерть приблизилась на один шаг.

Первоначальное райское состояние обычно, в мифологическом представлении, разрушается каким-то роковым действием, предпринятым человеком, – каким-то действием, которое противопоставляет его своему божественному источнику. Такое противопоставление мучительно, и оно часто изображается как ужасная ошибка или грех. Дело, тем не менее, обстоит так, что происхождение жизненного опыта и истории – то есть происхождение самого бытия, – по-видимому, нерасторжимо связано с таким противопоставлением, с отклонением от его замысла. Первоначальное райское состояние, хотя и отличающееся совершенной целостностью, тем не менее кажется парадоксально недостаточным: оно представлено неопределённой формой небытия – ему не хватает реальности:

"Было нечто бесформенное, однако совершенное, что существовало до Неба и Земли;
Без звука, без вещества;
Ни от чего не зависящее, неизменяющееся, всюду проникающее, неистощимое.
О нём можно думать как о Матери всех вещей под Небом".⁴³⁶

Такое небытие появляется как неизбежное следствие отсутствия ограничения или противопоставления. Это отсутствие лишает всё, что составляет источник, отличной от него точки отсчёта и, следовательно, лишает его существования. Как "место" (как "предыдущее состояние невинной жизни") рай сохраняет налёт беззаботного существования. Но он уменьшен сравнительной **нереальностью** этого существования. В саду Эдема вещи ещё не разошлись в разные стороны, ещё не разделились (полностью) на свои составные части. Две неотличимые друг от друга вещи, однако, не являются двумя вещами, а одна вещь без каких-либо отличительных особенностей не может существовать.

Рай – это мир до своего осуществления. В таком состоянии ничто не страдает и ничто не умирает, потому что там некому страдать, там нет никого, кто ощущает природу субъективного бытия или смысл такого бытия, как только оно "отделилось" от целого. "Изначальный предок", одновременно мужчина и женщина, живёт в этом нереализованном месте до разделения на мужа и жену;⁴³⁷ существует там **несамосознательно** даже после этого разделения:

"И оба были наги, Адам и жена его, и не стыдились" (Бытие, 2 : 25).

"Знать" свою наготу – и стыдиться её – значит понимать свою подверженность воздействию, слабость и уязвимость. Быть обнажённым перед толпой и миром означает, что хрупкая сущность твоей личности была впечатляюще и неопровержимо доказана. Не сознавать своей наготы – не обладать "самосознанием" – значит гораздо меньше беспокоиться, но также и быть гораздо меньше. "Райский" мир ребёнка гораздо меньше – то есть гораздо меньше **явен**, – чем мир взрослого. У ребёнка меньше обязанностей и меньше определённых забот, чем у взрослого. Это придаёт детству очарование, которого недостаёт жизни взрослых, по крайней мере с точки зрения взрослых. Но дело обстоит так, что ребёнок обладает повышенной уязвимостью, которую взрослый уже перерос. Ребёнок не ощущает своей уязвимости и не страдает от неё, пока она в чём-то не проявится трагически. Взрослый, напротив, знает, что ему можно причинить боль, и постоянно из-за этого страдает. Его повышенное сознание, на самом деле самосознание, означает, однако, что он может обеспечить своё безопасное выживание (хотя он должен сам заботиться о своём будущем). Мир ребёнка ограничен, не до конца понят, но, тем не менее, уязвим. Райский мир неполон, однако также находится под угрозой.

Именно изначальное отделение света от тьмы, вызванное **Логосом**, Словом, равнозначным процессу сознания, даёт начало человеческому опыту и исторической деятельности, которая и есть сама действительность. Это первоначальное разделение является структурой прообраза и основной предпосылкой подробной разработки и описания более различных притягивающихся и отталкивающихся пар противоположностей:

"В начале сотворил Бог небо и землю.

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою.

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.

И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы" (Бытие, 1 : 1 – 4).

Свет и тьма составляют мифологическую целостность; порядок и хаос, в их парадоксальном союзе, предоставляют изначальные составные части всей вселенной опыта. Свет – это просвещение, вдохновение; тьма – это невежество и вырождение. Свет – это вновь возшедшее солнце, вечный победитель в бесконечной, повторяющейся по кругу битве со змеем ночи. Он спаситель, мифический герой, избавитель человечества. Свет – это золото, чистое и неподдающееся порче, царь металлов, символ самой цивилизованной ценности. Свет – это Аполлон, царь-солнце, бог просвещения, ясности и сосредоточенности, дух, противоположный тёмной материи; яркая мужественность, противоположная тёмной и бессознательной женственности. Свет – это Мардук, вавилонский герой, бог утра и весеннего дня, который борется против Тиамат, чудовищной богини смерти и ночи; это Гор, который борется против зла и спасает своего отца; это Христос, который переступает пределы прошлого и распространяет на всех людей тождество с божественным **Логосом**. Существовать в свете – значит родиться, жить, быть спасённым, в то время как отступить от света – значит выбрать путь зла – выбрать духовную смерть – или полностью погибнуть телесно.

Миф приравнивает начало вселенной опыта отделению света от тьмы из-за аналогического или метафорического отношения тождества между этим отделением и таинственным различием сознательного опыта от бессознательного неведения. Сознание и дневное переживание безнадежно запутанно соединены, как забвение и ночь. Тьма налагает суровые неконтролируемые надличностные ограничения на пробуждающееся человеческое сознание, устраняя или резко ограничивая зависящие от зрения временную и пространственную чувственную протяжённость. Чернота ночи приносит с собой новое появление неизвестного и вечное человеческое ощущение подчинённости тем ужасам, которые по-прежнему непостижимо внедрены в жизненный опыт:

"Святая ночь на небосклон возшла,

И день отрадней, день любезней,

Как золотой покров, она свила,

Покров, накинутый над бездной.

И, как виденье, внешний мир ушёл...

И человек, как сирота бездомный,

Стоит теперь и немощен и гол,

Лицом к лицу пред пропастию тёмной.

На самого себя покинут он –
Упразднен ум, и мысль осиротела –
В душе своей, как в бездне, погружён,
И нет извне опоры, ни предела...
И чудится давно минувшим сном
Ему теперь всё светлое, живое...
И в чуждом, неразгаданном ночном
Он узнаёт наследье родовое".⁴³⁸

Внешние "космические" силы покрывают день ночью, как покрывалом. Подобным же образом и как следствие действия одинаково неконтролируемых "внутренних" сил сознание ночью уходит в сон".⁴³⁹

"... на самом деле главная метафора, лежащая в основе «начала», – это вовсе не рождение. Это скорее мгновение пробуждения от сна, когда один мир исчезает, а другой возникает. Это всё по-прежнему заключено внутри круга: мы знаем, что в конце дня мы вернёмся к миру сна, но между тем нам кажется, что мы переступаем собственные пределы, что наше сознание «поднимается» из нереального в реальный или, по меньшей мере, более реальный мир. Это ощущение пробуждения в большую степень реальности было выражено Гераклитом... как переход из мира, где у каждого – свой собственный «логос», в мир, где существует общий «логос». Книга Бытия представляет творение как внезапное возникновение мира посредством членораздельной речи (ещё одна сторона логоса), сознательного восприятия, света и устойчивости. Нечто подобное этой метафоре пробуждения, возможно, является подлинным основанием подчёркивания «дней» и таких повторяющихся выражений как: «И был вечер, и было утро: день один» даже до того, как день (как мы его знаем) был установлен с созданием солнца".⁴⁴⁰

Временное ночное состояние небытия, видимо, сходно с более долговременным положением дел, теоретически преобладающим до зари сознания как такового, где не было ни субъекта, ни объекта, ни опыта вообще, но где **возможность** всего этого каким-то образом пребывала в спячке.

В саду Эдема нет страдания. В таком состоянии вещи на самом деле не существуют. Вследствие этого миф, по-видимому, приравнял установление противоположности, **необходимой для бытия**, появлению и развитию ограниченного субъекта, который служит созданному миру зеркалом Бога. В мире мифа само существование какого-либо опыта – прошлого, настоящего и будущего, – как кажется, связано с опытом ограниченного в пространстве и во времени наблюдателя. Ограниченные таким образом в своём проявлении – то есть проявляющиеся в области личного опыта – вещи достигают краткого, различённого существования, прежде чем они с треском вламываются в свои противоположности и исчезают навсегда. Как утверждает в этом духе древнее еврейское предание: «Бог и человек, в некотором смысле, близнецы»⁴⁴¹. Сходное утверждает и современный физик Джон Уилер:

"В каждом элементарном квантовом процессе акт наблюдения, или акт регистрации, или акт участия наблюдателя, или как бы мы ни предпочитали его называть, играет существенную роль в придании «осозаемой реальности» тому, что, как мы говорим, происходит. Парадоксальным образом мир существует «там снаружи» независимо от актов регистрации, но независимо от актов регистрации его там нет".⁴⁴²

С обычной точки зрения, объективные вещи существуют в себе и сами по себе. Но эта точка зрения устраняет необходимость в наблюдателе, с которым связана точка отсчёта, который сводит неопределимую возможность к наличной действительности. Миф не совершает такой ошибки, приравнивая само наличие бытия и становления к появлению сознания и самосознания.⁴⁴³ Именно это приравнивание позволяет мифологическому воображению поместить человека в центр вселенной и проводить аналогию между началом, которое создаёт порядок из хаоса, и самим человеком.

Мифологический мир – мир, как он переживается, – можно было бы, по сути, рассматривать как неожиданно возникающее свойство (первого порядка) самосознания; можно было бы рассматривать

как взаимодействие между вселенной как субъектом и вселенной как объектом. Миф приравнивает его начало к появлению света, возникновению сознания; приравнивает вселенную к миру жизненного опыта; предполагает, что **реальное** включает в себе **субъективное**. Эта мысль кажется чрезвычайно чуждой современному мировосприятию, которое основано на исторически новом утверждении, что объективная материя в себе и сама по себе представляет собой реальность и что субъективное переживание, которое в действительности предоставляет исходный материал для понятия объекта, есть просто придаток вторичного явления. Дело, однако, обстоит так, что самосознающие системы (такие, как система, состоящая из бытия одновременно в качестве субъекта и объекта) характеризуются появлением неожиданных и единственных в своём роде свойств. Мир как субъект (то есть человек) – исключительно сложное явление, гораздо более сложное, чем что-либо другое (кроме других субъектов). Мир как объект едва ли менее таинственен. Разумно рассматривать их взаимодействие как нечто даже более замечательное. Мы думаем: **сначала материя, потом субъект** и предполагаем, что **материя**, как мы её понимаем, существует и при отсутствии нашего понимания. Но "первичная материя" мифологии (более всеохватывающая "сущность", чем материя современного мира) есть нечто гораздо большее, чем просто вещество: она есть источник всего, объективного и субъективного (**есть материя и дух, соединённые в сущности**). С этой точки зрения, сознание является столь же существенным для мира опыта, как и содержание сознания. Материя мифологии поэтому кажется чем-то большим, чем "суеверие, которое должно быть превзойдено", кажется чем-то большим, чем мёртвое вещество современной точки зрения.

Мир опыта порождается деятельностью сознания, зарождающегося сознания, более чем за одну "стадию". "Чисто сознательное знание", предположительно имеющееся до порождения активных представлений личности, – то есть простое разделение на "объект" и "субъект" – всё ещё сохраняет существенное единство и связанные с ним "райские" основы. Адам и Ева – независимые существа до их "грехопадения", но они всё ещё общаются с животными и ходят перед Богом. Приютившиеся в вечно плодородном саду, блаженно не ведающие о своей существенной наготе и уязвимости, они живут без забот и труда. Именно возникновение отношения к самим себе **второго порядка** – осознания своей личности или самосознания – окончательно раскалывает это застывшее состояние совершенства и необратимо изменяет природу опыта. (Развитие сознания – понимания системы "ею самой" – добавляет к её общему устройству один вид отношения к самой себе. **Самосознание** – понимание субъекта самим собой, – по-видимому, добавляет к нему ещё один такой вид.) Современный ум (так как он считает сознание вторичным по отношению к реальности) счёл бы, что ничего существенного не изменилось посредством такого "внутреннего" преобразования. "Мифологический ум" занимает совершенно другую позицию, "предполагая", как он и делает, что сознание связано с создателем всего. С этой точки зрения познавательные преобразования изменяют устройство существования как таковое; преобразуют само отношение между небом и землёй, творцом и творением; навечно изменяют сам космос. Современный материалист счёл бы, мягко выражаясь, такую теорию высокомерной и самонадеянной. Тем не менее великие общества Востока и Запада основаны именно на такой точке зрения – на мифах о происхождении и грехопадении человека, отличающихся сверхъестественным сходством построения:

Отец принца Гаутамы, Будды, спасителя Востока, решив защитить своего сына от знания отчаяния и сознания трагичности бытия, построил для него огороженный дворец, обнесённый стенами сад земных наслаждений. Только здоровым, юным и счастливым был позволен доступ в этот земной рай. Все признаки распада и вырождения были таким образом скрыты от принца. Погружённый в непосредственные чувственные удовольствия, в плотскую любовь, в танцы и музыку, в красоту и наслаждение, Гаутама вырос до зрелости совершенно защищённым от ограничений смертного. Однако, несмотря на особенное внимание и волю своего отца, он сделался любопытным и решил оставить свою соблазнительную тюрьму.

Были сделаны приготовления, чтобы позолотить выбранный им маршрут, покрыть путь искателя приключений цветами и выставить для его восхищения и внимания прекраснейших женщин царства. Принц отправился с полной свитой, в защищённом удобстве сопровождаемой охраной колесницы, и восхищался видом, заранее для него приготовленным. Боги, однако, решили нарушить эти тщательнейшим образом подготовленные планы и послали пожилого человека кивать у всех на виду по той же

дороге. Очарованный пристальный взгляд принца упал на незваного гостя-старика. Понуждаемый любопытством, он спросил своего слугу:

"Что это за создание спотыкается, оборванное, согбенное и сломленное, рядом с моей свитой?"

И слуга ответил:

"Это человек, такой же, как и все другие, который родился младенцем, стал ребёнком, юношей, мужем, отцом, отцом отцов. Он состарился, стал подвержен разрушению красоты, воли и даров жизни".

"Ты говоришь, такой же, как и все другие, – нерешительно спросил принц. – Это значит... это случится и со мной?"

И слуга ответил:

"Неизбежно, по прошествии времени".

Мир обрушился на Гаутаму, и он попросил, чтобы его вернули в безопасность его дома. Со временем его беспокойство уменьшилось, любопытство возросло, и он опять отважился выйти наружу. На этот раз боги послали ему на глаза больного.

"Это создание, – спросил он своего слугу, – трясущееся и парализованное, ужасно страдающее, на которое невыносимо смотреть, источник жалости и презрения, что оно такое?"

И слуга ответил:

"Это человек, такой же, как и все другие, который родился здоровым, но который стал несчастным и больным, неспособным справляться со своими делами, бременем для себя и других, страдающим и неизлечимым".

"Ты говоришь, такой же, как и все другие, – спросил принц. – Это могло бы случиться и со мной?"

И слуга ответил:

"Ни один человек не свободен от опустошительного действия болезни".

Мир обрушился ещё раз, и Гаутама вернулся к себе домой. Но наслаждения его прежней жизни обернулись ему пеплом во рту, и он отважился выехать из дому в третий раз. Боги, в своём милосердии, послали ему на пути встречу с погребальным шествием и мертвецом на носилках.

"Это создание, – спросил он своего слугу, – лежащее так неподвижно, кажущееся столь ужасным, окружённое горем и печалью, погибшее и покинутое, что оно такое?"

И слуга ответил:

"Это человек, такой же, как и все другие, рождённый женщиной, любимый и ненавидимый, который некогда был тобой, а ныне – прах".

"Ты говоришь, такой же, как и все другие, – спросил принц. – Значит... это могло бы случиться и со мной?"

И слуга ответил:

"Это твой конец, – сказал слуга, – и конец всех людей".

Мир обрушился в последний раз, и Гаутаму попросили, чтобы его отвезли домой. Но у слуги были распоряжения от отца принца, и он вместо этого отвёз его на женский праздник, происходивший поблизости в лесной роще. Принца встретили прекрасные женщины, которые необузданно предлагали ему в песне, в танце и в игре, свою чувственную любовь. Но Гаутама мог думать только о смерти и неизбежном разложении красоты и не получил никакого удовольствия от этого показа.

Миф о Будде – это история личного развития, рассмотренного в идеале. История начинается с отца Гаутамы, защищающего своего ребёнка от опасностей мира, подобно тому, как защищают любого ребёнка в здоровой семье. Однако по мере того как юный принц взрослеет и становится всё более и более любопытным, он желает познать "внешний мир". Дети, которые развиваются в надёжной и безопасной семье, её перерастают, они больше не "вмещаются" в свою семью. Именно "хороший родитель" – тот, кто воспитывает ребёнка, который быстро становится столь независимым, что отцовской и материнской заботы ему уже недостаточно, – обязательно терпит неудачу. Каждая вылазка во внешний мир даёт знания и соответствующее снижение способности семейной плеяды детства "наносить мир на карту" – предоставлять приемлемые образцы действия и представления для существования в ней подлинной личности. Столкновение будущего Будды с

внутренними ограничениями смертного трагически разрушает рай его детства, но оно же выталкивает его во внешний мир как независимое существо. Эта история изображена на рисунке 53 "Добровольное нисхождение Будды".

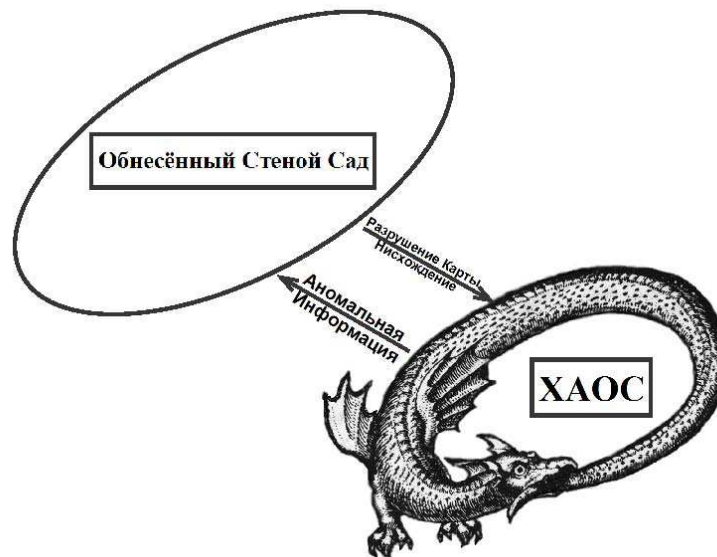


Рисунок 53

История взросления Гаутама подробно рассказывает о последовательном заражении его жизни невыносимой тревогой; описывает возможную связь и красоты, и самых необходимых жизненных удовольствий с неизбежностью распада и смерти – последнего наказания. Борьба Будды с его неожиданно возникающим трагическим самосознанием и его окончательная победа над ним – это конец великой истории: сперва Гаутама соединяет в одно целое знание своих предков, затем он переступает его пределы и перестраивает его.

Оставив "огороженный стенами сад" своего детства, Гаутама в своей попытке понять земной мир, как тот ему теперь представляется, овладевает традициями. Он изучает различные философские системы, включая санхью и йогу, оставляя каждую в свою очередь как недостаточную, а затем доводит аскетизм – отречение от мира – до крайности: "доведённый почти до состояния скелета, он стал в конце концов походить на кучу пыли"⁴⁴⁴. И этот подход тоже оказывается недостаточным. В конце концов, испробовав всё, что жизнь могла ему предложить, развиг дисциплинированность преданного приверженца, он готовится к последней схватке. Он входит в огромный лес (духовную родину неизвестного), садится у подножия фигового дерева и решает оставаться неподвижно на этом месте, пока не настанет пробуждение.

В этом положении Гаутама переживает подлинное посвятельное испытание, подвергаясь всем ужасам смерти (равно как и возобновляющимся приступам искушений мирской жизни). Однако дисциплинированность, которую он приобрёл в предыдущих путешествиях, служит ему хорошей службой: он остаётся целеустремлённо преданным своей задаче – открытию истины, которая служила бы жизни, которая искупила бы человеческий жизненный опыт. Его последнее искушение, возможно, наиболее интересно. Вследствие своего тяжёлого испытания Будда достигает **нирваны**, совершенства, и бог смерти предлагает ему выбор – оставаться в этом состоянии. Это предложение отвергается: Будда возвращается в наш мир, в своё состояние смертного, для того чтобы распространять знание, которое он приобрёл. **Именно этот последний поступок выделяет его как революционного героя.** Приобретения мудрости – творческого усилия – недостаточно. Круговорот спасительного действия не замыкается, пока сведения, тяжело добытые на поле боя отдельной души, не включены в жизнь большей общины. Не может быть спасения для одного человека при наличии продолжающегося страдания всех остальных. Именно возвращение Будды с неба, которого он достиг, есть то, что делает его поистине великим.

История Будды – это, может быть, величайшее "литературное" произведение Востока. Её тема воодушевляет и самые основные уровни разумности Запада. Иудео-христианская история спасения основана на представлении об отдельной личности, испорченной первородным грехом, отпавшей от благодати, сознающей жизнь и границы жизни, безвозвратно благословенной и проклятой познанием добра и зла. Способность развивать такое познание появляется в этой истории как "наследуемая характеристика породы", как предпосылка порождения знания объективных границ субъективного существования, как основная предпосылка трагического самосознания:

"И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?

И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть.

Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.

И сказал змей жене: нет, не умрёте;

Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знание; и взяла плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел" (Бытие, 2 : 25; 3 : 1 – 6).

Мысли снятся мифам задолго до того, как они принимают узнаваемый, хорошо знакомый и словесно понятный вид. Миф – как и сон – можно рассматривать как место рождения сознательного отвлечённого знания, как утробу, откуда берут начало оформленные мысли. Каждое понятие – неважно, каким новым или современным оно кажется, – возникает из почвы, подготовленной столетиями предыдущей умственной деятельности. Миф "готовит почву" для явного понимания, используя то, что понято в настоящее время, – то, что уже было частично исследовано, то, к чему уже приспособились в действии, – чтобы представлять то, что всё ещё остаётся неизвестным. Предметы опыта, которые уже исследованы, могут поэтому служить символами представления при описании субъекта опыта, которого сравнительно трудно понять. Именно таким образом **личность**, которая, по существу, непостижима и неизвестна, накапливает представления в переносном смысле самой себя, как и других ещё не понятых явлений.

Вещи, чьи свойства сами по себе сложны и таинственны, наиболее полезны для этого метафорического назначения, так как возможности их символического применения фактически беспредельны. Например, дерево и змея – сложные предметы для понимания – могут быть отчасти поняты при их наблюдении и могут поэтому давать плодотворный материал метафорическому остроумию. Дерево и змея, соединённые и поодиночке, в качестве средств представления обладают обширной, насыщенной подробностями историей. Они служат сходному назначению во многих мифах, описывающих утрату рая, и должны поэтому представлять какую-то структуру (или процесс), играющую главную роль в этой утрате. Кажется вероятным – несмотря на первоначальную странность этого предположения, – что этой структурой является нервная система⁴⁴⁵ как таковая, как она проявляется во внутридушевном представлении,⁴⁴⁶ а не нервная система любой отдельной личности.

Дерево – это **ось мира**, Мировое древо, неподвижно укоренённое в материнском (или часто "материальном") мире хаоса, с ветвями, простирающимися до неба (до небес, до царства духов предков). Согласно знатокам хатха-йоги:

"... ноги, твёрдо стоящие на земле, соответствуют корням дерева, его основанию и источнику питания. Это могло бы означать, что в повседневной жизни вы твёрдо стоите на земле, чтобы соответствовать жизненным запросам. Ваша голова находится в космическом пространстве, или **на небе**. Слово «небо» в этом примере означает в соприкосновении с энергией жизни, с мудростью, которая выше разума... Позвоночный столб, вдоль которого расположены различные чакры, подобен стволу дерева. Макушка головы – это увенчивающий цветок этого цветущего дерева, Лотос Шарасары чакры, с тысячью лепестков".⁴⁴⁷

Ось мира проходит через "центр космоса", соединяя три отдельных, но переплетённых "вечных" царства. **Нижнее царство** – это область неизвестного, подземного, морского, адского – земля мощи пресмыкающихся, слепой силы и вечной тьмы. Древние скандинавы верили, например – в соответствии с этим общим умозрительным представлением, – что огромный змей живёт под **Иггдрасилем**, Мировым древом, и глохнет его корни, пытаясь навсегда его уничтожить. (Иггдрасиль, однако, постоянно оживляли источники "волшебной воды", которые также находились под ним.) Огромный змей – это дракон хаоса в его разрушительном виде, источник всего (включая Мировое древо), равно как и сила, которая сводит созданные предметы к состоянию их источника. ("Волшебная вода" – это воплощение положительной стороны неизвестного, с её порождающей и омолаживающей силой.) Двоица дерева и змеи заключает в себе исключительно широко распространённый "мотив" мифологии и проявляется также и как литературная тема. Здесь уместно вспомнить толкования Фрая на роман Мелвилла "Моби Дик". Моби Дик – это огромный белый кит, который живёт в морских глубинах. Ахав – капитан китобойного судна, страстно и неразумно посвятивший свою жизнь тому, чтобы в конце концов победить это морское чудовище:

"В романе «Моби Дик» поиски кита Ахавом могут быть безумными, или «маниакальными», как их часто называют, или даже пагубными, поскольку он приносит им в жертву свою команду и корабль, но зло или месть не являются смыслом этих поисков. Сам кит может быть только «глухой скотиной», как говорит помощник капитана, и даже если бы он злобно решил убить Ахава, то такое желание у затравливаемого до смерти кита несомненно было бы понятно, если бы оно возникло. То, чем одержим Ахав, находится в мире реальности, лежащем гораздо ниже, чем любой кит, в безнравственном и отпугивающем мире, которому ничто нормальное в человеческой душе не может непосредственно противостоять.

Поиски явно ведутся, чтобы убить Моби Дика, но по мере того как нагромождаются предзнаменования бедствия, становится ясно, что на самом деле Ахава подгоняет воля к отождествлению с тем, что Конрад называет разрушительной стихией, а не приспособление к ней. Ахав, как говорит Мелвилл, уже стал «Прометеем», с питающимся им стервятником. Этот осевой образ появляется в водовороте нисходящей спирали («вихря») последних нескольких страниц романа и, может быть, в замечании одного из членов команды Ахава: «Выпал главный винт из центра мироздания». Но это нисхождение не является чисто демоническим или просто разрушительным: подобно другим творческим нисхождениям оно отчасти является поиском мудрости, каким бы роковым ни могло оказаться достижение такой мудрости. Отношения, напоминающие отношения между королём Лиром и его шутом, развиваются в конце между Ахавом и маленьким юнгой-негрятёнком Пипом, которого так надолго оставили плавать в море, что он сошёл с ума. О нём говорится, что он был унесён живым вниз, «в чудные глубины, где перед его недвижными очами взад и вперёд проплывали поднятые со дна морского странные тени обитателей первозданных времён; где скаред-водяной, по имени Мудрость, приоткрывал перед ним груды своих сокровищ».

«Моби Дик» – это настолько глубокая, насколько это может себе позволить современная литература, разработка библейской символики левиафана, той титанически-демонической силы, что подняла Египет и Вавилон к величию, а затем швырнула их в ничтожество; которая является как врагом Бога, пребывающим вне творения, так и, что особенно заметно в книге Иова, существом, живущим внутри созданного мира, которым Бог скорее гордится. Левиафан открывается Иову как последняя тайна путей Божиих, как «царь над всеми сынами гордости» (Иов, 41 : 26), чьим простым орудием является сам Сатана. На что похожа эта сила зависит от того, как к ней подойти. Если подходить к ней так, как конрадовский Курц – через свой психоз Антихриста, она есть невообразимый ужас; но она может быть и источником энергии, который человек может поставить себе на пользу. Естественно, в этом есть значительные опасности – опасности, о которых Рембо говорил в своём знаменитом «письме путешественника» как о «расстройстве всех чувств». Это выражение указывает на тесную связь между титаническим и демоническим, которую Верлен выразил в своих словах «проклятый поэт», на отношение поэтов, которые чувствуют, подобно Ахаву, что правильное почитание тех сил, к которым они взывают, есть открытое неповиновение им".⁴⁴⁸

Среднее царство – это земля, мирское сознательное существование, область человека, пойманного в неудобную ловушку между титаническим и небесным, пойманного в ловушку

царства, где "дух и материя", или "небо и ад", или "порядок и хаос" вечно взаимодействуют и преобразуют. Наконец, **верхнее царство** – это небо, внутридушевный идеал, отвлечённое символическое построение и утопическое состояние, создание поколений со своей самостоятельной фантазией, следующей своим собственным правилам, со своим собственным неличным потусторонним существованием, управляемое своими собственными обитателями. То, что **ось мира** соединяет землю и небо означает, что она может служить ритуальной цели как мост между областью мирских личностей и "царством богов":

"Символизм восхождения на небо по дереву... ясно поясняется церемонией посвящения бурятских шаманов. Кандидат в шаманы взбирается на столб, стоящий посреди юрты, достигает его вершины и вылезает через дымовое отверстие. Но мы знаем, что это отверстие, проделанное, чтобы выпускать дым наружу, уподобляется «дыре», пробитой Полярной звездой в своде Небес. (Среди других народов главный палаточный шест называют **Столбом Неба** и сравнивают с Полярной звездой, которая к тому же является ступицей небесного шатра и где-то ещё называется **Гвоздём Неба**.) Таким образом, ритуальный столб, установленный посреди юрты, есть образ Космического Древа, которое находится в **Центре Мира**, с Полярной звездой, сияющей прямо над ним. Поднявшись по нему, кандидат в шаманы входит на Небо; вот почему, как только он вылезает из дымового отверстия палатки, он издаёт громкий крик, взывая о помощи к богам: там, наверху, он находится в их присутствии".⁴⁴⁹

Рисунок 54 "Мировое дерево как мост между «Небом» и «Адом»"⁴⁵⁰ даёт наглядное истолкование космического дерева, соединяющего "небо, землю и ад".

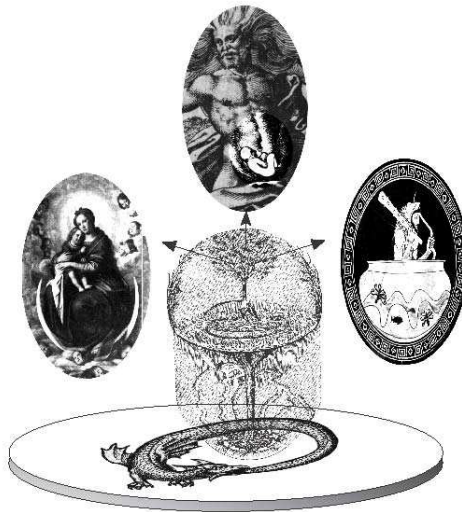


Рисунок 54

Космическое дерево – в этом представлении Иггдрасиль – коренится в области дракона хаоса ("змея", который "глохнет его корни"), проходит сквозь "землю" и достигает "неба", царства предков, или богов. Именно "бессознательное понимание" этого состоящего из трёх частей устройства привело, например, Фрейда к его "модели души": суперэго (боги традиции), эго (мир личности) и ид ("естественный" мир тёмного бессознательного побуждения). Именно включение Фрейдом всех частей Мирового древа (отрицательных и положительных) придало его мифу замечательную силу, влияние и мощь.

Рисунок 55 "Мировое дерево и составляющие опыта" предлагает другое истолкование и объяснение этого дерева, соотнося его "место" в космосе с "составляющими опыта". Некоторым недостатком этого чертежа является его точное символическое приравнение Мирового древа "прообразному сыну". Например, Христос и Сатана – христианские образцы двусмысленного

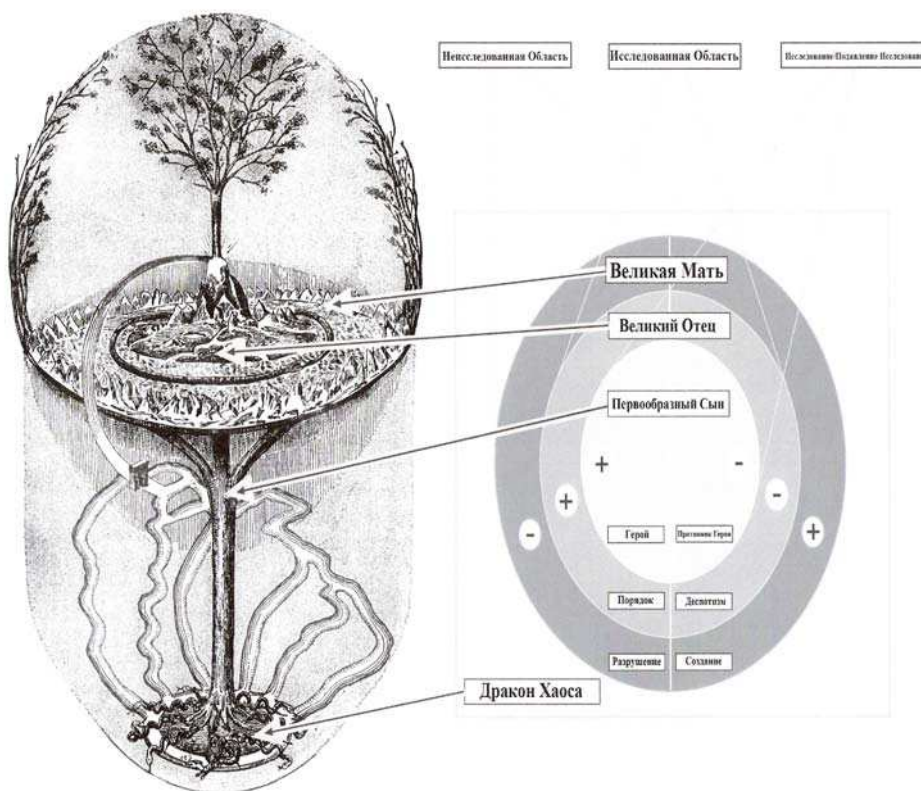


Рисунок 55

образа сына – могут рассматриваться также и как **плоды** этого древа (а также и как особые воплощения или виды этого дерева или как явления, сложным образом связанные с этим деревом). Сатана, например, скорее **скрывается в засаде** на запретном древе познания, чем существует в точности как это дерево. Обещанная им мудрость – знание богов – есть "первый плод" Мирового древа. Это превращает упомянутое дерево в источник откровения, которое уничтожает (источник, например, аномальной "мысли", которая разрушает застывшее прошлое, погружая его в хаос).

В книге Бытия плоды древа познания поедаются в мифическом действии посредством свободного (хотя и вызванного сильным искушением) поступка человека. Миф использует особое действие, поедание пищи, как метафору для усвоения знания и способности. Эрих Нейман пишет:

"Где бы ни появлялись напиток, плод, травы и так далее как средства для жизни и бессмертия, включая «воду» и «хлеб» жизни, таинство причастия и каждую форму почитания еды вплоть до настоящего времени, перед нами предстаёт древний способ человеческого выражения. Овеществление душевного содержания, посредством которого содержание того, что мы назвали бы «духовным» – как жизнь, бессмертие и смерть, – принимает телесную форму в мифе и ритуале и появляется как вода, хлеб, плод и так далее, является отличительной особенностью первобытного ума...

Сознательное осуществление этого «разыгрывается» в простой схеме питательного усвоения, а ритуальное действие конкретного поедания – это первый вид усвоения, известный человеку...

Усвоение и поедание «содержания», съеденной пищи, вызывает внутреннее изменение. Преобразование клеток своего тела посредством принятия пищи есть самое простое из животных изменений, переживаемых человеком. Как утомлённый, расслабленный и изголодавшийся человек может превратиться в бдительное, сильное и удовлетворённое

существо или человек, погибающий от жажды, может быть освежён или даже преображён возбуждающим напитком – это является и должно оставаться существенным переживанием так долго, как будет существовать человеческий род".⁴⁵¹

К вызывающему поеданию, с которого начинается отчуждение от рая и Бога, подстрекает змей, древнее и опасное создание низменной материи, которое может сбрасывать свою кожу и обновляться, рождаться заново.

Змея играет в мифологии двоякую роль, как действующая сила и символ превращения и как главный представитель основной, нерасчленённой, уроборской силы. Эдемский змей даёт человеку знание богов, но без их возмещающей силы и бессмертия. "Просвещение" им человека вызывает беспрецедентную катастрофу – катастрофу, достаточно полную, чтобы вызвать не только "окончательное разделение неба и земли", но и более или менее постоянную (и злосчастную) связь на этой земле между обещанием знания и появлением зла. Эдемский змей занимает в христианской душе то же самое категориальное пространство, как и Люцифер, "носитель света", дух "разнузданной разумности", в значительной части потому, что аномальная мысль ("плод разумности") обладает теми же самыми возможностями разрушения, как и любое другое стихийное бедствие. Это отождествление несколько односторонне, так как вдохновляемое аномалией нисхождение в хаос есть только половина мифологического предания и может также рассматриваться как необходимая предпосылка для вхождения в "высшее состояние" сознания (даже для воплощения Христа, этого "второго плода дерева познания"). Юнг пишет, что средневековые алхимики склонялись к принятию гностического истолкования эдемской истории:

"Здесь мы наблюдаем параллелизм головы дракона с Христом, в соответствии с гностическим учением о том, что сын высочайшего божества принял в раю вид змея с целью одарить наших прародителей даром проницательности, дабы увидели они несовершенство труда демиурга".⁴⁵²

Эдемский змей – это, прежде всего, неизвестное (неизвестная сила), всё ещё скрывающееся "внутри" нервной системы, внутри "Мирового древа"; это врождённая способность ума, его способность порождать мысли, несущие откровение; его способность разрушать устойчивый космос и расширять область сознания. Именно "бессознательное" (образное) восприятие этой мысли привело средневековую алхимию к тому, чтобы рассматривать змея как "таинственное вещество", которое преобразовывало себя внутри Мирового древа, и считать змея "жизнью" этого дерева.⁴⁵³

Именно "любопытство до добра не доведёт", но в равной мере именно любопытство и ведёт к открытию. Запретный или неизвестный предмет существует, окутанный тайной, "вне" земного, хорошо знакомого и исследованного мира. Заповедь "ты не можешь исследовать этого" неизбежно окутывает запретное тайной: что могло бы быть настолько опасным (могущественным, интересным), что с ним нужно обращаться так, как будто его не было? Явное запрещение чего-либо заражает это что-то "драконом хаоса" – так сказать, помещает внутри него змею. Явное запрещение чего-либо привлекает к нему внимание (так как неизвестное вызывает стремление к нему, равно как и страх). Связь змеи или дракона с хаосом или запретным предметом может поэтому рассматриваться и с более "физиологической" точки зрения. Приверженцы Кундалини-йоги считают змею регулятором напряжённости сознания. Эта змея является созданием позвоночника, хранилища внутридушевной энергии, чьё возбуждение приводит к восторженному состоянию и озарению. Цель Кундалини-йоги – "пробудить" эту змею, чтобы достичь озарения.

Змея имеет очевидные общие – и тонкие – особенности с позвоночником. Первой является их форма, второй – их общая история развития. Нервная система человека отчасти состоит из структур, столь же древних, как и у пресмыкающихся, в чьих тайниках скрывается огромная возбуждающая энергия. Глубинные структуры ствола головного мозга – "голова" спинной змеи – занимаются деятельностью, от которой полностью зависит поддержание сознания.⁴⁵⁴ Человек, забывшийся во сне (в "бессознательном состоянии"), может быть мгновенно пробуждён и приведён в состояние готовности действием этих структур под влиянием возбуждения, в обстановке, где, например, происходит нечто неожиданное и, возможно, опасное. Например, спящую мать может немедленно пробудить и побудить к исследованию неожиданный крик её младенца. **Неизвестное приносит бодствование спящему.** Угроза – появление чего-то неизвестного – возбуждает деятельное исследование, расширяющее способность к приспособлению, (или вызванное ужасом

прекращение деятельности) и вызывает резкое повышение заинтересованности и сознания. Это значит, что сознание как явление в значительной части зависит от возбуждения древних цепей, предназначенных для отклика на неизвестное. По мере того как развивался человеческий мозг, появлялось гораздо больше "территории для возбуждения"; тем не менее бдительность по-прежнему зависит от очень архаичных подструктур нервной системы. Знание этой зависимости эхом откликается во всех мифах и всей литературе. Гётевский Мефистофель поэтому может, например, заявить:

"Змеи, моей прабабки, следуй изреченью,
Подобье божие утратив в заключенье!"⁴⁵⁵

Самое "сознательное" животное – это самое **побуждаемое к действию** животное. Самое побуждаемое к действию животное живёт в вечном опасении величайшей угрозы (то есть его собственной кончины) и в вечном желании устранения этой угрозы, в **надежде**, что опасное неизвестное породит "спасительное" знание. Именно ясное понимание смертельной опасности и скрывающихся повсюду бесконечных возможностей подняло сознание человека гораздо выше сознания его ближайшей родни в ходе процесса, который тянулся столетиями. Вследствие развитости нашей познавательной системы мы можем видеть неизвестное во всём: хуже того (лучше того) мы можем видеть смертельную опасность во всём неизвестном. Это, конечно, делает нас озабоченными, но также и (если мы не убегаем прочь) **бодрствующими**. "Змея" "внешнего неизвестного", следовательно, работает, так сказать, согласованно со "змеёй" "внутреннего неизвестного": тайна, которая превосходит пределы современной области приспособления (то есть вечной тайны смертного ограничения), порождает (по крайней мере в принципе) **постоянное сознание**. Именно поэтому Будда – "пробудившийся человек". Наш мозг, "предназначенный" для приспособления к окружающей среде, повсюду ищет опасности и возможности. Цепи, "предназначенные" для исследования аномалий и последующего – как только исследование вызовет желательные последствия – прекращения их деятельности, вместо этого действуют всегда, так как это исследование никогда не достигает своей вечно удаляющейся цели. И поэтому мы навечно неустроены, несчастливы, не удовлетворены, пребываем в ужасе, надеемся и бодрствуем.

Личное усвоение основанного на общественных предпосылках знания – взрывным образом расширившегося в своём размахе в ходе столетий усилий культуры, достигших высшей точки в развитии подробно разработанной модели личности, – **вызвало внутри человека ясное понимание смертности как определяющей особенности человеческого существования**. Это понимание запутанным образом связало каждую сторону человеческого опыта с угрозой, навечно заразило этот опыт указанием на смертность, намёком на смерть, совершенно необъяснимым неизвестным. Это понимание привело нас к тому, чтобы рассматривать мир, который мы построили, как вечно недостаточный, такой, которому всегда недостаёт безопасности; привело нас к тому, чтобы рассматривать неизвестное "место смерти", кроме того и одновременно, как вечный источник нового спасительного знания. Это заражение сделало каждый предмет, каждую грань опыта постоянно таинственными и побуждающими к поддержанию повышенного сознания как бесконечной, внушающей благоговение и благотворной особенности человеческого существования.

Миф о грехопадении, христианский или буддийский, описывает развитие самосознания как добровольное, хотя и, в некотором смысле, заранее устроенное богами, чья сила остаётся вне области человеческого контроля. Люцифер в облике змея предлагает Еве яблоко с поистине неотразимым обещанием расширенного знания. Судьба устраивает знакомство Будды со старостью, болезнью и смертью, но он предпочитает добровольно покинуть пределы рая, который его отец старался сделать совершенным. Именно обширная склонность человека к исследованию, его врождённое любопытство, одновременно спасает благодать и смертельно опасную ошибку. По этой причине история о Будде и история, рассказанная в книге Бытия, основаны на предположении, что соприкосновение с невыносимым в ходе взросления предопределено, неизбежно и **желательно**, катастрофично, но **желательно**. Вольтер рассказывает историю о Добром Брамине – восхитительной, трагичной фигуре, – которая проясняет роль сознательности (и гордости) в достижении повышенного человеческого сознания:

"«Я хотел бы никогда не родиться!»
«Почему?» – спросил я.

«Потому что, – отвечал он, – я учился эти сорок лет и обнаружил, что потерял столько времени... Я верю, что состою из вещества, но я никогда не мог удовлетворить своё желание узнать, что же вызывает мысль. Я даже не ведаю, является ли моё понимание простой способностью вроде способности к ходьбе или пищеварения, или я думаю своей головой таким же образом, как я хватаю какую-либо вещь своими руками... Я много говорю, а когда кончаю говорить, остаюсь смущённым и стыдящимся того, что я сказал».

В тот же самый день я беседовал со старухой, его соседкой. Я спросил её была ли она когда-либо несчастна из-за непонимания того, как устроена её душа. Она даже не поняла моего вопроса. Она никогда, даже в течение кратчайшего мгновения своей жизни, не думала об этих предметах, которыми так мучил себя Добрый Брамин. В глубине своего сердца она верила в превращения Вишну и считала бы себя счастливейшей из женщин при условии, что она могла достать немного священной воды из Ганга, чтобы совершать в ней свои омовения. Поражённый счастьем этого бедного создания, я вернулся к моему философу, к которому обратился так:

«И тебе не стыдно быть таким несчастным, когда меньше чем в пятидесяти ярдах от тебя есть старый автомат, который ни о чём не думает и живёт себе довольный собой?»

«Ты прав, – отвечал он. – Я говорил себе тысячу раз, что должен был бы быть счастлив, если бы я был таким же невежественным, как моя старая соседка; и всё-таки это счастье, которого я не желаю».

Этот ответ Брамина произвёл на меня большее впечатление, чем всё, что уже произошло".⁴⁵⁶

Стыд, который Брамин чувствует при своих собственных словах, является следствием его понимания их недостаточности; является следствием понимаемой им самой своей неспособности заниматься жизненными задачами каким-либо образом, который он рассматривает как окончательный и полный. Его стыд и несчастье парадоксальным образом являются следствием действия того же самого процесса, который даёт ему возможность стремиться к исправлению, – процесса, который до крайности мучителен, но настолько ценен, что от него не откажутся, как только его цель будет достигнута. Ищущий дух подрывает свою собственную устойчивость, но не откажется от этой подрывной способности ради возвращения к "бессознательному" источнику. Это составляет, как я полагаю, часть той "гордыни" человека, которая служит предпосылкой грехопадения, но является также и частью другого "бессознательного" понимания: нечто, которое первоначально разрушает, может всё-таки сохранять в своём более позднем развитии, а процесс, который что-то подрывает, может также быть тем же самым процессом, который восстанавливает из обломков нечто более крепкое.

Рождение трагедии и развитие стыда можно было бы считать неизбежными следствиями самой сознательности, героической склонности к исследованию, дьявольски предопределённой в своём развёртывании, непреклонно ведущей к развитию невыносимого, но, возможно, спасительного (само)сознания. Распространение объективного знания на личность означает постоянное установление понятийной связи между личным существованием и несомненной смертностью. Развитие этой связи означает существование в бесконечном противоречии, так как вся человеческая деятельность отныне протекает в долине смертной тени. Судьба вынуждает всех представителей человеческого рода понимать свою изоляцию, свою личность, своё жалкое подчинение суровым условиям существования смертного.⁴⁵⁷ Признание обнажённости личности, негодующе подвергнутой⁴⁵⁸ разрушительному действию времени и мира, невыносимое и в высшей степени побуждающее к действию, осуждает мужчину и женщину трудиться и страдать ради жизни и ради смерти:

"И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе опоясания" (Бытие, 3 : 7).

Приобретение этого невыносимого знания делает невозможным нерассуждающее принятие жизненной необходимости и уничтожает всякую возможность простой приверженности райскому образу жизни. Адам и Ева немедленно прикрываются – воздвигают **защитную преграду**, символизирующую саму культуру, между своими уязвимыми телами и ужасным миром жизненного опыта. Этот неожиданно возникающий страх перед уязвимостью – непосредственное следствие

развития самосознания (нет, внутренней стороны самосознания) – навеки подрывает способность к вере в слепое, бессознательное действие:

"И слышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.

И возвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты?

Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоился, потому что я наг, и скрылся" (Бытие, 3 : 8 – 10).

Рай – это место, где небо, земля и природа по-прежнему соприкасаются, – место, где человек, который живёт в согласии с животными, всё ещё не мятежен и всё ещё "ходит перед Богом". Сознательное, но не обладающее самосознанием животное живёт в пределах неоспариваемой власти естественных процессов. Оно не может развить сознательную точку зрения относительно своих собственных восприятий, порывов и поведения, так как у него отсутствует доступ к жизненному опыту других. В противоположность этому отдельный обладающий самосознанием человек живёт **в истории**, в поле переживания, каждая сторона которого была оформлена и изменена жизненным опытом, полученным от существующих выдающихся личностей и от предков. Это основанное на общественных предпосылках историческое сооружение, по-видимому, предоставляет основу для изощрённого самосознания, снабжаемого содержанием через посредство действия культуры, которое есть (врождённая) способность отношения к себе как к другому. Создание самосознания требует подробной разработки модели самого себя; такого расширения понятия независимого другого существа, чтобы оно включало и себя самого; превращения определяемого обществом представления личности в понятия во внутреннее представление данной личности. Способность к такому объективному описанию возникает как следствие сообщения лишённой телесной оболочки, или отвлечённой, мысли от личности к личности посредством процессов различной сложности: от конкретного подражания до обобщённого философского рассуждения.

Способность передавать другим мастерство и представление даёт человеку возможность сделать своим внутренним достоянием и сформулировать сложное представление о самом себе, представить себя в выражениях из жизненного опыта других – то есть в выражениях жизненного опыта конкретных других, предлагающих (и воплощающих) своё решающее мнение, и общего другого, исторического человечества. Этот процесс, видимо, происходит (происходил) тогда, когда человек подвержен не только тем, единственным в своём роде переживаниям, которые составляют его собственную жизнь, но и переживаниям других людей, которые передаются подражательно, драматически, в языковой форме. Это подытоженное в пространственном и временном смысле богатство основанного на культуре опыта, чья совокупная ширина и глубина значительно превосходит производительные способности времени жизни отдельной личности, должно приобрести огромную духовную силу, как только оно передано и представлено в коре головного мозга; должно стать способным коренным образом менять – ограничивать и расширять – природные личные переживания. Одним из неизбежных последствий этого общего восприятия является самоопределение, развитие личного самосознания под давлением непосредственного, преходящего опыта, личного прошлого и исторического мнения относительно природы собственного опыта человека и человеческого опыта вообще. Расширение входящего в подробности общения позволяет личности, по крайней мере отчасти, осознать свою собственную "объективную" природу.

Личное внутридушевное представление совокупного человеческого опыта, основанного на истории, превращает, так сказать, одного во многих; превращает личность в воплощение современного ей группового опыта. Развитие нравственного чувства и нравственного выбора представляет собой неожиданно возникающее свойство такого обобществления знания. Знание нравственности, знание добра и зла, предполагает наличие различных взаимно исключающих возможностей для действия в данной обстановке, означает способность умозрительного представления различных взаимно исключающих идеалов, осуществлению которых может быть посвящено поведение. Животное, управляемое своими чисто личными, биологически предопределёнными восприятиями и побуждениями, существенно неизменёнными в своём назначении вследствие подытоженного и хранимого общения, не развивает никакой возможности для самокритики, не имеет никакой платформы, на которой оно могло бы стоять, с которой оно

могло бы критиковать; не имеет никакого основания для сравнения, не имеет расширенного набора возможностей приспособительного поведения, не обладает способностью фантазировать насчёт того, что могло бы быть, и никакого культурного опыта, чтобы воплощать эту способность. Восприятия и действия животных – опыт животных – ещё не были подвергнуты основанному на истории самосознающему анализу.

Животное, в своей естественной и постоянной окружающей среде, остаётся по ту сторону (или до) добра и зла, зажатое своей биологически предопределённой судьбой, которая с мифологической точки зрения является волей Божией. В противоположность этому человек, с головой, полной взаимоисключающих мнений (отвлечённого остатка отдельных выборов, которые делали его предки), может использовать ставшее его внутренним достоянием или свободно предлагаемое мнение своей группы, чтобы критически разбирать самопроизвольные проявления субъективного восприятия и побуждения; чтобы изменять и сдерживать саму чистую субъективность и выносить о ней суждение. Эта способность предоставляет человеку огромные возможности понимания и поведения, свободу, но обнажает субъективное переживание, незапятнанный инстинкт, перед возможностью оскорбления. Это отделение человека от погружения в свой естественный образ жизни представляет собой замечательное достижение с вечно расстраивающими последствиями.

Рождение трагедии и развитие чувства стыда можно было бы считать неожиданно возникающими свойствами самосознания. Представление о спасении, которое предоставляет возмещение за жизненные тревоги самосознания, можно было бы считать ещё одним его неожиданно возникающим свойством высшего порядка. Предание об "отпадении от рая" основано на представлении о том, что появление самосознания резко изменило действительность. Подлинно религиозные люди считают, что человек и Бог трагически отдалились друг от друга, что человеческие действия вдребезги разбили божественный порядок. Эта мысль настолько важна для нашего мировоззрения, что она проявляется повсюду: в лёгкости, с которой нас всех можно заставить чувствовать себя виновными; в том (часто определённо нерелигиозном) мнении, что существование человека "чуждо" "естественному порядку" (что человеческая деятельность вредна для окружающей среды, что наша планета каким-то образом "была бы в лучшем положении", если бы на ней не было людей), что биологический вид, к которому мы принадлежим, как-то внутренне расстроен или даже безумен. Наше постоянно возникающее отношение к себе как к другому (наше постоянно развивающееся самосознание) превратило мир опыта в трагическую пьесу:

"Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей⁴⁵⁹; и к мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою.

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «Не ешь от него», проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от неё во все дни жизни твоей.

Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травой.

В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься" (Бытие, 3 : 16 – 19).

Предвидение судьбы закрепляет предопределение, и рай навеки утрачен для человека:

"И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.

И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.

И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни" (Бытие, 3 : 22 – 24).

Но зачем скрываться от Бога? Потому что знание своей уязвимости заставляет нас отпрянуть от наших собственных возможностей. Жить полной жизнью – значит рисковать – рисковать всем, подвергаться опасности смерти. Зачем скрываться от Бога? Как при таких условиях могли бы мы не скрываться? Выживание стало ужасом и бесконечным тяжёлым трудом – требующим дисциплины, вынуждаемым обременительной мудростью, избилующим внутридушевными противоречиями, побуждаемым тревогой, – вместо самопроизвольной естественной деятельности. Мы остаёмся вечно висящими на кресте своей собственной уязвимости. Создание и грехопадение человека схематически изображено на рисунке 56 "Книга Бытия и нисхождение Духа Божия"⁴⁶⁰.

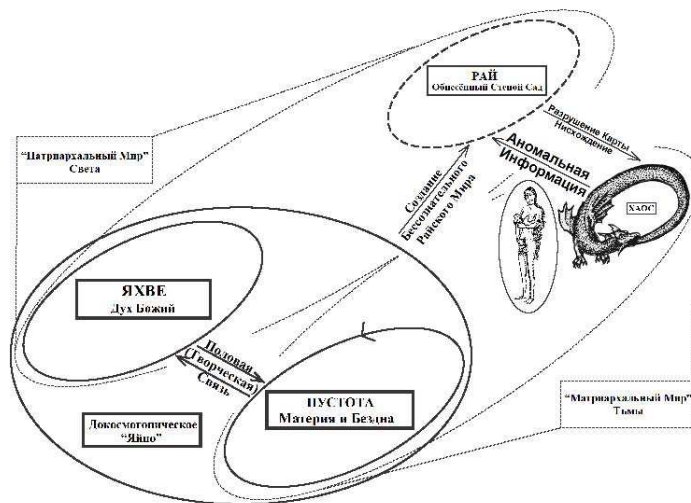


Рисунок 56

ГЛАВА ПЯТАЯ. ВРАЖДЕБНЫЕ БРАТЯ: ПРООБРАЗЫ ОТКЛИКА НА НЕИЗВЕСТНОЕ

"Заражение аномалии угрозой смерти", сопутствующее развитию самосознания, увеличивает валентность неизвестного до практически невыносимого предела. Это невыносимое увеличение послужило побуждающей силой развития двух надличных образов поведения и схем представления, охватывающих личность как таковую и воплощённых в мифологии как "враждебные братья". Один из этих "враждебных братьев", или "вечных сынов Божиих", – мифологический герой. Он встаёт лицом к лицу перед неизвестным с предположением о его благожелательности – с (недоказуемым) предположением, что противостояние неизвестному принесёт обновление и спасение. Он добровольно вступает в творческий "союз с Великой Матерью", строит или возрождает общество и приносит мир воюющему миру.

Другой "сын Божий" – это его вечный противник. Этот "дух разнузданной разумности", приведённый в ужас своим ограниченным пониманием условий жизни, избегает соприкосновения со всем, чего он не понимает. Это ослабляет его личность, больше не питаемую "водой жизни", и делает его жёстким и властным, когда он отчаянно цепляется за хорошо знакомое, "разумное" и устойчивое. Каждое обманчивое отступление усиливает его страх; каждый новый "закон о защите" усиливает его подавленность, скуку и презрение к жизни. Его слабость в сочетании с его невротическим страданием вызывает обиду на саму жизнь и ненависть к ней.

Личность этого противника появляется, так сказать, в двух видах, хотя эти виды неотделимо связаны. Фашист приносит в жертву свою душу, которая дала бы ему возможность самому встретить изменение лицом к лицу, группе, обещающей защитить его от всего неизвестного. Напротив, декадент отказывается присоединиться к миру общества и нестигаемо цепляется за свои собственные представления только потому, что он слишком недисциплинирован, чтобы быть учеником. Фашист хочет сокрушить всё другое, а потом всё вообще; декадент сжигает самого себя и создаёт фашиста из своего пепла. Кровавые излишества двадцатого столетия, наиболее очевидно проявившиеся в культуре концентрационных лагерей, выступают как свидетельство желаний противника героя и как памятник его власти.

Ловушек фашизма и декадентства можно избежать посредством отождествления с героем, подлинной личностью. Герой организует запросы общественного бытия и обязанности своей собственной души в связанное, иерархически устроенное единое целое. Он стоит на границе между порядком и хаосом и служит своей группе создателем и деятелем обновления. Добровольное соприкосновение героя с неизвестным превращает последнее в нечто благожелательное – на самом деле, в вечный источник силы и способности. Развитие такой силы – сопутствующее вере в условиях жизненного опыта – даёт ему возможность выступать вне своей группы, когда это необходимо, и использовать её скорее как орудие, чем как броню. Герой отвергает отождествление с группой как жизненный идеал, предпочитая следовать велениям своей совести и своего сердца. Его отождествление со смыслом – и его отказ приносить в жертву смысл ради безопасности – делает жизнь приемлемой, несмотря на её трагедию.

5.1. Введение. Герой и его противник

Культура, завещанная нам нашими предками, добровольно вырождается, по мере того как течение времени перерастает неизменяющиеся предположения прошлого. Мы можем содействовать ходу этого вырождения своими "грехами" – сознательным отказом исправлять наши ошибки, когда они проявляются, и неспособностью вследствие этого упорядочить наши поведение и отношения. Посредством такого отказа мы превращаем раздражения настоящего в катастрофы будущего и приглашаем разгневанного Бога утопить нас в волнах.

Как было хорошо известно со времён компиляций, которые были составлены Р. Андрес, Г. Узенером и Дж. Фрэйзером, миф о потопе распространён почти повсеместно; он засвидетельствован на всех материках (хотя очень редко в Африке) и на различных уровнях культуры. Некоторые его варианты, по-видимому, являются результатом распространения, сперва – из Месопотамии, потом – из Индии. Равновероятно, что одна или несколько

катастроф положили начало легендарным повествованиям о потопе. Но было бы неосторожно объяснять столь широко распространённый миф явлениями, не оставившими никаких геологических следов. Большинство мифов о потопе, видимо, в некотором смысле, образует часть космического ритма: старый мир, населённый падшим человечеством, погружается под воду, а некоторое время спустя из водного "хаоса" появляется новый мир.

"В большом числе вариантов потоп является плодом людских грехов (или ошибок в обрядах): иногда он происходит просто из желания божества положить конец человечеству... главные причины потопа заключаются одновременно в грехах людей и в дряхлости мира. В силу того простого обстоятельства, что он существует – то есть живёт и что-то производит, – космос постепенно ухудшается и кончает тем, что приходит в упадок. В этом причина того, что он должен быть пересоздан. Другими словами, потоп осуществляет в макроскопических размерах то, что символически совершается во время празднества Нового года, – «конец света» и конец грешного человечества, для того чтобы сделать возможным новое творение".⁴⁶¹

Никакое обсуждение "архитектуры веры" не может считаться полным при отсутствии упоминания о зле. Зло больше не является, так сказать, популярным словом. Этот термин считается старомодным, не применимым в обществе, которое (теоретически) избавилось от своей озабоченности религией. Поступки, когда-то определяемые как злые, сейчас считаются просто следствием несправедливого семейного, общественного или экономического устройства (хотя этот взгляд и не так широко распространён, как некогда). В качестве другой возможности совершение непостижимых жестокостей и разрушений рассматривается как указывающее на какую-то физиологическую слабость или болезнь. Злые дела редко рассматриваются как сознательные или умышленные – как совершенные кем-то, одержимым эстетикой, которая создаёт искусство из ужаса и боли.

В египетской космологии у Осириса, царя, мифологического образа известного, Великого Отца, был вечный злой близнец и его противоположность, Сет, который в конце концов довёл Осириса до смерти. Четыре тысячи лет спустя мораль этой великой истории, заключающаяся в том, что неспособность понять природу зла приводит в конце концов к его победе, ещё не понята. В конце этого, самого жестокого и кровавого, столетия нам угрожает опасность не только не суметь понять зло, но и отрицать само его существование. Невидимость, однако, это то, чего дьявол жаждет больше всего.

Я уже потратил значительное время, описывая природу культуры и способ её порождения. Культура, Великий Отец, защищает нас от ужасов неизвестного; определяет вокруг нас священное пространство, в которое не допускается ничто невыносимо чуждое. Культура порождается процессами, чьи существенные особенности схвачены всепроникающими и повторяющимися мифами о герое. Этим героем является человек, который добровольно и без страха встречает дракона неизвестного, разрубает его на куски и создаёт мир из этих кусков; человек, который одолевает слишком долго стареющего тирана и освобождает свою девственную мать из его объятий. Такие мифы представляют мир совершенно двусмысленным по своей природе: мир "природы" является бесконечно созидательным и одинаково разрушительным; запутанным образом связанная с ним общественная "окружающая среда" одновременно является тиранической и защитной. До сих пор, однако, в нашем обсуждении герой выступал один. Это значит, что наша история ещё далеко не кончена. Существенная двусмысленность, отличающая "составляющие опыта", простирается и на личность – личность, которая способна на мысли и поступки, не уступающие по мрачности и разрушительности ничему существующему в обществе или в природе.

Мифология окутывает надличную способность ко злу, отличающую личность как таковую, обликом личности, как бы удваивая её охватывание хаоса и порядка. Тёмной стороной личности является непримиримый противник героя – личность, которая избегает соприкосновения с неизвестным или отрицает, что оно существует, вместо того чтобы активно подойти к нему и исследовать его; личность, чей "совет" содействует упадку общества, а не его обновлению. Образ этой личности – как и самого явления – развивался и разрабатывался во всей сложности и изощрённости столетиями: правильное понимание его природы (благоприятным образом) приводит в ужас. Этот поучительный ужас является "целью" схватывания в повествовании, в надличной памяти: образ, например, христианского дьявола есть наилучший из имеющихся налицо "дурных

примеров". Явное или неявное подражание ему приводит к бедствию; истории, которые изображают его главные черты, существуют в качестве наглядных уроков о последствиях обиды, ненависти, повального высокомерия и ревности.

"Зло", как и "добро", не является чем-то неизменным: оно не означает, например, только "нарушения правил" и не является просто нападением, гневом, насилием, болью, разочарованием, тревогой или ужасом. Жизнь, конечно, беспредельно осложняется тем обстоятельством, что то, что плохо в одних условиях, положительно необходимо в других. Я отмечал ранее⁴⁶², что ответ на вопрос: "что такое добро?" на самом деле следует, так сказать, искать в метаобласти: более существенная тайна – принимая во внимание зависящую от условий природу "добра" – заключается в том, "каким образом бесконечно и соответственно порождаются ответы на вопрос: «что такое добро?»". "Добро" в таком случае связывается со множеством обстоятельств, которые позволяют процветать процессу нравственного созидания, или само становится этим процессом. С задачей: "чем же тогда является зло?" следует обращаться сходным образом.

Зло – это отказ от творческого исследования и ожесточённое сопротивление этому процессу. Зло – это гордое отвержение всего неизвестного и упрямое нежелание понимать и преобразовывать мир общества, переступать его пределы. Кроме того и вследствие того, зло – это ненависть к добродетельным и мужественным людям, возникающая именно из-за их добродетели и мужества. Зло – это желание распространять тьму там, где мог бы быть свет, из любви к тьме. Дух зла лежит в основе всех действий, которые ускоряют одряхление мира; он лежит в основе всех действий, которые поощряют Божье желание затопить и уничтожить всё, что существует.

Большое зло легко распознаваемо, по крайней мере задним числом, и обычно является (по крайней мере в истолковании) плодом действия кого-то другого. Мы строим, например, бесконечные памятники еврейской Катастрофе и клянёмся никогда не забывать. Но что же такое мы вспоминаем? Каков урок, который мы должны были выучить? Мы не знаем, как произошла Катастрофа: не знаем, что же такое люди, вовлечённые в неё, делали или не делали, шаг за шагом, что заставило их вести себя таким ужасным образом; не знаем, что заставило или кто заставил немецкое общество совершить такие ужасные насилия. Даже Гитлер – как мог бы Гитлер не поверить, что он прав, когда все вокруг него склонялись перед его приказами? Не требовался ли бы характер исключительной силы, чтобы сопротивляться искушению неограниченной власти, свободно предлагаемой, демократически предоставленной, на которой даже настаивали? Возможно ли было бы для кого-нибудь оставаться в должной мере смиренным при таких условиях? Большинство людей имеют личные слабости, сдерживаемые нашим общественным окружением. Наши невротические склонности сдерживаются людьми вокруг нас, заботящимися о нас, которые жалуются и протестуют, когда мы теряем самообладание и заходим в нашей слабости слишком далеко. Если каждый вокруг тебя думает, что ты спаситель, кому же остаётся указывать тебе на твои недостатки и поддерживать в тебе их сознание? Это не оправдание для Гитлера, а просто признание того, что он во всём был слишком человечен. И что означает это утверждение? Гитлер был человеком, Сталин тоже, и Иди Амин тоже. Что это означает: быть человеком?

Наши деспотические склонности и нравственный упадок обычно ограничены узкими рамками нашей личной власти. Мы не можем по своей прихоти обреć миллионы на смерть, потому что у нас нет для этого средств. При отсутствии такой власти мы удовлетворяемся тем, что грубо попираем чувства тех, кто нам близок, и поздравляем себя с нашей нравственной добродетелью. Мы используем силу и агрессию, чтобы подчинить зависимых от нас других людей нашей воле, или, при отсутствии силы, используем болезнь и слабость, чтобы покорить их сочувствие и обманом, подпольно проложить себе путь к господству. Сколь многие из нас не были бы Гитлерами, будь у нас такая возможность? Предполагая, что у нас имелись бы честолюбие, преданность другим людям и сила организации, что в высшей степени невероятно. Скудость мастерства, однако же, не составляет нравственной добродетели.

Многие цари – тираны или декаденты в нравственном смысле, потому что они **люди**, а многие люди – тираны или декаденты в нравственном смысле. Мы не можем сказать: "больше никогда" вследствие памяти о Катастрофе, потому что мы не понимаем Катастрофу – и невозможно помнить то, что не было понято. Мы не понимаем Катастрофу, потому что не понимаем самих себя. Люди, во многом очень похожие на нас самих, вызвали нравственные катастрофы второй мировой войны (и сталинскую – Советского Союза, и катастрофу полпотовской Камбоджи...). "Никогда не забывай" означает "познай самого себя"; означает признай и пойми того злого двойника, того смертельного врага, который является неотъемлемой частью каждой личности.

Героическая наклонность – прообраз спасителя – это вечный дух, что означает главная и постоянная сторона человека. То же самое в точности верно в отношении "противнической" наклонности: способность к бесконечному отрицанию и желание заставить всё страдать за преступление его существования является неискоренимой составной частью души каждой личности. Великие драматурги и религиозные мыслители мира могли понять это обстоятельство, по крайней мере неявно, и передать его в рассказе и в образе; современные мыслители-аналитики и теоретики-экзистенциалисты пытались абстрагировать эти представления вверх, в "высшее сознание", и представить их в логическом и чисто семантическом виде. Были собраны достаточные данные, чтобы представить убедительное изображение зла.

5.2. Противник героя: появление, развитие и представление

Можно доказать, что образ Сатаны – это лучше всего разработанное представление о зле, имеющееся в религиозной и мифологической мысли. Хотя всякого так и подмывает отождествить эту "выдающуюся личность" с особыми свойствами личности, такими, как агрессивность, или с отличиями чужестранца – более реалистично рассматривать его как олицетворение личного и общественного процесса. Дьявол – это дух, который лежит в основе развития тоталитаризма; дух, отличительными чертами которого являются жёсткая идеологическая вера ("преобладание духа разумности"), опора на ложь как способ приспособления к окружающей среде (отказ допустить наличие ошибки или оценить необходимость отклонения от нормы) и неизбежное развитие ненависти к самому себе и к миру. Каждая из этих отличительных черт внутренне и причинно связана с другими; они соединены каким-то запутанным образом и могут, вероятно, быть представлены как надличная и вечная личность.

Дьявол – это своевольное отвергание процесса, который делает жизнь сносной, со злости на трагические условия существования. Это отвергание умственно высокомерно, потому что эти "условия" истолковываются, что означает: развитие самосознания заразило всё смертью, но самосознание содержится в пределах понимания всего, которое по-прежнему исключительно ограничено по своему объёму. Настоящее, как его сейчас истолковывают, действительно является невыносимым настоящим, но это истолкование может измениться, если возможность изменения не будет отвергнута вследствие не допускающей сомнений веры, самомнения и обиды.

Дьявол действует, чтобы уничтожить мир как нечто, чья слабость и уязвимость делают его презренным. Он вызвал в двадцатом веке ужасные страдания, не менее всего среди культур, которые обходились без его образа. Нам повезло, что мы выжили без непоправимой трагедии. Но наша прежняя удачливость не должна ослеплять нас в отношении опасностей продолжающегося неведения или необходимости взятия под контроль наших плохо понимаемых личностей. Каждый технологический успех, которого мы достигаем, увеличивает нашу силу; каждое увеличение нашей силы делает наше внутреннее объединение в одно целое и расширенное самосознание гораздо более необходимыми.

"Знатная душа чтит сама себя".⁴⁶³

В течение последних четырнадцати лет, по мере того как я глубоко всматривался в проблему зла, я обнаружил, что всё более и более невольно очаровываюсь мифом о Сатане и любопытствую насчёт отношения к этому рассказу в западной мысли. Представление о Дьяволе оказывало сильное влияние на развитие христианства и христианской культуры – и, следовательно, на западное и мировое общество, – хотя и в Ветхом, и в Новом завете мало прямых упоминаний о Сатане (удивительно мало: никакого описания ада, о котором стоило бы говорить, ограниченное и косвенное упоминание о восстании ангелов и войне на небесах, предшествующих созданию ада; ничего сколько-нибудь важного относительно ужасной загробной жизни, которая теоретически ожидает всех грешников).

В моём понимании традиционные и литературные представления о Сатане, правящем ангеле ада, являются **подлинной мифологией**. Эти представления окутывают общепризнанные главные писания и идеи христианства, как облака окутывают гору. Они были нам переданы отчасти как религиозное учение; отчасти как устное предание; отчасти благодаря усилиям Данте и Мильтона. В

юности я получил очень ограниченное религиозное образование, и всё, что я когда-либо знал о Дьяволе, были "слухи" – куски и кусочки того, что я подобрал, читая другие материалы (такие, как "Портрет художника в юности" Джойса, который содержит в себе ужасающую проповедь иезуита о последствиях греха). Всё, что я знал, – это общие очертания истории, записанной Мильтоном: Сатана, высочайший ангел в небесной иерархии Бога, пожелал стать подобным Всевышнему и устроил восстание на небесах. Он был побеждён и сброшен нераскаянным в ад, где он вечно правит душами умерших грешников. У меня не было настоящего понятия о смысле этой истории, хотя мне было ясно, что эти персонажи и события никогда не существовали "на самом деле".

Позднее я узнал, что связь между Змеем в Эдеме и Дьяволом была, по существу, умозрачительной. На самом деле, некоторые гностики утверждали даже, что божеством, которое привело Адама и Еву к свету самосознания, был дух, более высокий, чем бессознательный демиург, который всё создал в начале. Эта мысль была основана на признании гностиками того, что падение, так сказать, из рая – то есть из предшествующей "плоскости устойчивости" – часто включает в себе необходимую предпосылку для движения к "более высокому месту". Средневековые христиане, следуя традиции, выработали сходную мысль. Для них первородный грех был "удачной ошибкой", сделавшей необходимым воплощение Христа. Это означало, что грехопадение, хотя и трагическое в себе и само по себе, можно рассматривать как положительно благотворное, так как оно вызвало искупительное воплощение Бога (которое было, с христианской точки зрения, самым изумительным событием во всей истории). Принятие этой более широкой точки зрения позволяло истолковывать даже эдемского Змея, который толкал человечество в хаос, как "орудие Бога" – орудие благотворного Бога, который бесконечно работает над тем, чтобы осуществлять совершенствование мира, несмотря на беспокойное существование свободного выбора и демонического искушения. (В конце концов, – как я уже отмечал ранее – имя **Люцифер** означает "носитель света".) Я знал также, более или менее "подсознательно", что Дьявола долго связывали с силой и высокомерием разумной мысли (например, в "Фаусте" Гёте). Это нередко давало догматическим силам католической церкви возможность занимать антинаучную позицию – наука = разумности = дьяволу – и оправдывать злополучное сопротивление церкви новой истине. Несомненно, способность к разумной мысли **есть** опасная сила – так как это могучая сила, – и условия, при которых мышление играет чисто разрушительную роль, всё ещё не вполне поняты.

Это изобилие смутно связанных мыслей и историй продолжало вновь и вновь приходить мне на ум, иногда в сочетании с воспоминанием о многозначительном символическом историческом действии – превращении посреди ужасов Великой французской революции собора Парижской Богоматери в "Храм Разума". Это нелёгкое дело – придти к ясному пониманию таких понятий, охватить их природу логически или эмоционально или хотя бы определить, как они могут быть связаны. В конце концов, мы можем рассматривать развитие "ясного понимания" как равносильное построению "подходящего множества", предполагая, что реальность явления может быть ясно определена. Представления о зле, однако, не образуют "подходящего множества". Они образуют "естественную категорию", содержащую разнообразный материал, в точности так, как образуют такую категорию представления об "известном" или "неизвестном". Что ещё более усложняет положение дел, так это то, что зло, как и добро, не является чем-то неизменным (хотя оно может стоять в одном ряду со всем, упорно неизменным). Оно есть скорее **динамический процесс**, дух, который принимает участие в эмоциональных или побуждающих состояниях гордости, обиды, ревности и ненависти, но не может быть безошибочно отождествлён с наличием любого из них или их всех. Нравственность агрессивного действия, например, зависит от природы обстановки, в которой оно проявляется, так же как и смысл данного слова определяется грамматическим предложением, абзацем – даже книгой или культурой, – в которых оно появляется. Зло – это живой **комплекс**. Его природа может быть наиболее ясно понята в ходе исследования той "личной формы", которую оно "приняло" в мифологии, литературе и воображении, подробно разработанных в течение продолжительного исторического развития. Эта личная форма состоит из тех "метасвойств" зла, которые оставались устойчивыми во времени, несмотря на резкие перемены в обстоятельствах человеческой жизни и подробностях человеческой нравственности.

Образ Дьявола – это та форма, которую, к лучшему это или к худшему, приняло понятие зла, по крайней мере на Западе. Мы ещё не разработали явной модели зла, которая позволила бы нам забыть это мифологическое представление, переступить его пределы или иным образом от него избавиться. Мы пытаемся разумно представить свой недостаток такого понимания, предполагая, что само понятие зла устарело, – предположение поистине смехотворное в этом столетии

неописуемого ужаса. В своём невежестве и самодовольстве мы осмеиваем древние истории о природе зла, полусознательно приравниваем их ребяческим игрушкам, которые лучше всего отбросить. Это чрезвычайно высокомерная точка зрения. Несмотря на нашу психологию, нет каких бы то ни было доказательств того, что мы понимаем природу зла сколько-нибудь лучше, чем наши прародители, хотя наша расширившаяся технологическая мощь сделала нас гораздо более опасными, когда мы чем-то одержимы. Наши предки были, по крайней мере, постоянно озабочены проблемой зла. Принятие, например, грубой христианской догмы о первородном грехе (несмотря на её пессимизм и явную несправедливость), по крайней мере, означало **признание зла**; означало какое-то понимание наклонности ко злу как внутренней, наследуемой стороны человеческой природы. С этой точки зрения, вдохновляемой верой в первородный грех, отдельные действия и побуждения всегда должны тщательно исследоваться и рассматриваться – даже когда они внешне благотворны, – чтобы вечно присутствующие наклонности врага рода человеческого "случайно" не взяли верх. Догма о первородном грехе вынуждает каждого рассматривать себя как (возможный) непосредственный источник зла – обнаруживать ужасную преисподнюю мифологии и её обитателей **во внутридушевном пространстве**. Неудивительно, что эта мысль стала непопулярной: тем не менее зло где-то существует. По-прежнему трудно не видеть лицемерия в душах тех, кто хочет найти его где-то в другом месте.

Как только я всё это понял – пусть каким-то предварительным образом, – древние мысли начали сами рассортировываться. Я узнал из книг Элиаде, как понимать понятие "небесной иерархии". Корни единобожия иудаизма и христианства лежат в более старом, более многобожном мышлении. Многие боги устарелого умозрительного представления стали единственным Правителем более современного религиозного мышления вследствие, так сказать, духовного соперничества. Это соперничество есть борьба идей, причастных к действию, – которая велась в области отвлечённого мышления, образов и в ходе подлинно земных сражений, – изображённая в мифологии как **духовная война**, разыгрывавшаяся на "небе" (которое есть то "место", где существуют надличные идеи). Божество, которое в конце концов одолело всех, есть Единый Бог, со сложным набором свойств, "окружённый" воинствами ангелов и божественных "отголосков" прежних богов, представляющих собой те надличные и вечные душевные процессы, которые стали подчинёнными в ходе духовного развития человека как вида.

Христианская мифология изображает Сатану как "наивысшего ангела" в Божьем "небесном царстве". Это обстоятельство делает его связь с разумом более понятной. Разум вполне может рассматриваться как "наивысший ангел" – то есть самая развитая и замечательная душевная или духовная способность, характерная для всех людей (и поэтому нечто надличное и вечное). **Рисунок 57 "Дьявол как носящийся в воздухе дух и нечестивый ум"** изображает образное истолкование Эжена Делакруа – иллюстрацию к первой части "Фауста".⁴⁶⁴



Рисунок 57

Разум, самый исключительный из духов, испытывает величайшее искушение: собственная способность разума к самопризнанию – и к самовосхищению – означает склонность к бесконечной гордыне, которая скрытно приписывает себе всеведение. Именно эта замечательная способность разума и его собственное признание этой способности приводит его к вере в то, что он обладает совершенным знанием и может поэтому заменить Бога или обойтись без Бога:

"Коварный Враг, низринутый с высот
Гордыней собственною, вместе с войском
Восставших ангелов, которых он
Возглавил, с чьею помощью Престол
Всевышнего хотел поколебать
И с Господом сравняться, возмутив
Небесные дружины..."⁴⁶⁵

Именно вера разума в его собственное всеведение, проявляющаяся в процедуре и образе, если не в слове, "бессознательно" лежит в основе тоталитаризма во многих его разрушительных обликах. Фрай отмечает:

"Падение демонов, как представляет его Мильтон, сопряжено скорее с открытым неповиновением и соперничеством с Богом, чем с простым непослушанием, и поэтому демоническое общество есть искусственно поддерживаемая и систематическая пародия на божественное, связанная с дьяволами, или падшими ангелами, так как его силы, по-видимому, гораздо превосходят обычные человеческие способности. Мы читаем о восходящих и нисходящих ангелах на лестницах Иакова и Платона, и подобным же образом, по-видимому, происходили в языческой жизни демонические её подкрепления, которые объясняют почти сверхчеловеческое величие языческих царств, в особенности как раз перед их падением.

Два особенно примечательных отрывка из книг пророков Ветхого завета, связанных с этой темой, – это обвинение Вавилона в главе 14 книги пророка Исайи и Тира в главе 14 книги пророка Иезекииля. Вавилон связывается там с Люцифером, утренней звездой, который говорил себе: "Буду подобен Всевышнему" (Исайя, 14 : 14). Тир отождествляется с "осеняющим херувимом" (Иезекииль, 28 : 16), великолепным созданием, жившим в саду Эдема, "доколе не нашлось в нём безакония" (Иезекииль, 28 : 15). В Новом завете (Лука, 10 : 18) Иисус говорит о Сатане как о спавшем с неба. Отсюда происходит традиционное отождествление Сатаны с Люцифером Исайи и его легендарное перерастание в великого противника Бога, некогда князя ангелов и первородного сына Божия, до того как его сместили. Сверхчеловеческая демоническая сила, стоявшая за языческими царствами, в христианстве называется Антихристом, земным правителем, требующим божеских почестей".⁴⁶⁶

Нелегко понять, почему предположение о своём всеведении разумно истолковывается как в точности противоположное творческому исследованию (в том же смысле, в каком противник героя противоположен герою). Что, однако, означает "знание всего" – по крайней мере на практике, – так это то, что неизвестного больше не существует и что дальнейшее исследование поэтому сделалось излишним – сделалось, по определению, ненужным (даже предательским). Это означает, что безусловное отождествление с "известным" обязательно доходит до того, чтобы вытеснить всякую возможность **отождествления с процессом, который приходит к тому, чтобы познавать**. Предположение разумного духа, что его знание не знает границ, есть его главный грех, на первый взгляд равносильный отвержению героя – отвержению Христа, Слова Божия, (божественного) **процесса**, который осуществляет посредничество между порядком и хаосом. Высокомерие тоталитарной позиции неискоренимо противопоставлено "смирению" творческого исследования. **Смирение** – это только постоянное признание ошибки и способности к ошибке (признание своей "грешной и невежественной природы"), которое допускает признание неизвестного, а затем пересмотр и обновление знания и приспособление поведения. Такое смирение, что отчасти парадоксально, является мужественным, так как допущение ошибки и способности к ошибке представляет собой необходимую предпосылку для противостояния неизвестному. Это делает **искреннюю трусость** "подпольным" побуждением тоталитарного предположения: подлинный сторонник его хочет, чтоб всё непредсказуемое исчезло. Сторонник тоталитаризма защищается от

признания этой трусости посредством показной защиты патриотизма, часто за счёт явного ущерба для себя.

В пятой книге "Потерянного Рая" – которую Мильтон создал из библейских и мифологических намёков – Люцифер "обойдён" Богом в пользу своего "второго сына", Христа.⁴⁶⁷ Это "изменение в небесной иерархии господства" – как мне кажется – указывает на то, что разум (который вследствие признания им себя "высочайшим ангелом" Бога считает себя способным без посторонней помощи вызвать искупление) должен оставаться подчинённым процессам героя-исследователя. Разум может служить здоровью – может служить жизни, – только когда он играет **вторичную** роль. Выбор в пользу того, чтобы скорее править в аду, чем служить на небесах, тем не менее кажется привлекательным для разумного духа при чрезвычайно разнообразных обстоятельствах.

Дьявол – это дух, который вечно утверждает: "всё, что я знаю, есть всё, что следует знать"; это дух, который возлюбил свои собственные прекрасные произведения так, что вследствие этого больше не может видеть ничего вне их. Дьявол – это желание скорее быть правым, быть правым раз и навсегда и в конце концов, чем постоянно признавать свою недостаточность и невежество и поэтому принимать участие в самом процессе творения. Дьявол – это дух, который бесконечно отрицает, потому что он испуган, в конечном счёте, испуган и слаб.

Именно недостаток различения между существованием противника героя **как процессом** и существованием аномалии **как составной части опыта** привело к некоторым из самых худших крайностей христианства (и не только христианства). Дело постоянно обстояло так, что "правильно мыслящие люди" путают наличие "угроз их безопасности и нравственной честности" со злом. Это значит, что правильно мыслящие люди путают существование гения и чужестранца, предлагающих их вниманию опыт, который существует вопреки господствующей вере, с процессом отвергания спасительного опыта. Этот недостаток различения как понятен, так и мотивирован: понятен, потому что странное, чужестранец, странная мысль и революционный герой путают все карты и вызывают эмоциональное расстройство – состояние, которого самым искренним образом желает дьявол; мотивирован, потому что зачисление аномалии в один разряд со злом допускает её "оправданное" подавление. Однако героическое действие пересмотра и обновления современной нравственности – посредством содействия неудобному соприкосновению с неизвестным – создаёт хаос только на службе высшему порядку. Подавлять этот процесс и "патриотически" цепляться за традицию – значит обеспечить то, что эта традиция обрушится стремительно – и гораздо более опасным образом – в какое-то мгновение не слишком отдалённого будущего.

Наличие у меня похотливой или агрессивной фантазии – если приводить особый пример явлений, обычно рассматриваемых при тусклом освещении, – не является злом, если я набожный христианин: злом является отрицание того, что такая фантазия существует (или, может быть, осуществление этой фантазии без размышлений о её надлежащем месте). Сама фантазия представляет собой только информацию (наверняка нежелательную информацию с современной, только временной точки зрения, но информацию со способностью преобразовывать, если она принята). Подобным же образом существование мусульман и мусульманской точки зрения не является злом, если я набожный христианин. Злом является моё предположение о своём личном всеведении – моя уверенность, что я понимаю свою христианскую веру достаточно хорошо, чтобы предполагать, что она непременно противоположна чужестранцу и его мыслям; моя уверенность, что отождествления с неизменным "понятым" нравственным мировоззрением достаточно, чтобы обеспечить мою честность и моё последующее невежественное и самодовольное преследование мусульман. Дьявол – это не неудобное обстоятельство, а избегание этого обстоятельства. Слабость, глупость, небрежность и невежество, которые неискоренимо присущи личности, не являются злом в себе и сами по себе. Эти "недостатки" являются неизбежными следствиями ограничений, которые делают опыт возможным. Именно отрицание того, что глупость существует, раз она уже проявилась, является злом, потому что в таком случае глупость не может быть **преодолена**. Такое отрицание приводит к остановке духовного развития. Сознание невежества и жадности проявляется в стыде, беспокойстве и боли – в облике того, чьего прихода больше всего бояться, – и вследствие этого дело может дойти до того, что такое сознание само будет рассматриваться как воплощение зла. Но именно тот, кто приносит плохую новость, подводит нас ближе к свету, когда проявляется значение этой новости.

Илэйн Пэйджелс недавно написала книгу "Происхождение Сатаны"⁴⁶⁸, в которой она описывает, как понятие о Дьяволе, вечном враге Христа, давало тем, кто исповедует христианство, возможность преследовать тех, кто его не исповедует. Предположения преследователя были,

например, такие: "Дьявол – враг, еврей – это не христианин, еврей – враг, еврей – это Дьявол". Пэйджелс выдвигает небезрассудное и простительно популярное предположение, что "изобретение" Сатаны **побуждалось** желанием превратить преследование других людей в нравственную добродетель. Кажется, однако, что "путь исторического развития понятия о враге рода человеческого" несколько более сложен. Надличностные понятия такой широты как "образ Дьявола" не могут возникнуть как следствие сознательных побуждений, потому что их развитие требует многих столетий работы разных поколений, которую нелегко "организовать". Образ Дьявола – хотя его бесконечно использовали, чтобы оправдать подчинение других людей (так как любые великие идеи могут быть извращены), – возник вследствие бесконечных искренних попыток представить себе "личность" зла. Логика, которая связывает **других** людей с Дьяволом, работает только для тех, кто думает, что религия означает веру – то есть отождествление с набором неизменных и часто неразумных "фактов", – а не действие, метаподражание, или воплощение творческого процесса в поведении. Рассматриваемое надлежащим образом существование необычного факта – неудобного факта, воплощённого в чужестранце или ставшего отвлечённым в рамках философии, отличающейся от общепринятой, – есть **призыв к религиозному действию, а не зло**.

Человечеству потребовались тысячи лет работы, чтобы развить пробуждающееся сознание природы зла – создать подробное драматичное представление процесса, который составляет суть плохого приспособления человека к окружающей среде и который сознательно вызывает несчастья. Кажется преждевременным выбрасывать плод этого труда – или предполагать, что он является чем-то иным, а не тем, чем он кажется, – прежде чем мы поймём, что он означает. Сознание зла сначала возникло как ритуальное разыгрывание, а затем как динамический образ, выраженный в мифе. Представление о нём покрывает обширную пространственную и временную область, исследование которой помогает облечь плотью понимание личности врага рода человеческого. Наиболее тщательно разработанное, но уже устарелое олицетворение зла – вне иудео-христианской традиции – можно, вероятно, найти в идеях зороастризма, который процветал в относительно явном виде с 1000 – 600 гг. до н. э. (и форма которого несомненно зависела от гораздо более древних и менее явных "идей"). Зороастрийцы развили ряд понятий, которые были позднее введены в христианство, включая "миф о спасителе; подробную разработку оптимистической эсхатологии, провозглашающей конечное торжество Добра и всеобщее спасение; учение о воскресении тел..."⁴⁶⁹

Заратустра, мифический основатель зороастризма, был последователем **Ахура Мазды** – главного божества этой, по существу, единобожной религии. Ахура ("небесный") Мазда был окружён пантеоном божественных **существ** – **Амеша Спентов**, сходных с ангелами, которые были, очевидно, по своей природе в высшей степени духовны (по крайней мере с современной точки зрения).⁴⁷⁰ В число этих "духов" входят **Аша** (справедливость), **Воху Мана** (благая мысль), **Армаити** (набожность), **Кшатра** (сила), **Харватат** (честность) и **Амиритат** (бессмертие). Ахура Мазда был также отцом "братьев"-близнецов, **духов** – **Спента Майнью** (благотельного духа) и **Ангра Майнью** (разрушающего духа). Элиаде пишет:

"В начале, как утверждается в знаменитой **гате (Ясна, 30, созданная Заратустрой)**, эти два духа выбрали: один из них – добро и жизнь, другой – зло и смерть. Спента Майнью заявляет Разрушающему Духу «в начале существования»: «Ни наши мысли, ни наши учения, ни наши душевные силы; ни наши выборы, ни наши слова, ни наши дела; ни наши сознания, ни наши души не пребывают в согласии». Это показывает, что эти два духа – один святой, другой злой – отличаются скорее посредством **выбора**, чем по своей **природе**.

Теология Заратустры не дуалистична в строгом смысле слова, так как Ахура Мазде не противостоит анти-Бог; в самом начале вражда вспыхивает между двумя Духами. С другой стороны, единство между Ахура Маздой и Святым [Добрым] Духом несколько раз имеется в виду (см. **Ясна, 43.3** и так далее). Короче говоря, Добро и Зло, Святой Дух и разрушающий демон происходят от Ахура Мазды, но так как Ангра Майнью свободно выбрал свой образ жизни и преступное призвание, Мудрый Господь не может считаться ответственным за появление Зла. С другой стороны, Ахура Мазда в своём всеведении знал с самого начала, какой выбор сделает Разрушающий Дух, и тем не менее не помешал ему; это может значить, что или Бог выше всех видов противоречий, или существование зла является предварительным условием человеческой свободы".⁴⁷¹

Мифические "враждебные братья" – Спента Майнью и Ангра Майнью, Осирис и Сет, Гильгамеш и Энкиду, Каин и Авель, Христос и Сатана – являются двумя "сынами-близнецами бога", представителями двух извечных личных склонностей, героической и антигероической. Первая склонность, прообраз спасителя – вечный дух создания и преобразования, вечно отличающийся своей способностью признавать неизвестное и, следовательно, продвигаться вперёд к "царству небесному". Напротив, его извечный противник есть воплощение духа отрицания в обычае, воображении и философии; есть вечное неприятие "спасающего неизвестного" и принятие жёсткого отождествления с самим собой. Мифы о "враждебных братьях" – подобно мифам зороастрийцев – подчёркивают роль свободного выбора в определении сути их образа жизни. Христос, например, и Гаутама Будда постоянно подвергаются сильному искушению совершить зло, но отвергают его. Ангра Майнью и Сатана, напротив, принимают зло и упиваются им, несмотря на свидетельство в пользу того, что оно вызывает их собственные страдания. Выбор, сделанный этими духами, не может быть сведён к какой-то более существенной стороне, такой, как особые условия существования (которые во всяком случае тождественны для обоих "существ") или причуды их внутренней природы. Именно **добровольная готовность делать то, о чём известно, что его делать не надо, несмотря на способность оценить такой поступок и избежать его**, наиболее отличает зло – зло духа и человека. Поэтому Бог у Мильтона делает такие замечания о вырождении Сатаны и человечества:

"И со своим потомством совокупно
Изменчивым – падёт. По чьей вине?
Ужели не по собственной? В удел
Я всё неблагодарному отвёл,
Чем он владеть способен; Я благим
Его и чистым создал; волю дал
Свободно Зло отвергнуть или пасть".⁴⁷²

Отказ от добра, я думаю, чаще и действеннее всего **оправдывается** ссылкой на ужасные эмоциональные последствия (само)сознания. Это означает, что понимание уязвимости и смертности человека и страдания, связанного с этой уязвимостью, – понимание предельной жестокости и бессмысленности жизни – может быть использовано как разумное оправдание зла. Жизнь **действительно** ужасна и в какие-то мгновения оказывается **предельно** ужасной: несправедливой, неразумной, мучительной и бессмысленной. Само существование, понятое в таком свете, вполне может показаться чем-то подлежащим искоренению с точки зрения разума. Вследствие этого гётевский Мефистофель, "князь лжи", определяет свою философию (в первой части "Фауста") в следующих выражениях:

"Я дух, всегда привыкший отрицать.
И с основанием: ничего не надо.
Нет в мире вещи, стоящей пощады,
Творенье не годится никуда.
Итак, я то, что ваша мысль связала
С понятием разрушенья, зла, вреда.
Вот прирождённое моё начало,
Моя среда".⁴⁷³

Мефистофель повторяет этот символ веры в несколько более разработанном виде во второй части "Фауста":

"Конец? Нелепое словцо!
Чему конец? Что, собственно, случилось?
Раз нечто и ничто отождествилось,
То было ль вправду что-то налицо?
Зачем же созидать? Один ответ:
Чтоб созданное всё сводить на нет.
"Всё кончено". А было ли начало?

Могло ли быть? Лишь видимость мелькала,
Зато в понятие вечной пустоты
Двусмысленности нет и темноты".⁴⁷⁴

Так как человек вечно остаётся подчинённым "предписаниям богов", духовная реальность бесконечно разыгрывается в мирской реальности. Отдельные личности "бессознательно" воплощают там мифологические темы. Такое воплощение особенно выразительно в случае великих личностей, где игра "божественных сил" фактически становится осязаемой. Мы разбирали ранее части автобиографии Льва Толстого,⁴⁷⁵ используя его личные переживания, описанные им самим, как универсальный образец катастрофических эмоциональных последствий революционной аномалии. Идеологический отклик Толстого на такую аномалию столь же типичен. "Новость" из Западной Европы – откровение о "смерти Бога" – пролилась водопадом через явно и неявно обусловленные культурой верования и схемы действий великого писателя, стремительно загоняя его в течение продолжительного времени в сумятицу эмоций и жизненный хаос. Посреди этого хаоса скрывалось как глубокий соблазн отождествление с духом отрицания.

Толстой начинает имеющую отношение к делу часть своей исповеди с аллегории, извлечённой из "восточной сказки". Путешественник, преследуемый диким зверем, прыгает в старый колодец. Он хватается за ветвь виноградной лозы, которая случайно оказалась там растущей, и цепляется за неё. На дне колодца скрывается в засаде древний дракон с зияющей пастью. Над колодцем стоит ужасный зверь, так что повернуть назад нельзя. Руки путешественника, цепляющиеся за лозу, слабеют, но он всё ещё продолжает держаться. Затем он видит двух мышей – одну чёрную, одну белую – с двух сторон грызущих ту самую лозу, за которую он держится. Скоро они перегрызут лозу и отправят его прямо в глотку дракона. Путешественник видит несколько капель мёда на листьях лозы. Он высовывает язык, пробует мёд и утешается. Для Толстого, однако, жизненные удовольствия уже утратили свою обезболивающую сладость:

"Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, надеясь в людях, окружающих меня, найти его, и я стал наблюдать людей – таких же, как я, как они живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к отчаянию.

И вот что я нашёл у людей, находящихся в одном со мною положении по образованию и образу жизни.

Я нашёл, что для людей моего круга есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.

Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Люди этого разряда – большею частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди – ещё не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся, и лижут капли мёда. Но они лижут эти капли мёда только до времени: что-нибудь обратит их внимание на дракона и мышей, и – конец их лизанию. От них мне нечему научиться, нельзя перестать знать того, что знаешь.

Второй выход – это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадёжность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мёд самым лучшим образом, особенно если его на кусте попало много. Соломон выражает этот выход так:

«И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем.

Итак, иди ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердца вино твоё... Наслаждайся жизнью с женщиною, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем... Всё, что может рука твоя по силам делать, делай, потому что в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

Этого второго вывода придерживается большинство людей нашего круга. Условия, в которых они находятся, делают то, что благ у них больше, чем зол, а нравственная тупость даёт им возможность забывать, что выгода их положения случайна, что всем нельзя иметь 1000 женщин и дворцов, как Соломон, что на каждого человека с 1000 жён есть 1000 людей без жён, и на каждый дворец есть 1000 людей, в поте лица строящих его, и что та случайность, которая

нынче сделала меня Соломоном, завтра может сделать меня рабом Соломона. Тупость же воображения этих людей даёт им возможность забывать про то, что не дало покоя Будде, – неизбежность болезни, старости и смерти, которая не нынче-завтра разрушит все эти удовольствия. То, что некоторые из этих людей утверждают, что тупость их мысли и воображения есть философия, которую они называют позитивной, не выделяет их, на мой взгляд, из разряда тех, которые, не видя вопроса, лижут мёд. И этим людям я не мог подражать: не имея их тупости воображения, я не мог её искусственно произвести в себе. Я не мог, как не может всякий живой человек, оторвать глаз от мышей и дракона, когда он раз увидал их.

Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить её. Так поступают редкие сильные и последовательные люди. Поняв всю глупость шуток, какая над ними сыграна, и поняв, что блага умерших паче благ живых и что лучше всего не быть, так и поступают и кончают сразу эту глупую шутку, благо есть средства: петля на шею, вода, нож, чтоб им проткнуть сердце, поезда на железных дорогах. И людей из нашего круга, поступающих так, становится всё больше и больше. И поступают люди так большею частью в самый лучший период жизни, когда силы души находятся в самом расцвете, а унижающих человеческий разум привычек ещё усвоено мало. Я видел, что это самый достойный выход, и хотел поступить так.

Четвёртый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть её, зная вперёд, что ничего из неё выйти не может. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но, не имея сил поступить разумно – поскорее кончить обман и убить себя, чего-то как будто ждут. Это есть выход слабости, ибо если я знаю лучшее и оно в моей власти, почему не отдаться лучшему?.. Я находился в этом разряде.

Так люди моего разбора четырьмя путями спасаются от ужасного противоречия. Сколько я ни напрягал своего умственного внимания, кроме этих четырёх выходов я не видал ещё иного".⁴⁷⁶

"Умственные способности" Толстого – его разумность – не могли найти никакого выхода из затруднения, созданного его рассмотрением "неудобоваримой мысли". Более того, логика ясно предписывала, что с существованием, отличающимся только неизбежными и бессмысленными страданиями, должно быть резко покончено, как со "злой шуткой". Именно ясное понимание Толстым бесконечного столкновения между личностью и условиями жизни разрушало его способность к работе – подрывало его желание жить. Он был неспособен понять (по крайней мере в этот период своего странствия по жизненному пути), что человек был создан скорее для того, чтобы постоянно противостоять хаосу, – чтобы вечно работать над превращением его в то, что действительно существует, – чем чтобы подчинить его себе в конце концов раз и навсегда (и сделать поэтому всё невыносимо неизменным!).

Смертельную уязвимость – эту определяющую отличительную черту личности и "причину" неожиданно возникающего у неё отвращения к жизни – могут сделать даже более "несправедливой" и "нестерпимой" её особые проявления. Некоторые люди беднее, чем другие, некоторые слабее, некоторые безобразнее – все менее способны, чем другие, в каком-то отношении (а некоторые, очевидно, менее способны во всех отношениях). Признание очевидно произвольного распределения умения и преимуществ добавляет дополнительные "допускающие разумное оправдание" основания для развития философии, основанной на обиде и неприязни, – иногда "от имени" целого класса, другой раз явно для целей определённой личности. При таких обстоятельствах желание "отомстить самой жизни" может стать превыше всего остального – особенно для "несправедливо угнетённых". Шекспировский калека Ричард III говорит за всех "революционеров", всех "мятежников", испытывающих такие побуждения:

"Раз небо мне дало такое тело,
Пусть ад и дух мой также искривит.
Нет братьев у меня – не схож я с ними;
И пусть любовь, что бороды седые
Зовут святой, живет в сердцах людей,
Похожих друг на друга, – не во мне.
Один я".⁴⁷⁷

Зло – это добровольное отвергание того процесса, который делает жизнь сносной, оправдываемое наблюдением ужасных трудностей жизни. Это отвергание самонадеянно и преждевременно, так как оно основано на принятии следующего предварительного суждения как окончательного: "Всё недостаточно, и поэтому оно ничего не стоит, и ничего вообще нельзя сделать, чтобы исправить это положение". Суждение этого рода устраняет всякую надежду на излечение. Недостаток веры (которая, видимо, более чем готова исчезнуть перед лицом разумной критики) в надежду и смысл редко означает соизмеримый "недостаток веры в тревогу и отчаяние", хотя признание бессмысленности всего должно также подрывать и веру человека в страдание. От страдания, однако, нельзя отделаться неверием: отвергание процесса, который постоянно возобновляет положительную сторону "составляющих опыта", просто обеспечивает то, что их отрицательные двойники берут верх. Такое дополнительное мучение – добавленное к тому, что уже сочтено достаточным, чтобы вызвать ненависть к жизни, – обязательно создаст личность, побуждаемую к тому, чтобы совершать худшие поступки, чем простое самоубийство. Развитие противника героя поэтому следует предсказуемому пути – от гордости ("Гордыней обуян и честолюбьем гибельным, дерзнул"⁴⁷⁸) через зависть к мести⁴⁷⁹ – к заключительному созданию личности, одержимой бесконечной ненавистью и завистью:

"К Добру
Стремиться мы не станем с этих пор.
Мы будем счастливы, творя лишь Зло,
Его державной воле вопреки.
И если Провидением своим
Он в нашем Зле зерно Добра взрастит,
Мы извратить должны благой исход,
В Его Добре источник Зла сыскав".⁴⁸⁰

Нигилизм Толстого – отвращение к личности и человеческому обществу, в сочетании с желанием искоренения жизни, – это одно из логических "пагубных" следствий повышенного самосознания. Оно, однако, не есть единственное такое следствие и, может быть, даже не самое тонкое. Гораздо более действенным – гораздо более скрытым от самого того, кто его совершает, и от его самых пристальных наблюдателей – является повышенное отождествление с традицией и обычаем. Это есть окутывание себя маской патриотизма, чтобы облегчить обращение государственной власти к разрушению. Ницше описывал такую "верность" следующим образом:

"Определение морали: мораль – это идиосинкразия декадентов, с задней мыслью **отомстить жизни** – и с успехом. Я придаю ценность **этому определению**".⁴⁸¹

Это описание первоначального мотивированного решения и последующего разложения – как мне кажется – характеризует процессы и "раздвоенное" конечное состояние нравственного (и, следовательно, душевного) вырождения более точно и убедительно, чем любая чисто "научная" теория душевных болезней, созданная до сего дня. Конечно, мы в настоящее время неспособны принимать наши сведённые к разуму личности достаточно всерьёз, чтобы предполагать связь между злом как "космической силой" и нашими мелкими прегрешениями и изменами самим себе. Мы верим, что, уменьшая размах и важность наших ошибок, мы надлежащим образом смиренны; по правде говоря, мы просто не готовы нести бремя нашей подлинной ответственности.

5.2.1. Противник героя в действии: сознательное принижение карты смысла

"У кого единственно есть основание **отречься** от действительности, **оклеветавши** её? У того, кто от неё **страдает**".⁴⁸²

Трагическое столкновение с силами неизвестного – в ходе нормального развития и при наличии продолжающегося расширения сознательного знания – неизбежно. Даже поддерживаемое обществом отождествление с канонами культуры не может дать тут окончательной защиты. "Незащищённое" личное соприкосновение с трагедией запутанным образом связано с

возникновением самосознания, мифологическим следствием (фактическим эквивалентом) которого является повышенное сознание человеческих ограничений. Это сознание проявляется в чувстве стыда и мифологически было выражено как стыд наготы, который свидетельствует о знании своей существенной уязвимости и слабости перед миром.

Во внутренней природе человеческого опыта имеется сильное побуждение в пользу обманчивого приспособления. В конце концов, именно столкновение с тем, что **поистине ужасно и приводит в ужас**, внушает страх и вызывает желание избегать его. Человеческая склонность убежать в убежища ложной безопасности может поэтому рассматриваться с сочувствием и пониманием. Взросление – это пугающий процесс. Переход от райского матриархального мира детства к падшему мужскому миру общества чреват опасностью, не говоря уже об опасностях, испытываемых личностью после ученичества. После того как ты был ребёнком, стать подростком нелегко. Можно было бы сказать, что этот переход сам по себе есть героическое деяние. Поэтому случается, от случая к случаю, что те, кто отказался от героизма как способа приспособления к окружающей среде, не делают даже этого первого шага. Относительные преимущества, которые сопутствуют возросшей свободе, могут казаться пугающими и обладающими сомнительной ценностью, учитывая сравнительную ответственность и недостаток безопасности, которые являются неотъемлемой частью зрелости.

По мере того как идёт взросление, "окружающая среда" преобразуется. По мере того как развивающаяся личность овладевает своими силами, её способность к разнообразному поведению расширяется. Она может делать больше и вследствие этого переживать больше. Её способность вызывать неизвестные до того и, следовательно, пугающие явления постоянно возрастает, а границы её опыта в конце концов расширяются за пределы области, "защищённой" её родителями. Возможность личности бесконечно поддерживать понимание является особенно важной для приспособления. Эта возможность, однако, достаётся дорогой ценой познания своего жизненного предела и смертности. Именно это вызывает сильное побуждение сопротивляться такому развитию, когда оно начинается, и отчаянно бороться за поддержание детского неведения, привычной области устойчивости, или укрываться за спинами других. Личность, способная установить область опыта, являющуюся для неё единственной в своём роде, способна и к созданию чисто субъективного опыта, что означает также смертность и принятие уязвимости. Творческая способность – это божественный **Логос**, который, развиваясь, вынуждает признание неизбежности неудачи и смерти. В этом отчасти состоит смысл христианского символа распятия, который парадоксальным образом сплавляет смертность с божественностью, который является изображением "смертного бога", бесконечно творческого, ответственного и уязвимого.

Личное существование означает ограниченное существование – ограниченное в пространстве и во времени. Существование границ делает опыт возможным; наличие этих границ делает этот опыт невыносимым. В качестве противоядия нам была предоставлена способность переступать границы, но мы часто отказываемся ею пользоваться, потому что использовать её – значит добровольно подвергать себя воздействию неизвестного. Мы убегаем прочь, ибо в глубине души мы боимся неизвестного; к тому же такая боязнь заставляет нас цепляться за наши защитные общественные связи, которые защищают нас от того, чего мы не понимаем. Поэтому, убегая прочь, мы неизбежно делаемся рабами условности и привычки и отказываемся от того, что является, хотя и беспокойным, но самым лучшим в нас. Зачем же убежать прочь? Именно страх – страх перед неизвестным и его двойник, страх перед тем, чтобы быть отвергнутым защитным миром общества, – приводит к болезненному порабощению единственной в своём роде отдельной личности; приводит к отказу от полноты личной жизни, которая, когда она проявляется, обладает поистине спасительными способностями. Великий Отец ненавидит всякое нововведение и будет убивать, чтобы помешать ему; у Великой Матери, источника всякого нового знания, лицо, от которого цепенеешь, когда с ним столкнёшься. Как можем мы не убежать прочь, когда нам противостоят такие силы? Но бегство означает, что всё стоящее стареет, а потом умирает.

Когда ребёнок рождается, он защищён от причуд существования благосклонностью материнского присутствия; младенец подготовлен **до всякого опыта**, бессознательно, откликаться на такую защиту и образовывать отношение – связь с матерью. Беспомощный младенец весь во власти матери, но он и укрыт от ужасного мира. Культура в виде предписаний поведения вступает в дело, когда ему угрожает смерть, но приверженность к этим требованиям означает возросшую ответственность, отделение от доброй матери и принесение в жертву первичного отношения

зависимости. Культура формирует взрослеющую личность, предлагая ей знание, но в то же самое время и ограничение, так как мир общества искажает личность, интерес и смысл.

Дух предлагается группе, чтобы поддерживать её благожелательную природу; чтобы обеспечить её продолжающуюся защиту; чтобы обеспечить дарование ею знания, извлечённого из истории. В ходе нормального развития личности **необходимо** отождествлять себя с группой – такое отождествление благоприятствует зрелости и отделению от слепой материнской заботы, – но, в конечном счёте, группа является тиранической и требует повиновения за счёт единственной в своём роде жизни. Это не означает простодушно, что группа по своей подлинной природе зла, а корень человеческого страдания зарыт в основе общества. Общество – это (в более чистом смысле) расширение власти, которая может быть направлена по личному выбору. Прошлое содержит в своих пределах мудрость поколений, порождённую в боли и страхе. Оно способствует огромному расширению личной силы и способностей; культура и цивилизация дают каждой личности возможность стоять на плечах гигантов. Принятие группового самосознания должно быть ученичеством, а не капитуляцией; оно должно быть ступенью развития в упорядоченном созревании, требуя временного подчинения и принесения в жертву незрелой личности до её более позднего нового появления в управляемой форме под сознательным управлением.

Членство в группе, общественное бытие представляют собой необходимое продвижение за пределы детской зависимости, но дух группы требует своего фунта мяса. Безусловное отождествление себя с группой означает отказ от личных различий: означает отказ от "отклонения", даже от "слабости" с точки зрения группы; означает подавление личности, принесение в жертву мифического **простака** – оставление простодушного и недостаточного "младшего брата". Группа, конечно, чувствует, что она выполняет свой долг, настаивая на таком жертвоприношении; она с достаточным основанием верит, что она только защищает своё устройство. Однако группа неспособна вынести окончательное суждение относительно того, что необходимо, – относительно того, что есть добро и что есть зло, – потому что она неполна по самой своей природе; потому что она есть неизменное устройство, выросшее из прошлого. Личное отличие, даже слабость, – нечто недопустимое с точки зрения сторонника безусловных ценностей – это сила с более полной точки зрения; это та сила, которая способна превзойти неизбежные ограничения группы, а затем расширить пределы досягаемости для всех.

Сторонники безусловных ценностей, отвергая необходимость всякого изменения, неизменно отказывают и себе, и другим даже в их собственной силе, потому что подлинный героизм, невзирая на его источник, обладает способностью расстроить современное положение. Посредством такого отказа они надеются найти защиту от своей личной уязвимости. Однако, по правде говоря, они подавляют и делают болезненным то единственное внутри них самих, что могло бы действительно предоставить им такую защиту; они подрывают единственный процесс, способный действительно дать им безопасность и свободу.

"Путешественника, который видел много стран и народов и несколько материков, спросили, какие человеческие черты он обнаружил повсюду. И он ответил: «Люди склонны к лени». Некоторые почувствуют, что он мог бы с большей справедливостью сказать: «Все они боязливы». Они прячутся за обычаями и мнениями. В глубине души каждый человек очень хорошо знает, что он пребывает в этом мире только один раз, как нечто единственное в своём роде, и что никакая случайность, какой бы странной она ни была, не объединит в единое целое во второй раз такую странную и расплывчатую множественность. Он знает это, но скрывает это, как нечистую совесть. Почему? Из страха своего ближнего, который настаивает на условности и покрывает себя ею.

Но чем же является то, что вынуждает отдельного человека бояться своего ближнего, думать и действовать стадным образом и не радоваться самому себе? Возможно, в немногих редких случаях – чувство стыда. В громадном большинстве их – желание удобства, инертность, короче говоря, та склонность к лени, о которой говорил путешественник. Он был прав: люди даже более ленивы, чем боязливы, и чего они боятся больше всего, так это хлопот, которыми их обременили бы безусловная честность и нагота.

Только художники ненавидят эту неряшливую жизнь в позаимствованных манерах и плохо подходящих мнениях и разоблачают тайну, нечистую совесть каждого – тот принцип, что каждый человек есть единственное в своём роде чудо. Они осмеливаются показывать нам человека таким, как он есть, вплоть до последней мышцы, его самого и одного его самого; даже

более того, что в этой строгой последовательности его единственности в своём роде он прекрасен и заслуживает созерцания, столь же новый и невероятный, как и каждое произведение природы, и никоим образом не скучен.

Когда великий мыслитель презирает людей, он презирает именно их лень: ибо именно из-за неё они имеют внешний вид фабричных продуктов и кажутся безразличными и недостойными товарищества или наставления. Человек, который не хочет принадлежать к массе должен просто перестать быть довольным самим собой; пусть он следует своей совести, которая кричит ему: «Будь самим собой! То, что ты в настоящее время делаешь, высказываешь и желаешь, – это на самом деле не ты»⁴⁸³.

Отрицание единственной в своём роде личности превращает мудрые традиции прошлого в слепые колеи настоящего. Применение буквы закона, когда необходим его дух, делает посмешище из культуры. Следовать по стопам других кажется безопаснее и не требует никакой мысли, но бесполезно следовать по протоптанным следам, когда изменилась сама местность. Человек, который не в состоянии вследствие перемен видоизменить свои привычки и предположения, обманывает самого себя – отрицает мир. Он пытается заменить саму действительность своим собственным слабым желанием. Притворяясь, что вещи являются иными, чем они есть, он подрывает свою собственную устойчивость, делает ненадёжным своё будущее и превращает прошлое из убежища в тюрьму.

Личное воплощение коллективной мудрости прошлого превращается в олицетворение непреклонной глупости посредством лжи. Ложь – это открытое, сознательное отвергание того, о чём **в настоящее время известно**, что оно истинно. Никто, по определению, не знает, что является истинным **в конечном счёте**, но честные люди наилучшим возможным образом используют для установления истинности свой жизненный опыт. Теории нравственности честных людей – какими бы они ни были неполными с какой-то предположительной потусторонней точки зрения – объясняют то, что они видели, и кто они такие, насколько это было установлено в ходе старательных усилий. Чтобы определить, что такое истина, не нужно видеть и слышать всё на свете: это сделало бы саму истину чем-то невозможным. Нужно только представить себе то, что **уже было** увидено и услышано, и приспособиться к этому; представить те явления, которые отличают естественный мир и мир общества, по мере того как с ними сталкиваются, и которые отличают личность, по мере того как она проявляется, и приспособиться к ним. Это просто значит, что истины детей и взрослых отличаются друг от друга, потому что отличается их жизненный опыт – их реальность. Правдивый ребёнок не думает, как взрослый: он думает, как ребёнок, с открытыми глазами. Однако взрослый, который всё ещё использует нравственность ребёнка, несмотря на свои способности взрослого, лжёт и знает, что лжёт.

Ложь – это упрямая приверженность к ранее используемой схеме действия и истолкования – нравственной парадигме, – несмотря на новый опыт, который невозможно понять в выражениях этой схемы; несмотря на новое желание, которое не может найти себе удовлетворения в пределах этого предыдущего обрамления. Ложь – это своенравное отвергание сведений, понятых как аномальные, на условиях, определяемых и оцениваемых тем, кто их отвергает. То есть лжец выбирает свою собственную игру, устанавливает свои собственные правила, а затем обманывает. Этот обман есть неспособность вырасти, созреть. Он есть отвергание самого процесса сознания.

Ложь поэтому в большинстве случаев является не столько грехом совершения, сколько грехом упущения, хотя она может быть также и первым. Ложь – это сознательное нежелание исследовать, пересматривать и что-либо изменять. Появление аномального случая в текущем потоке опыта указывает только на то, что современная целенаправленная схема, в пределах которой поведение имеет место и оценивается, отличается **наличием недостатка**. "Место" этого недостатка, причины его существования, "смысл" этого недостатка (его возможности изменения понимания и поведения) – всё это на первой ступени возникновения и анализа аномалии является чем-то **предположительным**. Неизвестное надо "разрабатывать" ради выяснения его точного смысла, прежде чем о нём можно будет сказать, что оно пережито, не говоря уже о том, что понято; надо старательно превратить его из чистой эмоции в пересмотр предположений и действий (в "душу" или "личность"). "Неделание" есть поэтому самая простая и самая заурядная ложь: человек может просто "не действовать", "не исследовать", и ловушки ошибки останутся непроявившимися, по крайней мере временно. Это отвергание процесса творческого исследования означает отсутствие требующего усилий пересмотра и изменения процедурной и описательной памяти; означает

приспособление к настоящему, как будто оно по-прежнему было прошлым; означает отказ от того, чтобы **думать**. В конце концов, исправление ошибки не является неизбежным; оно не является ни не требующим усилий, ни автоматическим. Посредничество между порядком и хаосом требует мужества и труда.

Отождествление себя с героями прошлого – необходимое, но обладающее скрытыми болезненными возможностями – превращается в несомненное извращение, когда производящий его есть лжец, который добровольно сделался неспособным к личному героизму. Принятие принадлежности к группе и связанного с этим положения означает доступ к силе, воплощённой в прошлом; означает доступ к силе коллектива и техническим способностям культуры. Эта сила в руках труса и обманщика ужасно опасна. Лжец не может видеть никакой ценности – только возможности для хаоса – в слабости или отклонении в себе или в других, и он не может видеть никакой ценности в хаосе или неопределённости. У него нет сочувствия к своим собственным слабостям – или своим сильным сторонам – или терпимости к ним, или уважения к ним, и у него не может, следовательно, быть никаких чувств к слабостям и силе других людей. Вследствие этого лжец может только выдвигать притязания на то, что он воплощает лучшее из прошлого, так как он не может поддерживать наличие необходимых отклонений в настоящем или выносить их. Это значит, что лжец – тиран, так как он не может переносить того, чтобы быть дураком.

Лжец не может выносить аномалии, потому что она вызывает беспокойство, а он не верит, что он может или должен испытывать беспокойство. Это значит, что его что-то побуждает сначала **избегать** любого образа поведения или переживания мира, который не укладывается в его обусловленную культурой систему нравственных предположений, регулирующих эмоции, а затем **дейтельно подавлять его**. **Избегание** означает, что аномальный опыт удерживается, так сказать, "в бессознательном виде", что значит не полностью понятым. Следствия опасной мысли остаются нерассмотренными; существование неприемлемого личного действия остаётся непризнанным. **Деятельное подавление** означает не внутридушевное "подавление" в классическом смысле, а агрессивную деятельность, предпринятую в мире, чтобы насильственно уничтожить доказательство ошибки. Это может означать предательство, одухотворённую жестокость или открытое применение силы: может означать применение любого маневра, какой предполагается необходимым, чтобы уничтожить любое указание на недостатки. Поэтому тот, кто приносит плохую новость, неизбежно страдает от руки обманщика, который скорее убьёт источник возможной мудрости, чем извлечёт пользу из его сообщения.

Ложь легка, и она вознаграждается, так как позволяет избегать беспокойства, по крайней мере на короткий срок. В конечном счёте, однако, ложь влечёт ужасные последствия. "Избегание или подавление" нового или неожиданного опыта (которое в отвлечённом смысле равносильно убеганию от него прочь) волей-неволей превращает его в решительную угрозу (что в категориальном смысле равносильно наклеиванию на него ярлыка угрозы). Область необработанной новизны, определяемой с первого взгляда посредством бездействия и избегания как "угроза слишком невыносимая, чтоб встречать её без страха", неизбежно расширяется со временем, если прошлое считается совершенным. Поэтому всё большая и большая область опыта делается невыносимой, необъяснимой и беспорядочной, по мере того как неумолимо проявляются накапливающиеся последствия использования лжи как способа приспособления к окружающей среде. Ложь превращает культуру в тиранию, изменение в опасность, делая при этом болезненным и ограничивая развитие и гибкость самой способности к приспособлению. Опора на ложь обеспечивает – по мере того как растёт страх – повышенное, ставшее уже болезненным отождествление себя с прошлым (проявляющееся как фашизм, как личная и политическая нетерпимость) или упадочническое вырождение (проявляющееся как нигилизм, как личная и общественная порча).

Отождествление с духом отрицания в конце концов делает жизнь невыносимой, так как дело доходит до того, что всё новое – и, следовательно, всё определяющее надежду – с самого начала рассматривается как наказание и угроза. Оно делает жизнь невыносимой, потому что область приемлемой деятельности неуклонно сокращается. Испытываемое вследствие этого неизбежное страдание порождает желание – и побуждает действия, связанные с достижением, – конца всякого опыта как возмещения и мести за бесплодие, отсутствие смысла, тревогу, ненависть и боль:

"Марабут рисует в грязи большой круг, который представляет весь мир. Он помещает скорпиона, символизирующего человека, внутри круга. Скорпион, веря, что он достиг свободы,

начинает бегать по кругу, но никогда не пытается выйти наружу. После того как скорпион пробежит несколько раз вдоль внутреннего края круга, марабут опускает свою палку и делит круг пополам. Скорпион останавливается на несколько секунд, затем начинает бегать всё быстрее, по-видимому, ища пути из круга, но не находя его. Что достаточно странно, скорпион не отваживается пересечь линию. Спустя несколько минут марабут делит пополам половину круга. Скорпион приходит в неистовство. Вскоре доступное скорпиону пространство становится не большим, чем его тело. Это – «мгновение истины». Скорпион, ошеломлённый и сбитый с толку, обнаруживает, что неспособен двигаться ни так ни этак. Подняв свой ядовитый хвост, скорпион быстро вертится вокруг себя в настоящем бешенстве. Верчение, верчение, верчение до тех пор, пока весь его дух и вся энергия не будут истрачены. В полной безнадёжности скорпион останавливается, опускает ядовитый кончик своего хвоста и жалит себя насмерть. Его мучения кончились".⁴⁸⁴

Человек, который живёт ложью, постоянно сокращает область своего понимания – свою "исследованную и хорошо знакомую территорию". Вследствие чего, в конце концов, у него больше не остаётся куда обращаться, кроме как к самому себе. Но его собственная личность тем временем съехала и уже неспособна вследствие недоразвития – вследствие неоднократно повторявшейся неспособности участвовать в процессе, превращающем "докосмогоническую материю" в "дух" и "мир". Так хаос, который отвергается вследствие желания слишком большой безопасности, достигает победы. "Порочный круг", созданный лжецом, неизбежно превращается в спираль, ведущую вниз, в "преисподнюю". Этот процесс схематически представлен на рисунке 58 "Порочный круг противника героя".

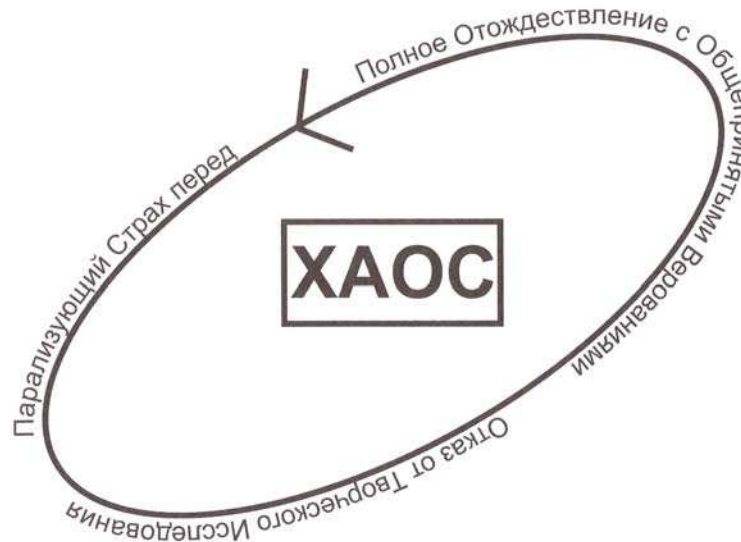


Рисунок 58

Патриархальная" система, известное, есть конкретное следствие приспособления к окружающей среде в прошлом, иерархически объединённый и представленный остаток героического прошлого. Такое приспособление неизбежно неполно, так как полные возможности "естественных" явлений всегда превосходят способности к их истолкованию. Безусловное принятие прошлого, побуждаемое страхом перед неизвестным, по необходимости превращает прошлое в тиранию, которая неизбежно не выносит накопленного личного или отклоняющегося опыта. Этот процесс "полного обожествления предков" является следствием стремления к безопасности, которое вынудило отказ от личного героизма как возможного способа приспособления. Такой отказ происходит в результате преждевременного и высокомерного самоопределения – самоопределения, которое делает из очевидной человеческой уязвимости окончательное и достаточное доказательство как невыносимой жестокости Бога, так и бесполезности человека.

Постоянный поиск скорее безопасности, чем воплощения свободы, есть желание того, чтобы властвовала скорее буква закона, чем его дух. Проистекающее отсюда насильственное подавление отклонений основывается на желании поддерживать притворство, что неизвестного не существует. Следствием этого подавления является устранение творческого преобразования из личной и общественной областей. Человек, который отказывается отождествлять себя с героическим началом, придёт к тому, чтобы отождествлять себя с тиранической силой прошлого и служить ей, – придёт также и к тому, чтобы терпеть последствия этого отождествления и служения. Это следствие удачно поясняется на примере мифической истории Иуды Искарота. Иуда – из самых лучших побуждений – приносит Христа, героя, в жертву властям традиции, а затем в отчаянии убивает себя:

"Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осуждён, и раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам,
Говоря: согрешил я, предав Кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? Смотри сам.
И бросив сребренники в храме, он вышел, пошёл и удавился" (Матфей, 27 : 3 – 5).

Принесение героя в жертву Великому и Ужасному Отцу означает отказ от отождествления с процессом, который создаёт космос из хаоса. Отвергание процесса, посредством которого бесконечно отрицательное и ужасающее превращается в приемлемое и полезное, означает, по определению, конец всякой надежде:

"Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится человекам;
Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему – ни в сём веке, ни в будущем" (Матфей, 12 : 31 – 32).

Человек лжёт, чтобы убедить себя и других, что он воплощает величие прошлого. Он притворяется, что честен и мужественен, вместо того чтобы действовать нравственно и мужественно. Подлинно мужественные действия могли бы обратить против него его группу, а ведь только отождествление с этой группой позволяет ему как-то справляться с трудностями. Ложь означает отрицание своей личности, означает отказ от мифического тождества с Богом, означает, со временем, несомненное, произвольное "революционное" крушение. Ложь означает сознательный отказ изменить и перестроить основанные на истории поведение и верования, чтобы ввести новизну и смягчить угрозу.

Бесконечная неспособность добровольно пересматривать и изменять означает создание вокруг личности, там, где некогда существовала "живая вода", трясины: означает превращение того, что могло бы быть дарующей жизнь водой, в смертоносное болото, состоящее из ошибок прошлого, неразрешённых травм и современных трудностей. Это область, определяемая Фрейдом как "бессознательное", куда сбрасываются "подавленные воспоминания". Но необработанная информация не является в точном смысле слова воспоминаниями. То, что ещё не было исследовано, ещё не является памятным – оно ещё даже не является "реальным". Последствия несовершенного действия в более точном смысле остаются "возможностями, из которых могут быть созданы «дух» и «мир»", – многое из них неявно присутствует в мире, как он существует в настоящее время (вместо того чтобы "храниться в памяти"). (Неявно присутствует, то есть присутствует в виде ещё не встреченной, но скрытой "заботы" – в виде оставшегося без ответа письма, невыплаченного долга и нерешённого спора.)

Это порождённое самой личностью болото делается всё более и более непроходимым, по мере того как неумолимо уходит время; оно становится всё более и более "непригодным для обитания", по мере того как распространяются последствия его долговременной заброшенности (по мере того как у чудовищ болота отрастают новые голодные головы). Это "накопление докосмогонических возможностей" равносильно новому оживлению дракона хаоса (оно в точности равносильно новому пробуждению Тиамат, которая вечно спит под безопасным и хорошо знакомым миром). Чем более ограниченным, связанным со страхом, вероломным и подавляющим является конкретный способ приспособления, – то есть чем более чрезмерной является его ложь, – тем более ужасным, опасным,

невыносимым и могущественным является связанный с ним дракон. Именно таким образом это отношение приходит к тому, чтобы определять мир. Каждая попытка исключить посредством одного только желания какую-либо сторону опыта из числа существующих превращает её во враждебную. Каждая грань существования, скрытая от света, ведёт извращённую, изголодавшуюся по солнцу жизнь под землёй. Опыт – эту, в конечном счёте, совершенную реальность – нельзя отрицать без последствий; нельзя просто усилием воображения исключить его из области существующего. Проведение в жизнь такого желания только обеспечивает то, что сведения, содержащиеся в отрицаемом опыте, не могут быть ни удалены из области угрозы, ни использованы для целей приспособления к окружающей среде.

Возможно, что мы в самом деле **приспособлены** к миру, – что мы приспособлены к миру, который в действительности существует, а не к миру, в котором мы хотели бы жить. Возможно, что наш жизненный опыт содержит сведения в точности достаточные, чтобы обеспечить наше удачное выживание. Это значит, что каждая задача, оставшаяся невыполненной, – каждая неожиданно возникающая "область", оставленная неисследованной, – содержит "скрытые сведения", из которых ещё могла получиться "знающая личность". Если опыт действительно является "источником мира и духа", то те части опыта, которые избегались, или подавлялись, или обесценивались, могут ещё содержать то, что безусловно существенно для продолжения успешного существования. Добровольное преобразование – добровольное движение к "добру" – означало бы поэтому новое включение в систему ранее отброшенного "материала"; означало бы добровольное введение того, что кажется в настоящее время непригодным для употребления. Другой возможный исход, противостоящий этой "добровольной погоне за непригодным", – это вполне вероятная психологическая катастрофа на общественном или личном уровне, вызванная невольным соприкосновением с "враждебными силами" отвергнутого бытия. С мифологической точки зрения эта психологическая катастрофа есть случайное воссоединение с Ужасной Матерью на той территории, которую она выберет. Это "Эдипово кровосмешение" достигает высшей точки в несомненном страдании несклонного к этому "героя": в его самоубийстве, расчленении на части, оскотлении. Оно кончается заключительным принесением в жертву "мужественного" сознания и победой приспосабливающейся.

Отождествление личности со своей культурой защищает её от ужасного неизвестного и позволяет ей действовать в качестве приемлемого члена общества. Эти рабские действия усиливают её группу. Но эта группа утверждает, что приемлемы только некоторые образы мышления и действия, а эти особые образы мышления и действия не исчерпывают ни неизвестного, ни необходимых способностей людей. Жёсткая усмехающаяся общественная маска – это притязание личности на то, что она есть "та же самая личность", что и всякая другая (то есть та же самая умершая личность); что она не является ни стихийным бедствием, ни чужестранцем, ни чем-то странным; что она не является отклоняющейся, слабой, трусливой, неполноценной и мстительной. Однако подлинная личность – честный простак – стоит, неискуплённая, вне защитной ограды приемлемости как олицетворение слабости, неполноценности, мстительности, трусости и различия. Она не может порвать свои связи с группой, а так как она не может их порвать, она является жертвой тирании своей группы (и своего собственного осуждения, поскольку она является частью этой группы). Но человек как простак, слабый, невежественный и уязвимый является тем, чем не является группа, – подлинной личностью, поистине существующей, поистине переживающей, воистину страдающей (если только это можно допустить). Сознание внутренних личных ограничений и понимание их последствий приносят с собой, когда им позволяют всплыть на поверхность, ясное определение природы субъективного переживания и благоприятствуют попыткам приспособиться к этому переживанию. Именно по этой причине только неискуплённые – отверженные, больные, слепые и хромы – могут быть "спасены". Постигание подлинной природы субъективного переживания – личной действительности, лежащей вне обманчивых ограничений группы, – обладает достаточной силой, чтобы совершенно деморализовать человека. Поэтому вечным последствием самосознания является изгнание из рая в его материнской и патриархальной формах. Но такое грехопадение есть шаг по пути к "истинному раю" – шаг по направлению к принятию отождествления с героем, который не защищён от превратностей жизни, но может деятельно превращать ужасное неизвестное в дающий средства к существованию плодородный мир. Принятие (по крайней мере признание) ограничения смертности, отличающего человеческий жизненный опыт, является предпосылкой надлежащего приспособления к окружающей среде.

Ложь, которая отрицает личное переживание, является отрицанием простака, но этот простак есть сама истина.

Принятие слабости смертного является парадоксальным смирением, которое служит предпосылкой подлинного героизма. Героическое отношение к миру основано на веровании в то, что нечто новое и ценное всё ещё существует, для того чтобы с ним сталкивались и его усваивали, невзирая на силу и устойчивость современного положения дел. Это верование основано, кроме того, на вере в человеческие возможности, на вере в то, что дух личности откликнется на вызов и преуспеет. Такая вера должна быть выражена – свободно, добровольно – до участия в любой героической попытке. Это необходимый скачок, который делает возможным мужественное и созидательное действие; который делает религию чем-то реальным. Смирение, следовательно, означает: я ещё не являюсь тем, чем мог бы стать, – высказывание и осторожное, и полное надежды.

Позиция противника героя, то есть обман, основана на вере в то, что знание настоящего – это всё необходимое знание. Она основана на вере в то, что неизвестное уже было окончательно побеждено. Эта вера равносильна отрицанию человеческой уязвимости, равносильна признанию в своём всеведении: "то, что я делаю, – это всё, что надо делать; то, что я знаю, – это всё, что надо знать". С занятием такой позиции безнадежно запутанным образом связано неявное или явное отрицание существования, возможности и необходимости героического, так как всё стоящее уже было сделано, все задачи уже решены "героями-предками", нашими предшественниками, – рай уже распростёрся перед нами. Это **ужасная** позиция, так как аксиома веры: "мы спасены" делает само человеческое страдание (которое никогда не может быть искоренено вследствие идеологического опознавания) чем-то **еретическим**, чем-то таким, что может существовать только как оскорбление стражей традиционного порядка. Сторонник такого деспотизма таким образом теряет своё сочувствие даже в отношении самого себя: в "совершенном мире" – существующем сейчас – ничему несовершенному нельзя позволить существовать. Таким образом, противник героя, отступая, загоняет себя в положение, где он не может даже признать своего собственного несчастья (не говоря уже о несчастье других). Более безнадежного положения, может быть, нельзя и вообразить.

Признание своих недостатков парадоксальным образом ускоряет отождествление себя с героем и открывает возможность участия в процессе создания и обновления. Напротив, непризнание их вызывает отождествление себя с противником героя, чьё вечное место обитания – ад. Этот ад есть нечто реальное, чья природа, несмотря на его мифологический характер, может быть понята; есть нечто, обладающее хорошо знакомыми и определёнными чертами; есть нечто, могущее быть понятым, прежде всего, как следствие "нарушения равновесия между составляющими реальности". Принятие обманчивого, или противнического, способа приспособления вызывает или ускоренный поиск безопасности и возросшую вероятность агрессии в тех случаях, когда отождествление себя с каноном культуры считается возможным; или вырождение личности и упадочнический надлом там, где издержки поддержания культуры рассматриваются как "слишком высокие"; там, где никакая культура не ждёт, чтобы предложить свою защиту, или где даже фашистское поведение кажется чем-то слишком положительным, чтобы проявлять его в слишком невыносимом мире.

Отрицание героического содействует **фашизму**, полному отождествлению себя с каноном культуры. Всё, что известно, известно в пределах особого, обусловленного историей обрамления, основанного на мифологически выраженных предположениях. Отрицание или избегание неизвестного поэтому попутно оборачивается обожествлением особой, ранее установленной точки зрения. Какими вещи являются при таких условиях, такими они должны оставаться навсегда. Подвержение сомнению мудрости прошлого снова выставляет напоказ вызывающее беспокойство неизвестное. Это выставление напоказ неизвестного может считаться полезным в тех обстоятельствах, когда положительное приспособление к неизвестному рассматривается как возможное, но оно может считаться только разрушительным там, где господствует отсутствие веры в героическое. Всё живое, однако, растёт. Когда консерватизм уничтожает способность к личному творчеству – когда он становится тиранией, – он действует против жизни, а не за неё. "Внутренний дух" уже удален из группы, боящейся развиваться. Совершенно консервативное общество не может выжить, потому что будущее переступает пределы ограничений прошлого, а совершенный консерватор хочет ограничить то, что могло бы быть, тем, что уже было. Если бы история была законченной и совершенной, если бы всякая личность использовала свои наивысшие возможности, то человеческий род был бы управляем, ибо всё было бы исследовано, всё известно, всё было бы завершено. Но эта вершина всех достижений ещё не была достигнута, а может быть, никогда и не

будет. Те, кто притворяются, что верят в противоположное, быстро приходят к активному сопротивлению процессу, который должен выработать именно то, что они уже якобы имеют.

Отрицание героического способствует **декадансу** – то есть полному отверганию традиционного порядка; полному отверганию самого порядка. Этот образ постижения и поведения кажется очень далёким от образа постижения и поведения фашиста, но декадент точно так же высокомерен, как и его очевидно более жёсткий двойник-фашист. Он предпочёл бы не отождествлять себя **ни с чем**, чем отождествлять с **чем-то одним**. Он непреклонно убеждён в своей вере, что ничто не имеет значения, убеждён, что ничто не ценно, невзирая на мнения (ясно обманутых, слабых и презренных) других; убеждён, что ничто не стоит его усилий. Декадент, таким образом, действует как некая противоположность Мидаса: всё, чего он касается, превращается в пепел.

При обычных обстоятельствах человек, который достигает юности, отождествляет себя со своим племенем, с исторически обусловленным устройством коллектива, предназначенным для того, чтобы противостоять угрозе. Обычный человек решает свою задачу приспособления к неизвестному, присоединяясь к группе. Группа, по определению, состоит из тех, кто принял какую-то главную систему ценностей и кто поэтому ведёт себя в присутствии других представителей группы одинаково, а если не одинаково, то, по крайней мере, предсказуемо.

Фашист приспособливается к своей группе с мстительностью. Он строит всё более и более крепкие стены вокруг себя самого и тех, кто "похож на него", во всё более и более тщетной попытке сдерживать всё более и более угрожающее неизвестное. Он делает это потому, что его мировоззрение неполно. Он не верит в героическую сторону личности, он не видит отрицательной стороны мира общества, и он не может наглядно представить себе благотворной стороны хаоса. Он достаточно напуган, чтобы развить в себе дисциплину раба, с тем чтобы поддерживать своё защищённое положение в своей группе, но он недостаточно напуган, чтобы переступить пределы своего рабского состояния. Поэтому он остаётся скрученным и согнутым. Напротив, декадент не видит ничего, кроме тирании государства. Так как противническая сторона личности остаётся удобно скрытой от его взгляда, он не может понять, что его "восстание" – это только попытка избежать дисциплины. Он рассматривает хаос как полезный дом, видя истоки человеческого зла в общественных правилах, потому что он не может представить себе Ужасную Мать как силу, пожирающую души. Поэтому он оставляет своего отца в брюхе зверя, несчастным, и у него нет орудий, на которые можно положиться, когда ему в конце концов бросят вызов.

Декадент стремится подорвать процесс созревания: он ищет "путь наружу" из групповых связей. Членство в группе требует принятия, по крайней мере юношеской, ответственности – по крайней мере, принятия на себя обязанностей, связанных с приличным поведением, – и это бремя может вследствие длительной незрелости показаться слишком тяжёлым, чтобы его терпеть. Поэтому декадент действует так, "как будто" парадигматическое устройство группы сделалось "недостаточным" вследствие умственных и культурных изменений или изменений в окружающей среде, и отказывается быть тем простаком, который рискует поверить. "Надлежащий" отклик на "болезнь отца" – это, конечно, "путешествие в страну живой воды". Вместо этого декадент делает из своего умственного превосходства над "суевериями прошлого" догмат веры и уклоняется от своей обязанности. То есть именно желание уклониться от своей обязанности (и от "принесения героической жертвы", которое она влечёт) представляет собой побуждение для веры в это "умственное превосходство". Позиция "страдающего мятежника", которую это уклонение допускает как своё вторичное следствие, к тому же служит превосходным прикрытием трусости.

Фашист и декадент рассматривают друг друга как противоположности, как смертельных врагов. В действительности они суть две стороны одной и той же медали:

"Сегодня день Рождества, и я только что пришёл домой от семейства Жюли. Когда я был там, меня, в то время как я сидел на кушетке между двумя девушками, поразило, как просто глупо и по-идиотски я вёл себя в этой моей единственной жизни. Надеюсь, у вас хватит терпения слушать, пока я буду облегчать свою душу, потому что я отчаянно нуждаюсь в том, чтобы признаться кому-нибудь в своих грехах, и знаю, что если бы я сидел в маленькой клетушке, говоря с невидимым мне священником, то я не поступил бы правильно. Как тот, кто тщательно рассматривает демоническое и неразумное в человечестве, вы подходите под определение религиозного человека, поэтому я думаю, что вы найдёте мою исповедь интересной.

Представьте себе (если можете) взрослого человека, таящего в своём сердце самую злобную обиду на своего сотоварища, своего ближнего, который виновен только в том, что

воплощает высшее сознание того, что означает быть человеком. Когда я думаю обо всех тех чёрных, злых мыслях, которые я обращал на тех, кому я не мог смотреть прямо в глаза, это почти невыносимо. Всё моё надменное презрение к «заурядному» человеку, который – так я думал – был виновен в грехе бессознательности, было – как я теперь понимаю – основано только на зависти и злобе. Я ненавидел всякого, я чувствовал безусловное отвращение ко всякому, кто боролся со своим страхом оставить материнские пределы детского склада ума и победил в этой борьбе, только потому, что я так не сделал. Я приравнивал независимость и успех к самомнению и себялюбию, и моей любимейшей надеждой, моим высочайшим стремлением было стать свидетелем и принять участие в разрушении всего, что пользующиеся успехом, независимые люди создали для себя. Это я считал своим долгом. На самом деле в моём понуждении очистить мир от того, что я понимал как себялюбие, было что-то решительно изуверское.

Подумайте, что произошло бы, если бы я оказался в состоянии осуществить свои прекрасные чувства! Память об этом заставляет меня опасаться, что в любое мгновение земля треснет и поглотит меня, ибо если есть какая-то справедливость, она бы так и сделала. Я, у которого не было и слабейшего намёка на способность к нравственному суждению, таскаюсь повсюду, вынося приговоры всякому, кто осмеливался пересечь мой путь. Это заставляет меня усомниться в том, что у меня есть хоть один друг. Но, конечно, прежде у меня были друзья. Ими были все, у кого было достаточно презрения к самим себе, чтобы они могли простить мне моё.

Человечеству очень повезло, что не много имеется спасителей моего масштаба. Знали ли вы, что я, бывало, отождествлял себя с Христом? Я считал себя совершенно, безупречно свободным от агрессии и любого другого вида противообщественного чувства. Но, вы спросите, как же насчёт ненависти, в которой я только что признался? Это не считается. Понимаете ли, эти чувства были основаны на хорошем здравом смысле. В конце концов, в мире есть сукины дети, и к этому надо быть готовым. (Чувствую ли я запах озона? Говорят, что у людей появляется ощущение пощипывания как раз перед тем, как ударит молния.)

Это очень подходящее выражение – сукин сын. В «Феноменологии личности» Юнга есть отрывок, который гласит: «Зачастую рядом с ним действительно находится мать, которая внешне немало заботится о том, чтобы её сын стал мужчиной, но на деле не пренебрегает ничем в своих неустанных жертвенных усилиях помешать ему повзрослеть и жениться. Между матерью и сыном имеется тайный заговор, и можно наблюдать, как каждый из них помогает другому в предательстве по отношению к жизни». Будучи совершенно точным описанием моего положения, это понимание было бы полезно для меня в качестве оправдания, если бы не то обстоятельство, что мне почти ежедневно представлялся во мне самом остаточный кусочек неразбавленного зла. Например, когда передо мной предстаёт расстраивающая обстановка, я не спрашиваю себя, что я собираюсь с этим делать. Я спрашиваю себя, кто ответственен за это, – и я всегда готов сделать вывод, что если бы другие люди поступали как следует, то этого затруднительного положения не существовало бы. Вы спрашиваете, что же в том злого? Очевидно, если я решил смотреть сквозь пальцы на свою собственную роль в неспособности разрешить свои собственные затруднения, если я решил найти козла отпущения для моих трудностей, то я недалеко ушёл от того склада ума, который был в ответе за гитлеровское окончательное решение еврейского вопроса, или за испанскую инквизицию, или за ленинскую культурную чистку.

Что это вы мне такое сказали, когда я выражал недовольство недостатками капитализма, тем, что так много людей использует капиталистическую систему для своих целей? Что-то вроде того, что «то обстоятельство, что люди продолжают укреплять своё финансовое положение **до тошноты**, – это одно дело, но нет основания из этого делать вывод, что есть что-то добродетельное в том, чтобы отказываться даже пытаться в первую очередь укрепить своё положение». Но насколько же легче увенчать человеческую трусость и лень званием добродетели! Только спросите приверженцев Ленина, которые с важным видом шатались по сельской местности, грабя каждого крестьянина, которому удалось добиться хоть какого-нибудь успеха, и называли себя друзьями простого народа, и похлопывали один другого по спине за нравственную честность! Хотел бы я знать, изменился ли я настолько, чтобы не присоединиться к ним, если бы судьба подвергла меня этому испытанию. Мысль, что нравственность вырастает из отсутствия личных интересов совершенно укоренилась в моей

душе. «Хорошие люди – это те, кто не хочет ничего для себя», – вот как я думаю. Но я никогда не спрашиваю себя, почему такой человек должен вкладывать какие-либо усилия в приучение себя к дисциплине или брать на себя труд поддержания ясности своих душевных побуждений, так как ничто для него не ценно в этом мире.

В своём очерке «Отношения между эго и бессознательным» Юнг говорит, что в бессознательном состоянии личность разрывается столкновением противоположностей и что достижение сознания включает разрешение этого конфликта на более высоком уровне. (Я понимаю, что это особое состояние бессознательности взрослого отлично от первоначального состояния младенческой бессознательности, в котором нет долговременных конфликтов.) Как раз на прошлой неделе я опять застрял в этом тупике. Я сидел и думал о том, какое направление должна принять моя жизнь, и в каждом воображаемом сценарии выполнения осмысленной деятельности я встречал контрапункт, исходящий откуда-то из моей головы и показывающий мне, что та или эта сторона моего сценария была не такой, как надо, потому что следствием её будет та или другая проблема. Так продолжалось вплоть до того момента, когда оказывалось неприемлемым рассматривать любую деятельность вообще, потому что, и просто будучи живым, я внёс бы свой вклад в разрушение нашей планеты. И как бы сильно я ни хотел опровергнуть этот отголосок неправильного на каждое моё воображаемое правильное, дело в том – говорил я себе, – что мы ежедневно видим в газетах, как деятельность человечества, которая является также деятельностью отдельных мужчин и женщин, причиняет неисчислимый вред.

Конечно, именно благодаря тому, что вы влияете на меня, я не остался в эти дни слишком долго торчать в этом болоте. Если наша промышленная система вызывает трудности, – отвечаю я теперь себе, – то я должен надеяться, что где-то там есть люди, работающие над тем, чтобы разрешить эти трудности, или, может быть, я должен попытаться что-то сделать насчёт этого сам, но, сидя праздно, я ничего не решаю. Что является самым пугающим, а также самым распускающим сопли в торчании в этом болоте, так это то, что разумный дух хочет быть совершенно уверенным в успешном исходе своих жизненных планов, и, очевидно, есть ещё одна часть духа, которая знает, что такая уверенность невозможна. Поэтому перед человеком затем встаёт необходимость принять на веру, что дела улучшатся при некоторых удаче и настойчивости. А так как я прекрасно понимающая современная мышь с просвещённой разумной душой, для меня бесполезны вера и прочая такая религиозно звучащая трескотня и вздор. Вера, очевидно, неразумна, а я не потерплю, чтобы какая-либо неразумность влияла на моё поведение.

Ранее, решая эту задачу, я бы позволил случаю выбрать мой жизненный путь за меня, а мои собственные интересы влияли бы на моё решение настолько мало, насколько это возможно, и в таком случае я бы поверил, что как-то избежал личной ответственности за состояние современного мира, так как я не был в действительности ответственным за состояние моей жизни, и что я избежал возможности того, что мои планы не сработают, ибо у меня не было планов. Именно с этого прочного как камень основания я глядел на мир и видел вокруг себя людей, которые были достаточно глупы, чтобы добавить свои собственные личности в уравнение.

Вложить этот род веры в себя, поверить, что внутри тебя есть движущая сила (назовём её интересом), которая будет откликаться на жизнь и переносить тебя через неопределённости и несчастья, – это неразумное отношение, не имеющее себе равных, и (как мне кажется) именно этот неразумный подход к жизни разрешает столкновение между противоположностями. Но задача теперь выглядит так: чтобы обладать этой верой в свою неразумную природу, человек нуждается в доказательстве того, что личные интересы и страсти способны поддерживать его в неопределённостях и несчастьях жизни, которые разумная душа так ясно предвидит, и что единственный способ получить такое доказательство – это рискнуть собой и увидеть исход этого. Тот, кто может затеять такое предприятие по своему почину, – это исключительная личность. Большинство из нас нуждается в руководстве и поддержке со стороны других, со стороны, так сказать, верующих. Не странно ли, что религиозные выражения оказались полезными в этом обсуждении?

Когда я писал этот последний абзац, мне внезапно вспомнилась ваша мысль, что дьявол, как он изображён в мильтоновском «Потерянном рае», – это метафора для рационального разума, поставленного в положение самой высшей душевной власти. «Лучше править в аду,

чем служить в небесах». Значит ад, – это состояние, в котором разумная душа, с её острым сознанием многих опасностей жизни, господствует над личностью и действительно мешает ей жить своей жизнью, что производит нравственно вырожденное состояние слабости, которое я описал на первых страницах этого письма. А небо – как я предполагаю – было бы состоянием, в котором разумная душа подчиняется вере в... в Бога. Но что такое Бог?

У вас в рукописи вашей книги есть глава, которая называется «Божественность интереса». Ваши мысли начинают теперь приобретать для меня смысл (по крайней мере, я так думаю). Вера в Бога означает веру в то, что вызывает интерес человека и уводит его прочь из родительской области в мир. Отрицать такие интересы значит отрицать Бога, упасть с неба и с земли прямо в ад, где страсти человека вечно перегорают в унынии. Что сказал Бог, когда изгнал Адама из Эдема? Что-то насчёт того, чтобы работать во прахе до конца его дней, с призраком смерти, всегда маячащим в будущем. Я, конечно, могу иметь отношение к этому. Одно из наиболее ярких впечатлений, которые я получаю, вспоминая все эти годы, что я потратил, переходя от одной работы к следующей, – это бессмысленность моей тогдашней повседневной жизни и ослепительное знание, что конец приближается. Но когда я делаю нечто, интересующее меня, как это происходит вот сейчас, смерть кажется далёкой, а работа кажется вполне приятной, даже радостной".⁴⁸⁵

Эта "теория происхождения общественной психопатологии" – эта теория о **непосредственном** отношении, существующем между личным выбором и фашистскими или декадентскими личностями и общественным движением, – находит свой точный отголосок в даосской философии и может быть основательно понята с её точки зрения. Традиционный последователь даосизма верит, что мирской человеческий опыт состоит из различных частей не разбиваемого, по существу, на разряды фона – **Дао** (как мы уже видели ранее), который может быть также истолкован как "смысл" или как "путь".⁴⁸⁶ Дао проявляется как вечный поток бытия. "Естественные категории" Инь и Ян, изображённые на рисунке 59 "**Составляющие опыта, повторение**", представляют собой самые существенные "подразделения" Дао, охватывают основные материнские и патриархальные составляющие опыта.

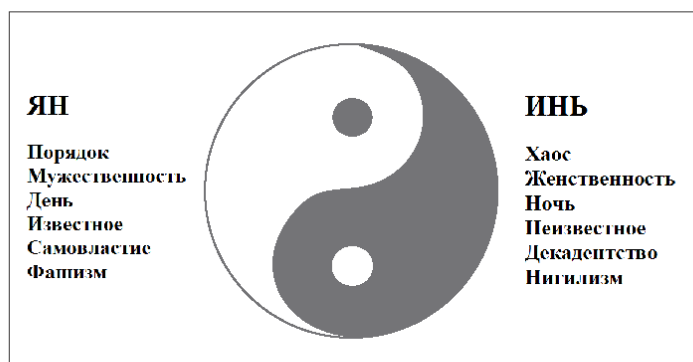


Рисунок 59

Многое из древней китайской философии: космология, медицина, политическая теория, религиозное мышление – основано на той мысли, что болезнь вызывается относительным "избытком" той или другой изначальной "сущности". Цель китайского мудреца – врача, духовного вождя или правителя общества – установить или восстановить согласие между основными "женственным" и "мужественным" началами и определить и исправить ошибочные действия или

безответственные бездействия, которые привели к их первоначальному разногласию. Схематическое представление Инь и Ян, изображённое на рисунке 59, использует образ круга для представления целостности; половинки, которые составляют этот круг, противоположны, но уравновешены. Образ круга дополнительно сделан утончённым посредством присутствия белого кружка в чёрной половинке и наоборот. Слишком большой хаос порождает желание порядка: таким образом Инь может служить матерью Ян. И наоборот, слишком большой порядок порождает желание новизны как противостояния от приносящей бесплодие предсказуемости. Этим способом Ян служит отцом Инь.

Фашист, который не хочет смотреть в лицо действительности и необходимости неизвестного, прячет своё уязвимое лицо в "болезненном излишке порядка". Декадент, который отказывается видеть, что жизнь невозможна без порядка, прячет свою незрелость от себя и других в "болезненном излишке хаоса". Фашист готов принести в жертву болезненную свободу ради порядка и притворяться, что его непоправимое несчастье бессмысленно, так что он не должен делать ничего для самого себя. Декадент верит, что свобода может быть достигнута без дисциплины и ответственности, потому что он не ведаёт об ужасной природе "неразличённого основания реальности" и несклонен нести бремя порядка. Когда он начнёт страдать – как это, конечно, и произойдёт, – он не позволит реальности своего страдания доказать ему, **что некоторые явления реальны**, так как принятие такого доказательства вынудило бы его **поверить и действовать** (вынудило бы у него также болезненное понимание вредной и расточительной глупости его прежней точки зрения).

Фашистский способ приспособления к окружающей действительности – это, прежде всего, способ непосредственного сдерживания неизвестного и непредсказуемого. Современные люди, как и древние, неявно отождествляют чужестранца с драконом хаоса. Чужестранец действует непредсказуемо и мысли его непредсказуемы – это мысли, которые могли бы иметь резкие и расстраивающие последствия, если бы было позволено полностью их выразить. Крайний консерватизм допускает ограничение неопределённости ради уклонения от неизвестного. Он выполняет это назначение, обеспечивая то, что каждый представитель группы действует, воображает и думает в точности так, как и всякий другой её представитель (вообще говоря, в точности так, как её вождь – мрачная пародия на героя). Поэтому во времена повышенной неопределённости, во времена возросшей безработицы или неустойчивости политического строя, всегда возникает призыв возвратиться к "славному прошлому". Фашист – над которым господствует его страх – верит, что мир должен быть только порядком, ибо беспорядок является слишком пугающим, чтобы его рассматривать. Это делает тот космос, который он создаёт – когда ему представляется такая возможность, – местом бесконечного бесплодия и машинообразной организации. Это возросшее единообразие, по крайней мере, допускает временное облегчение и ограничение беспокойства, но наносит ущерб способности группы (то есть его группы) гибко откликаться на неизбежные изменения. Всё выглядит так – если использовать биологическую метафору, – как будто фашист добивается того, чтобы вынудить всякое генетическое разнообразие покинуть пределы его "вида". Отсутствие разнообразия означает отсутствие разных вариантов в отклике на новые вызовы, означает одно решение (вероятно неправильное) для каждой задачи. Подавление отклонения, неизвестного, поэтому только обеспечивает его неукротимое появление в отрицательном облике в какое-то неопределённое мгновение в будущем (так как трудности, на которые не обращали внимания, не уходят прочь, но усугубляются, по мере того как они следуют своему собственному особому пути развития). Следовательно, порядок, который фашист навязывает, несёт внутри себя семена своего собственного разрушения.

Фашист склонен быть жестоким, так же как и жёстким: он будет на самом деле продолжать свою жестокость даже ценой подрыва своей собственной устойчивости. Нацистское преследование евреев, например, продолжалось в постоянно возрастающем темпе (и всё более грубым образом), хотя оно всё более и более очевидно мешало собственно военным усилиям. По мере того как развивалась Третья империя, нацистская ненависть к ним стала столь могущественной силой, что она преодолела и нацистский патриотизм, побуждаемый смертельным страхом перед неизвестным. Под открыто признаваемым патриотизмом фашиста и его трусливой любовью к порядку скрывается даже более глубокое явление – ненависть к трагическим условиям жизни и к уязвимой жизни, от которой эти условия становятся очевидными:

"Ибо они рассуждали необоснованно, говоря себе: «Коротка и печальна наша жизнь, и нет лекарства, когда человек приходит к своему концу, и ни о ком не известно, чтобы он вернулся из преисподней.

Ибо мы были рождены по простой случайности, а в будущем будет так, как будто нас никогда не было; ибо дыхание в наших ноздрях есть дым, а разум – искра, зажжённая биением наших сердец.

Когда она погаснет, наше тело обратится в прах, а дух растает, как пустой воздух. Наше имя будет забыто со временем, и никто не вспомнит наши труды; наша жизнь пройдёт, словно следы облака, и рассеется, точно туман, гонимый лучами солнца и одолеваемый его зноем.

Ибо отведённое нам время есть прохождение тени, и нет возврата из смерти, потому что она запечатана и никто не возвращается назад.

Давайте поэтому наслаждаться всем тем хорошим, что есть, и пользоваться созданием до конца, как в юности.

Давайте насытимся дорогим вином и благовониями, и пусть ни один цветок весны не пройдёт мимо нас.

Давайте увенчаемся бутонами роз, до того как они завянут.

Пусть никто из нас не пройдёт мимо, не разделив наш пир, давайте повсюду оставим следы наслаждения, ибо это наша участь, и это наш жребий.

Давайте притеснять бедняка праведника; давайте не щадить вдовы и не взирать на седину престарелых.

Но сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным»" (Премудрость Соломона, 2 : 1 – 11).

Фашистская жестокость побуждается эмоциональными последствиями болезненно раздутого порядка. Когда иссякает "живая вода", от жизни ничего не остаётся, кроме её неизбежных страданий и расстройств, отягчённых ужасной скукой. Кроме того, аномалия неизбежно накапливается, по мере того как порядок навязывается всё более и более строгим образом. Это добавляет возросшее опасение хаоса к страданию, расстройству и обесмысливанию жизни. Люди, "подвергнутые" избытку таких эмоций, "имеют все основания" быть мстительными, агрессивными и жестокими: они поставили себя в такое положение, где возникновение таких побуждений фактически несомненно.

Неизвестное проявляется только тогда, когда произошла ошибка. Фашист говорит: "Я знаю всё, что надо знать" и не может, следовательно, совершать ошибок. Но ошибка – это мать всех вещей. Следовательно, неспособность признать своё несовершенство означает удаление от каждой ситуации, что-то нам сообщающей. Это означает конец непрерывного приспособления к окружающей среде и несомненное новое появление неизвестного в отрицательном облике. Если вы не меняетесь перед лицом постоянного медленного преобразования всего, что вас окружает, то противоречия и неисправленные ошибки нагромождаются и накапливаются. Чем более вы упорны (читай: высокомерны), тем больше промежуток времени, в течение которого происходит это накопление. Раньше или позже вас будет окружать столько неизвестного, что столкновения с ним будут невозможно избежать. В этот момент появляется дракон преисподней и проглатывает вас целиком. Потом вы живёте в брюхе у зверя, во тьме, в ночи, в царстве мёртвых. В такой окружающей среде ненависть приходит легко.

Декадент говорит: "Нет такой вещи как **знание**" и никогда не пытается ничего совершить. Как и его деспотический двойник, фашист, он делается "невосприимчивым к ошибке", так как ошибки всегда совершаются относительно какой-то значимой, установленной и желаемой цели. Декадент говорит: "Смотрите, вот нечто новое, нечто необъяснимое; это есть доказательство того, что – разве это не так? – всё, что мне рассказывали, ошибочно. История ненадёжна; правила произвольны; достижения обманчивы. Зачем что-либо делать при таких обстоятельствах?" Но он живёт на заимствованное время, питаясь, как паразит, непонятым телом прошлого. Если он будет работать достаточно упорно и отпилит ту ветвь, на которой сидит, то он тоже упадёт в челюсти того зверя, на которого не обращал внимания.

Привычное действие избегания – или отвергания – ослабляет личность. Силу личности можно было, частично, определить как ширину исследованной ею области, как способность этой личности действовать надлежащим образом в наибольшем числе случаев. Такая сила, очевидно, зависит от предшествующего обучения – по крайней мере от обучения тому, как действовать, – а знание того,

как действовать, порождается и обновляется постоянным, сознательным, исследовательским поведением. Если всё новое и отличное отвергается сразу же, личность не может приспособливаться к изменяющимся обстоятельствам. Обстоятельства, однако, изменяются неизбежно вследствие простого созревания; вследствие самого роста энтропии. Мало пользы в том, чтобы быть полностью подготовленным к прошлому; более того, оставаться подготовленным к будущему возможно только при условии бесстрашного отношения к настоящему. Аномалия, следовательно, является духовной "пищей" в самом буквальном смысле: неизвестное – это сырьё, из которого в ходе исследовательской деятельности производится личность. Попытка отвергать аномалию превращает личность в нечто измороженное голодом, в нечто дряхлое и всё более и более приходящее в ужас от перемен, так как каждая неудача в том, чтобы смотреть в лицо истине, подрывает способность к этому в будущем. Человек, который доходит до того, чтобы усвоить неподобающее отношение к неизвестному, обрывает свою связь с источником всякого знания, подрывая, может быть, непоправимо свою личность. Это таяние силы является самоувековечивающим: каждая слабость увеличивает вероятность последующей слабости:

"Ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет" (Марк, 4 : 25).

Человек, который отворачивается от указаний на свои собственные недостатки, увеличивает вероятность того, что он будет стремиться подавить и уничтожить всякое знание, которое означает угрозу современным верованиям. Избегаемые, подавленные или иным образом недоразвитые части личности недоступны для использования в сознательном приспособлении к окружающей действительности: они, на самом деле, будут оказывать сопротивление такому приспособлению из-за их "обида" за то, что они были искалечены и на них не обращали внимания. Неспособность полностью использовать свои человеческие возможности жестоко подрывает силу личного характера. Разъединение действия, воображения и образования общих представлений ослабляет личность. Слабость личности означает неспособность нести бремя сознательного мира. Следствием лицемерного подавления индивидуальных различий на службе у общественного целого и у его внутридушевного представителя является слабость перед лицом неизвестного, возможности и хаоса:

"И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот" (Марк, 3 : 25).

5.2.2. Противник героя в действии. Иносказание двадцатого столетия

Юнг где-то утверждал, что "любое непризнанное внутреннее состояние противоречия будет разыграно в мире как судьба". Это утверждение носит очевидный отпечаток мистицизма. Как мог бы мир разыгрывать душевное состояние или отказ признать душевное состояние? Цель отвлечённого понимания – представлять жизненный опыт и орудовать его представлениями, чтобы способствовать успешному приспособлению к окружающей среде. Если мы оба хотим иметь одну и ту же игрушку, мы можем спорить о наших правах на неё. Если спор кончится неудачей, – или если мы откажемся в него вступать, – мы можем подражаться. Если мы страдаем от нравственной неопределённости на философском уровне и не можем прийти к решению своей внутренней борьбы, то наше поведение отражает наше внутреннее беспокойство, и мы разыгрываем свои противоречия в поведении, во многом в пользу общего к нам недоверия. Таким образом, средства разрешения спора с каждой неудачей водопадом падают вниз по убыванию отвлечённости: от слова – к образу, от образа – к действию, и те, кто не позволяет своим устарелым представлениям и верованиям отмереть, когда они должны, убивают вместо них самих себя. Александр Солженицын описывает, как "порядок и предсказуемость" были таким образом установлены в Советском Союзе во время сталинского царства массового террора:

"А. Б-в рассказывает, как велись казни на Адаке (лагпункт на реке Печоре). Ночами оппозиционеров брали «с вещами» на этап, за зону. А за зоной стоял домик III части. Обречённых по одиночке заводили в комнату, там на них набрасывались вихорцы. В рот им запихивали мягкое, руки связывали назад верёвками. Потом выводили во двор, где наготове стояли запряжённые подводы. Связанных валили по 5 – 7 человек на подводу и отвозили на

«Горку» – лагерное кладбище. Там свалакивали их в готовые большие ямы и тут же ЖИВЫХ ЗАКАПЫВАЛИ. Не из зверства, нет. А выяснено, что обращаться с живыми – перетаскивать, поднимать – гораздо легче, чем с мёртвыми.

Эта работа велась на Адаке много ночей.

Вот так и было достигнуто морально-политическое единство нашей партии".⁴⁸⁷

Изобретение, создание и совершенствование концентрационного лагеря, производительной народоубийственной машины, можно было бы рассматривать как завершающее достижение технологических и культурных усилий человека, побуждаемых обидой и отвращением к жизни. Изобретённое англичанами, сделанное действенным немцами, применяемое в огромном масштабе советскими властями и китайцами, вновь вызванное к жизни столкновениями на Балканах совершенство фабрики, чьей единственной продукцией является смерть, потребовало поистине многонационального предприятия. Такое предприятие представляет собой, может быть, главное достижение совместной бюрократизации ненависти, трусости и обмана. В течение последнего столетия десятки миллионов невинных людей были лишены человеческого достоинства, порабощены и принесены в жертву в этих высокопроизводительных конвейерах уничтожения, чтобы помочь угнетателям этих миллионов поддерживать болезненную устойчивость и последовательность нравственной самонадеянности, проводимые в жизнь посредством террора, побуждаемого приверженностью ко лжи.

У самого этого названия – концентрационный лагерь – есть какая-то сверхъестественная сторона: приводящая в ужас, ироническая, иносказательная. **Лагерь** – то есть летнее солнце и праздник, сатирическая комедия и маскарад, воинский устав, повиновение и действенность; лагерь **смерти** – подлинно дьявольское представление о шутке, о лагере; чёрный юмор и рай для каникул; ужасное место, вызванное к жизни старательным стремлением к фантастическому идеалу, идеологической чистоте, раю для статистиков на земле. **Концентрационный лагерь** – то есть концентрация людей по произволу в общество, ограничение их передвижения и мысли особой областью; концентрация процессов человеческой жизни, их очищение, сведение к сущности, к главным ценностям, лежащим в основе человеческих усилий, – сосредоточение на этих ценностях.

Концентрационный лагерь породил свою собственную литературу, воспоминания о выживании при условиях, настолько грубых, насколько их может воссоздать воображение, – человеческое воображение, способное предполагать существование и описать природу вечно мучительного Ада, со стенами толщиной в семь миль, освещаемого огнём, который одновременно пожирает и возобновляет плоть так, чтобы она могла быть сожжена ещё раз.⁴⁸⁸ Эта лагерная литература обладает странной эмоциональной и описательной силой – следствием постоянного повторного возникновения закономерных, врождённых способов приспособительного действия и мысли, естественно возникающих в ответ на переживание непреодолимой аномалии и крайней угрозы.

Лагерная жизнь – это всё ещё человеческое существование, подобное обычной жизни во всех её гранях, но сделанное более совершенным, менее двусмысленным, очищенное, облажённое:

"Позвольте, вы – любите жизнь? Вы, вы! Вот которые восклицают, и напевают, и приплясывают: «Люблю тебя, жизнь! Ах, люблю тебя, жизнь!» Любите? Так вот и любите! Лагерную – тоже любите! Она – тоже жизнь!

«Там, где нет борьбы с судьбой,

Там воскреснешь ты душой...»

Ни черта вы не поняли. Там-то ты и размякнешь".⁴⁸⁹

Крайняя природа лагерных условий, кажется, только усиливает склонность к поведению, всегда присутствующую и в обычных условиях, чтобы преувеличить выражение возможностей, врождённо отличающих человеческую душу.

Заключение в лагерь в типичном случае начинается с падения, с ареста: неожиданного, несправедливого, произвольного, неумолимого и ужасающего. Будущий заключённый начинает свой невольный спуск в преисподнюю со своими исторически обусловленными защитными сооружениями, которые целы и невредимы, твёрдо внедрены в его культурное окружение, закреплены в его личности: отождествлены с его работой, его общественным положением, его взглядами на настоящее, его надеждами на будущее. Первоначальное вторжение судьбы в эту самообманчивую безопасность происходит ночью. Арест имеет место без предупреждения, ранним

утром, когда людей легко напугать, ошеломить и когда менее вероятно, что они окажут сопротивление, когда они – испуганные за безопасность их нервно собравшейся семьи, беспомощно стоящей в своём жилье, отданной на милость государственной власти в её самом презренном и подавляющем воплощении, – более готовы к сотрудничеству в своём страхе и простодушной надежде:

"Всё. Вы – арестованы!

И нич-ч-чего вы не находите на это ответить, кроме ягнячьего блеяния:

– Я-а? За что?..

Вот что такое арест: это ослепляющая вспышка и удар, от которых настоящее разом сдвигается в прошедшее, а невозможное становится полноправным настоящим.

И всё. И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки.

Ещё померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна: «Это ошибка! Разберутся!»

Всё же остальное, что сложилось теперь в традиционное и даже литературное представление об аресте, накопится и состроится уже не в вашей смятённой памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире.

Это – резкий ночной звонок или грубый стук в дверь. Это – бравый вход невытираемых сапог бодрствующих оперативников. Это – за спинами их напуганный прибитый понатой...

Традиционный арест – это ещё сборы дрожащими руками для уводимого: смены белья, куска мыла, какой-то еды, и никто не знает, что надо, что можно и как лучше одеть, а оперативники торопят и обрывают: «Ничего не надо. Там накормят. Там тепло». (Всё лгут. А торопят – для страху.)

И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нём есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого же стука в дверь. Арестуемый вырван из тепла постели, он ещё весь в полусонной беспомощности, рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах: их приезжает несколько вооружённых против одного, не достигнувшего брюк..."⁴⁹⁰

Арест означает мгновенное обезличивание, изоляцию от семьи, друзей и общественного положения. Эта насильственно вынужденная перемена обстановки умышленно удаляет все конкретные напоминания о групповой принадлежности, все отличительные признаки общественной иерархии, разрушает все прежние идеалы, подрывает всякую целенаправленную деятельность, выставляет напоказ существенную человеческую уязвимость и подвергает её безжалостному использованию. С арестованного грубо сдираются все напоминания о его прежней личности, о его предсказуемом окружении, о его условной надежде: он остаётся лишённым даже своей одежды и волос. С ним обращаются с предельным презрением и насмешкой, не считаясь с его прежним общественным положением, невзирая на него. Это полное разрушение общественной обстановки, сознания принадлежности к обществу повышает чувство самосознания недавно арестованного, его ощущение обнажённости и уязвимости. Это оставляет его невыносимо встревоженным, ужасно неуверенным, жалко подвластным новому и неопределённому миру – новой и непредсказуемой преисподней:

"Мы ожидали в сарае, который, казалось, был прихожей дезинфекционной камеры. Появились эсэсовцы и расстелили шерстяные одеяла, на которые мы должны были побросать всё своё имущество, все наши часы и драгоценности. Среди нас всё ещё были наивные люди, которые спрашивали – к развлечению более закалённых, которые находились там в качестве эсэсовских помощников, – не могут ли они сохранить обручальное кольцо, медаль или талисман. Никто ещё не мог уловить того, что будет отобрано всё.

Я попытался довериться одному из этих старых заключённых. Подойдя к нему украдкой, я указал на свёрток бумаги во внутреннем кармане моего пальто и сказал: «Видишь, это рукопись научной книги. Я знаю, что ты скажешь: что я должен буду радоваться, если вырвусь отсюда живым, что это, должно быть, всё, чего я могу ждать от судьбы. Но я не могу удержаться. Мне нужно сберечь эту рукопись во что бы то ни стало. Она содержит труд всей моей жизни. Понимаешь?»

Да, он начинал понимать. Ухмылка медленно распространилась по его лицу, сначала жалкая, потом более изумлённая, дразнящая, оскорбительная, пока он не промычал мне в ответ на мой вопрос одно слово – слово, которое всегда присутствовало в словаре лагерных обитателей: «Дерьмо!» В эту минуту я понял очевидную истину и сделал то, что отметило наивысшую точку первой фазы моей психологической реакции: я вычеркнул всю мою прежнюю жизнь".⁴⁹¹

У арестованного нет особого обусловленного историей общества внутридушевного устройства, чтоб защищаться от ужасного мира заключения и рабства; нет никакого образа желания и надежды, чтобы сдерживать его смертельный ужас, направлять его деятельность и его надежды. Он был насильственно изгнан из рая, его заставили нестерпимо осознать свои собственные существенные ограничения, его собственную обнажённость, он был приговорён к бесконечному труду и подчинению. Вследствие этого он стал уязвимым перед своими самыми худшими страхами, наиболее беспорядочными душевными состояниями и наиболее тяжёлой подавленностью:

"Так было у многих, не у одного меня. Наше первое тюремное небо – были чёрные клубящиеся тучи и чёрные столбы извержений, это было небо Помпеи, небо Судного дня, потому что арестован был не кто-нибудь, а Я – средоточие этого мира.

Наше последнее тюремное небо было бездонно-высокое, бездонно-ясное, даже к белому от голубого.

Начинаем мы все (кроме верующих) с одного: хватаемся рвать волосы с головы – да она острижена наголо!.. Как мы могли?! Как не видели наших доносчиков? Как не видели наших врагов? (И ненависть к ним! И как им отомстить?) И какая неосторожность! Слепость! Сколько ошибок! Как исправить? Скорей исправлять! Надо написать... надо сказать... надо передать...

Но – ничего не надо. И ничто не спасёт. В положенный срок мы подписываем 206-ю статью, в положенный – заслушиваем очный приговор трибунала или заочный – ОСО.

Начинается полоса пересылок. Вперемежку с мыслями о будущем лагере мы любим теперь вспоминать наше прошлое: как хорошо мы жили (даже если плохо)! Но сколько неиспользованных возможностей! Сколько неизмятых цветов!.. Когда теперь это наверстать?.. Если я доживу только – о, как по-новому, как умно я буду жить! День будущего **освобождения?** – Он лучится как восходящее солнце!

И вывод: дожить до него! Дожить! Любой ценой!

Это просто словесный оборот, это привычка такая: «любой ценой».

А слова наливаются своим полным смыслом, и страшный получается зарок: выжить **любой ценой!**

И тот, кто даст этот зарок, кто не моргнёт перед его багровой вспышкой – для того своё несчастье заслонило и всё общее, и весь мир.

Это – великий развилоч лагерьной жизни. Отсюда – вправо и влево пойдут дороги, одна будет набирать высоты, другая низеть. Пойдёшь направо – жизнь потеряешь, пойдёшь налево – потеряешь совесть".⁴⁹²

Работа убийственным темпом отличает жизнь концентрационного лагеря – работа при условиях, сделанных смертельно суровыми ради явно эстетического характера несчастья; бессмысленный труд – простая пародия на производительный труд"⁴⁹³, – сопровождаемый постоянными, сознательно устроенными лишениями:

"Самой ужасной минутой из двадцати четырёх часов лагерьной жизни было пробуждение, когда во всё ещё ночной час три пронзительных свистка безжалостно вырывали нас из нашего истощённого сна и отрывали нас от страстных желаний в наших сновидениях. Затем мы начинали борьбу с нашими мокрыми башмаками, в которые мы едва могли втиснуть свои ноги, израненные и распухшие от водянки. А были ещё обычные стоны и жалобы насчёт мелких хлопот, таких, как защёлкивание проволоки, которая заменяла шнурки для ботинок. В одно прекрасное утро я услышал, как некто, кого я знал как мужественного и достойного человека, плакал, как ребёнок, потому что он в конце концов решил пойти на снежный плац босиком, так

как его башмаки слишком сжались, чтобы он мог их носить. В эти ужасные минуты я находил небольшое утешение: маленький кусочек хлеба, который я вытаскивал из своего кармана и жевал с захватывающим удовольствием".⁴⁹⁴

"При морозе ниже 50 градусов дни активировались, то есть писалось, что заключённые не выходили на работу, – но их выгоняли, и что удавалось выжать из них в эти дни, раскладывалось на остальные, повышая процент. (А замёрзших в этот день услужливая санчасть списывала по другим поводам. А оставшихся на обратной дороге, уже не могущих идти или с растянутым сухожилием ползущих на четвереньках – конвой пристреливал, чтоб не убежали, пока за ними вернутся.)".⁴⁹⁵

Никто не может погружаться в описание сознательно совершённых ужасов двадцатого века, не признав сначала, что такое зло в значительной части было совершено хорошо приспособившимися к жизни в обществе и послушными. Никто не может придти к такому признанию – которое является также и самопониманием – так, чтобы на него не произвели никакого впечатления мощь и глубина литературного и мифологического представления силы зла – той живой силы, той вечно действующей потусторонней личности, воплощённой внутри души, той вечной стороны человека – каждого человека, – которая мстительно посвящена исключительно разрушению, разложению, страданию и смерти:

"О роза, ты больна!
Во мраке ночи бурной
Разведал червь тайник
Любви твоей пурпурной.

И он туда проник,
Незримый, ненасытный,
И жизнь твою сгубил
Своей любовью скрытной".⁴⁹⁶

Руандская резня, поля убийств в Камбодже, десятки миллионов погибших (по оценке Солженицына) в итоге внутренних репрессий в Советском Союзе, бессчётные множества убитых во время китайской **культурной революции – Большого Скачка Вперёд (!)** (ещё одна чёрная шутка, сопровождавшаяся, в частности, пожиранием её жертв), запланированное унижение и изнасилование тысяч мусульманских женщин в Югославии, зверства нацистов над евреями, резня, устроенная японцами в материковом Китае, – такие события невозможно приписать родству человека с животными, этими невинными животными, или даже желанию защитить свою территорию, межличностную и внутридушевную. Её можно приписать только глубоко укоренившейся духовной болезни, внутренне присущей человечеству, – последствию невыносимого самосознания, предчувствия судьбы в страдании и ограничении и болезненного отказа смотреть в лицо последствиям этого.

Человек – это не просто врождённо агрессивный, плохо приученный к жизни в обществе и поэтому неуправляемый хищник. Такая теория в лучшем случае может объяснить его преступную агрессию. На самом деле, именно рабская приверженность силам, поддерживающим общество, – самой основе приручения хищников – даёт ему возможность участвовать в совершении самых подлинно действенных и организованных человеческих злодеяний. Именно "дисциплинированность" немцев, а не их преступность сделала нацистов устрашающими. Именно верность, любовь к родине и преданность делу советских и китайских коммунистов сделали возможными массовое преследование и уничтожение их соотечественников в истребительно-трудовых лагерях. Человек не является также и жертвой общества, невинным ягнёнком, развращённым общественными силами, которые пребывают за пределами личного контроля. Человек создал общество по своему образу и подобию: насколько оно даёт ему возможность, настолько оно его развращает. Человек выбирает зло ради зла. Человек радуется мучениям, наслаждается болью, обожает разрушение и болезненное извращение. Человек может мучить своего брата в восторге наслаждения и плясать на его могиле. Человек презирает жизнь, свою

собственную слабую жизнь и уязвимость других и постоянно работает над тем, чтобы опустошать, подрывать, уничтожать, мучить, оскорблять и истреблять.

"... Матренина уходит, а дождь усиливается. Собираются светло-рыжие лужи всюду на глине и в вагонетке у нас. Изрыжели голенища наших сапог, во многих рыжих пятнах наши шинели. Руки ооченели от холодной глины, уже и ими мы ничего не можем забросить в вагонетку. Тогда мы оставляем это бесполезное занятие, взлезаем повыше на травку, садимся там, нагибаем головы, натягиваем на затылки воротники шинелей.

Со стороны – два рыжеватых камня на поле.

Где-то учатся ровесники наши в Сорбоннах и Оксфордах, играют в теннис на своём просторном досуге, спорят о мировых проблемах в студенческих кафе. Они уже печатаются, выставляют картины. Выворачиваются, как по-новому исказить окружающий недостаточно оригинальный мир. Они сердятся на классиков, что те исчерпали сюжеты и темы. Они сердятся на свои правительства и своих реакционеров, не желающих понять и перенять передовой советский опыт. Они наговаривают интервью в микрофоны радиорепортёров, прислушиваясь к своему голосу, кокетливо поясняют, что они **хотели сказать** в своей последней или первой книге. Очень уверенно судят они обо всём на свете, но особенно о процветании и высшей справедливости нашей страны. Только когда-нибудь к старости, составляя энциклопедии, они с удивлением не найдут достойных русских имён на наши буквы, на все наши буквы...

Барабанит дождь по затылкам, озноб ползёт по мокрой спине.

Мы оглядываемся. Недогруженные и опрокинутые вагонетки. Все ушли. Никого на всём карьере, и на всём поле за зоной никого. В серой завесе – заветная деревенька, и даже петухи все спрятались в сухое место.

Мы тоже берём лопаты, чтоб их не стащили, – они записаны за нами, и волоча их, как тачки тяжёлые, за собой, идём в обход матронинского завода – под навес, где вокруг гофманских печей, обжигающих кирпич, вьются пустынные галереи. Здесь сквозит, холодно, но сухо. Мы утыкаемся в пыль под кирпичный свод, сидим.

Недалеко от нас свалена большая куча угля. Двое эзков⁴⁹⁷ копаются в ней, оживлённо ищут что-то. Когда находят – пробуют на зуб, кладут в мешок. Потом садятся – и едят по такому серо-чёрному куску.

– Что это вы едите, ребята?

– Это – морская глина. Врач – не запрещает. Она без пользы и без вреда. А килограмм в день к пайке поджуёшь – и вроде нарубался. Ищите, тут среди угля много!..

Так и до вечера карьер не выполняет нормы. Матренина велит оставить нас на ночь. Но – гаснет всюду электричество, зона остаётся без освещения, и зовут на вахту всех. Велят взяться под руки и с усиленным конвоем, лаем псов и бранью ведут в жилую зону. Всё черно. Мы идём не видя, где жидко, где твёрдо, всё меся подряд, оступаясь и дёргая друг друга.

И в жилой зоне темно – только адским красноватым огнём горит из-под плиты «индивидуальной варки». И в столовой – две керосиновых лампы около раздачи, ни лозунга не перечесть, ни увидеть в миске двойной порции крапивной баланды, хлещешь её губами наощупь.

И завтра так будет, и каждый день: шесть вагонеток рыжей глины – три черпака чёрной баланды. Кажется, мы слабели и в тюрьме, но здесь – гораздо быстрее. В голове уже как будто подзванивает. Подходит та приятная слабость, когда уступить легче, чем биться.

А в бараках – и вовсе тьма. Мы лежим во всём мокром на всём голом и, кажется: ничего не снимать будет теплей, как компресс.

Раскрытые глаза – к чёрному потолку, к чёрному небу.

Господи, Господи! Под снарядами и под бомбами я просил тебя сохранить мне жизнь. А теперь прошу тебя – пошли мне смерть..."⁴⁹⁸

Приятно предполагать, что люди, которые создали и организовали концентрационные лагеря Германии и Советского Союза и управляли ими, были как-то глубоко отличны от тех, которых мы знаем и любим и которыми мы сами являемся. Но делать такое предположение нет никаких оснований, кроме удобства и простого спокойствия души.⁴⁹⁹ Образ охранника концентрационного лагеря, равно как и образ его заключённого, устанавливают пределы современной личности. Ад –

это бездонная яма, а почему? Потому что ничто никогда не является настолько плохим, чтобы мы не смогли сделать его ещё хуже:

"... Огонь, огонь! Сучья трещат, и ночной ветер поздней осени мотает пламя костра. Зона – тёмная, у костра – я один, могу ещё принести плотничьих обрезков. Зона – льготная, такая льготная, что я как будто на воле – это райский остров, это «шарашка» Марфино в её самое льготное время. Никто не наглядывает за мной, не зовёт в камеру, от костра не гонит. Я закутался в телогрейку – всё-таки холодновато от резкого ветра.

А **она** – который уже час стоит на ветру, руки по швам, голову опустив, то плачет, то стынет неподвижно. Иногда опять просит жалобно:

– Гражданин начальник!.. Простите!.. Простите, я больше не буду...

Ветер относит её стон ко мне, как если б она стонала над самым моим ухом. Гражданин начальник на вахте топит печку и не отзывается.

Это – вахта смежного с нами лагеря, откуда их рабочие приходят в нашу зону прокладывать водопровод, ремонтировать семинарское ветхое здание. От меня за хитросплетением многих колючих проволок, а от вахты в двух шагах, под ярким фонарём, понуренно стоит наказанная девушка, ветер дёргает её серую рабочую юбочку, студит ноги и голову в лёгкой косынке. Днём, когда они копали у нас траншею, было тепло. И другая девушка, спустясь в овраг, отползла к Владыкинскому шоссе и убежала – охрана была растяпистая. А по шоссе ходит московский городской автобус, спохватились – её уже не поймать. Подняли тревогу, приходил злой чёрный майор, кричал, что за этот побег, если беглянку не найдут, весь лагерь лишает свиданий и передач на месяц. И бригадницы рассвирепели, и все кричали, а особенно одна, злобно вращая глазами: «Чтоб её поймали, проклятую! Чтоб ей ножницами – шырк! шырк! – голову остригли перед строем!» (То не она придумала, так наказывают женщин в ГУЛаге). А эта девушка вздохнула и сказала: «Хоть за нас пусть на воле погуляет!» Надзиратель услышал – и вот она наказана: всех увели в лагерь, а её поставили по стойке «смирно» перед вахтой. Это было в шесть часов вечера, а сейчас – одиннадцатый ночи. Она пыталась перетапываться, тем согреваясь, вахтёр высунулся и крикнул: «Стой смирно, б..., хуже будет!» Теперь она не шевелится и только плачет:

– Простите меня, гражданин начальник!.. Пустите в лагерь, я не буду!..

Но даже в лагерь ей никто не скажет: **СВЯТАЯ! ВОЙДИ!..**

Её потому так долго не пускают, что завтра – воскресенье, для работы она не нужна.

Беловолосая такая, простодушная необразованная девчонка. За какую-нибудь катушку ниток и сидит. Какую ж ты опасную мысль выразила, сестрёнка! Тебя хотят на всю жизнь проучить.

Огонь, огонь!.. Воевали – в костры смотрели, какая будет Победа... Ветер выносит из костра недогоревшую огненную лузгу.

Этому огню и тебе, девушка, я обещаю: прочтёт о том весь свет".⁵⁰⁰

Кто бы признался – даже самому себе: "Если бы мне предоставили выбор, я хотел бы быть гражданином начальником, а не наказанной девушкой"? А без этого признания нет основания изменяться и нет основания бороться со злом внутри себя:

"Но кто ж иной, как зачинатель Зла,
Столь тёмные дела измыслить мог:
В зачатке погубить весь род людской,
Смешать и Ад и Землю воедино
И славу Вседержителя попить?"⁵⁰¹

Столкнувшись лицом к лицу с ужасом лагерной жизни – "это тоже жизнь!" – многие растлеваются:

"Признаем истину: на этом великом лагерном развилке, на этом разделителе душ – не большая часть сворачивает направо".⁵⁰²

Это растление не было вызвано лагерными условиями, какими бы ужасными они ни были:

"Хлеб не роздан равномерно кусочками, а брошен в свалку – хватай! Сбивай соседей и рви у них! Хлеба выдано столько, чтоб на каждого выжившего приходился умерший или двое. Хлеб подвешен на сосне – свали её. Хлеб заложен в шахте – полезай да добудь. Думать ли тебе о своём горе, о прошлом и будущем, о человечестве и о Боге? Твоя голова занята суетными расчётами, сейчас заслоняющими тебе небо, завтра уже не стоящими ничего. Ты **ненавидишь** труд – он твой главный враг. Ты ненавидишь окружающих – твоих соперников по жизни и смерти. Ты исходишь от напряжённой **зависти** и тревоги, что где-то сейчас за спиной делят тот хлеб, что мог достаться тебе, где-то за стеною вылавливают из котла ту картофелину, которая могла попасть в твою миску".⁵⁰³

Такие условия просто являются предпосылкой последствий уже в значительной степени принятых, до заключения в лагерь, решений – решений избрать безопасность вместо следования совести; принять безопасность вместо души:

"Глядя на людей, мы могли бы увидеть,
что в промежутке между рождением и смертью
одна треть их следует жизни, а одна треть – смерти,
а тех, кто просто проходит от рождения к смерти,
тоже одна треть из тех, кого мы видим".

Жадность и страх в повседневном мире достигают высшей точки в той же самой слепой неспособности, которую Солженицын распознал в лагерях, – той же самой неспособности думать о горе, о прошлом и будущем, о человеке и Боге, – но с гораздо менее очевидным оправданием. Со страхом перед своей смертностью в обычной жизни борются тем же способом, что и в лагерной обстановке, – посредством своего полного отождествления с системой и вытекающего из него отказа от своей личности; посредством принятия идеологического обещания, предложения материальной безопасности и гарантии (незаслуженной) душевной устойчивости:

"С другом моим Паниным лежим мы так на средней полке «столыпина», хорошо устроились, селёдку в карман спрятали, пить не хочется, можно бы и поспать. Но на какой-то станции в наше купе суют – учёного марксиста! Это даже по клиновидной бородке, по очкам его видно. Не скрывает: бывший профессор Коммунистической Академии. Свесились мы в квадратную прорезь – с первых же его слов поняли: непробиваемый. А сидим в тюрьме давно, и сидеть ещё много, ценим весёлую шутку – надо слезть позабавиться! Довольно просторно в купе, с кем-то поменялись, стиснулись.

- Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Вам не тесно?
- Да нет, ничего.
- Давно сидите?
- Порядочно.
- Осталось меньше?
- Да почти столько же.
- А смотрите – деревни какие нищие: солома, избы косые.
- Наследие царского режима.
- Ну да и советских лет уже тридцать.
- Исторически ничтожный срок.
- Беда, что колхозники голодают.
- А вы заглядывали во **все** чугунки?
- Но спросите любого колхозника в нашем купе.
- Все, посаженные в тюрьму, – озлоблены и необъективны.
- Но я сам видел колхозы...
- Значит, нехарактерные.
- (Клинобородый и вовсе в них не бывал, так и проще.)
- Но спросите вы старых людей: при царе они были сыты, одеты и праздников сколько!

– Не буду и спрашивать. Субъективное свойство человеческой памяти: хвалить всё прошедшее. Которая корова пала, та два удоя давала. (Он и пословицей иногда!) А праздники наш народ не любит, он любит трудиться.

– А почему во многих городах с хлебом плохо?

– Когда?

– Да и перед самой войной...

– Неправда! Перед войной как раз всё наладилось.

– Слушайте, по всем волжским городам тогда стояли тысячные очереди...

– Какой-нибудь местный незавоз. А скорей всего вам изменяет память.

– Да и сейчас не хватает!

– Бабы сплетни. У нас 7 – 8 миллиардов пудов зерна.

– А зерно – перепревшее.

– Напротив, успехи селекции.

... И так далее. Он невозмутим. Он говорит языком, не требующим напряжения ума. Спорить с ним – идти по пустыне.

О таких людях говорят: все кузни исходил, а некован воротился.

И когда в некрологах пишут о них: «трагически погибшие во времена культа», хоть исправляй: «комически погибшие».

А сложись его личная судьба иначе – мы не узнали бы, какой это сухой малозаметный человек. С уважением читали бы его фамилию в газете, он ходил бы в наркоматах или смел бы представлять за границу всю Россию.

Спорить с ним бесполезно. Гораздо интересней сыграть с ним... нет, не в шахматы, в «товарищей». Есть такая игра. Это очень просто. Пару раз ему поддакните. Скажите ему что-нибудь из его же набора слов. Ему станет приятно. Ведь он привык, что все вокруг – враги, он устал огрызаться и совсем не любит рассказывать, потому что все рассказы будут тут же обращены против него. А приняв вас за своего, он вполне по-человечески откроется вам, что вот видел на вокзале: люди проходят, разговаривают, смеются, жизнь идёт. Партия руководит, кто-то перемещается с поста на пост, а мы тут с вами сидим, нас горсть, надо **писать**, писать просьбы о пересмотре, о помиловании...

Или расскажет что-нибудь интересное: в Комакадемии наметили они **съесть** одного товарища, чувствовали, что он какой-то не настоящий, **не наш**, но никак не удавалось: в статьях его не было ошибок, и биография чистая. И вдруг, разбирая архивы, – о находка! – наткнулись на старую брошюрку этого товарища, которую держал в руках сам Ильич и на полях оставил своим почерком пометку: «как экономист – говно». «Ну, вы сами понимаете, – доверительно улыбается наш собеседник, – что после **этого** нам ничего не стоило расправиться с путаником и самозванцем. Выгнали и лишили учёного звания».

Вагоны стучат. Уже все спят, кто лёжа, кто сидя. Иногда по коридору пройдёт конвойный солдат, зевая.

Пропадает никем не записанный ещё один эпизод из ленинской биографии...⁵⁰⁴

Человеческая жизнь – это жизнь, ограниченная со всех сторон уязвимостью. Это жизнь, из-за недостатка средств и личной безопасности вечно подверженная страху. Нравственное знание, знание добра и зла, есть способность выбирать способ приспособления к окружающей среде – авторитарный, декадентский или творческий – перед лицом ограничения смертности, явного и неявного, в лагере и вне его:

"Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле растлевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле растлеваются, да отменней лагерников иногда.

Тот конвойный офицер, который велел привязать Моисеева к столбу для глумления – он не больше растлен, чем плевавшие лагерники?

И уж заодно: а все ли из бригад в неё плевали? Может, из бригады – лишь по два человека? Да наверное так.

Татьяна Фалике пишет: «Наблюдения за людьми убедили меня, что не мог человек стать подлецом в лагере, если не был им до него».

Если человек в лагере круто подлеет, так может быть: он не подлеет, а открывается в нём его внутреннее подлое, чему раньше просто не было нужды?

М. А. Войченко считает так: «В лагере бытие не определяло сознание, наоборот, от сознания и неотвратимой веры в человеческую сущность зависело: сделаться тебе животным или остаться человеком».

Крутое, решительное заявление... Но не он один так думает. Художник Ивашев-Мусатов с горячностью доказывает то же".⁵⁰⁵

Это растление – этот поворот налево – приводили некоторых к разложению, распаду; к впадению в отчаяние, в болезнь, ведущую к смерти; к тому, чтобы раздавленным и разбитым вдребезги, безвозвратно, с пониманием принять смерть с конечной надеждой – необходимой верой:

"Заключённый, который утратил веру в будущее – своё будущее, – был обречён. С утратой веры в будущее он утрачивал и свою духовную силу; он позволял себе приходить в упадок и становился подвержен духовному и физическому распаду. Обычно это происходило совершенно внезапно, в виде кризиса, признаки которого были хорошо знакомы опытным заключённым лагеря. Мы все боялись этой минуты, не из-за себя, что было бы бессмысленно, а из-за наших друзей. Обычно такой кризис начинался с того, что в одно прекрасное утро заключённый отказывался умываться и одеваться, чтоб идти на плац. Никакие просьбы, никакие удары, никакие угрозы не оказывали никакого воздействия. Он просто лежал на месте, едва шевелясь. Если тот кризис был вызван болезнью, он (заключённый) не хотел, чтобы его забрали в больницу, и не хотел делать ничего, чтобы себе помочь. Он просто сдавался. Он оставался на месте лежать в своих собственных испражнениях, и ничто его больше не беспокоило.

Один раз я видел впечатляющее доказательство тесной связи между утратой веры в будущее и этой опасной сдачей. Ф., мой старший начальник в бараке, довольно хорошо известный композитор и сочинитель либретто, в один прекрасный день сказал мне по секрету: «Доктор, я хочу вам кое-что рассказать. У меня был странный сон. Какой-то голос сказал мне, что я могу только пожелать, что я должен только сказать, что я хотел бы знать, и на все мои вопросы будет дан ответ. Что, вы думаете, я спросил? Что я хотел бы знать, когда эта война окончится для меня. Вы знаете, что я имел в виду, доктор – для меня! Я хотел знать, когда наш лагерь, когда мы будем освобождены и наши страдания придут к концу».

– А когда у вас был этот сон? – спросил я.

– В феврале 1945 года, – ответил он. Было начало марта.

– И что ваш голос во сне вам ответил?

Он прошептал мне украдкой:

– Тридцатого марта.

Когда Ф. рассказал мне об этом сне, он был всё ещё полон надежды и убеждён, что голос в его сне окажется прав. Но, по мере того как обещанный день приближался, из-за военных новостей, которые достигали нашего лагеря, казалось совершенно невероятным, что мы будем свободны в этот день. 29 марта Ф. внезапно заболел, и у него поднялась температура. 30 марта, в день, когда, как было сказано в его пророчестве, война для него окончится, у него начался бред, и он потерял сознание. К 31 марта он умер. По всей видимости, он умер от сыпного тифа".⁵⁰⁶

Другие жертвы лагерной системы в противоположность этому – но и это тоже понятно – выбрали переход на сторону лагерных властей, когда им выпадала такая честь, и они выстраивались в боевом порядке против тех, кто разделял их судьбу, – против тех, кого также морили голодом и лишали всех прав, запугивали и заставляли работать до истощения. Преследование и порабощение других не представляет никакой трудности – на самом деле оно неизбежно, – если оно происходит вслед за порабощением и преследованием твоей собственной личности. Франкл утверждает:

"... процесс выбора капо (доверенных лиц лагерного начальства) был отрицательным: только самые жестокие из заключённых выбирались для этой работы, хотя были некоторые счастливые исключения. Но, кроме отбора капо, которым занимались эсэсовцы, имел место своего рода процесс самоотбора, постоянно продолжающийся в среде заключённых.

В среднем, могли оставаться в живых только те заключённые, кто после многих лет переходов из лагеря в лагерь утратил всякую совесть в своей борьбе за существование:

они были готовы использовать всякие средства, честные и нечестные, даже грубую силу, кражу и предательство своих друзей, чтобы спастись самим".⁵⁰⁷

"... многие из капо преуспевали в лагере лучше, чем за всю свою жизнь. Они часто были более суровы по отношению к заключённым и избивали их более жестоко, чем эсэсовцы".⁵⁰⁸

Подобным образом об этом же говорит и Солженицын:

"Ты – пал, ты – наказан, ты – вырван из жизни, – но хочешь быть не на самом низу? Хочешь ещё над кем-то выситься с винтовкой? Над братом своим? На! Держи! А побежит – стреляй! Мы тебя даже **товарищем** будем звать, мы тебе – красноармейский паёк.

И – гордится. И – холопски сжимает ложе. И стреляет. И – строже ещё, чем чисто-вольные охранники. (Как угадать: тут действительно курослепая вера в «социальную самодеятельность»? Или ледяной презрительный расчёт на самые низкие человеческие чувства?"⁵⁰⁹

Большинство лагерных заключённых до своего заключения были обычными, хорошо приспособленными к жизни в обществе его членами, что означает, что они отождествляли себя с устройством и успехами этого общества, с его определениями настоящего и идеального будущего, с его средствами для достижения его целей. Несправедливое заключение означало для них потерю общественного положения, повышенный страх смерти; оно наглядно показывало – как ничто другое – очевидно патологические действия

государства, теоретически созданного именно для того, чтобы защищать их от всяких таких лишений и тревог; представляло собой аномалию, влияния которой было достаточно, чтобы подорвать веру в предыдущее отождествление, чтобы доказать неполную, или даже испорченную, природу прежнего общественного положения, благоприятствовать тревоге, подавленности и часто осуществлявшемуся желанию разложения и смерти. Можно ли было бы противиться такой угрозе?

Сознательное, рационализированное отрицание очевидной несправедливости способствовало новым попыткам отождествления себя с обществом, но это могло быть сделано лишь ценой существенного внутридушевного повреждения, разобщения. Вовлечённая в это ложь означала принесение в жертву группе большего личного опыта, больших личных возможностей, большего божественного смысла. Неизбежным итогом такого принесения в жертву – греха против Святого Духа – являются изуверская приверженность к букве закона:

"Прощай, блаженный край!
Привет тебе, зловещий мир! Привет,
Геенна запредельная! Прими
Хозяина, чей дух не устрашат
Ни время, ни пространство",⁵¹⁰

верность лжи:

"«Прощай, раскаянье, прощай Добро!
Отныне, Зло, моим ты благом стань,
С Царём Небес благодаря тебе
Я разделяю власть, а может быть,
Я больше половины захвачу
Его владений! Новозданный мир
И человек узнают это вскоре!»
Лицо Врага, пока он говорил,
Отобразив смену бурных чувств,
Бледнело трижды; зависть, ярый гнев,
Отчаянье, – притворные черты
Им принятой личины исказив,
Лжеца разоблачили бы, когда б
Его увидеть мог сторонний глаз:
Небесных Духов чистое чело
Разнузданные страсти не мрачат.
Враг это знал; он обуздал себя,
Спокойным притворившись в тот же миг.
Он самым первым был – Искусник лжи, –
Кто показным святошеством прикрыл
Чреватую отмщеньем ненасытным
Пучину злобы...»⁵¹¹

преданность жестокости и обману:

"Но что ж во мне замолкли гнев и ярость?
Я не ребенок, чтоб с мольбой презренной
Покаяться в содеянном мной зле.
Нет, в десять тысяч раз еще похуже
Я б натворил, лишь дайте волю мне.
Но, если я хоть раз свершил добро,
От всей души раскаиваюсь в этом",⁵¹²

и ненависть к добру:

"Чем больше вижу я вокруг

Веселья, тем больней меня казнят
 Противоречия моей души,
 Терзаемой разладом ненавистным.
 Всё доброе – мне яд; но в Небесах
 Я маялся бы горше. Не хочу
 Ни там, ни на Земле ничем иным,
 Лишь самодержцем быть, поработив
 Царя Небес! Не ожидаю здесь
 Смягченья мук; стремлюсь других привлечь
 К себе, дабы они мою судьбу
 Делили, даже если б довелось
 За это мне страдать ещё больней.
 Лишь в разрушение мой тревожный дух
 Утеху черпает".⁵¹³

Люди эмоционально привязываются к тем, с кем они себя отождествляют; сочувствие к жертве несправедливости означает неспособность совершить такую несправедливость. С другой стороны, отождествление себя с тиранией означает временное не требующее усилий удаление из болезненного (внутреннего и внешнего) нравственного конфликта. Такое отождествление требует только отрицания несправедливости, совершённой в отношении твоей собственной личности, и последующего искажения личного опыта. Это искажение обрезаёт узы сочувствия, связывающие заключённого с заключённым, – связывающие человека с человеком, – связывающие человека с самим собой:

"Отчаянье! Никто меня не любит.
 Никто, когда умру, не пожалеет.
 Как им жалеть, когда в самом себе
 К себе я жалости не нахожу?"⁵¹⁴

Жертва, которая находит личную безопасность в отождествлении себя со своим преследователем, уже стала этим преследователем; уже уничтожила возможность дальнейшего приспособления, объединения и роста; добровольно лишилась возможности спасения. Солженицын описывает действия и реакции верных членов коммунистической партии, подвергнутых заключению и пожизненным той системой, которую они поддерживали и создали:

"Сказать, что им было **больно** – это почти ничего не сказать. Им неуместимо было испытать такой удар, такое крушение – и от **своих**, от родной партии, и по видимости – ни за что. Ведь перед партией они ни в чём не были виноваты, перед партией – ни в чём.

Настолько это было болезненно для них, что среди них считалось запретным, нетоварищеским задать вопрос: «За что тебя посадили?» Единственное такое шепетильное арестантское поколение! Мы-то, в 1945-м, язык вываля, как анекдот, первому встречному и на всю камеру рассказывали о своих посадках.

Это вот какие были люди. У Ольги Слиозберг уже арестовали мужа и пришли делать обыск и брать её самую. Четыре часа шёл обыск – и эти четыре часа она приводила в порядок протоколы съезда стахановцев щетинно-щёточной промышленности, где она была секретарём за день до того. Неготовность протоколов больше беспокоила её, чем оставляемые навсегда дети! Даже следователь, руководивший обыском, не выдержал и посоветовал ей: «Да проститесь вы с детьми!»

Это вот какие были люди. К Елизавете Цветковой в казанскую отсидочную тюрьму в 1938 г. пришло письмо пятнадцатилетней дочери: «Мама! Скажи, напиши – виновата ты или нет?.. Я лучше хочу, чтоб ты была невиновата, и я тогда в комсомол не вступлю и за тебя не прошу. А если ты виновата – я тебе больше писать не буду и буду тебя ненавидеть». И угрызается мать в сырой гробовидной камере с подслеповатой лампочкой: как же дочери жить без комсомола? Как же ей ненавидеть советскую власть? Уж лучше пусть ненавидит меня. И пишет: «Я виновата... Вступай в комсомол!»

Ещё бы не тяжело! Да непереносимо человеческому сердцу: попав под родной топор, – оправдывать его разумность.

Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет человеческой догме.

Любой ортодокс и сейчас подтвердит, что правильно поступила Цветкова. Их и сегодня не убедить, что вот это и есть «сворачивание малых сих», что мать совратила дочь и повредила её душу.

Это вот какие были люди: Е. Т. давала искренние показания на мужа – лишь бы помочь партии!

О, как можно было бы их пожалеть, если бы хоть сейчас они поняли свою тогдашнюю жалкость!

Всю главу эту можно было бы писать иначе, если бы хоть сегодня они расстались со своими тогдашними взглядами! Но сбылось по мечте Марии Даниэлян: «Если когда-нибудь выйду отсюда – буду жить, как будто ничего не произошло».

Верность? А по-нашему: хоть кол на голове теши. Эти адепты теории развития увидели верность свою развитию в отказе от всякого собственного развития. Как говорит Николай Адамович Виленчик, просидевший 17 лет: «Мы верили партии – и мы **не ошиблись!**» Верность – или кол теши?

Нет, не для показа, не из лицемерия спорили они в камерах, защищая все действия власти. Идеологические споры были нужны им, чтоб удержаться в сознании правоты, – иначе ведь и до сумасшествия недалеко".⁵¹⁵

"Доказательство невыносимо – тем хуже для доказательства!" Герой, спаситель, – это метафорическое или повествовательное описание образа действия, посредством которого существование аномальной информации принимается, разрабатывается в поисках значения и включается в систему культурного приспособления. Дьявол, воплощение зла, есть олицетворение в процедуре, эпизоде и слове той наклонности, которая скорее отрицает, чем принимает; олицетворение процесса, который сознательно препятствует жизни и её развитию, – процесса, который останавливает революционный процесс приспособления духа:

"Только скажите: а камушки? Камушки кто на стену клал, а? Твердолобые, вы ли?"⁵¹⁶

Идеология – это застывшая картина мира; это не эмпирическое его описание, хотя её постоянно путают с таковым; это изображение значения, смысла – основанный на мифе определитель истолкования данной действительности и идеала будущего, в эмоции. Идеология – это ограниченное, неподвижное изображение бесконечно сложной и постоянно преобразующейся действительности; это ограничение хаоса, которое привносит надежду на жизнь в порядок, который оглушает и лишает силы; это отрицание возможности в поведении, воображении и мысли.

Склонности к определённому поведению, отрицаемые или подавляемые, – это возможности действия, более не доступные для расширения знания; это процедурные возможности, которым отказано в жизни; это пути приспособления, которые постоянно преграждены. Подавление или попытка избежать (еретического) воображения и мысли – это отказ от возможности преобразования, являющегося предпосылкой успешного приспособления к трагическим условиям человеческой жизни. Отказ от возможности поведения, от единственных в своём роде воображения и мысли, – это отрицание героической, лучшей части личности, единственной её части, способной сознательно противостоять трагедии существования. Такое отрицание непреклонно ведёт (в переносном смысле) к одержимости бесом – к душевным страданиям, жестокости по отношению к другим и желанию мстительного разрушения всего существующего.

Идеология ограничивает человеческие возможности узкой и определённой областью. Приспособление к окружающей среде, предпринятое в пределах этой области, неизбежно остаётся недостаточным, оно обречено на то, чтобы вызывать несчастье, так как только связь с потусторонним позволяет жизни сохранять свой вкус. Идеология говорит: "это должно быть так", но человеческое поведение постоянно переступает пределы области своего представления. Такая тяга к переступанию пределов должна поэтому отрицаться, чтобы вера в идеологию не исчезла и хаос, невыносимый хаос, не объял всё снова. Идеолог говорит: аномалия означает разложение, разложение означает ужас, то, что пугает, есть зло. Значит, аномалия – это зло. Однако, не существование аномальной информации представляет зло: такая информация освежает, когда её

потребляют надлежащим образом. Зло есть процесс, посредством которого отвергается значение аномалии; процесс, посредством которого отвергаются сам смысл жизни, сама истина. Это отвержение неизбежно означает, что жизнь делается невыносимой, адской:

"Рок обрѣк
Его на казнь горчайшую: на скорбь
О невозвратном счастье и на мысль
О вечных муках. Он теперь обвѣл
Угрюмыми зеницами вокруг;
Таились в них и ненависть, и страх,
И гордость, и безмерная тоска...
Мгновенно, что лишь Ангелам дано,
Он оглядел пустынную страну,
Тюрьму, где, как в печи, пылал огонь,
Но не светил, и видимою тьмой
Вернее был, мерцавшей лишь затем,
Дабы явить глазам крошечный мрак,
Юдоль печали, царство горя, край,
Где мира и покоя нет, куда
Надежде, близкой всем, заказан путь,
Где муки без конца и лютей жар
Клокочущих, неистощимых струй
Текучей серы. Вот какой затвор
Здесь уготовал Вечный Судия
Мятежникам, средь совершенной тьмы,
И втрое дальше от лучей Небес
И Господа, чем самый дальний полюс
От центра Мирозданья отстоит".⁵¹⁷

Факт как факт – невзирая на получаемое от него удовлетворение – не есть зло: это просто (ужасная) действительность. **Именно отношение к факту имеет нравственную или безнравственную природу.** Нет злых фактов, хотя есть факты о зле; именно отрицание неприемлемого факта представляет собой зло – по крайней мере насколько простирается человеческая власть. Замалчивание неприемлемого факта превращает охранительную склонность сохранять в деспотическую склонность сокрушать; превращает либеральное желание преобразовывать в декадентское желание ниспровергать. Смешивать зло скорее с невыносимым фактом, чем со склонностью отрицать этот факт, равносильно приравнению добра скорее (статическому) плоду героизма, чем самому (динамическому) героическому деянию. Смешение зла с фактом, обвинение вестника в том, что он принёс не ту весть, даёт разумное основание для отрицания факта, оправдание для жестокого подавления и личину нравственности для упадочничества и деспотизма.

Каждое отдельное подавление – каждая ложь – создаёт внутри души, так сказать, хранилище пренебрежённого опыта – истины, расстраивающей и беспокоящей. В этом хранилище живёт вновь возвращённый к жизни дракон хаоса, готовый пожрать в минуту беспечности трясущуюся и полную обмана душу. Каждое такое подавление ограничивает область действия и представления; ослабляет личность как целое; неизбежно повышает вероятность продолжения и расширения подавления опыта:

"Ибо, кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет" (Матфей, 13 : 12).

Отрицание (аномального) опыта исключает возможность роста; достигает высшей точки в создании личности, чья слабость перед лицом неизбежных трагических обстоятельств – и последующих страданий – вызывает желание уничтожения жизни. Подавление факта – истины – обеспечивает порчу личности; служит поручительством превращения субъективного опыта в

бесконечные бессмысленные бесплодие и несчастье. Напротив, его принятие в духе неведущего смирения и скрытого мужества предоставляет необходимую предпосылку для изменений.

Миф предлагает схему подражания для порождения такого принятия – для развития способности постоянно приспосабливаться – посредством отождествления себя с героем, чей образ постоянно возникает как образец нравственного поведения, изображается в ритуале и описывается в повествовании. История героя – это символическое изображение человека, который выбирает третий путь, когда сталкивается с фактами, чьё значение подрывает личную устойчивость или устойчивость общества, который подвергает себя опасности внутридушевного разложения как сознательно выбранной альтернативой принятию тирании или принятию декаданса. Неспособность принять такое отождествление – отвержение героического – накладывает постоянное ограничение на действия и воображение; порождает ненависть, жестокость, отвращение к слабым – обеспечивает принятие лжи как главной и, может быть, самой общей стратегии приспособления. Такое принятие неизбежно превращает человеческий жизненный опыт в ад на земле – в бесконечное невыносимое внутридушевное и общественное несчастье:

"Всемогущий Бог
Разгневанный стремглав низверг строптивцев,
Объятых пламенем, в бездонный мрак,
На муки в адамантовых цепях
И вечном, наказующем огне..."⁵¹⁸

Определение нравственного и безнравственного, принятое представителями данного общества, зависит от представления в понятиях образа жизни, принятого этим обществом; зависит от современного упорядочивания по рангу и иерархической организации смыслов внутри этого общества. В пределах конкретных умозрительных представлений некоторым видам поведения, плодам воображения и мыслям в соответствии с их ощущаемой полезностью в отношении конкретной цели приписывается значение добра или зла. Любое действие или представление, которое препятствует текущему личному желанию, становится глупым или, хуже того враждебным. Это значит, что если отдельный человек – или его группа – желает чего-либо большего, чем просто жить на свете, то истина и мудрость непременно становятся чуждыми, отвратительными. То, что может рассматриваться как полезное и необходимое с точки зрения высшего порядка нравственности, может выглядеть положительно бесполезным и вредным с точки зрения её низшего порядка – и дело дойдёт до того, что с ним будут обращаться соответствующим образом. Поэтому человек или его качества, которые служат такому высшему назначению, вполне могут показаться "заражёнными драконом хаоса" тем, кто ещё не видит или не признаёт необходимости и желательности этого назначения. Такое обесценивание "самого лучшего из революционного" обрекает личность и тех, на кого она может воздействовать, на бесконечные несчастья и слабость. Ограниченные и узкие цели вырабатывают искривлённые и чахлые личности, которые отбрасывают своё самое лучшее в область аномалии, определяя свои подлинные дарования и "отклонения" как (угрожающие и расстраивающие) препятствия для своих стремлений. Чахлая личность будет переживать жизнь, как бремя, – как ответственность слишком тяжёлую, чтобы её выносить, – и обратится к обиде и ненависти как "простительной" альтернативе.

Напротив, переопределение образа жизни в понятиях означает переоценку поведения, эпизода и семантического утверждения, с тем чтобы мог существовать новый порядок; означает, однако, неудобное возвращение к хаосу до восстановления этого более всеохватывающего порядка. Переоценка цели или идеала – сознательно предпринятая как следствие воздействия аномальной информации – может вывести обратно на свет запретный материал – возможности действия, воображения и мысли; сдвиг в направлении представления в понятиях процесса героизма как цели – к оценке истины, мужества и любви – допускает новое включение и последующее развитие прежде подавленных, заторможенных и ставших болезненными возможностей:

"Великие эпохи нашей жизни наступают тогда, когда у нас является мужество переименовать наше злое в наше лучшее".⁵¹⁹

Это не означает, по-глупому, что все состояния побуждения – или все факты, или все возможности поведения – одинаково "благоворны" во всякой обстановке. Это скорее означает, что

наши действия самоопределения, многие из которых имеют "произвольное" культурное основание, определяют, что же мы, в любом данном месте и в любое данное время, согласны принять в качестве "добра" и в качестве "зла". Вот, например, приносящая себя в жертву домашняя мученица, которая принимает каждое деспотическое требование её мужа: она определила свою способность к насилию как нравственно неподходящую и будет рассматривать её как что-то запретное и злое. Это делает агрессию, с её точки зрения, чем-то "заражённым драконом хаоса", делает её чем-то безнравственным и безусловно запрещённым. Домашняя мученица поэтому останется жалкой подстилкой, если она не научится кусаться, что означает пока она не оставит свою современную слишком уж ограничительную "благодарную и любящую" позицию, которая не приносит ничего хорошего и её мужу, усиливая его слабые фашистские наклонности, и которая не улучшает и то общество, частью которого является её брак. Неспособность этой домашней мученицы – которая в действительности неспособна относиться к себе как к чему-то, обладающему внутренней ценностью", – сердиться снимает необходимые ограничения неподобающего и представляющего общественную опасность расширения власти её мужа. Таким образом, часто именно "неподобающее желание" является тем, что должно поднять нас выше нашего современного неудобного застоя. Это не означает простодушного применения плохо продуманной стратегии "ранее подавляемого" мотивированного поведения. Напротив, оно означает подлинное объединение того, что ещё не было выражено – или даже признано, – в общую структуру согласованных между собой внутридушевных и общественных отношений:

"Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего».

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.

Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?

И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (Матфей, 5 : 43 – 48).

Принятие особого (определяемого обществом) представления в понятиях трёхчастного устройства образа жизни допускает временное установление значения переживаний – предметов, ситуаций и процессов. Природа цели, достижению которой, в идеале, посвящены действие и образование представлений, определяет, какое поведение и какие плоды воображения и отвлечённой мысли рассматриваются как приемлемые и поэтому развиваются, а какие – запрещаются и поэтому остаются подавленными и чахлыми. Если личный или общественный идеал остаётся неразвитым, незрелым в понятийном выражении или искажённым в ходе развития, то какие-то виды поведения и познания, необходимые для спасения – для избавления от невыносимой тяжести трагического самосознания, будут подавлены, неизбежным итогом чего явится внутридушевная и общественная болезненность. Если человек стремится главным образом к физической безопасности или общественному признанию, а не к мифической любви Бога и собрата-человека, то пострадает уважение к истине и полное приспособление к окружающей среде станет невозможным.

"Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Иисус сказал ему: Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог.

Знаешь заповеди: не прелюбодействуй; не убивай; не кради; не лжесвидетельствуй; не обижай; почитай отца твоего и мать

Он же сказал Ему в ответ: Учитель! Всё это сохранил я от юности моей.

Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостаёт: пойдя, всё, что имеешь, продай, и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест.

Он же, смутившись от сего слова, отошёл с печалью, потому что у него было большое имение.

И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!

Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! Как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!
Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.
Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись?" (Марк, 10 : 17 – 26)

Наивысшая ценность, достижению которой посвящаются усилия, определяет, что будет возвышено, а что подчинено в ходе личной и общественной жизни. Если безопасность или власть ценится выше всего другого, то всё будет подчинено философии целесообразности. В конце концов принятие такого образа действий приводит к развитию жёсткой, слабой личности (или общественного окружения) или к внутридушевному распаду и хаосу в обществе:

"Иисус сказал: «Некий человек принимал гостей. И когда он приготовил пир, он послал раба позвать их. Тот пошёл к первому из них и сказал: 'Мой хозяин зовёт тебя в гости'. Он ответил: 'Мне должны деньги торговцы. Они придут ко мне сегодня вечером. Я должен придти и дать им свои заказы. Прошу простить меня за то, что я не приду'. Раб пошёл к другому и сказал: 'Мой хозяин зовёт тебя в гости'. Тот сказал ему: 'Я только что купил дом, и мне нужно быть там весь день. У меня вовсе не будет времени'. Раб пошёл ещё к одному и сказал: 'Мой хозяин зовёт тебя в гости'. Тот ответил: 'Мой друг собирается жениться, и я должен приготовить ему пир. Я не смогу придти. Прошу простить меня за то, что я не приду'. Раб пошёл ещё к одному, и тот сказал ему: 'Я только что купил деревню и еду собирать арендную плату. Я не смогу придти. Прошу меня простить'. Раб вернулся и сказал своему хозяину: 'Те, кого ты позвал на пир, просили простить их, за то что они не придут'. Хозяин сказал своим рабам: 'Идите на улицы и приведите тех, кого встретите, чтобы они могли пировать'. Покупатели и торговцы не войдут в места моего Отца»".⁵²⁰

Человек, который вложил свою веру скорее в то, чем он владеет, чем в то, за что он стоит, не сможет принести в жертву то, чем он владеет, ради того, чем он является; он обязательно выберет – когда новое возникновение неопределённости вынудит такой выбор – **то, что он скопил вокруг себя, вместо того, чем он мог бы быть.** Это решение ослабит его характер и сделает его неспособным справляться с трагической тяжестью своего сознания; оно обратит его ко лжи и делает его активным создателем болезней, своих собственных и своего общества.

Если цель, достижению которой посвящено поведение, остаётся болезненно ограниченной, – если высочайшим идеалом остаётся, например, чувственное наслаждение, общественное признание, власть или физическая безопасность, – то виды поведения и образования представлений, которые находятся в противоречии с этими целями, сделаются болезненно искажёнными в своей ориентации, потому что они вынуждены служить презренному хозяину; они будут определены как пагубные, оставлены вследствие этого неразвитыми и останутся недоступными для использования в более всеохватывающей спасительной деятельности; они станут подчинёнными, подавленными и косными. Этот недостаток развития и связанное с ним заболевание уменьшат гибкость приспособления перед лицом подлинных вызовов, брошенных жизнью; они обеспечат то, что вызовы, брошенные жизнью, покажутся сокрушительными; они обеспечат бесконечное безнадежное страдание, бесцельное, жалкое и расстраивающее. Миф пути, который описывает сам человеческий жизненный опыт, охватывает потерю рая, возникновение трагедии, а затем спасение, а именно простак, подлинная личность, и есть тот, кто отчаянно нуждается в спасении. Отождествить себя с группой – значит отречься от простака и поэтому утратить всякую надежду:

"Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице и не послужили Тебе?»

Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне»" (Матфей, 25 : 44 – 45).

У нас имеется, в воображении и семантическом представлении, модель самих себя, которая плохо согласуется с действительными нами самими в отношении процедуры, способности воображения и возможностей мышления. Это отсутствие изоморфизма, этот преднамеренный недостаток внимания к истине, означает, что существуют возможности поведения, которые

являются аномальными относительно идеала поведения в представлении, – "я не мог бы сделать этого"; что существуют эпизодические способности и виды удовлетворения, которые являются аномальными в сравнении с идеалами такой способности и удовлетворения в представлении, – "я не мог бы вообразить этого"; и что существуют семантические способность и удовлетворение, которые являются аномальными относительно идеала такой способности и удовлетворения в представлении, – "я не мог бы подумать этого". Болезненное использование этой модели (замена действительности неполным общим представлением о ней, выработанным в фантазии) ограничивает приспособление к неожиданному, ограничивает приспособление к самому изменению. Это означает жизнь в безграничном и вечно расширяющемся несчастье:

"Везде
В Аду я буду. Ад – я сам. На дне
Сей пропасти – иная ждёт меня,
Зияя глубочайшей глубиной,
Грозя пожрать. Ад, по сравнению с ней,
И все застенки Ада Небесами
Мне кажутся".⁵²¹

Дьявол, традиционное представление зла, отказывается признавать своё несовершенство, отказывается признать: "я ошибался в моих действиях, в моём представлении"; принимает как следствие своей непреклонной гордости вечное несчастье; отказывается от **покаяния**, признания в ошибках и примирения; навечно остаётся тем духом, который отказывается и отвергает:

"Смирись же наконец!
Ужели места нет в твоей душе
Раскаянью, а милость невозможна?
Увы! Покорность – вот единый путь,
А этого мне гордость не велит
Произнести и стыд перед лицом
Соратников, оставшихся в Аду,
Которых соблазнил я, обещав
Отнюдь не покориться – покорить
Всемогущего. О, горе мне! Они
Не знают, сколь я каюсь в похвальбе
Кичливой, что за пытки я терплю,
На троне Адском княжеский почёт
Приемля! Чем я выше вознесён
Короною и скипетром, – паденье
Моё тем глубже. Я превосхожу
Других – лишь только мукой без границ.
Вот все утехи честолюбья! Пусть
Я даже покорюсь и обрету
Прощенье и высокий прежний чин;
С величием бы ко мне вернулись вновь
И замыслы великие. От клятв
Смиренья показного очень скоро
Отрёкся б я, присягу объявив
Исторгнутой под пытками. Вовек
Не будет мира истинного там,
Где нанесла смертельная вражда
Раненья столь глубокие. Меня
Вторично бы к разгрому привело
Горчайшему, к паденью в глубину
Страшнейшую. Я дорогой ценой
Купил бы перемирие, уплатив
Двойным страданием за краткий миг.

О том палач мой сведом, посему
Далёк от мысли мир мне даровать,
Настолько же, насколько я далёк
От унижительной мольбы о мире.
Итак, надежды нет".⁵²²

Такой отказ – неспособность сказать: "я был неправ, извините, я должен измениться" означает смерть надежды, существование в адской бездне. Отвергание факта означает отчуждение от Бога, от смысла, от истины, а жизнь без смысла – это безысходное страдание, не заслуживающее ничего, кроме уничтожения, в соответствии со своим определением. Фрай пишет об этом:

"Путь жизни описывается как начинающийся в **метанойе**, слово, которое переведено в Библии как «покаяние», что наводит на мысль об исходящем из нравственности сдерживании вида: «перестань делать всё, что ты хочешь». Что это слово, тем не менее, главным образом означает, так это изменение точки зрения или духовное превращение, расширенное видение разных сторон человеческой жизни. Такое видение, среди прочих вещей, отделяет человека от его первоначальной общности и присоединяет его к другой. Когда Иоанн Креститель говорит: «Сотворите же достойный плод **покаяния**» (Матфей, 3 : 8), – он обращается к евреям и продолжает свою речь тем, что их главная определяющая черта (происхождение от Авраама) не имеет никакого духовного значения...

Диалектика **покаяния** и греха раскалывает весь мир на царство подлинного самосознания, представляемое как «дом» Иисуса, и ад, представление о котором обнаруживается в Ветхом завете только в виде смерти или могилы. Ад является этим, но он к тому же есть мир страдания и мучения, который человек продолжает создавать для себя от начала до конца своей истории".⁵²³

Покаяние – признание ошибки, основанное на вере в возможность перенести такое признание и его последствия: последующее разложение, подчинение "ненавистной осаде противоположностей" и восстановление внутридушевной и общественной целостности – это само действие приспособления:

"И если только ты однажды отказался от этой цели – «выжить любой ценой», и пошёл, куда идут спокойные и простые, – удивительно начинает преображать неволя твой прежний характер. Преображать в направлении, самом для тебя неожиданном.

Казалось бы – здесь должны вырастать в человеке злые чувства, смятение зажатого, беспредметная ненависть, раздражение, нервность. А ты и сам не замечаешь, как, в неощутимом течении времени, неволя воспитывает в тебе ростки чувств противоположных.

Ты был резко-нетерпелив когда-то, ты постоянно спешил, и постоянно не хватало тебе времени. Тебе отпущено теперь его с лихвой, ты напитался им, его месяцами и годами, позади и впереди – и благодатной успокаивающей жидкостью разливается по твоим сосудам – терпение.

Ты подымаешься...

Ты никому ничего не прощал прежде, ты беспощадно осуждал и так же неводержанно превозносил – теперь всепонимающая мягкость стала основой твоих некатегорических суждений. Ты слабым узнал себя – можешь понять чужую слабость. И поразиться силе другого. И пожелать перенять.

Камни шуршат из-под ног. Мы подымаемся...

Бронированная выдержка облегает с годами сердце твоё и всю твою кожу. Ты не спешишь с вопросами, не спешишь с ответами, твой язык утратил эластичную способность лёгкой вибрации. Твои глаза не вспыхнут радостью при доброй вести и не потемнеют от горя.

Ибо надо ещё проверить, так ли это будет. И ещё разобраться надо – что радость, а что горе.

Правило жизни твоё теперь такое: не радуйся, нашедши, не плачь, потеряв.

Душа твоя, сухая прежде, от страдания **сочает**. Хотя бы не ближних, по-христиански, но близких теперь ты научаешься любить.

Тех близких по духу, кто окружает тебя в неволе. Сколько из нас признают: именно в неволе первый раз мы узнали подлинную дружбу!

И ещё тех близких по крови, кто окружал тебя в прежней жизни, кто любил тебя, а ты их – тиранил...

Вот благодарное и неисчерпаемое направление для твоих мыслей: пересмотри свою прежнюю жизнь. Вспомни всё, что ты делал плохого и постыдного и думай – нельзя ли исправить теперь?

Да, ты посажен в тюрьму зряшно, перед государством и его законами тебе раскаиваться не в чем.

Но – перед совестью своей? Но – перед отдельными другими людьми?..⁵²⁴

Отказ от покаяния означает неизбежное смешение Земли с Адом. Напротив, добросовестное его принятие производит характерное преобразование личности, действия, воображения и мысли. Франкл утверждает:

"Мы, которые жили в концентрационных лагерях, можем вспомнить людей, которые ходили по баракам, утешая других, отдавая им свой последний кусок хлеба. Хотя их было немного, они представляют достаточное доказательство того, что у человека можно отнять всё, кроме одного, последней человеческой свободы – свободы выбирать свою позицию при любом данном наборе обстоятельств, выбирать свой собственный путь.

И всегда был выбор, который надо было сделать. Каждый день, каждый час представлялась возможность принять решение, решение, которое определяло, подчинишься ты или нет тем силам, которые угрожали лишить тебя самой твоей личности, твоей внутренней свободы; которое определяло, станешь ты или не станешь игрушкой обстоятельств, отказавшись от свободы и достоинства, чтобы тебя влили в форму типичного заключённого".⁵²⁵

Солженицын вторит этим чувствам, почти в точности:

"А как объяснить, что некоторые шаткие люди именно – в лагере обратились к вере, укрепились ею и выжили не растленными?

И многие ещё, разрозненные и незаметные, переживают свой урочный поворот и не ошибаются в выборе. Те, кто успевают заметить, что не им одним худо – но рядом ещё хуже, ещё тяжелей.

А все, кто под угрозой штрафной зоны и нового срока – отказались стать стукачами?

Как вообще объяснить Григория Ивановича Григорьева, почвовед? Учёный, добровольно пошёл в 1941 году в народное ополчение, дальше известно – плен под Вязьмой. Весь плен немецкий провёл в лагере. Дальше известно – посажен у нас. Десятка. Я познакомился с ним зимою на общих работах в Экибастузе. Прямота так и светилась из его крупных спокойных глаз, какая-то несгибаемая прямота. Этот человек никогда не умел духовно гнуться – и в лагере не согнулся, хотя из десяти лет только два работал по специальности и почти весь срок не получал посылки. Со всех сторон в него внедряли лагерную философию, лагерное тление, но он не способился усвоить. В Кемеровских лагерях (Антибесс) его напорно вербовал опер. Григорьев ответил вполне откровенно: «Мне **противно** с вами разговаривать. Найдётся у вас много охотников и без меня». – «На карачках приползёшь, сволочь!» – «Да лучше на первом суку повешусь». И послан был на штрафной. Вынес там полгода. – Да что, он делал **ошибки** ещё более непростительные: попав на сельхозподкомандировку, он отказался от предложенного (как почвоведу) бригадирства! С усердием же полел и косил. Да ещё глупей: в Экибастузе на каменном карьере он отказался быть учётчиком – лишь по той причине, что пришлось бы для работяг приписывать тухту, за которую потом, очнувшись, будет расплачиваться (да ещё будет ли?) вечно-пьяный вольный десятник. И пошёл ломать камень! Чудовищная неестественная его честность была такова, что, ходя с бригадой овощехранилища на переработку картошки, он не воровал её там, хотя все воровали. Будучи устроен в привилегированной бригаде мехмастерских у приборов насосной станции, – покинул это место лишь потому, что отказался стирать носки вольному холостому прорабу Трейвишу (уговаривали бригадники: да не всё ли равно тебе, какую работу делать? Нет, оказывается не всё равно!). Столько раз избирал он худший и тяжёлый жребий только бы не искривиться душой! И не искривился ничуть, я этому

свидетель. Больше того: по удивительному влиянию светлого непорочного духа человека на его тело (теперь в такое влияние совсем не верят, не понимают) – организм уже немолодого (близ 50-ти лет) Григория Ивановича в лагере укреплялся: у него совсем исчез прежний суставной ревматизм, а после перенесённого тифа он стал особенно здоров: зимой ходил в бумажных мешках, проделывая в них дырки для головы и рук – и не простужался!"³²⁶

Процесс добровольного занятия "переоценкой добра и зла", следующий за признанием личных недостатков и страдания, равносителен принятию отождествления себя с Гором (который в качестве процесса обновления существует как нечто превосходящее "нравственность прошлого"). Это значит, что способность переоценивать нравственность означает отождествление с той силой, которая "порождает и возобновляет мир", – с той силой, которая посредничает между порядком и хаосом. Именно в пределах области действия этой силы действительно есть место для всех сторон личности, так как требования, предъявляемые к личности, которая хочет, так сказать, отождествиться со спасителем, настолько высоки, что каждая её сторона должна стать проявленной, "искуплённой" и включённой в действующую иерархию. Переоценка добра и зла поэтому допускает творческое включение в личность тех её сторон – и их вторичных представлений в воображении и в мысли, – которые были ранее подавлены незрелым образованием нравственных представлений, включая и представление о принадлежности к группе (выдаваемое за наивысший уровень нравственного достижения), и зачали.

Отворачиваться от чего-либо аномального значит, по сути, наклеивать на это аномальное явление ярлык с надписью: "слишком ужасно, чтобы с ним сталкиваться или его рассматривать". Избегать чего-либо значит также определять его, а в более общем смысле, определять и самого себя. Избегать – значит сказать: "это слишком ужасно", а это значит "слишком ужасно для меня". Ведь возможность выполнения задачи непременно определяется по отношению к способностям того, перед кем она встает. Поэтому отворачиваться от чего-либо аномального значит совершенно сопротивляться процессу приспособления, так как ничего нового не может произойти, если всё новое избегается или подавляется. Напротив, смелое противостояние аномалии – это процесс наклеивания на аномальное явление ярлыка с надписью: "терпимое" и одновременного определения самого себя как деятеля, который может терпеть. Занятие такой позиции означает возможность дальнейшего роста, так как именно в соприкосновении с аномалией порождается новое знание. Эта "вера в себя и в благосклонное отношение к себе мира" проявляется как смелость рискнуть всем в погоне за смыслом. Если природа преследуемой цели будет изменена так, что вместо желаемой предсказуемости целью окажется развитие личности, способной добровольно представать перед хаосом, то неизвестное, которое никогда не может быть навечно изгнано, больше не будет связано со страхом и безопасностью, как это ни парадоксально, будет навечно установлена:

"Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт: **как** человек становится злым и **как** добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащён был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями – она проходит через каждое человеческое сердце – и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятom злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце – неискоренимый уголок зла.

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются **со злом в человеке** (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им **носителей** зла (а не разбирая впопыхах – и носителей добра) – само же зло, ещё увеличенным, берут себе в наследство.

К чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс: он убивал саму злую идею, очень мало – заражённых ею людей (конечно, не Сталина здесь заслуга, уж он бы предпочёл меньше растолковывать, а больше расстреливать). Если к XXI-му веку человечество не взорвёт и не удушит себя – может быть это направление и восторжествует?..

Да если оно не восторжествует – то вся история человечества будет пустым топтанием, без малейшего смысла! Куда и зачем мы тогда движемся? Бить врага дубиной – это знал и пещерный человек.

«Познай самого себя!» Ничто так не способствует пробуждению в нас всепонимания, как теребящие размышления над собственными преступлениями, промахами и ошибками. После трудных неоднолетних кругов таких размышлений говорят ли мне о бессердечии наших высших чиновников, о жестокости наших палачей – я вспоминаю себя в капитанских погонах и поход батареей моей по Восточной Пруссии, объятый огнём, и говорю:

– А разве **мы** – были лучше?..⁵²⁷

5.3. Героическое приспособление: сознательное воссоздание карты смысла

Группа предоставляет защитное устройство – условные значения и образ поведения, – которое позволяет личности отбросить зависимость детства, совершить переход от материнского мира к общественному, отцовскому. Группа, однако, не является личностью. Духовное развитие, которое прекращается с достижением группового самосознания – которое выставляется каждым идеологом в качестве наивысшего достижимого блага, – строго ограничивает личные и общественные возможности и неизбежно обрекает соответствующую группу на внезапный и катастрофический распад. Неспособность превзойти групповое самосознание, в конечном счёте, так же болезненна, как и неспособность покинуть детство.

Движение от группы к личности – как и движение от детства к группе – следует типичному героическому образу преобразования (рай, нарушение, падение, искупление; установление устойчивости, устойчивость, её распад, восстановление устойчивости). Такое преобразование должно быть предпринято добровольно, посредством сознательного подвигания воздействию неизвестного, хотя оно может быть ускорено единственным в своём роде или достаточно травматическим переживанием. Неспособность начать и (или) успешно завершить процесс вторичного взросления повышает опасность внутридушевного и общественного упадка и последующих хаоса, подавленности и тревоги в переживаниях (включая появление мыслей о самоубийстве) или усиливает склонность к фанатизму и последующей внутридушевной и групповой агрессии.

Библия, рассматриваемая как единая история, представляет этот "процесс взросления" в мифологических выражениях. Ветхий завет выдвигает групповое самосознание, приведённое в систему Моисеем, как противоядие от падшего состояния человека. Это противоядие, хотя оно и полезно, несовершенно: даже сам Моисей, подлинный герой-предок, не может достичь обещанной земли. Напротив, Новый завет предлагает отождествление с героем как средство, при помощи которого и "падшее состояние", и трудности группового самосознания могли бы быть "навечно" превзойдены. Новый завет обычно читали как описание исторического события, которое раз и навсегда спасло человечество: его можно было бы более разумно рассматривать как описание процесса, который, если его провести, мог бы вызвать установление мира на земле.

Трудность, однако, состоит в том, что об этом процессе пока ещё нельзя сказать, что он "сознательно" – то есть в явном виде – понят. Кроме того, этот процесс чрезвычайно ужасен, в особенности на первых порах. Вследствие этого "подражание Христу" – или главному культурному герою других религиозных систем – склонно принимать вид обрядового "поклонения", отделённого от других, "нерелигиозных" сторон жизни. Напротив, сознательное участие в героическом процессе – которое означает мужественное противостояние неизвестному – превращает "поклонение" в дело подлинного отождествления. Это означает, что истинный "верующий" поднимается над приверженностью к догмам, чтобы "осуществить" душу героя – чтобы "воплотить эту душу" – в каждой стороне своей повседневной жизни.

Это легко сказать, но очень трудно понять и сделать. Нелёгкое дело претворить межличностный миф о герое в образец для действия и представления в единственных в своём роде условиях, которые составляют личную жизнь. Кажется одинаково трудно – даже высокомерно – предполагать, что личность могла бы быть силой, достойной "отождествления с героем". Тем не менее мы являемся чем-то большим, чем кажемся, и представляем собой большее бедствие – когда мы непонятны и недисциплинированы, – чем можем себе

представить. "Обыденность зла" – знаменитое выражение Ханны Арендт⁵²⁸, применявшееся к часто нерасполагающей к себе личности нациста, – это, в более точном смысле, "зло обыденности". Наши мелкие слабости накапливаются, и множатся, и становятся великими пороками государства. По мере того как расширяется наша технологическая мощь, опасность, которую мы представляем, увеличивается, а последствия нашей сознательной глупости множатся. Всё более и более необходимо, чтобы мы привели себя – а не других – в порядок, и чтобы мы выяснили для себя, что это значит.

Природа процесса "отождествления с героем" может быть наилучшим образом понята благодаря анализу алхимии, ставшему делом жизни Юнга. Алхимия, обычно рассматриваемая как предшественница современной химии, на самом деле была длившейся двадцать столетий попыткой понять "превращения материи". Алхимическая материя, однако, не была материей современной науки, что естественно, так как алхимики в старину не владели знаниями и методами современной науки. Эта материя была сущностью более похожей на Дао – на "то, что производит или составляет поток бытия"; чем-то более похожим на "информацию" в современном смысле (если информацию можно рассматривать в неисследованных местах как "скрытую"); чем-то более похожим на "неизвестное" как таковое (чем-то похожим на "основу" бытия). Исследование этой внутренне захватывающей "материи" – этого неизвестного – вызывало ряд внутренних преобразований в душе алхимика, делая её всё более родственной "философскому камню": делая её чем-то, что может превращать "низменную материю" в духовное золото; делая её чем-то, что к тому же обладает вечной, прочной и неразрушимой природой камня. По мере того как алхимическая попытка развивалась в течение христианской эпохи, этот "камень" всё более и более уподоблялся Христу – краеугольному камню, "отвергнутому строителями", действующей силой сознательного преобразования, – чьи действия вечно превращают "падший мир" в рай.

Алхимики поздних времён утверждали, что личность, которая полностью усвоила "дух неизвестного", равноценна Христу. Юнг перевёл их образный мифологический язык в нечто более понятное, однако ещё не понятное. Ужасная главная идея этого образа мысли такова: не лги, особенно самому себе, или ты разрушишь тот процесс, который даёт тебе силу выносить трагический мир. В своей слабости – последствии твоей лжи – ты станешь жестоким, надменным и мстительным. Затем ты станешь служить "бессознательным" посланцем действующей силы разрушения и будешь работать, чтобы вызвать конец света.

5.3.1. Творческая болезнь и герой

"I.N.R.I" – "Igni Natura Renovatur Integra"⁵²⁹

Третий способ приспособления к окружающей среде – отличный от упадочничества и фашизма – героический. Героизм сравнительно редок, потому что он требует добровольного принесения в жертву воспитываемой группой несомненности и неограниченного принятия последующего душевного хаоса, сопутствующего (повторному) воздействию неизвестного. Это, тем не менее, творческий путь, ведущий к новому открытию или перестройке, включающей в себя живую часть культуры. Творческий деятель выбирает роль героя и ставит себя вне защищённой области истории (даже противопоставляет себя ей). Вследствие этого он претерпевает повторное воздействие ужасного неизвестного. Такое претерпевание порождает смертельный страх, но допускает связь с возможностью – допускает вдохновение, перестройку и продвижение вперёд. Именно распад и снятие запретов на значение явлений (предшествующие его новому объединению) – события, сопровождающие героический процесс, – вызывают явления, которые постоянно связывают в народном воображении гения с безумием. Гений и безумец, однако, различаются их положением по отношению к неизвестному: гений – это счастливый герой, который встречает неожиданные последствия своего недостаточно приспособительного поведения добровольно, на почве, которую он выбрал. В противоположность этому несчастный сумасшедший уже убежал от чего-то плотоядного, чего-то разрастающегося от невнимания и делающегося всё больше, – убежал от чего-то, что в конце концов сожрёт его. Гений растворяется, затопляется неопределённым значением, а затем воссоздаётся – потом он растворяет, затопляет и перестраивает мир общества. Душевнобольной растворяется и тонет в потоке.

Именно способность добровольно встречать неизвестное лицом к лицу и соответственно перестраивать предложения, которые направляли приспособление к окружающей среде в прошлом, составляет вечный дух человека, творящее мир Слово. Существование и природа этого духа должным образом признавались в философии и религии Запада (и Востока) с незапамятных времён. Выдающийся богослов Рейнгольд Нибур утверждает:

"И у Платона, и у Аристотеля «душа» резко отличается от тела. Она является объединяющим и упорядочивающим началом, органом **логоса**, который вносит в жизнь души гармонию, так как **логос** есть создающее и оформляющее начало мира. Греческие метафизические предположения естественно являются определяющими для учения о человеке, и со времён Парменида греческая философия, с одной стороны, предполагала тождество между бытием и разумом, а с другой стороны, предполагала, что разум действует на какое-то бесформенное или неоформленное вещество, которое никогда полностью не поддаётся обработке. По мысли Аристотеля материя – это «остаток не существующего в себе непознаваемого и чуждого разуму, который остаётся после процесса прояснения вещи до формы и понятия. Это не существующее ни есть, ни не есть; оно "ещё не" является, то есть оно достигает реальности только постольку, поскольку оно становится средством какого-либо понятийного определения»^{530, 531}

Представление о внутреннем родстве духа с Богом было тщательно разработано в отвлечённом виде с гораздо большими подробностями в ходе последующего развития иудео-христианской мысли. С этой точки зрения человек наиболее глубоко понимается скорее в выражениях его отношения к Богу – как созданный "по образу Божию", – чем в свете его познавательных способностей или его места в природе. Сущность этого "духа, отождествляемого с Богом", – это вечная способность создавать и преобразовывать. Нибур замечает, что

"...человеческий дух обладает особой способностью непрерывно выходить из себя самого в терминах бесконечного отступления назад. Личность знает мир, насколько она его знает, потому что она находится вне и себя, и мира, что означает, что она не может себя понять, за исключением того, как она понята извне себя самой и мира".⁵³²

Эта способность к бесконечному превзойдению, которая и есть способность отвлечься от чего-либо, затем представить результат этого отвлечения, затем отвлечься от этого представления и так далее без конца даётся недаром, как мы уже замечали ранее. Мы можем опрокинуть картонный домик так же легко, как и соорудить его; кроме того, наша способность ко злу неразрывно связана с нашей способностью преодолевать границы.

Отвлечённое мышление вообще и, в частности, отвлечённое мышление о нравственности есть игра – игра в "что если?" В игры играют, сперва устанавливая, затем распознавая, потом изменяя основные предположения. Прежде чем в какую-либо игру можно было начать играть, должны быть установлены её правила; прежде чем эта игра могла бы быть изменена, её правила должны стать явными. В игру (по крайней мере на её конечных стадиях) играют, создавая в воображении, в соответствии с некоторыми предположениями – которые являются правилами ("окружающей средой") игры – образ "мира", а затем, действуя в этом воображаемом мире. Это создание игры, игры в неё и её изменение представляют собой упражнение для деятельности в реальном мире. На самом деле, по мере того как возрастает сложность игр, становится всё более и более трудно отличать их от такой деятельности.

Сама игра на первых её ступенях разыгрывается на процедурном уровне: её правила остаются неявными. Как только было установлено представление об игре, к ней можно привлекать и других. Позднее сами её правила могут быть изменены. Пиаже обсуждает формулировку правил детских игр:

"С точки зрения практики или применения правил можно различить четыре последовательные стадии.

Первая стадия чисто **двигательного** и **личного** характера, во время которой ребёнок играет со стеклянными шариками, повинаясь своим желаниям и двигательным привычкам. Эта стадия приводит к образованию более или менее ритуализированных схем, но, так как игра

по-прежнему является чисто личной, можно говорить только о двигательных правилах, а не о действительно коллективных правилах.

Вторая стадия может быть названа **эгоцентрической**. Она начинается, в тот момент, когда ребёнок получает извне пример кодифицированных правил, то есть где-то в возрасте от двух до пяти лет. Но хотя ребёнок и следует этим правилам, он продолжает или играть сам с собой, не беспокоясь о том, чтобы найти себе товарищей, или с другими детьми, но не пытаясь выиграть и поэтому не пытаясь привести к единообразию различные способы игры. Другими словами, дети, находящиеся на этой стадии, даже когда они играют вместе, играют «сами по себе» (все могут выиграть сразу) и не обращают внимания ни на какую кодификацию правил. Этот двойственный характер игры, сочетающий подражание другим с чисто личным использованием полученных образцов, мы обозначили термином эгоцентризм.

Третья стадия, которую мы будем называть стадией зарождающегося **сотрудничества**, появляется в возрасте от 7 до 8 лет. Теперь каждый игрок старается выиграть, а следовательно, все начинают интересоваться вопросом взаимного контроля и приведения правил игры к единообразию. Но, в то время как в ходе одной игры может быть достигнуто некоторое согласие, представления о правилах вообще остаются довольно смутными. Иначе говоря, дети от 7 до 8 лет, которые в школе учатся в одном и том же классе и поэтому постоянно играют друг с другом, дают, когда их спрашивают порознь, несопоставимые и часто совершенно противоречивые отчёты о правилах, соблюдаемых при игре в шарики.

В конце концов, в возрасте от 11 до 12 лет появляется четвёртая стадия, которая является стадией **кодификации правил**. Тут не только устанавливается каждая подробность процедуры игры, но и действующий свод её правил, которые следует соблюдать, известен всему обществу играющих в неё. Наблюдается замечательное согласие в сведениях, сообщённых детьми 10 – 12 лет, которые учатся в школе в одном и том же классе, когда их спрашивают о правилах игры и их возможных изменениях...

Если мы теперь обратимся к осознанию правил, то обнаружим продвижение, которое является даже более неуловимым в подробностях, но не менее ясно отмеченным, если его рассматривать в увеличенном масштабе. Мы можем выразить это, сказав, что это продвижение проходит через три этапа, второй из которых начинается в течение эгоцентрической стадии и кончается к середине стадии сотрудничества (9 – 10 лет), а третий покрывает её остаток и всю стадию, отмеченную кодификацией правил.

В течение первого этапа характер правил ещё не принудителен, или потому что они являются чисто двигательными, или же (в начале эгоцентрической стадии) потому что они получены, так сказать, бессознательно и скорее как интересные примеры, чем как обязывающие реальности.

В течение второго этапа (апогея эгоцентрической стадии и первой половины стадии сотрудничества) правила считаются священными и неприкосновенными, исходящими от взрослых и длящимися вечно. Каждое предложенное их изменение поражает ребёнка как их нарушение.

Наконец, в течение третьего этапа, на правило смотрят как на закон, вызванный общим согласием, который ты должен уважать, если хочешь быть верным, но который позволительно изменить при условии, что ты привлечёшь на свою сторону общее мнение.

Соотношение между тремя этапами в развитии осознания правил и четырьмя стадиями, относящимися к их практическому соблюдению, является, конечно, только статистическим и поэтому очень грубым. Но, вообще говоря, их связь кажется нам неоспоримой. Коллективное правило сначала является чем-то внешним для личности, и следовательно, священным для неё; затем, по мере того как оно делается её собственным, оно доходит до того, что ощущается как плод свободного взаимного соглашения и самостоятельной совести. А в отношении практической пользы только естественно, что мистическому уважению к законам должно сопутствовать зачаточное знание и применение их содержания, тогда как разумное и хорошо обоснованное уважение сопровождается действенным применением каждого правила в подробностях".⁵³³

Ребёнок "на втором этапе", принимая предположения своей культурной под-традиции как "священные и неприкосновенные", мыслит таким же самым образом, как образцовый, частично предположительный донаучный или "первобытный" человек, который почитает в своих

представлениях прошлое как безусловную истину. Ребёнок и первобытный человек заботятся главным образом о том, **как себя вести**, – как организовать поведение в обществе **против** природы, чтобы это одновременно и непрерывно соответствовало преследуемым целям. Только гораздо позже, когда эти более существенные вопросы уже будут решены, сами пути их решения могут быть исследованы. Возникновение умозрительного представления высшего порядка об исследовании не самой задачи, а средств её решения, подразумевает возникновение способности играть в игры с правилами игр и веры в позволительность такой деятельности (этакого резкого отказа от традиционного порядка). Эта более отвлечённая способность делает возможным ответ на метазадачу нравственности, поставленную ранее: не "как себя вести?", а "как можно определить (или как определяется, или как определялось) то, как себя вести?"⁵³⁴ Парадоксально то, что, может быть, ответ на эту метазадачу даёт и окончательный ответ на (очевидно) менее отвлечённый вопрос: "как себя вести?" или "что такое благо?".

Некоторые примеры из религиозной традиции Запада способны помочь пониманию 1) природы различия между главной задачей нравственности ("что такое благо?") и метазадачей (как определяются ответы на вопрос: "что такое благо?"); 2) структуры сопутствующих им решений; и 3) способа, которым метазадача и её решение вытекают в ходе исторического развития из самой задачи и её решения, сопровождаемого (циклическим) развитием всё более и более утончённого и мощного сознания (и самосознания). Давайте начнём с проблемы сознания (и самосознания), которое отчасти проявляется в повышенной способности системы чисто словесной памяти достаточно точно кодировать природу человеческого поведения, своего и других людей. Это кодирование сначала принимает вид повествования, или мифа, который, как утверждалось ранее, является семантическим использованием эпизодического представления процедурной мудрости. Семантический анализ повествования – критика⁵³⁵ – делает возможным установление происхождения отвлечённых нравственных принципов. **Чисто семантическая кодификация** первого порядка нравственности, неявно представленной в поведении, а затем в эпизодическом или семантическом (повествовательном или мифическом) представлении, по-видимому, принимает форму списка. Список законов – правил нравственности – прямо и просто определяет, что составляет приемлемое поведение, а что нет. Явно представленный список служит превосходным руководством для подростка, выходящего из материнского мира. Такой список можно было бы рассматривать как самую основную форму явной нравственной философии.

Такой список возникает в повествовании иудео-христианского сознания как следствие действий Моисея, который был законодателем еврейского народа. Моисей обладает многими качествами (типичного) мифического героя, подобными качествам сверхъестественного предка первобытного человека. Его отличают, например, подверженное опасности рождение и двойное происхождение (одна линия происхождения из простонародья, другая – возвышенная или божественная):

"Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа,

И сказал: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его⁵³⁶; а если дочь, то пусть живёт.

Но повивальные бабки боялись Бога, и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых.

Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?

Повивальные бабки сказали фараону: Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде нежели придёт к ним повивальная бабка, они уже рожают.

За сие Бог делал добро повивальным бабкам; а народ умножался и весьма усиливался.

И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устраивал дома их.

Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорождённого у Евреев сына бросайте в реку; а всякую дочь оставляйте в живых.

Некто из племени Левиина пошёл и взял себе жену из того же племени.

Жена зачала, и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца.

Но не могли долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила её асфальтом и смолою; и, положивши в неё младенца, поставила в тростнике у берега реки.

А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет.

И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы её ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять её.

Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет; и сжалилась над ним и сказала: это из Еврейских детей.

И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца?

Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца.

Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его.

И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у неё вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его".

(Исход, 1 : 15 – 22; 2 : 1 – 10).

После того как Моисей достигает зрелости, он отказывается от своего вторичного египетского наследия и возвращается к евреям. Со временем он становится их вождём и уводит их из Египта и египетского рабства (из рабства при тирании). Это героическое путешествие исхода из невыносимого и падшего современного им состояния через (очистительную) пустыню – где они действуют в соответствии с процедурами, которые он устанавливает, – в настоящий (земной) рай, обетованную землю молока и мёда. Фрай замечает:

"Библейский образец очистительного видения – это повествование книги Исход, которое состоит из трёх главных частей. Первая часть – это пребывание в Египте, «железной печи», мире, поражаемом бедствиями, где желание египтян уничтожить евреев обращается в свою противоположность – массовое убийство египетских первенцев. Этот эпизод завершается пересечением Черного моря, отделением Израиля от Египта и потоплением египетского воинства. Второй эпизод – это странствие в пустыне, запутанный период потерянного направления, где одно поколение должно вымереть, прежде чем новое поколение сможет войти в землю обетованную (Псалтирь, 94 : 11). Это одна из нескольких черт, указывающих на то, что мы находимся в мире, превосходящем историю и что подлинный или символический смысл Египта, пустыни и обетованной земли яснее появляется именно в более поэтическом языке пророков.

Третья стадия – это вступление в землю обетованную, где Моисей, олицетворяющий старшее поколение, умирает как раз на самой её границе. В христианской типологии... это означает, что закон, который символизирует Моисей, не может спасти человечество; только его преемник Иисус Навин, носящий то же самое имя, что и Иисус Христос, может вторгнуться в Ханаан и завоевать его⁵³⁷,⁵³⁸.

Моисей – революционер: он учит свой народ новому образу жизни. Это значит, что он переоценивает их цели, равно как и средства. Этому процессу революционного переприспособления предшествует период сильного страдания, поскольку эмоции, высвобожденные новой обстановкой, борются между собой, до тех пор пока их не укротят. Библейский рассказ поразительно изображает этот процесс, представляя его в выражениях длительного и утомительного пребывания в пустыне. Снабжение "небесной" пищей⁵³⁹ в течение этого времени есть, так сказать, намёк на смысл этого рассказа: междуцарствие боли и замешательства, которое предшествует восстановлению устойчивости или её улучшению, могут перенести только те, кто питается "духовным хлебом"; его могут перенести только те, кто нашёл в себе достаточно смысла и развил поэтому мудрость, терпение и веру.

В течение исхода из Египта Моисей начинает служить своему народу как судья: он добровольно выбран им, может быть, на основании воспринимаемой силы или целостности характера в качестве посредника между сталкивающимися притязаниями ценностей; он вынужден определять, что правильно, или что должно быть, и что неправильно, или сравнительно неправильно:

"На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера.

И видел тесть Моисеев всё, что он делает с народом, и сказал: что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?

И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне просить суда у Бога;
Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и
объявляю уставы Божии и законы Его" (Исход, 18 : 13 – 16).

Выбор такой роли означает (сознательное) принятие на себя огромного душевного напряжения – напряжения, связанного с необходимостью постоянного, требовательного нравственного суждения (установления иерархического порядка, вытекающего из внутридушевной дарвиновской борьбы за существование отвлечённых ценностей) – и, когда имеется для того возможность, последующего порождения возмещающей деятельности приспособления. В (мифическом) случае с Моисеем такая деятельность приняла вид **перевода** – перевода нравственных принципов из процедуры и её повествовательного представления в отвлечённый семантический код. Этот перевод означал огромный скачок вперёд, качественный сдвиг в человеческом познании, независимо от того, был ли он действительно совершён Моисеем или какими-то другими лицами, сколько бы их ни было, в течение сотен лет (с эволюционной точки зрения мгновенно) и объединён в "одно событие" общественно обусловленными процессами мифологической памяти. Неожиданное возникновение знания о нравственности в явной семантической форме, противопоставляемого его скрытому представлению в повествовании, представилось в мифологии как "вызванное" откровение. Это откровение есть принятие знания из "высшего источника" – в этом случае, при переходе от эпизодической к семантической системе памяти, – из таинственной области воображения конкретного мира.

Порождение (более точно **растормаживание**) ошеломляющих эмоций непременно отмечает переходы подобной значимости в познавательной способности; порождение, сродни тем, которые сопутствуют явлениям "постижения", типичным для творческих (или психотерапевтических) всплесков. Это порождение можно было бы считать следствием первоначального (временного) внутридуховного объединения – установления изоморфизма или согласования между процедурной, эпизодической и семантической системами памяти – и признания многочисленных возможностей (до сих пор непредвиденных спасительных возможностей), высвобожденных таким образом. Это – "первое открытие" новой системы категоризации – означает непосредственное понимание широкой "возможной полезности" тех явлений, которые были по-новому восприняты (означает понимание их **подкреплённого обещания**). Это "первое открытие" – **Эврика!** – есть положительная сторона сознательного обновления опыта. Поэтому – после того как Моисей возвращается к изральтянам, встретившись в последний раз с Богом на горе Синай, – эта встреча настолько подействовала на него, что его внешность сделалась невыносимой для его соплеменников:

"И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал на скрижалях слова завета, десятословие.

Когда сходил Моисей с горы Синай, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним.

И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лицо его сияет, и боялись подойти к нему.

И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними.

После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им всё, что говорил ему Господь на горе Синае" (Исход, 34 : 28 – 32).

Это "сияющее лицо" есть мифологическое (семантическое или эпизодическое) приравнивание личности к солнечной силе. Оно символизирует освещение, просвещение, мгновенное преображение в вечного представителя богов. Моисей превращает то, что ранее было обычаем, внедрённым в поведение и представленным в мифе, в явный семантический код. Этот "великий скачок вперёд", предпринятый Моисеем, временно помещает его в общество Бога. Десятисловие есть единое наиболее основное подмножество этого "нового" кода:

"Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.

Не поклоняйся им и не служи им: ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня. И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, А день седьмый – суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них; а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его⁵⁴⁰. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего" (Исход, 20 : 3 – 17).

Кодификация традиции непременно зависит от существования традиции –установленного приспособительного поведения и его вторичного представления. Знание, воплощённое в такой традиции, существует как следствие, так сказать, эволюционного давления, действующего, в первую очередь (в буквальном смысле), на уровне взаимодействия между личностями и, только во вторую очередь, недавно, переведённого в иерархии сознания в представление. Это означает, что развитие идёт, по меньшей мере столь же часто (а вообще говоря, более глубоко), от **поведения к представлению** (эпизодическому и семантическому) – от приспособительного действия и его изображения в мифе (включая всякое подлинное искусство) к отвлечённому словесному знанию, – как и от **представления к поведению**.^{541, 542, 543}

Преобразование традиции в закон превращает в словесно отвлечённое то, что ранее было, в лучшем случае, закодировано в образе: впервые создаёт нравственность культуры и нравственное "сознание" личности. Это преобразование завершает работу столетий попыток отвлечённого приспособления и возрастающего сознания, появляющихся при качественном сдвиге познавательной утончённости, во внутридушевной деятельности ставшего предметом мифа культурного героя, чьи поступки определяются историей с "божественным" подтекстом, выражающей смысл (а также внутридушевное место действия и источник⁵⁴⁴) революционного события. Ницше утверждает:

"Великие люди, как и великие времена, суть взрывчатые вещества, в которых накоплена огромная сила; их предусловием, исторически и физиологически, всегда является то, что на них долго собиралось, накоплялось, сберегалось и сохранялось, – что долго не происходило взрыва. Если напряжение в массе становится слишком велико, то достаточно самого случайного раздражения, чтобы вызвать к жизни «гения», «деяние», великую судьбу"⁵⁴⁵.

Нравственные предпосылки общества возникают сперва в процедурном виде, как следствие личной исследовательской деятельности, являющейся тем самым процессом, который порождает новые образцы поведения. Эти образцы поведения, вследствие своего рода дарвиновского соперничества, образуют затем иерархическую структуру в соответствии с ранее упомянутыми ограничениями (привлекательностью для воображения, самоподдерживаемостью и т. д.). Система эпизодической памяти наносит на карту процедуру и её исход и таким образом как бы приходит к тому, чтобы поддерживать сходную парадигматическую структуру – в виде образов, а потом и чисто семантически. С течением времени неизвестное, то есть природа, мифологически представляется как эмоционально двусмысленная Великая Мать, одновременно создающая и разрушающая. Известное, то есть культура, становится Великим Отцом, деспотом и мудрым царём,

самовластной и защитной личностью, приспособленной к неизвестному. Те, кто познаёт, то есть люди, становятся враждебными мифическими братьями, сынами обычая, героем и антигероем, Христом и Сатаной – вечными создателем и разрушителем истории и традиции. Семантическое познание, питающееся повествованием, – мост между эпизодом и чисто словесной отвлечённостью – выводит "правила" из поведения. Применение этих правил изменяет окружающую среду, включая её процедурные и эпизодические представления. Таким образом всё продолжается по кругу.

Культура (по крайней мере её положительная сторона) служит тому, чтобы защищать уязвимого человека от соприкосновения с неизвестным, но цена, которая платится за полную безопасность, – это свобода и личные особенности, а следовательно, способность к творчеству. Принесение в жертву, посредством выбора, личных творческих способностей в конце концов лишает жизнь её наслаждения, её смысла – но не тревоги или боли – и поэтому делает жизнь невыносимой. Цивилизованный, или исторический, **человек разумный** созревает внутри обладающего структурой канона правил, считающихся безусловными большинством людей внутри его цивилизации. В обмен за это наследие, которое, по сути, является общим итогом усилий человечества в течение тысячелетий, личность приобретает форму, и приспосабливается, и может поэтому выживать независимо от других, но всё это приспособление не является таким уж благотворным. Имеет место то печальное обстоятельство, что внутренне вознаграждающая и сколько-нибудь интересная деятельность, требующая личного героизма, часто представляет угрозу установленному устройству соответствующей группы.

Великий Отец, положительная сторона истории, защищает человека от Ужасной Матери. Он воплощает и представляет цивилизованный порядок, просвещение и мудрость. Он есть отвлечённое и объединённое олицетворение всех тех героев, которые жили ранее и оставили свой след на культуре поведения их вида. Он является ритуальным образцом для подражания: добрым царём, мудрым судьёй, мужественным человеком, человеком действия, человеком искусства, мыслящим человеком. Однако, поскольку он представляет особые, определённые образцы действия, он враг возможности, самой жизни в настоящем, героя и поэтому он непременно пленитель духа, воплощение тирана и бюрократа. Это – история как Ужасный Отец, мёртвый груз прошлого, давящая масса ограниченного, нетерпимого, плохо осведомлённого мнения и народных предрассудков. Это та сила, которая угнетает Добрую Мать, созидательную сторону самой жизни. Ужасный Отец противится всему новому, всему, что угрожает его существенному устройству и безусловному господству. Отождествление хорошо приспособленного к жизни человека с его культурой означает, что, по мере того как история, в противоположность той силе, которую представляет природа, становится установленной, герой-творец должен бороться с общественным мнением, состоящим, когда оно является идеологическим, из современных лозунгов (**sluagh-ghairms** – боевых кличей мёртвых), – равно как и с силами "природного" неизвестного. Герой является врагом исторически обусловленной структуры ценностей и предположений, потому что он, может быть, должен переупорядочить эту структуру, бороться с тем, что всё ещё остаётся неизвестным, а не просто добавлять что-либо к этой структуре или поддерживать её. К сожалению, в процессе переупорядочения он рискует подвергнуть и себя, и всех тех хорошо приспособленных к жизни людей, которые отождествляют себя с его культурой и поддерживают её, воздействию ужасных сил неизвестного: смертельной тревоге и ужасу, боязни пустоты, ужасу безумия, физическому разрушению и даже уничтожению.

Эти идеи разительно представлены в "Легенде о Великом инквизиторе" Достоевского. Иван, измученный безбожник, рассказывает историю, которую он сочинил, своему религиозно настроенному младшему брату Алёше, послушнику в местном монастыре. Христос возвращается на землю, в Севилью, во времена испанской инквизиции:

"Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают его. Народ непобедимо силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясает их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: «Господи, исцели меня, да и я тебя узрю», и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идёт он. Дети бросают перед ним

цветы, поют и вопиют ему: «Осанна!» «Это он, это сам он, – повторяют все, – это должен быть он, это никто как он». Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нём семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мёртвый ребёнок лежит весь в цветах. «Он воскресит твоё дитя», – кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздаётся вопль матери умершего ребёнка. Она повергается к ногам его: «Если это ты, то воскреси дитя моё!» – восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам его. Он глядит с состраданием, и уста его тихо и ещё раз произносят: «Талифа куми» – «и восста девица». Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивлёнными раскрытыми глазками кругом. В руках её букет роз, с которыми она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых ещё светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера перед народом, когда сжигали врагов римской веры, – нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и «священная» стража. Он останавливается перед толпой и наблюдает издали. Он всё видел, он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнём. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально, вся как один человек, склоняется головами до земли пред старцем инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в неё. Проходит день, настает тёмная, горячая и «бездыханная» севильская ночь. Воздух «лавром и лимоном пахнет». Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему:

– Это ты? Ты? – Но, не получая ответа, быстро прибавляет: – Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришёл нам мешать? Ибо ты пришёл нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ты это? Да, ты, может быть, это знаешь, – прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника".⁵⁴⁶

Несмотря на свои тиранические действия, Великий инквизитор чувствует себя вынужденным оправдать их перед Христом, который как образец того, что должно быть, вечно служит судьёй того, что есть:

"Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, – и уж, конечно, ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя твоё. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять её. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повинуются

должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на **чуде, тайне и авторитете**. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь ты пришёл нам мешать?"⁵⁴⁷

Старый священник объясняет, какую историческую роль и почему сыграло установление церкви, чтобы представить разумное объяснение необходимости неминуемого повторного распятия:

"И мы, взявши грехи их для счастья их на себя, мы станем пред тобой и скажем: «Суди нас, если можешь и смеешь». Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников твоих, в число могучих и сильных с жаждой «восполнить число». Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые **исправили подвиг твой**. Я ушёл от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришёл нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костёр, то это ты. Завтра сожгу тебя. Dixi»".⁵⁴⁸

История принимает неожиданный поворот как раз перед её завершением – поворот, который служит примером гениальности Достоевского и его способности перескочить за пределы идеологически очевидного. Иван говорит:

"Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждёт, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник всё время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идёт к двери, открывает её и говорит ему: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!» И выпускает его на тёмные стогна града. Пленник уходит..."⁵⁴⁹

Как сказал Уильям Джеймс: "Общество приходит к застою без порывов личности. Порывы личности затухают без сочувствия общества".⁵⁵⁰

Мифы культуры являются её главными историями. Эти истории предоставляют волнующую запись исторически обоснованных преобразований человеческих целей, и, по-видимому, существуют как эпизодическое или семантическое воплощение общего влияния истории на деятельность. Повествования мифов, которые сопровождают сохранение исторически обусловленного поведения, представляют собой не основанное на опыте эпизодическое представление этого поведения и его способа установления. Миф – это цель, закодированная в эпизодической памяти. Истина мифа есть знание, извлечённое из прошлого опыта – извлечённое из прошлого наблюдения за поведением, – уместное с точки зрения существенных побуждений и эмоций. Миф одновременно представляет запись исторически существенного, в смысле поведения, и программирует это исторически существенное. Повествование даёт семантическое описание действия в образах, переводимое обратно в воображаемые эпизодические события и способное вызывать подражательное поведение. Повествование мифа передаёт вниманию знакомящихся с ним волнующее представление нравственности, того, **что должно быть**. Такое повествование осмысливает прошлое с его последствиями для современной и будущей деятельности.

Мифическая драма, в которой разыгрываются подвиги исключительных личностей, по-видимому, посвящена объяснению применённого в общем случае образца приспособления. Этот типичный образец способствует **вызыванию соответствующего положению дел личного поведения**. Миф развивается согласно процедурной схеме, на которой строится вся сложная иерархия конкретного поведения, обусловленного культурой. Этот типичный образец

соответствует врожденным, инстинктивным, обусловленным нейрофизиологией личным способностям к творческому исследовательскому поведению: на самом деле, он был создан в ходе исторического наблюдения этих способностей в действии. Проявление этих способностей на протяжении всей истории вело к созданию конкретных, соответствующих окружающей среде процедурных и эпизодических общественных связей, которые содействовали развитию врожденных личных дарований, защищали от опасности, вселяли надежду и подавляли страх перед жизнью.

Кольцо духов предков, невидимых и неизвестных, окружает современного человека и волшебным образом защищает его от тьмы и хаоса. Когда это кольцо прорвано, – когда начала, которые представляют эти духи, становятся подверженными критической оценке, нападению других видов героизма, влиянию других идеологий или веса личного опыта, – само знание теряет свои связи, а известное вновь обращается в неизвестное. Это не значит, что в человеческом сознании подспудно дремлет сама Ужасная Мать: скорее это значит, **что причины её "существования" и тысячи лет назад, и сегодня всё ещё являются достаточными.** Дело тут не в видовой памяти, передаваемой ламарковскими средствами, а в склонности переживать сходным образом при сходных условиях. Эти условия постоянно возникают, когда защитный покров культуры прорван.

История защищает человека от сокрушительного физического и духовного нападения. Она выполняет это назначение, предоставляя смысловое обрамление тем, кто в ней замешан. История как бы вбирает в себя те **доопытные** предпосылки, на которых основываются все культуры, направляющие действия людей, охваченных "духом времени". Такое смысловое обрамление по необходимости основывается на различных догматах веры и описывается в своей целостности как миф (хотя оно и **предшествует** мифу). «Самые высшие» уровни мифа открывают человеку возможность представлять каждую отдельную человеческую жизнь, навсегда благословенную и проклятую обществом, которой всегда угрожает и которую всегда спасает неизвестное, как трагедию. На этом уровне мифа жить, а не прятаться, означает возможность достичь, а может быть, и превзойти высочайшую ступень сознания, до тех пор достигнутую или умозрительно представленную соответствующей культурой. Эта мифическая жизнь символически представляется в образе **спасителя** – той личности, которая воплощает существенные стороны мифологической драмы. К счастью или к несчастью, нравится это кому-то или нет, в традиции Запада такой личностью является Христос. Фрай утверждает:

"О значении жизни Иисуса часто думают как о значении в правовом смысле, как о жизни всецело нравственной или полностью подчинённой кодексу правильного действия. Но если мы подумаем о его значении как пророка, а не праведника, то его подлинная роль состоит в том, что он оказался единственной личностью в истории, которую, по-видимому, не могло бы вытерпеть ни одно организованное общество. Общество, которое отвергло его, представляло все общества: те, кто несёт ответственность за его смерть, – это не римляне, и не иудеи, и не те, кому случилось быть поблизости в то время, а всё человечество, вплоть до нас самих и, несомненно, гораздо позже нас. «Лучше одному человеку умереть за народ», – сказал Каиафа (Иоанн, 18 : 14), и никогда не было человеческого общества, которое не согласилось бы с ним.

Что главным образом отличает христианство (и иудаизм) от большинства восточных религий, это, как мне кажется, революционное и пророческое начало противоборства с обществом. Это начало придаёт смысл и форму истории, одаряя её диалектическим смыслом. С этой точки зрения, корень зла в человеческой жизни не может быть точно описан как невежество, а средство от него правильно описано как просвещение. Данные о человеческой жестокости и глупости слишком отвратительны для постановки любого диагноза, кроме извращённости воли. Следовательно, Иисус не был просто сострадательным Иисусом, как Будда был сострадательным Буддой. Его дело, хотя оно и включает обучение путям просвещения, не останавливается на этом, а проходит через мученичество и схождение в смерть. Два следствия этого особо важны для наших современных целей. Во-первых, конкретно историческая ситуация скрыта в любом «просвещении»: человек должен с боем пробиться сквозь историю, а не просто пробудиться от неё. Во-вторых, способность вместить совершенную личность до сих пор находится за пределами возможностей любого общества, включая и те, которые называют себя христианскими".⁵⁵¹

Миф содержит в сжатом виде и выражает сущность творческой, общительной души исследователя, насколько она проявляется в поведении как следствие наблюдения и повторного представления этого поведения подытоженным во времени и исторически обусловленным способом, начинающимся с подражания и кончающимся словесной абстракцией. Какой цели обычно подчинено всякое поведение и его представление? Установлению состояния – **духовного царства**, – позволяющего действовать процессам, которые преобразуют и устанавливают нравственность. В конце концов, исторические культуры – по крайней мере те, которые явно поддаются изменению, – организуют поведение так, что в идеале (явном или неявном) и со своей личностью, и с другими обращаются с **уважением, подобающим посреднику между порядком и хаосом**. С точки зрения семантической системы нравственное действие в отношении других и себя представляет условное ("как будто") суждение: нравственная личность обращается с собой и другими, "как будто" признавая, уважая и отдавая должное конечному источнику творческого приспособления к окружающей среде (конечному источнику "мира"). Такое поведение "бессознательно" предполагает тождество между самой этой личностью и её спасителем – прообразом спасителя, носителем культуры, божественным героем. Это и есть организация установленного поведения в соответствии с признанием источника установленного поведения. Установление такой организации, однако, создаёт угрозу нравственности, основанной на строгой приверженности традиции.

Героическое поведение вынуждает подражание: герой, по определению, служит образцом для подражания. Поведение носителя культуры, прообраза героя, есть воплощение тщательно разработанного процедурного (нравственного) кодекса. Этот кодекс является конечным результатом процесса развития, заключающегося в установлении в ходе героических попыток различных видов творческого поведения, их последующего сообщения другим в подражании и его отвлечённых формах и их слияния с течением времени в последовательный тип поведения, чья природа и выражение определяют культурный характер. Этот культурный характер является главной "личностью" здорового человека, воплощённой в процедуре и вторично представленной в эпизодической и семантической памяти. В идеале этот характер стремится к гармоническому равновесию между традицией и приспособлением к окружающей среде, а также между своими потребностями и потребностями других. Именно постоянная попытка изобразить такой характер составляет "цель" мифа о человеке.

По мере того как история движется, становится более "сознательной" и различённой – или, точнее, по мере того как предположения, лежащие в основе приспособительного поведения в обществе, становятся всё более и более точно сформулированными в отвлечённом виде (более описательными), – общество движется **от умозрительного представления последствий или итогов героизма как идеала, достижению которого должно быть посвящено поведение, к умозрительному представлению самого героического поступка как такого идеала**. Это есть движение от итога процесса к самому процессу. Это преобразование умозрительного представления в драматической форме представлено в традиции Запада в новозаветном описании страстей Христовых, которое разительно представляет процесс и последствия революционной перестройки основ западной нравственности.

Христос долго рассматривался как скрыто "содержащийся" в Ветхом завете. Фрай замечает:

"Для апостола Павла Христос был, главным образом, скрытым героем Ветхого завета и послепасхальным Христом воскресения. Евангелия представляют Христа в виде, который точно соответствует его доевангельскому пониманию: не в биографической форме, а как прерывающуюся последовательность явлений, в которой Иисус делает замечания о Ветхом завете как ряде событий, законов и образов прошлого, приходящих как вечно живые в мессианской обстановке и теле мессии, которое он доставляет".⁵⁵²

На самом существенном уровне анализа это означает, что образ действия, воображения и мысли, представляемый Христом, непременно "присутствует" в любом повествовании или мифологии, которые **достаточно непреодолимы, чтобы запечатлеться в памяти**. Причины этого скрытого существования ясны: Христос воплощает героя, укоренённого в традиции, которая является повествовательным изображением основ самого успешного личного и общественного приспособления к окружающей среде. Так как Слово "стало плотью" (Иоанн, 1 : 14) там "в начале" (Иоанн, 1 : 1), он представляет одновременно и ту силу, что отделяет порядок от хаоса, и традицию,

ставшую духовной, отвлечённой, повествовательной, семантической. Его образ жизни преобразует саму нравственность: власть закона в ней сменяется властью духа, что означает **процесс**. Дух есть **процесс**, одновременно противоположный неизменному существованию и ответственный за его порождение. Фрай утверждает:

"...в самом Новом завете нам сказано, что о тайнах веры следует «судить духовно» (1-е Коринфянам, 2 : 14). Это говорится в том месте, где Павел противопоставляет букву, которая, как он говорит, «убивает», духу, который «животворит»".⁵⁵³

Эта мысль схематически представлена на рисунке 60 "Возникновение Христа из группового

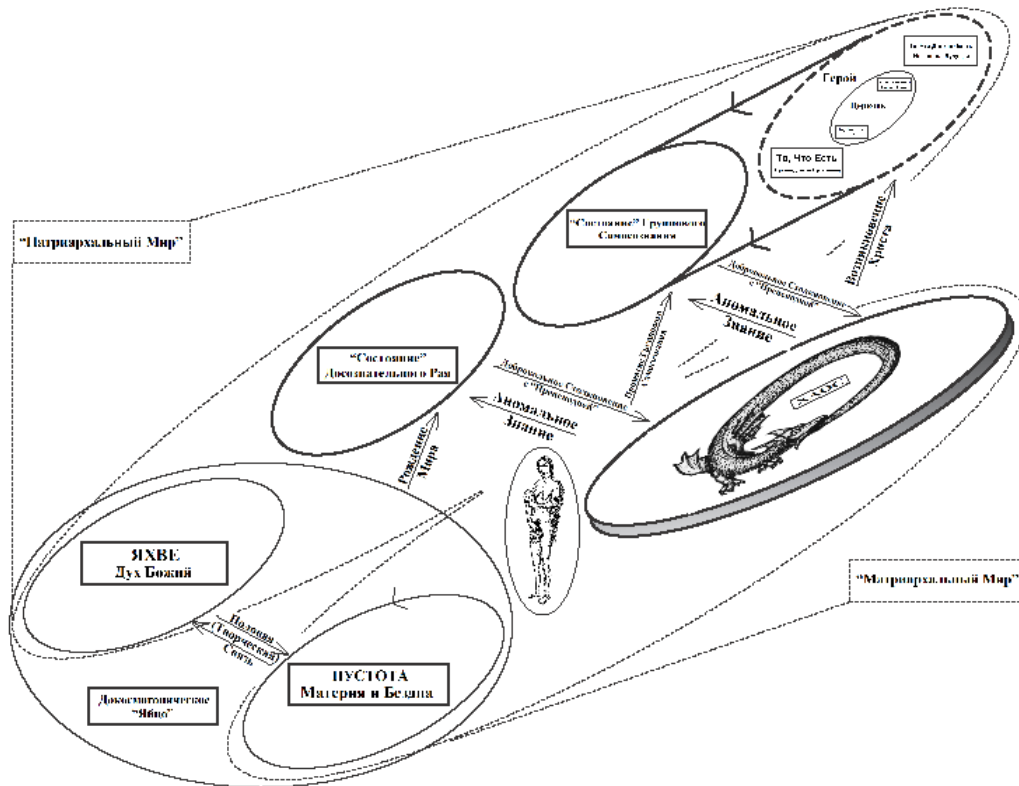


Рисунок 60

самосознания и хаоса", который изображает также христианскую "историю человека".

Для Христа "Бог не есть Бог мёртвых, но живых" (Матфей, 22 : 32). Он выталкивает нравственность за пределы строгой опоры на кодифицированную традицию – явный закон Моисеев – не потому, что такая традиция ненужна, а потому, что она была (и есть) обязательно и вечно недостаточна. Христос заявляет:

"Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное" (Матфей, 5 : 20),
но также и:

"Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков; не нарушить пришёл Я, но исполнить" (Матфей, 5 : 17).

Это означает, что отождествления с традицией недостаточно; что традиция не может таким образом рассматриваться как бесполезная, а должна скорее рассматриваться в свете того, что она

является предшественницей в развитии; и, наконец, что процесс, который возрождает традицию, каким-то образом содержится в самой традиции и поддерживается ею.

Роль Христа, который спасает культуру от порабощения законом, предвосхищена в конце книги Исход в последовательности событий, включающей смерть Моисея (обсуждавшейся ранее) и продолжающейся после неё. Христос, по сути, появляется как второй Моисей, который предлагает духовное (внутридушевное) царство как окончательную версию земли, обещанной Богом израильтянам.⁵⁵⁴ Ему, по-видимому, дана власть делать такое предложение при явном сотрудничестве Моисея, даже дана такая власть свыше, как и Моисею (как и приличествует "солнечному божеству"):

"По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору высокую одних.

И преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет.

И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.

При сём Пётр сказал Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.

Когда он ещё говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас, из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте.

И услышавши ученики пали на лица свои и очень испугались".

(Матфей, 17 : 1 – 6).

Как и Моисей, Христос произносит свою самую знаменитую речь (которую Фрай истолковывает как длинное разъяснение десяти заповедей) на вершине горы. Фрай отмечает, что закон Моисеев основан на запрещении, на описании того, что запрещено: "Не...". Напротив, проповедь Христа состоит более в увещании, в описании деятельного добра, выражаемом повелительным наклонением⁵⁵⁵. Это преобразование основано на развитии повышенного нравственного сознания. В самом начале для души, так сказать, погрязшей в грехе, легче распознать то, что несомненно опасно, что очевидно должно быть взято под контроль. Как только вследствие добросовестной, дисциплинированной приверженности традиции будет достигнута некоторая ясность духа, появляется возможность определить, что такое добро, что следует делать, а не только, чего делать не следует. Это сопоставление служит также аналогом отношения между нравственностью подростка и нравственностью взрослого: строгое групповое самосознание соответствующим образом приучает к жизни в обществе более не зависимого в узком смысле слова ребёнка и позволяет ему совершить скачок от несовершеннолетия к взрослому состоянию. Способность действовать упорядоченным образом – что означает следовать правилам – является необходимой предпосылкой гибкости взрослого, но её не следует смешивать с нравственностью подлинно взрослого, способного создавать новые наборы правил с (осовремененной) полезностью для приспособления. Это вовсе не означает по-идиотски, что "иудейская" нравственность есть нравственность подростка, а "христианская" – взрослого. Имеется, как мы уже видели⁵⁵⁶, множество примеров "сопротивления пророков тираническому порядку" в Ветхом завете. Противоположность тут скорее между догматическим и жёстким, с одной стороны, и творческим и ответственным, с другой стороны, **внутри вероучений, а не между приверженцами различных вероучений.**

Развитие списка законов – нравственной мудрости прошлого, отлитой в камне, – впервые делает наличную процедурную и эпизодическую культурную структуру "сознательной". Простота этого списка делает его легко заучиваемым наизусть и доступным как "общую точку отсчёта". Выгоды его отвлечённого характера – возможность сообщения другим и возможность быстрого обобщения – усиливают его способность устанавливать и поддерживать порядок. Этот список, тем не менее, отличается наличием глубоких внутренних структурных ограничений. Он не настолько сложен, чтобы представлять природу процедурной нравственности, которая иерархически организуется изменчивым и зависящим от обстановки образом. Он не способен справиться со страданием, вызванным столкновением обязанностей, – определить приемлемое поведение, когда обстановка вызывает противоречивые реакции (когда одна перечисленная в списке нравственная предпосылка сталкивается с другой). К тому же установление неизменного закона ставит пределы

способности к суждению и выбору, ограничивая, нередко не без риска, гибкость приспособления, когда с "изменением окружающей среды" такая гибкость делается необходимой:

"Берегитесь, чтобы никто не сбил вас с пути, говоря: «Вот сюда!» или «Вот туда!». Ибо Сын Человеческий внутри вас.

Следуйте за ним.

Те, кто ищут его, найдут его.

Идите тогда и проповедуйте евангелие царства.

Не составляйте никаких правил сверх того, что Я предписал вам, и не давайте закона, как законодатель, чтобы он не связал вас".^{557, 558}

Вследствие своих внутренних ограничений список, который утверждает, чего не должно быть, должен, как только он будет выполнен, уступить место основанной на более гибких началах отвлечённой форме нравственного порядка, который говорит о том, что должно быть.

Описания попыток Христа переступить через (опасные, однако, необходимые) ограничения поведения, навязанные приверженностью букве закона, принимают вид **повествования о парадоксе**. Можно было бы сказать, что Христос представляет (или ему представляют) ряд гордиевых узлов – нравственных затруднений, – которые возникают как неизбежное следствие строения списка законов. Он играет в страшно опасную игру со светскими представителями традиционного тогда порядка, представленными в Новом завете в виде "книжников и фарисеев", дразняще втягивая их в похожие на коаны загадки, которые возникают как следствие их собственных верований:

"В субботу, первую во втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками.

Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?⁵⁵⁹

Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?

Как он вошёл в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?⁵⁶⁰

И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы.

Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая.

Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него.

Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на средину. И он встал и выступил.

Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Они молчали.

И посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая.

Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом" (Лука, 6 : 1 – 11).

Подобным же образом:

"Случилось Ему в субботу придти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за Ним;

И вот, предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью.

По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: позволительно ли врачевать в субботу?

Они молчали. И прикоснувшись исцелил его и отпустил.

При сём сказал им: если у кого из вас осёл или вол упадёт в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?

И не могли отвечать Ему на это" (Лука, 14 : 1 – 6).

А также:

"И проходя увидел человека, слепого от рождения.

Ученики Его спросили у Него: Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божии;

Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать;

Доколе Я в мире, Я свет миру.

Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому.

И сказал ему: пойдй, умойся в купальне Силоам, что значит «посланный». Он пошёл, и умылся, и стал зрячим.

Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни?

Иные говорили: это он. А иные: похож на него. Он же говорил: это я.

Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?

Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: «Пойди на купальню Силоам и умойся». Я пошёл, умылся, и прозрел.

Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.

Повели сего бывшего слепца к фарисеям.

А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.

Спросили у него также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.

Тогда некоторые из фарисеев говорили: Не от Бога этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря.

Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нём, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк.

Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего

И спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?

Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым;

А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем: сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет.

Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги;

Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах, самого спросите.

Итак вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.

Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу.

Снова спросили его: что сделал Он с тобою? Как отверз твои очи?

Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что ещё хотите слышать? Или и вы хотите сделаться Его учениками?

Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики;

Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, Сего же не знаем, откуда Он".

(Иоанн, 9 : 1 – 29).

А также:

"Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима;

И увидевши некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками, укоряли.

Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук;

И пришедши с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей.

Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?

Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: «Люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня;

Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Марк, 7 : 1 – 7).

Пиаже – в том, что можно было бы рассматривать как подлинный комментарий к этим историям, – отличает "нравственность ограничения" от "нравственности сотрудничества",⁵⁶¹ описывая первую как "систему правил"⁵⁶², которые используются в эмоциональной жизни, чтобы управлять поведением⁵⁶³.

"...так как ребёнок понимает правила буквально, а хорошие дела только в смысле послушания, он сначала оценивает поступки не в соответствии с мотивом, который побудил их совершить, а в смысле их точного соответствия установленным правилам".⁵⁶⁴

Пиаже связывает нравственность ограничения с более ранним уровнем познавательного развития – уровнем, который, тем не менее, служит необходимой предпосылкой дальнейшего развития. Пиаже утверждает: "Для очень маленьких детей правило игры есть священная реальность, потому что оно им передано; для детей постарше оно зависит от их взаимного согласия"⁵⁶⁵. Джозеф Рыхлак по этому поводу замечает:

"Дети поменьше более суровы в определении наказания тем, кто нарушает правила. Кажется, что они хотят придать особое значение наказанию ради него самого, тогда как дети постарше используют наказание более для того, чтобы показать нарушителю правил, что узы между людьми разрываются, когда проступок имеет место. Система оценки Пиаже рассматривает управление посредством сотрудничества как более удовлетворительное для сохранения равновесия в человеческих отношениях, чем управление посредством власти. Для того чтобы правило работало без давления со стороны власти, между лицами, которые придерживаются правила, должны существовать чувства взаимного уважения⁵⁶⁶. Это непременно привносит эмоциональность в соображения нравственности. Самовластное вынуждение правит посредством эмоций тревоги и страха, но, когда между людьми существует взаимное уважение, вступает в силу нравственность сотрудничества".⁵⁶⁷

Нравственность традиции не основана на тех же самых предпосылках, что и нравственность сотрудничества. Строгие сторонники традиций предполагают, что ответ на вопрос: "что такое добро?" может быть получен – уже был получен – надолго и конкретно заданием списка законов. Такой список, однако, всегда недостаточен для целей совершенного приспособления к окружающей среде. Лао-цзы мог с достаточным основанием говорить об этом:

"Человек, который поистине мудр и добр,
не оставляет ничего, что надо было бы сделать, несделанным,
а тот, кто только поступает
в соответствии с законом его государства,
оставляет несделанными много вещей".⁵⁶⁸

Приверженцы традиции полагаются на приписывание сверхчеловеческой ценности образам предков и, в равной степени, их современным светским и духовным представителям. Напротив, те, кто принимает нравственность сотрудничества, ценят понятие "взаимного уважения", которое означает одновременное понимание равенства и взаимной ценности среди лиц внутри общественных групп и, гораздо более коренным образом, между общественными группами.

Поведение любой данной общественной группы – и, следовательно, ценность приписываемая явлениям, образующим общую территорию группы, – возникает вследствие необходимости поддержания равновесия между **возможностью свободного выражения личных желаний и ограничением столкновений между личностями**. Такое равновесие, жизненно важное для

поддержания устойчивости группы, устанавливается **задолго до того**, как "правила", управляющие таким установлением, могут быть оформлены в эпизодической или семантической памяти. Даже простейшие общественные животные создают иерархию преобладания и ведут себя, "как будто" в соответствии с принципами. Было бы, однако, глупостью предполагать, что более простые животные, чем человек, могут отвлечённо представлять своё поведение – что означает создавать свой образ как модель в их воображении – или понимать "принципы", которые им управляют. Подобно этому в сложных человеческих обществах готовящиеся к жизни в обществе дети воплощают нравственность своей культуры в их поведении задолго до того, как они станут способными представлять или семантически описывать основы этой нравственности, и **до того, как они смогут сознательно (эпизодически или семантически) запоминать обучение тому, как себя вести**. То же самое может быть сказано и о взрослых: существование нравственности, этой внутренней стороны общественного поведения, надолго предшествует представлению о нравственности и разумному описанию оснований для её существования. Нравственность на её самом существенном уровне является неожиданно возникающим качеством общественного взаимодействия, воплощённым в личном поведении, неявно присутствующим в той ценности, которая приписывается предметам и ситуациям, и (бессознательно) основанным на процедурном знании.

Из такого обсуждения естественно возникают два вопроса: "возможно ли извлечь из наблюдения за общественными взаимодействиями «правила» или образцы, которые отличают такие взаимодействия?" и, если это так, "каковы могли бы быть эти «правила»?" Культура первобытной группы обуславливает природу общественного взаимодействия между членами этой группы и привносит общие ожидания, предсказуемость в столкновения между по-разному желательными, могущественными и опасными лицами этой группы. **Простой факт наличия устойчивой иерархии подразумевает существование сложной процедурной нравственности** (и неявной системы ценностей). Поведение общественных животных в пределах иерархии представляет собой **фактическое** признание сложных нравственных "принципов", неизбежно и неожиданно возникающих в обществе. Для группы как целого очень опасно, если какой-либо из её членов постоянно вовлечён в напряжённое физическое соперничество. Истощение сил членов группы или их полное уничтожение означает возросшую опасность нападения извне и снижение способностей группы как целого к размножению и творчеству в области отвлечённых представлений. Физическое соперничество среди общественных животных, необходимое для установления иерархии господства, обычно имеет обрядовую природу и кончается задолго до нанесения существенного вреда или смерти. Общественные животные выработали, например, знаки выражения подчинения, которые показывают их готовность окончить борьбу за власть. Эти знаки обычно уважаются победителем. Самый могущественный представитель данной общественной группы может дойти – по крайней мере при некоторых обстоятельствах – до того, чтобы господствовать над группой, но это господство принимает ограниченную форму. Даже самые господствующие из животных должны поступать "как будто": **как будто выражение их власти ограничено признанием необходимости поддержания группы и тех лиц, которые составляют и поддерживают её, даже если все эти лица слабее господствующих**. Это ограничение, отчасти проявляющееся в общественной привязанности, предоставляет главную предпосылку возникновения сложной отвлечённой нравственности, которая берёт начало во врождённом и обобществлённом процедурном знании, являющемся, в сущности, "бессознательным", то есть неизобразимым или неопишуемым. Не слишком трудно узнать в этом ограничении нравственное повеление: "обращайся со слабыми так, как будто они тоже являются ценными", – как настаивали ветхозаветные пророки – или даже: "люби ближнего твоего – даже врага, – как самого себя". Рассмотрим первую проповедь Христа:

"И пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по обыкновению Своему, в синагогу, и встал читать.

Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано:

«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,

Проповедывать лето Господне благоприятное».

И закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него.

И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.
И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?
Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: Врач! Исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоём отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме.
И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своём отечестве.
По истине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле;
И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую;
Много также было прокажённых в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина.
Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости,
И вставши выгнали Его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его;
Но Он, прошед посреди них, удалился.
И пришёл в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние.
И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью" (Лука, 4 : 16 – 32),

а также:

"И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские.
И вот, женщина Хананеянка, вышедши из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, Сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется.
Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его приступивши просили Его: отпусти её, потому что кричит за нами.
Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.
А она подошедши кланялась Ему и говорила: Господи! Помогите мне.
Он же сказал в ответ: не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
Она сказала: так, Господи! Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.
Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! Велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь её в тот час" (Матфей, 15 : 21 – 28).

Царство небесное, как его представлял себе Иисус, населяли не только чужестранцы – включение достаточно неприемлемое, – но и все, кто, согласно господствующей нравственности, считались ненужными или грешными: проститутки, сборщики налогов, больные, безумные и, самое основное, враги. Это, конечно, не означало конца нравственности – не означало установления общества без всяких властей, где все были бы равными и поэтому одинаково ничего не стоящими (где участь нераскаянного и продолжающего заниматься своим ремеслом палача и настоящего святого заслуживали бы одинаковой чести), – а было изображением состояния, где прошлая жизнь или обстоятельства рождения, какими бы они ни были жалкими, не определяли окончательно ценности настоящего или возможностей будущего.

Крайне радикальный характер этой точки зрения глубоко смущал приверженцев традиции в обществе, где жил Христос. Его пример был упрёком для их действий; его философия была угрозой для того, что они считали самым дорогим. Вследствие этого они постоянно пытались вынудить его сделать какое-либо непоправимо преступное или еретическое утверждение. Эти попытки часто обращались против них самих:

"Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах.
И посылают к Нему учеников своих с иродиянами, говоря: Учитель! Мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице;
Итак скажи нам: как Тебе кажется? Позволительно ли давать подать кесарю, или нет?
Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?
Покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий.
И говорит им: чьё это изображение и надпись?
Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.

Услышавши это, они удивились и, оставивши Его, ушли" (Матфей, 22 : 15 – 22),

а также:

"Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе обедать; Он пришёл и возлёг. Фарисей же удивился, что Он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! Не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть: тогда всё будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даёте десятину с мяты, руты и всяких овощей и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал Ему: Учитель! Говоря это, Ты и нас обижаешь. Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобноносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши: Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними; ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят; Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, От крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разума: сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое, Подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его" (Лука, 11 : 37 – 54).

Способность Христа выпутываться из словесных ловушек возбуждала фарисеев, которые пытались со всё большей изошрённостью раз и навсегда загнать его в тупик:

"И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим»; Сия есть первая и наибольшая заповедь; Вторая же, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»; На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки" (Матфей, 22 : 35 – 40).

Сила этого совершенно неожиданного ответа – в сочетании с тем, что Христос очевидно в совершенстве владел традиционными знаниями (Матфей, 22 : 42 – 45), – заставила на время замолчать его критиков:

"И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его" (Матфей, 22 : 46).

Ответ Христа означал переход нравственности от опоры на традицию к опоре на личную совесть – от власти закона к власти духа – от запрещения к увещанию. Любить Бога – это значит прислушиваться к голосу истины⁵⁶⁹ и действовать в соответствии с тем, что он говорит; любить ближнего твоего, **как самого себя**. Это значит не только быть приятным, вежливым и

дружелюбным, но и ценить другого как личность – которая, несмотря на внешнюю видимость, является представителем Бога – и поступать в соответствии с этой оценкой. Этот переход означает установление деятельного динамического равновесия между соперничающими побуждениями, имеющими субъективную основу, при поддержании и творческом видоизменении общественной и естественной окружающей среды; означает удовлетворение личных и общественных потребностей в соответствии с метанравственными принципами, а не в соответствии с требованиями власти или догматической традиции. Таким образом, процесс, посредством которого традиция порождается, неизбежно противопоставляется самой традиции:

"Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение;
Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться: трое против двух, и двое против трёх;
Отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери и дочь против матери;
свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей"
(Лука, 12 : 51 – 53).

Это в самом истинном смысле означает смерть немыслищей приверженности к власти правил прошлого, такой, как в первобытном обществе:

"В обычные времена, когда культура устойчива, а отеческий канон остаётся в силе в течение поколений, отношение отца к сыну состоит в передаче этих ценностей сыну и во внушении их ему после того, как он пройдёт испытания посвящения в зрелость. Такие времена и психология, которая им сопутствует, отличаются тем обстоятельством, что в них нет проблемы отцов и детей или есть только самый слабый намёк на неё. Нас не должен вводить в заблуждение отличный от этого опыт нашего собственного «необычайного» века. В устойчивой культуре однотонное единообразие отцов и детей является правилом. Это единообразие означает только, что отеческий канон обрядов и установлений, который делает юношу взрослым, а его отца – старцем, обладает неоспоримой властью, так что молодой человек подвергается предписанному ему переходу так же естественно, как его отец – своему переходу к старости.

Из этого, однако, есть одно исключение, и этим исключением является творческая личность – герой-исследователь. Как говорит Барлах, этот герой должен «пробудить спящие образы будущего, которые могут выступить из ночи, для того чтобы придать миру новый и лучший внешний вид». Это непременно превращает его в нарушителя старого закона. Он враг старой правящей системы, старых культурных ценностей и существующего суда совести и поэтому обязательно приходит в столкновение с отцами. В этом столкновении его «внутренний голос», приказ его надличного отца, или прообраза отца, который хочет, чтобы мир изменился, вступает в противоречие с его личным отцом, высказывающимся за старый закон. Мы лучше всего знаем об этом столкновении из библейской истории о приказе Иеговы Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе» (Бытие, 12 : 1), который мидраш (Bin Gorion, Sagen der Juden, vol. II, «Die Erzvater», XI) истолковывает как означающий, что Авраам должен уничтожить богов своего отца. Миссия Иисуса есть только развитие того же самого конфликта, и он повторяется в каждом перевороте. Сталкивается ли новое изображение Бога и мира со старым изображением или с личным отцом героя, это неважно, ибо этот отец всегда представляет старый порядок, а потому также и старые изображения, имеющие хождение в его культурном каноне".⁵⁷⁰

На каком принципе основана власть скорее духа, чем закона? На уважении к врождённо героической природе человека. "Бессознательный" человек первобытного общества подражает конкретному приспособительному поведению, включённому, однако, в некую структуру из процедур, содержащую все другие типы приспособительного поведения, способные к тому, чтобы вынудить подражание, и сопровождаемые эпизодическим или семантическим представлением в мифе. Донаучные культуры рассматривают первоначальное установление приспособительного поведения как божественное, во-первых, потому что оно следует типичному, то есть надличному, образцу, а во-вторых, потому что оно

вынуждает подражание и поэтому кажется обладающим властью. Всякое поведение, способное изменять историю и вызывать подражание, следует одному и тому же образцу – образу божественного героя, воплощающего творческие способности человека. Для первобытного человека именно последствия такого героизма, как и сами конкретные поступки героя, составляют суть прошлого. Однако процесс подражания и его отвлечённые видоизменения способствуют постоянному прояснению этой сути, и в итоге представление отвлечённых, но определённых героических поступков замещается изображением героизма самого по себе. Тут настанет момент, когда у творческой личности появится возможность подражать самому процессу искупления мира и сознательно воплощать его.

Закон – это необходимая предпосылка спасения: необходимая, но недостаточная. Закон задаёт границы, которые ограничивают хаос и защищают созревание личности. Закон дисциплинирует возможности и позволяет дисциплинированной личности подчинить свои возможности – этих внутридушевных духов – сознательному контролю; позволяет применение такой возможности и к задачам творческой, мужественной жизни; допускает контролируемый приток живой воды в долину смертной тени. Напротив, закон, считающийся абсолютным, ставит человека в положение вечного подростка, зависящего от своего отца в принятии каждого важного решения; снимает с человека ответственность за поступки и тем самым мешает ему открыть скрытое величие своей души. Жизнь без закона остаётся совершенно беспорядочной, эмоционально невыносимой. Жизнь, которая есть чистый закон, делается бесплодной и одинаково невыносимой. Господство хаоса или бесплодности в равной степени вызывают смертоносную обиду и ненависть.

Христос представлял царство небесное (типичную цель) как духовное царство, что должно означать психологическое, а значит, межличностное состояние. Это состояние отличалось от предполагаемой земли обетованной, описанной в Ветхом завете, следующими жизненно важными особенностями. Во-первых, его достижение было итогом сознательного изменения личного отношения, т. е. точки зрения, а не достижением некоей вершины физическим трудом и естественной изобретательностью. Во-вторых, оно было основано на революционном, парадоксальном переосмыслении сущности цели – самого рая. Жизнь и слова Христа – как типичный пример героического образа жизни – явно указывают на особую значимость скорее самого процесса жизни, чем её плодов. Смыслом симфонии является не её последняя нота, хотя она непреклонно продвигается к завершению. Подобным же образом целью человеческой жизни является не установление некоего неподвижного, совершенного образа жизни – человек нашёл бы такое совершенство невыносимым, как это хорошо показал Достоевский. Такой целью скорее является способность сосредоточиваться на врождённо интересных и эмоционально значительных событиях настоящего, достаточно осознанных и прояснённых, чтобы уже не заботиться о прошлом и будущем. Христос говорит:

"Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, ни прядут;
Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них;
Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, малOVERы!
Итак не заботьтесь и не говорите: «Что нам есть?» или: «Что пить?» или: «Во что одеться?»
Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом.
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам.
Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы" (Матфей, 6 : 28 – 34).

"Довольно для каждого дня своей заботы" не означает "живи жизнью кузнечика, а не муравья: пой летом и голодай зимой ", но сосредоточивайся на задаче, которая близка, и откликайся на ошибку, когда она совершена. Будь внимателен и, когда твоё поведение вызывает последствия, которые ты находишь невыносимыми, измени его: неважно, что потребуется, чтобы вызвать такое изменение. Дай сознанию твоих современных недостатков поддерживать своё постоянное присутствие, чтобы ты не совершал греха гордости и не стал непреклонным, жёстким и мёртвым духом. Живи с полным признанием своих способностей к

ошибкам и к исправлению таких ошибок. Продвигайся в доверии и вере; не отступай назад, избегая неизбежного соприкосновения с ужасным неизвестным, чтобы жить в норе, которая делается всё меньше и темнее.

Значение Страстей Христовых – это превращение процесса достижения цели в саму цель: превращение "подражания Христу" – так сказать, обязанности каждого христианина – в воплощение мужественного, воистину личного, единственного в своём роде существования:

"Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною;

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её;

Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?" (Матфей, 16: 24 – 26).

Как сказал Христос, поставьте истину и заботу о божественном в человеческой природе выше всего другого, и всё, что вам нужно, последует: не всё, что вы думаете, что оно вам нужно, ибо такая мысль подвержена ошибкам и не может служить правильным руководством; но всё, что на самом деле необходимо, чтобы сделать сносной обострённо (само)сознательную жизнь, без защиты заблуждения и необходимости прибегать к обману, избегать столкновения с неизвестным или подавлять и насиловать. Эта мысль представлена в образной форме на рисунке 61 "Мировое древо смерти и искупления"⁵⁷¹, который изображает "гостию" как второй плод Мирового древа.



Рисунок 61

Поедание первого плода вызвало грехопадение человека; поедание второго спасает тех, которые пали. Отрицательная женственность в виде Евы подаёт яблоко в виде черепа; положительная женственность в виде Церкви раздаёт пшеничные облатки, которые служат отличительным признаком Испытателя. Принятие "таинственного тела Христова" во время обедни – это драматическое представление той мысли, что этот герой должен быть телесно включён в каждую личность, что каждый должен быть причастным сущности Спасителя.

С восточной точки зрения жизнь, отличающаяся наличием такой сущности, проходит на пути смысла, в Дао, уравновешенном на лезвии бритвы между мифологическими мужественным и женственным началами, уравновешенном между потенциально уничтожающей безопасностью порядка и врождённо разрушительными возможностями хаоса. Такая жизнь допускает внесение достаточно сносного смысла в блаженную безопасность; делает каждого человека стойким хранителем традиции и неустрашимым исследователем неизвестного; обеспечивает одновременно прогресс и поддержание устойчивой, динамичной общественной жизни; и твёрдо направляет этого человека на путь внутридушевной целостности и духовного мира:

"Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне;

И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне" (Матфей, 7 : 24 – 25).

5.3.2. Алхимическая процедура и философский камень

5.3.2.1. Предварительное замечание

5.3.2.1.1. Часть первая

"Западные алхимики следовали сценарию процесса трансмутации – то есть добывания философского камня – из четырёх стадий, известному уже в эллинистическую эпоху. Первая стадия (nigredo) – возвращение материи к жидкому состоянию – соответствует смерти самого алхимика. Согласно Парацельсу «тот, кто хотел бы войти в Царство Божие, должен сперва войти своим телом в свою мать и там умереть». «Мать» – это первичная материя, смешанная масса, бездна.⁵⁷² Некоторые тексты придают особое значение согласованию между алхимическим действием и личным опытом алхимика. «Вещи делаются совершенными посредством им подобных, и вот почему работник должен принимать участие в работе». ⁵⁷³ «Преврати себя из мёртвых камней в живые философские камни», – пишет Дорн. Согласно Гихтелю «мы не только получаем с этим восстановлением новую душу, но также и новое Тело. Это Тело извлекается из божественного слова или из божественной Софии». То, что алхимическое действие не является делом только лабораторных операций, доказывается настойчивыми требованиями, предъявляемыми к достоинствам и добродетелям алхимика: последний должен быть здоровым, смиренным, терпеливым, целомудренным; он должен обладать свободным духом и быть в согласии со своей работой; он должен и работать, и размышлять.

Для наших целей нет необходимости подводить итоги других стадий действия. Давайте, однако, отметим парадоксальные свойства первичной материи и философского камня. Согласно учению алхимиков они должны находиться везде и во всех видах; и они обозначаются сотнями терминов. Если процитировать только один текст 1526 года, философский камень «хорошо знаком всем людям, и молодым, и старым; он находится в сельской местности, в деревне и в городе, во всех вещах, созданных Богом; однако все его презирают. Богатые и бедные держат его в руках каждый день. Его выбрасывают на улицу служанки. С ним играют дети. Однако никто его не ценит, хотя, после человеческой души, это самая прекрасная и самая драгоценная вещь на свете [и имеет власть свергать королей и князей. Тем не менее его считают самой низкой и самой посредственной из земных вещей...]⁵⁷⁴» Он поистине является предметом «тайного языка», который одновременно служит как для выражения опыта, не передаваемого иначе как

посредством обычного языка, так и для скрытого сообщения сокровенного смысла символов.

Философский камень делает возможным отождествление противоположностей.⁵⁷⁵ Он очищает и «совершенствует» металлы. Именно арабские алхимики придали философскому камню лечебную силу, и именно через посредничество арабской алхимии понятие эликсира жизни достигло Запада.⁵⁷⁶ Роджер Бэкон говорит о «лекарстве, которое заставляет исчезнуть всякие загрязнения и всякую порчу самого неблагородного металла» и которое может продлевать человеческую жизнь на несколько столетий. Согласно Арнольду из Вилановы философский камень исцеляет все болезни и делает стариков молодыми.

Что касается процесса превращения металлов в золото, засвидетельствованного уже в китайской алхимии, то он ускоряет временной ритм и тем самым вносит свой вклад в дело природы. Как написано в книге «Summa perfectionis», алхимической работе шестнадцатого века, «то, чего Природа не может усовершенствовать в течение огромного промежутка времени, мы можем достичь своим искусством в течение короткого промежутка». Ту же самую мысль излагает Бен Джонсон в своей пьесе «Алхимик» (Действие 2, явление 2). Алхимик утверждает там, что «свинец и другие металлы... стали бы золотом, если бы у них было время», а другое действующее лицо добавляет: «И этому наше искусство действительно способствует».⁵⁷⁷ Иными словами, алхимик замещает собой время.⁵⁷⁸

Принципы традиционной алхимии – то есть рост полезных ископаемых, превращение металлов в золото, существование эликсира жизни и обязанность хранить тайну – не оспаривались во времена Возрождения и Реформации.⁵⁷⁹ Однако кругозор средневековой алхимии изменился под влиянием неоплатонизма и герметизма. Уверенность, что алхимия может помочь делу Природы, получила христологическое значение. Теперь алхимики утверждали, что точно так же, как Христос спас человечество своей смертью и воскресением, так и алхимическое действие может обеспечить спасение Природы. Генрих Кунрат, знаменитый герметист шестнадцатого столетия, отождествлял философский камень с Иисусом Христом, «Сыном Макрокосма». Кроме того, он думал, что открытие философского камня раскроет истинную природу макрокосма, таким же точно образом, как Христос принёс духовную полноту человеку – то есть микрокосму. Убеждение, что алхимическое действие может спасти как человека, так и Природу, продлеvalo тоску по коренному обновлению, тоску, которая преследовала западное христианство со времён Иоахима Флорского".⁵⁸⁰

Карл Юнг во второй половине своей жизни посвятил огромное внимание писаниям алхимиков. Эти усилия только подлили масла в огонь для тех, кто клеймил его как чудака из-за его интереса к психологии религии (которая, в конце концов, является существенной стороной человеческой психологии и культуры). Даже получивший Пулитцеровскую премию социолог Эрнест Беккер, который был благосклонно (хотя и критически) расположен к притязаниям психоаналитической мысли, заявил: "Я не вижу, чтобы все тома [Юнга] по алхимии добавили хоть капельку к психоаналитическому пониманию".⁵⁸¹

Многие люди – некоторые с выдающейся научной репутацией – предостерегали меня против обсуждения идей Юнга, предупреждали меня, чтобы я даже не упоминал его имени в научной обстановке. Большинство из них поступали так, исходя из моих самых лучших интересов, в профессиональном смысле. Я когда-то прочёл историю, которая может быть и недостоверна, о Поле Рикёре, французском философе и литературном критике. Кто-то упомянул об особой полезности работы Юнга в области исследований Рикёра. Рикёр отвечал: "Я не читал Юнга. Во Франции его работы занесены в Индекс". (В этом ироническом ответе Рикёр, конечно, имеет в виду католический Индекс – перечень материалов, которые запрещены для чтения набожным последователям этого вероучения.)

Я, однако, никогда не встречал никого, кто бы на самом деле понимал, о чём говорит Юнг, и кто был бы одновременно в состоянии представить обоснованную критику его идей. Юнговские представления часто смешиваются с фрейдовскими – насколько те понятны. Сам Фрейд, конечно, никогда не делал этой ошибки. На самом деле именно понимание Фрейдом глубокого и непримиримого различия своих мыслей и мыслей Юнга привело к их

профессиональному и личному отчуждению.⁵⁸² Идеи Юнга не являются главным образом фрейдистскими. Он не придаёт большого значения половой стороне или роли испытанной в прошлом травмы при анализе современного душевного состояния. Он отвергал представление об Эдиповом комплексе (на самом деле он переистолковал этот комплекс гораздо более неотразимым и полным образом). Он рассматривал религию не как простую невротическую защиту от тревоги, а как важное средство приспособления к окружающей среде. Гораздо более точно рассматривать его не как фрейдовского "ученика", а как идейного потомка Гёте и Ницше, на развитие которого наверняка повлияло представление о бессознательном.⁵⁸³ По сути, Юнг затратил много лет своей жизни, отвечая – или пытаясь ответить, – на вопросы Ницше о нравственности.

Кроме того, Юнг не был "мистиком". Он просто копался в областях, которые из-за своих связей с религией считались запретными для преданных науке учёных, и обладал достаточными умом и образованием, чтобы этим заниматься. Наклеивать на него уничижительные ярлыки – значит заявить об односторонности своего мышления. Юнг был, по сути, учёным-экспериментатором немалых способностей, особенно в начале своей научной деятельности. Многие из тестов на связи между словами, которые он помогал ввести в практику научных исследований, всё ещё широко используются, с кое-какими техническими изменениями (и малым признанием их первоначального источника) в областях познавательной неврологии и общественной психологии. Сдача Юнга в архив – проявление одностороннего подхода, потому что экспериментальные процедуры представляют, в самом лучшем случае, один полюс двухполюсного процесса научного исследования. Хорошо продуманный опыт, если он проводится надлежащим образом, позволяет испытывать идеи. Однако идеи, которые испытываются, сами должны быть порождены: общее место, которое часто упускают из виду в ходе современного научного образования. И именно в этих стремлениях Юнг преуспел. Кое-кто мог бы возразить: его идеи не могут быть подвергнуты проверке. Но они уже были ей подвергнуты: ранее описанный эксперимент Джерома Брунера с классификацией карт⁵⁸⁴ даёт классический и поразительный пример такой проверки (хотя его результаты никогда не истолковывались с точки зрения юнговской мысли). Кроме того, одна из осей деления личностей на два класса – интровертов и экстравертов, – которое он предложил, выстояла хорошо и кажется здоровой перед лицом повторного экспериментального исследования.⁵⁸⁴ К тому же "бессознательное" полно "комплексов", хотя теперь они выступают под другими именами.⁵⁸⁵ Может быть, в будущем мы станем более утончёнными в нашей постановке опытов и в нашем понимании идей Юнга, чтобы подвергнуть испытанию побольше из них.

Юнг был главным образом врачом, что означает, что его заботили вопросы поддержания душевного здоровья. Он считал, что такое поддержание невозможно и, может быть, даже вредно при недостатке понимания природы ценности и тех процессов, посредством которых порождаются ценности. Исследование природы ценности привело его к рассмотрению фантазии и мифа. Мир ценности – это мир в воображении, заключающий в себе ставший внутренним итог исторически обусловленного общественного договора, который задаёт установленное определение эмоционального и мотивационного значения. Понимание этого обстоятельства привело Юнга к анализу фантазий, порождённых его страдающими серьёзным душевным расстройством пациентами, и сравнению этих фантазий, которые он не был расположен до всякого опыта считать бессмысленными, с представлениями, созданными религиозными мистиками целого ряда "первобытных" и утончённых культур, с огромной массой литературных произведений, принадлежащих восточной и западной традиции, с образами, созданными в снах (по его собственной оценке этих снов было больше 25 тысяч), и тщательным исследованием алхимической символики. Этот подход к проблеме ценности с точки зрения многих наук и разных культур кажется по меньшей мере эмпирическим, если не экспериментальным, и остаётся чрезвычайно разумным при отсутствии более подходящей методологии. (Выдающийся социобиолог Е. О. Вильсон, по сути, недавно высказался в пользу принятия такой "учитывающей много уровней" аналитической процедуры, под видом "согласования", чтобы объединить естественные, общественные и гуманитарные науки.⁵⁸⁶)

На идеи Юнга – в особенности на его "алхимические" идеи – несоответственно, несправедливо и опасно не обращали внимания. Изучающие их оказались вне основных направлений научных исследований (часто ими были женщины). На них не обращали

внимания, так как они представляли собой опасный вызов – по моему мнению совершенно роковой вызов – фрейдовским психоаналитическим предубеждениям. Их не замечали потому, что Юнг принимал пугающие и таинственные утверждения религии всерьёз; предполагал, что такие утверждения, которые успешно направляли человеческое приспособление к окружающей среде в течение тысячелетий, обладают некоторым значением, имеют какой-то смысл. Они оставались неисследованными, потому что психология, самая молодая, самая рациональная и самая детерминистическая из наук больше всего боится религии. На них не обращали внимания, потому что они исключительно трудны и с понятийной, и с эмоциональной точки зрения. Что это за идеи – трудно определить. Что они означают, даже будучи поняты, – эмоционально неприемлемо. По существу, Юнг описывал природу "языка" воображения, того древнего процесса – повествования, эпизодической системы памяти, – о котором он, в основном, думал, как о коллективном бессознательном. Понимание такого языка, может быть, гораздо более затруднено, чем развитие свободного владения иностранным языком, так как оно обязательно и неизбежно меняет современные нравственные предположения. Именно это последнее и явилось причиной неприятия юнговских идей. С нравственной точки зрения Юнг был не меньшим революционером, чем Мартин Лютер. Он с достаточным основанием может рассматриваться как деятель в традиции Лютера. Кроме того, нравственный переворот – это наиболее ужасный и неудобный из всех внутридушевных и общественных процессов. Следовательно, именно отпугивающее содержание мыслей Юнга главным образом и вызывает их неприятие.

В ходе своего анализа алхимии Юнг, по существу, открыл природу общего человеческого образа приспособления и отличительное выражение этого образа в фантазии и эмоции. Конкретное представление этого образа приспособления в более узкой области научных устремлений было обрисовано гораздо позже, с гораздо более широким пониманием и одобрением со стороны других учёных, Томасом Куном. Юнг пишет:

"Если вы почитаете историю развития химии и, в особенности, физики, то вы увидите, что даже... точные естественные науки [такие, как химия и физика] не могли и всё ещё не могут обойтись без того, чтобы основывать свои системы мышления на некоторых гипотезах. Вплоть до конца восемнадцатого столетия одной из рабочих гипотез, к которой пришли или бессознательно, или полусознательно, в классической физике было то, что пространство имеет три измерения, – представление, которое никогда не подвергалось сомнению. Это обстоятельство всегда принималось, и перспективные изображения физических событий, диаграмм или экспериментов всегда находились в согласии с этой теорией. Только тогда, когда эта теория была оставлена, стали действительно удивляться, как в неё когда-либо могли поверить. Как человек приходит к такому представлению? Почему мы были так им захвачены, что никто и никогда не сомневался или даже не обсуждал этого вопроса? Это представление было принято как самоочевидное, но что лежало в его основе? Иоганн Кеплер, один из отцов современной или классической физики, говорил, что пространство естественно имеет три измерения из-за того, что Бог есть Троица! Так что наша готовность поверить в то, что пространство имеет три измерения, является более недавним отпрыском христианского представления о триничности Бога.

Кроме того, до настоящего времени европейский научный дух был одержим идеей причинности – идеей, до сих пор принимаемой без возражений: всё было причинным, и научное отношение состояло в том, что все исследования должны производиться, имея в виду эту посылку, ибо у всего должна быть разумная причина. Если что-то казалось неразумным, то верили, что его причина ещё не известна. Почему же над ними так властвовала эта идея? Одним из главных отцов естественных наук – и великим поборником безусловности идеи причинности – был французский философ Декарт, и он основывал свою веру в причинность на неизменности Бога. Учение о неизменности Бога является одним из христианских догматов: Божество неизменно, в Боге не должно быть внутренних противоречий, или новых мыслей, или понятий. Такова основа идеи причинности! Со времён Декарта и далее эта идея казалась всем физикам настолько самоочевидной, что насчёт неё не возникало сомнений. Наука просто должна исследовать причины явлений, и мы всё ещё верим в это. Если что-то упадёт вниз, то надо узнать

почему: должно быть, его сдул ветер, или произошло нечто подобное, а если не обнаружится никакой причины, то, я уверен, половина из вас скажет, что мы ещё не знаем этой причины, но что такая должна быть! Наши типичные предрасудки настолько сильны, что мы не можем защищаться от них, они нас просто захватывают.

Покойный профессор Вольфганг Паули, физик, часто наглядно показывал, до какой степени современная физическая наука некоторым образом коренится в идеях архетипов. Например, представление о причинности, сформулированное Декартом, вызвало огромный прогресс в исследовании света, в исследовании биологических явлений, но то, что содействует познанию, становится его тюрьмой. Великие открытия в естественных науках обычно вызываются появлением нового типа модели, посредством которой можно описывать реальность. Такое появление обычно предшествует большому развитию, ибо теперь имеется модель, которая даёт возможность более полного объяснения, чем было до тех пор возможно.

Так развивалась наука, однако любая модель всё-таки становится своего рода тюрьмой, ибо если кто-либо наталкивается на явления, которые трудно объяснить, то вместо того, чтобы приспособливаться к действительности и говорить, что эти явления не согласуются с этой моделью и что надо найти новую гипотезу, люди цепляются за свои предположения со своего рода эмоциональным убеждением и не могут быть объективными. Почему не должно быть более трёх измерений, почему не исследовать и не посмотреть, где мы находимся? Но этого люди не делали.

Я вспоминаю очень хороший пример, приведённый одним из учеников Паули. Вы знаете, что теория эфира – а именно что в космосе существует огромная похожая на воздух среда, в которой распространяется свет, и так далее – играла огромную роль в семнадцатом и восемнадцатом столетиях. В один прекрасный день, когда некий физик на международном конгрессе доказывал, что теория эфира совершенно ненужна, поднялся старик с седой бородой и дрожащим голосом произнёс: «Если не существует эфира, то всё пропало!» Этот старик бессознательно перенёс своё представление о Боге на эфир. Эфир был его Богом, и если у него не было эфира, то не оставалось ничего. Этот человек был достаточно простодушен, чтобы высказать свои мысли, но у всех людей, занимающихся естественными науками, есть первичные модели реальности, в которые они верят, просто как в Святого Духа.

Такие модели являются делом веры, а не науки, и поэтому их невозможно обсуждать, а люди становятся возбуждёнными и фанатичными, когда им представляют факт, который не влезает в рамку...⁵⁸⁷

А также:

"Таким образом, архетип способствует выдвижению идей, и он также вызывает эмоциональные ограничения, которые мешают отказу от более ранних теорий. На самом деле это только подробность или особый вид того, что происходит повсюду в жизни, ибо мы не можем ничего распознать без предположений. Но это является также и главным препятствием к истине. Если кто-либо встретит незнакомую женщину, то невозможно завести с ней знакомство, ничего не предполагая. Нужно делать предположения, что, конечно, делается совершенно бессознательно: та женщина – пожилая, и, вероятно, в ней есть нечто материнское, она нормальный человек и так далее. Вы выдвигаете предположения, и тогда у вас есть к ней мост. Когда вы лучше узнаете этого человека, то многие более ранние предположения приходится отбросить, и вам придётся признать, что ваши выводы были неправильны. Если этого не произойдёт, они будут мешать вам в вашем знакомстве.

Сначала человек должен предполагать, иначе не будет знакомства. Затем он должен быть в состоянии исправлять, то, что он напредполагал, и точно так же обстоит дело не только в том, что касается людей, но и во всём остальном. В нас по необходимости должен работать механизм, выдвигающий предположения. Без его бессознательного действия ничего невозможно даже увидеть. Вот почему согласно индийской философии вся реальность есть создание предположений, чем она и является с субъективной стороны"⁵⁸⁸

Я не могу понять, как кто-нибудь, читающий эти отрывки, может не увидеть их явной связи с более общепринятыми справедливо знаменитыми представлениями Куна. Юнг первым поставил вопрос: "Что происходит с (парадигматической) структурой представления в чём-либо уме – в душе человека, в человеческом обществе, – когда аномальная информация революционного значения окончательно принимается как достоверная?", а затем ответил на него (в моём кратком изложении): "В том, что происходит, есть порядок; у этого порядка есть биологическая, даже генетическая, основа, которая находит своё выражение в фантазии; такая фантазия предоставляет исходные данные для мифа и религии. Утверждения мифа и религии, в свою очередь, помогают направлять и укреплять революционное приспособление человека к окружающей среде". Эти ответы были отвергнуты преждевременно и без достаточного рассмотрения.

5.3.2.1.2. Часть вторая

Где находится то, что ты больше всего хочешь найти?

Там, куда ты наименее вероятно согласишься.

"In sterquiliniis invenitur"⁵⁸⁹

Рыцари короля Артура сидят за круглым столом, потому что все они равны. Они отправляются на поиски священного Грааля, который является символом спасения, вместилищем "питательной" крови Христовой, хранителем искупления. Каждый рыцарь отправляется на поиски сам по себе. Чтобы начать свои поиски, каждый рыцарь входит в лес в том месте, которое кажется ему самым тёмным.

Когда я уже почти наполовину написал эту рукопись, я поехал навестить мою невестку и её семью. У неё был сын – мой племянник – очень разговорчивый и разумный, которому было около пяти лет. Он был глубоко погружён в мир вымысла и любил одеваться, как рыцарь, в пластмассовом шлеме и с мечом.

В течение дня он был, по всей видимости, счастлив, но плохо спал: последнее время ему снились кошмары. Он, бывало, кричал посреди ночи, звал свою маму и, казалось, был сильно возбуждён тем, что происходило в его воображении, что бы это ни было.

Как-то утром я спросил его, после того как он проснулся, что ему снилось. Он сказал мне в присутствии своей семьи, что на него накидывались и кусали его похожие на карликов создания с клювами, доходившие ему до колен. Каждое создание было покрыто шерстью и жиром, а на макушке у него был выбрит крест. Во сне ему также снился дракон, который дышал огнём. Когда дракон делал выдох, огонь превращался в карликов, которые бесконечно умножались с каждым выдохом. Он рассказал свой сон родителям, мне и моей жене очень серьёзно, и мы были потрясены его наглядной образностью и ужасом.

Сон этот приснился в переломный момент в жизни моего племянника. Он расставался со своей матерью, так как должен был начать ходить в детский сад, то есть присоединился к миру общества. Дракон, конечно, служил символом самого источника страха – неизвестного, уробора, – в то время как карлики были отдельными существами, которых следовало бояться, частными проявлениями общего неизвестного.

Я спросил его: "Что бы ты мог сделать с этим драконом?"

Он сказал, без колебания и со значительным возбуждением: "Я бы взял моего папу, и мы бы пошли искать дракона. Я вскочил бы ему на голову и выколол ему глаза мечом. Потом я спустился бы по его глотке до того места, откуда выходит огонь. Я вырезал бы ящик, откуда выходит огонь, и сделал бы из него щит.

Я подумал, что это был замечательный ответ. Мальчик в совершенном виде воспроизвёл первобытный миф о герое. Мысль о том, чтобы сделать щит из топки была прямо-таки блестящей. Тем самым ему передавалась сила дракона, чтобы использовать её против дракона.

Его кошмары кончились в этот момент и более не возвращались, хотя до этого он страдал от них почти каждую ночь в течение многих месяцев. Более чем год спустя я спросил его мать насчёт его снов, и она не жаловалась ни на какое дальнейшее беспокойство.

Маленький мальчик, направляемый своим воображением, принял отождествление себя с героем и встал лицом к лицу со своим самым худшим кошмаром. Если мы должны преуспевать как личности и как общество, каждый из нас должен делать то же самое. При нашей огромной технической мощи последствия наших личных ошибок и слабостей становятся всё более и более опасными: если мы хотим постоянно усиливать наше могущество, мы должны также постоянно увеличивать нашу мудрость. К сожалению, это слишком трудная вещь, чтобы о ней можно было просить.

"In sterquiliniis invenitur" – оно будет найдено в грязи. Это, может быть, важнейшее "алхимическое" изречение. То, в чём ты больше всего нуждаешься, всегда должно обнаружиться там, где ты меньше всего хочешь его искать. На самом деле это – вопрос определения. Чем более глубока ошибка, чем более труден перелом, тем больше страха и неуверенности высвобождается в ходе перестройки. Явления, которые наиболее поучительны, часто также и наиболее болезненны. При таких условиях легко убежать прочь. Побег, однако, превращает двойственное неизвестное во что-то слишком ужасающее, чтобы его смело встретить. Принятие аномального знания приносит ужас и возможности, переворот и превращение. Неприятие того, что невыносимо, сдерживает приспособление к окружающей среде и души жизнь. Мы выбираем тот или иной путь каждый раз, принимая решения, и возникаем как общий итог наших выборов. Отвергая наши ошибки, мы приобретаем краткосрочную безопасность, но отбрасываем наше тождество с процессом, который позволяет нам переступать пределы наших слабостей и выносить нашу болезненно ограниченную жизнь:

"«Был некоторый человек, и у него был виноградник. Он отдал его виноградарям, с тем чтобы они могли возделывать его, а он мог получать от них плоды виноградника. Он послал своего раба, чтобы виноградары могли дать ему плодов виноградника. Они же, схвативши его, били и чуть не убили. Раб вернулся и рассказал всё хозяину. Хозяин сказал: 'Может, они не узнали его'. Он послал другого раба. Виноградары избили и этого. Тогда хозяин послал своего сына и сказал: 'Может, они постыдятся сына моего'. Так как виноградары знали, что тот был наследник виноградника, они схватили его и убили. Имеющий уши да слышит».

Иисус сказал: 'Покажите мне камень, который отвергли строители. Это и есть краеугольный камень'".⁵⁹⁰

Посмотри на то, что ты отвергаешь, смились с тем, что ты отказываешься признать, и ты найдёшь сокровище, которое стережёт дракон.

5.3.2.2. "Материальный мир" как исконное "местонахождение неизвестного"

"... все эти мифологические картины представляют драму человеческой души по ту сторону сознания, показывая человека как того, кто должен быть спасён, так и в образе спасителя. Первая формулировка является христианской, вторая – алхимической. В первом случае человек приписывает нужду в спасении самому себе и оставляет дело спасения... самостоятельному божественному деятелю; в последнем случае человек принимает на себя спасающий *opus* и приписывает состояние страдания и являющуюся результатом этого нужду в спасении *anima mundi* (мировой душе), заключённой в материи".⁵⁹¹

Алхимию можно проще всего понять как попытку создать философский камень – *lapis philosophorum*. Этот *lapis philosophorum* обладал способностью превращать "неблагородные" металлы в золото; кроме того, он даровал его носителю бессмертную жизнь, душевный мир и хорошее здоровье. Алхимическая "процедура" длилась на Западе около двадцати столетий, придя к концу с Ньютоном. У неё была одинаково продолжительная и сложная история и на Востоке.

Невозможно понять суть алхимической мысли – или её отношение к современной психологии, – не "входя в" систему категорий алхимика. "Вещество", с которым работал алхимик, хотя оно и носило то же самое имя, только смутно похоже на наше современное вещество. Имеется много способов разрезать мир на куски, и они не обязательно являются соизмеримыми. Многое из того, что алхимик рассматривал как "явление", мы не сочли бы особенностью объективного мира; кроме того, о том, что он считал единым, мы бы подумали как об очевидно разнородном. Существуют два главных основания для этого "различия во мнениях".

Первое. Природа системы категорий, лежащей в основе изучения мира, в значительной степени зависит от преследуемой цели. Цели, которые преследовал алхимик, ни коим образом не совпадают с современными задачами. В значительной мере они были гораздо более всеобъемлющими ("совершенствование природы"). К тому же они были "заражены" психологическими формулировками ("спасение" "испорченной" материи). В той мере, в какой алхимическая процедура была психологической – то есть побуждаемой пониманием "идеального состояния", – категории, которые она создавала, были оценочными. Явления, которые возникают в ходе целенаправленного поведения, классифицируются наиболее существенным образом относительно избранной цели. Те из них, которые имеют к ней отношение, различаются далее на те, что являются полезными и поэтому "хороши", и те, что существуют как препятствия к её достижению и поэтому "плохи". Так как наше поведение является побуждаемым – оно регулирует наши эмоции, – очень трудно создать систему классификации, полностью свободную от оценок. Только со времени появления строго эмпирической методологии такое создание сделалось возможным. Это значит, что донаучные системы классификации – такие, как те, что использовались в алхимической процедуре, – включали эмоциональную оценку даже тогда, когда они состояли из таких терминов, как "вещество" или "золото", которые кажутся нам "хорошо знакомыми".

Второе. Кажется, что чем хуже нечто было исследовано, тем шире категория, используемая, чтобы его "охватить" или описать. По мере того как исследование продолжается, становится возможным более тонкое различие. "Явления", по внешнему виду единые, распадаются таким образом на свои ранее "скрытые" составные части (так как природа "разрезается в её суставах"). Мы, например, больше не рассматриваем традиционные "четыре стихии" мира – огонь, воду, землю и воздух – ни как несводимые "элементы", ни даже как категории, существующие в настоящее время на одном и том же уровне анализа. Дальнейшие исследования перестроили наши системы классификации. Мы превратили сравнительно простой "материальный мир" наших предков в нечто гораздо более сложное, полезное и разнообразное. Вследствие этого мы верим, что исконные "стихии" мира на самом деле вовсе не были его элементами (не понимая, что "элемент" есть "орудие" познания и что несовершенно сформированное орудие – это всё-таки гораздо лучше, чем никакого орудия вообще).

Подавляюще оценочная сторона донаучной классификации в сочетании с относительно слабой способностью к различению создала категории огромной общности (с современной точки зрения). Мы можем опознать многие "различимые явления" в пределах каждой из этих категорий вследствие столетий всё более и более действенного исследования, которые отделяют нас от наших средневековых и досредневековых предков. Наша точка зрения, по сути, изменилась до такой степени, что наше использование того же самого слова является во многих случаях только исторической случайностью. Мы могли бы поэтому сделать это обсуждение более конкретным, рассмотрев сперва "материю" алхимика и сравнив его представления с тем, о чём мы думаем как о материи.

Алхимическая материя была тем "веществом", из которого состояло переживание, и более того, тем "веществом", из которого состояло переживающее живое существо. Это "главное начало" было чем-то гораздо более похожим на "информацию" в современном смысле слова (или на Дао с восточной точки зрения); чем-то похожим на дело или значение в выражениях "что имеет значение"⁵⁹² (что составляет различие, о чём мы заботимся, на что нельзя не обращать внимания, что является поучительным) или "в чём дело?". Мы получаем "информацию" как следствие нашего исследовательского поведения, предпринятого в "неизвестном", наблюдая за явлениями, которые имеют значение. Из этой информации мы

создаём самих себя (наше поведение и схемы представления) и "мир", как он переживается. Как утверждает Пиаже:

"Знание не начинается в субъекте, и оно не начинается в объекте; оно начинается в их взаимодействиях... затем имеет место взаимное и одновременное создание, с одной стороны, субъекта, а с другой стороны, объекта".⁵⁹³

Главное начало алхимии было чем-то "внедрённым" в мир или "подразумеваемым" в мире; часто чем-то скрытым, что могло неожиданно появиться. Это неожиданное появление может рассматриваться как "способность" предмета "переступить пределы" своего представления в категориях ("стать" чем-то новым) вследствие его положения в новой обстановке или его "реакции" на новую процедуру исследования. Это "новое явление" сначала "даёт себя знать" в выражениях эмоции, которую оно вызывает: неспособность "ранее" понятого (ранее отнесённого к какой-то категории) явления вести себя так, как было предсказано, вызывает у наблюдателя эмоцию. В этом явно проявляется "дух преобразования". Вызываемая таким образом эмоция – страх или надежда – может вызвать исследовательское поведение, предназначенное для того, чтобы установить "новые" свойства преобразующегося предмета исследования. Эти новые свойства затем становятся включёнными в предшествующую систему категорий, становятся "характерными свойствами", теперь рассматриваемыми как "принадлежащие тому же самому классу". В противном случае недавно превращённое вещество (может быть) должно будет "изменить категории", потому что оно теперь рассматривается как настолько отличное от того, "чем оно было". (Первый случай, конечно, представляет собой "обычное" изменение, последний – "революционное".)

Когда новое явление уже было исследовано и помещено внутри некоторого обусловленного общественной историей контекста, оно было классифицировано как обещание, угроза, удовлетворение, наказание (или ни одно из них) в соответствии с его очевидным в настоящее время значением для побуждения, установленным в зависимости от обстановки. Это, очевидно, верно в отношении системы классификации отдельного животного, которое не может создать "эмпирическую" модель реальности, потому что оно не может общаться с другими, но это одинаково верно и в отношении человека, чья способность к отвлечённому мышлению затуманила существенную природу и цель классификации. Чем нечто является, как не его смыслом – побудительной причиной к достижению какой-то значительной цели. Классификация явления (что означает определение того, как действовать при его наличии) ограничивает его значение для побуждения особой областью (наиболее часто ничем, неуместностью). Тем не менее то, что само явление всегда способно переступить пределы своего представления, – это факт. Эта способность переступать пределы является свойством "предмета" (с феноменологической точки зрения свойством опыта), но может быть использовано в деятельности человека.

Алхимики рассматривали "запредельную способность предмета исследования" – то есть способность "хорошо знакомого и исследованного" в одной обстановке становиться "незнакомым и неисследованным" в другой – как дух, внедрённый в материю. Юнг цитирует Василия Валентина, древнего авторитетного алхимика:

"... земля как вещество – это не мёртвое тело, а населена духом, который есть её жизнь и душа. Все созданные вещи, включая минералы, черпают свою силу из духа земли. Этот дух есть жизнь, его питают звёзды, и он даёт питание всем живым существам, которые он укрывает в своём лоне. Через посредство духа, полученного свыше, земля вынашивает в своём лоне минералы, как мать своё ещё нерождённое дитя. Этот невидимый дух подобен отражению в зеркале, он неосязаем, однако в то же самое время является источником всех веществ, необходимых для алхимического процесса или возникающих оттуда".⁵⁹⁴

"Духом, что населяет землю", был Меркурий, изменяющий формы (с алхимической точки зрения, отражённый образ Бога в материи⁵⁹⁵), который и "направлял" алхимический процесс, и "освобождался" действиями алхимика. Меркурий был тем духом, который делал "материю", исследуемую знатоком, интересной, неотразимой, а интерес есть дух, который

перемещается с места на место, по мере того как изменяется и растёт знание. Меркурий – это воплощение преобразования, уробор, который существовал (и не существовал) как самое главное божество до создания вещей (до разделения мира на субъект и объект, дух и материю, известное и неизвестное). Уробор – это, конечно, поедатель хвоста, дракон хаоса: образ внедрённости вечной целостности всех вещей в конкретное явление. Образ духа Меркурия был намёком на бесконечные возможности, "пойманные как в ловушку" в каждой отдельной разновидности опыта.⁵⁹⁶ Распознавание этих "возможностей" – то есть классификация – постоянно ставило перед средневековым воображением проблему:

"В течение всего Средневековья [Меркурий] очень озадачивал размышление философов природы: иногда он был способствующим и полезным духом, [помощником, товарищем или близким другом]; а иногда servus или servus fugitivus (рабом или беглым рабом), неуловимым, обманчивым, дразнящим домовым, который доводил алхимиков до отчаяния и обладал многими общими свойствами с дьяволом. Он был, например, драконом, львом, орлом, вороном, если упоминать только самых важных из них. В алхимической иерархии богов Меркурий выступает как самый низший в качестве первоматерии и как самый высший в качестве философского камня. Дух Меркурия – это руководитель алхимиков (Гермес Психопомп) и их искуситель: он их удача и их гибель".⁵⁹⁷

Алхимики "смешивали" то, что мы считали бы материей, с тем, что мы рассматривали бы как неизвестное. Это едва ли удивительно, так как "материя" и была "неизвестным" для донаучного ума (и всё ещё остаётся чем-то таким, что сохраняет многое из своей таинственности, сегодня). В качестве "неизвестного" материя обладала "притягательностью", то есть эмоциональной валентностью того, что ещё не было исследовано. Неизвестное, способное "притягивать к себе", олицетворялось в образе "духа" – того, что побуждает или направляет. Материя – даже в её современном виде – легко может опять обратиться в "неизвестное", а затем проявить подобную "силу" (силу "раздражителя") по отношению к современной душе. Материя, помещённая в новые условия или подвергающаяся более глубокому исследованию, способна проявить некую аномалию – какое-либо непредвиденное свойство. Аномалия – возвращение неизвестного – неизбежно вызывает повышенный интерес (или, напротив, попытки избежать неизвестного, скрыть его или изгнать его из области существующего). Все предметы – даже "исследованные предметы" – сохраняют связь с "тем, из чего сделаны все вещи", даже после того как они уже раз и навсегда упакованы и сданы в архив (как их распределили по разрядам) в теории.

Возьмём, например, крысу, которая "привыкла" к клетке (которая исследовала клетку и уютно в ней устроилась). Если уронить перед ней небольшой предмет – скажем, железный кубик, – то она сперва застынет на месте, а затем осторожно начнёт его исследовать. Крыса проявляет свою способность к различным движениям, взаимодействуя с кубиком, – обнюхивая его, осматривая его, царапая его, может быть, даже грызя его, – пытаясь оценить новый предмет как побудительную причину. Для крысы – ограниченной своим собственным опытом из-за отсутствия способности к общению; ограниченной самыми основными процессами исследования из-за своей ограниченной животной природы, – кубик скоро становится чем-то посторонним. В ходе взаимодействия с ним оказывается, что он не представляет какой-либо опасности; его нельзя есть; он бесполезен как материал для гнезда... Поэтому для больше не исследующей крысы кубик "делается" не имеющим к ней отношения, и она не будет впредь обращать на него внимания. Процесс основанный на исследовании классификации устранил значение нового предмета для побуждения, в чём и состоит его назначение. С мифологической точки зрения это является замещением "Великой Матери" "Великим Отцом": замещением двойственных угрозы и обещания определённой валентностью (включая неуместность).

Чувственные свойства кубика, имеющие отношение к делу, насколько простирается дух научного исследования, не имеют для крысы внутреннего значения, за исключением того случая, когда они означают нечто, обладающее эмоциональным смыслом. Этот более существенный образ мышления, имеющий отношение к приспособлению поведения к обстоятельствам, представляет собой то, как человек мыслил до создания научной

методологии и как он всё ещё мыслит, поскольку он оценивает и действует. Общий случай, однако, более сложен. "Человек разумный" способен наблюдать за тем, как практически бесконечный ряд новых свойств возникает из отдельного предмета, потому что он способен воспринимать любой предмет с фактически неограниченного множества пространственных и временных точек зрения; или можно было бы точно так же считать, что этот "предмет" настолько сложен, что способен проявлять совершенно различные свойства просто вследствие того, что его рассматривают с другой точки зрения. Железный кубик был некогда, "сам по себе", чем-то качественно отличным от того, чем он является теперь, и опять будет чем-то другим в будущем. До начала всех вещей, на самых ранних стадиях своего существования типичный кубик, рассматриваемый как самостоятельный предмет, был частью неразличённой целостности; затем взаимодействием четырёх основных сил; затем простым водородом, сгущающимся в звезду; затем веществом, преобразуемым силой тяготения и внутриядерными процессами; затем камнем на Земле; в конце концов чем-то преобразуемым человеком, со всё ещё незавершённой и такой же длительной историей развития, которая ему предстоит. Это преобразование предмета есть сама временность – проявление Дао, потока бытия. Способность людей схватывать различные пространственно-временные промежутки "превращает" предмет в нечто более сложное, чем просто его наличная наружность; это возрастание "сложности" усиливается расширенной деятельной способностью к исследованию, также типичной для нашего биологического вида.

Что такое железный кубик для человека? Оформленный – это копьё, а следовательно, пища, и смерть, и безопасность; подвешенный – это маятник, основное устройство для измерения вращения Земли; уроненный – это знак тяготения и крупномасштабного устройства вселенной; сведённый, при достаточном терпении и изобретательности, к составляющим его частицам, он представляет молекулярный и атомный уровни строения вещества, как часть, подобная целому. Заданный выше вопрос мог бы быть более точно представлен как: чем не является железный кубик для человека? Донаучный ум алхимика, размышляя над природой первоматерии – "основной составляющей опыта", – легко становился одержимым намерениями на бесконечные возможности "материи": на безграничное значение конечного предмета; на бесконечную полезность этого предмета и его неисчерпаемую способность открывать неизвестное (становиться им).

Когда какой-либо предмет исследуется, его значение как побудительной причины ограничивается (как правило, вследствие определённой целенаправленной природы процесса исследования, обязательно основанного на определённом предположении: подходит ли это для определённого назначения, но не для любого числа других возможных назначений?). Неявно или явно возникающий в уме вопрос отчасти предопределяет ответ, "который даёт" исследуемый предмет. Этот предмет всегда способен каким-то непредсказуемым образом превзойти пределы наложенных на него ограничений. Такие его бесконечные возможности символически выражаются в образах самопожирающего змея и непостоянного духа превращения – духа, который непреклонно притягивает к себе интерес.

В то время как я рассматривал эти идеи, мне приснилось, что небольшой предмет движется над поверхностью Атлантического океана. Он находился на пересечении четырёх огромных ураганов и передвигался вместе с ними, оставаясь в середине их шествия, представляющего собой квадрат, разделённый на четверти, по четверти на ураган. За ним следили искусственные спутники, за ним тщательно и тревожно вели наблюдение учёные на снабжённых самым новейшим метеорологическим оборудованием станциях по всему миру.

Место действия во сне изменилось. Предмет, шар около восьми дюймов в поперечнике, теперь содержался и был выставлен напоказ в небольшом стеклянном шкафу, похожем на те, которые можно найти в музеях. Сам этот шкаф находился в небольшой комнате, без видимых входов и выходов. Американский Президент – символ общественного порядка и физик-калека Стивен Хокинс – символ научного знания (и символ разумности, лишённой телесной оболочки) находились в комнате вместе с предметом. Один из них описал особенности комнаты. Её стены были семи футов толщины и были сделаны из какого-то непроницаемого вещества (двуокиси титана (?)), что во сне звучало впечатляюще. Эти стены были предназначены для вечного

содержания предмета. Меня в комнате не было, хотя я и присутствовал там в качестве наблюдателя, как зритель в кинофильме. Предмет в шкафу казался живым. Он двигался, и его форма искажалась, подобно куколке или кокону на поздних стадиях развития. В какой-то момент он превратился во что-то, напоминающее пенковую трубку. Затем он вновь превратился в шар и вылетел через стенки шкафа и комнаты, оставив два совершенно круглых, гладких отверстия – одно в шкафу, а другое в стене. Он покинул комнату без каких-либо усилий, как будто преграды, предназначенные для ограничения его движения, стали неважны, как только "решение" было им принято.

Предмет был образом Бога, уроборическим змеем, воплощённым в материи (достаточно могущественным, чтобы четыре урагана вынуждены были сопровождать его в качестве спутников).⁵⁹⁸ Комната была системой классификации, чем-то предназначенным (самыми могущественными представителями мира общества и мира науки) для того, чтобы ограничивать таинственное явление. Предмет превратился в трубку, как бы намекая на знаменитую картину (Мэгритта), изображающую трубку и называющуюся (в переводе) "Это не трубка": карта – это не территория, представление явления – это не само явление. Способность предмета ускользнуть "по своему желанию" свидетельствовала о вечной потусторонности мира явлений, о его беспредельной способности неожиданно заменять своё прежнее представление, научное и мифологическое.

Гораздо позже (может быть, спустя год) мне приснился человек, висящий в воздухе в комнате, имеющей форму куба, примерно на расстоянии вытянутой руки от пола, потолка и каждой из стен. Поверхности куба изгибались внутрь, по направлению к человеку (как будто комната была получена пересечением шести сфер). Все поверхности куба оставались на том же самом расстоянии от человека, невзирая на его движения. Если он шёл вперёд, куб двигался вперёд вместе с ним. Если он шёл назад, куб двигался назад, в точности с той же самой скоростью без всякого перерыва. Сами поверхности куба были покрыты круговыми узорами, около четырёх дюймов в поперечнике, вписанными в квадраты примерно того же размера. Из середины каждого круга свисал кончик хвоста пресмыкающегося. Человек мог протянуть руку в любом направлении, ухватиться за хвост и втянуть его из поверхности куба внутрь комнаты.

Этот сон говорил о способности человека, так сказать, (сознательно) втягивать будущее в настоящее. Змей – очевидно представленный только своим хвостом – был уробор, скрыто внедрённый в мир явлений.⁵⁹⁹ В любом направлении внутри куба, куда человек мог взглянуть, могло возникнуть что-то новое. Человек мог определить, какая сторона бытия откроется ему при его сознательном действии.

Исследования вызывают или выявляют различные явления. Эти явления наносятся на карту эпизодической и семантической системами "памяти". Однако процесс исследования направляется картами, создаваемыми эпизодической системой, в особенности её картами будущего. Желаемая цель ставится в воображении. Двигательная система (система отвлечённого исследования) пытается установить соответствие между возникающими явлениями (вызываемыми в ходе исследовательской деятельности) и используемой "картой желаемого будущего". Несоответствия между этими явлениями и поставленной целью вызывают появление (или повторное появление) "низменной материи мира" – неизвестного, проявляющегося в виде отрицательной эмоции и любопытства.

Человек стремится к исполнению своих желаний (коренящихся, в конечном счёте, в его эмоциях), страдая – и обучаясь, – когда этот процесс прерывается. Исследование считается достаточным – и может по праву придти к концу, – когда имеющееся эмоциональное состояние является наилучшим из всех возможных: когда знание, управляющее действием, уже (опять) превратило мир в "райский". При отсутствии такого райского состояния (при отсутствии в настоящее время безопасности, счастья) исследование (по определению) считается неполным. "Остаточные тайны", дающие о себе знать, становятся средоточием оживлённого внимания, с тем чтобы скрытые в них "сведения" могли быть "извлечены из них" и превращены в субъективное существование и мир. Алхимическая "низменная материя" мира была, следовательно, "тем веществом, из которого был создан определённый опыт (субъект и объект); была, кроме того, пригодна к бесконечному превращению; была

чем-то, в конечном счёте, "испорченным" – так как весь материальный мир был испорчен – неполным, неосуществлённым, падшим и страдающим.

Анализ донаучной "категории" золота помогает пролить свет на уместность, важность и смысл этого древнего "комплекса неразличимых общих представлений". Золото – в качестве предельной противоположности простой "низменной материи" – было идеалом, насколько он мог быть воспринят в конкретном мире. Для человека донаучных времён, равно как и для современного, золото служило средством обмена. Но ценность металла не состояла и всё ещё не состоит исключительно в его хозяйственной полезности. Золото всегда было связано в эпизодическом представлении с божественностью. До развития научного мировоззрения эта связь была вполне осмысленной. Золото, в противоположность "более низким" металлам или веществам, не тускнеет, не утрачивает блеск и не ржавеет. Поэтому оно кажется непреходящим, "бессмертным" и непопорченным. Золото скорее редко, чем распространённо. Оно сияет как солнце, ясный источник жизни. Поэтому "категория" золота охватывает всё аполлоновское, солнцеподобное, божественное (в патриархальном или героическом смысле, с которым мы уже хорошо познакомились). Юнг описывает характерные представления алхимика Михаила Майера:

"Солнце за многие миллионы оборотов вплетает золото в землю. Мало-помалу оно запечатлело свой образ на земле, и этот образ – золото. Солнце есть образ Бога, сердце есть образ Солнца в человеке, так же как золото – образ Солнца в земле, а Бог познаётся в золоте".⁶⁰⁰

Свет Солнца – это "символ" власти и превосходной ясности и сознания, героизма и постоянства, победы над силами тьмы, распада и разложения. Самые древние патриархальные боги и вожди людей сочетали живительные свойства Солнца с героическими идеалами человека, и монеты с их изображениями были круглыми и золотыми, в подражание солнечному диску.

Золото было, кроме того, идеальной целью, к которой стремились все металлы, было "целью их продвижения к совершенству". По мере того как он "созревал" в лоне Земли, свинец, например, – низменный и неразборчивый (готовый "спариваться" (сочетаться) со многими другими веществами) – стремился к состоянию, характерному для золота, совершенному и нерушимому. Это делало "состояние золота" целью непостоянного "духа неизвестного", внедрённого в материю. Элиаде описывает подобное представление:

"Если ничто не будет препятствовать ходу их созревания, все металлы со временем станут золотом. «Если бы не было никаких внешних препятствий исполнению её замыслов, – писал западный алхимик, – Природа всегда завершала бы то, что она хотела создать... Вот почему мы должны смотреть на рождение несовершенных металлов так, как мы смотрим на выкидыши и уродцев, которые появляются на свет только потому, что Природа была, так сказать, неверно направлена, или потому, что она натолкнулась на какое-то сковывающее сопротивление...»

Вера в естественное превращение металлов возникла в глубокой древности в Китае, и её можно обнаружить также в Аннаме, в Индии и на Индийском архипелаге. У крестьян Тонкина есть поговорка: «Чёрная бронза – мать золота». Золото естественно порождается бронзой. Но это превращение может осуществиться, только если бронза пролежала достаточно долгое время в недрах Земли..."⁶⁰¹

Алхимик рассматривал себя как повивальную бабку Природы – как приводящего к осуществлению то, что Природа пыталась медленно произвести, – и потому как вспомогательное средство превращения материи, стремящейся к идеальному. "Золото" является этим идеальным. Элиаде продолжает:

"«Благородство» золота является, таким образом, плодом его зрелости; другие металлы «обычны», потому что они грубы, «незрелы». Иными словами, конечная цель Природы есть завершение царства минералов, его окончательное «созревание». Естественное превращение металлов в золото вписано в их судьбу. Склонность Природы – это

склонность к совершенству. Но так как золото является носителем высокого духовного символизма («Золото – это бессмертие», – неоднократно говорят индийские тексты), то, очевидно, возникает новое представление – представление о роли, которую принимает на себя алхимик как братский спаситель Природы. Он помогает Природе осуществить её конечную цель, достичь её «идеала», которым является совершенство её потомства – будь то минеральное, животное или человеческое, – довести её до высшей стадии созревания, то есть полного бессмертия и свободы...⁶⁰²

Алхимики жили в мире, который уже был "теоретически" спасён принесением в жертву Христа, по крайней мере с христианской точки зрения. Но они не чувствовали себя спасёнными: не были удовлетворены своим всё ещё слишком смертным состоянием. Поэтому они обратили своё внимание на те стороны природы, которые были в соответствии с преобладающей нравственностью определены как "недостойные исследования", как испорченные и презренные. Предполагая, или надеясь, что дела ещё могли бы улучшиться, они исследовали (как мы сейчас исследуем, надеясь извлечь из "неизвестного" новые и полезные орудия исследования). Алхимики неявно предполагали, что дальнейшие исследования могли бы принести спасительное знание. Этот поиск подгоняло их признание "невыносимого настоящего" – их отождествление со "всё ещё падшим миром". Алхимики верили, что "желательное превращение материи" может быть вызвано "освобождением" из материи Меркурия. Это означало, что они неявно признавали то, что (направляемое интересом) исследование является ключом к (спасительному) расширению знания о мире.

Участвуя в этом процессе, алхимики "отождествлялись с" героем-исследователем и "бессознательно" (то есть в процедуре, если не всегда в представлении) превращались в "тех, кто спасает". Это отождествление осложнялось тем обстоятельством, что алхимик к тому же рассматривал себя как принимающего участие в состоянии материи – как принадлежащего к "состоянию, делающему необходимым спасение". Это, по существу, означало, что алхимик рассматривал себя как, по крайней мере отчасти, принадлежащего к той же самой категории, что и "материя" (так же как и являющегося тем, что могло бы стать "золотом", и тем, что могло бы помочь в этом превращении). В конце концов, для донаучного ума – с его более общими и объединяющими много разных вещей категориями – нет необходимого различия между "тем, на что действуют", и "тем, что действует". Элиаде описывает, например, "симпатическую магию", необходимую для того, чтобы успешно осуществить прививку одного вида растений к другому, отличному от него (чтобы, с более широкой точки зрения, побудить "несходное сочетаться с несходным"):

"Ибн Вашья – и он не единственный восточный писатель, который позволял, чтобы его увлекали такие образы, – говорит о фантастических прививках («прививках вопреки Природе») между различающимися между собой видами растений. Он говорит, например, что прививка ветки лимонного дерева к лавровому или оливковому произведёт очень маленькие лимоны, размером с оливки. Но он объясняет, что прививка может быть успешной, только если она выполнялась ритуальным образом и при определённом сочетании Солнца и Луны. Он описывает соответствующий обряд таким образом: «ветку, которую надо привить, должна держать в руках очень красивая девушка, в то время как мужчина вступает с ней в безобразное и противоестественное половое сношение; во время совокупления девушка прививает ветку к дереву». Значение этого ясно: для того чтобы обеспечить «противоестественный» союз в растительном мире, была необходима противоестественная половая связь между людьми».⁶⁰³

Такие представления вовсе не редки. Фактически каждый технологический процесс, которым занимались люди донаучных времён – от сельского хозяйства до металлургии, – сопровождался обрядами, предназначенными для того, чтобы "вызвать состояние духа" или "пояснить процедуру", необходимые для успешного наступления желательного исхода. Так было потому, что действие предшествовало представлению. Поэтому ритуальные половые связи сопровождали засеивание земли, а ритуалы принесения в жертву и им подобные изобиловали среди рудокопов, кузнецов и гончаров. Природе надо было "показать, что делать"; человек заставлял её делать что-либо не в самой меньшей степени своим примером.

Правильная процедура могла быть осуществлена только теми, кто приводил себя в правильное состояние духа. Эта мысль доводилась до своего логического завершения во время алхимической процедуры, фантастическим "конечным состоянием" или желаемым будущим которой было наиболее глубокое и далеко идущее из всех когда-либо представленных понятий превращения – достижение "конечного совершенства", или "искупления" материи.

Чтобы побудить в корне отличные начала согласованно сочетаться в создании философского камня – который будет превращать "низменные металлы" в "золото", – необходимо было самому сделаться цельным. Следовательно, чтобы довести их природу до совершенства, человек должен был сам стать совершенным. Необходимость совершенства алхимика, как и зависимость алхимической процедуры от его собственной жизни, была, кроме того, усилена его "тождественностью" с материальным миром (то есть тем, что он занимал то же самое "категориальное пространство", что и "материя"). Человек – падшее, испорченное, телесное существо, способное, тем не менее, к бесконечному преобразованию, – имел ту же самую сущность, что и падший, испорченный и, тем не менее, поддающийся преобразованию материальный мир. То, что имело отношение к преобразованию бытия "предметов", имело поэтому, в силу логической необходимости, отношение также и к преобразованию его собственной жизни. Явно выраженное превращение "низменной материи" в золото было искуплением мира – его преобразованием в "состояние золота". Философский камень был средством для этой цели. Человек управляет природой не в наименьшей степени посредством примера. Это "расширение теорий симпатической магии" на область "химии" означало, что алхимия, по мере того как она развивалась в течение столетий, всё более и более наполнялась (прежде всего образными) размышлениями о природе совершенства.

Людям нового времени трудно понять, почему всё это могло относиться к делу. Наши психология и психиатрия – наши "науки о душе" – занимаются, по крайней мере в теории, "опытной" оценкой и лечением душевных "расстройств". Но это, по большей части, дымовая завеса. Мы всегда стремимся к идеалу. В настоящее время мы предпочитаем оставить природу этого идеала "невывказанной", потому что это помогает нам обойти те вопросы (сколько бы их ни было), трудность которых тотчас же стала бы непреодолимой, если бы они были поняты. Поэтому мы "определяем" здоровье как состояние, заключающееся в отсутствии "болезней" или "расстройств", и оставляем его на этом, полагая, что понятие болезни или расстройства не является по необходимости средневековым соединением нравственной философии и эмпирического описания. Предположим, что состояние "отсутствия беспокойства" (или оптимального беспокойства) возможно – и даже желательно, – и это наводит нас на мысль о том, что одержимость этим состоянием является "болезненной". То же самое можно было бы сказать о депрессии, о шизофрении, о "расстройствах" личности и так далее. Затаившись на заднем плане, при этом пребывает какой-то идеал, с которым неизбежно – и к ущербу для себя – сравниваются все современные "неудовлетворительные" состояния. Мы не знаем, как сделать этот идеал явным, методологически или практически (то есть, не вызывая огромного разногласия в наших рядах). Мы "знаем" в то же время, что, для того чтобы начать – и оправдать – "необходимое" лечение, мы должны обладать понятием о "неидеальном". Раньше или позже, однако, мы должны будем придти к пониманию того, что мы, по существу, пытаемся создать "идеального человека" и должны будем определить в явном виде, что это означает. Было бы на самом деле удивительно, если бы идеал, к выдвижению которого мы идём, не имел никакого отношения к тому, который старательно создавался в ходе вековых усилий в прошлом. Нечто очень похожее произошло в случае алхимии, по крайней мере на Западе: по мере того как её развитие продолжалось в течение всей христианской эпохи, философский камень всё более и более отождествлялся с Христом. Нет оснований предполагать, что это явилось чем-либо, кроме неожиданности, для самих алхимиков. Мы участвуем в потрясении, по меньшей мере столь же огромном.

Чтобы совершенствовать природу, необходимо было поддерживать правильное отношение к делу – исполнять соответствующие ритуалы и процессы духовного очищения; очищаться, по мере того как это было желательно. В великих и малых делах работник выступал как пример для природы. В великом деле алхимии, которая честолюбиво желала

"искупить" падший материальный мир, сам алхимик должен был стать великим. Таким образом всю алхимическую литературу можно было бы отчасти рассматривать как длительное "размышление" о природе идеального человека.

5.3.2.3. Эпизодическое представление в средневековом христианстве

Наука основана на аксиоматическом предположении, что посвящать усилия анализу материального, или постижимого обществом, чувственного мира и его преобразований имеет смысл. Это верование, впервые проявившееся в (алхимическом) воображении, настолько стало частью современного мира, его главным исходным положением, что нам трудно понять, какое замечательное достижение представляло собой его оформление. Та мысль, что эмпирическая реальность существует, так сказать, независимо от влияния явлений на побуждения и достойна изучения, появилась в законченном виде только после тысячелетий культурного развития и тогда первоначально появилась только в высоко развитых обществах Востока и Европы. Алхимики были первыми, кто рискнул приписать ей такой характер или что-то подобное, но они по-прежнему изучали "материю" при отсутствии явно выраженной эмпирической методологии. Юнг утверждает:

"... концепции «психического» в современном понимании в Средние века не существовало, и даже современный образованный человек считает трудным для понимания то, что подразумевается под «реальностью психики». И нет ничего удивительного, что для средневекового человека было неизмеримо более трудно вообразить нечто, лежащее между «esse in re» (буквально «вещественное бытие») и «esse in intellectu solo» («мыслимое бытие»). Выход лежит в «метафизике». Поэтому алхимик вынуждён был формулировать свои квазихимические факты в том числе и метафизически".⁶⁰⁴

Отсутствие научной методологии – неспособность проводить формализованное сравнение основанного на поведении опыта, устанавливать его обобщаемость – означало запутанное смешение чисто чувственных и субъективных, эмоциональных, мифологических сторон опыта. Целью научной методологии в значительной части является отделение эмпирических фактов от мотивационных предпосылок. При отсутствии такой методологии смешивание этих двух областей неизбежно:

"[Алхимики]... верили, что они изучают неизвестное явление материи... и они просто наблюдали то, что у них появлялось, и как-то истолковывали наблюдаемое, но без всякого определённого плана. У них, бывало, появлялся кусок какого-то странного вещества, но так как они не знали, что это такое, они выдвигали предположения, чем это могло бы быть, и это, конечно, являлось бессознательной догадкой, но у них не было определённого метода или научной традиции. Поэтому можно было бы сказать, что в алхимии догадки делались [предположения выдвигались] самым простодушным и бесплановым образом и совершенно не исправлялись.

Вообразите себе положение древнего алхимика. Человек в какой-то деревне строит уединённую хижину и изготавливает вещества, которые вызывают взрывы. Совершенно естественно, что всякий назовёт его колдуном! В один прекрасный день кто-то приходит к нему и говорит, что он нашёл странный кусок металла и не заинтересован ли алхимик в том, чтобы его купить? Алхимик не знает цены этому металлу, но даёт пришедшему какие-то деньги наугад. Затем он кладёт то, что ему принесли, в свою печку и смешивает это с серой или чем-нибудь подобным, чтобы посмотреть, что будет, и если металл был свинцом, он сильно отравляется его парами. Поэтому он делает вывод, что это конкретное вещество вызывает тошноту, если к нему приближаются, и почти убивает человека, и он говорит, следовательно, что в свинце есть демон! Потом, когда он запишет свои рецепты, он добавит к ним подстрочное примечание, гласящее: «Остерегайся свинца, ибо в нём есть демон, который будет убивать людей и сводить их с ума», что было бы вполне очевидным и разумным объяснением для всякого, кто живёт в это время и в этом обществе. Поэтому свинец был чудесным предметом для предположений о

разрушительных силах, так как в некоторых отношениях его воздействие ядовито. Кислоты также были опасны, но, с другой стороны, будучи разъедающими и являясь средствами растворения, они были очень важны для химических операций. Таким образом, если ты хотел растворить какое-либо вещество или иметь его в жидком виде, то его можно было растворить в кислотных растворах, и по этой причине предполагалось, что кислота есть опасное вещество, которое растворяет, но которое также открывает возможности управляться с некоторыми другими веществами. Или, иначе говоря, она была средством превращения: ты, так сказать, раскрываешь металл, с которым ничего не можешь поделать, и делаешь его доступным для превращений посредством использования определённых жидкостей. Поэтому алхимики, следовательно, писали об этом в наивной форме, которую я сейчас описываю, и не замечали того, что это не было ещё естественной наукой, а содержало много предположений, если его рассматривать с точки зрения современной химии.

Таким образом, алхимия накопила изумительное количество материала о человеческом бессознательном, созданного в тех условиях, где сознательный дух просто искал, не следуя определённой программе".⁶⁰⁵

Алхимия процветала в течение почти двух тысяч лет и сошла со сцены только в конце восемнадцатого века. Она развивалась (по крайней мере в средние века) как движение, возмещающее то, что было воплощено в стремящемся к совершенству христианстве, которое подчёркивало предельную реальность и ценность догматически конкретизированного духа; которое предполагало, что всё, достойное познания, уже было открыто; и у которого материальный мир пользовался дурной славой.

Для средневекового духа тело и чувственный, телесный мир – вообще "материя" – расценивались как безнравственные и настолько испорченные, насколько они управлялись бесовскими, неизвестными силами. Рассказ книги Бытия – змей и Ева, сговаривающиеся, чтобы вызвать падение человечества "в нечестивый и падший материальный мир", – отчасти предоставлял мифологическую "основу" для этой связи категорий. "Прелести" материального мира, как например тяга чувственности или вождение материального богатства вместо духовного, к тому же выдвигало угрозу для отождествления с церковью. Более того, наличие падшего телесного состояния подрывало веру в церковное учение: понимание неустранимости страдания человека затрудняло приписывание действиям Христа конечного состояния спасения, за которое они теоретически ручались. Вследствие этого соприкосновение с "матриархальной преисподней материи" (то есть с "неизвестным") казалось церковным властям очень угрожающим и по очень уважительной причине (по крайней мере с точки зрения сохранения традиции).

Очарованность алхимиков "материей" развивалась как прямая противоположность раннехристианской оценке "духовного" и "установленного" (развивалась как прямая противоположность области известного). Подавление церковью чувственного, телесного мира и одновременное установление знаний, в которых нельзя было сомневаться, означало отвергание или отрицание аномального чувственного или эмоционального опыта и, следовательно, ценности этого опыта. Поглощённость алхимиков материей возникла как следствие этой утраченной ценности, утверждающей себя, так сказать, в притяжении накопленного "отвергнутого и неизвестного" – в неизменной привлекательности "запретного плода".

Наблюдая явления, которые он не понимал, алхимик мог прибегнуть только к помощи предположений, которые он и использовал, чтобы истолковывать это неизвестное. Эти предположения представляются современному уму как плоды воображения – как плоды воображения средневекового христианского (а в некоторых случаях и дохристианского) ума:

"Таковыми, по сути, они и являются и поэтому поддаются расшифровке с помощью комплексной психологии... Духовное и нравственное начала алхимического подхода видны столь отчётливо, что не может быть никаких сомнений в его психологической природе. Наш способ мышления немедленно воздвигает стену между психическим и химическим процессами. Для нас эти два понятия несоизмеримы, но для средневекового человека это было не так. Он ничего не знал о химических веществах и их

взаимодействиях. Он видел только загадочные субстанции, которые, соединяясь друг с другом, необъяснимым образом порождали новые субстанции. В этой непроглядной тьме фантазия алхимика, свободно резвясь, могла соединять несоединимое. Пределов для неё не существовало, и она проявлялась, не осознавая, что же происходит на самом деле".⁶⁰⁶

Алхимик мыслил средневековым – или досредневековым – образом, основываясь на устарелых предубеждениях и представлениях. Анализ этой мысли, "спроектированной" на материю (точно так же, как мы истолковываем "материю" в свете наших собственных, современных и поэтому неосознаваемых теорий), поэтому означает истолкование воображения – означает анализ самопроизвольных произведений исследующего ума (и, следовательно, означает возросшую способность постигать деятельность ума). Вся алхимия как целое содержит семнадцать столетий работы воображения, относительно природы (нравственного) преобразования, которое, как предполагалось, происходило в "материи" (категория, включавшая "человека"), "естественно стремящейся", как оно и было, к совершенству. Главным для этого "движения к совершенству" были растворение, превращение и восстановление неискуплённой первобытной материи – первоматерии:

"Как указывает само название, которое Зильберер выбрал для него – «спагирическое» искусство, – или часто повторяющиеся слова «solve et coagula» [разжижать и сгущать], алхимик видит сущность своего искусства в разделении и анализе, с одной стороны, и синтезе и объединении – с другой. Прежде всего, он рассматривает первичное состояние, в котором сталкивались противоположные тенденции или силы; во-вторых возникал важный вопрос о процедуре, с помощью которой снова можно было бы привести враждебные элементы и качества, некогда разделённые, к единению. Первичное состояние, именуемое хаосом, не было дано с самого начала, но должно рассматриваться как первоматерия (*prima materia*). Начало деяния не является самоочевидным, и ещё в большей степени не является самоочевидным его конец. Все бесчисленные предположения о природе конечного состояния отражены в алхимических обозначениях. Самыми распространёнными являются идеи его неизменности (продления жизни, бессмертия, чистоты), его двуполости, одухотворённости и телесности, его сходства с человеком (гомункулом) и божественности".⁶⁰⁷

Алхимики начинали свою работу, своё дело, решившись в поисках идеала встать лицом к лицу с неизвестным, замкнутым в материальном мире. Символом их идеала являлся философский камень, который был особым веществом, отличающимся своей способностью превращать неблагородные металлы в золото, и более того, который мог наделять своего обладателя совершенным знанием, бессмертной жизнью и безупречным душевным и физическим здоровьем. У средневекового человека не было никакого представления о том, что создание такого "вещества" было невозможно, и он знал многие вещества, обладавшие преобразующими свойствами.

Установление того, что побуждало к таким поискам, кажется простым делом. Несомненно, что многие пытались заниматься алхимией исключительно ради её возможной хозяйственной пользы, так же как сейчас многие занимаются своим делом единственно ради денежных выгод. (Даже это, однако, является одним из проявлений желания искупления – с помощью материальных средств – и может неожиданно превратиться в более духовные поиски в ходе созревания или через посредство непредсказуемых воздействий воображения и обстоятельств.) Были и алхимики, которые более ясно воплощали дух искренней любознательности и которые работали так же серьёзно и дисциплинированно, как и более поздние естествоиспытатели. Нельзя недооценивать влияние и тайну фантазии о философском камне. Мысль о нём являлась движущей силой, лежащей в основе упорядоченного исследования тайн материи – трудной, кропотливой, дорогостоящей процедуры. Представление о том, что материя содержит заключённую внутри неё тайну мудрости, здоровья и благосостояния, лежит в основе всего современного занятия наукой. В то, что такое представление могло возникнуть и что им могли серьёзно заниматься, несмотря на его грандиозность и противоречие церковной догме, достаточно трудно поверить. Это становится поистине непостижимым, если учесть и то дополнительное обстоятельство, что

процедура алхимии тянулась в течение семнадцати веков, несмотря на то, что ни один алхимик никогда не достиг своей цели. Юнг утверждает:

"... такое чудо никогда не происходило в реторте (несмотря на многочисленные утверждения, что кое-кому действительно удалось получить золото), ни панацея, ни эликсир не смогли продлить человеческую жизнь сверх положенных ей пределов, и гомункул никогда не вылетал из горна. Такой отрицательный результат всех усилий вызывает у нас вопрос: на чём же основывались энтузиазм и безрассудное увлечение приверженцев алхимии?

Чтобы ответить на этот трудный вопрос, необходимо иметь в виду, что алхимики, ведомые своей страстью к исследованию, ступали, в действительности, по верному пути, потому что плодом алхимии, появившимся спустя столетия усилий, стала химия с её поразительными открытиями. Эмоциональный динамизм алхимии в большой степени объясняется предчувствием этих, тогда неслыханных, возможностей. Однако результаты трудов алхимиков нельзя назвать полностью бесполезными. Эти попытки, несмотря на постоянные неудачи, по-видимому, имели психический эффект положительного характера: вызывали своего рода удовлетворение или даже явно прибавляли мудрости. Иначе было бы невозможно объяснить, почему алхимики не отвернулись от своих почти всегда тщетных поисков".⁶⁰⁸

Алхимическая фантазия представляла (и всё ещё представляет) движущую силу эмпирических попыток, точно так же как мечтания иудео-христианства заложили основу цивилизации Запада. Таким образом миф – таинственное, нелепое и непостижимое – выступает в качестве авангарда процесса приспособления. Элиаде продолжает (с особым вниманием к происхождению науки):

"До недавнего времени немногие знали о роли Исаака Ньютона в этом общем [алхимическом] движении, целью которого было обновление европейской религии и культуры посредством смелого синтеза оккультных традиций и естественных наук. Правда, Ньютон никогда не публиковал результатов своих алхимических опытов, хотя он и заявлял, что некоторые из них увенчались успехом. Его бесчисленные алхимические рукописи, на которые никто не обращал внимания до 1940 года, недавно были подвергнуты тщательному разбору Бетти Джо Титер Доббс в её книге «Основания ньютоновской алхимии» (1975). Доббс утверждает, что Ньютон экспериментировал в своей лаборатории с операциями, описанными в огромной алхимической литературе, исследуя последнюю «так, как её никогда не исследовали ни до того, ни после». Ньютон надеялся открыть с помощью алхимии устройство микромира, с тем чтобы привести его в соответствие с его космологической системой. Открытие всемирного тяготения, силы, которая удерживает планеты на их орбитах, полностью его не удовлетворило. Но, хотя он неутомимо занимался своими опытами с 1669 года по 1696 год, он не добился успеха в установлении того, какие силы управляют движением частиц. Тем не менее, когда он начал изучать динамику движения небесных тел по их орбитам в 1679 – 1680 гг., он применил свои «химические» понятия о притяжении ко вселенной.

Как показали Макгуайр и Раттанси, Ньютон был убеждён, что в начале «Бог сообщил тайны естественной философии и истинной религии немногим избранным. Это знание было впоследствии утрачено, но частично снова обретено, и на этот раз было включено в басни и формулировки мифов, где оно оставалось бы скрытым от простонародья. В новые времена его можно было бы более полно вновь обрести из опыта». ⁶⁰⁹ По этой причине Ньютон рассматривал самые эзотерические разделы алхимической литературы, надеясь, что они содержат подлинные тайны. Знаменательно, что основатель современной механики не отвергал традиции об изначальном и тайном откровении, так же как он не отвергал и принципа превращения одних веществ в другие. Как писал он в своей «Оптике» (1704), «превращение Тел в Свет, а Света – в Тела находится в полном соответствии с Законами Природы, ибо Природа, по-видимому, насилуется Трансмутацией». Согласно Доббс «алхимические воззрения Ньютона были настолько прочно установлены, что он никогда не отрицал их общую обоснованность, и всю его

научную деятельность после 1675 года можно, в некотором смысле, рассматривать как единую длительную попытку объединить алхимию и механистическую философию» («Основания», стр. 230).

После издания его «Начал» его противники заявляли, что «силы» Ньютона были в действительности «скрытыми качествами». Как признаёт Доббс, в определённом смысле эти критики были правы: «Силы Ньютона были во многом очень похожи на скрытые симпатии и антипатии, которые можно найти во многих произведениях оккультной литературы времён Возрождения. Но Ньютон придал силам онтологический статус, равнозначный статусу материи и движения. Делая это и определяя силы количественно, он дал механистической философии возможность подняться над уровнем воображаемых механизмов воздействия» (стр. 211). Анализируя ньютоновское понятие силы, Ричард Вестфол приходит к заключению, что современная наука – это результат сочетания герметической традиции с механистической философией.⁶¹⁰

В своём захватывающем полёте «современная наука» отвергала наследие герметизма или не обращала на него внимания. Или, если выразиться иначе, торжество ньютоновской механики завершилось уничтожением своего собственного научного идеала. В сущности, Ньютон и его современники ожидали научной революции другого вида. Продлевая и развивая надежды и цели неалхимиков времён Возрождения, умы настолько различные, как Парацельс, Джон Ди, Ян Амос Коменский, Иоганн Валентин Андрес, Фладд и Ньютон, видели в алхимии образец для не менее честолюбивого предприятия – совершенствования человека посредством нового метода познания. С их точки зрения, такой метод должен был объединить во вневероисповедном христианстве герметическую традицию и естественные науки: медицину, астрономию и механику. По сути, этот синтез представлял собой новое христианское творение, сравнимое с блестящими результатами, полученными более ранними объединениями платонизма, аристотелизма и неоплатонизма. Этот вид «познания», о котором мечтали и который частично развивали в восемнадцатом столетии, представляет собой последнее предприятие христианской Европы, предпринятое с целью получения «полного знания».⁶¹¹

Не совсем последнее.

Формулировка той мысли, что Бога можно было бы познать в телесном виде, означала утверждение возможности того, что наивысшая возможная ценность могла бы быть конкретно воплощена скорее в "материи", чем в установленном, патриархальном, "духовном" мире. Это значило, что "природа Бога" являлась чем-то, что могло быть подвергнуто материальному (и глубокомысленному) исследованию. Приписывание наивысшей ценности физическому миру являлось движущей силой развития науки во времена Возрождения и является основой её продолжения. Однако материя оставалась сравнительно неизвестной средневековому уму и поэтому была "заражена" всем другим неизвестным, подавленным и отвергнутым. Приписывание ей ценности было поэтому приписыванием ценности неизвестному опыту. Это приписывание было еретично, поскольку оно подразумевало подверженность ошибкам или неполноту церковной догмы (формализованной общей средневековой европейской модели ожидания и желания), и было поэтому опасно как с внутридушевной, так и с общественной точек зрения. От такой ереси ограждались с жестокостью, потому что церковь явно рассматривала материю – представительницу неприемлемого неизвестного – как униженную и определяла её как испорченную, несовершенную и демоническую.

Алхимик был неискуплённым, страдающим человеком в поисках невыразимого идеала. Он формулировал этот идеал и процесс его порождения, используя выражения, которые относились к "физическому миру", по крайней мере с современной точки зрения. Однако алхимик не проводил чёткого различия между психологическим и объективным. Его "поиски идеала" были поэтому столь же психологическими, сколь и химическими (на самом деле в большей степени психологическими, так как он работал при отсутствии даже основных орудий современной науки). Алхимик утверждал, что ответ на его вопросы лежал вне церкви, в неизвестном. Исследование неизвестного и запретного (тогда, как и теперь) означало порождение спасительного знания. Принятие такого знания означало движение по

направлению к совершенству. Поэтому, вообще говоря, алхимик хотел преобразовать каждую подчинённую часть в категории "материя" (неизвестное, падший, испорченный мир, включая человека как "телесное" существо) в категорию "золото" (аполлоновское, духовное, солнцеподобное, непогрязшееся состояние). Он искал преобразующее средство, чтобы вызвать это изменение (философский камень); но он к тому же рассматривал и себя как такое средство (так как был существенно вовлечён в преобразующее дело алхимии). Это относительно прямое представление в понятиях "движения по направлению к идеалу" схематически представлено на рисунке 62 "Алхимическое действо как «обычная история»".

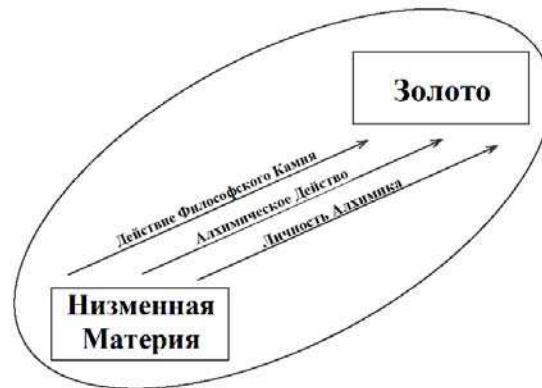


Рисунок 62

Алхимик мужественно полагал, что дело искупления, которое церковь считала завершённым, было ещё не закончено, или, по крайней мере, действовал, "как будто" всё ещё была "работа, которую надо сделать". Поэтому он надеялся превратить то, что было по-прежнему неискуплённым, в золото. Трудность, конечно, состоит в том, что превращение "низменной материи" в "золото" невозможно в ходе "обычного" перемещения из точки "а" — "невыносимого настоящего" — в точку "b" — "желательное будущее". Однако попытка создать "самое идеальное из возможных состояний" — что-то похожее на рай на земле — особенно невероятна без революции. Поэтому алхимическая "история" скоро превратилась во что-то более сложное — нечто по существу повторяющее "союз богов" (что-то очень похожее на процесс посвящения; что-то очень похожее на солженицынское духовное преображение в ГУЛаге). Алхимики скоро дошли до понимания того, что движение к идеалу не означает непрерывного восхождения на гору; скоро дошли до понимания того, что большому скачку вперёд обязательно предшествует полное нисхождение вниз.

Стоило алхимику решиться исследовать ради спасения неизвестное, а не учение церкви (или по меньшей мере исследовать его в дополнение к учению церкви), как он становился вне защитных пределов своей прежней системы классификации. Вне этой догматической системы явления принимали новые значения (или по крайней мере приобретали новые возможности значения). Как только ты понял, что не знаешь совершенно всего о каком-либо явлении, появляется возможность постигнуть что-то новое. Однако, когда "предмет" помещается в систему классификации (в некую особенную парадигму), его допытное значение как побудительной причины ограничивается (полностью в случае его неуместности; частично, когда явлению приписывается какая-то конкретная польза). Когда система классификации терпит неудачу (из-за преобразования окружающей среды, естественной или общественной, или, более прозаично, из-за появления несовместимого с ней опыта (угрожающего парадигме знания)), явления ранее ограниченные в своём значении побудителей вновь обретают своё первоначальное значение. Это значит, что предметы опыта обновляются: что эмоция, которую они были способны вызывать до классификации,

появляется вновь. С алхимической точки зрения это есть смерть "царя" – господствующей ранее "системы порядка" – и новое появление "царицы", Великой Матери, – источника угрозы и обещания, жизненно важных для обновления. Погружение царя в царицу (их "половая связь" (лейтмотив кровосмешения)) означает сведение "мира" к докосмогоническому хаосу, предшествующему творению – к состоянию первоматерии, первобытной материи. Это приводит также к состоянию "враждующих противоположностей" – к новому появлению сталкивающихся друг с другом "сущностей", удерживавшихся в согласии предшествующим упорядоченным состоянием. "Воссоединение" (представляемое в символах как творческая, или "половая", связь) царя и царицы, создаёт состояние, отличающееся возможностью появления чего-то нового. Это "что-то новое" можно было бы представить в понятиях как "божественного сына", появляющегося от этой связи, чтобы снова стать царём. Этот божественный сын рассматривался различным образом: как новый царь или даже как сам философский камень, в одном из его многих возможных видов. Этот гораздо более сложный процесс представления в понятиях, который объясняет огромную символическую производительность алхимии, схематически представлен на рисунке 63 "Алхимическое действо как «революционная история»".

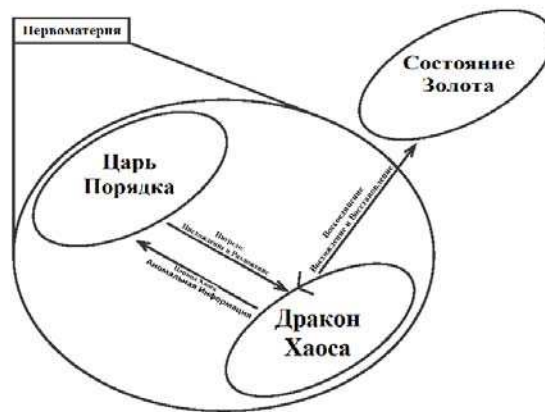


Рисунок 63

5.3.2.4. Первоматерия

"Оно предлагает себя в низменном виде. Из него бьёт ключом наша вечная вода".⁶¹²

Первоматерия (иначе "круглый хаос" или алхимический уробор) есть неизвестное как материя и одновременно как воздействие на воображение и поведение (неразделимые в донаучном смысле): она есть Бог как вещество и действие вещества. Первоматерия – это "докосмогоническое яйцо", дракон хаоса – вечный источник, из которого возникают дух и знание, а также материя и мир. Она есть то неизвестное, которое одновременно порождает новые явления, когда его исследуют; то неизвестное, которое служит источником "информации", которая приходит, чтобы составить определённого переживающего субъекта. Поэтому алхимики давали первоматерии "наполовину химическое, наполовину мифологическое" определение: для одного алхимика она была ртутью, для других – рудой, железом, золотом, свинцом, солью, серой, уксусом, водой, воздухом, огнём, землёй, кровью, живой водой, философским камнем, ядом, спиртом, облаком, росой, тенью, морем, матерью, луной, змеей... Юнг утверждает:

"Независимость и вечность первоматерии [например] у Парацельса наводит на мысль о начале, равном Божеству, соответствующем богине-матери... Следующие тексты, например, применяются к первоматерии: «которого происхождение из начала, от дней вечных» (Михей, 5 : 2) и «прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Иоанн, 8 : 58). Это должно

показать, что философский камень не имеет начала и изначально существует от вечности и что у него не будет и конца, и он будет существовать всю вечность...

И точно таким же образом, продолжает автор, как философский камень вместе с веществом, из которого он состоит, имеет тысячу имён и поэтому называется «чудотворным», все эти имена могут в высшей степени утверждаться в отношении Бога, и автор переходит к применению этого. Христианин едва ли может поверить своим ушам... «То, из чего возникают вещи, – это невидимый и неподвижный Бог»".⁶¹³

Алхимики понимали, что первоматерия, тем не менее, должна быть ещё "неискуплённой" и "низменной". Понятие испорченной материи было нравственным понятием, а следовательно, "несовершенство" материи – нравственным несовершенством. Размышления алхимиков о природе этой несовершенной материи неизбежно принимали форму размышлений о проблеме нравственного несовершенства и нравственной испорченности как таковой. Так как алхимик мыслил по аналогии и символически при отсутствии эмпирического метода, он фантазировал или воображал, что испорченная первоматерия обладала общими свойствами с другими испорченными и несовершенными созданиями, включая телесного человека, заражённого первородным грехом и своими собственными прегрешениями.

Для нас как современных людей практически невозможно представить себе, до какой степени вселенная наших предков была нравственной вселенной. Каждая сторона этого первобытного мира разделяла общую испорченность, была вовлечена в стремление стать лучше в нравственном смысле, стремилась к совершенству. Каждая руда хотела стать чистым металлом, каждый чистый металл – золотом. Поэтому все кузнецы, горняки – и алхимик – исполняли роль повивальных бабок, стремящихся помочь Земле произвести "совершенные" вещества, которые та очевидно желала создать. Элиаде описывает отношение к делу, отличающее первобытного металлста:

"Минеральные вещества обладали такой же святостью, которая придавалась Матери-Земле. Очень рано мы сталкиваемся с представлением, что руды "растут" в чреве земли по способу зародышей. Поэтому металлургия принимает характер родовспоможения. Горняк и металлст вмешиваются в ход подземной эмбриологии: они ускоряют ритм роста руд, они сотрудничают в деле Природы и помогают ей рожать более быстро. Одним словом, человек с его различными техническими приёмами постепенно замещает Время: его труды заменяют работу Времени.

Сотрудничать с Природой, помогать ей производить в постоянно возрастающем темпе, изменять способы воздействия на материю – здесь, по нашему мнению, находится один из главных источников алхимической идеологии. Мы не утверждаем, конечно, что имеется непрерывная преемственность между душевным миром алхимика и душевным миром горняка, металлста и кузнеца (хотя, на самом деле, обряды посвящения и таинства китайских кузнецов образуют существенную часть преданий, позднее унаследованных китайским даосизмом и алхимией). Но что плавильщик, кузнец и алхимик имеют общего, так это то, что все трое предъявляют притязания на особый магически-религиозный опыт в своих отношениях с материей. Этот опыт является их монополией, и его тайна передаётся через посредство посвячительных обрядов их ремёсел. Все трое воздействуют на Материю, которую они в то же время считают живой и священной, и в своих трудах они занимаются преобразованиями материи, её совершенствованием и её превращениями".⁶¹⁴

Под неискуплённой первоматерией алхимик понимал материю, попавшуюся, как в ловушку, в несовершенное состояние, точно так же, как сам человек был пойман, как в ловушку, в испорченное и бренное состояние своей греховной, демонической телесной природой. Превращение этой первоматерии в золото или в философский камень поэтому означало нравственное преобразование, которое могло быть вызвано нравственными средствами. Алхимики искали способ избавиться от порчи. Они применяли свои фантастические объяснения к искуплению испорченной материи, что кажется нелепым с современной точки зрения. Однако опытное познание физического мира уже давно было

проклято церковью – по причинам, у которых имелась своя собственная логика, – и утраченная ценность, которую представляло это познание, крайне нуждалась в искуплении. Поиски утраченной ценности подвели алхимиков к рассмотрению глубин самой природы порчи, или ограничения, и, помимо этого, её преобразования и искупления. Их преданная сосредоточенность на природе этого явления приводила в движение фантазии, связанные с образом пути, который всегда самопроизвольно возникает, когда люди оказываются лицом к лицу со своими ограничениями и сталкиваются с неизвестным. И надо же понимать, что, хотя алхимики объединяли в одно целое "душу" и "объективную реальность", такое объединение было осмысленным. Алхимик действительно "спасал" себя, изучая "спасительные" преобразования материи: в самом простом смысле потому, что исследование "высвобождает" знание, которое может сыграть роль в формировании его личности; в более сложном смысле потому, что сознательное исследование вне области, дозволенной традицией, отождествляет исследователя с героем-творцом.

Первое алхимическое преобразование приняло форму расщепления – химического растворения или разложения первоматерии в её "твёрдом" виде – в её патриархальном воплощении, в её проявлении как "упорядоченного", или "устойчивого", или "твёрдого" вещества. Типичная первая ступень в любом нравственном преобразовании (которое алхимик стремился вызвать) состоит в трагическом разрушении предшествующего состояния того, что преобразовывалось. Подобным же образом разложение первоматерии было равносильно вырождению предыдущего обусловленного обществом внутридушевного состояния алхимика, логически вытекающему из его решения заниматься неизвестным:

"Химическое разложение сравнимо с трудом философов, поскольку, как философы приходят к знанию через исследование, так и естественные предметы растворяются посредством разложения [ad solutionem]. Это можно сравнить с философским знанием..."⁶¹⁵

Исследование средневекового мировоззрения может помочь представить природу предыдущего состояния алхимика, его символический эквивалент в первоматерии и последствия его разрушения, а также окружающую их обстановку.

Для средневекового "человека разумного" исследование материи считалось делом совершенно еретическим. Простое указание, что неизвестное всё ещё существовало и поэтому нуждалось в исследовании, угрожало безусловной власти христианской догмы, как её исторически сформулировали отцы церкви. Оспаривание этой власти означало, что алхимик ставил себя вне защиты своих культурных традиций в психологическом смысле и оказывался подчинён произволу церковных властей в практической жизни. Исследование материи и её превращений было поэтому исключительно опасным делом, как с внутридушевной, так и с общественной точки зрения. Общепринятое наказание за ересь было исключительно ужасно – включало крайне жестокие пытки и полное отлучение от церкви, – а возможные последствия для души едва ли менее опасны.

Начиная свои поиски, алхимик ставил себя вне защитной ограды подчинения и отваживался на исследование того вида опыта, который согласно мировоззрению его времени отличался чистым демонизмом. Опасение, которое такое предприятие, должно быть, вызывало в умах тех, кто его выбирал, едва ли вообразимо (хотя такое опасение вновь возникает в уме современного человека, у которого появляются революционные идеи). Предпосылкой или непосредственным следствием алхимического поиска неизвестного ради идеала был отказ от господствующего личного и общественного мировоззрения или его расстройство. Исследовать материю ради идеала значило исследовать зло и саму испорченность в поисках ценности. Алхимик, который занимался этим исследованием, уже верил, что он нуждается в спасении, что он несовершенен, иначе он никогда бы не осмелился выступить за границы, проведённые церковью. Его нужда в спасении, в завершении соответствовала нужде в спасении, присущей испорченной первоматерии, и дополнительно усиливала "бессознательное", основанное на аналогии тождество между приверженцем алхимии и его материалом.

5.3.2.5. Царь порядка

При отсутствии правильной эмпирической методологии приверженец алхимии мог исследовать превращения материи, руководствуясь только предрассудками своего воображения. Поэтому результаты занятий алхимией были неизбежно устроены в соответствии с главным проявлением образной фантазии – мифом о пути. Алхимик работал один, сосредоточиваясь на своей процедуре месяцами и годами, и в этих одиноких поисках его фантазия выпускалась на свободу. Стоило ему набраться храбрости и признать своё собственное невежество, свои собственные недостатки, как его исследования "материи" принимали форму соприкосновения с неизвестным. Признание личного невежества представляет собой вызов канону культуры (в той степени, в какой невежественный человек отождествляется с этим канонem) и подготавливает почву для нравственного преобразования, которое проявляется в символическом виде. Алхимик искал понимания природы телесной испорченности и способ, посредством которого она могла бы быть заменена совершенством. Христианское учение утверждало, что мир был окончательно искуплён Страстями Христовыми, но алхимику казалось очевидным, что материальные существа, включая его самого, оставались "нравственно" испорченными и несовершенными. Признание несовершенства было поэтому равносильно признанию того, что христианская догма, как её представляла деспотическая церковь – и как вследствие этого она представлялась в душах верующих, – была несовершенной. Это несовершенство, проявляющееся как неограниченная власть, служило деспотическому назначению, которое должно было быть устранено до создания нового знания. Той стороной первоматерии, которая прежде всего нуждалась в искуплении, была поэтому её патриархальная или деспотическая сторона (её "сын"), которая появлялась в воображении как Великий Отец – как Царь или что-то ему символически равноценное. Юнг пишет:

"О своей собственной трансформации сознательный разум, как правило, знает или немного, или совсем ничего, и не стремится узнать что-либо большее. Чем сильнее выражен его автократизм, тем больше он убеждён в вечной ценности своих истин и тем больше идентифицирует себя с ними. Так царствование Солнца, природный феномен, переносится на человеческого царя, который олицетворяет доминирующую идею и поэтому должен разделить её судьбу. В мире явлений преобладает закон Гераклита о постоянном изменении, *panta rei*, согласно которому все истинные вещи должны меняться и лишь то, что изменяется, остаётся истинным...

В этой алхимической картине мы можем легко распознать проекцию процесса трансформации: старение психической доминанты обнаруживается в том, что она выражает психическую целостность с постоянно снижающимся уровнем. Можно также сказать, что психика больше не ощущает себя полностью под влиянием доминанты, вследствие чего доминанта теряет своё очарование и больше не захватывает психику с прежней полнотой. С другой стороны, её содержание и значение уже не понимают должным образом, или же это понимание не трогает сердце. Чувство неполноценности такого рода продуцирует компенсаторную реакцию, которая, чтобы заполнить брешь, притягивает другие области психики и их содержание. Как правило, это неосознанный процесс, всегда происходящий там, где позиция и ориентация сознательного разума оказываются неадекватными. Я подчёркиваю это, потому что сознательный разум – плохой судья своего собственного состояния и часто упорствует в иллюзии, что его позиция единственно верная и не срывается лишь из-за внешних раздражителей. Если изучить сны, то скоро станет ясно, почему осознанные предположения оказываются неработоспособными. И если, наконец, появляются невротические признаки заболевания, тогда позиции сознания, его управляющее назначение, опровергаются, и в бессознательном возбуждаются те архетипы, которые были наиболее подавлены сознательной позицией. Тогда у терапевта не остаётся другого выбора, кроме как противопоставить эго его противнику и таким образом начать процесс плавления и переделки. Это противопоставление выражается в алхимическом мифе о царе в виде столкновения мужского, духовного отцовского мира, над которым властвует Царь-Солнце, с женским, хтоническим материнским миром, символизируемым вечной водой хаоса".⁶¹⁶

Процесс, символически представленный как "расщепление Царя" находил свой аналогичный материальный эквивалент в химическом процессе растворения – в погружении твёрдого вещества или соединения (первоматерии) в растворитель, или в его разложении, в его возвращении в землю (отсюда происходит всё ещё сохранившаяся метафора для расточителя – распушенная личность). "Твёрдое вещество", Царь, представляет мифологическое ядро исторически обусловленной иерархии образов поведения и представления, с которой приверженец алхимии ранее отождествлялся и которая должна была быть оставлена или оспорена, прежде чем исследование материи, или неизвестного, могло начаться всерьёз. Разрушение культурно обусловленной патриархальной системы обычно символически представляется в воображении как смерть старого (бесплодного, больного) царя, которая становится необходимой, когда земля больше не приносит плодов. Такое жертвоприношение – которое некогда было обрядом – означает отказ от возлагания надежд на особый образ поведенческого приспособления и представительного предположения; означает возможности нового введения новых представлений (или даже новых образов представлений), когда приспособлению к окружающей среде угрожает аномалия.⁶¹⁷ Представление о Царе – главном представителе культуры – было выражено во множестве символических образов в течение столетий, когда алхимия процветала. Орёл, солнце, лев, небо, огонь, высота и дух – все они символизировали различные стороны патриархальной системы, которые служили тому, чтобы представлять первоначальное состояние первоматерии до его разложения. Такие символические представления возникают как что-то само собой разумеющееся, если снова возникают условия, которые первоначально их вызвали. Столкновение с неизвестным представляет собой одно из таких условий.

5.3.2.6. Царица хаоса

Растворитель, в котором первоматерия растворяется как Царь, или земля, в которую она возвращается, образно представляются в алхимическом процессе символами, типичными для матриархальной системы. Первоматерия растворяется в воде, солёной воде, слезах или крови, как старый царь растворяется в матриархальной системе – растворяется в (ранее ограниченной) чувственности, эмоции и воображении, которые угрожают знанию в его конкретной форме и переступают его пределы и одновременно служат утробой, из которой оно рождается. Матриархальная система – это внутридушевная представительница Царицы, Великой и Ужасной матери, которая является морем, жабой, рыбой или драконом, львицей, землёй, глубиной, крестом, смертью и материей:

"... она также является луной, матерью всех вещей, сосудом; она состоит из противоположностей, носит тысячи имён; она – старуха и блудница, мудра, как Мать Алхимия, и учит мудрости, из неё можно извлечь эликсир жизни; она – мать Спасителя и сына Макрокосма; она – земля и змея, скрытая в земле, тьма, и роса, и живая вода, соединяющая разделённое".⁶¹⁸

Первоматерия как Царь растворяется в первоматерии как солёной воде, или море, которое представляет утробу и эмоцию, как горькая солёная вода составляет слёзы и трагическое возбуждение вследствие неисполнения желания. Теплота, которая способствует химическому растворению, символически равнозначна страсти, эмоции или чувственности – сторонам внутридушевного мира, лежащим вне области разумной мысли. Растворение Царя в матриархальной системе тематически воссоздаёт героический или жертвенный лейтмотив кровосмешения, созидательного (полового) воссоединения со своей матерью. Это созидательное воссоединение проявляется прежде всего как душевный беспорядок, подавленность и тревога, а только затем как воссоздание. Царь – это сын Бога, в ранее воплощённом виде, который утрачивает свою действенность с течением времени. Первобытное обрядовое царевубийство было основано на вере в то, что волшебная сила царя, его способность обновлять своих подданных и свою страну, уменьшается с возрастом. Подчинение (внутридушевной или общественной) тирании неизбежно способствует застою и подавленности, разложению. Тем не менее вызов, брошенный господствующему духу

времени, означает удаление имеющегося знания из той обстановки, где оно уместно, и последующее возвращение условно известного в область ужасного и многообещающего неизвестного:

"Чтобы войти в Царство Божие, царь должен преобразоваться в первоматерию в теле своей матери и вернуться в тёмное первоначальное состояние, которое алхимики называют «хаосом». В этой перемешанной массе стихии находятся в конфликте и отталкивают друг друга; все связи в ней расторгнуты. Растворение – это предпосылка спасения. Тот, кто совершает таинства, должен претерпеть символическую смерть, чтобы достичь преобразования".⁶¹⁹

Матриархальное "царство", которое Юнг олицетворял в образном представлении как анима, в качестве неизвестного является источником нового знания. Это делает матриархальное "царство" "матерью или мудростью", формой для откровения, которое обновляет. Такое откровение, однако, непременно угрожает устойчивости предыдущего знания и "освобождает" ранее заторможенные эмоции (вследствие распада предсказуемости и уверенности). Согласно Юнгу:

"Анима становится созидательной, когда царь обновляется в ней. Психологически царь прежде всего символизирует Солнце (Sol), которое мы истолковываем как сознание. Но, сверх этого и прежде этого, он представляет доминанту сознания, такую, как общепринятый принцип, или коллективное убеждение, или традицию. Эти системы и правящие идеи «старятся» и поэтому насильственно осуществляют «превращение богов»... Оно редко осуществляется как определённое коллективное явление. Обычно это относится к сфере индивидуального, которое при определённых условиях может воздействовать на общество, когда «исполняется срок». Для человека это означает только то, что правящая идея нуждается в обновлении и изменении, если действовать в соответствии с меняющимися внешними и внутренними условиями".⁶²⁰

Первоначальное состояние болезни царя – это несомненная конечная судьба конкретного знания, утверждаемого как безусловное. Так как неизвестное всегда переступает пределы известного, никакое окончательное утверждение о природе существования невозможно. Поэтому попытки ограничить знание тем, что сейчас известно, непременно приводят к общественному и душевному застою. К несчастью, попытки преодолеть такой застой сначала обязательно приводят к созданию эмоционального, мотивационного и идейного хаоса. Растворение патриархальной системы в матриархальной, даже при сознательных поисках идеала, достигает высшей точки в создании хаотического душевного состояния, символом которого в алхимии служат постель больного Царя, беременность Царицы или нечто им равноценное. Это хаотическое состояние, являющееся результатом решения заняться неизвестным, сопровождается в воображении возникновением каких-то существенных движущих сил, воплощаемых, олицетворяемых как противостоящие силы, у которых нет посредствующего начала. Это в точности равносильно "внутреннему" возвращению к состоянию многобожия, где "боги, которые правят человечеством", борются между собой, не подчиняясь никакой "силе" высшего порядка. Алхимики описывали эту стадию их деяния как *pigredo*, или черноту – состояние, которое мы, вероятно, связываем с унынием, душевным хаосом, неопределённостью, порывистостью и тревогой.

Чернота опускается, когда значение событий и процессов для побуждения, ранее сдерживаемое приверженностью к главному, парадигматически устроенному набору верований, неявных и явных, снова делается неопределённым и новым. Разложение верований, которых они ранее придерживались, позволяло основным составляющим устройствам души алхимика действительно олицетворяться в воображении. Составные части личной, патриархальной и матриархальной систем соперничают в соревновании, при отсутствии объединяющего начала, оставленного в поисках неизвестного. Юнг говорит:

"Эта [первоначальная] битва – *separatio, divisio, putrefactio, mortificatio* и *olutio*, которые представляют собой первичное хаотическое состояние конфликта..."⁶²¹ Дорн

аллегорически описывает эту порочную, воинственную четверицу как четырёхрогого змея, которого дьявол после своего низвержения с небес стремится «вставить» в душу человека. Дори переводит мотив войны в нравственную плоскость и тем приближает его к современной концепции психической диссоциации, которая, как нам известно, лежит в основе психогенных психозов и неврозов. В «горниле страданий» и в огне, говорит «Aquarium sapientum», «человек, подобно земному золоту, достигает истинной черноты Головы Ворона; то есть он полностью обезображивается (утрачивает образ) и подвергается осмеянию миром, и не только на сорок дней и ночей, или даже на годы, но часто на всю жизнь; в такой степени, что он испытывает в жизни больше сердечной боли, чем покоя и радости, больше печали, чем удовольствия... Через эту духовную смерть его душа полностью освобождается». Очевидно, *pigredo* вызывает деформацию и душевное страдание, которое автор сравнивает с положением несчастного Иова. Незаслуженные страдания Иова, посланные ему Богом, суть страдания слуги Божьего и прообраз Страстей Христовых".⁶²²

Отождествление с ранее существующим культурным каноном – или притязание на такое отождествление – обеспечивает защиту против неизвестного и придаёт знанию необходимый контекст, но способствует тирании. Конечной ценой этого отождествления является ложь – отрицание отклонения и неизвестного. Когда от такого отождествления отказываются сознательно или случайные изменения делают его невозможным, эмоции, которые "сдерживаются" целостностью предыдущей системы классификации, ещё раз высвобождаются и проявляются. "Растворение царя" означает, что многое из ранее понятого возвращается в неизвестное. Это можно было бы рассматривать как обращение вспять исторического процесса, который создал из всех богов одного высшего бога, или, выражаясь более психологически, как борьбу сталкивающихся побуждений, желаний и "подличностей", которая усилится, когда обрушится всеохватывающая иерархия ценностей. Такое "возвращение к предшествующему состоянию" погружает человека в состояние полной неопределённости, разочарования, уныния и беспорядка.

5.3.2.7. Странствие

Алхимики верили, что совершенство отличается целостностью, объединением всех "соперничающих противоположностей". К заключительной стадии алхимической процедуры – воссоединению – поэтому переходят прежде всего посредством изучения всех "сторон души", противодействующих друг другу во "чреве дракона уробора":

"Что же тогда значат утверждения алхимиков относительно их чудесного эликсира (арканума), если рассмотреть их с психологической точки зрения? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вспомнить рабочую гипотезу, которую мы использовали для истолкования снов: образы снов и спонтанные фантазии суть символы, то есть наилучшим образом сформулированные пока ещё неизвестные или неосознанные факты, как правило, компенсирующие содержание бессознательного или осознанную позицию. Если мы применим это основное положение к алхимическому эликсиру, то придём к заключению, что его наиболее бросающееся в глаза свойство, то есть его единство и уникальность – как камня, лекарства, сосуда, процедуры и констелляции – предполагают расщеплённое сознание. Ибо нет того, кто сам по себе осознавал бы необходимость единства как лекарства, и нет никого, должны мы добавить, кто не ощущал бы этого расщепления, поскольку осознанная ситуация страдания необходима, чтобы возбудить архетип единства. Из этого мы можем заключить, что наиболее психологически мыслящими были те алхимики, которых не удовлетворяло преобладающее мировоззрение того времени, то есть христианская вера, хотя они были убеждены в её истинности. Ни один классический латинский или греческий трактат не говорит об обратном: читая христианские труды, скорее видишь в них твёрдость христианских убеждений их авторов. Поскольку христианство есть выраженная система «спасения», основанная, сверх того, на Божьем «плане искупления», а Бог есть единство по преимуществу, следует задаться вопросом, почему алхимики всё ещё чувствовали разлад внутри себя, или ощущали

несогласие сами с собой, хотя их вера была таковой, что могла бы предоставить им все возможности для единства и согласия. (Этот вопрос не утратил своей актуальности и сегодня!)"⁶²³

Это всеобщее узнавание было представлено в понятиях различным образом: как "путешествие к четырём странам света" – странствие – или как ознакомление с каждой стороной жизни, как огромное расширение самопознания. Включение всех соперничающих состояний побуждения в единую иерархию ценностей предполагает распознавание всех разнообразных (болезненных, неудобных, трудно управляемых) желаний и "выработку" соглашения между ними. Точнее всего это могло бы рассматриваться как "спасительное" расширение самосознания. Можно было бы сказать: возникновение ограниченного самосознания, символически представленное в мифах о грехопадении, явилось причиной нравственного падения человека. Алхимики-философы – бесконечно размышляющие о природе совершенства или о преобразовательных процессах, необходимых для достижения совершенства, – пришли к "пониманию" того, что совершенствование самосознания могло бы явиться возмещением за изгнание из рая. Но распознавание всех соперничающих между собой желаний означало здравомыслящее признание подлинно трагического состояния человека и всех его "греховных" и смертных слабостей, грехов и недостатков, связанных с личной жизнью, а затем попытку по-настоящему примириться с этим состоянием и этими ограничениями.

Если ты жалкий и дезорганизованный глупец, создающий повсюду вокруг себя хаос, то тебе будет ужасно мучительно узнавать самого себя и при этом видеть огромность предстоящей тебе работы. Очень трудно заменить обманчивое отождествление с внешней стороной личности здравомыслящим пониманием действительной (и обладающей недостатками) отдельной личности. Более ясное видение или понимание есть нечто, достигаемое немалой ценой (не говоря уже о цене преобразования этого понимания в действие). "Свиное, дикое животное" – "голодный разбойник, волк, лев или другой хищный зверь"⁶²⁴ – служили в качестве подходящих представителей "неискупленного человека" с точки зрения алхимии. Возникновение и узнавание этого животного есть необходимая предпосылка его преобразования. Эта мысль образно представлена на рисунке 64 "Волк как Первоматерия, пожирающий мёртвого Царя".⁶²⁵



Рисунок 64

Это "пожирание мёртвого Царя" теперь узнанным "зверем преисподней" во многом родственно солженицынскому открытию своей личной ответственности за ГУЛаг, где он был

заклѹченнѹм. Для типичного современного человека одинаковое потрясение могло бы быть вызвано его открытием своей тождественности с нацистами. Варвары гитлеровского государства были обычными людьми – обычными людьми, как вы (и я). Невозможно подчеркнуть это достаточно сильно. Но "обычный человек" не представляет себя умозрительно как нациста. Это просто означает, что его общее представление о себе создаѹт ему обманчивую безопасность (как тюрьма защищает своих заклѹченнѹх от угрозы извне). Но действия нацистов – то есть преднамеренное мучение невинных людей и наслаждение таковым – вполне находятся в пределах возможного для обычного человека (и, вероятно, их не исчерпывают). Человек есть ужасная сила зла. Оpozнание этой силы – действительное опознание, опознание того рода, что приходит как ошеломляющий удар, – является предпосылкой любого основательного улучшения характера. Под таким улучшением я имею в виду способность переносить трагедию жизни, переступать пределы этой трагедии и не выродиться вместо этого в нечто "бессознательно" желающее сеять боль и страдание. Юнг говорит:

"Неважно, что животное есть символический носитель самости. Намѹк Майера нашѹл подтверждение у современных людей, не имеющих понятия об алхимии. Это является выражением того факта, что структура целостности всегда существовала, но была погребена в глубочайшем бессознательном, где всегда могла быть обнаружена вновь, в том случае если бы человек пожелал рискнуть своей шкурой, чтобы достичь высочайшей из возможных степеней сознания посредством величайшего из возможных самопознания – «терпкого и горького питья», приберегаемого обычно для ада. Божий престол кажется недостаточно высокой наградой за подобные испытания. Ведь самопознание – в общем значении этого слова – не только одностороннее интеллектуальное времяпрепровождение, но странствие по четырѹм материкам, где человек подвергается всем опасностям земли, моря, воздуха и огня. Весь акт узнавания достоин имени, охватывающего четыре – или 360! – аспектов существования. Ничего не может быть «проигнорировано». Когда Игнатий Лойола рекомендовал созерцателю «воображение посредством пяти чувств» и приказывал ему имитировать Христа, «пользуясь своими чувствами», он имел в виду полнейшую возможную «реализацию» объекта созерцания. Действительно, кроме морального и других подобного рода эффектов медитации, основным еѹ эффектом является тренировка сознания, возможности сосредоточения, внимания и ясности мышления. Соответствующие формы йоги производят те же воздействия. Но по контрасту с этими традиционными методами реализации, где медитирующий проецирует себя в некую заранее предписанную форму, самопознание, упомянутое Майером, есть проекция в эмпирическую самость, какой она фактически является. Это не самость, которую мы хотели бы вообразить себе после тщательного избавления от всех недостатков, но эмпирическое эго как оно есть, со всем, что оно совершило, и со всем, что может с ним произойти. Каждый хотел бы избавиться от этого ненавистного свойства, и именно поэтому на востоке в эго видят иллюзию, а на западе эго приносят в жертву образу Христа.

Напротив, цель мистического странствия – понять все части мира, достигнуть пределов расширяющегося сознания, как будто его ведущим принципом была Карпократова мысль, что человек не должен освобождаться от греха, которого он не совершал. Не уход от своей эмпирической «тождественности», но полнейший возможный опыт эго как отражѹнного в «десяти тысячах вещей» – вот цель странствия".⁶²⁶

Личина, которую каждый человек носит в обществе, основана на том притязании, что он тождественен со своей культурой (обычно с еѹ "самыми лучшими частями"). Простак, прячущийся за этой личиной, состоит из личного отклонения, которое из страха обманчиво избегается и о котором лгут. Подобная отклоняющаяся от нормы жизнь, которую лучше всего забыть, содержит самые худшие и самые лучшие склонности личности, подавляемые культурой, потому что они угрожают норме; вынужденные уйти в подполье самой личностью, потому что они угрожают личной душевной устойчивости (которая означает отождествление с группой и длящееся торможение страха). При отсутствии объединѹнной иерархической нравственной (патриархальной) системы соперничающие ценности и точки зрения ведут дело

к расщеплению личности, так как каждая преследует свою собственную цель: как жадность могла бы затруднить удовлетворение похоти, как голод мог бы сделать любовь невозможной. Когда система нравственности подвергается разложению и утрачивает свою безусловную обоснованность – её высшее нравственное устройство, – ценности, которые она удерживала в согласии, снова оказываются несовместными, по крайней мере с сознательной точки зрения. Это противостояние ценностей – каждая из которых сама по себе является необходимой "божественной силой" – порождает замешательство, потерю ориентации и отчаяние. Такое отчаяние, которое может быть поистине невыносимым, можно считать первой ловушкой нравственного преобразования. Даже простое размышление о возможности такого состояния обычно вызывает беспокойство, которого достаточно, чтобы остановить дальнейшее нравственное развитие. Алхимик, однако, безоговорочно избирал роль героя, когда он сознательно решался искать свой идеал в неизвестном. Его бессознательное отождествление себя с вечным образом героя-исследователя, его деятельное воплощение мифологической роли помогало ему устоять перед лицом серьёзных трудностей. Юнг подчёркивает:

"Только живое присутствие вечных образов может придать человеческой душе достоинство, которое сделает нравственно возможным для человека поддержание своей собственной души, причём он будет убеждён в том, что его упорный труд не останется безрезультатным. Только тогда он поймёт, что конфликт в нём самом, что все его разногласия и неприятности – его собственное сокровище, которое не следует расточать, нападая на других; и что, если судьба взывает с него долг в форме чувства вины, то это долг самому себе. Тогда он узнает, чего стоит его душа, ведь нельзя же быть в долгу у ничего. Но если он утрачивает все свои ценности, то становится голодным разбойником, волком, львом или другим хищным зверем, алхимическим символом алчности, который вырывается на свободу, когда чёрные воды хаоса – то есть бессознательное проекции – поглощают царя".⁶²⁷

Неизвестное, так сказать, заражено психоаналитическим "подсознательным", потому что всё, чего мы не знаем о самих себе, и всё, что мы испытали в опыте, но не обработали (что значит усвоили, но ещё не приспособились к нему), имеет то же самое эмоциональное значение, как и всё, что существует просто как возможность. Каждая мысль и каждый порыв, которые мы избегаем или подавляем, потому что они угрожают нашему самопониманию или представлению о мире; каждая фантазия, которую мы переживаем, но не принимаем (то есть не подстраиваем под неё своё поведение или представления), существуют в той же области, что и хаос, мать всех вещей, и помогают подрывать нашу веру в наиболее жизненно важные для нас предположения. Столкновение с "неизвестным" является, следовательно, одновременно и столкновением с теми сторонами самих себя – нашим поведением, нашим эпизодическим опытом и нашими словесными навыками, – которые мы прежде определяли как невозможные (несмотря на их бесспорное "существование"). Это означает, что ранее пренебрегаемые линии поведения становятся доступными для сознательного использования; означает (вос)создание модели личности, которая точно представляет такой набор возможностей.

Переживания, которые в настоящее время считаются запретными, – которые запрещены с точки зрения существующей в настоящее время нравственной схемы, – могут содержать в себе источники творческих решений задач, которые всё ещё остаются нерешёнными или, возможно, возникнут в будущем; могут ещё представлять "неразработанные" и спасительные возможности. Рассказы о "путешествующем мудреце", "бродячем волшебнике" или "мужественном искателе приключений" представляют собой признание полезности таких возможностей. С точки зрения таких повествований "вся совокупность опыта и действия" заключает в себе необходимую предпосылку достижения мудрости. Это "полное погружение в жизнь" есть мистическое "странствие" средневекового алхимика в поисках философского камня; оно есть путешествие Будды через все области чувств, любви и философии ещё до достижения им просветлённости. Ритуал паломничества – "путешествия в священный город" – представляет собой наполовину обрядовое, наполовину театральное разыгрывание этого представления. Паломник добровольно оставляет "защитные стены" исходной культуры и благодаря трудному и требовательному путешествию в "неведомые, но святые земли"

ускоряет душевный процесс расширения, объединения и созревания. Именно так неизбежно завершаются подлинные "поиски", хотя их "конечная, невозможная цель" (например Грааль) может остаться на деле недостигнутой.

Необходимость опыта как предпосылки мудрости может показаться самоочевидной, стоит лишь приложить к задаче должное внимание (так как мудрость, очевидно, "происходит" из опыта), но суть дела состоит в том, что те явления опыта, которые благоприятствуют их неприятию или желанию их обойти (и поэтому остаются как бы невстреченными или необработанными), всегда граничат со сводящими с ума. Это особенно верно скорее с психологической, чем с обрядовой точки зрения. "Священное паломничество" в его отвлечённом, или "духовном", варианте есть путешествие по "составляющим" опыта и личного характера, которые составляют субъективный "мир опыта", а не разделяемый с другими людьми мир общества и естественный мир. Этот "внутренний мир" разделяется на хорошо знакомую и неизвестную области, почти так же, как и внешний. "Психологической" целью приключения в виде обряда прохождения, то есть паломничества, и основанием популярности таких путешествий в жизни и в драме является развитие характера в противоборстве с неизвестным. "Путешествие к месту, которого больше всего боятся", однако, может быть предпринято в душе почти так же, как и в реальности. Что такое путешествие, однако, означает, так это "странствие" по отвергнутым, ненавидимым и насильственно подавленным сторонам личного опыта. Это – в самом буквальном смысле плавание в землю врага, к сердцу тьмы.

Когда опыт подвергает сомнению безусловную обоснованность данной системы верований, обоснованность определений безнравственности и враждебности, содержащихся в этой системе, также становится сомнительной:

"А усомниться следовало бы, и как раз в двух пунктах: во-первых, существуют ли вообще противоположности, и, во-вторых, не представляют ли собою народные расценки ценностей и противощенности, к которым метафизики приложили свою печать, пожалуй, только расценки переднего плана, только ближайшие перспективы, к тому же, может быть, перспективы из угла, может быть, снизу вверх, как бы лягушачьи перспективы, если употребить выражение, обычное у живописцев. При всей ценности, какая может подходить истинному, правдивому, бескорыстному, всё же возможно, что иллюзии, воле к обману, своекорыстию и вожделению должна быть приписана более высокая и более неоспоримая ценность для всей жизни. Возможно даже, что и сама ценность этих хороших и почитаемых вещей заключается как раз в том, что они состоят в фатальном родстве с этими дурными, мнимо противоположными вещами, связаны, сплочены, может быть, даже тождественны с ними по существу".⁶²⁸

Распознавание возможностей, заложенных в преобразовании первоматерии, означало повторное столкновение с собственным опытом, ранее подавленным культурным давлением и личным решением. Такой опыт мог включать ненависть, жестокость, телесную страсть, жадность, трусость, смущение, сомнение, полёт воображения, свободу мысли и личное дарование. Явления, которых мы избегаем или которые мы отрицаем, – это в точности те явления, которые превосходят наше личное знание, как оно сейчас истолковывается, – те явления или положения дел, которые определяют наши ограничения и которые представляют неполноценность, неудачу, разложение, слабость и смерть. Это значит, что всё, что презирают и чего боятся, каждый предмет ненависти и презрения, всё, означающее трусость, безжалостность, невежество, – каждый опыт, который требует своего отрицания, может всё же содержать сведения, необходимые для жизни. Юнг утверждает:

"Вообще алхимики стремились к полному союзу противоположностей в символической форме, который они считали необходимым условием исцеления всех болезней. Поэтому они пытались найти пути и способы получить такое вещество, в котором все противоположности объединились бы".⁶²⁹

Алхимия говорит о "союзе душ-искр, чтобы произвести золото". Эти искры – *scintillae* – есть "свет во тьме", сознание, связанное с неудачно объединёнными или даже враждебными

составными частями отдельной личности.⁶³⁰ Зародыш, или семя, единства может символически проявиться в любое время процедуры и становится господствующим позднее, если процедура успешна. Этот центр – юнговская "самость"⁶³¹ – объединяет несравнимые составные части ("принуждение звёзд") в одно целое в ходе кругового, циклического путешествия (в ходе революционной спиральной траектории пути). Этот неожиданно появляющийся центр рассматривался алхимиками как дух Меркурий (ловкач, который "внедрён" в материю) или как мифический "пеликан", который кормит своё детище своей собственной плотью и кровью и поэтому является иносказательным представлением как Христа, так и (питающегося собой) уробора. Этот центр рассматривался также как философский камень (солитер), "отвергнутый строителями", прямо отождествляемый с Христом, и как скала, на которой сама безопасность могла бы быть основана. Этот камень, этот неподвижный и неразрушимый центр, "включал" патриархальное и матриархальное начала (Царя и Царицу) и рассматривался также как "детище" хаоса, оплодотворённого порядком. Появление философского камня, или Христа, или пеликана из области дракона хаоса представлено на рисунке 65 "Дракон хаоса как «место рождения» Христа и философского камня".⁶³²

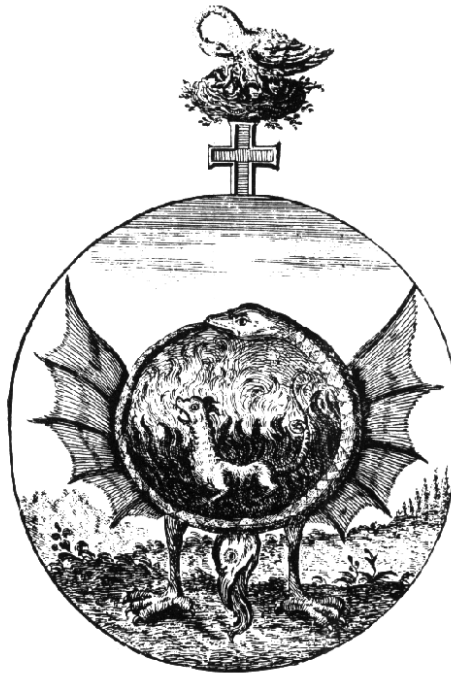


Рисунок 65

Мифологический герой по доброй воле смело встречает неизвестное, разрезает его и создаёт мир из его кусков; опознаёт и преодолевает зло и спасает предка-отца, томящегося в преисподней; сознательно соединяется с девственной матерью и порождает божественное дитя; и посредничает между выступающими друг против друга воинственными царями. Он является, следовательно, исследователем, творцом, возлюбленным и миротворцем. Герой – это к тому же тот, кто путешествовал везде, – тот, кто "овладел чужой землёй" (даже той, где живёт его враг). Это "путешествование везде" и "овладение чужой землёй" имеют психологическое значение и общественный смысл: божественный герой знает и понимает "обычай врага" и может использовать их к своей выгоде:

"Великие эпохи нашей жизни наступают тогда, когда у нас является мужество переименовать наше злое в наше лучшее".⁶³³

5.3.2.8. Воссоединение

Процесс полного распознавания, символизируемый или драматизируемый как странствие, подготавливает место для возбуждения заключительной алхимической последовательности действий, которая состоит в (гипотетическом) объединении всех проявленных сейчас "вещей". В своём тексте "Психология и алхимия" Юнг описывает в общих чертах "Видение Арислея". Это видение содержит все составные части алхимической "теории", изображаемой в эпизодической или повествовательной форме. Его последовательный разбор помогает пролить впечатляющий свет на природу "воссоединения":

"Арислей (византийский алхимик восьмого или девятого века) рассказывает о своих приключениях у Морского царя, в чьём царстве ничто не процветает и ничто не рождается. Кроме того, там нет философов. Только подобное сочетается там с подобным, поэтому там нет и произведения потомства. Царь должен искать совета философов и сочетать браком Фабриция и Бейю, своих двоих детей, которых он выносил в своём мозгу".⁶³⁴

Юнг комментирует:

"Фабриций – это мужественное, духовное начало света и Логос, который, подобно гностическому Нусу, погружается в объятия телесной природы"⁶³⁵,

развивая далее мысль, уже представленную ранее:

"Нус, по-видимому, тождественен Богу-Человеку: он появляется рядом с создателем мира и является противником планетных сфер. Он разрывает круг этих сфер и наклоняется к земле и воде (то есть собирается отразить себя в стихии). Его тень падает на землю, а его образ отражается в воде. Это воспламеняет любовь стихий, а он сам так очарован этим отражённым образом божественной красоты, что рад был бы поселиться внутри него. Но как только он поставит ногу на землю, Физис сожмёт его в страстном объятии".⁶³⁶

Чтобы полностью понять природу первоматерии, важно понять и этот комментарий. Первоматерия – Физис – содержит дух, мужественное начало, так же как и материю, женственное (Бейю в этом повествовании). Первоматерия – дракон хаоса – одновременно служит источником всех вещей, субъектом, которому эти вещи являются, и изображениями вещей, типичных для этого субъекта. Это не простой материальный "источник"; это само совершенное неизвестное, в чьих объятиях дух "спит", пока его не освободят (в ходе исследования, которое преобразует личность, равно как и создаёт нечто "реальное", то есть новое). Юнг развивает свою мысль, с которой мы уже хорошо знакомы:

"Когда нам говорят, что Царь... безжизнен или что его земля неплодородна, это равносильно тому, чтобы сказать: их скрытое состояние – это состояние скрытости и возможности. Тьма и глубины моря [которое означает неизвестное] символизируют бессознательное состояние невидимого содержания, которое проецируется. Ввиду того, что такое содержание принадлежит полной личности и только по видимости отделено от своего контекста отражением, всегда существует притяжение между сознательным умом и отражаемым содержанием. Обычно оно принимает форму очарования. В данном алхимическом иносказании это выражается криком Царя о помощи из глубин его бессознательного, расщеплённого состояния. Сознательный ум должен ответить на этот призыв: надо... оказать Царю услугу, ибо это было бы не только мудростью, но и спасением.

Однако это влечёт за собой необходимость спуска в тёмный мир бессознательного [«неизвестного»]... опасное приключение ночного морского путешествия, чьи конец и цель – восстановление жизни, воскресение и торжество над смертью".⁶³⁷

Несмотря на риск, Арислей и его воображаемые "спутники" храбро пускаются на поиски в царство затопленного царя. Эти поиски кончаются ужасно – смертью Фабриция. Эта смерть похожа на смерть Осириса и символизирует завершение нисхождения духа в "материю", или бессознательное, или неизвестное (где он затем лежит "скрытый", или "необнаруженный", и "требуется спасения", предлагая богатства своему спасителю). Юнг продолжает рассказ:

"... смерть царского сына – это, естественно, затруднительное и опасное дело. Нисходя в бессознательное, сознательный дух ставит себя в опасное положение, ибо он, по-видимому, уничтожает себя. Это положение первобытного героя, которого пожирает дракон.

... умышленное и на самом деле бессмысленное вызывание этого состояния есть святотатство, нарушение запрета, сопровождаемое самыми суровыми наказаниями. Царь, соответственно, заключает Арислея и его спутников вместе с трупом сына Царя, как в тюрьму, в дом из тройного стекла. Героев содержат как пленников в преисподней на дне моря, где, подвергающиеся всем видам ужасов, они томятся в течение восьмидесяти дней при сильной жаре. По просьбе Арислея Бейя заключена с ними. [Версия «Видения» из «Розария» истолковывает их тюрьму как утробу Бейи.]

Очевидно, бессознательное [«неизвестное»] взяло над ними верх и оставило их беспомощными, что означает, что они добровольно вызвались умереть, чтобы породить новую и плодородную жизнь в той области души, которая до сих пор оставалась неразвитой в самой тёмной бессознательности и в тени смерти".⁶³⁸

"Целью" рассказа в описании этого нисхождения является доказательство того, что "только там, где есть опасность" (в водяной пучине, пещере, лесу, замке, на острове и так далее), можно найти "сокровище, которого трудно достичь" (драгоценность, девушку, напиток жизни, победу над смертью).⁶³⁹ Юнг заканчивает свой комментарий:

"Страх и сопротивление, которые каждый человек естественно переживает, когда дело доходит до того, чтобы рыться слишком глубоко в самом себе, есть, по сути дела, страх перед путешествием в Гадес. Если бы он чувствовал только сопротивление, это было бы ещё не так плохо. В действительности, однако, душевная подпочва, эта тёмная область неизвестного, проявляет чарующее притяжение, которое угрожает стать тем более непреодолимым, чем дальше он в неё проникает. Психологическая опасность, которая здесь возникает, – это распадение личности на её функциональные составные части, то есть отдельные функции сознания, комплексы, наследственные единицы и так далее. Распадение – которое может быть функциональным или, подчас, настоящей шизофренией – это судьба, которая постигает Габрика (в версии «Розария»): он разлагается на атомы в теле Бейи... Так долго, как сознание будет воздерживаться от действия, противоположности остаются дремлющими в подсознании. Как только они возбуждаются, царский сын – дух, Логос, Нус – поглощается Физис... В мифе о герое это состояние известно как пребывание проглоченным во чреве кита или дракона.

Жар там обычно так силён [следствие борьбы эмоций: тревоги, гнева], что герой теряет свои волосы и вновь рождается лысым, как младенец... Философ совершает своё путешествие в ад в качестве «спасителя»".⁶⁴⁰

История продолжается:

"Ранее мы оставили Арислея и его спутников вместе с Бейей и мёртвым Фабрицием в доме из тройного стекла, где они были заключены Морским царём. Они страдают от сильного жара, как те три отрока, которых Навуходоносор бросил в огненную печь. У царя Навуходоносора было видение четвёртого отрока, и был "вид четвёртого подобен сыну Божию", как говорится в книге пророка Даниила (Даниил, 3 : 25).

Это видение имеет отношение к алхимии, так как в алхимической литературе имеются многочисленные места, где утверждается, что философский камень троичен и един. Он состоит из четырёх стихий, причём огонь представляет дух, скрытый в материи.

Это четвёртая стихия, отсутствующая и тем не менее присутствующая, которая всегда появляется в огненном мучении печи, символизирует божественное присутствие – помощь, оказанную в тяжёлом минуту, и завершение работы.

И в час их нужды Арислей и его спутники видят во сне своего учителя Пифагора и умоляют его о помощи. Он посылает им своего ученика Гарфорета, «создателя питания». Таким образом, их работа завершена, а Фабриций опять возвращается к жизни. Мы можем предположить, что Гарфорет принёс им чудодейственную пищу [которая сродни причастию], хотя это становится ясным через посредство открытия Руски, который предоставил нам доступ к тексту Берлинского кодекса. Там, во введении, которое отсутствует в печатных версиях «Видения», мы читаем, что Пифагор говорит: «Вы пишете и записали для потомства, как это драгоценнейшее дерево посажено и как тот, кто ест его плоды, не будет более голодать»⁶⁴¹.

Алхимическое деяние означало, на одном уровне анализа, полное объединение "неизвестного" и "известного", насколько этого можно было достигнуть, но на более глубоком уровне – участие в процессе, который создавал "одно целое" из неизвестного и известного. И создание, и его истолкование обычно имели двойную "конечную" цель, в той степени, в какой они представляли поиски совершенства. Первая цель. Объединение женственного, материнского фона "неизвестного «материального» мира", кипящего опасностью, страстью и чувственностью, в согласие с упорядочивающим началом духа. (Это было символически представлено как растворение мёртвого "царя" и его последующее возрождение после "поедания" чудодейственной "пищи" (которая является благотворной стороной неизвестного и героя одновременно).) Впоследствии: повторное введение этой объединённой душевной структуры в физическое тело – так сказать, сознательное "воплощение" теперь уже более полного духа. Таким образом, это означало, что объединение, достигнутое включением "материального неизвестного", не было полным, если оно по-прежнему было делом философии или представления в отвлечённых понятиях: вполне объединённый дух должен был к тому же быть осуществлён в поведении. И это всё ещё не было непременно даже конечной стадией. Алхимик Дорн заявляет:

"Мы полагаем, что созерцательная философия состоит в преодолении тела посредством ментального союза (*unio mentalis*). Этот первый союз ещё не делает человека мудрецом, а только учеником мудрости. Второй союз разума с телом являет мудреца и приносит надежду и ожидание благословенного третьего союза с первоначальным единством [*unus mundus*, скрытым единством мира (замечание Юнга)]. Всемогущий Бог может даровать всем людям такую возможность, и тогда Он станет одним во Всём".⁶⁴²

Мысли Дорна относятся к воссоединению, представленному в понятиях как процесс из трёх стадий. Первой стадией было "объединение духа" ("преодоление тела посредством духовного объединения"). Эта стадия относится к объединению "состояний мотивации" (побуждений, эмоций) в единую иерархию, над которой господствует образ героя-исследователя. Вторая стадия – (вос)соединение объединённого духа с телом. Она равносильна второй стадии путешествия героя. После того как в результате битвы с драконом сокровище освобождено, чисто личная сторона путешествия героя завершена. В конце концов, он нашёл "сокровище, которого трудно достичь". Но вторая стадия путешествия героя – это возвращение его в общество. Она равносильна решению Будды выйти из состояния нирваны до тех пор, пока все живущие не смогут туда придти; равноценна вере Будды в то, что спасение одного человека невозможно при наличии многих неспасённых. Воссоединение объединённого духа с телом – это внедрение надлежащего отношения в действие (и является, следовательно, воздействием героя на мир).

Третью стадию особенно трудно понять. Повторное рассмотрение темы "портного, который штопает"⁶⁴³ – и который может поэтому зашить дыру в небе, проделанную умирающим королём, – могло бы помочь в первоначальном её понимании. То, что идёт не так, как надо, должно быть исправлено. Такое исправление есть внутридушевный процесс, даже если он и предпринят исключительно вследствие действий, совершённых "во внешнем мире". Объединение уже объединённых духа и тела с миром означает признание

существенной равноценности всякого опыта или рассматривание всех видов опыта как буквально равноценных личности. Мы предполагаем существование какой-то последней преграды между "субъектом" и "объектом", но существует точка зрения, которая придаёт всем видам личного опыта – "субъективным" или "объективным" – равный вес как видам опыта. Искупление любой стороны этого опыта – "телесной" или "душевной"; "личности" или "чего-то другого" – рассматривается в таком случае как то же самое действие – как действие, чьей целью является установление "царства Божия", которое одновременно является внутридушевным состоянием и состоянием общества. "Духовное действие" может поэтому рассматриваться как тождественное "воздействию на внешние условия жизни": исправь себя – исправишь мир. Или, иначе говоря: попытку осуществить совершенствование внешнего мира можно рассматривать как равносильную попытке совершенствовать самого себя. В конце концов, преданность идеалу влечёт за собой развитие внутренней дисциплины. В этом состоит добровольное ученичество. С этой точки зрения мир и личность неразличимы: "всё есть опыт". Попытка спасти одно непременно вызывает спасение другого.

Все эти три объединения могут быть символически представлены сизигией, являющейся "божественным соединением противоположностей", которые в наиболее общем смысле рассматриваются как мужское и женское начала:

1. первое объединение, известное (предшествующее знание, относимое к категории патриархального или духовного) + неизвестное (аномалия, относимая к категории матриархального, или эмоционального, или материального, или телесного) = объединённому духу;
2. затем объединённый дух (в этой связи относимый к категории патриархального или духовного) + "тело" (относимое к категории матриархального или материального) = объединённым духу и телу;
3. затем объединённый дух (в этой связи относимый к категории патриархального или духовного) + "мир" (относимый к категории матриархального или материального) = объединённому духу, или телу, или миру.

Все эти три соединения можно рассматривать как варианты "лейтмотива кровосмешения" (спаривания брата с сестрой, сына с матерью, Царя с Царицей). Первая стадия, душевное объединение, была истолкована как необходимая, ценная но неполная; достижение упорядоченного субъективного состояния (вторая стадия) была ещё одним важным шагом по тому же пути:

"Посему научись, о Душа, обращать сопереживающую любовь к своему собственному телу, сдерживая его суетные желания, дабы оно могло во всех отношениях отвечать своему назначению вместе с тобой. Ради этого я буду трудиться, чтобы оно смогло испить с тобой из источника силы, и тогда двое станут одним, чтобы ты нашла мир в этом единении. Приблизься, о Тело, к этому источнику, дабы вместе со своей душой насытиться и более не жаждать суеты. О, чудесная сила этого источника, творящая из двух одно и примиряющая врагов! Источник любви может отделить разум от духа и души, но он же творит цельного человека из души и тела".⁶⁴⁴

Третий шаг, однако, был решающим: философское знание и упорядоченное внутридушевное устройство – даже когда они воплощены – рассматривались как недостаточные. Их воплощённый союз должен был охватить весь мир, должен был рассматриваться как "вид опыта" и, следовательно, как равнозначный личности (даже тождественный с ней).

Алхимическая процедура была основана на попытке искупления "материи", то есть превращения её в идеал. Эта процедура основывалась на предположении, что материя была изначально испорчена, подобно человеку в рассказе из книги Бытия. Изучение преобразований испорченности и ограничения возбуждало в уме алхимика мифологическую последовательность "событий". Эта последовательность повторяла общий путь развития всех религий. Официальное христианство утверждало, что принесение в жертву Христа

привело историю к завершению и что "верование" в это жертвоприношение обеспечивало спасение. Алхимия отвергла эту точку зрения своими поисками того, что оставалось неизвестным. В этих (героических) поисках алхимик обнаруживал, что он сам преобразился:

"В то время как христианин верит, что человек освободился от греха благодаря искупительному акту Христа, алхимик явно придерживался мнения, что «возвращение к образу первоначальной и неиспорченной природы» человека должно быть ещё достигнуто посредством искусства, а это может значить лишь одно: что труды Христа во имя искупления считаются незавершёнными. Зная, что порочность, которую не изгнал «князь мира сего», продолжает проявляться так же свободно, как и раньше, этому мнению нельзя отказать в логике. Для алхимика, декларирующего верность *Ecclesia spiritualis* (духовной церкви), естественно, самым важным было сделаться «чистым сосудом» Параклета (Духа-утешителя) и таким образом осуществить идею «Христа» на уровне, далеко превосходящем простое подражание ему".⁶⁴⁵

Это "осуществление идеи Христа на основе, далеко превосходящей подражание ему", есть потрясающая мысль. Она делает из религиозного "верования" нечто гораздо большее, чем верование, – нечто гораздо более ужасающее и гораздо более многообещающее. Последовательность алхимического преобразования соответствовала Страстям Христовым, соответствовала мифу о герое и его спасении. Существенной мыслью алхимии является то, что личное отвержение тирании, сознательные поиски неизвестного и внушающего ужас – основанные на вере в идеал – могут вызвать личное преобразование, настолько ошеломляющее, что равносильное ему может быть найдено только в самых глубоких из религиозных мифов:

"Сын великой Вселенной [Макрокосма], Теокосм, то есть божественная сила и мир (но которого, к несчастью, даже сегодня не желают пускать в университеты многие основатели медицины и те, кто проповедует о природе в духе атеизма), это образец камня, который представляет собой Теантропоса, Богочеловека (которого, как сказано в Писании, отвергали также отцы-основатели Церкви); и оттуда же, из Великой Книги Природы [проистекает] постоянное и неизменное учение мудрецов и их детей; да, это великолепное живое подобие нашего Спасителя Иисуса Христа, пребывающее и возникшее в Мироздании и по природе сходное с ним (по чудесному зачатию, рождению, невыразимым силам, добродетелям и воздействию на окружающих); так наш Господь, кроме библейской истории своего Сына, создаёт также для нас свой специфический образ и естественное представление о себе в Книге Природы".⁶⁴⁶

Именно в поисках неизвестного алхимик испытывал это душевное преобразование, точно так же, как первоначально в соприкосновении с неизвестным развилась в отдалёнейших пределах истории (единобожная) патриархальная система. Это есть символическое выражение действия инстинкта, которое проявляется в некоторых вариантах мифа о герое всякий раз, когда неизвестное преследуют не избегая в попытке улучшения жизни. Алхимик испытывал то, что всегда испытывает человек, когда он решает смело встретить свою жизнь (личную и общественную) в любом её проявлении, не прибегая к её отрицанию или обращению за помощью к бесплодным предрассудкам.

"Страсть, звучащая в нашем тексте и в «*Aurora consurgens*», неподдельна, но была бы полностью непостижима, если бы ляпис был только химическим веществом. Его происхождение – не в размышлении над Страстями Христовыми: это реальный опыт человека, вовлечённого при исследовании неизвестного в переживание компенсаторных содержаний бессознательного, вплоть до самопожертвования. Он не может не видеть сходства этих проецированных содержаний с догматическими образами, и он соблазняется мыслью о том, что эти идеи – всего лишь знакомые религиозные концепции, которые он и использует, чтобы объяснить химические процедуры. Но из текстов ясно видно, что, напротив, реальный опыт алхимического действия обладает возрастающей тенденцией к ассимиляции догмы или к развитию с её помощью".⁶⁴⁷

В христианстве дух нисходит к материи, и следствием этого союза было рождение Христа (и, к несчастью, внешнее воплощение его противника). В алхимии, которая возмещала одностороннюю точку зрения христианства, материя возвышается до духа со сходным результатом – созданием Iapis'a, или философского камня, который имеет несомненное сходство с Христом, воплощённым в отвлечённо материальную форму. Эта форма, философский камень, Iapis, состояла из самых парадоксальных составных частей: она была низменной, дешёвой, незрелой и летучей; совершенной, драгоценной, древней и твёрдой; видимой для всех и, тем не менее, таинственной; дорогой, тёмной, скрытой и очевидной, имеющей одно имя и много имён. Философский камень был также возрождённым Царём, мудрым стариком и ребёнком. Мудрый старик обладает Божьим даром мудрости, которая является знанием, превосходящим пределы истории. Ребёнок представляет творческий дух, развитие человека, Святой Дух. Он не есть дитя невежества, а есть невинность зрелости. Он предшествует истории в субъективном и коллективном смысле и предвосхищает её:

"«Дитя» – это всё, что покинуто и оставлено на произвол судьбы, и в тоже самое время божественно могущественно; незначительное, сомнительное начало и торжественный конец. «Вечное дитя» в человеке – это неопишемое переживание, несоответствие, препятствие и божественное исключительное право; невесомое, что определяет конечную ценность или никчёмность личности".⁶⁴⁸

Этой конечной ценностью, целью поисков алхимиков, является открытие и воплощение смысла самой жизни – объединённое субъективное существование, деятельно выражающее свою природу посредством использования возможностей, свойственных материальному, или неизвестному, миру. Этой конечной целью является создание объединённого внутридушевного состояния, тождественного состоянию мифологического героя, "разыгрываемого" в мире, рассматриваемом как равноценный личности. Создание этого состояния – философского камня – представляет собой "противоядие" от "испорченности мира", сопутствовавшей грехопадению (сопутствовавшей возникновению (частичного) самосознания). Философский камень есть "действующая сила преобразования", равнозначная мифологическому герою-спасителю, способная превращать "неблагородные металлы в золото". Он, как таковой, есть нечто более ценное, чем золото, точно так же, как и герой является более ценным, чем любое из его конкретных созданий. "Завершённое" алхимическое действо – с созданием философского камня как целью – схематически представлено на рисунке 66 "Алхимическое действо как миф об искуплении".



Рисунок 66

Алхимия была живым мифом – мифом об отдельном человеке как искупителе. Организованное христианство, так сказать, "сделало себя бесплодным", настаивая на почитании чего-то внешнего как средства спасения. Алхимики обнаружили в чём состоит ошибка этого предположения и пришли к пониманию того, что, по сути, необходимым было отождествление с искупителем, а не его "почитание"; пришли к пониманию того, что мифы об искуплении обладают подлинной силой тогда, когда они скорее "приняты" и разыгрываются, чем когда в них просто "верят". Это значило: сказать, что Христос был "величайшим человеком в истории" – сочетанием божественного и смертного – было недостаточным выражением веры. Достаточное выражение означало, напротив, попытку пережить миф о герое в пределах отдельной личности – добровольно взвалить на плечи крест жизни, "объединить противоположности" внутри единой груди и служить в качестве активного сознательного посредника между вечными порождающими силами известного и неизвестного.

5.4 Заключение. Божественность интереса

Аномалии проявляются, так сказать, на границе между хаосом и порядком и имеют угрожающую и многообещающую стороны. Многообещающая сторона преобладает, когда соприкосновение с аномалией было добровольным, когда исследователь соответствует современным требованиям: когда человек исследовал все предшествующие аномалии, "освободил" те сведения, которые они содержали, и создал из них сильную личность и устойчивый "мир". Угрожающая сторона преобладает, когда соприкосновение с аномалией было случайным, когда исследователь не соответствует современным требованиям: когда человек убежал от свидетельства своих прежних ошибок, не смог извлечь те сведения, которые в них крылись, ослабил свою личность и лишил устойчивости свой "мир".

Явление интереса – этого предшественника исследовательского поведения – даёт знать о наличии вероятно "благоприятной" аномалии. Интерес проявляется там, где существует усвояемое, но новое явление: где "скрывается" нечто новое в частично понятном виде. Поэтому искренняя приверженность к велениям интереса – принятие соответствующим образом приученного к порядку характера – обеспечивает упрочение и обновление личности и мира.

Интерес есть дух, манящий из неизвестного, – дух, вызывающий извне "стен" общества. Преследовать личный интерес означает вслушиваться в зов этого духа; означает странствовать вне защитных стен зависимости детства и отождествления подростка с группой; означает также возвратиться к обществу и его омолодить. Это значит, что преследование личного интереса – развитие подлинной личности – равносильно отождествлению с героем. Такое отождествление делает мир сносным, несмотря на его трагедии, и сводит ненужное страдание, которое разрушает наиболее действенным образом, к безусловно наименьшему.

Это – то сообщение, что каждый хочет услышать. Рискни своей безопасностью. Смело встречай неизвестное. Прекрати лгать самому себе и делай то, что твоя душа воистину хочет, чтобы ты делал. От этого ты станешь лучше, и лучше станет весь мир.

5.4.1. Введение

"Куда ускользнуть от него, этого пасмурного взгляда, глубокая скорбь которого въедается в тебя навсегда, от этого вывороченного взгляда исконного недоноски, с головой выдающего его манеру обращаться к самому себе, – этого взгляда-вздоха! «Быть бы мне кем-либо другим! – так вздыхает этот взгляд, – но тут дело гиблое. Я таков, каков я есть: как бы удалось мне отделаться от самого себя? И всё же – я сыт собою по горло!»

На такой вот почве самопрезрения, сущей болотной почве, произрастает всяческий сорняк, всяческая ядовитая поросль, и всё это столь мелко, столь подспудно, столь бесчестно, столь слащаво. Здесь кишат черви переживших себя мстительных чувств; здесь воздух провонял скрытностями и постыдностями; здесь непрерывно плетётся сеть злокачественнейшего заговора – заговора страждущих против удачливых и торжествующих,

здесь ненавистен самый вид торжествующего. И сколько лживости, чтобы не признать эту ненависть ненавистью! Какой парад высокопарных слов и поз, какое искусство «достохвальной» клеветы! Эти неудачники: какое благородное красноречие льётся из их уст! Сколько сахаристой, слизистой, безропотной покорности плещется в их глазах! Чего они, собственно, хотят? По меньшей мере изображать справедливость, любовь, мудрость, превосходство – таково честолюбие этих «подонков», этих больных! И как ловко снуёт подобное честолюбие! Не надивись в особенности ловкости фальшивомонетчиков, с каковою здесь подделывается лигатура добродетели, даже позвякивание, золотое позвякивание добродетели. Что и говорить, они нынче целиком взяли себе в аренду добродетель, эти слабые и неизлечимо больные: «одни лишь мы добрые, справедливые, – так говорят они, – одни лишь мы суть люди доброй воли». Они бродят среди нас как воплощённые упрёки, как предостережения нам, – словно бы здоровье, удачливость, сила, гордость, чувство власти были уже сами по себе порочными вещами, за которые однажды пришлось бы расплачиваться, горько расплачиваться: о, до чего они, в сущности, сами готовы к тому, чтобы вынудить к расплате, до чего жаждут они быть палачами".⁶⁴⁹

Я читал книгу Джеффри Бёртона Рассела "Дьявол в современном мире"⁶⁵⁰, когда я натолкнулся на обсуждение им романа Достоевского "Братья Карамазовы". Рассел обсуждает довод в пользу безбожия, который является одним из наиболее сильных из выдвинутых:

"Ивановы примеры зла, все взятые из ежедневных газет 1876 года, незабываемы: дворянин, который приказывает своим борзым разорвать на куски крестьянского мальчика перед глазами его матери; человек, который бьёт свою быющую лошадь кнутом «по её кротким глазам»; родители, которые на всю ночь запирают свою крошечную дочь в замерзающей уборной, в то время как она стучит по стенам, умоляя о милосердии; турок, который забавляет младенца блестящим пистолетом, прежде чем пустить ему пулю в лоб. Иван знает, что такие ужасы происходят ежедневно и что число их можно умножать без конца. «Я взял одних деток, – объясняет Иван, – потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. О других слезах, которыми пропитана земля, я ничего не скажу»".⁶⁵¹

Рассел заявляет:

"Отношение зла к Богу в век Освенцима и Хиросимы ещё раз стало средоточием философского и богословского обсуждения. Проблему зла можно изложить просто: Бог всемогущ; Бог совершенно благ; такой Бог не позволил бы злу существовать; но мы наблюдаем, что зло существует; следовательно, Бог не существует. Вариации на эту тему почти бесконечны. Проблема, конечно, не является только отвлечённой и философской; она является также личной и непосредственной. Верующие склонны забывать, что их Бог забирает всё, о чём человек заботится: имущество, удобства, успех, профессию или ремесло, знания, друзей, семью и жизнь. Что это за Бог? Любая приличная религия должна честно отвечать на этот вопрос, и никакой ответ, который нельзя дать перед лицом умирающих детей, не заслуживает доверия".⁶⁵²

Мне кажется, что мы пользуемся ужасами мира, чтобы оправдывать свои собственные недостатки. Мы предполагаем, что человеческая уязвимость является достаточной причиной для человеческой жестокости. Мы виним Бога и Божье мироздание за искажение и извращение наших душ и всё время предъявляем притязания на то, что мы невинные жертвы обстоятельств. Что вы говорите умирающему ребёнку? Вы говорите: "Ты можешь это выносить; в тебе есть нечто достаточно сильное, чтобы это выносить". Ужасная уязвимость детей не становится для вас предлогом того, чтобы отвергать жизнь и совершать сознательное зло.

У меня ещё не было большого опыта лечащего психолога. Двое из моих больных, однако, остались в моей памяти. Первым была женщина, примерно тридцати пяти лет. Она выглядела так, будто ей было пятьдесят. Она напоминала мне средневековую крестьянку,

как я себе её представлял. Она была грязна вся: одежда, волосы, зубы; грязна тем родом грязи, который требует месяцев, чтобы накопиться. Она была невыносимо застенчива: она подходила ко всякому, о ком она думала, что тот выше её по общественному положению – что значило практически к каждому, – сгорбившись, с глазами, заслонёнными руками, обеими руками, как будто она не могла выносить света, исходящего от её цели.

Она уже лечилась ранее от своего расстройства поведения как приходящий больной в Монреале, и вид её был знаком постоянному персоналу лечебницы. Врачи пытались помочь ей преодолеть её неудачный способ самопредставления, от которого люди на улице шарахались от неё, принимая её за безумную и непредсказуемую. Она могла стоять или сидеть прямо, с незащищёнными глазами, но, покинув лечебницу, возвращалась к своим прежним привычкам.

Возможно, она была повреждена в уме вследствие какого-то биологического недостатка: трудно было сказать какого, потому что её окружение было настолько ужасно, что само могло быть причиной её невежества. Она была к тому же и неграмотна. Жила она с матерью, о характере которой я ничего не знаю, и с пожилой, безнадежно больной, прикованной к постели тёткой. Её дружок был вспыльчивый алкоголик-шизофреник, который дурно обращался с нею как психологически, так и физически; который всегда одурманивал её простую душу тирадами о Дьяволе и поклонении Сатане. У неё не было ничего, стоящего за неё, – ни красоты, ни ума, ни любящей семьи, ни умений, ни работы – ничего.

Она, однако, не пришла в больницу лечиться, чтобы разрешить свои трудности; не пришла, чтобы облегчить душу или описать дурное обращение и преследования со стороны других людей. Она пришла, потому что она хотела сделать что-нибудь для кого-то, кому жилось хуже, чем ей. Лечебница, где я работал, была связана с большой психиатрической больницей. Все больные, которые по-прежнему оставались там после перехода к общественному уходу в конце шестидесятых годов, были настолько выведены из строя, что не смогли бы выжить на улицах. Ранее она уже выполняла какую-то бесплатную работу какого-то ограниченного характера в этой больнице и решила, что она, может быть, смогла бы помогать какому-либо больному – брать его или её с собой на прогулку из больницы. Думаю, что эта мысль появилась у неё, так как у неё была собака, с которой она постоянно прогуливалась и о которой она с любовью заботилась. Всё, чего она хотела от меня, – это помощи в устройстве всего этого: помощи в том, чтобы найти кого-либо, кого она могла бы выводить с собой за стены больницы; помощи в том, чтобы найти кого-то среди больничных служащих, кто это позволил бы. Я не очень преуспел в помощи ей, но она, по-видимому, не имела ко мне претензий за это.

Говорят, что одного свидетельства против теории достаточно, чтобы опровергнуть эту теорию. Конечно, люди не думают таким образом, а может быть, и не должны. Вообще говоря, любая теория слишком полезна, чтобы от неё легко было отказаться, её слишком трудно возродить, и свидетельство против неё должно быть непротиворечивым и правдоподобным, прежде чем оно будет принято. Но существование этой женщины заставило меня задуматься. С точки зрения биологического и связанного с окружающей средой детерминизма она была предназначена для психопатологического конца – то, что ей было суждено кончить таким образом, было несомненно. И, может быть, она иногда была своей собаку и была грубой со своей больной тёткой. Может быть. Я никогда не видел её мстительной или отталкивающей – даже когда что-либо мешало исполнению её простых желаний. Я не хочу сказать, что она была святая, так как не знаю её достаточно хорошо, чтобы судить об этом. Но дело в том, что в своих несчастьях и непритязательности она не только предавалась жалости к себе, но и была в состоянии видеть что-то ещё вне самой себя. Почему она не стала преступницей – жестокой, неуравновешенной и жалкой? У неё были все основания стать такой. И тем не менее она такой не была.

На её простом пути она сделала правильный выбор. Она оставалась окровавленной, но непокорённой. И она казалась мне, правильно или неправильно, символом страдающего человечества, жестоко страдающего, однако способного к мужеству и любви:

"Таков закон для сотворённых Мной
Эфирных Сил и Духов; как для тех,
Что пали, так для тех, что Мне верны

Остались. Преступить ли, устоять –
 От них зависело. Как бы могли,
 Не будучи свободными, любовь
 Свою ко Мне бесспорно доказать,
 И преданность, и верность? Если б долг
 Они осуществляли принуждённо,
 Не следуя хотенью своему,
 А лишь необходимости одной,
 В чём их была б заслуга? Разве Мне
 Смиренье мило, если воля, разум
 (Ведь разум – это тот же вольный выбор)
 Бездейственны, бессильны, лишены
 Свободы выбора, свободной воли,
 Не Мне, а неизбежности служа?
 Я справедливо создал их. Нельзя
 Им на Творца пенять и на судьбу
 И виноватить естество своё,
 Что, мол, непререкаемый закон
 Предназначенья ими управлял,
 Начертанный вселенским Провиденьем.
 Не Мною – ими был решён мятеж;
 И если даже знал я наперёд –
 Предведение не предрешало бунта;
 И не провиденный, он всё равно
 Свершился без вмешательства Судьбы.
 Без принужденья, без неизбежных
 Предначертаний, Духи предались
 В суждениях и выборе – греху.
 На них вина. Они сотворены
 Свободными; такими должно им
 Остаться до поры, пока ярмо
 Не примут сами рабское; иначе
 Пришлось бы их природу исказить,
 Ненарушимый, вечный отменив
 Закон, что им свободу даровал.
 Избрали грех – они".⁶⁵³

Другой больной, которого я хочу описать, был шизофреником, который содержался в небольшой палате для лежачих больных в другой больнице. Когда я с ним встретился, ему было около двадцати девяти лет, – на несколько лет старше меня. Он выходил из больницы и снова возвращался в неё в течение семи лет. Он находился на лечении от психоза и участвовал в трудотерапии в своей палате, делая подносы и держатели для карандашей и тому подобные вещи, но он не мог удерживать внимание в течение сколько-нибудь продолжительного времени и не был силен в ремесле. Мой научный руководитель попросил меня провести испытание его умственных способностей – обычный тест WAIS-R⁶⁵⁴ (больше для приобретения мною опыта, чем ради какой-либо возможной диагностической пользы). Я дал моему пациенту несколько красно-белых кубиков, которые составляли Подтест Узора из Кубиков. Он должен был расположить кубики так, чтобы они соответствовали узору, напечатанному на некоторых карточках. Он взял кубики и стал перекладывать их на столе передо мной, в то время как я по-дурацки засекал время секундомером. Задача была непосильна для него даже на простейших стадиях. Он постоянно выглядел так, как будто его что-то отвлекало и расстраивало. Я спросил: "Что не так?" Он ответил: "Борьба между добром и злом на небесах продолжается у меня в голове".

Я тут же прекратил испытание. Я не знал в точности, как понимать его замечание. Он, очевидно, страдал, а испытание, казалось, усилило его страдание. Что он испытывал? Он не лгал, это наверняка. Перед лицом такого заявления казалось смехотворным продолжать.

В то лето я провёл с ним какое-то время. Я никогда не встречал никого, кто был столь явно душевно болен. Мы говорили с ним в палате, и время от времени я, бывало, уводил его с собой из палаты на прогулку по больничному парку. Он был третьим сыном иммигрантов первого поколения. Его самый старший брат был адвокатом, другой брат – врачом. Его родители были работящими, привычными к порядку и честлюбивыми в отношении своих детей. Он был аспирантом, работающим, чтобы получить степень в области иммунологии (я точно не помню). Пример его братьев устрашал его, и он жил под давлением в пользу того, что должен преуспеть. Его экспериментальная работа, однако, пошла не так, как он ожидал, и он, по-видимому, дошёл до того, что разуверился в том, что сможет окончить университет (по крайней мере тогда, когда он ранее надеялся окончить). Поэтому он подделал результаты своих экспериментов и кое-как дописал свою диссертацию.

Он рассказал мне, что в ту ночь, когда он кончил её писать, он проснулся и увидел Дьявола, стоящего над ним у изножья его кровати. Это событие вызвало начало его душевной болезни, от которой он так никогда и не оправился. Можно было бы сказать, что сатанинское видение просто сопровождало выражение какого-то болезненного, биологически предопределённого, вызванного перенапряжением нервного потрясения; или что Дьявол был только олицетворением представления его культуры о нравственном зле, проявившегося в воображении как следствие его вины. Оба эти уровня описания имеют свои достоинства. Но остаётся ещё то обстоятельство, что он видел Дьявола и что это видение сопутствовало тому событию, которое его уничтожило, или даже само было этим событием.

Он боялся рассказывать мне многие свои фантазии, и только после того как я обратил на него своё заботливое внимание, он разоткровенничался. Он не хвастался и не пытался произвести на меня впечатление. Он был в ужасе от того, во что он поверил; в ужасе вследствие фантазий, которые запечатлелись в его сознании. Он сказал мне, что не может покинуть больницу, потому что кто-то ждёт этого, чтобы застрелить его, – типичное параноидное заблуждение. Почему же кто-то хочет его убить?

Ну, он был помещён в больницу во время холодной войны, – может быть, не в разгар её, но всё-таки в то время, когда угроза преднамеренного ядерного уничтожения казалась более правдоподобной, более вероятной, чем теперь. Многие из людей, которых я знал, использовали существование этой угрозы, чтобы оправдывать перед самими собой свою неспособность полностью участвовать в жизни, – жизни, которая им романтически представлялась обречённой и поэтому бессмысленной. Но в их позе был настоящий ужас, а мысль о бесчисленных ракетах, наведённых туда и сюда по всему миру, истощала силу и веру всякого человека, лицемерного или искреннего.

Мой пациент-шизофреник верил, что он на самом деле есть воплощение уничтожающей мир силы; что он предназначен после своего освобождения из больницы проделать свой путь на юг к стартовой шахте ядерной ракеты на американской территории; что он обречён принять решение, которое начнёт последнюю войну. "Люди" за пределами больницы знали об этом, вот почему они поджидали его, чтобы застрелить. Вследствие этого он не хотел рассказывать мне эту историю – хотя и рассказал, – так как думал, что я, может быть, в таком случае тоже захочу его убить.

Мои друзья по аспирантуре считали иронией судьбы то, что я был связан с больным подобно виду. Моё особенное увлечение Юнгом, в особенности идеями Юнга, касающимися коллективного бессознательного, было им хорошо известно, и казалось нелепо соответствующим тому, что я в конце концов буду обсуждать его болезнь с больным, у которого есть подобные заблуждения. Но я не знал, что делать с его идеями. Конечно, они были безумны, и они погубили моего пациента. Но мне всё-таки казалось, что в каком-то переносном смысле они были истинны.

Его история, взятая в целом, связывала его личный выбор между добром и злом с накопленным ужасом, который тогда стоял перед миром. Она подразумевала, что, так как он в решающий момент поддался искушению, он был, по сути, ответственен за весь ужас возможности ядерной войны. Но как это могло быть? Мне казалось безумным даже подумать, что поступок одного бессильного человека мог быть каким-то образом связан с исходом истории как целого.

Но теперь я настолько не уверен. Я многое прочёл о зле и способе его совершения и роста, и я больше не убеждён, что каждый из нас настолько невинен, настолько безвреден. Конечно,

нелогично предполагать, что один человек – одна пылинка среди четырёх миллиардов пылинок – может в каком-то смысле быть ответственным за ужасный ход событий в человеческом обществе. Но сам этот ход событий не является логичным, далеко до того, – и, вероятно, он зависит от процессов, которых мы не понимаем.

Джеффри Бёртон Рассел в своей работе об истории представлений о дьяволе доказывает, что классическое различие между естественным злом и злом нравственным несостоятельно; что такие происшествия, как мор и землетрясение относятся к тому же самому разряду событий, что и концентрационные лагеря и войны. Существование естественного зла, за которое Бог теоретически ответствен, было использовано в качестве свидетельства в пользу самого убедительного из доводов за то, что Бога не существует, такого, как довод Ивана Карамазова, приведённый ранее. Достоевский утверждает: "Может быть, целая вселенная не стоит страдания одного невинного ребёнка". Как может быть мир создан таким, что в нём допускается боль? Как может добрый Бог допускать существование страдающего мира?

Мне, однако, кажется разумным провести ясное различие между естественным и нравственным злом, чтобы различать между "трагическими условиями жизни" и злом. У трагедии есть и облагораживающая сторона; таковая, по крайней мере, возможна, и она постоянно использовалась для этой цели в великой литературе и мифологии. Трагедия возникает там, где героическое наталкивается на ограничение. Зло, в противоположность этому, является всем чем угодно, только не благородным. Участие в делах, чьей единственной целью является распространение боли и страдания невинных людей, разрушает характер; прямое столкновение с трагедией, в противоположность этому, может его усилить. В этом смысл христианского мифа о распятии. Именно полное участие Христа в своей судьбе и свободно избранное её принятие (которые он разделяет со всем человечеством) даёт ему возможность проявить свою полную тождественность с Богом. И именно эта тождественность даёт ему возможность вынести эту судьбу и устраняет её зло. И наоборот, именно наше добровольное унижение заставляет необходимые трагические условия жизни казаться злыми.

Но почему жизнь трагична? Почему мы подвергаемся невыносимым ограничениям: боли, болезни и смерти; жестокости в руках природы и общества? Почему ужасные события случаются с каждым? Это, конечно, вопросы, на которые невозможно ответить. Но на них надо как-то ответить, чтобы быть в состоянии смело смотреть в лицо своей собственной жизни.

Самое большее, что я могу в этом понять, это следующее (и оно уже мне помогло). Ничто не может возникнуть без предпосылок. Даже в игру нельзя играть без правил: а правила говорят, чего нельзя делать в этой игре; настолько же, насколько и то, что в ней можно делать. Может быть, мир невозможен без своих границ – без своих правил. Может быть, и жизнь была бы невозможна при отсутствии наших мучительных ограничений.

Подумайте об этом таким образом. Если бы мы могли иметь всё, чего мы хотели, просто за то, что этого пожелали, – если бы каждое орудие выполняло всякую работу; если бы все люди были всеведущими и бессмертными, – то всё было бы тем же самым, одним и тем же всемогущим существом, Богом, и мироздания никогда бы не существовало. Именно различия между вещами, которые зависят от их особенных ограничений, позволяют им существовать вообще.

Но то, что вещи действительно существуют, не означает, что они должны существовать, даже если мы готовы предоставить им их необходимые ограничения.

Должен ли мир существовать? Являются ли предпосылки опыта столь ужасными, что вся игра должна быть отменена? (И никогда не было недостатка в людях, прилежно работающих для этой цели.)

Мне кажется, что мы отвечаем на эти вопросы (не прямо, но глубоко), когда мы теряем кого-нибудь, кого любим, а затем горюем. Это очень распространённое переживание. Я также думаю, что мы плачем не потому, что они жили, а потому, что они исчезли. Это предполагает суждение, вынесенное на очень существенном уровне анализа. Горе предполагает то, что их любили, предполагает суждение, что особенное, ограниченное существование этого человека было ценным; было чем-то таким, что должно было быть (даже в своём безусловно несовершенном и уязвимом виде). Но по-прежнему остаётся открытым

вопрос: почему должны существа, даже любимые существа, существовать вообще, если их жизнь вызывает такое страдание?

Возможно, мы могли бы отложить ответ на вопрос о природе Бога, о его ответственности за наличие зла в его творении до тех пор, пока мы не решим вопроса о нашей собственной ответственности. Возможно, мы могли бы терпеть ужасы этого мира, если бы наши характеры оставались нетронутыми и развивались в полной мере; если бы мы полностью использовали каждый дар, какой нам был дарован. Может быть, тогда мир не выглядел бы ужасным.

Мне снилось, что я выходил из глубокой долины по вымощенной большой дороге с двухсторонним движением. Дорога находилась в северной Альберте, где я вырос, и выходила из единственной на мили вокруг долины в бесконечной плоской степи. Я обогнал одного человека, который "ловил" попутную машину, и мог на расстоянии видеть другого. Когда я приблизился к нему, я увидел, что он начинает стареть, но он всё ещё выглядел ужасно сильным. Кто-то проехал мимо него в машине в обратном направлении, и женский голос крикнул: "Берегись! У него нож!"

Он нёс то, что выглядело как кухонный нож, с деревянной рукояткой, поношенный и обесцвеченный, но у ножа было лезвие длиной по меньшей мере в два с половиной фута. На ремне через его плечо висели большие кожаные ножны. Он шёл по краю дороги, что-то бормоча про себя и отрывисто и беспорядочно размахивая ножом.

Он выглядел как хозяин моей квартиры, который жил рядом со мной, когда я был аспирантом, живущим в бедном районе, в Монреале. Хозяин моей квартиры был сильный стареющий бывший мотоциклист – по его собственным рассказам, бывший президент местного отделения Ангелов Ада, – который провёл некоторое время в тюрьме, когда был помоложе. Он несколько остепенился, когда повзрослел, что типично, и стал меньше пить. Его жена, однако, покончила с собой, когда я там жил, и он вернулся к своим более необузданным привычкам. Он часто кутил и тратил на это все деньги, заработанные в магазине электроники, которым он управлял из своей квартирки. Он, бывало, выпивал сорок или даже пятьдесят кружек пива за один день, и возвращался домой вечером, пьяный, воющий на свою собачку, смеющийся, шипящий сквозь зубы, бессвязный, по-прежнему добродушный, но способный сделаться неистовым при малейшем раздражении. Как-то, будучи в немного лучшем состоянии, он повёз меня в свои любимые места на своей "хонде", которая на коротких расстояниях развивала ускорение, сравнимое с ускорением реактивного самолёта. Я при этом ненадёжно уселся на заднем сиденье его мотоцикла, цепляясь за него, надев шлем его жены, который смешно, нелепо сидел на моей голове, так как он был, по меньшей мере, на пять размеров меньше. Пьяный, хозяин моей квартиры был почти простодушно склонен к разрушению, его пьянство постоянно, неизбежно кончалось драками, так как он имел обыкновение обижаться на людей, с которыми скрещивались его пути и которые были недостаточно осторожны в своих разговорах с ним.

Я быстро прошёл мимо этой фигуры. Он, казалось, был огорчён тем, что никто не останавливался и не подбирал его, как будто и не подозревал об опасности, которую он представлял. Когда я проходил мимо, его пристальный взгляд упал на меня и он бросился за мной – я думаю, не от гнева; больше от желания пообщаться, – но для меня он был слишком непредсказуем. Однако он шёл не быстро, и я легко опережал его на дороге.

Место действия изменилось. Человек с ножом и я теперь находились на противоположных сторонах огромного дерева, – может быть, ста футов в поперечнике – на винтовой лестнице, возникающей из тьмы внизу, поднимающейся одинаково высоко вверх. Лестница была сделана из старого, изношенного тёмного дерева и напоминала мне о скамьях со спинкой в церкви, которую я ребёнком посещал с матерью и где меня обвенчали. Человек искал меня, но он остался далеко позади, и я скрылся от его взгляда, когда поднимался по лестнице. Я помню, что хотел продолжить моё первоначальное путешествие из долины на окружающую её плоскую равнину, где было бы легче идти, но единственный способ держаться подальше от его ножа был продолжать подниматься по лестнице – вверх по оси мира. Таким образом, знание о смерти, о мрачном жнеце – об

ужасном лице Бога – неумолимо заставляет нас подниматься вверх, по направлению к сознанию, достаточно повышенному, чтобы выносить мысль о смерти.

Смысл нашей ограниченности – это не страдание; это сама жизнь. Нам была дарована способность сознательно выносить ужасное бремя нашей смертности. Мы отворачиваемся от этой способности и тем унижаем себя, потому что боимся ответственности. Таким образом, трагические предпосылки жизни делаются невыносимыми.

Мне кажется, что не землетрясение, наводнение или рак делают жизнь невыносимой и ужасной, когда они появляются. Мы, видимо, способны противостоять бедствиям природы почётным и приличным образом. Скорее именно наше зло – бессмысленное страдание, которое мы причиняем друг другу, – заставляет жизнь казаться испорченной до неприемлемости; подрывает нашу способность проявлять веру в нашу собственную природу. Так почему же должна существовать способность ко злу?

Я учил мою шестилетнюю дочку играть на фортепьяно. Я пытался задавать ей тяжёлые уроки – то есть пытался показать ей, что действительно есть правильный способ игры на фортепьяно и неправильный способ. Правильный способ включает в себя обращение внимания на каждую фразу, каждую написанную ноту, каждый звук, который она производит, каждое движение пальца. Я научил её тому, что означает ритм, несколько недель назад за один трудный урок. А что значит трудный? Ну, она сядет за фортепьяно и будет работать так прилежно, что заплачет, но не прервёт своей работы. И она в самом деле хочет научиться играть. Она проводит время в машине, слушая музыку, отрабатывая ритмы. Она сама использует метроном, играя песни, которые ей нравятся, быстрее и медленнее. Вчера я показал ей разницу между громким и тихим звучанием. Она восприняла это как вызов, тщательно экспериментируя с каждым ключом на нашем старом (довольно своеобразном) фортепьяно, пытаясь точно определить, с какой силой надо нажимать на клавиши, чтобы издать похожий на шёпот тон.

Я проснулся утром после одного из её уроков и ухватил обрывок сна-мечтания. Вот мысль, открытая этим мечтанием: это правда, что есть различия между линиями действия, которые обращают действия в стоящие. Я знаю, что то, во что верят, определяет ценность вещей. Но я никогда не доводил это суждение до его логического завершения. Если вера определяет ценность, то "расстояние" между добром и злом придаёт жизни смысл. Чем более стоящей является линия действия (что означает чем она "лучше" – чем более в ней добра, чем зла), тем большую положительную валентность она "содержит". Это значит, что вещи не имеют смысла, потому что не имеют отличительной ценности, для тех, кто не верит в добро и зло.

Я, конечно, знал людей в этом положении (хотя я и не знал точно, что они оказывались в таком положении, потому что они не различали между добром и злом). Они были неспособны что-либо делать, потому что не могли понять различия между линиями действия. И дело обстоит так, что при отсутствии таких различий начинает казаться, что жизнь (если использовать выражение Толстого) – "глупая и злая шутка". Думаю, что так было потому, что бремя жизни не кажется стоящим того, чтобы его выносить при отсутствии доказательств, что стремления и работа обладают какой-либо действительной ценностью.

Всё это означает: ценность есть нечто непрерывное, прямая линия, простирающаяся от необходимой точки "а" до необходимой точки "b". Точки "а" и "b" определены одна в отношении к другой, так как две точки определяют прямую линию. Полная противоположность между этими двумя точками определяет валентность цели. Чем больше эта противоположность (то есть чем больше напряжение), тем более стоящим является её достижение. Добро не может быть определено – не может существовать – при отсутствии зла. Ценность не может быть установлена при отсутствии противоположностей. Таким образом, для того чтобы мир был стоящим (то есть выбор между двумя действиями представлял собой действительный выбор), должны существовать как добро, так и зло.

Но в таком случае было бы возможно (по крайней мере в идеальном случае) выбирать только добро – и тогда зло не существовало бы, разве что в возможности. Поэтому

кажется, что мир мог бы быть ценным (мог оправдывать то бремя, которое он требует выдерживать), если бы зло должно было существовать только в возможности – то есть если бы каждый предпочитал поступать как следует. Это кажется мне самой оптимистической мыслью, с которой я когда-либо сталкивался.

Но как мы можем перестать быть глупыми? По какому пути можем мы следовать, чтобы преодолеть нашу слепоту и глупость; чтобы приблизиться к свету? Христос сказал: "Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный"⁶⁵⁵ (Матфей, 5 : 48). Но как? Нас, как всегда, по-видимому, ставит в безвыходное положение иронический вопрос Понтия Пилата: "Что есть истина?" (Иоанн, 18 : 38).

Ну, даже если мы не знаем точно, что есть истина, мы, каждый из нас, несомненно можем сказать, чем она не является. Это, прежде всего, не жадность и желание постоянной материальной прибыли; это не отрицание опыта, о котором мы знаем достаточно хорошо, что он реален, и не причинение страдания ради страдания. Может быть, возможно перестать делать то, о чём мы вне сомнения знаем, что оно неправильно – стать внутренне дисциплинированными и честными, – и поэтому всё более и более приближаться к постижению природы положительного добра.

Истина кажется болезненно простой, настолько простой, что чем-то вроде чуда является то, что она может когда-либо быть забыта. Люби Бога всей твоей душой, и всеми твоими делами, и всем твоим сердцем. Это значит, прежде всего, служи истине и обращай со своим ближним так, как будто бы он был самым тобой – не с жалостью, что подрывает его уважение к себе, и не по справедливости, что возвышает тебя над ним, – а как божество, тяжело обременённое, которое, тем не менее, могло бы видеть свет.

Говорят, что труднее управлять собой, чем городом, – и это не в переносном смысле. Это истина, настолько же буквальная, насколько она может быть такова. Именно по этой причине мы всегда стараемся управлять городом. Это извращение гордости – перестать молиться на людях и, вместо этого, подметать пыль у себя под ногами; кажется слишком мирским обращаться с теми, с кем мы на самом деле сталкиваемся, с уважением и достоинством, когда мы могли бы активно выступать против них на улице. Может быть, более важно укреплять свой характер, чем исправлять мир. Столь многое из этого исправления в любом случае кажется своекорыстным; является своекорыстностью и умственной гордыней, выдающими себя за любовь, создающими мир, переполненный добрыми делами, которые не срабатывают.

Кто может поверить, что именно небольшой выбор между добром и злом, который мы совершаем ежедневно, превращает мир в пустыню, а надежду – в отчаяние? Но это так. Мы сами чувствуем нашу огромную способность ко злу, постоянно осуществляемую в великом и в малом, но, кажется, никогда не сможем полностью осуществить нашу бесконечную способность к добру. Кто может спорить с Солженицыным, когда он заявляет: "Один человек, который прекращает лгать, может свергнуть тиранию"?

Христос сказал, что "царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его".⁶⁵⁶ Что если только наш самообман, наши трусость, ненависть и страх загрязняют нашу жизнь и превращают наш мир в ад? Это, по крайней мере, предположение, которое не хуже всякого другого, восхитительно и способно породить надежду. Почему мы не можем поставить эксперимент и узнать, верно ли оно?

5.4.2. Божественность интереса

"Главные представления христианства коренятся в гностической философии, которая в соответствии с законами психологии просто должна была возникнуть в то время, когда классические религии оказались устаревшими. Христианство было основано на восприятии символов, извергнутых бессознательным процессом индивидуации, который начинается всегда, когда разрушаются коллективные доминанты человеческой жизни. В такое время обязательно должно иметься значительное число людей, которые одержимы архетипами таинственной природы, прокладывающими себе дорогу на поверхность, чтобы образовывать новые доминанты.

Это состояние одержимости проявляется почти без исключения в том, что сами одержимые отождествляют себя с архетипами своего подсознания и – так как они не понимают, что роль, которая им навязывается, является следствием нового содержания, которое всё-таки должно быть понято, – служат конкретным примером этого содержания в своей жизни, таким образом становясь пророками и преобразователями.

Насколько архетипичное содержание христианской драмы могло дать удовлетворительное выражение беспокойному и шумному подсознанию многих, настолько общее согласие возвысило эту драму до всемирно обязательной истины (конечно, не посредством действия суждения, а посредством неразумного обстоятельства одержимости, которое гораздо более действенно).

Таким образом Иисус стал охранительным образом, или амулетом, против архетипичных сил, которые угрожали каждому овладеть им. Радостная весть возвещала: «Это случилось, но это не случится с тобой, так как ты веришь в Иисуса Христа, Сына Божия!»

И всё же это могло, и это может, и это случится с каждым, в ком распалась христианская доминанта. По этой причине всегда находились люди, которые, неудовлетворённые доминантами сознательной жизни, отправлялись – под прикрытием и окольными путями, к своей гибели или спасению, – искать непосредственного переживания вечных корней и, следуя соблазнам их неугомонной бессознательной души, обнаруживали себя в пустыне, где, подобно Иисусу, они сталкивались с сыном тьмы...

Поэтому старый алхимик – а он духовное лицо! – молится: «Удали ужасную тьму из наших душ, зажги свет для наших чувств!» Создатель этого предложения, должно быть, испытывал переживание *nigredo*, первой стадии работы, которая ощущалась как меланхолия в алхимии и соответствует столкновению с тенью в психологии.

Следовательно, когда современная психотерапия ещё раз встречается с возбуждёнными архетипами коллективного бессознательного, это просто повторение явления, которое часто наблюдалось в минуты великого религиозного перелома, хотя оно может также происходить и в людях, для которых господствующие представления уже утратили свой смысл. Примером этого является сходение в ад в «Фаусте», которое, сознательно или бессознательно, есть алхимическое действо.

Проблема противоположностей, вызванная тенью, играет огромную – на самом деле решающую – роль в алхимии, так как она приводит в последней стадии к их объединению в первообразной форме священного брака, или «химической свадьбы». Здесь величайшие противоположности, мужественное и женственное начала (как инь и ян в китайской философии), сплавляются в единство, очищенное от всякой противоположности и поэтому неподверженное порче".⁶⁵⁷

Ноябрь 1986 года

Дорогой папа!

Я обещал тебе, что в один прекрасный день расскажу тебе, о чём должна быть та книга, которую я пытаюсь написать. В последний месяц я не работал над ней много, хотя каким-то образом она всегда у меня на уме и всё, что я узнаю в моей другой работе, имеет к ней какое-то отношение. Так как я временно оставил её, думаю, что, может быть, я мог бы рассказать тебе о ней, а это помогло бы мне упорядочить свои мысли.

Мне не вполне понятны те движущие силы, которые приводят в действие мою работу, хотя я понимаю теперь их лучше, чем понимал раньше – три или четыре года назад, когда они доводили меня до безумия. За три или четыре года до этого я был одержим мыслями о войне. Мне часто снились чрезвычайно наполненные насилием сны, сосредоточенные на уничтожении. Сейчас я думаю, что моя озабоченность смертью в массовом масштабе была тесно связана с моей личной жизнью и что беспокойство о смысле жизни на личном уровне (которое возникает с размышлением о смерти) просто вошло в общую форму, связанную с ценностью человечества и целью жизни вообще.

Карл Юнг говорил о том, что все личные трудности имеют отношение к обществу, потому что мы все довольно похожи, и что любое достаточно глубокое решение личной трудности –

если его сообщить другим – уменьшит вероятность её возникновения в чьём-либо опыте в будущем.⁶⁵⁸ Вот как, по сути, общество и личность поддерживают друг друга. Именно этим путём моя озабоченность войной, несущей смерть всему обществу, привела меня к представлениям и мыслям, касающимся смысла личной жизни, которые я никогда не воспринимал как имеющие отношение к делу или правдоподобные до того, как я с ними столкнулся (и которые, как я по-прежнему думаю, граничат с тем, что обычно можно было бы считать безумием).

Причины войны, как многие думают, коренятся в политике. Так как воюют именно группы людей и так как группы увлекаются политикой, это мнение представляется мне хорошо обоснованным и на самом деле содержит некую истину. Точно так же верно, однако, что хорошо искать то, чего не хочешь найти, в месте, где, как ты знаешь, его не будет, а современная озабоченность мировой политикой и необходимость скорее быть вовлечённым в "хорошее дело", чем жить ответственно, кажется мне свидетельством того, что желание не найти часто подавляет подлинный поиск истины. Понимаешь, это же правда, что люди не хотят истины, потому что истина разрушает то, что воздвигает недостаток веры, и ложное утешение, которое он содержит. Невозможно в одно и то же время жить в том мире, в котором ты хотел бы быть, и в действительном мире, а разрушение фантазии ради действительности часто выглядит как невыгодная сделка. Именно нежелание нести ответственность порой отчасти лежит в основе этого уклонения, как и боязнь такой возможности. По крайней мере, так это кажется мне.

Так как каждый является плодом своего времени и так как это применимо и ко мне, я искал того, что хотел найти, там, где, как каждому очевидно, оно есть – в политике, в политологии, в изучении поведения групп. Это заняло годы, которые я провёл, вовлечённый в деятельность НДП и изучая политологию, пока я не узнал, что применение системы мысли, подобной социализму (или любому другому изму, коли на то пошло), к проблеме и решение этой проблемы – это не одно и то же. В первом случае у тебя есть кто-то (кто не является тобой), чтобы винить его: богатые, американцы, белые люди, правительство, система – кто-нибудь, лишь бы это был кто-то другой.

Постепенно я пришёл к пониманию того, что проблемы мировых размеров существуют как проблемы, потому что каждый на земном шаре думает и действует так, чтобы они были. Ну, что это значит – так это то, что если у проблемы есть решение, то всё, что каждый человек думает в связи с ней, ошибочно. А это значит к тому же, что то, что я думаю, должно быть существенно ошибочно. Сейчас трудность с этим рассуждением проста. Оно неумолимо ведёт к следующему заключению: чем более существенна проблема, тем более существенна ошибка – в моей собственной точке зрения.

Я пришёл к вере в то, что само наше выживание и более того зависят от решения проблемы войны. Это заставило меня считать, что, может быть, всё, во что я верил, было ошибочным. Этот вывод не особенно приятен и сильно осложнён тем, что я пришёл к пониманию того, что, хотя я определённо верю во множество вещей, я не всегда понимаю, во что я верю, а когда понимаю во что, то не всегда знаю почему.

Видишь ли, сама история обусловила всё, во что я верю, даже когда я не знал этого, и именно явное бессознательное высокомерие заставляло меня прежде всего утверждать, что я наполовину понимал, кем или чем я был или что уже создано этим процессом жизни и истории и как он повлиял на моё поведение и мнения.

Одно дело – не видеть ответов, совсем другое – быть не в состоянии даже рассматривать сам вопрос.

У меня было представление, что противостояние тому, что приводило меня в ужас, – тому, что обратило мои сны против меня, – могло бы помочь мне выдержать этот ужас. Эта мысль – дарованная мне милостью Божией – позволяла мне верить, что я могу найти то, чего мне хотелось больше всего (если я могу вынести истину; если я готов следовать за нею, куда бы она меня ни вела; если я готов посвятить мою жизнь тому, чтобы безоговорочно действовать на основе того, что я открыл, чем бы оно ни могло оказаться, каким-то образом зная, что раз начатая, неудавшаяся попытка уничтожила бы, самое меньшее, моё уважение к себе, а самое большее – моё здравомыслие и желание жить).

Думаю сейчас, что перед каждым встаёт этот выбор, даже когда он о таковом не знает или не в состоянии допустить, что такой выбор встаёт перед каждым при каждом решении, которое он принимает, и каждом действии, которое он предпринимает.

Я упоминал ранее, что всё, что я думал и делал, обусловлено историей. Поиски этого понимания – которое кажется самоочевидным, как только оно достигнуто, – привели меня к изучению истории как психологического явления. Видишь ли, если то, что я думаю, и я сам – это плоды истории, это значит, что история должна, так сказать, сформироваться внутри меня и изнутри меня определять, кто я. Это легче будет понять, если ты примешь во внимание то, что я всегда ношу в себе твой образ, состоящий из воспоминаний о том, как ты поступаешь, и чего ты ожидал, и описаний твоего поведения. Этот образ глубоко влиял на меня, когда я был ребёнком, когда (даже в твоё отсутствие) я должен был следовать тем правилам, которым ты следовал (которые я перенимал, подражая тебе, и которые ты внушал мне похвалой и наказанием). Иногда твой образ во мне я даже ощущаю как личность, когда думаю о тебе.

Поэтому с точки зрения психологии поверить, что каждый человек повсюду носит образы своих родителей и что эти образы, по крайней мере частично, управляют его поведением, – дело простое.

Но ты понимаешь, что дело обстоит так: правила, которым ты следовал – и которым я научился от тебя, – были не правилами, которые ты создал сам, а теми, что ты передал мне, точно так же, как они были переданы тебе, когда ты был ещё ребёнком.

Правда, более чем вероятно, что большая часть того, что я узнал от тебя, никогда не была выражена словами; что правила, которые определяли образ твоего действия (и которые я узнал, наблюдая тебя), отражались в твоём поведении, а потом неявно запечатлелись в моём. Именно так я выучился языку: главным образом – из наблюдения и слушания, частично – из явного наставления. И точно так же, как несомненно можно (и обычно это так и есть) правильно говорить и тем не менее не уметь описать правила грамматики, которые "лежат в основе" языка, можно влиять на мир и высказывать предположения о его природе, не зная многого о ценностях и мнениях, лежащих в основе этих действий и предположений.

Строй нашего языка был создан в ходе исторического процесса и является в некотором смысле воплощением этого процесса. Устройство того, что управляет нашими действиями и восприятиями, было также создано ходом истории и является воплощением истории.

Следствия этой мысли ошеломили меня. Я пытался рассматривать саму историю как единое явление – в некотором смысле, как единую последовательность событий, – для того чтобы понять, чем она является и как она воздействует на то, что я думаю и делаю. Если ты понимаешь, что история, в некотором смысле, находится в твоей голове, и ты понимаешь к тому же, что ничего не знаешь о значении истории, о её смысле, – что почти несомненно верно, – то ты должен понимать, что ничего не знаешь о значении самого себя и о твоём собственном смысле.

Я пишу мою книгу в попытке объяснить психологическое значение истории – объяснить смысл истории. При этом я уже "обнаружил" несколько интересных обстоятельств.

1. Все культуры, за исключением западноевропейской, не имеют истории, основанной на "объективных событиях". История других культур – даже таких высокоразвитых, как индийская, китайская и древняя греко-римская – является мифологической, что означает, что она описывает то, что событие значило на языке психологии, вместо того чтобы описывать, как оно произошло, в эмпирических выражениях.
2. Все культуры, даже наиболее несравнимые по своей природе, развиваются по ясно предсказуемым направлениям и имеют, в пределах их мифологической истории, некоторые постоянные черты (точно так же, как все языки имеют общий грамматический строй, при условии достаточно отвлечённого анализа). Направления, по которым развивается культура, предопределены биологически, а правила, которые направляют это развитие являются следствием психологического выражения неврофизиологических структур. Это положение мне будет труднее всего доказать, но у меня есть некоторые веские свидетельства в его пользу и, по мере того как я больше изучаю невроанатомию и невропсихологию, эти свидетельства делаются более ясными.

3. Мифологические толкования истории, подобные тем, которые содержатся в Библии, точно так же "истинны", как и обычные западноевропейские эмпирические описания; точно так же буквально истинны, но отличаются тем, каким образом они истинны. Западные историки описывают (или думают, что они описывают), "что" произошло. Предания мифологии и религии описывают значение того, что произошло (и следует отметить, что если то, что происходит, не имеет значения, оно не имеет отношения к делу).

Так или иначе я не могу объяснить в одном письме полный размах того, что я намереваюсь делать. В этой книге я надеюсь описать некоторые исторические тенденции и то, как они влияют на личное поведение, так же, как я это попытался сделать в этом письме. Что, может быть, более важно, я надеюсь описать не только то, в чём (на языке истории) состоит проблема, но и то, где можно было бы найти её возможное решение и каково, предположительно, могло бы быть это решение; и я надеюсь описать это способом, который делает его применение возможным.

Если вы заинтересованы в том, чтобы я рассказал вам больше (я не всегда могу определить, интересно ли это кому-нибудь), то я сделаю это позже. Я этого не знаю, папа, но думаю, что открыл нечто такое, о чём никто другой не имеет никакого представления, и я не уверен, что смогу отдать этому должное. Размах этого открытия так широк, что я могу одновременно ясно видеть только его части, и чрезвычайно трудно изложить всё исчерпывающим образом в письменном виде. Видишь ли, большая часть того рода знания, что я пытаюсь передать словесно и логически, всегда передавалась от одного человека к другому средствами искусства, и музыки, и религии, и традиции, а не путём разумного объяснения, и оно подобно переводу с одного языка на другой. Однако это не просто другой язык – это совершенно другой вид опыта.

Так или иначе.

Я рад, что ты и мама чувствуете себя хорошо. Спасибо вам за приготовление моих налоговых деклараций.

Джордан

Прошло почти пятнадцать лет с тех пор, как я впервые понял сущность парадокса, который лежит в основе человеческого побуждения ко злу. Люди нуждаются в отождествлении со своей группой, потому что это отождествление буквально защищает их от ужасных сил неизвестного. Именно по этой причине каждый человек, который не является декадентом, будет бороться, чтобы защитить свою территорию, действительную и внутридушевную. Но такая склонность защищать означает ненависть к другим и неизбежность войны, а мы сейчас слишком могущественны технологически, чтобы заниматься войной. Однако допустить победу другой стороны – или даже продолжающееся существование на её условиях – означает подчинение, распад защитной структуры и подвержение воздействию того, чего больше всего боятся. Для меня это значило бы: "ты проклят, если делаешь, проклят, если не делаешь" или же, что системы верований упорядочивают эмоции, но столкновение между системами верований неизбежно.

Формулировка и понимание этого ужасного парадокса опустошили меня. Я всегда был убеждён, что достаточное понимание проблемы – любой проблемы – приведёт к её решению. Тем не менее я оказался – обладая пониманием, которое казалось не только достаточным, но и полным, – между двух огней. Я не понимал, какая может быть ещё другая возможность, кроме одной из двух – иметь систему верований или не иметь её, и мало что мог понять, кроме невыгод обеих точек зрения. Это поистине потрясло мою веру.

Вследствие этого я обратился к своим снам, поступая по налёку Юнга, который предполагал, что сон может содержать нужные сведения, когда никакой другой источник не может удовлетворить потребность в них. Следуя этому, я уже научился многому, что иначе никогда бы мне – ха-ха! – и не снились. Но мои сны иссякли, как раз тогда, когда я нуждался в них больше всего, и никакие сведения не поступали. Я пребывал в бездействии, в своего рода застое.

Это было очень болезненно. Я провёл несколько лет, напряжённо работая и думая, пытаюсь понять побуждения отдельного человека к самым худшим из возможных человеческих действий. Я делал то, что, как я верил, было самым лучшим, по мере своих

способностей, и делал это, несмотря на то, что оно существенно мешало моей личной и профессиональной жизни. Я решил посвятить мою жизнь проблеме зла – развитию подлинного понимания зла в надежде найти какие-то средства, чтобы с ним бороться, – однако мои поиски остановились, зашли в тупик. Это казалось несправедливым. Я воистину верил, что заслуживал лучшего.

Потом, в одну прекрасную ночь, мои сны вернулись, как бы в отместку. Я видел кошмар, столь же ужасный и убедительный, как и сны об уничтожении, с которых начались мои поиски за несколько лет до того.

Мне снилось, что я живу в двухэтажном доме. После сильного запоя я пошёл на чердак и заснул. После того как я заснул, уже во сне мне приснился следующий сон.

Я был пойман, как в ловушку, в громадной люстре, которая висела прямо под куполом огромного затемнённого собора. Люстра висела на сотни футов ниже места её присоединения к куполу и всё-таки находилась так высоко от земли, что люди внизу, на полу, выглядели как муравьи. Эти люди заботились о соборе, и я могу сказать, что они были рассержены тем, что я находился в нём. Я не чувствовал за собой вины, потому что я оказался там не по своему выбору: просто случайно прибыл туда и хотел уйти.

Я понимал, что мне это снится, и встряхнулся, чтобы "пробудиться", чтобы устранить это неудобное положение. Но, когда я "пробудился", то обнаружил, что подвешен в том же самом месте. Я попытался опровергнуть это, заснул опять, рассуждая, что лучше было бы грезить об этом, чем действительно оказаться в таком положении. Однако я не смог вернуться к прежнему бессознательному состоянию и пребывал в мучительном бодрствовании.

Затем я обнаружил себя на земле, вследствие какого-то процесса, природу которого я не могу вспомнить. Люди в соборе возражали против моего присутствия, но при этом меня не беспокоили. Всё, чего я хотел, так это добраться домой, где всё было хорошо знакомо, и опять заснуть.

Когда я вернулся домой, я пошёл в маленькую комнатку без окон – думаю, что это была котельная, – находившуюся посреди нижнего этажа моего дома. Эта комната была окружена другими комнатами: она не соприкасалась с внешним миром. Там стояла небольшая односпальная кровать, которая действительно была во многом похожа на мою настоящую кровать. Я заполз на неё и попытался заснуть, но на меня нашёл какой-то дух. Под его воздействием я начал постепенно исчезать. Я знал, вне тени сомнения, что дух переносил меня обратно на люстру, посреди собора. Я попытался бороться с этим духом, но обнаружил, что практически оцепенел и испытывал какого-то рода судороги. Я отчаянно старался закричать и позвать на помощь и действительно проснулся, по крайней мере частично.

Окна за моей кроватью были распахнуты, и через них дул ветер. Я неистово захлопнул их, а затем обернулся. Передо мной, в то время как я бодрствовал, была огромная двустворчатая дверь, похожая на дверь готического собора, дверь между моей спальней и соседней комнатой, которые были только частично отделены друг от друга. Я встряхнулся, и видение исчезло. Ужас, который я испытывал, исчезал гораздо медленнее.

Ранее, в этот же день, я много читал из Евангелий в Новом завете: это может объяснить упоминание в начале о запое (так сказать, впитывании духа). Я сформулировал истолкование своего сна – неприемлемое по существу истолкование – сразу же после пробуждения. Я знал, что слово "spirit" (дух) происходит от греческого слова *pneuma*, которое означало дух: например, дух, который носился над водою в книге Бытия; дух, или дыхание, которое Бог вдохнул в землю, в материю, чтобы создать человека.

Я обнаружил себя в моём сне посреди собора, и я не мог убежать. Собор – это "святое место", предназначенное для того, чтобы сдерживать силы хаоса. У него та же самая планировка, что и у креста. Середина собора – это (в символическом смысле) место, где был распят Христос, и одновременно центр вселенной. Все силы, воплощённые в моём сне, точно сговорились поместить меня туда, несмотря на моё отчаянное сопротивление. Я не смог в то время принять этот сон (не мог поверить в его последствия), и мне потребовалось долгое время, чтобы его осмыслить:

"«Верующий в Меня дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Иоанн, 14 : 12).

Отрывок из Евангелия от Иоанна взят из четырнадцатой главы, где Христос учит, что каждый, видящий Его, видит и Отца. Он в Отце, и Отец в Нём. Ученики в Нём, и Он в них, более того, на них будет ниспослан Святой Дух как заступник, и они свершат дела, более великие, чем совершил Он. Четырнадцатая глава поднимает вопрос, который имел огромные последствия для будущего: проблему Святого Духа, который остаётся, когда Христос уходит, и который поднимает интерпретацию божественного и человеческого на такой уровень, что мы можем говорить об «охристении» учеников...

Легко увидеть, что происходит, когда из четырнадцатой главы Евангелия от Иоанна выводится логическое заключение: дело Христово передаётся личности. Тогда личность становится носителем тайны, и такое развитие бессознательно представляется и преобразуется в алхимию, в которой ясно можно узреть знаки пришествия Святого Духа и *Sapientia Dei* [Божественной премудрости]".⁶⁵⁹

Мифы о происхождении обычно изображают состояние рая как источник всего на свете. Первоначальное райское состояние, разрушенное событиями грехопадения, служит также целью, к которой движется история. Рассказы о грехопадении описывают внесение в человеческий опыт неудержимого беспокойства как следствие болезненно повышенного сознания, как исход окончательно достигнутого знания о человеческой уязвимости и смертности. Ввиду такого достижения восстановление рая ставится в зависимость от проявления достойного подражания образу поведения, направленного к осмысленной цели, становится зависящим от установления конкретного способа спасения:

"Старинная английская легенда рассказывает о том, что Сиф увидел в саду Эдема. Посреди рая бил сияющий источник, из которого вытекали четыре реки, орошающие весь мир. Над источником стояло огромное дерево со многими ветвями и веточками, но оно выглядело как старое дерево, ибо у него не было ни коры, ни листьев. Сиф знал, что это было дерево, от плодов которого ели его родители, по каковой причине оно теперь стояло голое. Поглядев более внимательно, Сиф увидел, что голая змея без кожи обвилась вокруг дерева. Это был тот змей, который убедил Еву поест запретного плода. Когда Сиф посмотрел на рай во второй раз, он увидел, что дерево испытало великую перемену. Оно теперь было покрыто корой и листьями, а на его верхушке лежал маленький новорождённый младенец, закутанный в пелёнки, который плакал из-за Адамова греха. Это был Христос, второй Адам. Он находится на вершине дерева, что вырастает из тела Адама в изображениях родословной Христа".⁶⁶⁰

Дерево, ось мира, стоит без коры и без листьев, потому что оно было смертельно поражено вследствие грехопадения. Порождение его первого плода – сознания – потрясло его, истощило его возможности. Его вторым плодом, связанным с его возвращением к буйной жизни и здоровью, является спаситель, герой, который спасает человечество от последствий грехопадения,⁶⁶¹ божественная личность, чей жизненный путь ведёт обратно в рай.⁶⁶² Это представлено в виде образа (оно никогда на самом деле так и не превзошло этот образ) на рисунке 67 "Возвращение (Христа как) мистического яблока на дерево познания".⁶⁶³ Сходный образец для создания представлений о спасении одушевляет Восток. Для Гаутамы страдание и разочарование являются (необходимыми) предпосылками зрелого просвещения (имя Будды – Сиддхартха – буквально означает "цель достигнута"⁶⁶⁴). "Просвещённый человек", чей образ жизни в мире переступает пределы страдания в этом мире, есть вечный дух (то есть вечно возвращающийся дух), несмотря на своё "историческое" воплощение в образе Будды. Рисунок 68 "Вечное возвращение бодисатвы"⁶⁶⁵ изображает этот дух, постоянно возвышающийся над большей частью человечества и Великой и Ужасной Матерью. Бодисатва, главный "образ" на этом рисунке, является восточным заменителем Христа (или, возможно, образом духа-утешителя, или Святого Духа). Создатель этого произведения искусства наложил фигуру бодисатвы на "дымоход" в небе, окружённый кольцом преобразующего огня. Этот "дымоход" добавляет временное измерение к пространственным

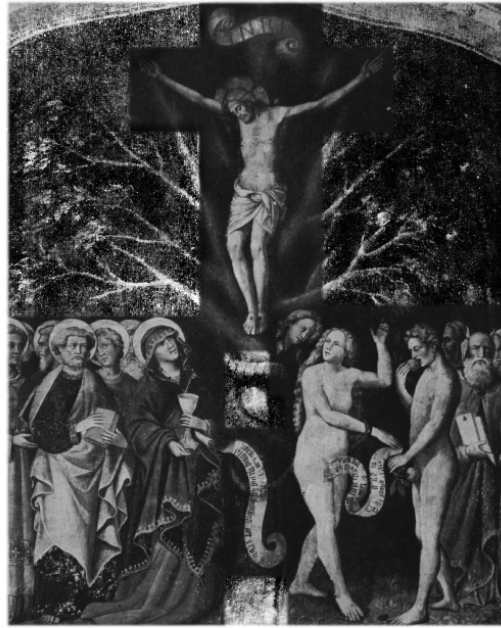


Рисунок 67

измерениям, представленным на этом изображении, и как бы представляет постоянное возвращение героического духа. Это, по сути, отражает те же самые представления, которые побуждали христианских мыслителей приписывать доисторическую (и вечную) жизнь Христу, несмотря на "историчность" его личности. Это так же наводило на размышления о "духе истины", который Христос оставил после себя.

Мифы о грехопадении и искуплении изображают возникновение человеческой неудовлетворённости существующими условиями – неважно, насколько они хороши, – и стремления к движению по направлению к "лучшему будущему" или желания такового. Такие мифы повествуют о том, как люди думают – и всегда будут думать, – невзирая на время и место. Самые глубокие из таких циклических мифов указывают на скачок сознательности как на причину неожиданно появляющегося беспокойства, одновременно указывая на качественно преобразованное сознание как на средство от этого беспокойства (более глубоко – указывая на участие в качественном преобразовании сознания как на средство от этого беспокойства).

Стремиться к своему идеалу, работать для его достижения, оставаться неудовлетворённым при его достижении, когда появляется новое "дело", и таким образом вновь входить в цикл – в этом состоит главная определяющая закономерность человеческого отвлечённого мышления и поведения. Простейшие и самые основные виды целенаправленной человеческой деятельности основаны на сознательном или связанном с традицией принятии иерархии ценностей, в положительных выражениях определяющей желаемое будущее в противовес неудовлетворительному настоящему. С человеческой точки зрения жить – значит действовать в свете того, что ценится, того, что желается, того, что должно быть, и поддерживать, в некотором смысле, достаточное неведение, чтобы позволить вере в такую ценность процветать. Утрата веры в иерархию ценностей – или, что более опасно, – утрата веры в саму идею таких иерархий вызывает сильную подавленность, внутридушевный хаос и всплеск жизненной тревоги.



Рисунок 68

Миф об изгнании из рая указывает на развитие человеческого самосознания как на великую трагедию; как на величайшую мыслимую аномалию; как на событие, которое изменило устройство вселенной; как на событие, которое обрекло человечество на страдания и смерть. Но именно это самое изгнание дало личности возможность выбрать спасительную роль героя, создателя культуры; это самое изгнание подняло занавес драмы человеческой истории. Лучше ли было бы для человечества остаться бессознательным или нет, больше не является вопросом, который можно было бы с пользой обсуждать, хотя этот путь – избрать первую возможность – не кажется особенно плодотворным для выбравших его теперь. Первородный грех Адама заразил каждого; пути назад нет.

В течение значительной части человеческой истории – так сказать после грехопадения – личность оставалась твёрдо укрытой внутри пределов религиозной мечты, которая придавала смысл трагедии жизни. Многие современные мыслители, включая Фрейда, рассматривали эту мечту как оборонительную, как преграду фантазии, воздвигнутую против

жизненной тревоги, порождённой знанием о своей смертности. Однако разделяющую границу между фантазией и действительностью не так легко провести. Несомненно, можно добровольно скрыться в туманах заблуждения; удалиться в удобства отрицания из мира, более ужасного, чем можно выносить. Воображение, однако, не всегда является безумием; его использование не всегда подразумевает возвращение вспять. Воображение и фантазия позволяют каждому из нас иметь дело с неизвестным, с которым приходится встретиться, прежде чем оно будет понято. Фантазия, исследующая неизвестное, поэтому сама по себе не обманчива. Наоборот, она является первой ступенью в понимании, которое в конце концов завершается развитием подробного, опытного, поддающегося передаче знания. Фантазия может быть использована, чтобы создавать действительный мир, так же как и мир обмана чувств. Всё зависит от того, кто предаётся воображению и с какой целью.

Когда человек донаучного мира представлял себе неизвестное в качестве противоречиво выглядящей матери, он не предавался ребяческой фантазии. Он применял то, что он знал, к тому, что было незнакомо, но на что нельзя было не обращать внимания. К первым попыткам человека описывать неизвестное нельзя придирается, потому что они были недостаточно обоснованы опытом. Человек изначально не был эмпирическим мыслителем. Это не значит, что он был жертвой самообмана или лжецом. Более того, когда человек почитает героя, он не обязательно прячется от действительности. Возможно, что он готов и испытывает потребность предстать перед неизвестным как личность; что он готов выбрать за образец в своей собственной жизни героические стремления и тем самым содействовать творению.

Великие мифы христианства – как и великие мифы прошлого вообще – ничего не говорят большинству жителей Западной Европы и Америки, которые считают себя образованными. В истинность мифологического взгляда на историю невозможно верить с материальной, опытной точки зрения. Дело, тем не менее, обстоит так, что вся западная этика, включая ту, которая в явном виде формализована в западном праве, основана на мифологическом мировоззрении, которое определённо приписывает личности божественное положение. Поэтому современный человек находится в единственном в своём роде положении: он больше не верит, что начала, на которых основано всё его поведение, имеют силу. Это можно было бы рассматривать как второе грехопадение, в котором разрушение западной мифологической преграды вновь обнажило существенную трагедию личной жизни.

Однако христианское мировоззрение разрушил не поиск основанной на опыте истины, а смешение эмпирического факта с нравственной истиной, к великому вреду для последней. Это смешение вызвало то, что можно было бы описать как вторичную выгоду, которая сыграла важную роль в его сохранении. Эта выгода есть отречение от безусловной личной ответственности, наложенной вследствие признания божественного в человеке. Такая ответственность означает принятие на себя испытаний и несчастий, связанных с самовыражением единственной в своём роде личности, равно как и уважение к такому самовыражению в других. Такое принятие, выражение и уважение при отсутствии уверенности и дисциплины в малейших делах требуют мужества.

Отвергание нравственной истины толкает на подыскивание разумных оснований для малодушного, пагубного, вырожденческого потакания своим желаниям. И это обстоятельство является одной из самых мощных приманок такого отвергания и представляет собой главное побуждение для лжи. Эта ложь, больше всего другого, угрожает человеку и его общению с другими людьми. Эта ложь основана на предположении, что трагедия личности невыносима: что сам человеческий опыт есть зло. Человек ложёт, потому что он боится, – и не ложь, которую он говорит другому, представляет настоящую опасность, а ложь, которую он говорит самому себе. Корень общественной и личной психопатологии, "отрицания", "подавления" есть ложь. Самая опасная ложь из всех состоит в отрицании личной ответственности – отрицании личной божественности.

Потребовались тысячи лет для полного развития представления о божественной личности, и ему по-прежнему угрожают прямые нападки и коварное движение в противоположном направлении. Оно основано на понимании того, что личность – это местоположение опыта. Всё, что мы знаем о действительности, мы знаем из опыта. Поэтому самое простое – предположить, что всё, что есть в действительности, – это опыт, в постепенном развёртывании. Более того, именно субъективная сторона личности – опыта –

является божественной, а не объективной. С объективной точки зрения человек – это животное, заслуживающее не большего уважения, чем предписывает общественное мнение и позволяют возможности минуты. С мифологической точки зрения, однако, каждая личность единственна в своём роде: она является новым набором переживаний, новой вселенной; ей была дарована способность привнести в жизнь нечто новое; она способна участвовать в самом действии творения. Именно выражение этой способности к созидательному действию делает трагические условия жизни терпимыми, сносными, замечательными, чудодейственными.

Рай детства – это полное осмысленное погружение. Это погружение есть подлинное проявление личного интереса. Интерес сопутствует честным поискам неизвестного, в направлении и со скоростью, определяемыми субъективно. Неизвестное, в его благотворном облике, является основанием интереса, источником того, что имеет смысл. В своей поддерживающей роли культура даёт силу для встречи с неизвестным, приучая личность к порядку и расширяя размах её возможностей. В детстве родители служат заменителем культуры, и ребёнок исследует под прикрытием защиты, предоставляемой его родителями. Родительский механизм, однако, имеет свои пределы, позже он вытесняется превращением культуры во внутреннюю – включением в душу её верований, безопасности и целей. Принятие этого вторичного защитного устройства резко расширяет личные способности и придаёт им форму.

Дракон хаоса ограничивает преследование личного интереса. Борьба с этим драконом – против сил, которые пожирают волю и надежду, – представляет собой героическую битву в мифологическом мире. Преданная приверженность реальности личного опыта обеспечивает соприкосновение с этим драконом – и именно во время такого соприкосновения великая сила личного духа и проявляется в полной мере. Герой добровольно противопоставляет себя дракону. Лжец притворяется с риском для себя и для других, что великого дракона не существует, или отрекается от своей связи со своим существенным интересом и отказывается от всякой возможности дальнейшего развития.

Интерес – это смысл. Ощущение смысла есть проявление божественного личного пути приспособления. Ложь – это отказ от личного интереса, следовательно, от смысла, следовательно, от божественности ради безопасности и защиты; это принесение в жертву человека для умиротворения Великой Матери и Великого Отца.

Ложь – это утверждение страха: "Этого не могло быть; этого на самом деле не было". Ложь ослабляет человека – он больше не расширяет область своего знания, испытывая свою субъективность перед миром, – и лишает его жизнь смысла. Жизнь без смысла есть смертельное ограничение; есть подчинение боли и страданию, без прибежища. Жизнь без смысла – это трагедия, без надежды на спасение.

Отказ от смысла означает принятие демонического способа приспособления к окружающей среде, ибо человек не хочет бессмысленной боли и разочарования и будет прилагать усилия, чтобы их устранить, в отместку жизни, которую гордыня сделала невыносимой.

Возрождение – это восстановление интереса, после принятия обусловленного культурой знания. Возрождение интереса переносит личность к границе между известным и неизвестным и таким образом расширяет знание, необходимое для приспособления. Бог в современном мире расширяет область истории через посредство личности.

Самосознание означает понимание личной уязвимости. Процесс, посредством которого оно возникает, может разрушить веру в личное достоинство. Это значит, в конкретных выражениях, что личность в ходе своего развития может дойти до того, чтобы принести в жертву собственный опыт, так как его поиски приводят к столкновению интересов в обществе или раскрывают её собственные недостатки. Однако только посредством таких столкновений происходят изменения в обществе, а слабость должна быть осознана, прежде чем она может быть превращена в силу. Это значит, что принесение в жертву личности устраняет всякую возможность как обнаружения личной силы, так и её развития, а также развития самого этого мира.

Общественные и биологические условия определяют границы личной жизни. Неизменное преследование интереса даёт личности средство, с помощью которого эти условия могут быть удовлетворены, а их границы – превзойдены. Ощущение же смысла жизни делает жизнь возможной. Когда от него отказываются, личность теряет свою жизненную силу. Великая

ложь состоит в том, что смысла жизни не существует или что он не важен. Когда отрицается смысл жизни, неизбежно властвуют ненависть к жизни и желание её уничтожения.

Люди, чья жизнь не имеет смысла, ненавидят самих себя за свою слабость и ненавидят жизнь за то, что она сделала их слабыми. Эта ненависть проявляется в полном отождествлении себя с разрушительной силой в её мифологическом, историческом и биологическом проявлениях; проявляется в желании полного прекращения жизни. Такое отождествление приводит человека к тому, чтобы отравлять всё, чего бы он ни касался, создавать излишнее несчастье перед лицом неизбежного страдания, обращать своих собратьев против самих себя, перемешивать землю с адом – просто для того чтобы достичь отмщения Богу и его творению.

"Если вы произнесёте то, что внутри вас, то, что вы произнесёте, спасёт вас. Если вы не произнесёте то, что внутри вас, то, что вы не произнесёте, погубит вас".⁶⁶⁶

Человеческая цель, если такое понятие можно рассматривать, состоит в том, чтобы искать смысла – расширять область света, сознания, – несмотря на ограничения. Осмысленное событие происходит на границе между порядком и хаосом. Поиск смысла подвергает человека воздействию неизвестного постепенно, позволяя ему развивать свою силу и способность к приспособлению в соответствии со степенью важности поиска. Именно во время соприкосновения с неизвестным (лично, а затем исторически) возрастает человеческая сила. Смысл – это субъективный опыт, связанный с этим соприкосновением. Великие религиозные мифы утверждают, что продолжающийся поиск смысла, предпринятый добровольно и без самообмана, приводит человека к открытию своей тождественности с Богом. Это "открытие тождественности" делает его способным выдержать трагедию жизни. В противовес этому отсутствие смысла жизни доводит человека до смертельной слабости, что заставляет его ненавидеть жизнь и стремиться к её уничтожению.

Человек – это создание, привлекаемое неизвестным; создание, приспособленное для его покорения. Человеческое ощущение смысла является наиболее глубоким проявлением природного чутья. Это природное чутьё делает жизнь возможной, управляя скоростью соприкосновения с неизвестным. Слишком тесное соприкосновение превращает всё в хаос; слишком слабое способствует застою и вырождению. Умеренное – создаёт могучую личность, уверенную в своей способности противостоять жизни, всё более и более способную иметь дело с природой и обществом, всё более и более приближающуюся к героическому идеалу. Каждый человек, единственный в своём роде, находит смысл в разнообразных поисках, если у него хватает мужества защищать своё отличие от других. Проявление личного разнообразия, преобразованное в знание, которое может быть передано обществу, изменяет лицо самой истории, продвигая каждое поколение далее в неизвестное.

Мудрость группы служит посредником между зависимостью детства и ответственностью взрослого. При таких обстоятельствах прошлое служит настоящему. Общество, основанное на вере в высшую божественность личности, позволяет личному интересу процветать, быть той силой, которая противится тирании культуры и ужасу природы. Отрицание смысла жизни, в противоположность этому, обеспечивает полное отождествление с группой или душевное вырождение и упадок. Отрицание смысла жизни приводит вырождающегося человека или сторонника такого отождествления к отчаянию и слабости, когда ему угрожает великое материнское море хаоса. Эти отчаяние и слабость заставляют его ненавидеть жизнь и пытаться её разрушить в себе, равно как и в тех, кто вокруг него. Ложь – главное действие в этой драме нравственного разложения:

"Это тайные слова, которые сказал Иисус живой и которые записал Дидим Иуда Фома.

И он сказал: «Кто обретёт истолкование этих слов, не вкусит смерти».

Иисус сказал: «Пусть тот, кто ищет, продолжает искать, пока не найдёт. Когда он обеспокоится, он будет изумлён, и он будет властвовать над всеми».

Иисус сказал: 'Если те, которые ведут вас, говорят вам: «Смотрите, царствие в небе!» – тогда птицы небесные опередят вас. Если они говорят вам, что оно в море, тогда рыбы опередят вас. Но царствие внутри вас и вне вас. Когда вы познаете самих себя, то станете

известными и поймёте, что именно вы – сыны живого отца. А если вы не познаете самих себя, то вы пребываете в бедности, и именно вы – эта бедность'.

Иисус сказал: «Старик, ветхий днями, не колеблясь спросит маленького ребёнка, семи дней отроду, о месте жизни, и он будет жить. Ибо многие будут первые последними, и они станут одним и тем же».

Иисус сказал: «Узнайте то, что у вас на виду, и то, что скрыто от вас, станет ясным для вас. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным».

Его ученики спрашивали его и сказали ему: «Хочешь ли ты, чтобы мы постились? Как мы должны молиться? Должны ли мы подавать милостыню? Какой стол мы должны соблюдать?»

Иисус сказал: «Не лгите и то, что вы ненавидите, не делайте этого. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным; и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу»".⁶⁶⁷

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Jung C. G. (1978a), p. 78; а также:

Хотя это, по-видимому, парадоксально,

Человек, который принимает на себя

Унижение народа, пригоден, чтобы управлять,

И тот пригоден, чтобы вести за собой,

Кто принимает на себя бедствия страны. (Lao-Tzu, 1984c)

² "Иногда я смотрю на социалиста – интеллигентного, того типа, который пишет брошюры – с его свитером, непричёсанными волосами и марксистскими цитатами, и хочу знать, **каковы же** – чёрт возьми! – его побуждения на самом деле. Часто бывает трудно поверить, что это любовь к кому-нибудь, особенно к рабочему классу, от которого он отдалён больше всех людей". Orwell G. (1981), pp. 156 – 157.

³ Jung C. G. (1970a), p. 157

⁴ Jung C. G. (1970a), p. 158

⁵ Десять лет спустя, когда я заканчивал рукопись этой книги, моя студентка, мисс Хейди Тремл, писала мне: "Во время путешествия из Египта в Ханаан нетерпеливые израильтяне обвиняли Бога и Моисея в том, что те завели их в пустыню, чтобы они там умерли. Как следствие этих жалоб Яхве наслал на израильтян ядовитых змеев. Те израильтяне, которые не были укушены змеями, раскаялись и попросили Моисея вступить за них перед Богом. Яхве приказал Моисею сделать медного змея и поместить его на вершине шеста, чтобы те, кто были укушены, могли взглянуть на него и жить. Моисей сделал так, как ему было приказано, и, когда змей кусал кого-либо, этот человек смотрел на медное изваяние и оставался в живых. (Числа, 21 : 5 – 9)... У евангелиста Иоанна Иисус объясняет Никодиму: «И как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн, 3 : 14 – 15)".

Мисс Тремл обращала моё внимание на то, что змея повсюду рассматривалась и как приносящая смерть (из-за её яда), и как приносящая преображение и возрождение (потому что она может сбрасывать свою кожу). Эта напряжённая двойственная природа змеи делает её подходящим представителем "таинственного" (следуя Рудольфу Отто, чьи идеи описаны далее в тексте). **Таинственное** может вызывать трепет и страх (**mysterium tremendum**), а также мощное притяжение и очарование (**mysterium fascinans**). Мисс Тремл замечает далее: "Если человек мог выдержать пристальный взгляд змея, который символизировал его величайший страх, он бывал исцелён".

Почему Христос был уподоблен змее на моей картине и в Новом завете? (Нужно понимать, что я вообще ничего не знал об этом отношении, когда первоначально нарисовал этот набросок.) Это имеет нечто общее с его изображением в виде судьи в Апокалипсисе:

"Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть" (Откровение, 3 : 15 – 18).

Представление о Спасителе обязательно подразумевает, что он ещё и Судья (и судья наиболее неумолимого вида), потому что Спаситель является мифологическим представлением того, что идеально, а идеальное всегда производит суд над действительным. Первоначальный образ Спасителя, который представляет собой совершенство или завершение, поэтому вселяет ужас в точном соотношении с личным отдалением от идеала.

⁶ Joyce J. (1986), p. 28. (Русский перевод приведён по изданию (ДЖ1), стр. 30 –

Примечание переводчика.)

⁷ Jung C. G. (1968b), p. 32

⁸ Jung C. G. (1968b), p. 32 – 33

⁹ Мерная лента Жаклин Кеннеди-Онассис была продана за 45000 долларов в 1996 году [Gould L., Andrews D. & Yevin J. (1996, December), p. 46].

¹⁰ Jung C. G. (1976b), pp. 92 – 93. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), сс. 97 – 98. – **Примечание переводчика.)**

¹¹ Jung C. G. (1976b), pp. 10 – 11. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 18. – **Примечание переводчика.)**

¹² Eliade M. (1978b).

¹³ Jung C. G. (1933), p. 204.

¹⁴ Nietzsche F. (1981), pp. 69 – 70. Ницше в оригинале говорит об англичанах. Той точки зрения, которую он критикует, придерживаются сейчас настолько широко, что моя замена слова "англичане" словами "представители современного Запада" кажется совершенно уместной. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "Сумерки идолов, или как философствуют молотом" приводится по изданию (ФН2), стр. 596. – **Примечание переводчика.)**

¹⁵ Fukuyama F. (1993).

¹⁶ Nietzsche F. В сборнике Kaufmann W. (1975), p. 126. (Русский перевод К. А. Свасьяна книги Фридриха Ницше "Весёлая наука" приводится по изданию (ФН1), сс. 592 – 593. – **Примечание переводчика.)**

¹⁷ Существуют по крайней мере четыре независимых шумерских повествования (включая "Энума элиш", подробно рассказанный далее), которые описывают происхождение вселенной. Элиаде предполагает "множественность традиций", наиболее вероятно происходящих от народов, чей союз создал шумерскую цивилизацию.

¹⁸ Eliade M. (1978b), pp. 57 – 58.

¹⁹ Nietzsche F. (1966), pp. 97 – 98. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), сс. 306 – 307. – **Примечание переводчика.**)

²⁰ Nietzsche F. (1968a), pp. 77 – 78.

²¹ Dostoevsky F. В сборнике Kaufmann W. (1975), pp. 75 – 76. (Русский перевод взят из книги Ф. М. Достоевского "Записки из подполья" и цитируется по изданию (Д1), сс. 157 – 158. – **Примечание переводчика.**)

²² Frye N. (1990), pp. 90 – 92.

²³ Рихард Вильгельм перевёл китайское "дао" – основание существования, **путь**, как "sinn", то есть немецким словом, которое равнозначно слову "значение" [Wilhelm, R. (1971), p. lv]. **Путь** – это жизненный путь, направляемый процессами, проявляющимися вне области, ограниченной определёнными, логичными, внутренне непротиворечивыми познавательными структурами. С такой точки зрения осмысленные переживания могут рассматриваться как "указатели", отмечающие путь к новому образу жизни. Любая форма искусства, которая вызывает эстетическую увлечённость или передаёт смысл, может поэтому служить таким указателем, по крайней мере, в принципе [Solzhenitsyn A. I. (1990), pp. 623 – 630].

²⁴ См., например, Eliade M. (1975).

²⁵ Gray J. A. (1982; 1987); Gray J. A. & McNaughton N. (1996); Gray J. A., Feldon J., Rawlins J. N. P., Helmsley D. R. & Smith A. D. (1996).

²⁶ Sokolov E. N., (1969), p. 672.

²⁷ Sokolov E. N., (1969), p. 673.

²⁸ Эти "карты" настолько важны для нас, настолько жизненно важны, что их простое отвлечённое описание (разыгрываемое, устно передаваемое или записанное) оказывается настолько внутренне интересным, что способно вовлечь нас в искусственный мир [см. Oatley K. (1994)].

²⁹ Vinogradova O. (1961; 1975); Luria A. R. (1980).

³⁰ Lao-Tzu (1984b).

³¹ Ohman A. (1979); Vinogradova O. (1961).

³² Ohman, A. (1979); Vinogradova O. (1961).

³³ Obrist P. A., Light K. C., Langer A. W., Grignolo, A. & McCubbin J. A., (1978).

³⁴ Gray J. A. (1982).

³⁵ Nietzsche F. (1968a), p. 88. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), стр. 299. – **Примечание переводчика.**)

³⁶ Gray J. A. (1982).

³⁷ Я использую здесь термин "обещание" отчасти потому, что он является хорошим, то есть симметричным, двойником термина "угроза". Используемый здесь термин "обещание" означает "побудительное вознаграждение", или "указание

для удовлетворения", или "указание для завершения удовлетворения". Кроме того, ни первый термин ("вознаграждение"), ни последний ("указание") не кажется особенно подходящим для положительного состояния, вызванного соприкосновением с новизной. Новизну, по-видимому, нельзя относить к разряду "вознаграждений"; к тому же положительная эмоция может быть вызвана через посредство соприкосновения с новизной и в отсутствие какой бы то ни было тренировки [Gray J. A. (1982)], так что термин "указание", видимо, неуместен.

³⁸ Eliade M. (1978b); Jung C. G. (1969).

³⁹ Gray J. A. (1982; 1987); Gray J. A. & McNaughton N. (1996).

⁴⁰ Kuhn T. (1970).

⁴¹ Kuhn T. (1970).

⁴² Obrist P. A., Light K. C., Langer A. W., Grignolo, A. & McCubbin J. A., (1978).

⁴³ Kuhn T., (1970).

⁴⁴ Jung C. G. (1976b), pp. 540 – 541.

⁴⁵ Jung C. G. (1967a; 1968; 1967b); Ellenberger H. (1970); Campbell J. (1968); Eliade M. (1964; 1978b; 1982; 1985); Piaget J. (1977).

⁴⁶ Bruner J. (1986).

⁴⁷ Eliade M. (1965).

⁴⁸ Jung C. G. (1967a; 1968b; 1969; 1967b); Eliade M. (1978b; 1982; 1985).

⁴⁹ Nietzsche F. (1968a), pp. 203 – 204. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), стр. 245. – **Примечание переводчика.**)

⁵⁰ Eliade M. (1978b), p. 59.

⁵¹ Frankl V. (1971), pp. 70 – 72.

⁵² Skinner B. F. (1966; 1969).

⁵³ Solzhenitsyn A. I. (1975), pp. 605 – 606. (Русский текст печатается по изданию (C2), стр. 593. – **Примечание переводчика.**)

⁵⁴ Gray J. A. (1982); Gray J. A. & McNaughton N. (1996); Pihl R. O. & Peterson J. B. (1993; 1995); Tomarken A. J., Davidson R. J., Wheeler R. E. & Doss R. C. (1992); Wheeler R. E., Davidson R. J. & Tomarken A. J. (1993); Tomarken A. J., Davidson R. J. & Henriques J. B. (1990); Davidson R. J. & Fox N. A. (1982).

⁵⁵ Gray J. A. (1982); Ikemoto S. & Panksepp J. (1996).

⁵⁶ Wise R. A. (1988); Wise R. A. & Bozart M. A. (1987).

⁵⁷ Gray J. A. (1982).

⁵⁸ Mowrer O. H. (1960).

⁵⁹ Wise R. A. (1988); Wise R. A. & Bozart M. A. (1987).

⁶⁰ Gray J. A. (1982).

⁶¹ Рассмотрено в работе Gray J. A. (1982).

- ⁶² Skinner B. F. (1966; 1969).
- ⁶³ Panksepp J., Siviy S. & Normansell L. A. (1985).
- ⁶⁴ Gray J. A. (1982).
- ⁶⁵ Gray J. A. (1982); Dollard J. & Miller N. (1950).
- ⁶⁶ Gray J. A. (1982).
- ⁶⁷ Gray J. A. (1982).
- ⁶⁸ Gray J. A. (1982).
- ⁶⁹ Gray J. A. (1982).
- ⁷⁰ Gray J. A. (1982).
- ⁷¹ Gray J. A. (1982).
- ⁷² Рассмотрено в работе Gray J. A. (1982).
- ⁷³ Dollard J. & Miller N. (1950).
- ⁷⁴ Wise R. A. (1988); Wise R. A. & Bozart M. A. (1987).
- ⁷⁵ Dollard J. & Miller N. (1950).
- ⁷⁶ Dollard J. & Miller N. (1950).
- ⁷⁷ Luria R. A. (1980).
- ⁷⁸ Goldman-Rakic P. S. (1987); Shallice T. (1982); Milner B., Petrides M. & Smith M. L. (1985).
- ⁷⁹ Oatley K. (1994).
- ⁸⁰ Patton M. F. (1988), p. 29.
- ⁸¹ Gray J. A. (1982).
- ⁸² Dollard J. & Miller N. (1950).
- ⁸³ Gray J. A. (1982); Gray J. A., Feldon J., Rawlins J. N. P., Helmsley D. R. & Smith A. D. (1996).
- ⁸⁴ Dollard J. & Miller N. (1950).
- ⁸⁵ Gray J. A. (1982); Fowles D. C. (1980; 1983; 1988; 1994).
- ⁸⁶ Wise R. A. (1988); Wise R. A. & Bozart M. A. (1987); Gray J. A. (1982).
- ⁸⁷ Gray J. A. (1982).
- ⁸⁸ Wise R. A. (1988); Wise R. A. & Bozart M. A. (1987).
- ⁸⁹ Gray J. A. (1982).
- ⁹⁰ Damasio A. R. (1994; 1996); Bechara A., Tranel D., Damasio H. & Damasio A. R. (1996); Bechara A., Damasio H., Tranel D. & Damasio A. R. (1997).
- ⁹¹ Bechara A., Damasio H., Tranel D. & Damasio A. R. (1997); Damasio A. R. (1994); Bechara A., Tranel D., Damasio H. & Damasio A. R. (1996).
- ⁹² Luria A. R. (1980); Nauta W. J. H. (1971).
- ⁹³ Luria A. R. (1980); Granit R. (1977).

- ⁹⁴ Luria A. R. (1980).
- ⁹⁵ Luria A. R. (1980).
- ⁹⁶ Sokolov E. N. (1963); Vinogradova O. (1975); Gray J. A. (1982; 1987); Gray J. A. & McNaughton N. (1996).
- ⁹⁷ Gray J. A. (1982; 1987); Gray J. A. & McNaughton N. (1996); Sokolov E. N. (1969); Vinogradova O. (1975); Halgren E., Squires N. K., Wilson C. L., Rohrbaugh J. W., Babb T. L. & Crandell P.H., (1980); Watanabe T. & Niki H. (1985).
- ⁹⁸ См. Aggleton J. P. (1993).
- ⁹⁹ Halgren E. (1992), p. 205.
- ¹⁰⁰ Halgren E. (1992), p. 205.
- ¹⁰¹ Halgren E. (1992), p. 206.
- ¹⁰² Halgren E. (1992).
- ¹⁰³ Ohman A. (1979; 1987).
- ¹⁰⁴ Halgren E. (1992), p. 206.
- ¹⁰⁵ Для обзора подтверждающих данных см. Tucker D. M. & Williamson P. A. (1984); Davidson R. J. (1984a; 1984b; 1992); Goldberg E., Podell K. & Lovell H. (1994); Goldberg E. (1995); Goldberg E. & Costa L. D. (1981). Для какого-либо указания на то, почему на самом деле могут оказаться необходимыми две различные системы, см. Grossberg S. (1987).
- ¹⁰⁶ Dollard J. & Miller N. (1950).
- ¹⁰⁷ Ohman A. (1979; 1987).
- ¹⁰⁸ Brown R. (1986); Rosch E., Mervis C. B., Gray W., Johnson D. & Boyes-Braem P. (1976); Lakoff G. (1987); Wittgenstein L. (1968).
- ¹⁰⁹ Eliade M. (1978b).
- ¹¹⁰ Sokolov E. N. (1969); Vinogradova O. (1975); Gray J. A. (1982); Gray J. A. (1987); Gray J. A. & McNaughton N. (1996).
- ¹¹¹ Aggleton J. P. (1993).
- ¹¹² Для обсуждения простоты и общей полезности систем "действия при отсутствии решений" (в противоположность системам "бездействия при отсутствии решений") см. Brooks A. & Stein L. A. (1993); Brooks A. (1991).
- ¹¹³ LeDoux J. E. (1992).
- ¹¹⁴ LeDoux J. E. (1992).
- ¹¹⁵ Luria A. R. (1980).
- ¹¹⁶ И, как мне кажется, связана с дилеммой устойчивости и гибкости, в общих чертах обрисованной в работе Grossberg S. (1987).
- ¹¹⁷ Blanchard D. C. & Blanchard R. J. (1972); Bouton M. E. & Bolles R. C. (1980); LeDoux J. E., Sakaguchi A. & Reiss D. J. (1984).
- ¹¹⁸ Blanchard D. C. & Blanchard R. J. (1972).

¹¹⁹ Kapp B. S., Pascoe J. P. & Bixler M. A. (1984); Iwata J., Chida K. & LeDoux J. E. (1987).

¹²⁰ LeDoux J. E. (1992).

¹²¹ Недавняя работа, проведённая по трём родственным явлениям – скрытому торможению, допульсовому торможению испуга и отрицательному натаскиванию – показывает существенную обоснованность этой точки зрения. "Скрытое торможение" (СТ) – это затруднение в обучении тому, что "а" означает "b", если ранее "а" означало "с" (где "с" чаще всего ничто, то есть "а" ничего не означало) (см. Lubow R. E. (1989) для обзора литературы; Gray J. A. & McNaughton N. (1996) и Gray J. A., Feldon J., Rawlins J. N. P., Helmsley D. R. & Smith A. D. (1991) для обсуждения предполагаемой невропсихологии). Если взять посаженную в клетку крысу и неоднократно подвергать её прерывистому воздействию света в сочетании с ударом током – крыса начинает бояться света. В классических выражениях свет стал **условным раздражителем** для удара током и поэтому вызывает страх. Однако если крысу предварительно неоднократно подвергать воздействию того же самого света при отсутствии каких-либо последствий, то ей потребуется значительно больше времени, чтобы научиться связывать свет и удар током. Скрытое торможение (СТ) есть пример трудности в обучении (новой валентности), логически вытекающей из предшествующего обучения (альтернатива ему даётся родственным эффектом препятствования Камина [Jones S. H., Gray J. A. & Helmsley D. R. (1992)]). Способность к скрытому торможению служит отличительным признаком целого ряда видов животных, равно как и человека; само это явление может быть вызвано при использовании большого числа различных экспериментальных способов (при использовании "безусловных" раздражителей, которым придана различная валентность). Острые первоначальные шизофреники и их близкие "родственники" (шизоидные типы), подавленные своим повседневным опытом, проявляют пониженное СТ, как и люди, принимающие амфетамины или другие подобные лекарства, которые вызывают усиление исследовательского поведения [Wise R. A. & Bozart M. A. (1987)]. Антипсихозные лекарства, которые уменьшают **доопытное** значение явлений, нормализуют это понижение.

"Допульсовое торможение (ДПТ) испуга" происходит, когда величина реакции испуга на сильные, неожиданные раздражители (такие, как громкий звук) ослабляется вследствие "намёка" (такого, как похожий, но менее сильный звук), данного за 30 – 500 мсек ранее. Наличие намёка, по-видимому, уменьшает относительную новизну (непредсказуемость) более сильных последующих раздражителей, по крайней мере, среди нормальных людей. В качестве другой взаимоисключающей возможности такой намёк можно было бы рассматривать как аналог постепенного подвергания воздействию раздражителя (приём, с помощью которого терапевты, занимающиеся лечением расстройств поведения, понижают чувствительность их пациентов к раздражителям, вызывающим у них страх как реакцию). Опять-таки лица, страдающие шизофренией или отличающиеся родственными познавательными ненормальностями [Swerdlow N. R., Fillion D., Geyer M. A. & Braff D. L. (1995)], проявляют пониженное ДПТ; это, возможно, указывает на то, что они не могут действенно использовать способность предсказания на основе прошлого опыта для того, чтобы регулировать свои эмоциональные и

психофизиологические реакции на раздражители, которые "по существу требуют" отклика (на "безусловные раздражители" в старой терминологии).

Люди, принимающие участие в опытах, которые исследуют отрицательное натаскивание, должны научиться отвечать на "раздражитель", появляющийся при тех же условиях, при которых недавно (< 350 мсек) действовал не имеющий отношения к делу, или отвлекающий, раздражитель. Нормальные люди "успевают лучше" в определении раздражителя как не относящегося к делу, чем шизофреники или шизоидные личности, следовательно, время реакции последних, когда отрицательное натаскивание имело место, больше [Swerdlow N. R., Filion D., Geyer M. A. & Braff D. L. (1995)]. Парадигма отрицательного натаскивания, как и другие, наглядно показывает, что неуместности (главная черта несвязанного "условного раздражителя") надо выучиться и что ей можно разучиться (иногда с разрушительными последствиями). Предметом обсуждения, следовательно, является **доопытный** статус условного раздражителя относительно валентности и то, как этот статус может быть изменён или устранён посредством исследования.

Эксперименты, использующие СТ, и связанные с ними приёмы, очаровательны – и имеют решающую важность, – потому что они наглядно показывают, что неуместность большинства зависящих от обстановки и не относящихся к делу явлений не задана изначально. Неуместности надо выучиться. Более того, такое обучение достаточно глубоко усваивается, чтобы мешать последующему обучению, если случайности, имеющие отношение к побуждениям, меняются. Первоначальная "вызывающая любопытство или надежду" сторона уже хорошо знакомых явлений, по-видимому, управляется расторможенным возбуждением ядра, которое само управляется миндалиной [Gray J. A., Feldon J., Rawlins J. N. P., Helmsley D. R. & Smith A. D. (1991)]. (Это ядро есть тот же самый центр, который возбуждает большинство "положительно подкрепляющих" лекарств, которыми злоупотребляют [Wise R. A. & Bozart M. A. (1987)], если не все они.). Их "вызывающей страх" стороне – которая логически должна сосуществовать с "вызывающей любопытство или надежду" – было уделено меньше внимания, хотя роль миндалины в вызывании подгоняемого новизной страха хорошо установлена, как уже было описано ранее. Именно эти спаренные стороны – угроза и обещание, **до всякого опыта** вызывающие страх и надежду (уместность в её наиболее существенном облике), – обычно лежат за "дверями восприятия" Вильяма Блейка [Huxley, A., (1956)] и придают самой жизни её "внутренний" и подчас ошеломляющий смысл:

"Если бы двери восприятия были очищены, всё предстало бы перед человеком, как оно есть, бесконечным.

Ибо человек закрывается, пока он видит все вещи через узкие щели своей пещеры" Blake W. (1946), p. 258.

Физиологические явления или события в окружающей среде, которые, так сказать, открывают эти двери, дают нам возможность проникновения в "подлинную природу вещей". Такое проникновение, когда оно ненамеренно (как, по-видимому, обстоит дело, например, в случае шизофрении), обладает достаточной силой, чтобы вселить ужас и, возможно, уничтожить. **Доопытная**

валентность предмета могущественна и может вселять ужас (настолько вселять ужас, насколько это может делать что-либо воображаемое). Наши обычные обстоятельства, наше предшествующее обучение защищают нас от этой валентности; укрывают нас, ограничивают наш "доступ" к её значению **как таковому**. События, которые являются помехой устойчивости этого обучения или его условной обоснованности, обладают способностью позволять этому значению вновь возникать с его ужасной силой, от которой нет защиты.

¹²² Luria A. R. (1980), pp. 30 – 32.

¹²³ Hebb D. O. & Thompson W. R. (1985), p. 766.

¹²⁴ Blanchard R. J. & Blanchard D. C. (1989).

¹²⁵ Blanchard D. C., Blanchard R. J. & Rodgers R. J. (1991).

¹²⁶ Pinel J. P. J. & Mana M. J. (1989).

¹²⁷ Blanchard R. J., Blanchard D. C. & Hori K. (1989).

¹²⁸ Blanchard R. J. & Blanchard D. C. (1989).(?)

¹²⁹ Blanchard D. C., Veniegas R., Elloran I. & Blanchard R. J. (1993).

¹³⁰ Lorenz K. (1974).

¹³¹ Goodall J. (1990).

¹³² Исследование – это **не** просто точное определение "неотъемлемых" свойств неожиданного явления или положения дел. **Подлинная природа** явлений или положений дел (с точки зрения валентности **и** объективной классификации) зависит от стратегий поведения, используемых в их присутствии, и от целей, которые преследуются в это время. Это означает, что определённый опыт должен рассматриваться как развивающееся свойство поведения в такой степени, которая сейчас неопределима. Это, по-видимому, верно как для чисто объективных видов опыта, которые представляют собой предмет науки (см. Kuhn T. (1970); Feyerabend P. K. (1981)), так и для субъективных.

Слово само по себе не может больше разумно рассматриваться как "ярлык" для "явления" [Wittgenstein L. (1968), pp. 46e – 47e]. Представление, что **понятие** есть ярлык для **предмета**, является только версией той же самой ошибки (несколько более "высокого порядка"). Витгенштейн, по существу, указывал, что наше ощущение единой "вещи" не просто дано [Wittgenstein L. (1968)]. Мы склонны думать о предметах, которые мы воспринимаем, как о "существующих там вовне" в каком-то существенном смысле, но мы видим дерево, прежде чем видим ветки. Несмотря на это умозрительное явление, у дерева нет объективного превосходства перед ветками (или листьями, или клетками, которые составляют листья, или перед лесом, коли на то пошло). Роджер Браун, следуя примеру Витгенштейна, наглядно показал, что у "предметов" есть свои "основные уровни" – по сути, свои уровни разрешения, – которые появляются наиболее легко, и быстро выучиваются детьми, и не меняются при переходе от культуры к культуре [Brown R. (1986)].

Витгенштейн решил вопрос о том, чем являются слова, если они "не являются ярлыками для предметов", утверждая при этом, что слово есть орудие; заявляя, что оно играет роль в игре; замечая, что его природа более сходна с природой

шахматной фигуры в шахматах [Wittgenstein L. (1968), pp. 46e – 47e]. Говоря: "Значение шахматной фигуры есть её роль в игре..." [Wittgenstein L. (1968), p. 150e], он отмечал, кроме того, что у "этой игры" есть "не только правила, но и смысл" [Wittgenstein L. (1968), p. 150e].

Витгенштейн клонил к общему принципу: "предмет" **определяется**, даже воспринимается (рассматривается скорее как некое единство, чем множественность) в отношении к его полезности как средства для заданной цели. В основном смысле "предмет" является орудием: облегчителем или препятствием. То, что мы воспринимаем как предметы, – это явления, которые могут быть легко использованы, чтобы удовлетворить наши желания, по крайней мере, в принципе, или явления, которые вполне способны помешать достижению нами желаемых целей. Облегчителям приписывается положительная валентность, как побудительным вознаграждениям; препятствиям – отрицательная, как наказаниям и угрозам. Валентность "обычных" облегчителей и препятствий незначительна с относительной точки зрения; их революционные двойники могут вызвать непреодолимые эмоции (подумайте об Архимедовом возгласе "Эврика!"). То, что можно разумно вычленить из потока окружающей среды как "предмет", поэтому в значительной степени определяется той целью, которую мы имеем в виду, взаимодействуя с этим потоком. Это сложное положение ещё более осложняется тем, что валентность "предметов", как только они заданы в качестве предметов, по-прежнему может изменяться при изменении целей, которые мы преследуем, потому что "облегчители" в одной обстановке легко могут стать препятствиями – или чем-то не имеющим отношения к делу – в другой. В заключение следует сказать, что многие явления, которые в данное время и в данном месте "могли бы" проявиться как предметы не проявятся как таковые, потому что они очевидно не относятся к делу, которое связано с текущими задачами, и остаются невидимыми.

¹³³ Luria A. R. (1980).

¹³⁴ Granit R. (1977).

¹³⁵ Agnew N. M. & Brown J. L. (1990).

¹³⁶ Holloway R. L. & Post D. G. (1982).

¹³⁷ Jerison H. J. (1979).

¹³⁸ Ridgeway S. H. (1986).

¹³⁹ Lilly J. C. (1967).

¹⁴⁰ Penfield W. & Rasmussen T. (1950).

¹⁴¹ Brown R. (1986).

¹⁴² Garey L. J. & Revishchin A. V. (1990).

¹⁴³ Granit R. (1977).

¹⁴⁴ Granit R. (1977).

¹⁴⁵ Wise R. A. & Bozart M. A. (1987).

¹⁴⁶ Granit R. (1977).

¹⁴⁷ Oatley K. (1994).

¹⁴⁸ Для обзора данных, поддерживающих это, см. Tucker D. M. & Williamson P. A. (1984); Davidson R. J. (1984a); Davidson R. J. (1984b); Davidson R. J. (1992); Goldberg E., Podell K. & Lovell H. (1994); Goldberg E. (1995); Goldberg E. & Costa L. D. (1981); для какого-либо указания на то, почему две различные системы могут в действительности быть необходимы, см. Grossberg S. (1987).

¹⁴⁹ Fox N. A. & Davidson R. J. (1986); Fox N. A. & Davidson R. J. (1988).

¹⁵⁰ Maier N. R. F. & Schnierla T. C. (1935).

¹⁵¹ Schnierla T. C. (1959).

¹⁵² См. обзор в работе Springer S. P. & Deutsch G. (1989).

¹⁵³ Goldberg E. (1995); Goldberg E. & Costa L. D. (1981); Goldberg E., Podell K. & Lovell H. (1994).

¹⁵⁴ Springer S. P. & Deutsch G. (1989).

¹⁵⁵ Fox N. A. & Davidson R. J. (1986); Fox N. A. & Davidson R. J. (1988).

¹⁵⁶ Goldberg E. & Costa L. D. (1981).

¹⁵⁷ Goldberg E. (1995).

¹⁵⁸ Donald M. (1993).

¹⁵⁹ "...мы полагаем, что внутренние и внешние состояния, которые представляют собой отклик на раздражитель тождественны с «оценкой» этого раздражителя" [Kling A. S. & Brothers L. A. (1992), p. 372]; "эмоция есть ни больше ни меньше как слияние и объединение чувственной информации в отдельных модальностях, в сочетании с непосредственным совместным возбуждением телесных эффекторных систем (двигательных, автономных и эндокринных" [p. 371]; "...взаимные связи между ядрами миндалины и гиппокамповой формацией могут служить тому, чтобы связать образцы эмоциональных реакций с кодированием восприятий в памяти, предоставляя таким образом быстрый доступ к соответствующим мотивационным состояниям, в случаях, когда со сложной общественной обстановкой или отдельными личностями сталкиваются повторно" [p. 356].

¹⁶⁰ Vitz P. C. (1990).

¹⁶¹ Vitz P. C. (1990).

¹⁶² Vitz P. C. (1990).

¹⁶³ Ryle G. (1949).

¹⁶⁴ Milner B. (1972); Zola-Morgan S., Squire L. R. & Amaral D. G. (1986); Teylor T. G. & Discenna P. (1985); Teylor T. G. & Discenna P. (1986).

¹⁶⁵ Squire L. R. & Zola-Morgan S. (1990).

¹⁶⁶ Squire L. R. & Zola-Morgan S. (1990).

¹⁶⁷ Сквайр и Золя-Морган утверждают:

"Термин повествовательный, который мы использовали, охватывает понятие, что один из видов памяти может быть высказан; его можно вспомнить в явном

виде, как предложение или образ. Способность к повествовательной памяти может быть относительно недавним подвигом эволюции, рано появляющимся у позвоночных с развитием гиппокампа, и эта способность может запаздывать онтогенетически. Напротив, процедурное знание может быть выражено только через посредство действия, а содержание этого знания не доступно сознанию. Процедурное знание считается филогенетически первобытным и онтогенетически ранним... Мы согласны с Тульвингом и его коллегами, что различие между случайным и семантическим, которое может рассказать нечто интересное об устройстве обычной памяти, является подмножеством повествовательной (высказывательной) памяти". Squire L. R. & Zola-Morgan S. (1990), p. 138.

Моё предположение таково, что история – это семантическое представление эпизодических представлений итогов действия процедурной системы: словесное описание образа поведения (и последствий этого поведения).

¹⁶⁸ Schachter D. L. (1994).

¹⁶⁹ Kagan J. (1984).

¹⁷⁰ Piaget J. (1962), p. 3.

¹⁷¹ Piaget J. (1962), p. 5.

¹⁷² Piaget J. (1962), p. 5.

¹⁷³ Piaget J. (1962), p.

¹⁷⁴ Adler A. (1958); Vaihinger H. (1924).

¹⁷⁵ Oatley K. (1994).

¹⁷⁶ Donald M. (1993).

¹⁷⁷ Мысль – это (отчасти) отвлечённое действие, последствия которого можно проанализировать в отвлечённом воображении. Расстояние между мыслью и действием расширилось в ходе развития недавней истории. Люди средних веков, не привыкшие к риторической речи, легко охватывались эмоциями или вдохновлялись на действие страстными словами [см. Huizinga J. (1967)]. В современном мире, затопленном бессмысленной речью, слова, при обычных условиях, утратили многое из своей непосредственной процедурной силы. Однако музыка всё ещё подсознательно вызывает движение, танец или, по крайней мере, понуждение отбивать такт. Даже шимпанзе, по-видимому, способны становиться одержимыми простыми ритмами [см. Campbell J. (1987), pp. 358 – 359]. Кроме того, современные люди по-прежнему легко увлекаются и возбуждаются драмой, подобной тем, которые изображаются в кинокартинах, – во многом, как "первобытные", захваченные ритуалом, – и легко могут самозабвенно погружаться в наслаждение, в ведение себя так, "как будто" драма происходит на самом деле. При отсутствии такого вполне осмысленного захвата драма теряет свой интерес. Риторика – призыв к действию – по-прежнему также господствует в рекламе, с очевидными последствиями.

- ¹⁷⁸ "Осмысленная драма" – или осмысленная информация сама по себе – обладает этой особенностью, так как она вызывает эмоции, служащие признаком происшествия за пределами предсказуемости, и предполагает нечто относительно изменения поведения. Явления, обладающие смыслом, происходят, когда информация может быть перенесена с одного "уровня" памяти на другой или на все другие.
- ¹⁷⁹ Piaget J. (1932).
- ¹⁸⁰ Piaget J. (1962).
- ¹⁸¹ Nietzsche F. (1968a), p. 98. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), стр. 307. – **Примечание переводчика.**)
- ¹⁸² Nietzsche F. (1968a), p. 217. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), сс. 255 – 256. – **Примечание переводчика.**)
- ¹⁸³ Nietzsche F. (1968a), p. 203. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), стр. 244. – **Примечание переводчика.**)
- ¹⁸⁴ Wittgenstein L. (1968).
- ¹⁸⁵ Eliade M. (1978b).
- ¹⁸⁶ Wittgenstein L. (1968), p. 16e.
- ¹⁸⁷ Аналогичное понятие "иерархии целей" было представлено в работе Carver C. S. & Scheier M. F. (1982).
- ¹⁸⁸ Eysenck H. J. (1995).
- ¹⁸⁹ Shallice T. (1982).
- ¹⁹⁰ Milner B., Petrides M. & Smith M. L. (1985).
- ¹⁹¹ Petrides M. & Milner B. (1982).
- ¹⁹² Milner B. (1963).
- ¹⁹³ "И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака" (Бытие, 28 : 12 – 13).
- ¹⁹⁴ Frye N. (1990), pp. 220 – 223.
- ¹⁹⁵ Eliade M. (1957), pp. 107 – 108.
- ¹⁹⁶ Brown R. (1965), p. 476.
- ¹⁹⁷ Brown R. (1965), p. 478.
- ¹⁹⁸ Goethe J. W. (1976). (Русский перевод Б. Пастернака трагедии И. В. Гёте "Фауст" приводится по изданию (ГФ), стр. 235 – **Примечание переводчика.**)
- ¹⁹⁹ Frazier J. G. (1994).
- ²⁰⁰ Brown R. (1986), p. 470.

- ²⁰¹ Lakoff G. (1987), pp. 12 – 13.
- ²⁰² Brown R. (1965), p. 321.
- ²⁰³ Wittgenstein L. (1968), pp. 66 – 71.
- ²⁰⁴ См. Armstrong S. L., Gleitman L. R. & Gleitman H. (1983).
- ²⁰⁵ Eliade M. (1978b), pp. 57 – 58.
- ²⁰⁶ Heidel A. (1965).
- ²⁰⁷ Eliade M. (1978b).
- ²⁰⁸ Богословский и философский термин. Термин, который использовали греческие философы (особенно эллинистические и неоплатоники) в определённых метафизических и богословских приложениях, разработанных из одного или обоих его обычных смыслов "разум" и "слово"; принят также в трёх местах Иоанновых писаний Нового завета (где английские версии переводят его как "Слово") в качестве обозначения Иисуса Христа; с тех пор использовался христианскими богословами, особенно теми, кто был сведущ в греческой философии, как название второго лица Троицы. Современные писатели используют это греческое слово без перевода в исторических изложениях древних философских теорий и в обсуждениях учения о Троице с его философской стороны. **Oxford English Dictionary: CD-ROM for Windows.** (1994).
- ²⁰⁹ Eliade M. (1978b); Jung C. G. (1967b).
- ²¹⁰ Shakespeare W., (1952). (Русский перевод Т. Щепкиной-Куперник цитаты из пьесы Уильяма Шекспира "Как вам это понравится" (акт II, сцена 7) приведён по изданию (УШЗ), стр. 47. – **Примечание переводчика.**)
- ²¹¹ Neumann E. (1955); Neumann E. (1954); Jung C. G. (1976b); Jung C. G. (1967b); Jung C. G. (1968b); Jung C. G. (1967a); Eliade M. (1978b).
- ²¹² Neumann E. (1955); Neumann E. (1954); Jung C. G. (1976b); Jung C. G. (1967b); Jung C. G. (1968b); Jung C. G. (1967a); Eliade M. (1978b).
- ²¹³ Neumann E. (1955); Neumann E. (1954); Jung C. G. (1976b); Jung C. G. (1967b); Jung C. G. (1968b); Jung C. G. (1967a); Eliade M. (1978b).
- ²¹⁴ Brown R. (1986).
- ²¹⁵ Brown R. (1986); Rosch E., Mervis C. B., Gray W., Johnson D. & Boyes-Braem P. (1976); Lakoff G. (1987).
- ²¹⁶ Lao Tzu (1984a).
- ²¹⁷ **Vierge Ouvrante** (Дева Открывающаяся) воспроизведена как вклейка 177 в работе Neumann E. (1955).
- ²¹⁸ Eliade M. (1978b), pp. 88 – 89.
- ²¹⁹ См. Frye N. (1990).
- ²²⁰ Heidel A. (1965).
- ²²¹ Frye N. (1982), p. 146.
- ²²² Frye N. (1990).

- ²²³ Таблица 1 : 4; Heidel A. (1965), p. 18.
- ²²⁴ Таблица 1 : 7 – 8; Heidel A. (1965), p. 18.
- ²²⁵ Таблица 1 : 16 – 20; Heidel A. (1965), p. 18.
- ²²⁶ Таблица 1 : 16 – 20; Heidel A. (1965), p. 18.
- ²²⁷ Эа в тексте первоисточника известен также как **Нудиммуд**. Я использовал здесь одно имя ради простоты.
- ²²⁸ Таблица 1 : 17; Heidel A. (1965), p. 18.
- ²²⁹ Таблица 1 : 18 – 19; Heidel A. (1965), p. 18.
- ²³⁰ Таблица 1 : 20; Heidel A. (1965), p. 18.
- ²³¹ Таблица 1 : 23; Heidel A. (1965), p. 19.
- ²³² Таблица 1 : 80; Heidel A. (1965), p. 21.
- ²³³ Таблица 1 : 86; Heidel A. (1965), p. 21.
- ²³⁴ Таблица 1 : 90 – 102; Heidel A. (1965), p. 21 – 22.
- ²³⁵ Таблица 1 : 133 – 138; Heidel A. (1965), p. 23.
- ²³⁶ Таблица 1 : 156; Heidel A. (1965), p. 24.
- ²³⁷ Таблица 2 : 1 – 10; Heidel A. (1965), p. 25.
- ²³⁸ Таблица 2 : 96 – 129; Heidel A. (1965), p. 29 – 30.
- ²³⁹ Таблица 2 : 96 – 129; Heidel A. (1965), p. 29 – 30.
- ²⁴⁰ Jakobsen T. (1943).
- ²⁴¹ Heidel A. (1965), p. 29 – 30.
- ²⁴² Таблица 3 : 16 – 66; Heidel A. (1965), pp. 30 – 33.
- ²⁴³ Таблица 3 : 131 – 138, 4 : 1 – 10; Heidel A. (1965), pp. 35 – 36.
- ²⁴⁴ Согласно Campbell J. (1964), p.82.
- ²⁴⁵ Согласно Campbell J. (1964), p.82.
- ²⁴⁶ Таблица 4 : 27 – 34; Heidel A. (1965), pp. 37 – 38.
- ²⁴⁷ Таблица 4 : 87 – 94; Heidel A. (1965), p. 40.
- ²⁴⁸ Таблица 4 : 129 – 144; Heidel A. (1965), pp. 42 – 43.
- ²⁴⁹ Роль Яхве в творении рассматривается подобным же образом в отношении Раава, или Левиафана, – змея, из которого был создан мир. Исайя заявляет, например: "Восстань, восстань, облекись крепостию, мышца Господня! Восстань, как в дни древние, в роды давние! Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила?" (Исайя, 51 : 9). Псалом 73 содержит несколько сравнимых отрывков: "Ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссёк источник и поток, Ты иссушил сильные реки. Твой день и Твоя ночь; Ты уготовал светила и солнце; Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил". (Псалтирь, 73 : 14 – 17).
- ²⁵⁰ Таблица 6 : 8; Heidel A. (1965), p. 46.

- ²⁵¹ Таблица 6 : 49 – 51; Heidel A. (1965), p. 48.
- ²⁵² Eliade M. (1978b), pp. 73 – 74.
- ²⁵³ Eliade M. (1978b), pp. 74 – 76.
- ²⁵⁴ Таблица 6 : 151; Heidel A. (1965), p. 52.
- ²⁵⁵ Таблица 6 : 152 – 153; Heidel A. (1965), p. 53.
- ²⁵⁶ Таблица 6 : 155 – 156; Heidel A. (1965), p. 53.
- ²⁵⁷ Таблица 7 : 1 – 2; Heidel A. (1965), p. 53.
- ²⁵⁸ Таблица 7 : 21; Heidel A. (1965), p. 54.
- ²⁵⁹ Таблица 7 : 30; Heidel A. (1965), p. 55.
- ²⁶⁰ Таблица 7 : 39; Heidel A. (1965), p. 55.
- ²⁶¹ Таблица 7 : 81; Heidel A. (1965), p. 57.
- ²⁶² Таблица 7 : 112, 115; Heidel A. (1965), p. 58.
- ²⁶³ Eliade M. (1978b), p. 89.
- ²⁶⁴ В работе Pritchard J. B. (1955), p. 4.
- ²⁶⁵ Eliade M. (1978b), pp. 89 – 90.
- ²⁶⁶ Eliade M. (1978b), p. 91.
- ²⁶⁷ Eliade M. (1978b), pp. 91 – 92. Представляет дополнительный интерес отметить, что египтяне запрещали иностранцам входить в их святилища, которые были "микрокосмическими образами их страны"; коренные египтяне были единственными "законными обитателями" Египта, "первой образовавшейся страны" и "центра мира". Иностранцы приносят беспорядок [Eliade M. (1978b), p. 90].
- ²⁶⁸ Элиаде замечает: "Когда Гор спускается в потусторонний мир и воскрешает Осириса, он сообщает ему силу «знания». Осирис был «лёгкой добычей», потому что он «не знал», не обладал знанием подлинной природы Сета..." [Eliade M. (1978b), p. 100, подстрочное примечание 41]. История Осириса отчасти является притчей об опасностях, связанных с неспособностью распознать зло.
- ²⁶⁹ Eliade M. (1978b), p. 100.
- ²⁷⁰ Анаксимандр милетский (611 – 546 гг. до н. э.).
- ²⁷¹ Уильям Джеймс в муках опьянения веселящим газом. Цитируется в Tymoczko D. (1996, May), p. 100.
- ²⁷² Эти мифы выражают то обстоятельство, что неизвестное склонно проявляться сначала в ужасающем виде.
- ²⁷³ Eliade M. (1978b), p. 100.
- ²⁷⁴ Получено из аллегорического рисунка "Самопожирающий дракон" в трудах Ламбспринга, воспроизведённого как вклейка LIXa в работе Jung C. G. (1967a).
- ²⁷⁵ Neumann E. (1954), pp. 10 – 11.
- ²⁷⁶ Eliade M. (1978b), p. 145.

- ²⁷⁷ Evans P. I. (1973). См. также примечание 593.
- ²⁷⁸ Cornford F. M. (1956).
- ²⁷⁹ Wilhelm R. (1971), pp. liv – lvii.
- ²⁸⁰ Wilhelm R. (1971), pp. liv – lvii.
- ²⁸¹ Eliade M. (1957), p. 29.
- ²⁸² "Борьба Индры служила образцом для борьбы, которую арии должны были вести против дасью (иначе называвшихся вртаны: «Тот, кто победил в битве, действительно убивает Вритру» (**Майтрайяна-Самхита** II 1.3)". Eliade M. (1978b), p. 207.
- ²⁸³ Eliade M. (1978b), p. 104, подстрочное примечание 48.
- ²⁸⁴ Eliade M. (1978b), p. 320. Элиаде также указывает, что имя Фаридун происходит от Траэтона (Траэтона > Фритон > Фаридун) и утверждает: "В Иране, как и в других местах, процесс историзации мифических тем и действующих лиц уравнивается противоположным процессом: действительные противники нации или царства представляются как чудовища и, особенно, как драконы".
- ²⁸⁵ Eliade M. (1957), p. 29 – 32.
- ²⁸⁶ Stevenson S. M. (1920), p. 354.
- ²⁸⁷ Eliade M. (1991b), p. 19.
- ²⁸⁸ Neumann E. (1955). (Вклейка перед частью II.)
- ²⁸⁹ Whitehead A. N. (1958), p. xx.
- ²⁹⁰ Otto R. (1958).
- ²⁹¹ Otto R. (1958), pp. 12 – 13.
- ²⁹² Jung C. G. (1971), p. 477.
- ²⁹³ Имеются хорошие основания в пользу действительной независимости личностей в человеческом воображении [в эпизодической и процедурной системах памяти] и неопровержимое доказательство использования метафорической личности в ритуале, искусстве и литературе. Есть много форм нормального жизненного опыта, которые предполагают явное участие "чуждых" личностей или частичных личностей. Они включают сны, в которых действующие лица появляются внутри сна в известном и в неизвестном нам облике и следуют тому, что, очевидно, является их собственными внутренними и зачастую непостижимыми законами поведения [см. работу Jung C. G. (1968b) для анализа обширного ряда снов, как оказывается, принадлежащих физику Вольфгангу Паули].
- Настроения, выходящие на сцену сознания, влияют на восприятие, память, познание и поведение, вызывая ошеломляющие вспышки печали и гнева со стороны лица, на которое оказывается такое влияние (Юнг отождествлял "аниму", архетип женственного, с настроением [см. Jung C. G. (1968a), p. 70]). "Деятельное воображение" [см. Jung C. G. (1968a), p. 190], процесс, который можно было бы сравнить с намеренным мечтанием – с настроением в качестве центра, – может

порождать образы и фантазии, связанные с этим настроением. Участие в этом процессе помогает пролить свет на устройство "личностей", связанных с данными состояниями эмоционального приступа.

В состояниях необыкновенного напряжения и психопатологического или неврологического расстройства воздействие чуждых личностей легко наблюдаемо. Личности, страдающие синдромом Туретта, кажутся "одержимыми" (за недостатком лучшего описания) сложным духом, чья личность сверхъестественно соответствует личности Плута северо-американских индейцев [см. Sacks O. (1987); Jung C. G. (1968a), pp. 255 – 274].

Шизофреническое расстройство включает несомненное участие многих разъятых на куски личностей, которые появляются в виде голосов и побуждений, "чуждых" духу душевнобольного, подвергнутому нападению [см. Jung C. G. (1967a); Romme M. A. & Escher A. D. (1989)]. Физиолог и исследователь шизофрении Доути утверждает:

"Среди наиболее широко признанных диагностических критериев находятся симптомы «первого ранга», установленные Куртом Шнейдером. Просуммированные Крау и Джонстоном, они таковы: «(1) человек слышит, как его мысли произносятся вслух внутри его головы; (2) человек слышит спорящие голоса; (3) человек слышит голоса, которые делают замечания по поводу того, что он делает; (4) переживания телесного влияния (то, что на телесные отправления действует внешняя сила); (5) переживания того, что твои мысли изымаются из твоей головы или помещаются в неё; (6) рассеивание мыслей или переживание того, что твои мысли передаются другим, как по радио; (7) обманчивое восприятие (приписывание особого значения отдельному восприятию) и (8) ощущения или желания, переживаемые как навязанные больному другими». Этот список шизофренических симптомов первого ранга является в данной связи необыкновенно впечатляющим, ибо – как пронизательно выражает это Насралла – все они могут быть сведены к основной мысли, «что в шизофреническом мозгу необъединённое сознание правого полушария может стать 'чуждым захватчиком' на словесно выразительном левом полушарии». Иными словами, они являются прообразами того, что можно было бы ожидать, если бы связь между полушариями была искажена так, что левое полушарие больше не могло распознать источник деятельности в правом полушарии как принадлежащий объединённому сознанию личности" [Doty R. W. (1989), p. 3].

Клегхорн сообщил, что шизофреники, испытывающие слуховые галлюцинации, отличались повышенным содержанием глюкозы в областях правого полушария, соответствующих языковым областям левого полушария [Cleghorn J. M. (1988)]. Доути предполагает, что эти структуры правого полушария, возможно, были освобождены от подкрепляющего торможения преобладающим языковым центром левого полушария в ходе шизофренического расстройства [Doty R. W. (1989)].

Расстройство множественных личностей, исторически совершающее круговорот состояние [см. Ellenberger H. F. (1970)], возникает, когда "личности" и их представления, внешние по отношению к главной личности, появляются без

объединения памяти, часто у тех людей с разобщающими склонностями, которых сурово и произвольно наказывали в ранней жизни.

Расстройство принудительной одержимости доводит свои жертвы до того, что над ними полностью господствуют предмет опыта или мысль, вызывающие образцы поведения и познания, чуждые тем, кто от них страдает (и тем, кто с ними связан) [Rapoport J. (1989)].

Шаманские и религиозные ритуалы, первобытные обряды посвящения и психоактивные химические препараты вызывают сложные физиологические изменения внутри отдельного мозга, возбуждая эмоционально основанные комплексы, которые иначе не могли бы достичь сознания, вызывая недостижимые иным образом понимание и эмоции, с часто разительными последствиями. (Представляет интерес отметить в этом отношении некоторые особенности воздействия ЛСД и других наркотиков [см. Doty R. W. (1989)].)

Эпилептические припадки, часто сопровождаемые странными изменениями в восприятии, а также эмоциональными и познавательными изменениями, пробегают всю гамму от внушающих благоговейный трепет и святых до бесовских и приводящих в ужас [см. Ervin F. & Smith M. (1986)]. Обсуждение, представленное в этой главе, особенно интересно, поскольку оно описывает болезненные изменения не систематического познания, а **значения**. Эрвин описывает случаи, когда страдающие падучей болезнью, отказывались от лечения с помощью лекарств, подвергая опасности своё физиологическое и душевное здоровье, потому что они были несклонны отказаться от "ауры" – состояния изменённого переживания, предшествующего **самому** припадку. Эта "аура" может иметь нечто общее с откровением – может, например, вызывать, по-видимому, глубокое субъективное понимание "глубочайшего смысла вселенной" (хотя она чаще всего связана с чрезвычайным ужасом). Прежде чем наклеивать на такие состояния ярлык болезненных, непременно обманчивых, следовало бы вспомнить, что Достоевский был эпилептиком, изменённым и, возможно, углублённым в психологическом понимании процессами своей болезни. Такие припадки могут также вызывать неистовые взрывы, полностью отделённые от обычного поведения личности [см. Mark V. H. & Ervin F. R. (1970)].

²⁹⁴ См. Jung C. G. (1967b).

²⁹⁵ В отношении возможной четырёхмерной структуры системы человеческой памяти см. Teylor T. J. & Discenna P. (1986).

²⁹⁶ См. Russell J. B. (1986).

²⁹⁷ Юнг утверждает: "...все нуминозные содержания... имеют склонность к самораспространению, то есть формируют ядро для агрегации синонимов" [Jung C. G. (1976b), p. 458]. (Русский перевод цитаты приводится по изданию (ТВ), стр. 437. – **Примечание переводчика.**)

Содержания памяти с той же самой эмоциональной валентностью имеют склонность группироваться. Это явление уже давно было признано в случае депрессии. Люди в состоянии депрессии отличаются пристрастием к восприятию, воспоминанию и представлению наказаний: разочарования, расстройства (отсутствия ожидаемых вознаграждений), одиночества и боли [см. Beck A. (1979)].

²⁹⁸ См. Gall J. (1988).

²⁹⁹ Этот рисунок получен из росписи подноса "Торжество Венеры", воспроизведённого как вклейка 62 в книге Neumann E. (1955).

³⁰⁰ **Vesica pisces** – это очень сложный символ, связанный с рыбой, которая является (обитающей в воде) змеей, фаллосом и утробой одновременно. См. Johnson B. (1988), в особенности часть девятую.

³⁰¹ Eliade M. (1982), pp. 20 – 21.

³⁰² Eliade M. (1982), p. 21. (Русский перевод цитаты приводится по изданию (ЛД), стр. 373. – **Примечание переводчика.**)

³⁰³ Neumann E. (1955), pp. 31 – 32.

³⁰⁴ Это классическое фрейдовское положение дел разумно и точно изображено в кинофильме "Crumb" [Zwigoff T. (1995)].

³⁰⁵ Shelton G. (1980), p. 45.

³⁰⁶ Neumann E. (1955), pp. 12 – 13.

³⁰⁷ Моё понимание таково, что эта последовательность не была доказана и что "патриархальные" божества находятся скорее во вторичном "психологическом", чем историческом отношении к матриархальным божествам (как "нечто, происходящее из утробы"). Кроме того, как мы уже обсуждали, "неизвестное" также можно рассматривать как "происходящее" из "известного" (как "то, что определено в противопоставлении известному"). Для целей настоящего исследования, однако, точное временное или историческое отношение одного из различных божеств к другому имеет второстепенное значение, в сравнении с фактом и значением их существования как вечных "категорий" воображения.

³⁰⁸ Neumann E. (1955), pp. 153 – 157.

³⁰⁹ См. Bowlby J. (1969). Bowlby исследовал любопытный факт, состоящий в том, что значительная часть осиротевших или иным образом изолированных младенцев, снабжённых достаточным питанием, основным физическим уходом и приютом, тем не менее, "не процветали", а умирали. Самые недавние исследования были посвящены изучению процессов, лежащих в основе общественной привязанности вообще и, в частности, материнской привязанности, и сосредоточивались отчасти на роли успокаивающей системы, которая также вовлечена в управление реакцией на боль, расстройство и разочарование, вообще говоря, на наказание (обзор содержится в работе Pihl R. O. & Peterson J. B. (1992)).

³¹⁰ Neumann E. (1955), pp. 149 – 150.

³¹¹ См. Neumann E. (1955).

³¹² **Кали, Пожирательница**, воспроизведена как вклейка 66 в книге Neumann E. (1955).

³¹³ Из MacRae G. W. (Перев.) (1988), p. 297.

³¹⁴ Подобное – и разъясняющее – объединение источника с отношением отличает также выражения Христа, которые он употребляет, говоря о самом себе.

Он должен рассматриваться и как образец субъективной позиции ["Я есмь путь, и истина, и жизнь" (Иоанн, 14 : 6)], но также и как источник "воды жизни" ["Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой" (Иоанн, 7 : 37 – 38)].

³¹⁵ Я обязан мистеру Майку Мак-Гарри за то, что он привлёк моё внимание к этим отрывкам.

³¹⁶ "Диана Эфесская" [вклейка 35 в книге Neumann E. (1955)].

³¹⁷ См. Neumann E. (1955).

³¹⁸ См., например, "Венер" из Виллендорфа, Ментоны и Леспайна [изображённых на вклейке 1 в книге Neumann E. (1955)].

³¹⁹ Neumann E. (1955), p. 39.

³²⁰ См. McGlynn F. D. & Cornell C. C. (1985); Chambles D. L. (1985).

³²¹ Foa E. B., Molnar C. & Cashman L. (1995); Pennebaker J. B. (1997); Pennebaker J., Mayne T. J. & Francis M. E. (1997).

³²² Koestler A. (1976).

³²³ На самом деле Дурга – это благожелательный двойник Кали.

³²⁴ Zimmer H. (1982), pp. 74 – 75.

³²⁵ Rychlak J. F. (1981), p. 767.

³²⁶ См. Neumann E. (1955); Neumann E. (1954).

³²⁷ Извлечено неизвестно откуда.

³²⁸ Замок происходит от **temenos** (храмового участка) в книге Maier'a **Viatorium** (1651) [вклейка 31 в книге Jung C. G. (1968b)]; св. Георгий извлечён из книги Ripa C. **Virtue** (1630) [Didi-Huberman G., Garbetta R. & Morgaine M. (1994), p. 50]

³²⁹ Это краткое описание есть сводка (изоморфных) сведений, содержащихся в произведениях Карла Юнга (в особенности в книге Jung C. G. (1967a)); Джозефа Кемпбелла (в особенности в книгах Campbell J. (1987) и Campbell J. (1968)); Нортропа Фрая (в особенности в книгах Frye N. (1982) и Frye N. (1990)) и Эриха Неймана (в особенности в книгах Neumann E. (1954) и Neumann E. (1955)).

³³⁰ Дж. Беллини (XV столетие) "Св. Георгий, сражающийся с драконом". В книге Didi-Huberman G., Garbetta R. & Morgaine M. (1994), p. 102. Эта книга предоставляет десятки представительных примеров.

³³¹ Didi-Huberman G., Garbetta R. & Morgaine M. (1994), pp. 53, 59, 64, 65, 67, 69, 74, 77, 81.

³³² Neumann E. (1954), pp. 160 – 161.

³³³ Neumann E. (1954; 1955); Jung C. G. (1976b; 1967b; 1968b; 1967a); Eliade M. (1978b).

³³⁴ Jung C. G. (1970a).

³³⁵ См. Eliade M. (1978b), p. 147.

³³⁶ Eliade M. (1978b), pp. 145 – 146.

³³⁷ См. раздел 2.3.2. "Энума элиш": всеобъемлющий образец повествовательного распределения по категориям.

³³⁸ Eliade M. (1978b), pp. 147 – 149.

³³⁹ Binswanger L. (1963), pp. 152 – 153.

³⁴⁰ См. Eliade M. (1978b), pp. 114 – 125.

³⁴¹ Eliade M. (1978b), p. 123.

³⁴² Eliade M. (1978b), p. 124.

³⁴³ Eliade M. (1965), p. xi.

³⁴⁴ Borski L. M. & Miller K. B. (1956).

³⁴⁵ Eliade M. (1991a).

³⁴⁶ L'Engle M. (1997), p. 136.

³⁴⁷ L'Engle M. (1997), p. 142.

³⁴⁸ Lucas B. V., Crane L. & Edwards M. (1945), pp. 171 – 178.

³⁴⁹ Это образы рая.

³⁵⁰ Фрай утверждает, придерживаясь этой темы:

"...есть одна тема, которая часто повторяется в ранних книгах Библии – обход при наследовании старшего сына, который обычно обладал законным правом первородства, в пользу младшего сына. Первенец Адама Каин послан в изгнание, а прямая линия потомков Адама идёт от Сифа. Не говорится, что Хам, отвергнутый сын Ноя, был его старшим сыном, но в отношении его повторяется тот же образ действий. Аврааму приказывается отвергнуть своего сына Измаила, потому что у него должен родиться младший сын (Исаак). Старший сын Исаака Исав утрачивает своё право первородства из-за неких скорее сомнительных интриг со стороны Иакова, некоторые из них были поддержаны его матерью. Старший сын Иакова Рувим теряет свои права наследования по причине, приведённой в книге Бытия (Бытие, 49 : 4). Младший сын Иосифа Ефрем получает превосходство перед старшим Манассией. Та же самая тема, хотя и не изменённая существенно, продолжается в истории основания монархии, где первый избранный царь Саул отвергнут, а его потомство обойдено в пользу Давида, который фактически был им усыновлён (1-я Царств, 18 : 2). В более поздней литературе эта тема возводится к гораздо более раннему времени: если мы заглянем, например, в пятую книгу "Потерянного Рая", мы увидим прообраз ревности старшего сына, Люцифера или Сатаны, при виде предпочтения, оказываемого младшему, Христу" [Frye N. (1982), pp. 180 – 181].

³⁵¹ Frye N. (1982).

³⁵² Изображение Бога заимствовано из безымянного итальянского рисунка XV столетия, который содержится в книге Didi-Huberman G., Garbetta R. & Morgaine M. (1994), p. 65.

³⁵³ Заимствовано из раздела **Figurea et emblemata** в книге Ламбспрингга **Musaeum hermeticum** (1678) [вклейка 179 в книге Yung C. G. (1968b)].

³⁵⁴ Smith H. (1991), pp. 289 – 290.

³⁵⁵ Smith H. (1991), p. 292.

³⁵⁶ Есть некоторые данные, свидетельствующие о том, что в наши дни даже сами мечтающие стать тиранами начинают это понимать. Многие из "переходов к демократии", типичных для последних тридцати лет, были добровольной передачей власти со стороны "сильных людей" из числа военных, не могущих поверить в справедливость своей собственной "силы". См. Fukuyama F. (1993).

³⁵⁷ Заимствовано из раздела **Figurea et emblemata** в книге Ламбспрингга **Musaeum hermeticum** (1678) [вклейка 168 в книге Yung C. G. (1968b)].

³⁵⁸ Изображение "беременного отца" заимствовано из раздела **Tabula smaragdina** в книге Maier'a **Scrutinium chymicum** (1687) [вклейка 210 в книге Yung C. G. (1968b)].

³⁵⁹ Jung C. G. (1968b), p. 86.

³⁶⁰ Morley J. (1923), p. 127.

³⁶¹ Nietzsche F. (1966), pp. 100 – 102. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), сс. 308 – 310. – **Примечание переводчика.**)

³⁶² Field T. M., Schanberg S. M., Scafidi F., Bauer C. R., Vega-Lahr N., Garcia R., Nystrom J. & Kuhn C. M. (1986).

³⁶³ Polan H. J. & Ward M. J. (1994); Berkowitz C. D. & Senter S. A. (1987); см. также примечание 309.

³⁶⁴ Hyde J. S. (1984); Saner H. & Ellickson P. (1996).

³⁶⁵ См. Eliade M. (1965).

³⁶⁶ Это что-то родственное понятию анимуса у Юнга. См. Jung C. G. (1968a).

³⁶⁷ Eliade M. (1965).

³⁶⁸ См. Neumann E. (1955), p. 61.

³⁶⁹ См. Neumann E. (1955), в особенности главу 15.

³⁷⁰ Eliade M. (1965), pp. xii – xiv.

³⁷¹ Есть, например, данные, свидетельствующие о том, что династические культуры Древнего Египта существовали в фактически неизменном виде в течение промежутка времени в пятнадцать столетий (после пятой династии, 2500 – 2300 гг. до н. э.). Eliade M. (1978b), p. 86.

³⁷² В этом состоит мифологическая тема романа Достоевского "Преступление и наказание". Главный герой Достоевского Раскольников, "революционный" социалист, несколько в духе сверхчеловека Ницше ставит себя выше Бога и решает совершить преступление (убийство), которое он тщательно и искусно оправдывает, прибегая к избавленной от мифов разумности. Преступление

удаётся, но Раскольников не может выносить его бремени и признаётся вследствие внутридушевного принуждения (и при отсутствии объективной необходимости). Вследствие этого он может вновь обрести (защитное) сознание своего единства с обычным обществом.

Эта тема в недавние годы вновь была поднята большим поклонником русской литературы Вуди Алленом в его фильме "Преступления и проступки" (1989). Главный герой Аллена, уважаемый врач, убивает свою любовницу, чтобы помешать ей нарушить (ложную) безопасность его семьи. Однако, в отличие от Раскольникова, "хороший" врач не страдает от долговременной душевной травмы, и в течение года "всё возвращается к обычному положению". Безмятежный на поверхности фильм более ужасающ, чем вымученная книга Достоевского. В последней, в противоположность самонадеянной разумности, властвует нравственный порядок, основанный на уважении к внутренней ценности личности. В первом разумная бессмысленность преобладает совершенно, хотя она остаётся тонко прикрытой городской любезностью и притворством.

³⁷³ Nietzsche F. (1968a), p. 217. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), сс. 255 – 256. – **Примечание переводчика.**)

³⁷⁴ Таблица 6 : 152 – 153; Heidel A. (1965), p. 53. См. примечание 255.

³⁷⁵ Wittgenstein L. (1958), p. 50.

³⁷⁶ Kuhn T. (1970), p. viii.

³⁷⁷ Взято из книги Hofstadter D. R. (1979), p. 89.

³⁷⁸ Polyani M. (1958).

³⁷⁹ Kuhn T. (1970), p. 44.

³⁸⁰ Nietzsche F. (1968a), p. 213, section 16. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), сс. 252 – 253. – **Примечание переводчика.**)

³⁸¹ Frye N. (1990), pp. 42 – 44.

³⁸² Frye N. (1990), pp. 103 – 104.

³⁸³ Для впечатляющего изображения этого положения дел см. работу Peake M. (1995).

³⁸⁴ Bruner J. S. & Postman L. (1949).

³⁸⁵ Kuhn T. (1970), pp. 62 – 64.

³⁸⁶ Для тщательно разработанного описания см. работы Jung C. G. (1967a); Neumann E. (1954). Юнг утверждает: "Цель нисхождения как повсеместно представленного в мифе о герое – показать, что только в области, где можно столкнуться с опасностью (в водяной бездне, пещере, лесу, на острове, в замке и т. д.), можно найти «сокровище, которого трудно достичь» (драгоценный камень, девушку, напиток жизни, победу над смертью)". Jung C. G. (1968b), p. 335.

³⁸⁷ Ницше утверждает: "Неисторическое подобно окутывающей атмосфере, в которой жизнь создаётся лишь с тем, чтобы исчезнуть вновь с исчезновением этой

атмосферы. Правда, только благодаря тому, что человек может ввести в границы этот неисторический элемент при помощи мысли, передумывания, сравнения, отделения и соединения, только благодаря тому, что это обволакивающее, ограничивающее туманное облако прорезывается ярким, молниеносным лучом света – т. е. только благодаря способности использовать прошедшее для жизни и бывшее вновь превращать в историю, человек делается человеком; но в избытке истории человек снова перестаёт быть человеком". Nietzsche F. (1957). (Русский перевод Я. Бермана работы Фридриха Ницше, "О пользе и вреде истории для жизни" цитируется по изданию (ФН1), стр. 164. – **Примечание переводчика.**)

³⁸⁸ Frye N. (1990), p. 256.

³⁸⁹ См. Neumann E. (1954); Neumann, E., (1955).

³⁹⁰ Таблица 7 : 112, 7 : 115; Heidel A. (1965), p. 58. См. примечание 262.

³⁹¹ Nietzsche F. (1968a), p. 301. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), сс. 317 – 318. – **Примечание переводчика.**)

³⁹² Nietzsche F. (1995).

³⁹³ Эта история недавно приводилась в книге Hawking S. (1988).

³⁹⁴ Hofstadter D. R. (1979), pp. 397 – 398.

³⁹⁵ Обсуждение см. в работе Bruner J. (1986), pp. 27 – 28.

³⁹⁶ Jung C. G. (1968b), p. 86.

³⁹⁷ Eliade, M., (1975), p. 155.

³⁹⁸ Kuhn T. (1970), pp. 84 – 85.

³⁹⁹ Kuhn T. (1970), p. 113.

⁴⁰⁰ Цитируется по книге Kuhn T. S. (1957), p. 138.

⁴⁰¹ Einstein A. (1959), p. 45.

⁴⁰² Kronig R. (1960), pp. 22, 25 – 26.

⁴⁰³ Kuhn T. (1970), pp. 82 – 84.

⁴⁰⁴ Это, как указывал Карл Поппер, "позволяет нашим гипотезам умирать вместо нас".

⁴⁰⁵ Tolstoy L. (1887 – 1983), p. 13. (Русский текст цитаты из книги Л. Н. Толстого "Исповедь" приводится по изданию (ТИ), стр. 1. – **Примечание переводчика.**)

⁴⁰⁶ Tolstoy L. (1887 – 1983), p. 54. (Русский текст цитаты из книги Л. Н. Толстого "Исповедь" приводится по изданию (ТИ), сс. 30 – 31. – **Примечание переводчика.**)

⁴⁰⁷ Tolstoy L. (1887 – 1983), pp. 26 – 29. Русский текст цитаты из книги Л. Н. Толстого "Исповедь" приводится по изданию (ТИ), сс. 11 – 13. – **Примечание переводчика.**)

⁴⁰⁸ Ещё одно относящееся к делу замечание Ницше:

"Связь сцен и созерцаемые образы обнаруживают более глубокую мудрость, чем та, которую сам поэт в силах охватить словами и понятиями; то же наблюдаем мы у Шекспира, Гамлет которого, например, в подобном же смысле поверхностнее говорит, чем действует, так что не из слов, а лишь глубже всматриваясь и озирая целое, можно извлечь упомянутую нами выше гамлетовскую доктрину". Nietzsche F. (1967a), p. 105. (Русский перевод Г. А. Рачинского работы Фридриха Ницше "Рождение трагедии, или эллинизм и пессимизм " приводится по изданию (ФН1), стр. 122. – **Примечание переводчика.**)

⁴⁰⁹ Nietzsche F. (1967a), p. 60. (Русский перевод Г. А. Рачинского работы Фридриха Ницше "Рождение трагедии, или эллинизм и пессимизм " приводится по изданию (ФН1), сс. 82 – 83. – **Примечание переводчика.**)

⁴¹⁰ Dostoevsky F. (1961), p. 21. (Цитируется по изданию (Д1), стр. 140. – **Примечание переводчика.**)

⁴¹¹ Эпиграммы Ницше: "Бывает довольно часто, что преступнику не по плечу его деяние – он умаляет его и клеветает на него"; "Адвокаты преступника редко бывают настолько артистами чтобы всю прелесть ужаса деяния обратить в пользу его виновника". Nietzsche F. (1968a), p. 275. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), стр. 296. – **Примечание переводчика.**)

⁴¹² Цитируется в книге Kaufmann W. (1975), pp. 130 – 131.

⁴¹³ См. Eliade M. (1965; 1975).

⁴¹⁴ См. Ambady N. & Rosenthal R. (1992).

⁴¹⁵ Как в случае с Эдипом, который, не зная об этом, спит со своей матерью и ослепляет себя вследствие этого.

⁴¹⁶ Nietzsche F. (1968a), p. 320. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), стр. 331. – **Примечание переводчика.**)

⁴¹⁷ Nietzsche F. (1967a), p. 75. (Русский перевод Г. А. Г. А. Рачинского работы Фридриха Ницше "Рождение трагедии, или эллинизм и пессимизм " приводится по изданию (ФН1), стр. 95. – **Примечание переводчика.**)

⁴¹⁸ Binswanger L. (1963), p. 157.

⁴¹⁹ Tolstoy L. (1887 – 1983), pp. 57 – 58. (Русский текст цитаты из книги Л. Н. Толстого "Исповедь" приводится по изданию (ТИ), стр. 33. – **Примечание переводчика.**)

⁴²⁰ Frye N. (1990), p. xvi.

⁴²¹ Nietzsche F. (1968a), pp. 260 – 261. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), стр. 286. – **Примечание переводчика.**)

⁴²² См. примечание 26.

- ⁴²³ Eliade M. (1972), p. 4.
- ⁴²⁴ Ellenberger H. F. (1970), pp. 447 – 448.
- ⁴²⁵ Jung C. G. (1971), p. 477.
- ⁴²⁶ Eliade M. (1964).
- ⁴²⁷ Eliade M. (1965), p. 89.
- ⁴²⁸ Символ дерева и значения этого символа подробно обсуждаются в разделе 4.3.
- ⁴²⁹ Eliade M. (1965), pp. 88 – 89.
- ⁴³⁰ "Медный змей Моисея на кресте". Из *serpens mercurialis* в книге Eleazar'a *Uraltes chymisches Werk* (1760) [вклейка 238 в книге Jung C. G. (1968b)].
- ⁴³¹ Когда впервые начался тот процесс, который привёл меня к пониманию этих представлений, я нарисовал ужасное изображение распятого Христа, "свирепо смотрящее, осуждающее, демоническое – с очковой змеёй, обернувшейся, как пояс, вокруг его обнажённой талии" (как это описано в Предисловии). Я боролся тогда с трудностями самоосознания, в мире, который, по-видимому, обезумел. Облик героя-исследователя явился мне в образном представлении, загрязнённом фигурой дракона хаоса – "и как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому" (Иоанн, 3 : 14 – 15). Это загрязнение можно было бы рассматривать как указывающее на опасность, которую полное понимание этого героя и того "мира", где он жил, представляло для существовавшего в то время строения моей личности (которая, по сути, после этого распалась и возрождалась в течение очень долгого промежутка времени). Однако "тождественность" революционного героя и змея хаоса объясняют страх и ненависть, вызываемые его необходимыми действиями у того населения, которому он стремится помочь.
- ⁴³² Ориген, в книге Hodson G. (1963), p. xii. (Русский перевод цитаты из работы Оригена "О началах" ("О началах", 4, 16) взят из книги (ИР), стр. 374. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴³³ Eliade M. (1975), p. 60.
- ⁴³⁴ Campbell J. (1973), p. 25.
- ⁴³⁵ Neumann E. (1968), p. 395.
- ⁴³⁶ Раздел Tao Te Ching, 25 в книге Waley A. (1934), p. 34.
- ⁴³⁷ См. Part I. A. III: Separation of the world parents в книге Neumann E. (1954).
- ⁴³⁸ См. Joravsky D. (1989), p. 173. (Русский текст стихотворения Ф. И. Тютчева "Святая ночь на небосклон взошла" приведён по изданию (ПТ), стр. 172. – **Примечание переводчика.**) Автор выражает свою благодарность мисс Кэролин Батлер за то, что она обратила моё внимание на это стихотворение.
- ⁴³⁹ Фрай утверждает:

"Схождение в мир, лежащий под сознанием, вызывает какой-то перерыв в непрерывности сознательной памяти или какое-то уничтожение

предшествующих условий существования, соответствующие засыпанию. Нижний мир – это часто мир очень растянутого времени, где несколько минут могут соответствовать многим годам в высшем мире" Frye N. (1990), p. 266.

Это напоминает Юнгово представление о том, что время в коллективном бессознательном релятивизировано.

⁴⁴⁰ Frye N. (1982), p. 108.

⁴⁴¹ Приведено в книге Neumann E. (1968), p. 395.

⁴⁴² Wheeler J. (1980), p. 341.

⁴⁴³ Ницше выдвинул предположение, которое кажется подходящим:

"Допустим, что нет иных реальных «данных», кроме нашего мира вожелений и страстей, что мы не можем спуститься или подняться ни к какой иной «реальности», кроме реальности наших инстинктов – ибо мышление есть только взаимоотношение этих инстинктов, – не позволительно ли в таком случае сделать опыт и задаться вопросом: не **достаточно** ли этих «данных», чтобы понять из им подобных и так называемый механический (или «материальный») мир? Я разумею, понять его не как обман, «иллюзию», «представление» (в берклиевском и шопенгауэровском смысле), а как нечто, обладающее той же степенью реальности, какую имеют сами наши аффекты, – как более примитивную форму мира аффектов, в которой ещё замкнуто в могучем единстве всё то, что потом в органическом процессе ответвляется и оформляется (а также, разумеется, становится нежнее и ослабляется), как род жизни инстинктов, в которой все органические функции, с включением саморегулирования, ассимиляции, питания, выделения, обмена веществ, ещё синтетически вплетены друг в друга, – как **праформу** жизни?"

Nietzsche F. (1966), pp. 47 – 48. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), сс. 269 – 270. – **Примечание переводчика.**)

⁴⁴⁴ Eliade M. (1982), p. 75.

⁴⁴⁵ Для современного примера см. Tchelitchev P. (1992), p. 49.

⁴⁴⁶ Для обсуждения мотивов дерева и змеи см. Jung C. G. (1988), pp. 1431 – 1450; Jung C. G. (1967b), pp. 251 – 350.

⁴⁴⁷ Radha Swami S. (1978), pp. 16 – 20.

⁴⁴⁸ Frye N. (1990), pp. 284 – 285.

⁴⁴⁹ Eliade M. (1975), p. 64.

⁴⁵⁰ "Иггдрасиль, Мировое древо Эдды" из книги F. Magnusson'a "Elder Edda" (XVIII столетие) [вклейка 55 в книге Neumann E. (1955)].

⁴⁵¹ Neumann E. (1954), pp. 30 – 31.

⁴⁵² Jung C. G. (1976b), p. 117. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 122. – **Примечание переводчика.**)

⁴⁵³ См. Jung C. G. (1967b), pp. 240 и 315; Jung C. G. (1968b), p. 317.

⁴⁵⁴ Роль ретикулярной системы возбуждения в регулировании сознания была установлена в работе Moruzzi G. & Magoun H. W. (1949). Точные механизмы, посредством которых такое регулирование имеет место, всё ещё обсуждаются.

⁴⁵⁵ Goethe J. W. (1979a), p. 72. (Русский перевод Б. Пастернака трагедии И. В. Гёте "Фауст" приводится по изданию (ГФ), стр. 235 – **Примечание переводчика.**)

⁴⁵⁶ Voltaire (1933), p. 450.

⁴⁵⁷ Фрай продолжает разрабатывать дальше миф о Нарциссе:

"... прекрасном юноше, парализованном своим зеркальным отражением, и, следовательно, неспособном к любви. Мифологи очень рано сделали Нарцисса образцом грехопадения Адама, так как Адам, подобно Нарциссу, отождествил себя со своим собственным искажённым отражением в нижнем мире. Павлово представление о Христе как о втором Адаме делает Христа двойником Нарцисса-Адама, который избавляет первоначального Нарцисса-Адама от того, что Лакан называет **стадией зеркала**, а Элиот **пустыней зеркал**". Frye N. (1990), pp. 271.

⁴⁵⁸ Рассмотрим утверждение Ницше:

"Стремясь попасть в «ангелы» (чтобы не употребить более грубого слова), человек откормил себе испорченный желудок и обложенный язык, через которые ему не только опротивели радость и невинность зверя, но и сама жизнь утратила вкус, – так что временами он стоит перед самим собой с зажатым носом и, хмурясь, составляет с папой Иннокентием Третьим каталог своих сквернот («нечистое зачатие, омерзительное питание во чреве матери, загрязнённость вещества, из коего развивается человек, выделение мокрот, мочи и кала»)".

Nietzsche F. (1967b), p. 67. (Русский перевод К. А. Свасьяна работы Фридриха Ницше "К генеалогии морали. Полемическое сочинение" приводится по изданию (ФН2), стр. 447. – **Примечание переводчика.**)

⁴⁵⁹ С эволюционной точки зрения человеческая "новая" кора головного мозга развивалась с беспрецедентной скоростью. Её расширение и расширение сознания до личности были одновременными явлениями. Одной особенностью, ограничивающей её расширение, которое резко увеличивает размеры головы, является диаметр женского таза, который должен позволять проход плода во время рождения. Часто травматический характер рождения человека, по крайней мере отчасти, является следствием противоречия между размерами черепа новорождённого и устройством таза его матери.

⁴⁶⁰ Изображение Евы взято из рисунка "Древо познания: Церковь и Синагога" в швейцарской рукописи XV столетия [рисунок 56 в книге Neumann E. (1955)].

⁴⁶¹ Eliade M. (1978b), pp. 62 – 63.

- ⁴⁶² См. Главу 3. Ученичество и ознакомление с культурой: Принятие общей карты.
- ⁴⁶³ Nietzsche F. (1966), p. 228. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), стр. 399. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁶⁴ Вклейка в книге Jung C. G. (1968b).
- ⁴⁶⁵ Milton J. (1961), 1 : 40 – 43, p. 38. (Русский перевод Арк. Штейнберга цитаты из первой книги поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай" приведён по изданию (ПР), сс. 28 – 29. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁶⁶ Frye N. (1990), pp. 272 – 273.
- ⁴⁶⁷ См. примечание 350.
- ⁴⁶⁸ Pagels E. (1995).
- ⁴⁶⁹ Eliade M. (1978b), p. 302.
- ⁴⁷⁰ Их можно с разумным основанием считать родственными "старшим богам" в "Энума Элиш" (см. раздел 2.3.2).
- ⁴⁷¹ Eliade M. (1978b), p. 310.
- ⁴⁷² Milton J. (1961), 3 : 96 – 99, p. 95. (Русский перевод Арк. Штейнберга цитаты из третьей книги поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай" приведён по изданию (ПР), сс. 86 – 87. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁷³ Goethe J. W. (1979a), p. 75. (Русский перевод Б. Пастернака трагедии И. В. Гёте "Фауст" цитируется по изданию (ГФ), стр. 50. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁷⁴ Goethe J. W. (1979b), p. 270. (Русский перевод Б. Пастернака трагедии И. В. Гёте "Фауст" цитируется по изданию (ГФ), сс. 423 – 424. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁷⁵ См раздел 4.2.4. Революционный герой.
- ⁴⁷⁶ Tolstoy L. (1887 – 1983), pp. 49 – 52. (Русский текст цитаты из книги Л. Н. Толстого "Исповедь" приводится по изданию (ТИ), сс. 27 – 29. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁷⁷ Shakespeare W. (1952b), 3 : 5 : 78 – 83, p. 104. (Русский перевод Е. Бируковой цитаты из пьесы Уильяма Шекспира "Генрих VI, часть третья" (акт V, сцена 6) приведён по изданию (УШ1), стр. 428. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁷⁸ Milton J. (1961), 4 : 40, p. 116. (Русский перевод Арк. Штейнберга цитаты из четвёртой книги поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай" приведён по изданию (ПР), стр. 108. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁷⁹ Подробнее см в книге Russell J. B. (1986), p. 103.
- ⁴⁸⁰ Milton J. (1961), 1 : 159 – 165, p. 41. (Русский перевод Арк. Штейнберга цитаты из первой книги поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай" приведён по изданию (ПР), сс. 31 – 32. – **Примечание переводчика.**)

- ⁴⁸¹ Nietzsche F. (1967b), p. 333. (Русский перевод Ю. М. Антоновского работы Фридриха Ницше "ЕССЕ НОМО. Как становятся сами собою" приведён по изданию (ФН2), стр. 768. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁸² Nietzsche F. (1981), p. 125. (Русский перевод В. А. Флёровой работы Фридриха Ницше "Антихрист" приведён по изданию (ФН2), стр. 642. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁸³ Цитируется в книге Kaufmann W. (1975), pp. 122 – 123.
- ⁴⁸⁴ Edwardes A. & Masters R. E. L. (1963), p. 124.
- ⁴⁸⁵ Durnin R. (1994).
- ⁴⁸⁶ Wilhelm R. (1971), p. lv.
- ⁴⁸⁷ Solzhenitsyn A. I. (1975), p. 390. (Русский текст приведён по изданию (С2), стр. 383. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁸⁸ Joyce J. (1992). (Русский перевод этой книги напечатан в издании (ДЖ2)).
- ⁴⁸⁹ Solzhenitsyn A. I. (1975), p. 606. (Русский текст приведён по изданию (С2), сс. 593 – 594. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁹⁰ Solzhenitsyn A. I. (1974), pp. 5 – 7. (Русский текст приведён по изданию (С1), сс. 18 – 20. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁹¹ Frankl V. (1971), pp. 32 – 33.
- ⁴⁹² Solzhenitsyn A. I. (1975), pp. 602 – 603. (Русский текст приведён по изданию (С2), сс. 589 – 590. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁹³ По оценке А. И. Солженицына 250,000 заключённых истребительно-трудовых лагерей погибло при строительстве канала Москва – Волга, который, когда он был закончен, оказался во многих местах слишком мелким, чтобы служить какой-либо из намеченных целей. Значительная часть канала была выкопана вручную, с помощью самых примитивных орудий труда, посреди зимы (см. (С2), сс. 102 – 119. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁹⁴ Frankl V. (1971), pp. 51 – 52.
- ⁴⁹⁵ Solzhenitsyn A. I. (1975), p. 201. (Русский текст приведён по изданию (С2), стр. 198. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁹⁶ Blake W. В книге Keynes G. (1966), p. 213. (Русский текст стихотворения Вильяма Блейка "Болезнь роза" в переводе В. Потаповой приведён по изданию: (АР), стр. 76. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁹⁷ "Зэк" жаргонное название заключённого концентрационного лагеря.
- ⁴⁹⁸ Solzhenitsyn A. I. (1975), pp. 195 – 197. (Русский текст приведён по изданию (С2), сс. 192 – 194. – **Примечание переводчика.**)
- ⁴⁹⁹ См., например, Browning C. R. (1993).
- ⁵⁰⁰ Solzhenitsyn A. I. (1975), pp. 147 – 149. (Русский текст приведён по изданию (С2), сс. 146 – 148. – **Примечание переводчика.**)

- ⁵⁰¹ Milton J. (1961), 2 : 380 – 385, p. 71. (Русский перевод Арк. Штейнберга цитаты из второй книги поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай" приведён по изданию (ПР), стр. 62. – **Примечание переводчика.**)
- ⁵⁰² Solzhenitsyn A. I. (1975), p. 603. (Русский текст приведён по изданию (С2), стр. 591. – **Примечание переводчика.**)
- ⁵⁰³ Solzhenitsyn A. I. (1975), pp. 619 – 620. (Русский текст приведён по изданию (С2), сс. 606 – 607. – **Примечание переводчика.**)
- ⁵⁰⁴ Solzhenitsyn A. I. (1975), pp. 338, 341 – 342. (Русский текст приведён по изданию (С2), сс. 332 – 333, 335 – 336. – **Примечание переводчика.**)
- ⁵⁰⁵ Solzhenitsyn A. I. (1975), p. 626. (Русский текст приведён по изданию (С2), сс. 612 – 613. – **Примечание переводчика.**)
- ⁵⁰⁶ Frankl V. (1971), pp. 95 – 96.
- ⁵⁰⁷ Frankl V. (1971), pp. 23 – 24.
- ⁵⁰⁸ Frankl V. (1971), p. 22.
- ⁵⁰⁹ Solzhenitsyn A. I. (1975), p. 622. (Русский текст приведён по изданию (С2), стр. 609. – **Примечание переводчика.**)
- ⁵¹⁰ Milton J. (1961), 1 : 249 – 253, p. 44. (Русский перевод Арк. Штейнберга цитаты из первой книги поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай" приведён по изданию (ПР), стр. 34. – **Примечание переводчика.**)
- ⁵¹¹ Milton J. (1961), 4 : 109 – 123, p. 118. (Русский перевод Арк. Штейнберга цитаты из четвёртой книги поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай" приведён по изданию (ПР), сс. 110 – 111. – **Примечание переводчика.**)
- ⁵¹² Shakespeare W. (1952c). *Titus Andronicus*, 5 : 3 : 184 – 190, p. 198. (Русский перевод А. Курошевой цитаты из пьесы Уильяма Шекспира "Тит Андроник" (акт V, сцена 3) приведён по изданию (УШ2), стр. 101 – 102. – **Примечание переводчика.**)
- ⁵¹³ Milton J. (1961), 9 : 119 – 130, p. 237. (Русский перевод Арк. Штейнберга цитаты из девятой книги поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай" приведён по изданию (ПР), сс. 248 – 249. – **Примечание переводчика.**)
- ⁵¹⁴ Shakespeare W. (1952b). *Richard III*, 5 : 3 : 200 – 203, p. 145. (Русский перевод А. Радловой цитаты из пьесы Уильяма Шекспира "Ричард III" (акт V, сцена 3) приведён по изданию (УШ1), стр. 571. – **Примечание переводчика.**)
- ⁵¹⁵ Solzhenitsyn A. I. (1975), pp. 326 – 328. (Русский текст приведён по изданию (С2), сс. 320 – 322. – **Примечание переводчика.**)
- ⁵¹⁶ Solzhenitsyn A. I. (1975), p. 347. (Русский текст приведён по изданию (С2), стр. 340. – **Примечание переводчика.**)
- ⁵¹⁷ Milton J. (1961), 1 : 54 – 74, p. 38. (Русский перевод Арк. Штейнберга цитаты из первой книги поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай" приведён по изданию (ПР), стр. 29. – **Примечание переводчика.**)

⁵¹⁸ Milton J. (1961), 1 : 44 – 48, p. 38. (Русский перевод Арк. Штейнберга цитаты из первой книги поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай" приведён по изданию (ПР), стр. 29. – **Примечание переводчика.**)

⁵¹⁹ Nietzsche F. (1966), p. 86. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" цитируется по изданию (ФН2), стр. 297. – **Примечание переводчика.**)

⁵²⁰ Из **The Gospel of Thomas** в книге Robinson J. R. (1988), pp. 133 – 134. (При переводе частично использован текст работы (ТП), стр. 165. – **Примечание переводчика.**)

⁵²¹ Milton J. (1961), 4 : 75 – 78, p. 117. (Русский перевод Арк. Штейнберга цитаты из четвёртой книги поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай" приведён по изданию (ПР), стр. 109. – **Примечание переводчика.**)

⁵²² Milton J. (1961), 4 : 79 – 105, p. 117. (Русский перевод Арк. Штейнберга цитаты из четвёртой книги поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай" приведён по изданию (ПР), сс. 109 – 110. – **Примечание переводчика.**)

⁵²³ Frye N. (1990), p. 130.

⁵²⁴ Solzhenitsyn A. I. (1975), pp. 610 – 612. (Русский текст приведён по изданию (C2), сс. 597 – 599. – **Примечание переводчика.**)

⁵²⁵ Frankl V. (1971), pp. 86 – 87.

⁵²⁶ Solzhenitsyn A. I. (1975), pp. 625 – 626. (Русский текст приведён по изданию (C2), сс. 611 – 612. – **Примечание переводчика.**)

⁵²⁷ Solzhenitsyn A. I. (1975), p. 615. (Русский текст приведён по изданию (C2), сс. 602 – 603. – **Примечание переводчика.**)

⁵²⁸ Arendt H. (1994).

⁵²⁹ "Вся природа обновляется огнём". Оккультное или гностическое истолкование смысла начальных букв слов обычно изображаемых наверху креста Христова: **I.N.R.I. [Iesus Nazaremus Rex Iudaeorum** (Иисус из Назарета, Царь Иудеев)]; см. Dee J. (1993) для распространения мысли.

⁵³⁰ Jaeger W. (1968), p. 35.

⁵³¹ Niebuhr R. (1964), pp. 6 – 7.

⁵³² Niebuhr R. (1964), pp. 13 – 14.

⁵³³ Piaget J. (1932), pp. 16 – 18.

⁵³⁴ См. примечание 462.

⁵³⁵ Фрай утверждает относительно роли критики в разъяснении смысла повествования:

"Поэтическое воображение создаёт свой собственный космос, космос, который надо изучать не просто как карту, а как мир могучих сталкивающихся сил. Этот богатый образами космос не является ни объективной окружающей средой, изучаемой естественными науками, ни субъективным внутренним

пространством, которое должна изучать психология. Это промежуточный мир, в котором образы высшего и низшего, общие понятия красоты и безобразия, чувства любви и ненависти, связи чувственного опыта могут быть выражены только метафорами и, тем не менее, не могут быть отброшены или сведены к отображениям чего-то другого. Обычное сознание так одержимо несовместимой противоположностью субъекта и объекта, что находит трудным принять представление о порядке слов, который не является ни субъективным, ни объективным, хотя взаимопроникает и в субъективное, и в объективное. Но его наличие придаёт очень отличную наружность многим частям человеческой жизни, которые зависят от метафоры, но не становятся от этого менее «реальными» или «истинными», включая религию.

Конечно, понятие «метафорического» является столь же ненадёжным, как, может быть, были когда-то понятия «истины» или «реальности». Некоторые метафоры являются разъясняющими; некоторые просто необходимы; некоторые являются вводящими в заблуждение или приводят только к обману чувств; некоторые общественно опасны. Уоллис Стивенс говорит о «той метафоре, что убивает метафору». Но, к лучшему это или к худшему, она занимает главную область, – может быть, **единственную** главную область – как общественного, так и личного опыта. Она является первобытной формой сознания, установленной задолго до того, как различение субъекта и объекта стало обычным, но, когда мы пытаемся отделаться от неё, то обнаруживаем, что всё, что мы действительно можем сделать, это восстановить её в правах.

В этот момент приходит на ум другое недавнее критическое замечание из посмертного издания нортоновских лекций Итало Кальвино, также парадоксальное, но радующее душу: «Литература остаётся живой, только если мы ставим перед собой неизмеримые цели, далеко за пределами всякой надежды их достижения». Строго говоря, писатель не ставит этих целей: они ставятся придающим форму духом самой литературы, источником способности писателя писать. Но, вообще говоря, тот же самый принцип должен применяться и к литературной критике, когда критик видит на дальнем расстоянии какую-нибудь такую аксиому, как «Литературная критика может и должна придавать смысл литературе» и отказывается успокоиться на чём-либо меньшем» [Frye N. (1990), pp. xxii – xxiii].

⁵³⁶ Попытки фараона сдерживать еврейскую "угрозу" посредством убийства новорождённых младенцев представляют собой (не случайную) повествовательную параллель с действиями Ирода, который по сходным причинам приказал убить всех еврейских детей до двух лет отроду в Вифлееме и его окрестностях много столетий спустя (см. Матфей, 2 : 1 – 16).

⁵³⁷ Фрай продолжает:

"И однако Ханаан кажется скорее съжившейся и не оправдывающей ожиданий формой райской земли обетованной, текущей млеком и мёдом, которая была первоначально обещана Израилу. Может быть, Моисей был на самом деле единственным человеком, который должен был увидеть Землю Обетованную: возможно, гора вне её, куда он поднялся в свои последние часы, была

единственным местом, откуда эту землю можно было бы увидеть" [Frye N. (1990), p. 299].

⁵³⁸ Frye N. (1990), p. 299.

⁵³⁹ Евреи питались **манной** во время своего проживания в пустыне. Такой "духовный хлеб" – приготовленный в его мирском состоянии из пшеницы, в переносном смысле тела вечно умирающего и воскресающего бога зерна, – позднее приносится в жертву и приравнивается к Христу, чтобы ритуально (процедурно) помочь в принятии героической веры и мужества. Фрай утверждает:

"... Христос постоянно связывается с чудесным снабжением пищей. Чудеса насыщения больших толп людей очень малыми количествами пищи [рыбы как содержания, вытянутого наверх из (бессознательной, материнской) бездны, равно как и хлеба] записаны во всех четырёх евангелиях, иногда больше чем один раз, и прообразом таких чудес явно является снабжение манной в пустыне (Иоанн, 6 : 49 – 51). Образы поедания плоти Христа и питья его крови встречаются в евангелиях даже до установления причастия. То, что тело Христово – неисчерпаемый источник еды и питья, утверждается как на телесном, так и на духовном уровне («насущенный {epiousion} хлеб» молитвы Господней можно было бы также рассматривать как «надсущенный» хлеб). Тело Христово должно не только «быть съедено, разделено, выпито», выражаясь словами элиотовского «Геронтиона», но и является источником непрерывности жизни его людей, скрытым внутри их тел. Так было и во времена Ветхого завета, согласно апостолу Павлу, который говорит, что израильтяне в пустыне все ели ту же самую духовную пищу и пили тот же самый духовный напиток, причём последний вытекал из камня, которым был Христос (1-е Коринфянам, 10 : 3 – 4)". [Frye N. (1990), p. 257.]

⁵⁴⁰ Здесь явно представлена ссылка на мифическое повествование как источник явного правила.

⁵⁴¹ Фрай утверждает:

"Я уже обращал внимание на то место в «Фаусте» (Great Code, 18), где Фауст умышленно заменяет слова «В начале было Слово» на «В начале было Дело». Мне следовало бы добавить, что Фауст просто следовал установленному христианскому обыкновению, державшемуся до его времени. В начале Бог что-то сделал, а слова – это описательные системы, говорящие нам, что он сделал. Это вносит в западную религию то, что постструктуральные критики называют «обозначенным потусторонним», – то есть взгляд, что истинное или реальное есть нечто, находящееся вне слов, на что эти слова указывают". [Frye N. (1990), p. 34].

⁵⁴² Фрай утверждает:

"Если правда то, что творческая словесная сила связана с чем-то, являющимся в душе дополнительным к обычному сознанию, то мы продвинулись немного ближе к пониманию общественного окружения писателя. Такая душа, как у

него, вероятно, часто бывает сбита с толку произвольными условностями поведения, которыми сознание овладевает легче: часто обнаруживаешь в писателе простодушие, которое может иногда сделать его непригодным для почти всего, кроме писания. Но в качестве возмещения за это он может обладать пониманием общественных явлений, которое даст ему не просто напряжённое видение настоящего, но и необычайную способность видеть обусловленное будущее, как следствие тенденций, заложенных в настоящем. Это, в свою очередь, может дать ощущение особого рода знания, скрытого от большей части общества. О начале **пророческого** в литературе часто говорят очень неясно, но оно достаточно ощутимо, чтобы стоило его исследовать. Во всяком случае, это слово лучше всего подходит, чтобы описывать то, с чем мы пока что сталкивались; чтобы означать особенности влияния поэта, а также указать на связь между светской и священной литературой, которая является одной из моих главных тем.

Если мы посмотрим на писателей-пророков Ветхого завета, начиная с Амоса, то связь между первобытным и пророческим обнаруживается сразу. У Амоса на счету были его отказ идти на сделку с обычаями вежливости, его общественная репутация в северном Израиле, что он дурак и сумасброд, и способность извлекать суть того, что он говорит, из необычных душевных состояний, часто близких к трансу. Такие пророки предсказывают и будущее, которое является неизбежным следствием некоторой безрассудной линии поведения, такой, как политика царя Иудеи по отношению к Вавилону, которая привела, как говорил ему Иеремия, к разрушению Иерусалима. Принцип, подразумеваемый здесь, состоит в том, что честная критика общества, подобно честной науке, расширяет область предсказуемости в обществе.

В новое время писатели, которых мы безотчётно называем пророческими – Блейк, Достоевский, Рембо, – проявляют сходные черты. Над такими писателями их читатели размышляют так же глубоко, как когда-то размышляли над предсказаниями древнегреческих и древнееврейских оракулов: подобно последним, они потрясают и смущают; подобно последним, они могут быть полны противоречий и двусмысленностей, однако же сохраняют своё странно навязчивое влияние. Ещё в елизаветинские времена были критики, которые говорили о том, что различие между священным и светским вдохновением, может быть, менее строго, чем обычно предполагают. Джордж Паттенхэм, писавший в восьмидесятых годах шестнадцатого столетия, указывал на происхождение слова «поэт», первоначально означавшего «творец», что подразумевало для него сходство между творческой силой поэта и творческой силой Бога, проявившейся в создании мира. Он приводит выражение Овидия в «Фастах» **«est deus in nobis»** (в нас есть бог), которое имеет в виду или Бога, или **некоего** бога. В шестнадцатом столетии несомненно было бы безопаснее остановиться на Музе, или боге любви, или на чём-то, одобренном общим согласием и не принимаемом всерьёз в качестве предмета вероучения, но эта аналогия по-прежнему оставалась, хотя и скрытая, до времён Кольриджа. Часто замечалось, что искусства являются пророческими также и в том смысле, что они символически указывают на направления развития общества, которые становятся очевидными на несколько поколений позже.

Термин пророческий сам по себе можно было бы применять к некоторым писателям (таким, как Лютер, Кондорсе, Маркс), которых мы обычно помещаем вне литературы. Эти будоражающие понятия внутреннего и внешнего не уйдут, даже если столь многие их стороны исчезнут при исследовании. По-видимому, именно связь с душевно первозданным отличает пророческого писателя, которого, как правило, воспринимают как принадлежащего к литературе или по меньшей мере (как обстоит дело с Руссо, Кьеркегором и Ницше) как такого, на которого невозможно не обращать внимания как на деятеля литературы". [Frye N. (1990), pp. 53 – 54].

⁵⁴³ См книгу Jung C. G. (1978a) как законченную работу о предмете пророчества; см. также предвидящие замечания Юнга (1918) о "белокурой бестии" [Jung C. G. (1978a), pp. 3 – 28].

⁵⁴⁴ Плерома, то есть полнота бытия.

⁵⁴⁵ Nietzsche F. (1981), p. 97. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "Сумерки идолов, или как философствуют молотом" цитируется по изданию (ФН2), стр. 618. – **Примечание переводчика.**)

⁵⁴⁶ Dostoevsky F. (1981), pp. 299 – 301. (Роман Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" цитируется по изданию (Д2), сс. 309 – 311. – **Примечание переводчика.**)

⁵⁴⁷ Dostoevsky F. (1981), p. 309. (Роман Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" цитируется по изданию (Д2), сс. 318 – 319. – **Примечание переводчика.**)

⁵⁴⁸ Dostoevsky F. (1981), p. 313. (Роман Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" цитируется по изданию (Д2), стр. 322. – **Примечание переводчика.**)

⁵⁴⁹ Dostoevsky F. (1981), p. 316. (Роман Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" цитируется по изданию (Д2), стр. 325. – **Примечание переводчика.**)

⁵⁵⁰ James W. (1880, October), p. 100.

⁵⁵¹ Frye N. (1982), pp. 132 – 133.

⁵⁵² Frye N. (1982), p. 145.

⁵⁵³ Frye N. (1982), p. 56.

⁵⁵⁴ Фрай также утверждает:

"Мы ссылались ранее на содержание книги Судей, в которой ряд рассказов об обычных племенных героях помещён внутри повторяющегося **мифа** об отступничестве и восстановлении Израиля. Это придаёт повествованию устройство, которое, грубо говоря, имеет форму буквы **U**, причём за отступничеством следует впадение в несчастье и рабство, за которым, в свою очередь, следует раскаяние, а за ним – подъём через избавление до точки, лежащей более или менее на уровне, с которого началось падение. Этот U-образный рисунок, каким бы он ни был приблизительным, повторяется в литературе как обычная форма комедии, где ряд злоключений и недоразумений подводит действие к угрожающе скверному положению, после которого какой-

нибудь удачный поворот в сюжете направляет завершение к счастливому концу. Вся Библия, рассматриваемая как «божественная комедия», содержится внутри U-образной истории этого рода, истории, в которой человек, как объясняется, теряет дерево и воду жизни в начале книги Бытия и получает их обратно в конце Откровения Иоанна. В промежутке между этими событиями история Израиля рассказывается как ряд подпадений под власть языческих царств – Египта, филистимлян, Сирии, Рима, – за каждым из которых следовал подъём до краткого мига независимости. То же самое U-образное повествование обнаруживается также и вне исторических разделов Библии, в сообщении о несчастьях и восстановлении Иова и в Иисусовой притче о блудном сыне. Эта последняя, между прочим, является единственным текстом, в котором спасение имеет место как следствие сознательного решения со стороны главного действующего лица (Лука, 15 : 18).

Привести все падения и подъёмы библейской истории сразу – значило бы сбивать читателей с толку. В честь шести дней творения давайте выберем их шесть, с седьмым, представляющим собой конец времени. Первым падением, естественно, является изгнание Адама из рая, когда Адам уходит в пустыню, которая переходит в языческие города, основанные семьёй Каина. Если пропустить историю Ноя, которая добавляет море к образам бедствия, первый подъём – это подъём Авраама, вызванного из города Ура в Месопотамии в Землю Обетованную на западе. Этот подъём открывает пастушескую эпоху патриархов и кончается в конце книги Бытия, с Израилем – в Египте. Это положение дел снова сменяется тягостным и угрожающим порабощением; Израиль снова проходит через море и пустыню и под руководством Моисея и Иисуса Навина вновь достигает своей Обетованной Земли, меньшей территории, где основные образы связаны с сельским хозяйством. Затем следуют захватчики из книги Судей, из которых наиболее грозными были филистимляне – вероятно, говорящий по-гречески народ с острова Крита (если это и есть «Кафтор», упоминаемый пророком Амосом (Амос, 9 : 7)), который дал своё имя Палестине. Они властвовали над Израилем после поражения и смерти царя Саула и его сына Ионафана. Третий подъём начинается с Давидом и продолжается с Соломоном, где все образы связаны с городами, касаются городов и зданий. После Соломона, однако, ещё одно несчастье начинается с расколом царства. Северное царство было уничтожено Ассирией в 722 году до н. э.; южное царство колена Иуды получило передышку до времён, наступивших после того, как Ассирия была, в свою очередь, уничтожена (Наум, 2 : 3 – 13; 3 : 1 – 19); но с захватом Иерусалима Навуходоносором в 586 году до н. э. началось вавилонское пленение.

Четвёртый подъём в судьбе израильтян, теперь уже иудеев, начался с данного Киrom, царём Персии, разрешения – может быть, поощрения – иудейским пленникам в Вавилоне вернуться и восстановить свой храм. Два возвращения выпукло изображены в Ветхом завете, и были, вероятно, и другие, но символически нам нужно только одно. Какие-то мерцающие надежды восстановленного Израиля связывались с главным деятелем первого возвращения Зоровавелем из дома Давидова. После нескольких перемен хозяев новое разительное падение было вызвано свирепым преследованием

неэллинизированных евреев Антиохом Епифаном, царём царства Селевкидов, вызвавшим восстание Маккавеев, пяти братьев из священнической семьи, которые в конце концов добились независимости для Иудеи и основали царскую династию. Её власть продлилась до тех пор, пока римские легионы под командованием Помпея не прокатились по стране в 63 году до н. э., с чего началось римское владычество, которое длилось в течение всего периода Нового завета. В этом месте иудейские и христианские взгляды на то, что такое шестое освобождение Израиля, расходятся. Для христианства Иисус Христос достиг безусловного освобождения для всего человечества со своим откровением, что идеальное царство Израиля есть духовное царство. Для иудаизма изгнание евреев из их родной страны эдиктом Адриана в 135 году н. э. стало началом возобновлённого изгнания, которое во многих отношениях всё ещё продолжается.

Такова последовательность мифов (только косвенно она является последовательностью исторических событий), и наш первый шаг в её понимании состоит в том, чтобы понять, что все её взлёты и падения в переносном смысле связаны друг с другом. То есть сад Эдема, Земля Обетованная, Иерусалим и гора Сион являются взаимозаменяемыми синонимами родины души, а в христианской системе образов они, в их «духовном» виде (что, как мы помним, означает в переносном смысле, что бы ещё это ни могло значить), тождественны с царством Божиим, о котором говорил Иисус Христос. Подобным же образом Египет, Вавилон и Рим – все они духовно являются одним и тем же местом, а фараон из книги Исход, Навуходоносор, Антиох Епифан и Нерон духовно являются тем же самым лицом. А освободители Израиля – Авраам, Моисей и Иисус Навин, судьи Израиля, Давид и Соломон – все они являются прообразами Мессии или последнего освободителя... Так как различные падения Израиля через посредство отступничества и тому подобного являются не столько действиями, сколько отсутствием действия, только подъёмы и восстановления являются действительными событиями, а так как исход Израиля из Египта является решительным освобождением и образцом для всех остальных, мы можем сказать, что с мифологической точки зрения этот исход есть единственное событие, которое действительно происходит в Ветхом завете. Исходя из того же самого принципа, этот исход должен был с точки зрения Нового завета быть прообразом воскресения Христа, вокруг которого вращается весь Новый завет. Жизнь Христа, как она представлена в евангелиях, становится менее озадачивающей, когда мы понимаем, что она представляется в виде, уже описанном в Ветхом завете.

Подобно рождению многих богов и героев, рождение Иисуса было угрожаемым: Ирод приказывает устроить избиение младенцев в Вифлееме, от которого ускользает один Иисус. Моисей подобным же образом ускользает от попытки истребления еврейских детей, как и они, в свою очередь, избегают позднее избиения египетских первенцев. Младенец Иисус был увезён в Египет Иосифом и Марией, а его возвращение оттуда, как говорится в Евангелии от Матфея (Матфей, 2 : 15), исполнило пророчество Осии «Из Египта вызвал Я сына Моего» (Осия, 11 : 1), где явно говорится об Израиле. Имена Мария и

Иосиф напоминают о Мириам, которая была сестрой Моисея, и об Иосифе, который привёл семью Израиля, то есть Иакова, в Египет. Третья сура Корана, по-видимому, отождествляет Мириам и Марию; христианские комментаторы Корана, естественно, говорят, что это смехотворно, но с чисто типологической точки зрения, с которой и говорит Коран, это отождествление вполне имеет смысл.

Моисей организует двенадцать колен Израиля; Иисус собирает двенадцать апостолов. Израиль пересекает Красное море и осознаёт себя как народ на другой его стороне; Иисус принимает крещение в Иордане и признаётся Сыном Божиим. Крещение есть место, с которого начинают своё повествование евангелисты Марк и Иоанн, тогда как рассказы о младенчестве евангелистов Матфея и Луки являются, вероятно, более поздним материалом. Израиль странствует в пустыне сорок лет; Иисус – сорок дней. Израиль снабжается чудесной пищей, и Иисус снабжает таковой тех, кто собрался вокруг него (см. Иоанн, 6 : 49 – 50). Закон дан с горы Синай, а евангелие проповедуется в Нагорной проповеди. Медный змей был выставлен Моисеем на знамя в качестве средства предохранения от смертельных укусов «ядовитых змеев»; этот медный змей был принят Иисусом как символ его распятия (Иоанн, 3 : 14), причём в основу этого была положена связь между смертоносными змеями и змеем Эдема. Моисей умирает как раз на пороге Земли Обетованной, что в христианской типологии означает неспособность одного закона спасти человека, а Земля Обетованная была завоёвана Иисусом Навином. Скрытая связь здесь состоит в том, что Иисус Христос и Иисус Навин оба носят одно имя, следовательно, когда деве Марии говорят, чтобы она назвала своего ребёнка Иисусом, типологическое значение этого состоит в том, что власть закона кончилась, а нападение на Землю Обетованную уже началось (Матфей, 1 : 21)". [Frye N. (1982), pp. 169 – 172].

⁵⁵⁵ Frye N. (1982), p. 131.

⁵⁵⁶ См. раздел 2.3.6. Великий Отец: Образы известного или исследованной области.

⁵⁵⁷ **The Dialogue of the Savior** в книге Robinson J. R. (1988), p. 525.

⁵⁵⁸ Не только гностические евангелия придают особое значение душевной природе Царства Божия:

"Быв же спрошен фарисеями, когда придёт Царствие Божие, отвечал им: не придёт Царствие Божие приметным образом, И не скажут: «Вот, оно здесь» или «Вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть". (Лука, 17 : 20 – 21).

⁵⁵⁹ Ссылаясь на книгу Исход:

"И сказал Господь Моисею, говоря:

Скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте; ибо это – знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас.

И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит её, тот да будет предан смерти. Кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего.

Шесть дней пусть делают дела; а в седьмый – суббота покоя, посвящённая Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти".

(Исход, 31 : 12 – 15).

⁵⁶⁰ В одной из рукописей Евангелии от Луки имеется апокрифическая вставка (Лука, 6 : 4). Эта вставка рассказывает о том, что сказал Иисус, когда увидел человека, работающего в субботу. Она гласит: "Человек, если ты знаешь, что делаешь, будь благословен, но если ты не знаешь, ты проклят, как преступающий закон" [Codex Bezae ad Lucam (к Луке) 6 : 4]. (Русский перевод этой вставки взят из книги [СТ], стр 75. – **Примечание переводчика.**). Больше сведений об этом имеется в книге James M. R. (1924). Юнг отмечает, что урок, извлекаемый из этого рассказа, сходен с тем, который содержится в притче о неверном управителе:

"Задача Духа-Утешителя, «духа истины», – обитать и действовать в отдельных людях, с тем чтобы напоминать им об учениях Христа и вводить их в свет. Хорошим примером этой деятельности является жизнь апостола Павла, который не знал Господа и получил своё евангелие не от других апостолов, а через посредство откровения. Он был одним из тех людей, чьё подсознание легко возбуждалось и вызывало иступлённые восторги откровения. Жизнь Святого Духа открывается через посредство его собственной деятельности и через посредство воздействий, которые не только подтверждают вещи, которые мы все знаем, но и идут за их пределы. Уже в речениях Христа имеются указания на то, что выходит за пределы обычной «христианской» нравственности, например, притча о неверном управителе (Лука, 16 : 1 – 8), урок которой согласуется с логием кодекса Безы и выдаёт образец нравственности, очень отличной от той, которая ожидается. Мерилом нравственности здесь является **сознание**, а не закон или обычай. Можно было бы также упомянуть то странное обстоятельство, что именно апостол Пётр, которому не хватает самообладания и характер которого переменчив, является тем, кого Христос хочет сделать опорой и основанием своей церкви". [Jung C. G. (1969), pp. 433 – 444].

Юнг ссылается также на папирус из Оксирина, который "старше, чем первое представление о евангелиях" [Jung C. G. (1969), p. 444] и в котором Христос говорит: "Где будут двое, там они не будут без Бога, и где будет один одинок, там Я с ним". (Русский перевод этого изречения Христа взят из книги [СТ], стр 77. – **Примечание переводчика.**). Юнг отмечает, что это речение противоположно обычной версии: "Ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них" (Матфей, 18 : 20). Последняя часть предшествующего утверждения Христа поразительно напоминает мнение Кьеркегора:

"Ибо «толпа» – это неправда. В благочестивом смысле истинно, вечно, по-христиански то, что, как говорит святой Павел, «только один человек достигает

цели», и это не подразумевает сравнительного смысла, так как сравнение принимает во внимание и других. Это значит, что каждый человек может быть этим одним, а Бог помогает ему в этом, но только один достигает цели. И опять-таки это означает, что каждый человек должен быть сдержан, имея дело с «другими», и, по существу, должен говорить только с Богом и с самим собой, – ибо только один достигает цели. И снова это значит, что человек сродни божеству или что быть человеком – значит быть сродни божеству. В мирском и временном смысле будет сказано человеком суетным, общительным и дружелюбным: «Как безрассудно, что только один достигает цели, ибо гораздо более вероятно, что многие силой объединённых усилий должны достигнуть цели; и когда нас много, успех более несомненен, и он легче для каждого отдельного человека». Достаточно верно, что это гораздо более **вероятно**; и это верно также и в отношении всех земных и материальных благ. Если этому позволить добиваться своего, то это становится единственной истинной точкой зрения, так как оно разделяется с Богом, и с вечностью, и с подобием человека божеству. Оно разделяется со всем этим или превращает всё это в выдумку и ставит на его место современное (или мы могли бы, пожалуй, сказать давнишнее языческое) представление о том, что быть человеком – значит принадлежать к породе, одарённой разумом, принадлежать к ней как её представитель, так что эта порода или вид выше, чем личность, что означает, что нет больше личностей, а есть только её представители. Но вечность, которая изгибается дугой над и высоко над временным, спокойная, как звёздный небосвод в ночи, и Бог на небесах, который в блаженстве этого величественного спокойствия проводит обозрение (без малейшего ощущения головокружения на такой высоте) этих бесчисленных множеств людей и знает каждого отдельного человека по имени, – Он, Великий Исследователь, говорят, что только один человек достигает цели". [Приведено в книге Kaufmann W. (1975), pp. 94 – 95]

⁵⁶¹ Piaget J. (1965), p. 197.

⁵⁶² Piaget J. (1965), p. 13.

⁵⁶³ Piaget J. (1965), p. 398.

⁵⁶⁴ Piaget J. (1965), p. 111.

⁵⁶⁵ Piaget J. (1965), p. 102.

⁵⁶⁶ Piaget J. (1965), p. 362.

⁵⁶⁷ Rychlak J. (1981), p. 699.

⁵⁶⁸ Lao Tzu (1984c).

⁵⁶⁹ Замечания Сократа о его вещем голосе представляют здесь интерес. Он заявляет в своей "Апологии", после того как он (сознательно) принял смертный приговор:

"А теперь, о мои обвинители, я желаю предсказать, что будет с вами после этого. Ведь для меня уже настало то время, когда люди особенно бывают способны пророчествовать, – когда им предстоит умереть. И вот я утверждаю,

о мужи, меня убившие, что тотчас за моей смертью придёт на вас мщение, которое будет много тяжелее той смерти, на которую вы меня осудили. Ведь теперь, делая это, вы думали избавиться от необходимости давать отчёт в своей жизни, а случится с вами, говорю я, совсем обратное: больше будет у вас обличителей – тех, которых я до сих пор сдерживал и которых вы не замечали, и они будут тем невыносимее, чем они моложе, и вы будете ещё больше негодовать. В самом деле, если вы думаете, что, убивая людей, вы удержите их от порицания вас за то, что живёте неправильно, то вы заблуждаетесь. Ведь такой способ самозащиты и не вполне возможен, и не хорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый лёгкий: не закрывать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше. Ну вот, предсказавши это вам, которые меня осудили, я ухожу от вас.

А с теми, которые меня оправдали, я бы охотно побеседовал о самом этом происшествии, пока архонты заняты своим делом и мне нельзя ещё идти туда, где я должен умереть. Побудьте пока со мною, о мужи! Ничто не мешает нам поболтать друг с другом, пока есть время. Вам, друзьям моим, я хочу показать, что, собственно, означает теперешнее происшествие. Со мною, о мужи судьи, – вас-то я по справедливости могу называть судьями – случилось что-то удивительное. В самом деле, в течение всего прошлого времени обычный для меня вещей голос слышался мне постоянно и останавливал меня в самых неважных случаях, когда я намеревался сделать что-нибудь не так; а вот теперь, как вы сами видите, со мною случилось то, что может показаться величайшим из зол, по крайней мере так принято думать; тем не менее божественное знамение не остановило меня ни утром, когда я выходил из дому, ни в то время, когда я входил в суд, ни во время всей речи, что бы я ни хотел сказать. Ведь прежде-то, когда я что-нибудь говорил, оно нередко останавливало меня среди слова, а теперь во всём этом деле ни разу оно не удержало меня от какого-нибудь поступка, от какого-нибудь слова. Как же мне это понимать? А вот я вам скажу: похоже, в самом деле, что всё это произошло к моему благу, и быть этого не может, чтобы мы правильно понимали дело, полагая, что смерть есть зло. Этому у меня теперь есть великое доказательство, потому что быть этого не может, чтобы не остановило меня обычное знамение, если бы то, что я намерен был сделать, не было благом".

[Plato, in Hutchins R. M. (1952), pp. 210 – 211]. (Русский перевод цитаты из "Апологии Сократа" приводится по изданию (АС), сс. 94 – 95. – **Примечание переводчика.**)

⁵⁷⁰ Neumann E. (1954), pp. 173 – 174.

⁵⁷¹ "Дерево познания: Церковь и Синагога" из швейцарской рукописи XV столетия [рисунок 56 в книге Neumann E. (1955)].

⁵⁷² Элиаде замечает: "См. книгу [Eliade M. (1978a), pp. 154 – 155] для других упоминаний о «философском кровосмешении». Акrostих, созданный Василием Валентином из термина **купорос**, подчёркивает неумолимую необходимость схождения в ад: **Visita Interiora Terrae Rectificando invenies Occultum Lapidem** («Посети внутренность Земли – и очищением ты найдёшь тайный Камень».) [Eliade M. (1985), p. 256, примечание 89].

⁵⁷³ Элиаде замечает: "**Liber Platonis quartorum** (арабский первоисточник которой не может быть отнесён позже, чем к десятому столетию), цитируется в книге [Eliade M. (1978a), p. 158]. То же самое учение можно обнаружить среди китайских алхимиков [Eliade M. (1982), pp. 37 – 43]". [Eliade M. (1985), p. 256, примечание 90].

⁵⁷⁴ Дополнительная цитата в круглых скобках взята из книги Eliade M. (1978a), pp. 163 – 164.

⁵⁷⁵ Элиаде замечает: "Согласно Василию Валентину «зло должно стать тем же самым, что и добро». Старки описывает философский камень как «примирение Противоположностей, заключение дружбы между врагами». [Eliade M. (1978a), p. 166]". [Eliade M. (1985), p. 256, примечание 91].

⁵⁷⁶ Элиаде замечает: "[см. Multhauf R. P. (1967), p. 135 и следующие]". [Eliade M. (1985), p. 257, примечание 92].

⁵⁷⁷ Элиаде замечает: "[см. Eliade M. (1978a), p. 51]". [Eliade M. (1985), p. 257, примечание 93].

⁵⁷⁸ Элиаде замечает: "Мы уже обсуждали последствия этого прометеевского жеста в книге [Eliade M. (1978a), pp. 169 – 178]". [Eliade M. (1985), p. 257, примечание 94].

⁵⁷⁹ Элиаде замечает: "Даже в восемнадцатом столетии учёные не подвергали сомнению рост минералов. Они, однако, спрашивали себя, может ли алхимия помочь природе в этом процессе и, прежде всего, «были ли те алхимики, которые утверждали, что они это уже делали, честными людьми, дураками или обманщиками» [см. Dobbs B. J. T. (1975), p. 44]. Герман Бургав (1664 – 1739), считавшийся величайшим химиком-«рационалистом» своего времени и прославленный своими строго научными опытами, всё ещё верил в превращение металлов. И мы увидим важность алхимии в научной революции, совершённой Ньютоном". [Eliade M. (1985), p. 257, примечание 95].

⁵⁸⁰ Eliade M. (1985), pp. 255 – 258.

⁵⁸¹ Becker E. (1973), p. xiv.

⁵⁸² После опубликования работы Jung C. G. (1912).

⁵⁸³ См. Ellenberger H. F. (1970).

⁵⁸⁴ Costa P. T. Jr. & McCrae R. R. (1992a); Goldberg L. R. (1993b).

⁵⁸⁵ Показательные образчики современных примеров "сложного" и "бессознательного": Banaji M. R., Hardin C. & Rothman A. J. (1993); Nader A., McNally R. J. & Wiegartz P. S. (1996); Watkins P. C., Vache K., Verney S. P. & Mathews A. (1996); Gabrieli J. D. E., Fleishman D. A., Keane M., Reminger M., Sheryl L. et al. (1995).

⁵⁸⁶ Wilson E. O. (1998).

⁵⁸⁷ Jung C. G. (Источник цитаты неизвестен.)

⁵⁸⁸ Jung C. G. (Источник цитаты неизвестен.)

⁵⁸⁹ Перевод: "его находят в выгребных ямах" цитируется в книге Jung C. G. (1976b), p. 35.

⁵⁹⁰ Из книги Robinson J. R. (1988), p. 134.

⁵⁹¹ Jung C. G. (1976b), p. 55.

⁵⁹² Я обязан мисс Эрин Драйвер-Линн (Etin Driver-Linn) за то, что она обратила моё внимание на это выражение в этой связи.

⁵⁹³ Цитируется в книге Evans P. I. (1973), p. 126.

⁵⁹⁴ Jung C. G. (1968b), pp. 342 – 343.

⁵⁹⁵ См. книгу Jung C. G. (1968b), p. 253 для разъяснения.

⁵⁹⁶ См. книгу Jung E., & von Franz M. L. (1980), pp. 369 – 370. Авторы описывают изображение Мерлина, духа превращения, новичком Талиезеном:

"Я – ветер, что дует на море;
Я – океанская волна;
Я – ропот волн;
Я – семь батальонов;
Я – сильный бык;
Я – орёл на скале;
Я – солнечный луч;
Я – прекраснейшая из трав;
Я – храбрый вепрь;
Я – лосось в воде;
Я – озеро на равнине;
Я – искусный художник;
Я – огромный, владеющий мечом борец;
Я могу менять мой вид, как бог".

⁵⁹⁷ Jung C. G. (1968b), pp. 66 – 67.

⁵⁹⁸ По меньшей мере через два года, после того как я видел этот сон (и приблизительно через год, после того как я его записал), я читал дантовский "Ад". В его девятой песни посланец Бога появляется в аду, чтобы открыть ворота Диса, которые преграждают божественно предписанный путь Вергилия и Данте. Приближению этого посланца предшествует великая буря, описанная следующим образом:

"И вот уже по глади мутных вод
Ужасным звуком грохот шёл ревущий,
Колебля оба берега, наш и тот, –
Такой, как если ветер всемогущий,
Враждующими воздушными взвита,
Преград не зная, сокрушает пущи,
Ломает ветви, рушит их и мчит;
Вздымая прах, идёт неустойчиво,
И зверь, и пастырь от него бежит".

(Dante A. (1982)). Сходство образов и смысла в моём сне и в этом отрывке поразило меня как очень интересное. (Перевод М. Лозинского цитаты из "Ада" Данте (песнь IX, 64 – 72) приводится по изданию (БК), сс. 44 – 45. – **Примечание переводчика.**)

⁵⁹⁹ Это на самом деле был образ, который я уже ранее использовал в терапевтических обсуждениях. Я говорил моим пациентам, что неразрешённая аномалия подобна кончику хвоста чудовища: она выглядит достаточно безвредно, рассматриваемая только в качестве хвоста, но это означает притворяться, что часть не подразумевает целого.

⁶⁰⁰ Jung C. G. (1968b), pp. 342 – 343.

⁶⁰¹ Eliade M. (1978a), p. 50.

⁶⁰² Eliade M. (1978a), pp. 51 – 52.

⁶⁰³ Eliade M. (1978a), p. 35.

⁶⁰⁴ Jung C. G. (1976b), p. 439. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 419. – **Примечание переводчика.**)

⁶⁰⁵ von Franz M. L. (1980), pp. 21 – 22.

⁶⁰⁶ Jung C. G. (1976b), pp. 482 – 483. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), сс. 459 – 460. – **Примечание переводчика.**)

⁶⁰⁷ Jung C. G. (1976b), p. xiv. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 4. – **Примечание переводчика.**)

⁶⁰⁸ Jung C. G. (1976b), pp. 319 – 320. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 308. – **Примечание переводчика.**)

⁶⁰⁹ Элиаде замечает: "[Dobbs B. J. T. (1975), p. 90] цитирует статью E. McGuire & P. M. Rattansi "Newton and the 'Pipes of Pan'," ("Ньютон и свирели Пана") pp. 108 – 143. [В книге Eliade M. (1985), p. 260, примечание 104].

⁶¹⁰ Элиаде замечает: "[Westfall R. S. (1971), pp. 377 – 391; Dobbs B. J. T. (1975), p. 211]". [В книге Eliade M. (1985), p. 260, примечание 104].

⁶¹¹ Eliade M. (1985), pp. 259 – 261.

⁶¹² Jung C. G. (1968b), p. 324.

⁶¹³ Jung C. G. (1968b), pp. 322 – 323.

⁶¹⁴ Eliade M. (1978a), pp. 8 – 9.

⁶¹⁵ Dorn в книге Jung C. G. (1976b), p. 271. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 308. – **Примечание переводчика.**)

⁶¹⁶ Jung C. G. (1976b), pp. 358 – 359. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), сс. 343 – 345. – **Примечание переводчика.**)

⁶¹⁷ Фрай утверждает:

"Пророк, первосвященник и царь – все они люди, облечённые властью, но пророки часто бывали замучены, и даже с царями связывались... образы козла отпущения и жертвы. Иисус Навин был своего рода Христом как завоеватель Земли Обетованной: в число его врагов входили пять царей, которые были повешены на деревьях, а затем погребены в пещере, ко входу в которую были привалены большие камни (Иисус Навин, 10 : 16 – 27). Соломон, царь, который наследовал Давиду, был своего рода Христом как строитель храма и мудрый учитель. Авессалом, который тоже был сыном Давида, восстал против своего отца и запутался в ветвях дерева своими золотистыми волосами (по преданию), повиснув там «между небом и землёю, до тех пор пока Иоав, полководец Давида, не пришёл и не вонзил три стрелы ему в сердце. (2-я царств, 18 : 14). Любопытная беспомощность Авессалома в том, что кажется положением, из которого относительно легко выпутаться, наводит на мысль о ритуальном начале в рассказе о его смерти. Авторы евангелий обнаружили, что в рассказе об Иисусе они настолько же нуждаются в образах казнённых царей и Авессалома, насколько и в образах славы и торжества". [Frye N. (1982), p. 180].

⁶¹⁸ Jung C. G. (1976b), p. 21. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 28. – **Примечание переводчика.**)

⁶¹⁹ Jung C. G. (1976b), p. 283. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 275. – **Примечание переводчика.**)

⁶²⁰ Jung C. G. (1976b), p. 308. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 298. – **Примечание переводчика.**)

⁶²¹ Юнг описывает это состояние как четверицу противоположностей. Я устранил это особенное упоминание в попытке упростить уже достаточно сложное обсуждение.

⁶²² Jung C. G. (1976b), pp. 353 – 354. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), сс. 339 – 340. – **Примечание переводчика.**)

⁶²³ Jung C. G. (1976b), pp. 540 – 541. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 512. – **Примечание переводчика.**)

⁶²⁴ Jung C. G. (1976b), p. 364. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 348. – **Примечание переводчика.**)

⁶²⁵ Из книги Maier, *Scrutinium chymicum* (1687) [вклейка 175 в книге Jung C. G. (1968b)].

⁶²⁶ Jung C. G. (1976b), pp. 214 – 215. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), сс. 210 – 211. – **Примечание переводчика.**)

⁶²⁷ Jung C. G. (1976b), pp. 363 – 364. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 348. – **Примечание переводчика.**)

⁶²⁸ Nietzsche F. (1966), p. 10. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" цитируется по изданию (ФН2), стр. 242. – **Примечание переводчика.**)

⁶²⁹ Jung C. G. (1976b), p. 452. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 452. – **Примечание переводчика.**)

⁶³⁰ Jung C. G. (1976a).

⁶³¹ Кажется возможным, что предполагаемый Пиаже "орган равновесия" равнозначен юнговской "самости" – наивысшему регулятору внутридушевной деятельности:

"У организма есть особые органы равновесия. То же самое верно и для душевной жизни, органами равновесия которой являются особые механизмы регулирования. Так обстоит дело на всех уровнях развития, от простых регуляторов побуждения (потребностей и интересов) до воли к эмоциональности и от регулирования восприятия и чувственно-двигательной деятельности до регулирования познания". [Piaget J. (1967), 102].

Пиаже также указывает, (а) что **сознание** возникает в личности, «когда обстановка в окружающей среде, в которой находится эта личность, препятствует какой-либо текущей (целенаправленной) деятельности. Дети ведут себя в соответствии с их потребностями, и всё имеет место без осознанного знания или уравниваний, продолжающихся до тех пор, пока не наступает расстройство [термин Пиаже, вероятно, равносильный появлению неожиданного (и наказания?)].... Каждое из этих расстраивающих обстоятельств служит тому, чтобы сосредоточить внимание ребёнка скорее на причинах нарушения равновесия, чем просто на желаемой цели» [Rychlak J. (1981), p. 688 – см. Piaget J. (1967); Piaget J. (1962)] и (б) что **воля** возникает, когда происходит столкновение склонностей в поведении (Юнг сказал бы, когда имеет место столкновение обязанностей). Пиаже думал, что волю (волю к власти, героическое начало) можно рассматривать как следствие объединения эмоции и побуждения:

"... в той степени, в какой эмоции становятся организованными, они возникают как механизмы регулирования, конечная форма равновесия которых есть не что иное, как воля. Таким образом, воля является подлинным эмоциональным эквивалентом действия в разуме. Воля – это функция, появляющаяся позднее. Действительное проявление воли связано с появлением самостоятельных нравственных чувств. Вот почему мы ждали наступления этой стадии (позднего детства), чтобы обсуждать её". [Piaget J. (1967), p. 58].

Между прочим, эта мысль очень похожа на юнговское представление об объединении окрашенных чувствами комплексов в мыслящую личность. Пиаже развивает эту мысль в другом месте:

"Действие воли не состоит в следовании низшей и более сильной склонности; наоборот, тогда говорят о недостатке воли или о «недостатке силы воли». Сила воли подразумевает подкрепление высшей, но более слабой склонности, с тем чтобы заставить её восторжествовать". [Piaget J. (1965), p. 59].

⁶³² "Легендарное чудовище, содержащее **mass confusa** (смешанную массу), из которой поднимается пеликан (символ Христа и **философского камня**)". В книге

Hermaphroditisches Sonn- und Mondskind (1752) [вклейка 256 из книги Jung C. G. (1968b)].

⁶³³ Nietzsche F. (1966), p. 86. (Русский перевод Н. Полилова книги Фридриха Ницше "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего" приводится по изданию (ФН2), стр. 297. – **Примечание переводчика.**)

⁶³⁴ Jung C. G. (1968b), pp. 327 – 329.

⁶³⁵ Jung C. G. (1968b), p. 331.

⁶³⁶ Jung C. G. (1968b), p. 302.

⁶³⁷ Jung C. G. (1968b), p. 329.

⁶³⁸ Jung C. G. (1968b), pp. 332 – 334.

⁶³⁹ Jung C. G. (1968b), p. 335.

⁶⁴⁰ Jung C. G. (1968b), pp. 336 – 339.

⁶⁴¹ Jung C. G. (1968b), pp. 347 – 348.

⁶⁴² Dorn в книге Jung C. G. (1976b), p. 465.

⁶⁴³ См. раздел 2.3.6. Великий Отец: Образы известного или исследованной области.

⁶⁴⁴ Dorn в книге Jung C. G. (1976b), p. 41. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), сс. 47 – 48. – **Примечание переводчика.**)

⁶⁴⁵ Jung C. G. (1976b), pp. 34 – 35. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 41. – **Примечание переводчика.**)

⁶⁴⁶ Кунрат в книге Jung C. G. (1976b), p. 329. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 317. – **Примечание переводчика.**)

⁶⁴⁷ Jung C. G. (1976b), p. 349. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 335 – 336. – **Примечание переводчика.**)

⁶⁴⁸ Jung C. G. (1968a), p. 179.

⁶⁴⁹ Nietzsche F. (1967a), pp. 122 – 123. (Русский перевод К. А. Свасьяна книги Фридриха Ницше "К генеалогии морали. Полемическое сочинение" приводится по изданию (ФН2), сс. 493 – 494. – **Примечание переводчика.**)

⁶⁵⁰ Russell J. B. (1986).

⁶⁵¹ Russell J. B. (1986), p. 246.

⁶⁵² Russell J. B. (1986), p. 300.

⁶⁵³ Milton J. (1961), 3 : 100 – 128, p. 95. (Русский перевод Арк. Штейнберга цитаты из третьей книги поэмы Джона Мильтона "Потерянный Рай" приведён по изданию (ПР), сс. 87 – 88. – **Примечание переводчика.**)

⁶⁵⁴ Wechsler D. (1981).

⁶⁵⁵ См., например, **The Gospel of Mary** в книге Robinson J. R. (Ed.) (1988), p. 527.

⁶⁵⁶ См., например, **The Gospel of Thomas** в книге Robinson J. R. (Ed.) (1988), p. 132 and p. 138. (Русский перевод этого изречения Христа взят из книги [СТ], стр 161. – **Примечание переводчика.**)

⁶⁵⁷ Jung C. G. (1968b), p. 318.

⁶⁵⁸ См. примечание 1.

⁶⁵⁹ Jung C. G. (1976b), pp. 374 – 375. (Русский перевод приведён по изданию (ТВ), стр. 359. – **Примечание переводчика.**)

⁶⁶⁰ Jung C. G. (1967b), p. 304.

⁶⁶¹ В христианской традиции имеется (по меньшей мере) две несовместимые друг с другом догматические формулировки первородного греха: 1) как источника вечной вины; 2) как удачной ошибки, которая приводит к воплощению Христа. Тони Вольф отмечает, что:

"Имеются ранние средневековые изображения родословного дерева Христа. На его ветвях в качестве плодов дерева находятся пророки и все предки Христа. Корни дерева растут из черепа Адама, а Христос – его главный и наиболее драгоценный плод".

Юнг развивает это замечание:

"Ну, дерево иногда растёт из Адамова пупка, а на его ветвях, как говорят, сидят пророки и цари Ветхого завета, предки Христа, а затем на верхушке дерева находится торжествующий Христос. То, что жизнь начинается с Адама, а кончается Христом, есть то же самое представление..." [Jung C. G. (1988), p. 1440].

⁶⁶² Нейман утверждает:

"Первоначально мессианизм был связан с историческим процессом, кончающимся появлением спасителя, который после апокалиптического кризиса преобразования возвещает эсхатологический век спасения. Можно легко показать, что это представление является отражением процесса индивидуации, субъект которого есть народ, избранный коллектив, а не личность. В коллективном изображении история появляется в качестве коллективного представления судьбы; кризис проявляется в изображении способов, какими отличаются Последние Дни; а преобразование – в качестве Страшного Суда, смерти и воскресения. Подобным же образом преобразование и покорение личности соответствует преображению в небесном раю, который в форме мандалы собирает человечество или иначе изображается как жизнь в восстановленном и обновлённом мире, управляемом царём-Адамом-человеком-личностью, находящимся в его середине". [Neumann E. (1968), p. 408].

⁶⁶³ "Возвращение мистического яблока на дерево познания". Джованни да Модена (XV век) [вклейка 116 в книге Neumann E. (1955)].

⁶⁶⁴ Eliade M. (1982), p. 73.

⁶⁶⁵ "Бодисатва" [вклейка XII в книге Campbell J. (1973)].

⁶⁶⁶ Цитируется в книге Pagels E. (1979), p. xv.

⁶⁶⁷ **"The Gospel of Thomas"** в книге Robinson J. R. (Ed.) (1988), pp. 126 – 127.
(При переводе частично использован текст работы (ТП), сс. 159 – 160. –
Примечание переводчика.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ДОБАВЛЕННАЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ

Блейк [Blake W.]

(АР) Библиотека всемирной литературы. Серия вторая. Москва, 1976, том 125.

Гёте, И. В. [Goethe J. W.]

(ГФ) Гёте И. В. Собрание сочинений в десяти томах. Москва, 1976, том второй.

Данте [Dante Alighieri]

(БК) Данте Алигьери. Божественная комедия. Москва, 1968.

Джойс [Joyce J.]

(ДЖ1) Джеймс Джойс. Улисс. Москва, 1993.

(ДЖ2) Джеймс Джойс. Портрет художника в юности. Москва, 2007.

Достоевский, Ф. М.

(Д1) Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в десяти томах. Москва, 1956, том 4.

(Д2) Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в десяти томах. Москва, 1958, том 9.

Мень, А. В.

(ИР) Протоиерей Александр Мень. История религии: в поисках Пути, Истины и Жизни. В 7-ми томах. Москва, 1991, том 2.

Мильтон [Milton J.]

(ПР) Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Москва, 1976, том 45.

Ницше [Nietzsche F.]

(ФН1) Фридрих Ницше. Сочинения в двух томах. Москва, 1990, том 1.
(ФН1) Фридрих Ницше. Сочинения в двух томах. Москва, 1990, том 1.

А. Петров

(ПТ) А. Петров. Личность и судьба Фёдора Тютчева. Москва, 1992.

Платон [Plato]

(АС) Платон. Собрание сочинений в 4-х томах. Москва, 1990, том 1.

Свенцицкая, И. С.

(ТП) Свенцицкая И. С. Тайные писания первых христиан. Москва, 1980.

Солженицын, А. И.

(С1) Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛаг. Париж, 1973, том 1.

(С2) Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛаг. Париж, 1974, том 2.

Толстой, Л. Н.

(ТИ) Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Москва, 1957, том 23.

Чаттопадхьяя

(ЛД) Дебипрасад Чаттопадхьяя. Локаята Даршана. История индийского материализма. Москва, 1961.

Шекспир [Shakespeare W.]

(УШ1) Уильям Шекспир. Полное собрание сочинений в восьми томах. Москва, 1957, том 1.

(УШ2) Уильям Шекспир. Полное собрание сочинений в восьми томах. Москва, 1958, том 2.

(УШ3) Уильям Шекспир. Полное собрание сочинений в восьми томах. Москва, 1959, том 5.

Юнг, К. Г.

(ТВ) Карл Густав Юнг. *Mysterium coniunctionis*. Таинство воссоединения. Минск, 2003.